Б 197484

Б 197484.

Co 16/4
130 13/5
118 23/VII

А
8/9
Б63
8р1
Т53
6000.
2212
197484
52
45
№ 2896
ВЛАДИМИРСКАЯ
Областная Библиотека

П. И. БИРЮКОВ

БИОГРАФИЯ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

ТОМ ТРЕТИЙ

С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО □ МОСКВА

Содержание III-го тома.

Стр.

Введение XV

Особый характер материалов III-го тома; близость событий и лиц. Желательная об'ективность. Неизбежность суб'ективной оценки. Личный элемент. Воспоминания. Общий план. Всемирное влияние.

Продолжение введения через шесть лет. Пережитое. Кончина Л. Н—ча. Условие единения с ним. Расширение материала. IV-й том. Новое разделение общего плана. Общий очерк всех 4-х томов. Источники и материалы.

Ужас современных событий, противоречащий миру Л. Н—ча. Вера в неуничтожаемость идеала. Обращение к читателям.

Список использованных материалов для III-го тома XVIII

Список рисунков XX

Часть первая. 1884—1886 г.г.

Новая жизнь. Новые тернии. Новое творчество.

Глава 1-я. События 1884 г. Народная литература 3

Связь со вторым томом. Отзыв Л. Н—ча о своем сочинении «Критика Богословия». Отношение Л. Н—ча к окружающим. Сапожная работа. Рождение А. Л—ны. Душевное равновесие. Сютаев-сын. Китайская мудрость. *Народный журнал.* Лубочная литература. Инициатива Л. Н—ча, его участие и руководство. «*Посредник*». Разговор Л. Н—ча с Г. П. Данилевским. Открытие книжного склада в Петербурге. Лубочные картинки.

Глава 2-я. „Так что же нам делать?“ 9

Начало нового сочинения. Отношение С. А—ны. Запрещение цензуры. Нелегальные издания. Извлечения. Последнее издание. *Содержание.* Опыт благотворительности. Город и деревня. Деньги. Три формы рабства. Три причины, парализующие помощь бедным. Три оправдания существующего строя: церковное, философско-государственное и научное. Разделение труда. Наука и искусство. Ответы на вопрос: «Так что же нам делать?». Обращение к женщинам. Результат опыта благотворительности. Отношение семейных. Увлечение писанием. Проститутка и прачка.

Глава 3-я. Бремя жизни. Посланничество. Земельный вопрос 17

Переписка с А. А. Толстой. Классные дамы. Учение о посланничестве. *Разлад с окружающими.* Внутреннее состояние Л. Н—ча по письму к Черткову. Поездка к Олсуфьевым. Молитва. Проблески понимания смысла жизни в семье

Л. Н—ча. Творческая работа. Сказка об Иване-дураке. Попытка Л. Н—ча избавиться от собственности. Издательская деятельность Софьи Андреевны. *Поездка в Крым.* Кн. Леон. Дм. Урусов. Л. Н—ч на Мальцевских заводах. Занятия Л. Н—ча в Крыму. Посещение Данилевских. Случай со снарядом. Письмо Н. Н. Страхова о Ясной Поляне. *Первое письмо ко мне.* Переписка Л. Н—ча с Грибовским. Мои отношения со Л. Н—чем и переписка с ним. *Посещение Ясной Поляны Г. П. Данилевским.* Его статья. Л. Н—ч о художественной литературе. Земельный вопрос. Генри Джордж.

Глава 4-я. Религия человечества. В Ясной Поляне. . . . . . *Стр* 32

Посещение Фрея. Его характеристика. Религия человечества. Отзыв Фрея о свидании со Л. Н—чем. Отзыв Л. Н—ча о свидании с Фреем. Разногласия. Заключительные слова Л. Н—ча. *И. Б. Фейнерман.* Его крещение и учительство. Образ жизни. Л. Н—ч в семье, от'езд. Кража капусты. Отказ от исполнения воинской повинности. А. И. Залюбовского. *Осень 1885 года в Ясной Поляне.* Вечер в кабинете Л. Н—ча. Письмо Л. Н—ча к Н. Н. Страхову о назначении человека. О нарождающемся рабочем движении.

Глава 5-я. Бондарев. Николай Палкин. Дерулед. 42

Бондарев и Сютаев. Статья Глеба Успенского о Бондареве. Оценка Л. Н—ча. Переписка Л. Н—ча с Бондаревым. Изложение Л. Н—чем учения Бондарева. Любовь и труд. Учение Генри Джорджа. Статья Л. Н. о Бондареве в словаре С. А. Венгерова. *Смерть Алеши.* Письмо к Черткову. *Переписка с Н. Н. Ге.* Иллюстрации к произведениям Л. Н—ча. *Уход Л. Н. в Ясную Поляну* с Н. Н. Ге (сыном) и М. А. Стаховичем. Мотивы ухода. Паспорт, выданный Л. Н—чем Стаховичу. «Чем люди живы». *Николай Палкин.* Из записной книжки. Возвращение в Москву и снова от'езд в Ясную. Письмо к С. А—не о бедности. Сельские работы Л. Н—ча для Анисьи Копыловой. Увлечение всей семьи. Письма к Н. Н. Ге. *Посещение Ясной Поляны Полем Деруледом.* Разговор с Прокофьем. Неудача миссии реванша. Осенние события.

Глава 6-я. Власть тьмы. Календарь. Переписка с друзьями. . . . 52

Власть тьмы. Ушиб ноги. Болезнь. Общее настроение. Письмо к А. А. Толстой. Письмо к Н. Н. Страхову и ко мне о научных изданиях «Посредника». Джунковский и Хилков. Чтение А. А. Стаховичем в Ясной Поляне Островского. Л. Н—ч начинает писать драму. Различные перипетии в писании и печатании этой драмы. Рассказ С. А. Толстой. Чтение драмы А. А. Стаховичем в Петербурге. Чтение драмы у государя Александра III. Отношение ко всему этому самого Л. Н—ча. *Календарь с пословицами.* Начало работы. Препятствия московской цензуры. Перенесение издания в Петербург. Письмо Л. Н—ча ко мне. «Злодейская статья». Удачи и неудачи календаря. *Переписка с друзьями.* Н. Н. Ге. Революционер Л—ий. Милый юноша. Писатель Ф. Тищенко.

Часть вторая. 1887—1891 г.г.

Философское обоснование и практика жизни.

Глава 7-я. Новые посетители. Переписка. 67

О жизни. Письмо А. К. Дитерихс. Увлечение этой темой. Чтение Л. Н—чем отрывков из этой работы в заседании «Психологического общества». Известия о ходе работы в письмах ко мне и к Черткову. Мнение Н. Н. Страхова. Окончание статьи и отсылка ее в типографию. Корректура Грота. Новые поправки и переделки. Чтение Канта. Отпечатание книги: «О жизни». Запрещение цензуры и уничтожение книги. Краткое изложение содержания. *Согласие против пьянства.* Декларация. Возражение

друзей. Распространение «Согласия». Литературные работы Л. Н—ча по вопросу о трезвости. *Новые знакомства и посещение друзей.* Н. С. Лесков. Ф. Массарик. Кенан. А. Ф. Кони. Его воспоминания. Графиня Ал. Андр. Толстая; ее воспоминания и переписка со Л. Н—чем. Андреев Бурлак. И. Е. Репин. Портрет и картина. Письмо к Страхову. Исполнение Крейцеровой сонаты в Ясной Поляне. Предложение Л. Н—ча. *Серебряная свадьба Л. Н—ча и Софьи Андреевны.* Л. Н—ч у Чертковых в Крекшине. *Мысли Л. Н—ча об искусстве из его переписки с друзьями.* И. В. Савихин. Ив. Ив. Горбунов. Н. Н. Ге. Мнение Л. Н—ча о Гоголе. *Дальнейшая переписка Л. Н—ча.* Письмо к тифлисским барышням. Ромэн Роллан. Братство Иисуса по Евангелию. Из переписки с Чертковым и мною. Заключение.

Глава 8-я. В Ясной Поляне за работой. В Москве Новые друзья . *Стр.* 84

Чтение Герцена. Письмо к Страхову и Черткову. Мастерские «Посредника». Письмо Л. Н—ча ко мне. *Рождение Ванички.* Международный «Посредник». Письмо ко мне. Сборник в память Гаршина. *Уход Л. Н—ча в Ясную с Н. Н. Ге и А. Н. Дунаевым.* События в пути. Сердитый мужик. Рабочий. Больной мальчик. Возвращение в Ясную. Л. Н—ч бросает курить. *Деревенские работы.* Постройка избы. Полевые работы. Высшее благо жизни. *Посещение Ясной Поляны Фетом.* Отзывы Фета о письмах Л. Н—ча. Чтение воспоминаний. Мой приезд в Ясную с волшебным фонарем. Шитье сапог. Стэд в Ясной. Новые друзья. *Переписка с ними Л. Н—ча.* Постройка дома. Кубики. Благо и страдание. Письмо к Ге и ко мне. *Запись дневника.* Спокойствие и радость. О неуживчивости людей. *Л. Н—ч в Москве.* Попытка занятия школой. Кружок московских друзей. Воспоминания В. В. Рахманова. Два направления среди друзей Л. Н—ча: народническое и религиозное. Издание «Николая Палкина». Два письма.

Глава 9-я. Новые шаги. Голос обличения. Крейцерова соната. . . 98

Татьянин день. Статья Л. Н—ча. Ее влияние. Попытка демонстрации. *Юбилей Фета.* Болезнь Ванички. Отношение Л. Н—ча к Фету. *Внутренняя жизнь Л. Н—ча.* Любовь и борьба. Чистота, смирение и любовь. Письма ко мне, Ге, Черткову и Попову. *Внешняя жизнь Л. Н—ча.* Посетители. Журнал «Сотрудник». Чтение Чехова. Буддийская легенда. *Л. Н—ч у Н. С. Урусова.* Путешествие. Уединение. Американцы. Деревенская жизнь. Литературные занятия. Болезнь. Возвращение в Москву. Картина Ге: «Выход с Тайной вечери». Передвижная выставка. Третьяковская галлерея. Уход в Ясную с Е. И. Поповым. *Призыв к обличению.* Писания Л. Н—ча об искусстве. «Исхитрилась» и «Крейцерова соната». Ее происхождение. Условная форма. Чтение в Ясной Поляне. Образ жизни Л. Н—ча. *Общение с людьми.* Духовный центр. Значение Л. Н—ча. Письма Н. Н. Страхова. Духовная свобода. Изложение веры. Письмо Л. Н—ча ко мне. Баллу. Выписка из дневника о трех стадиях. Стокгейм и ее Токология. *Чтение Крейцеровой сонаты у Кузьминских.* Оценка Н. Н. Страхова. Ответ Л. Н—ча. Поездка Т. Л. и С. Л. в Париж. *Представление «Плодов просвещения» в Ясной Поляне.* Письмо к Анненковой и ко мне. Записи дневника.

Глава 10-я. Земледельческие общины. 114

Общины. «Посредник», как центр нового движения. Письмо Алехина. Причины неудачи. Отношение Л. Н—ча. Письма его к Ге, ко мне. Запись дневника. Посетители. Письмо к Попову. Письмо общинникам. Распространение общин в России и за границей. «Братская церковь» в Кройдоне. Колония в Перлэ. Письмо Л. Н—ча. Отношение Л. Н—ча к единоличному труду. Письмо к В. И. А—ву. Письмо ко мне. Распадение общин. Письмо к Хилкову. Запись дневника.

Глава 11-я. Оптина пустынь. Что есть истина? Молитва. 122

Новая школа в Ясной Поляне. Закрытие ее тульским губернатором. Перенесение обучения в дом Л. Н—ча. *Литературная и духовная работа Л. Н—ча.* Дневник.

Борьба с окружающей средой. Переписка со мной. Письмо к Воробьеву. Указание на материал по истории христианства. *Путешествие в Оптину пустынь.* Старец Амвросий. Шидловский. Леонтьев. Мысли о монастырской жизни. *Поездка в Пирогово.* Болезнь. Посетителя. *Картина Н. Н. Ге:* «Что есть истина». Запись дневника. Снятие картины с выставки. Письмо к Третьякову. Путешествие картины в Америку. Письмо Л. Н—ча Кенану. *Крейцерова соната.* Разные мнения. Послесловие. Дневник. *Письма к друзьям:* к Хилкову, к Н. Н. Ге (младшему) и к Е. И. Попову. Сюжет «Отца Сергия». *Мысли о молитве.* Дневник. Письмо ко мне. *Жизнь в Ясной Поляне.* Пожар. Посетители: Н. С. Лесков. Левенфельд. Массарик. Н. Н. Ге. Первый бюст Л. Н—ча. Всеподданнейший отчет обер-прокурора Синода. Протест сыновей Л. Н—ча. Начало «Воскресения». Начало статьи «Царство Божие внутри вас». Мысли о государстве и церкви из дневника и писем. Л. Н—ч в суде. Влияние образцов всемирной литературы на Л. Н—ча в 80-х годах. Заключение.

Глава 12-я. В семье. Гости. Отречение от литературных прав. . *Стр.* 141

Семейный раздел. Мотивы и содействующие обстоятельства. Внутренняя борьба, решение. Мысли о неравенстве и борьбе с ним. *Литературные работы.* «Искусство». «Непротивление». Отзывы в письмах. Запись в дневнике. Мысли о критиках. *Посещение Ясной супругами Ге.* Картина Иуда (Совесть). Письмо к сыну Ге. *Новое запрещение Крейцеровой сонаты в XIII томе.* Поездка С. А—ны в Петербург. Свидание ее с государем. Отношение к этому Л. Н—ча. Разрешение. *Этика пищи.* Предисловие к ней Л. Н—ча. «Первая ступень». Л. Н—ч на бойне. Запись дневника о воздержании в пище. *Гости в Ясной Поляне.* Гр. А. А. Толстая. Репин. Гинсбург. Картины и скульптурные работы. Мнение Л. Н—ча о скульпторах. Н. Я. Грот и Charles Richet. Запись дневника. *Критический момент в развитии друзей Л. Н—ча.* Переписка. *Отречение от литературных прав. Первые вести о голоде.* Отношение к ним Л. Н—ча. Спор с Раевским. Запись дневника. Письмо к Н. С. Лескову. Переписка с друзьями. *Письмо к баронессе Сутнер. Статья Страхова «Толки о Толстом».* Отзывы о ней Л. Н—ча. Разговор Страхова с гр. А. А. Толстой. Усиление влияния Л. Н—ча.

Часть третья. 1891—1895 г.г.

Голод. Царство Божие.

Глава 13-я. Начало деятельности Л. Н—ча среди голодающих. . . 159

Поездка Л. Н—ча по неурожайным уездам. Начало статьи «Письма о голоде». Приглашение Раевского. Принципиальный вопрос. Дневник Т. Л—вны. *От'езд в Бегичевку.* Первый день. Описание переезда в письме Л. Н—ча к С. А—не. Начало деятельности. *«Страшный вопрос».* Влияние этой статьи на русское общество. Письмо земского врача. Переписка с Репиным. Смерть Дьякова. *Письмо С. А—ны в газетах.* Его последствия. Первые пожертвования. Деятельность англичан. Письмо к ним Л. Н—ча. Начало сомнений. Дневник Т. Л—ны. Переписка с С. А—ой о деятельности в Бегичевке. *«О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая».* Расширение деятельности. Разговоры в Бегичевке. Напряженная работа. *Болезнь и смерть Ив. Ив. Раевского.* Тревога С. А—ны. Поездка в Москву. Возвращение в Бегичевку. Письма Л. Н—ча к Черткову, Ге и Фейнерману о характере своей деятельности. Обозрение Л. Н—чем столовых перед от'ездом в Москву. Возвращение в Москву 30 декабря 1891 года.

Глава 14-я. Продолжение деятельности среди голодающих 173

Л. Н—ч в Москве. *Нападение «Московских Ведомостей».* Комментарии на статью Л. Н—ча. Рассказ Алекс. Андреев. Толстой. Отношение государя. Опровер-

жение. Письмо С. А. в иностранные газеты. Письмо Л. Н—ча к С. А—не. Письмо Н. С. Лескова ко мне. Опровержения Диллона. Письмо Л. Н—ча к Черткову. *Статья «Письма о голоде».* Деятельность земств и администрации. Неверность метода помощи. Нравственные основы помощи. Равнодушие общества. Слова Вольтера. Отношение народа к помощи. Сознание вины перед народом. *Другие нападения на Л. Н—ча.* Распространение ложных слухов. Антихрист. Протест земских деятелей. Напряженная деятельность Л. Н—ча в Бегичевке. Приезд сотрудников. Мое участие. Отъезд в Самару. Расширение дела. *Дальние посетители.* Швед-вегетарианец. Болезнь Л. Н—ча. Американки. Генерал Апиенков со свитой. Английские квакеры. Запись дневника. *Весенний отчет Л. Н—ча.* Литературное приложение. Записи дневника. Запись карманной книжки. Окончание семейного раздела. *Осенний годовой отчет:* 370 столовых, около 16.000 едоков. Экономическое состояние населения. Продолжение бедствия. «Надоело». Я в Бегичевке.

Глава 15-я. Вторая голодная зима. Царство Божие. . . . . . *Стр.* 193

Вторая зима кормления голодающих. Характер бедствия. Сыпной тиф. М. П. Бэрс. Ее деятельность. Болезнь и кончина. Внутренняя жизнь Л. Н—ча того времени. Запись дневника и записной книжки. О живом Христе. О жизни. О музыке. Жизнь—благо. Амиель. Дети. Преследования. Фундамент. Разговор со Страховым. *Жизнь в Ясной Поляне.* Пустота жизни, как реакция напряженной работы. *«Царство Божие внутри вас».* Его история. Квакеры. Гаррисон. Баллу. Отказы от воинской повинности. Противоречия современной жизни. Христианство дает освобождение. Кипение, как образ охристианения массы и власти. Приближение Царства Божия. *Воинский поезд.* Приезд Л. Н—ча в Бегичевку. Рассказ о встрече. Заключение книги. Анархизм. *Преследование.* Дм. Ал. Хилков. Бодянский и др. Посев учения истины.

Глава 16 я. Окончание кормления голодающих. „Посредник" в Москве. 204

Продолжение помощи голодающим. Л. Н—ч в Бегичевке. Бодрое настроение. Вечернее чтение. Народное бедствие. Письмо Л. Н—ча о приложении сил. Л. Н—ч в Ясной Поляне. Определение христианства. Л. Н—ч в Москве. *Окончание книги: «Царство Божие внутри вас».* Письмо к Н. Н. Ге-сыну с покаянием. Отношение Л. Н—ча к распространению своих сочинений. Запись дневника: «Существующее разумно». «Неделание» по поводу писем Зола и Дюма. Требование любви. *Л. Н—ч в Бегичевке для ликвидации дела помощи.* Возвращение в Ясную. Сельские работы. Запись дневника о 4-х мгновениях. Письмо Н. Н. Страхова из-за границы. Сношение Л. Н—ча с обществом «Etische Kultur». Купо-Фишер о Л. Н—че. Смерть П. И. Чайковского. *Юбилей Д. В. Григоровича.* Письмо к нему Л. Н—ча. Сношение с Шекерами. Половая творческая сила. Л. Н—ч почетный член русско-английского литературного общества. *События в России.* Страдания Дрожжина. Отнятие детей у Д. А. Хилкова. Последний отчет о кормлении голодающих. Заключение. *Новая эпоха в деятельности «Посредника».* Перенесение центра в Москву. Участие Л. Н—ча, как редактора и сотрудника. Дневник Амиеля. Франциск Ассизский. Вечера в «Посреднике» с участием Л. Н—ча. Самоотвержение террористов. Значение интеллекта. Зерно и мякина. Запись дневника. Связь с «Посредником» через посетителей. Странник из Сибири. Солдат Новиков. Переписка с друзьями. Письмо к Н. Н. Неплюеву. Посещение И. С. Проханова. Письмо Н. Н. Ге. Овации Л. Н—чу на с'езде естествоиспытателей в Москве.

Глава 17-я. Хилков. Дрожжин. Распятие. 224

Л. Н—ч в Москве. Ряженые в Хамовниках. Письмо Л. Н—ча к государю об отнятии детей Хилкова. Л. Н—ч в имении своего сына Ильи. Смерть Дрожжина. *Картина Н. Н. Ге «Распятие».* В Ясной Поляне. Выставка картины в Москве. «Экзамен». Выставка в Петербурге. Запрещение картины. Частная выставка у

Странполюбского. Письмо Л. Н—ча к Н. Н. Ге в Петербург. Болезнь Льва Львовича. Письмо Л. Н—ча в Париж. Случай в вагоне. «Жизнь как произведение искусства». «Бес» тщеславия. Письмо о воспитании. *Л. Н—ч в гостях у Черткова.* Посещение Русанова. Впечатления Л. Н—ча от Ржевска. Запись в дневнике «об искусстве». Письмо Л. Н—ча в Париж. Случай в вагоне. «Жизнь, как произведение искусства». о Мопассане. Посещение американца Кросби. Эпитеты в письмах. *Кончина Н. Н. Ге* Отзывы Л. Н—ча о Ге в письмах к своим друзьям. Запись дневника о смерти и о любви. Шпион в Ясной Поляне. *Обыски.* У меня в Костромской губернии и в Москве. Письма Л. Н—ча ко мне и Е. И. Попову. Сожаление Л. Н—ча о своей свободе. Красота этого мира. Начало драмы «Петр хлебник». *Сношение с заграничными друзьями.* Кенворти. Маковицкий. *Литературные работы.* Христианское учение «Архив Л. Н—ча Толстого». *Кончина Императора Александра III.* Впечатление в Петербурге и в Ясной Поляне. Письмо Л. Н—ча. Три смерти. *Занятие Л. Н—ча:* письмо в Англию и к баронессе Розен «О разуме». Чтение Канта. Письмо в «Сев. Вестник» о сказке «Карма». *Знакомство с духоборцами.* Веригин в Бутырской тюрьме. Посещение Л. Н—чем духоборов в гостинице. Беседа и снабжение их книгами. *Запись дневника.* Разумение—Бог.

Часть четвертая. 1895—1897 г.г.

Духоборы. Воскресение.

Глава 18-я. Смерть Вани. Хозяин и работник. Духоборы . . . . *Стр.* 247

Л. Н—ч у Олсуфьева. Запись дневника. Мечты о художественной работе. *Переезд в Москву.* Запись дневника. Сумасшествие—эгоизм. Отказ от военной службы доктора Шкарвана. Секта Назарен. *Смерть Ванички.* Похороны. Размышления о смерти в письмах Л. Н—ча. Запись дневника. Смерть и любовь. Письмо к Алекс. Андр. Толстой. Форма и содержание. «*Хозяин и работник*». Восторг публики и отношение самого Л. Н—ча. Письмо к Кенворти. Международный «Посредник». Завещание. Проект нового романа. *Весна в Москве.* Велосипед. Проекты на лето. Странник Кузьмич. Свой портрет. Позорящие поступки. Запись дневника. Отношение к близким людям. Святость. Л. Н—ч у Олсуфьевых. Книжка Серов. Л. Н—ч в Ясной Поляне. Письмо ко мне. *Духоборцы.* Сожжение оружия. Расправа. Письмо Л. Н—ча Хилкову. Моя поездка на Кавказ. Статья «Гонение на христиан». *Знакомство с А. П. Чеховым.* Отзыв о нем Л. Н—ча. Письма Л. Н—ча: к поляку о патриотизме. К Меньшикову о разуме. К младшему сыну о сущности христианства. К голландцу о христианском подвиге. К П. В. Веригину о книге. Шпильгаген о Дрожжине. Приезд в Москву Джона Кенворти.

Глава 19-я. Три смерти. Наша ссылка 263

Жизнь Л. Н—ча в Москве. Письмо к Кросби. Распространение идей Л. Н—ча в Америке. Посланничество. Разбойник и ребенок. Смерть Н. Н. Страхова, Н. М. Нагорного и Агафьи Михайловны. Сведения о ней из воспоминаний Ильи Львовича. Часы. Собаки. Свечка. Телеграмма. Мышь. Письмо Л. Н—ча к японцу Иокай. Отказы от воинской повинности Ольховика и Середы. Индийская мудрость. Отказ художника С. Письмо к Черткову о жизни. *Л. Н—ч у Олсуфьевых.* Письмо к С. А—не. Чтение Корнеля и Расина. Мысли об искусстве из дневника. *Л. Н—ч в Москве.* «Власть тьмы» в Малом театре. Выражение сочувствия студентов. Арест женщины-врача Халевинской. Письмо Л. Н—ча к министрам вн. дел и юстиции. *Л. Н—ч в Ясной Поляне.* Запись в дневнике о капитализме. Ходынка. Мысли об искусстве. Христианское учение. Как читать Евангелие. Приближение конца. *Начало Хаджи Мурата.* Л. Н—ч в Пирогове. Оптина пустынь. Шамардино. Первый набросок. *Письмо к либералам.* Комитет грамотности. Развитие его деятельности. Его закрытие. Про-

тест. Обращение ко Л. Н—чу, его ответ. Письмо к редактору немецкого журнала. Письма к начальникам дисциплинарных батальонов. *Другие занятия Л. Н—ча.* Сочинения Спира. Индийская философия. Мертвый ребенок. Посещение японцев. Испанская чернильница. *Гонение на духоборов.* Воззвание: «Помогите!». Наша деятельность. Обыск и распоряжение о ссылке. *Л. Н—ч в Петербурге.* Воспоминания Кони. А. А. Толстая. Возвращение Л. Н—ча к Олсуфьевым.

Глава 20-я. Молокане. Что такое искусство . . . . . *Стр.* 282

Л. Н—ч у Олсуфьевых. Письмо Л. Н—ча ко мне в ссылку. Письмо к Черткову. Особенности заграничной жизни. Отношения Л. Н—ча с Бьернсоном. Об'яснение Л. Н—ча по поводу помощи духоборам. *Студенческие волнения.* Смерть Ветровой. Рассказ Л. Н—ча в письме к Черткову. Письмо к Кони. *Отнятие детей у молокан.* Письмо к Черткову. Письмо Л. Н—ча к государю. Письмо к Олсуфьеву. Второй приезд молокан осенью. Второе письмо к государю. Хлопоты Татьяны Львовны. Свидание с Победоносцевым. Возвращение детей. *В Ясной Поляне.* Замужество Марии Львовны. Скульптор Гинсбург лепит статуэтку. Посетители. *Письмо Л. Н—ча об уходе.* Внутренняя предшествующая работа. История письма. Намек на уход в письме к Черткову. Письмо ко мне в ссылку о распространении истины. Болезнь Марии Львовны. *Посещение Ломброзо.* Отзывы о нем Л. Н—ча. Рассказ Ломброзо. Окончание статьи «Об искусстве». Смерть Генри Джорджа, Алекс. Дюма, кн. Сер. Сем. Урусова. Продолжение «Хаджи Мурата». *Краткое изложение статьи об искусстве.* Определения. Образцы истинного и ложного искусства. Содержание искусству дает религия. Христианство требует нового содержания. Задача христианского искусства—единение людей. *Переезд в Москву.* Занятия Л. Н—ча. Работы дворника. Устройство катка.

Глава 21-я. Духоборы. Опять голод. Христианское учение. 299

Помощь духоборам. Мое переселение за границу. Письмо Л. Н—ча ко мне. Воззвание Л. Н—ча о помощи духоборам. Делегация духоборов у Л. Н—ча. Запрещение «Русских Ведомостей» за сбор пожертвований. Угрозы убить Л. Н—ча в анонимных письмах. *Новый голод в России.* Л. Н—ч в Чернском уезде. Посещение Спасского-Лутовинова. Устройство столовых. Препятствия администрации. Настроение Л. Н—ча. Его переезд и болезнь у Левицких. Статья «Голод или не голод». Рассказ Л. Н—ча о своей деятельности. Три вопроса и их решение. Действие администрации. *Возникновение «Свободного Слова».* Выработка программы. Моя переписка со Л. Н—чем. Его сотрудничество. Мой переезд в Швейцарию. Издание «Свободной Мысли». *Продолжение помощи духоборам.* Вопрос о переселении. Решение Л. Н—ча о пожертвовании гонорара. Сбор пожертвований. Увлечение Л. Н—ча работой над «Воскресением». Условие с Марксом. 70-летний юбилей. *«Христианское учение».* Общий план. Заключение. *Л. Н—ч в Ясной.* Отношение его к городу. Случай с иконой. Чтение книги о буддизме. Переписка с Моодом. Заключение.

Глава 22-я. Конференция в Гааге. Воскресение 313

Отношение Л. Н—ча к Гаагской конференции. Ответ американской газете. Ответ группе шведской интеллигенции. Условие уничтожения войска. *Письмо о самоубийстве.* Монах Оптиной пустыни. *Письмо о религиозном воспитании.* Основная причина гибельного существования человечества. «Закон Божий». Искренность в ответах ребенку. Что бы ответил Л. Н—ч. *Письмо к фельдфебелю.* Обличение церковной лжи и государственного насилия. *Работа над «Воскресением».* Сюжет романа. Автобиографическая часть романа. Рассказ Л. Н—ча мне о своей жизни за три месяца до смерти. Теория Генри Джорджа. Общая идея романа. Типы, списанные с натуры. Обер-прокурор Синода. Странник-раскольник. Заключение романа. Почему роман кончается евангельским текстом. Борьба эстетика и моралиста. Повод окончания романа. *Обзор критической литературы о «Воскресении».* Краснов в «Неделе». Реа-

лизм Толстого. Простота языка. Героиня. Михайловский и война с «невидимым». Сементковский в «Ниве». Нехлюдов знакомый русский тип: Чацкий, Манилов, Рудин, Райский. Отражение русского общества. Протопопов в «Русской Мысли» и его нападки. Пелисье о «Воскресении». Особенность реализма Толстого. Художественная психология. Анатоль Леруа Болье. Богданович в «Мире Божьем». Сила творчества. Голос совести. Сравнение с легендами о мучениках-праведниках. Необычайное распространение «Воскресения». Очищение души. Соловьев в «Жизни». «Суббота для человека, а не человек для субботы». Присутствие искренности и доброты в языке Толстого. *Как Толстой писал «Воскресение»*. Из статьи Моода. Продажа романа Марксу. Трудности от непризнания Л. Н—чем литературной собственности. Борьба с русской цензурой. Борьба с иностранной общественной цензурой. Искажения. Новая переработка Л. Н—чем всего произведения в корректуре. Драматические переделки. 40 изданий. Пасквили. Последствия «Воскресения».

Введение.

Приступая к составлению третьего тома биографии Л. Н—ча Толстого, я останавливаюсь перед новыми трудностями. Если в I-м томе мне пришлось употребить все силы на отыскивание материала и на восстановление картин далекого прошлого, свидетели которого уже сошли в могилу; если при составлении второго тома я останавливался перед трудностью проникновения в таинственный процесс перерождения великой души,—то все же, создавая исторические картины, я описывал мало известное, почти новое, и интерес этого нового значительно искупал недостатки описания.

В третьем томе я испытываю затруднение совершенно другого рода.

Все, что я буду описывать, начиная с 1885 г., настолько живо еще в воспоминаниях всего мыслящего общества современого мне поколения, что мне придется говорить о вещах хорошо известных, происходивших на виду и на памяти живущих людей. Абсолютно об'ективная точка зрения недоступна живо чувствующему человеку. И вот, описывая факты со своей точки зрения, я рискую не удовлетворить моим описанием многих, столь же сильно, но иначе чувствующих читателей, которыми эти события рассматривались под совсем другим углом зрения.

Помощью мне в этом деле будет большое количество живых человеческих документов, излагая или приводя которые, я буду стараться отходить в сторону, предоставляя им говорить самим за себя, лишь оттеняя и подчеркивая те места, которые, по моему мнению, стоят большего внимания.

Но и эта, доступная об'ективность, вперед знаю, удовлетворит немногих. Кроме того изложение событий, в большей части которых я принимал личное участие, неизбежно поведет к изложению моих личных впечатлений от этих событий и воспоминаний о них, и эти впечатления и воспоминания будут вплетаться в отчеты о совершившихся фактах.

Я надеюсь, что ценность этих документов, особенно писем Л. Н—ча и заметок из его дневника, будет настолько велика, что интерес к ним искупит недостаток моей работы и пополнит то, на что неспособны были мои слабые силы.

Закончить же свою работу или, по крайней мере, довести ее до того современного момента, когда популярность Л. Н—ча достигла наивысшего уровня, когда его жизнь стала чуть не ежедневным об'ектом всякого рода описаний, расходящихся путем периодической печати по всему миру, довести до этого момента—я считаю своим священным долгом. Таким путем я надеюсь передать мою работу более опытным и искусным мастерам этого дела.

Нового в этом томе, т.-е. такого, чего еще не было в двух предыдущих томах — это отношение Л. Н—ча ко всему европейскому, американскому и азиатскому миру, что стало заметно именно со 2-й половины 80-х годов прошлого столетия.

Это всемирное влияние Л. Н—ча, до которого он дошел вопреки своей скромности, особенно ярко, хотя и не шумно, выразилось в тех сердечных приветствиях с разных стран земного шара, которым ознаменовался недавно пережитый им 80-тилетний юбилей. На этом одном событии я и думаю остановить, если не за-

кончить свою работу, выполнив таким образом задуманный план. Дай бог, чтобы эта работа моя хоть сколько-нибудь послужила к уяснению той великой истины, служению которой посвятил свою жизнь наш дорогой, великий старец, истины о том, что жизнь человека есть не что иное, как возращение в себе ростка любви к богу и людям и ко всему живущему.

С. Ивановское, 24 июля 1909 г.

Эти страницы введения, как показывает дата, были написаны мною шесть лет тому назад, при начале работы над III-м томом. За эти шесть лет утекло много воды, много было пережито великих, тяжелых и грозных событий. Я здесь коснусь только тех из них, которые могли так или иначе повлиять на ход моей работы. Я оставляю раньше написанное так, как оно было, потому что оно дает верную картину моего настроения и моих намерений при начале работы.

7-го ноября 1910 года перешла в вечность великая душа, жизнь свою положившая на искание истины, на осуществление в своей жизни той доли ее, которая была доступна ей и на распространение вокруг себя и на весь человеческий мир того света, которого она была скромной носительницей.

Как ни крепился я, как ни старался метафизическими умозаключениями отстранить от себя чувство потери, я этого сделать не мог и горько плакал у его гроба и теперь плачу, когда пишу эти строки. Признаю свою слабость, свою ничтожность. Боюсь впасть в никому ненужное самобичевание и потому не прибавляю себе других эпитетов. Я чувствую горе от этой потери, потому что только в редкие, лучшие минуты жизни могу чувствовать близость его духа; для этого нужно быть чистым, а я далек от этого, и нечистота моя мешает мне единению с ним. Но и на том дальнем расстоянии, на которое отодвигает меня мое несовершенство, я питаюсь той духовной пищей, которую он в таком изобилии оставил нам. И я верю в наше полное духовное единение, когда то, что теперь мешает нам, устранится тем или иным путем.

Да простит мне читатель это лирическое отступление. Дело в том, что последние дни жизни Л. Н—ча, обстоятельства его кончины необыкновенно расширили биографический материал, и вместе с тем с окончанием этой замечательной жизни наложили на меня обязанность довести до конца начатое мною дело описания этой жизни. Все это привело к тому, что мне пришлось разделить имевшийся в моем распоряжении материал уже не на три, а на четыре тома. Гранью третьего и четвертого томов я избрал эпоху, когда Л. Н—ч написал и издал свой роман «Воскресение». Последующие затем события, его отлучение, болезнь, война, революционное движение, его юбилей и кончина—все это достаточно оттеняет эпоху, чтобы дать право посвятить ей отдельный четвертый том.

Если в первом томе я дал очерк происхождения Л. Н—ча и его молодость, во втором—описание его мирной семейной жизни и его художественного творчества, задержавших, скопивших его духовную энергию, которая прорвалась, наконец, через все преграды и ознаменовала его духовный кризис, то третий том дает нам картину его долгой, 15-тилетней деятельной жизни на новых началах; картину его борьбы с миром, историю развития его влияния на русское и заграничное общество, образцы его нового творчества и обширной общественной деятельности этого периода на общее благо.

Вполне сознаю, что собранный мною, координированный и комментированный материал преподносится читателю почти в сыром виде. На более тщательную обработку его у меня не хватило сил. Пусть сделают это другие. Я полагаю, что и в этом виде моя работа стоит издания и должна возбудить интерес в тех, кому дорого имя Л. Н—ча.

Я сказал вначале, что материала у меня было много. Следуя прежней системе, я его снова разделяю на три отдела. 1-й отдел—первоисточники: рукописи, дневник, письма самого Л. Н—ча и его собрание сочинений как появившихся в печати,

так и лежащих в архивах. 2-й отдел—сочинения о Л. Н—че достойных доверия лиц, говорящие о нем из первых рук, сообщающие те или другие факты как его внешней, так и внутренней жизни, и наконец, 3-й отдел—различные второстепенные сочинения о Л. Н—че, вспомогательные и критические, сочинения, которыми пришлось пользоваться для пополнения тех или иных сведений, и затем частные и журнальные статьи и вырезки. В этот список материалов я включаю, конечно, только те источники, которыми я пользовался специально для III-го тома и которые не включены мною в предыдущие списки.

Нужно ли говорить о том, какое тяжелое чувство испытывал я, излагая жизнь и об'ясняя мировоззрение великого миротворца в то время, когда слышен гром пушек, стон раненых, плач об убитых, рассказы и описания ужаснейших зверств, какие только знало когда-либо человечество? Что это за ужасающее противоречие с чистыми идеалами Толстого? Не заволакивают ли все эти ужасы облаком удушливого газа все наши юные мечты? Нет, нисколько. «Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». И солнце правды и добра светит и в эти ужасные дни. Старый мир, отошедший от истины, поправший законы бога и природы, корчится в последних судорогах отчаяния, и весна человечества наступит в полной силе и разольет радость и благо по всей вселенной. Да будет мой труд хоть одной каплей той животворящей росы, тем одним радостным лучем, которые в бесконечной массе тепла и живительной влаги пробудят уснувшую жизнь и поведут человечество снова вперед к бесконечному благу.

С такими мыслями и в таком виде я выпускаю III-й том, с надеждой, что читатели оценят правдивость сказанного в нем и будут снисходительны к другим недостаткам автора.

Как всегда, буду искренне благодарен за всякое серьезное замечание и критику, из которых надеюсь извлечь себе пользу для продолжения, исправления и окончания моего большого труда.

Павел Бирюков.

1-го ноября 1915 г.

Onex près Genève. Suisse.

Список использованных материалов для III-го тома.

Кроме упомянутых источников в I-м и во II-м томе, мне пришлось использовать для III-го тома следующие материалы:

I разряд.

1) Дневники Л. Н—ча с 1888 по 1899 годы.
2) Переписка Л. Н—ча с В. Г. Чертковым (рукопись, арх. Черткова).
3) Переписка Л. Н—ча с П. И. Бирюковым (рукопись, арх. П. И. Б—ва).
4) Переписка Л. Н—ча Толстого с Татьяной Л. Сухотиной (рукопись, арх. Т. Л. С—ной).
5) Переписка гр. С. А—ны Толстой с Т. А. Кузьминской (рукопись, арх. Т. А. К—ой).
6) Переписка Л. Н—ча с кн. Дм. Ал. Хилковым (арх. П. И. Б—ва).
7) Рукописный сборник писем за много лет (арх. кн. М. Л. Оболенской).
8) Письма Л. Н—ча Толстого к жене. Москва. 1913 г.
9) Толстовский музей, т. I. Переписка Л. Н—ча с Алекс. Андреевной Толстой. СПБ. 1911 г.
10) Толстовский музей, т. II. Переписка Л. Н—ча с Н. Н. Страховым. СПБ. 1914 г.
11) Толстовский Ежегодник. Год первый (изв. Толст. музея в Петербурге).
12) Толстовский Ежегодник, т. II. 1912 г. Москва. Изд. Толст. общества в Москве и Петербурге.
13) Толстовский Ежегодник, т. III. 1913 г. СПБ. Изд. Толст. общ. в Петербурге и Москве.
14) Записки гр. Софьи Андреевны Толстой (рук. арх. С. А—ны).
15) Три тома писем Л. Н—ча, изданные П. А. Сергеенко.
16) Сборник писем, помещенный в последних томах полного собрания сочинений Л. Н—ча. Изд. т-ва И. Д. Сытина. Москва. 1913 г.
17) Л. Н. Толстой и русские цари. Изд. под ред. В. Г. Черткова. М. 1918.
18) Дневник Л. Н—ча Толстого 1895—1899 гг. Изд. В. Г. Черткова.

II разряд.

19) Личные воспоминания и дневники (рукопись, арх. П. И. Б—ва).
20) Величкина В. М. у Л. Н—ча Толстого в голодный 1892 год. Воспоминания. «Современный Мир», кн. V и VI. 1912 г.
21) Давыдов Н. В. Из прошлого. М. 1913 г.
22) Кони А. Ф. «На жизненном пути», т. II. М. 1913 г.
23) Лазурский В. Воспоминания о Л. Н. Толстом. М. 1911 г.
24) Лев Толстой и голод. Изд. Г. И. Сергеева и В. Е. Чешихина. Нижний-Новгород. 1912 г.
25) Международный Толстовский Альманах. Сост. П. А. Сергеенко. М. 1908.
26) Наживин И. Ф. Воспоминания о Л. Н. Толстом. Собр. соч., т. V. М. 1912.

27) Письма духоборческого руководителя П. В. Веригина. Изд. «Свод. Сл.», № 47. Christchurch.
28) «Русские Ведомости» (1863—1913). Сборник статей. М. 1913.
29) Семенов С. Т. Воспоминания о Л. Н—че Толстом. СПБ. 1913.
30) Staddling Jonas In the land of Tolstoï. London. James Clark et C⁰ 1897.
31) Stead W. T. Truth about Russia Cassel & C⁰. London. 1888.
32) Тенеремо И. Живые речи Л. Н. Толстого. (1885—1908). Одесса. 1908.
33) Толстой И. Л. Мои воспоминания. М. 1914.
34) Гольденвейзер. Восп. о Толстом. М. «Пропилей».
35) Толстой Л. Н. Биография, характеристики, воспоминания. Сборник т-ва «Образование». М. 1910.
36) Л. Н. Толстой и медицина.
37) Romain-Rolland. La vie de Tolstoï. Paris.
38) A la mémoire de Léon Tolstoï. Séance solennelle. Genève 1911.
39) Kuhne, Walter. Tolstois Entwickelung, Wandlung nach Denkweis.
40) Luxembourg, Rosa. Tolstois Nachlasz. „Die Neue Zeit“ № 29. 1913. Stuttgart.
41) Tolstoï. „Les grands hommes“ Edition Pierre Lafitte & C-ie Paris, 1913.
42) Tournaire Georges. Tolstoï. Conférence faite à Paris. Edition de la revue Esser. Paris. 1905.
43) Ряд журнальных биографических и критических статей и газетных вырезок.
44) Vera Starkoff. La verité sur Tolstoï. Paris. 1912.

Отдел III.

Справочный отдел.

45) Леон Семенов. Л. Н. Толстой и М. Ю. Лермонтов.
46) Сергеенко А. П. Хронологический список сочинений Л. Н. Толстого (рукопись арх. Черткова).
47) Толстовский музей в С.-Петербурге. Описание музея. Составил В. И. Срезневский и В. Н. Тукалевский. СПБ. 1912 г.
48) Указатель журнальных статей, вып. II. Сост. Ульянов. СПБ. 1911.
49) Архив Толстовского музея в Москве.
50) Архив Толстовского музея в Петербурге.
51) Арх. В. Г. Черткова в Tuckton House Tuckton. Bournemouth. England.

Список рисунков

к III тому биографии Л. Н—ча Толстого.

		Стр.
1.	Лев Николаевич в 1885 году	III
2.	Передняя часть кабинета Л. Николаевича в Ясной Поляне в 80-х годах	1
3.	Л. Николаевич со стаканом чая удаляется в свой кабинет в Хамовнич. доме для занятий	»
4.	Уголок залы Яснополянского дома в 80-х годах	17
5.	На косьбе	»
6.	Пахарь	33
7.	Лев Николаевич в 1887 году	49
8.	Семейная группа в Яснополянском саду в 1887 году	65
9.	За самоваром. Утро в Яснополянском доме в 1887 году	81
10.	Лев Николаевич в своем рабочем кабинете в 90-х годах	97
11.	Хамовнический дом Льва Николаевича зимой	113
12.	Лев Николаевич в 1892 году	129
13.	Лев Николаевич в Бегичевке, на голоде, составляет списки нуждающихся	145
14.	Лев Николаевич в Бегичевке в 1893 году со своими сотрудниками	161
15.	Лев Николаевич в 1894 году	177
16.	Лев Николаевич с двумя дочерьми в Хамовническом доме в 1895 году	193
17.	После лаун-тенниса в Яснополянском саду	209
18.	Купальня на речке Воронке близ Ясной Поляны	225
19.	Лев Николаевич в 1896 году в Москве	241
20.	Любимая скамейка Льва Николаевича в Яснополянском лесу	257
21.	Л. Николаевич в 1897 году	273
22.	С велосипедом	»
23.	Группа, снятая в Петрограде, перед ссылкой Черткова и Бирюкова в 1897 году	289
24.	Вечерний чай с гостями в Хамовническом доме 15 апр. 1898 г.	305

2. Передняя часть кабинета Л. Н-ча в Ясной Поляне в 80-х годах.

3. Л. Н-ч со стаканом чая удаляется в свой кабинет в Хамовническом доме для занятий.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1884—1886 г.г.

НОВАЯ ЖИЗНЬ. НОВЫЕ ТЕРНИИ. НОВОЕ ТВОРЧЕСТВО

ГЛАВА 1-я.

События 1884 г. Народная литература.

Мы закончили второй том описанием поездки Л. Н—ча из Москвы в Ясную Поляну в декабре 1884 года, позаимствовав это описание из его поэтического письма к Софье Андреевне.

Прежде, чем перейти к 1885-му году, упомянем о некоторых событиях 1884 г., пропущенных нами во 2-м томе по тем или иным причинам.

В мае этого года Л. Н—ч, в письме к Черткову, дает весьма интересный отзыв о своем новом сочинении, посвященном критике церковного учения. Вот что он говорит об этом:

«Несмотря на то, что это сочинение—обзор богословия и разбор евангелий есть лучшее произведение моей мысли, есть та одна книга, которую (как говорят) человек пишет во всю свою жизнь. (Я имею на это свидетельство двух ученых и тонких критиков, обоих несогласных со мною в убеждениях, оба, всегда прямо говорившие мне правду, признали сочинения неопровержимыми.) Несмотря на это, книга эта не убедит того, кто не убедился одним сопоставлением нашей жизни и церкви с духом Евангелия. Книга эта есть расчищение пути, по которому уже идет человек. Но когда человек идет по другому пути, ему вся работа эта представляется бесполезною. Вы не поверите тому, как я радуюсь на то, что в последние три года во мне исчезло всякое желание прозелитизма, которое было во мне и очень сильно. Я так твердо уверен в том, что то, что для меня истина, есть истина всех людей, что вопрос о том, когда какие люди придут к этой истине, мне не интересен. Вчера я молол кофе и иногда глядел, как и когда попадает под зубцы замеченная мною кофеинка. Очевидно, что это праздное занятие и даже вредное, потому что, занявшись одной кофеинкой, я останавливался молоть и засовывал ее туда. Все смелются, если мы будет молоть, а не молоть мы не можем, потому что не мы, а Бог через нас и весь духовный мир делает это» [1]).

В одном из следующих писем Л. Н—ч дает краткую картину своей жизни и окружающей его среды:

«Живу я нынешний год в деревне как-то невольно по-новому: встаю и ложусь рано, не пишу, но много работаю, то сапоги, то покос. Прошлую неделю всю проработал на покосе. И с радостью вижу (или мне кажется так), что в семье что-то такое происходит, они меня не осуждают, им как будто совестно. Бедные мы, до чего мы заблудились. У нас теперь много народа—мои дети и Кузьминских, и часто я без ужаса не могу видеть эту безнравственную праздность и обжирание. Их так много, они все такие большие, сильные. И я вижу и знаю весь труд сельский, который идет вокруг нас. А они едят, пачкают платье, белье и комнаты. Другие для них все делают, а они ни для кого, даже для себя—ничего. А это всем кажется самым натуральным и мне так казалось; и я принимал участие в заведении этого порядка вещей. Я ясно вижу это и ни на минуту не могу забыть. Я чувствую, что я для них trouble fête, но они, мне так кажется, начинают чувствовать, что что-то

---

[1]) Арх. В. Г. Черткова.

не так. Бывают разговоры—хорошие. Недавно случилось: меньшая дочь заболела и пришел к ней, и мы начали говорить с девочками, кто что делал целый день. Всем стало совестно рассказывать, но рассказали и рассказали, что сделали дурное. Потом мы повторили это на другой день вечером, и еще раз. И мне бы ужасно хотелось втянуть их в это—каждый вечер собираться и рассказывать свой день и свои грехи. Мне кажется, что это было бы прекрасно, разумеется, если бы это делалось совершенно свободно».

По поводу сапожной работы, о которой Л. Н—ч упоминает в начале письма и которую он, очевидно, затевал в обществе с кем-нибудь, сохранилась его записка-поручение одному другу в Москве:

«Простите, голубчик, что утруждаю вас. На Софийке (на улице, параллельной Кузн. М.) лучший магазин. Купите молотков, клещей, шильев-форшников, пожей, инструмент соскребать гвозди и т. п. Но хитрых штук для элегантной обуви не покупайте. Колодки купите или там же, или в переулке с Арбата загнутым ходом, выходящим на Подновинский, в подвале, направо живет колодник. Если останутся деньги, купите пряжи, щетинок, гвоздей, вару. Эти хорошие вещи нужны».

18 июля 1884 г. родилась дочь Саша. Когда я в первый раз был у Л. Н—ча, она была грудным ребенком. Теперь я вижу ее взрослой девушкой, преданно и самоотверженно служащей отцу, заведующей его корреспонденцией, переписывающей его рукописи и сознательно признающий основы жизни своего великого отца [1]).

Отношения Л. Н—ча с семьей были в это время трудные. Ему хотелось коренным образом изменить свою жизнь, но окружающие его, близкие ему люди, не были готовы к этому и это вызывало страдания и с той и другой стороны. Когда эти трудности, эти страдания принимали характер безнадежности, у Л. Н—ча являлась мысль покинуть дом. Такая мысль явилась у него и накануне рождения Саши. В дневнике 1884 г., 17—29 июня, мы находим между прочим такую запись: «Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело. Я унел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу».

Такова была первая попытка «ухода».

К осени в душе Л. Н—ча наступает некоторое равновесие. Он так выражает это в письме к Черткову в ноябре этого года:

«Я спокоен, и мне и вокруг меня хорошо. Жизнь моя не та, какую я одну считаю разумной и не грешной, но я знаю, что изменить ее сил у меня нет, я уже пытался и обломал руки, и знаю, что я никогда или очень редко упускаю случай противодействовать этой жизни там, где противодействие это никого не огорчает».

И далее в том же письме он сообщает о новом знакомстве:

«Скоро после вас был у меня Сютаев-сын, тот, который был в солдатах. Он два с половиной года пробыл в крепости, из них 5 месяцев был в сумасшедшем доме на испытании, и полтора года отслужил, но не присягал. Вы его видели. Его зовут Иван, маленький ростом. Мы с ним во всем согласны, кроме внебрачных отношений, которые он считает не грехом. Он, впрочем, согласен, что это зло. Он пробыл у меня 3 дня, и мы полюбили друг друга. Я тут говорил, что я бы его истолок с вами в ступе и сделал бы из вас двух людей прелестных. Разумеется, это вздор, и Бог знает лучше, и вы лучше, какой вы есть».

В конце письма он прибавляет:

«Еще получил «В чем моя вера», напечатанное по-немецки и прекрасно переведенное. Ничего еще не знаю о том, отозвалось ли оно там в ком-нибудь. Это была радость для меня больше дурная, тщеславная».

К умственной деятельности Л. Н—ча того времени следует отнести его занятие китайской философией. В письмах к Черткову он много раз выражает свой

[1]) С тех пор, как это было написано, на долю А. Льв—ны выпало исполнение воли ее умершего отца. Она ее отчасти исполнила, передав яснополянскую землю крестьянам, а изданные сочинения своего отца—всему миру. *П. Б.*

восторг перед глубиной мудрости древних китайских философов. Он читает Конфуция, Менция, Лао-Тзе и находит в них много общего с христианством, только на низшей ступени; но именно поэтому он и считает чтение китайской мудрости полезным подготовлением к пониманию христианства.

Осенью того же года я получил от моего друга Владимира Григорьевича Черткова предложение принять участие, в качестве редактора, в журнале для народа, который он тогда хотел издавать. Я ответил принципиальным согласием, но дело представлялось слишком сложным и у нас затеялась по этому поводу большая переписка со Львом Николаевичем и со многими выдающимися людьми того времени, так или иначе казавшимися нам компетентными в этом деле.

3-го октября Лев Николаевич писал между прочим Черткову:

«...Мысль вашего журнала мне очень, очень сочувственна. Именно потому, что она слишком дорога мне, я боюсь возлагать на нее надежды. Что я буду желать только писать туда—это верно.

«Вот что: о программе не думайте. Сделайте только такую, которая бы была одобрена. Программа журнала будет видна через три года его издания. А что вы хотите в журнале, это мы знаем очень твердо. Коротко сказать: чтение ни в чем не противное христианскому учению, и если Бог даст, выражающее это учение, чтение, доступное массе. Новое, если будет, то прекрасно, но прежде нового надо дать все старое, что удовлетворяет этим требованиям. А эта сокровищница не исчерпана и не почата. Согласны?» [1]).

Кроме того в письмах ко мне он не раз высказывается о народном журнале. Привожу здесь эти мысли:

«...Насчет редакторства будущей газеты я думаю, что вы будете прекрасный редактор, но Чертков еще лучше. Вы во многих отношениях будете лучше его, но в одном, в пуризме христианского учения, никого не знаю лучше его. А это самое дорогое» [2]).

И дальше:

«...Как жаль, что вы не могли приехать, дорогой Павел Иванович. Журнал очень вызывает меня к деятельности. Не знаю, что Бог даст. Пришлите, пожалуйста, программу, если у вас есть. Меня смущает научный отдел. Это самое трудное. Как раз выйдет пошлость. А этого надо бояться больше всего.

«Язык надо бы по всем отделам держать в чистоте,—не то, чтобы он был однообразен, а напротив, чтобы не было того однообразного литературного языка, всегда прикрывающего пустоту. Пусть будет язык Карамзина, Филарета, попа Аввакума, но только не наш газетный. Если газетный язык будет в нашем журнале, то все пропало» [3]).

Так как вопрос о периодическом органе для народа представлял неисчислимые трудности, сравнительно с отдельными изданиями, то, естественно, пришлось сначала заняться более легким делом и приступить к отдельным изданиям. Л. Н—ч принял в этом деле самое горячее участие. Инициатива этого дела также принадлежала Л. Н—чу. Еще в конце 1883 года Л. Н—ч писал между прочим Черткову:

«Я увлекаюсь все больше и больше мыслью издания книг для образования русских людей. Я избегаю слова для народа, потому что сущность мысли в том, чтобы не было деление народа и не народа. Писарев [4]) принимает участие. Не верится, чтобы вышло, боюсь верить, потому что слишком было бы хорошо. Когда и если дело образуется, я напишу вам».

В следующем письме, вероятно, написанном в январе 1884 года, Л. Н—ч снова говорит об этом:

---

[1]) Арх. Черткова.
[2]) Там же.
[3]) Там же.
[4]) Рафаил Алексеевич Писарев, землевладелец Тульской губ.

«Мое занятие книгами все больше и больше захватывает меня. Хотелось бы отплачивать, чем могу, за свои 50-тилетние харчи. Не пишу вам подробно, потому что кое-как рассказать не хочется, а мысль мне дорога, да еще и подвергнется многим изменениям, когда начнется самое дело» [1]).

И вот на это предложение В. Г. Чертков отвечал проектом народного журнала. Как вы видели, этот проект пришлось оставить и заняться изданием отдельных книжек.

Участие и руководительство Л. Н—ча сделало предпринятое нами дело настолько значительным, что начатое нами скромное издательство создало эпоху в истории народной литературы и произвело в ней важную реформу.

Сущность реформы заключалась в следующем: народная литература, т.-е. та литература, которую читает масса рабочего, крестьянского народа добровольно без всякого административного и благотворительного или педагогического насилия над ним и вне культурного влияния интеллигенции, приобретаемая им на собственные деньги, распространялась еще в то время (начало 80-х годов прошлого столетия) при посредстве коробейников, носивших свои товары в лубочных ящиках и потому она называлась лубочною. Она удовлетворяла известной потребности чтения, заключая в себе житие святых, героические поэмы, сказки, рыцарские романы, сонники, письменники, анекдоты Балакирева, песенники и календари.

Издатели лубочной литературы преследовали исключительно коммерческие цели. Для удешевления товара и увеличения барыша они пренебрегали обработкой содержания, и поэтому их издания не только были безграмотны, но иногда содержали в себе повести без конца или без начала, иногда название на обложке не соответствовало содержанию книжки, и самое содержание было смесью суеверия, грубых сцен и нелепостей.

Но потребность к чтению была так сильна, и интеллигенция так мало удовлетворяла ее, что народ питался этой скудной умственной пищей в тщетном многолетнем ожидании лучшей.

И вот кружок людей, вдохновляемый Л. Н—чем, принялся за преобразование этой литературы.

Мы уже видели во II-м томе из письма Л. Н—ча к г-же Пейкер [2]), по поводу издания народного журнала, с какою строгостью, серьезностью и любовью Л. Н—ч относился к народной литературе. Это письмо было написано в 1873 году. В 1885 году Л. Н—ча посетил Г. П. Данилевский. В описании своей поездки в Ясную Поляну, Г. П. так передает слова Л. Н—ча о народной литературе:

«Коснувшись Гоголя, которого Л. Н—ч в своей жизни никогда не видел, и ныне живущих писателей, Гончарова, Григоровича и более молодых, граф заговорил о литературе для народа. «Более тридцати лет назад,—сказал Л. Н—ч,—когда некоторые нынешние писатели, в том числе и я, начинали только работать, в стомиллионном русском государстве грамотные считались десятками тысяч; теперь, после размножения сельских и городских школ, они, по всей вероятности, считаются миллионами. И эти миллионы русских грамотных стоят перед нами, как голодные галчата с раскрытыми ртами, и говорят нам: господа родные писатели, бросьте нам в эти рты достойной вас и нас умственой пищи: пишите для нас, жаждущих живого, литературного слова, избавьте нас от все тех же лубочных Еруслапов Лазаревичей, Милордов, Георгов и прочей рыночной пищи. Простой и честный русский народ стоит того, чтобы мы ответили на призыв его доброй и правдивой души. Я об этом много думал и решился, по мере сил, попытаться на этом поприще» [3]).

И попытки Л. Н—ча увенчались большим успехом.

[1]) Там же.

[2]) См. биогр. Л. Н. Т—го. Т. II, стр. 132.

[3]) Е. П. Данилевский. Поездка в Ясную Поляну. «Истор. Вестник». 1886 г. III. 529—544.

Успеху дела «Посредника», такое название принял этот литературный издательский кружок, способствовало то обстоятельство, что в его деле соединились три весьма значительные силы. Во-первых, самое важное—это высокий нравственный уровень содержания издаваемых произведений. Все они должны были с той или иной стороны освещать учение Христа, принимаемое в его самом простом, непосредственном жизненном значении.

Во-вторых, к этому делу были привлечены тогда лучшие литературные силы.

В-третьих, не было создано никакой искусственной организации, практическую сторону дела взял на себя один из крупных в тогдашнее время издателей лубочной литературы — Иван Дмитриевич Сытин, своим проницательным умом понявший всю важность этого дела. А искра света, живущая в душе его, дала ему возможность отнестись к нему не механически и не корыстно, а с сердечным сочувствием. Главный практический успех этого дела был следствием того, что высокое содержание, исполненное лучшими силами, было пущено по тем же путям, по которым шла ранее прежняя лубочная литература, и потому она дошла до места и сделала свое дело.

Л. Н—ч отдал в распоряжение редакции «Посредника» свои народные рассказы, уже раньше написанные им: «Чем люди живы?», «Кавказский пленник» и «Бог правду видит, да не скоро скажет». Произведения эти, благодаря «Посреднику», известны теперь всему русскому народу и даже инородцам, так как они переведены на различные наречия, даже на сартский язык.

Вместе с тем было получено разрешение от П. С. Лескова напечатать его рассказ «Христос в гостях у мужика». Это была первая серия из 4-х книжек, этих лучших произведений русской литературы, изданных в виде лубочных изданий и по той же цене, т.-е. 1½ коп. розничная цена и 1 коп. оптовая. Все эти рассказы выдержали в короткое время по нескольку изданий, и число выпущенных экземпляров надо считать сотнями тысяч, если не миллионами, так как впоследствии их издавали и многие другие издатели.

Вскоре явилась потребность иметь собственный книжный склад, и он был открыт в Петербурге, на Петербургской стороне, на Большой Дворянской улице, в д. № 25 25 апреля 1885 года. Заведывание этим складом было поручено мне. Я вышел в отставку и переехал жить в склад, с которым и не разлучался в течение 5-ти лет.

Л. Н—ч со своей стороны занялся разработкой слышанных им или записанных народных легенд, выборкой из четьи-минеи и прологов и вскоре дал «Посреднику» целый ряд народных рассказов.

Чтобы показать, какой интерес проявлял Л. Н—ч к издательской деятельности «Посредника», приведем несколько извлечений из его переписки с В. Г. Чертковым и со мной в первое время нашей издательской деятельности. Он сам писал рассказы, давал новые темы и поправлял работы начинающих писателей, если находил их достойными. Исправление было для него делом самым трудным. Он увлекался иногда сюжетом и переделывал так, что от оригинала почти ничего не оставалось. Тогда он приходил в ужас, возвращался к оригиналу и в отчаянии скромно сознавался в своей несостоятельности. Одной из его любимых книжек была «Жизнь Сократа». Он над ней много работал. Так, он писал Черткову летом 1885 года:

«С Сократом случилась беда. Я стал переделывать, стал читать Платона и увидал, что все это можно сделать лучше. Сделать я всего не сделал, но все измарал, и калмыковское и свое, и запутал и остановился пока. Я писал об этом Калмыковой и жду ее ответа. Можно напечатать, как было, ее изложение, и потом вновь переделать его; но можно и, по-моему лучше, не торопиться и с ней вместе обдумать и исправить. Удивительное учение—все то же, как и Христос, только на низшей ступени. И потому особенно драгоценно. Если ясно выразить то, до чего дошло учение истины на низшей ступени, то очевидно будет, что оно могло пойти дальше в том же направлении (как оно и было), а не пойти назад, как это выходит по церковным толкованиям. Бог нас наставит, как лучше, но теперь не готово.

В области лубочных картин также была предпринята реформа, и к этому делу были привлечены лучшие силы.

Между прочим И. Е. Репин оказал этому делу незаменимую услугу, нарисовав акварелью фигуру страдающего Христа для одной лубочной картины и несколько других картин и рисунков для книг.

Вот в каких выражениях Л. Н—ч благодарил Репина в том же письме к Черткову, указывая кроме того на безвестных героев, сведения о которых следует распространять в народе. В мае 1885 года он писал:

«Радость великую мне доставил Репин. Я не мог оторваться от его картинки и умилился. Буду стараться, чтобы передано было, как возможно лучше. Посылаю вам черновую моего рассказа. Извините, что измарано. Я отдам ее набрать завтра. Равно и «Сапожника». Только картинок нет к поджигателю. Не заказать ли кому в Москве? Нынче пришла мне мысль картинок героев с надписями. У меня есть два. Один—доктор, высосавший яд дифтеритный. Другой—учитель в Туле, вытаскивавший детей из своего заведения и погибший в пожаре. Я соберу сведения об этих и, если Бог даст, напишу тексты и закажу картинки и портреты. Подумайте о таких картинках героев и героинь. Их много, слава Богу. И надо собирать и прославлять в пример нам. Эту мысль нынче мне Бог дал, и она меня ужасно радует. Мне кажется, она может дать много. Репину, если увидите, скажите, что я всегда любил его, но это лицо Христа связало меня с ним теснее, чем прежде. Я вспомню только это лицо и руку, и слезы навертываются. Калмыкова была и читала то, что она поправила и прибавила. Эта книга будет лучше всех, т.-е. значительнее всех».

В одном письме он высказывается Вл. Гр. Черткову о важности книг, о мудрецах и пишет так:

«Есть другие знания—знание того, что делали до нас и теперь делают люди для того, чтобы понять жизнь и смысл ее, т.-е. свое отношение к бесконечному и к людям. Это очень нужно. И те знания, которые я приобрел в этой области и приобретаю теперь, мне много дали и дают спокойствия, твердости и счастья. И этих знаний и вам желаю. Не оттого, чтобы я думал при этом о каком-нибудь недостатке в вас. Я слишком люблю вас для этого, а оттого, что я по себе знаю, какую это придает силу, спокойствие и счастье—входить в общение с такими душами, как Сократ, Эпиктет, Arnold, Паркер. Странно это сопоставление, но для меня оно так. Я, благодаря Сократу Калмыковой, перечитываю стоиков и много приобрел. Это—азбука христианской истины, и, читая их, я только больше утверждаюсь в христианстве. Все их учение в том, чтобы класть все благо в том, что от меня зависит, в чем я свободен—в справедливости, добром расположении к людям, в чистоте нравственной, а все дела внешние—общественное мнение, богатство, здоровье, жизнь тела—считать не моим. Этим распоряжается Бог, Отец мой, а не я. И мое дело только по отношению этого—хотеть, желать то, чего Он хочет. Тогда, говорит, ты будешь счастлив, чувствуя, как ты с каждым часом будешь приближаться к Нему, где все благо. Ну, разве это не прекрасно? Недосказано только то (да и то есть намеки), что для этого надо любить не себя, а других, то, что сказал Христос. Очень бы мне хотелось составить «Круг Чтения», т.-е. ряд книг и выборки из них, которые все говорят про то одно, что нужно знать человеку, прежде всего—в чем его жизнь, его благо»...

Вот еще, когда зародилась во Л. Н—че мысль о «Круге Чтения», которую он осуществил много лет спустя, за четыре года до своей смерти.

Приблизительно в то же время он писал мне:

«Вчера получил от Чер. длинное письмо из Берлина и посылку с рукописью Свешниковой из Петербурга. Содержание статьи прекрасное. Не опасно ли? Не только ввиду запрещения, но и ввиду возможности упрека в направлении. Вам—виднее. Поправлять ее я не стал и прибавлять заключения. Язык однохарактерный и в разговорах даже очень прост и чувствуется Hugo, т.-е. великий мастер. Заключение всякое будет или ложно, или нецензурно. Заключение одно: Сюмурдеи думал, что он знает, что хорошо и что дурно, что он это узнает; следуя законам

правительства: но убийство его друга показало ему, что, по законам,—хорошим называется дурное и дурным хорошее, и он потерял бывшую у него веру. Новую же веру он не стал, не мог искать, потому что он чувствовал, что она совсем противоположна его прежней вере и что обличит его в непоправимом поступке. Так повесился Иуда. И так убиваются все, кто убиваются. Пока инерция лжи и сознание истины действуют под углом меньше двух прямых, жизнь идет по равнодействующей,-но когда эти две силы станут по одной линии, жизнь прекращается и раздирается по своей ли, или по чужой воле.

Сократа я пачкаю и порчу и даже занутался в нем, и потому не присылаю. Я им очень дорожу и надеюсь, что мы с А. М. Калмыковой доведем это до еще много лучшего. Я ей писал и жду ответа. Вот именно, почему страшно издавать такие задорные и не совсем понятные по языку статьи, как переделка В. Гюго. Как бы они не помешали возможности издать Сократа. А то так бы было полезно. Я на-днях вышлю страницы из отмеченных житий святых Дм. Ростовского, как мне пишет В. Г., и пришлю вам».

«...Житие Петра Мытаря надо бы изложить и издать. Беликов не сделал ли бы этого? Я было начал делать из него народную драму, но затерял начало, да если бы и нашел, то постарался бы докончить в драматической форме. Житие Павлина прекрасно. Какие другие два? Можно бы присоединить и Петра М. Почему их издавать без рамки, как пишет Чертков? Я написал один рассказ, еще не поправил. Он ничего не имеет нецензурного, и потому, когда кончу, прямо отдам его Сытину».

«...Что картинки? Неужели не пропустят? Да и вообще, почему другие не выходят? Я писал об этом Сытину. Еще я писал ему, чтобы он выслал вам переписанные мои два рассказа, новые, для того, чтобы заказать к ним картинки. Чертков писал мне о том, что Крамской обещал. Это было бы очень хорошо. Благодарю за ваши письма, особенно за предпоследнее, оно мне было радостно. Передайте мой привет Александре Михайловне. Она прекрасный сотрудник. Что Сократ?».

«Посылаю письмо В. Г. Письмо хорошее, но о предмете этого письма можно и должно сказать кое-что, если говорить о художественном произведении — о книжке. Например, я теперь поправляю рассказ бабы, поехавшей в Сибирь за мужем. Это вся развратная жизнь и лживая и в ней высокие черты. Нельзя и не должно скрывать лжи, неверности и дурное. Надо только осветить все так, что то—страдания, а это—радость и счастье.

Не правда ли так, В. Г. и П. И.?» [1]).

ГЛАВА 2-я.

Так что же нам делать?

Мы еще вернемся не раз к деятельности «Посредника», так как жизнь Л. Н—ча часто захватывала ее и направляла ее на истинный путь. Кроме народной литературы, в конце 1884 и в начале 1885 годов Л. Н—ч был занят печатанием своей статьи, вышедшей потом отдельной книгой, под заглавием «Так что же нам делать?»

Мы уже упоминали во II-м томе об этой замечательной книге по поводу участия Л. Н—ча в московской переписи. Первые главы этой книги действительно посвящены воспоминаниям о переписи, но остальная, бо́льшая часть книги содержит в себе яркие, сильные критические изображения современного экономического неравенства, анализ причин этого явления, указания на возможность избавления от него и изображение личного опыта в этом отношении самого Л. Н—ча. Он начал ее еще в апреле 1884 года. В письме к Черткову того времени он говорит: «Я начал печатать

[1]) Арх. П. И. Бирюкова.

в «Русской Мысли» свою статью о том, что вышло из моей статьи о переписи (я говорил вам), но не знаю, кончу ли. Развиваются другие мысли. Я начинаю чувствовать себя более бодрым, чем последнее время, и хотелось бы период этой бодрости употребить на дело Божие».

В переписке Софьи Андреевны с ее сестрой Т. А. Кузминской мы находим указания на эту работу.

23 декабря 1884 года С. А. пишет:

«Левочка в очень хорошем духе; пишет свою статью о бедности города и деревни и спешит кончить к январской книге. Уже начали печатать».

9 января 1885 года она пишет:

«...Левочка печатает свою статью в январе в «Русской Мысли» и весь ушел в свою работу; но печи все топит сам и комнату убирает и сам все делает».

И далее около того же времени С. А. пишет:

«Левочка кончает свое печатание, которое сожгут, но все-таки, надеюсь, что он успокоится и не будет больше писать в этом роде».

К счастью для всего человечества, Л. Н—ч не успокоился и продолжал до конца своей жизни писать все в одном и том же роде.

Но предположение С. А. оправдалось в другом отношении. Статья Л. Н—ча была действительно вырезана цензором и уничтожена. Конечно, она сохранилась в корректурных оттисках, с которых было сделано множество всевозможных копий, разошедшихся по России и за границей.

Владимир Григорьевич Чертков, уже тогда преданный распространитель произведений Л. Н—ча нового направления, особенно ревностно относился к точности не только содержания, но и внешней формы произведения. Статья, озаглавленная «Так что же нам делать?», очевидно, должна была давать ответ на поставленный в заглавии вопрос. Но первые 17 глав, которые были напечатаны в «Русской Мысли» и стали распространяться отдельно, не заключали еще в себе ответа на этот вопрос, и, стало быть для этой части заглавие не соответствовало содержанию. Поэтому, когда Влад. Триг—чу предложили напечатать это произведение за границей, он предоставил в распоряжение издателя копию, при чем просил заменить прежнее заглавие новым, выработанным им с согласия Л. Н—ча: «Какова моя жизнь?». Под этим заглавием это произведение и было напечатано в первый раз по-русски Элпидиным в Женеве. Но так как это произведение распространялось и помимо В. Г. Черткова, то многим оно попало в руки под прежним заглавием, и даже появились два разных перевода на французский язык одного и того же произведения под разными названиями. Подобную судьбу испытали и некоторые другие произведения Л. Н—ча, расходившиеся подпольным путем.

После запрещения начала статьи в «Русской Мысли», Л. Н—ч продолжал работать над ней. Последнюю из напечатанных глав, а именно 17, затрагивающую вопрос о деньгах, Л. Н—ч развил в 5 самостоятельных глав, анализируя в них вопрос о деньгах с разных сторон. Эти 5 глав «о деньгах» также распространились отдельно в многочисленных копиях под видом отдельного произведения Л. Н—ча: «Деньги» и так было переведено на многие языки.

Наконец, третья часть этой книги, когда Л. Н—ч кончил ее писать, стала опять распространяться под прежним заглавием «Так что же нам делать?».

Кроме того издатель «Русского Богатства», покойный Л. Е. Оболенский, желая включить имя Л. Н—ча в число своих сотрудников, получил разрешение от Л. Н—ча напечатать в своем журнале отрывки из его книги, на которые согласится цензура; таким образом в «Русском Богатстве» за 1885 г. появился ряд очерков Л. Н—ча: «Жизнь в городе», «Из воспоминаний о переписи», «Деревня и город» и затем в 1886 году «Труд мужчин и женщин». Многими читателями все эти очерки были приняты за самостоятельные произведения Л. Н—ча. Они переводились на иностранные языки, и в одном из переводов для французского журнала Illustration они были талантливо иллюстрированы Ильей Ефимовичем Репиным.

Только очень недавно книга эта была издана в полном виде Чертковым, в

Крайст-Черче, и затем появился французский перевод в издании Стока в Париже. В настоящее время эта статья включена в полное собрание соч. Л. Н—ча и издана в России в исправленном и дополненном виде [1]).

Такова внешняя история этой книги. Перейдем теперь к ее внутреннему содержанию. Мы не будем здесь излагать подробно и шаг за шагом ее содержание. Книга эта теперь стала доступна всем. Нам важно уловить в ней основную идею, те руководящие мысли, в которых отразилась духовная жизнь Л. Н—ча того времени. Нас интересует, так сказать, биографическая сторона этой книги не в узком смысле подчеркивания автобиографических фактов, а именно, как отражение внутренней, духовной сущности автора ее.

Как уже было сказано, внешним поводом написания этой книги послужила московская перепись 1882 года. И потому первые 12 глав книги действительно посвящены воспоминаниям о переписи. Содержание их нами уже передано во II-м томе биографии.

XII глава написана, очевидно, в 1885 году, так как в ней говорится о переписи, как о событии, бывшем три года назад.

Л. Н—ч кончает главу рассказом, как он видел, как мясник точит свой нож о тротуар, а ему показалось, что он делает что-то с камнем. Беря этот образ отточенного ножа за символ остроты сознания истины, Л. Н—ч так заключает эту главу:

«Это случилось со мной, когда я начал писать статью. Мне казалось, что я все знаю, все понимаю относительно вопросов, которые вызвали во мне впечатление Лянинского дома и переписи; но когда я попробовал сознать и изложить их, оказалось, что нож не режет, что нужно точить его. И только теперь, через три года, я почувствовал, что нож мой отточен настолько, что я могу разрезать то, что хочу. Узнал я нового очень мало. Все мысли мои те же, но они все были тупее, все разлетались и не сходились к одному; не было в них жала, все не свелось к одному, к самому простому и ясному решению, как оно свелось теперь».

Далее в XIII главе он изображает свой внутренний процесс истинного познавания причин экономического неравенства.

«Я помню, что во время моего неудачного опыта помощи несчастным городским жителям, я сам представлялся себе человеком, который бы желал вытащить другого из болота, а сам бы стоял на такой же трясине. Всякое мое усилие заставляло меня чувствовать непрочность той почвы, на которой я стоял. Я чувствовал, что я сам в болоте, но это сознание не заставило меня тогда посмотреть ближе под себя, чтобы узнать, на чем я стою; я все искал внешнего средства, вне меня находящегося».

«Я жил в городе и хотел исправить жизнь людей, живущих в городе, но скоро убедился, что я этого не могу сделать; и я стал задумываться о свойствах городской жизни и городской бедности».

Что такое город? Из кого слагаются жители его и что их влечет туда? На этот естественный вопрос, возникающий у человека, вдумывающегося в причины городской нищеты, Л. Н—ч отвечает так:

«Везде по всей России, да, я думаю, и не в одной России, а во всем мире происходит одно и то же. Богатства сельских производителей переходят в руки торговцев, землевладельцев, чиновников, фабрикантов, и люди, получившие эти богатства, хотят пользоваться ими. Пользоваться же вполне этими богатствами они могут только в городе. В деревне, во-первых, трудно найти, по раскинутости жителей, удовлетворение всех потребностей богатых людей, нет всякого рода мастерских, лавок, банков, трактиров, театров и всякого рода общественных увеселений. Во-вторых, одно из главных удовольствий, доставляемых богатством, — тщеславие, желание удивить и перещеголять других, опять по раскинутости населения, с трудом может быть удовлетворяемо в деревне. В деревне нет ценителей роскоши, некого удивить. Какие бы деревенский житель ни завел себе украшения жилища, картины, бронзы, какие бы ни

[1]) Изд. т-ва Сытина под редакцией П. И. Бирюкова.

завел экипажи, туалеты, некому смотреть и завидовать, мужики не знают во всем этом толку. И, в-третьих, роскошь даже неприятна и опасна в деревне для человека, имеющего совесть и страх. Неловко и жутко в деревне делать ванны из молока или выкармливать им щенят, тогда как рядом у детей молока нет; неловко и жутко строить павильоны и сады среди людей, живущих в обваленных навозом избах, которые топить нечем. В деревне некому держать в порядке глупых мужиков, которые по своему необразованию могут расстроить все это.

И поэтому богатые люди скопляются вместе и пристраиваются к таким же богатым людям с одинаковыми потребностями в города, где удовлетворение всяких роскошных вкусов заботливо охраняется многолюдной полицией».

«Богатые люди собираются в города и там, под охраной власти, спокойно потребляют все то, что привезено сюда из деревни. Деревенскому же жителю отчасти необходимо итти туда, где происходит этот неперестающий праздник богачей и потребляется то, что взято у него, с тем, чтобы кормиться от тех крох, которые спадут со стола богатых, отчасти же, глядя на бесчинную, роскошную и всеми одобряемую и охраняемую жизнь богачей, и самому желательно устроить свою жизнь так, чтобы меньше работать и больше пользоваться трудами других».

И главный рычаг этого развращения, этой погибели — это деньги.

На деньгах Л. Н—ч останавливается особенно долго, считая самое учреждение денег новой утонченной формой рабства.

«Всякое порабощение одного человека другим,—говорит Л. Н—ч,—основано только на том, что один человек может лишить другого жизни, и, не оставляя этого угрожающего положения, заставить другого исполнить свою волю».

И вот он замечает, что в истории человечества сменялись один за другим три вида рабства:

1) Рабство личное, физическое.

2) Рабство земельное, насилие собственности.

3) Рабство денежное, государственное, насилие податей, кредита и найма.

Первый вид рабства, состоящий в том, что более сильный физически заставлял под угрозой побоев и смерти работать на себя, широко применялся в древности, встречается и теперь изредка среди нашего так называемого цивилизованного общества, и еще довольно часто применяется европейскими цивилизаторами к другим расам, в европейских колониях.

Второй вид рабства, земельный, состоит в том, что люди получали некоторую внешнюю свободу, но без права на землю, и за пользование землей платили барщиной, натурой, или чем иным.

Этот вид рабства еще широко распространен и он уже сменяется третьим, еще более утонченным, рабством денежным, состоящим в наложении на народ денежных податей, для добывания которых народ должен или отдавать часть своих произведений, или прямо свой труд тем, у кого есть деньги, т.-е. чиновникам и богатым людям.

Этот вид рабства, особенно широко распространяющийся теперь, вытесняющий постепенно два первые, возможен только при усовершенствованном государственном насилии, с его банками, тюрьмами, администрацией и войском.

Деньги представляют из себя легкий способ обеспечения, т.-е. освобождения от труда. Денежный знак, по определению Л. Н—ча, есть постоянный вексель, предъявляемый ко взысканию и погашаемый трудом бедняка.

«Все три способа порабощения людей не переставали существовать и существуют и теперь; но люди склонны не замечать их, как скоро этим способам даются новые оправдания. И что странно, что именно этот самый способ, на котором в данное время все зиждется, этот винт, который держит все,—он-то и не замечается».

Кроме того все это ужасное состояние насилия, злобы, разврата поддерживается и оправдывается ложными эгоистическими теориями, служащими привилегированному меньшинству, поддерживаемому насилием власти. И сколько бы ни уничтожалось рабство на словах, оно не может уничтожиться на деле, пока не будет уничтожено насилие.

«Покуда будет один вооруженный человек с признанием за ним права убить какого бы то ни было другого человека, до тех пор будет неправильное распределение богатства, т.-е. рабство».

Затем Л. Н—ч снова перебирает все неудачи своей благотворительности и резюмирует эти неудачи в трех пунктах:

«Первая причина была скопление в городах и поглощение в них богатств деревни. Стоит только человеку не желать пользования чужим трудом посредством службы правительству, владения землею и деньгами, и потому по силе возможности самому удовлетворять своим потребностям, чтобы ему никогда и в голову не пришло уехать из деревни в город, где все есть произведение чужого труда, где все надо купить; и тогда, в деревне, человек будет в состоянии помогать нуждающимся и не испытает того чувства беспомощности, которое я испытывал в городе, желая помогать людям не своим, а чужим трудом.

«Вторая причина была раз'единение богатых с бедными. Стоит только человеку не желать пользоваться чужим трудом посредством службы, владения землею и деньгами, и человек будет поставлен в необходимость сам удовлетворять своим потребностям, и тотчас же невольно разрушится та стена, которая отделяет его от рабочего народа, и он сольется с ним и станет плечо в плечо с ним и получит возможность помогать ему.

«Третья причина был стыд, основанный на сознании безнравственности моего обладания теми деньгами, которыми я хотел помогать людям. Стоит человеку не желать пользоваться чужим трудом посредством службы, владения землею и деньгами. и у нас никогда не будет тех лишних дурацких денег, присутствие которых у меня вызвало в людях, не имеющих денег, требования, которым я не мог удовлетворить,— а во мне чувство сознания своей неправоты».

Л. Н. дает яркую картину последствий этого насилия, этого рабства одного человека над другим, в городе и в деревне, где господа постарались устроить подобие города.

Как случилось с людьми то, что многие из них добрые, умные, искренние, религиозные, могут жить в этом соблазне, в этом аду ненависти и злобы?

Причину этого Л. Н—ч видит в том, что слабые люди оправдывают несправедливость своей жизни господствующими учениями:

«В прежние времена люди, пользовавшиеся трудом других, утверждали, во-первых, что они люди особенной породы, и, во-вторых, имеют особенное назначение от Бога заботиться о благе отдельных людей, т.-е. управлять ими и учить их, и потому они уверяли других и часто верили сами, что то дело, которое они исполняют, нужнее и важнее для народа, чем те труды, которыми они пользовались».

«Но с христианством и вытекающим из него сознанием равенства и единства всех людей, оправдание это уже не могло быть выставляемо в прежней форме».

И вот одна за другой являются теории оправдания людской несправедливости. Являются учение Гегеля о разумности существующего, разные науки юридические, учение Мальтуса о перенаселении, учение Конта о человечестве, как организме, философия Спенсера и пр.

Указание на виновность науки в оправдании насилия, вызвало в интеллигентном обществе обвинение Л. Н—ча в отрицании науки и искусства. Интеллигентные люди не хотели видеть и читать следующих знаменательных слов его:

«Я не только не отрицаю науку, т.-е. разумную деятельность человеческую, и искусство—выражение этой разумной деятельности, но я только во имя этой разумной деятельности и выражений ее говорю то, что я говорю, только для того, чтобы была возможность человечеству выйти из того дикого состояния, в которое оно быстро падает, благодаря ложному учению нашего времени, только для этого я и говорю то, что я говорю».

«Науки и искусство так же необходимы для людей, как пища и питье, и одежда, даже необходимее».

И затем Л. Н—ч определяет, что он понимает под истинной наукой и искусством.

«С тех пор, как существуют люди, у них всегда была наука, в самом ее простом и широком смысле. Наука, в смысле всех знаний человечества, всегда была и есть, и без нее немыслима жизнь: ни нападать на нее, ни защищать ее нет никакой надобности. Но дело в том, что область этих знаний так разнообразна, так много входит в нее знаний всякого рода—от знаний, как добывать железо, до знаний движения светил,—что человек теряется в этих знаниях, если у него нет руководящей нити, по которой бы он мог решать, какое из всех знаний самое важное для него и какое менее важно.

«И потому высшая мудрость людей всегда состояла в том, чтобы найти ту руководящую нить, по которой должны быть расположены знания людей: какое из них первой, какое меньшей важности.

«Те знания и искусства, которые содействовали и ближе подходили к основной науке о назначении и благе всех людей становились выше в общем мнении.

«Такова была наука Конфуция, Будды, Моисея, Сократа, Христа, Магомета, наука такая, какою ее разумеют все люди, за исключением нашего кружка, так называемых, образованных людей.

«У истинной науки и истиного искусства есть два несомненные признака: первый—внутренний, тот, что служитель науки и искусства не для выгоды, а с самоотвержением будет исполнять свое призвание, и второй—внешний, тот, что произведения его понятны всем людям, благо которых он имеет в виду».

И снова Л. Н—ч восклицает: «Так что же нам делать? Что же нам делать?». И отвечает так:

«Первое: не лгать перед самим собой; как бы ни далек был мой путь жизни от того истинного пути, который открывает мне разум,—не бояться истины.

«Второе: отречься от сознания своей правоты, своих преимуществ, особенностей перед другими людьми и признать себя виноватым.

«Третье: исполнять тот вечный, несомненый закон человека — трудом всего существа своего бороться с природою для поддержания жизни своей и других людей».

В заключительной главе Л. Н—ч обращается к женщинам, как к той половине рода человеческого, в руках которых находится воспитание подрастающего поколения. В их руках, в их власти дать то или другое направление детям, и так как общественное мнение устанавливается привилегированным классом, то он и обращается, главным образом, к матерям богатого класса и говорит так:

«Женщины-матери богатых классов, спасение людей нашего мира от зол, которыми он страдает, в ваших руках».

Чтобы хорошо понять содержание этой главы и форму ее изложения, нужно вспомнить, что в 1885 году, именно тогда, когда Л. Н—ч писал эту книгу, он получил сочинение, а потом и вошел в переписку с автором этого сочинения, крестьянином Тимофеем Михайловичем Бондаревым. Сочинение это, по признанию самого Льва Николаевича, многое открыло ему и, несомненно, повлияло на развитие его взглядов.

Вот что он говорит об этом в своей книге «Так что же нам делать?».

«В библии сказано, как закон человека: «*В поте лица снеси хлеб и в муках родиши чада*».

«Мужик Бондарев, написавший об этом статью, осветил для меня мудрость этого изречения».

Сущность взглядов Бондарева заключалась в том, что он считал самым для человека важным, исполнение первородной заповеди Бога, мужчине: «В поте лица снеси хлеб свой», а женщине: «В болезнях родиши чада своя». Не исполнив этих первых заповедей, говорит Бондарев, нельзя исполнить и остальных. Мы еще вернемся к описанию отношения Л. Н—ча к этому замечательному человеку, а теперь мы упомянули о нем только для того, чтобы уяснить себе заключительную главу

Л. Н—ча: «О женщинах». «Подобно тому, как нельзя купить ребенка и считать его своим, так и хлеб купленный будет всегда чужой. Своим ребенком может назвать мать только того, кого она родила в страдании. И хлебом своим мужчина может назвать только тот хлеб, который он выработал в поте лица своего». Вот это-то основная мысль и легла в основу рассуждений Л. Н—ча о женщинах в заключительной главе его книги. И он в горячих словах выражает свое преклонение перед женщиной-матерью.

«Вы, женщины и матери, сознательно подчиняющиеся закону Бога, вы одни знаете в нашем несчастном, изуродованном, потерявшем образ человеческий, кругу, вы одни знаете весь настоящий смысл жизни по закону Бога. И вы одни своим примером можете показать людям то счастье жизни в подчинении воле Бога, которого они лишают себя. Вы одни знаете те восторги и радости, захватывающие все существо ваше, и то блаженство, которое предназначено человеку, не отступающему от закона Бога. Вы знаете счастье любви к мужу, счастье не кончающееся, не обрывающееся, как все другие, а составляющее начало нового счастья любви к ребенку. Вы одни, когда вы просты и покорны воле Бога, знаете не тот шуточный, парадный труд в мундирах и освещенных залах, который мужчины вашего круга называют трудом, а знаете тот истинный, Богом положенный людям труд и знаете истинные награды за него, знаете то блаженство, которое он дает».

И книга Л. Н—ча заключается такими словами:

«Вот такие-то, исполнившие свое призвание, женщины, властвуют над властвующими мужчинами и служат путеводною звездою людям; такие-то женщины устанавливают общественное мнение и готовят новые поколения людей; и потому в руках этих женщин высшая власть, власть спасения людей от существующих и угрожающих зол нашего времени.

Да, женщины-матери, в ваших руках, больше чем в чьих-нибудь других, спасение мира».

Таково содержание книги, написанной Л. Н—чем в это время и вызванной к жизни его неудачным опытом благотворительной деятельности.

В заметке, напечатанной Л. Н—чем в одном из тогдашних благотворительных журналов, он так резюмирует свой опыт благотворительности:

«Выводы, к которым я пришел относительно благотворительности, следующие:

«Я убедился, что нельзя быть благотворителем, не ведя вполне добрую жизнь и тем более нельзя, ведя дурную жизнь, пользуясь условиями этой дурной жизни, для украшения этой своей дурной жизни, делать экскурсии в область благотворительности. Я убедился, что благотворительность тогда только может удовлетворить и себе, и требованиям других, когда они будут неизбежным последствием доброй жизни; что требования этой доброй жизни очень далеки от тех условий, в которых я живу. Я убедился, что возможность благотворить людям есть венец и высшая награда доброй жизни, и что для достижения этой цели есть длинная лестница, на первую ступень которой я даже и не думал вступить. Благотворить людям можно только так, чтобы не только другие, но и сами бы не знали, что делаешь добро,—так, чтобы правая рука не знала, что делает левая; только так, как сказано в учении двенадцати апостолов, чтобы милостыня твоя потом выходила из твоих рук, так, чтобы ты и не знал, кому ты даешь. Благотворить можно только тогда, когда вся жизнь твоя есть служение благу».

Писание этой книги не легко давалось Л. Н—чу; так в начале 1885 года он писал одному из своих друзей:

«Семейные мои огорчились тем, что я писал в статье о своей жизни и потому о них и мне это было больно, и я все думал об этом и был не спокоен духом» [1]).

Тем не менее Лев Николаевич писал эту книгу с большим увлечением. В октябре 1885 года он пишет Черткову:

---

[1]) Архив Черткова.

«Живу 4-й, кажется, день (не вижу, как дни идут), один в деревне, один с Александром Петровичем. Работается так много, как давно не было. Только горе, пишу все рассуждения в статью «Что же нам делать?». И знаю, и согласен с вами, что другое нужнее может быть людям, да не могу—нужно выперхнуть то, что засело в горле. И кажется, скоро освобожусь» [1]).

В следующем письме он уже оправдывается перед Чертковым в своем увлечении этой статьей такими словами:

«С тех пор получил два письма—одно вчерашнее, с выражением неодобрения тому, что я посвящаю все свое время статье, и нынешнее—о «Двух стариках». Я согласен с вами, что другое я бы мог писать, и оно как будто действительнее, но не могу оторваться, не уяснив прежде всего себе (и другим, может быть), такую страшную, непривычную мысль, что считающееся таким благородным занятие нашими науками и искусствами—дурное, безнравственное занятие. И мне кажется, что я достигаю этого, и что это очень важно. Нынче с Александром Петровичем говорили. Он говорит, что не скоро люди будут жить хорошо, а мне всегда кажется, что скоро. Стоит только разрушить соблазн—ложное, обманчивое рассуждение, на которое они опираются. Люди—разумные существа и не могут жить с сознанием, что они живут против разума, и вот когда они делают это, им на помощь приходит ум, строющий соблазны. Стоит разрушить соблазн, и они покорятся. Они построят новые, но обязанность каждого, если он видит обман соблазна,—указать его людям. Я это-то и постараюсь делать. Но ваши замечания мне очень дороги и полезны, и пожалуйста, делайте их и порезче»...

Еще через месяц уже из Москвы, на вопрос Черткова, он отвечает так:

«Вы спрашиваете, что я работаю. Я кончаю (кончил, могу сказать), статью Что же нам делать?». И много работаю руками и спиною в Москве. Вожу воду, колю, пилю дрова. Ложусь и встаю рано, и мне одиноко, но хорошо».

В этой книге было много автобиографического. В марте 1885 г. Л. Н—ч писал Черткову:

«Про себя напишу: хотелось бы сказать, что я бодр и счастлив, и не могу. Не несчастлив я—далек от этого. Но мне тяжело. У меня нет работы, которая поглощала бы меня всего, заставляя работать до одурения и с сознанием того, что это мое дело, и потому я чуток к жизни, окружающей меня и к своей жизни, и жизнь эта отвратительна.

«Вчера ночью я пошел гулять. Возвращаюсь, вижу на Девичьем поле что-то барахтается, и слышу, городовой кричит: «Дядя Касим, веди же». Я спросил: «Что?». «Забрали девок из Проточного переулка, трех провели, а одна пьяная отстала». Я подождал. Дворник с ней поровнялся с фонарем: девочка по сложенью, как моя 13-тилетняя Маша, в одном платье грязном и разорванном, голос хриплый, пьяный; она не шла и закуривала папироску. «Я тебе, собачья дочь, в шею», кричал городовой. Я взглянул в лицо,—курносое, серое, старое, дикое лицо. Я спросил: «Сколько ей лет?», она сказала: «16-й». И ее увели. (Да, я спросил, есть ли отец и мать; она сказала, мать есть.) Ее увели, а я не привел ее к себе в дом, не посадил за свой стол, не взял ее совсем,—а я полюбил ее. Ее увели в полицию сидеть до утра в сибирке, а потом к врачу свидетельствовать. Я пошел в чистую покойную постель спать и читать книжки (и заедать воду смоквой). Что же это такое? Утром я решил, что пойду к ней. Я пришел в полицию, ее уже увели. Полицейский с недоверием отвечал на мои вопросы и об'яснил, как они поступают с такими. Это их обычное дело. Когда я сказал, что меня поразила ее молодость, он сказал: «Много и моложе есть».

«В это же утро нынче пришел тот, кто мне переписывает, один поручик, Иванов. Он потерянный и прекрасный человек. Он ночует в ночлежном доме. Он пришел ко мне взволнованный. «У нас случилось ужасное: в нашем номере жила

---

[1]) Толстовский Ежегодник, 1913 г. Письма Л. Н. Толстого. Стр. 28.

2896.

4. Уголок залы Яснополянского дома в 80-х годах.
Слева направо: М. А. Стахович, Л. Н-ч, Татьяна Львовна, М. А. Кузминская, Марья Львовна, Софья Андреевна.

5. На косьбе
(с наброска И. Е. Репина).

прачка. Ей 22 года. Она не могла работать—платить за ночлег было нечем. Хозяйка выгнала ее. Она была больна и не ела досыта давно. Она не уходила. Позвали городового. Он вывел ее». «Куда же,—говорит она,—мне итти?» Он говорит: «Околевай, где хочешь, а без денег жить нельзя». И посадил ее на паперть церкви. Вечером ей итти некуда, она пошла назад к хозяйке, но не дошла до квартиры, упала в воротах и умерла».

«Из частного дома я пошел туда. В подвале гроб, в гробу почти раздетая женщина с закостеневшей, согнутой в колене ногой. Свечи восковые горят. Дьячек читает что-то вроде панихиды. Я пришел любопытствовать. Мне стыдно писать это, стыдно жить. Дома блюдо осетрины, пятое, найдено не свежим. Разговор мой перед людьми мне близкими об этом встречается недоумением: зачем говорить, если нельзя поправить. Вот когда я молюсь: Боже мой, научи меня, как мне жить, чтобы жизнь моя не была мне гнусной. Я жду, что Он научит меня».

Не трудно узнать в этом описании содержание XXIV главы, где эти два факта переданы почти буквально, только с еще большими трагическими, художественно обработанными подробностями. И эта живость фактов, эта наличность живых документов придает еще больше значения этой замечательной книге.

ГЛАВА 3-я.

Бремя жизни. Посланничество. Земельный вопрос.

197484

В половине 80-х годов шла напряженная борьба правительства с революционным движением. Жертв было много и ко Льву Николаевичу стекались просьбы родственников пострадавших об облегчении их участи. Л. Н—ч редко отказывал в такого рода помощи и передавал просьбу своим влиятельным друзьям. Одною из таких была его родственница, графиня Александра Андреевна Толстая, и вот в 1884 г. мы видим целый ряд писем Л. Н—ча, в которых он просит ее исходатайствовать те или другие льготы для политических ссыльных. И среди этих писем есть чрезвычайно характерные для Л. Н—ча строки. В ходатайства о ссыльных вплетается вопрос о вере, и Л. Н—ч как бы отбивается от дружеских попыток к обращению. В мае 1884 г. он пишет:

«Очень грустно будет, если Армфельд не позволят жить с дочерью. Она уже начала падеяться. Хочется сказать и скажу: в каком же мире мы живем, если о том, чтобы мать могла жить с несчастной дочерью,—несчастной, потому что ее держат на каторге люди же нашего мира,—если об этом нужно просить, умолять, хитрить и хлопотать?»

«Если есть еще миссионеры, есть люди, любящие своих братьев (не тех, которые на каторге, а тех, которые держат их там), то вот кого надо обращать с утра и до вечера: государя, министров, комендантов и др. Обращайте их, вы живете среди них, внушайте им, что если от их воли зависит облегчить участь несчастных и они не делают этого, то они нехристи и очень несчастны».

Немного позднее он защищается еще решительнее:

«Очень вам благодарен, милый друг,—пишет он А. А—не,—за участие и знаю (чувствую это по тону письма), что вы сделаете все возможное и сделаете от сердца. Очень люблю вас за это. Но заметьте, я, по своей дурной, ложной, соблазнительной вере, я—хотя и гораздо менее добрый по сердцу человек, чем вы, но я по своей дурной дьявольской вере, ничего кроме доброго и любовного к вам не чувствую и не говорю; а вы, по своей хорошей вере, несмотря на вашу истинную доброту, на любовь ко мне, на мои мольбы не обращать меня (т.-е., учтиво выражаясь, не говорить мне неприятностей), вы не можете воздержаться от того, чтобы не сказать тотчас же самого больного и оскорбительного, что только можно сказать человеку, именно, что то, что есть его святыня, есть адская гордость.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

«Я вашу веру люблю и уважаю, я не люблю только зло,—и вы тоже должны бы были не любить.

«Жду с нетерпением ваших указаний и очень благодарю и люблю вас; но, ради всего святого для вас, поймите, что и для других есть святое»[1]).

Но отношения их оставались дружескими. В одном из последующих писем он говорит ей: «Я все тот же вообще и к вам в особенности, т.-е. считаю вас близким и дорогим мне человеком». Конечно, и А. А—на платила ему тем же.

В феврале 1885 года Л. Н—ч, живя в Москве, сообщал в письме С. А—не, находившейся тогда в Петербурге, что у него утром были две классные дамы. Эти классные дамы были—Мария Александровна Шмидт и Ольга Алексеевна Баршева. Им суждено было, особенно первой, стать самым близким другом Л. Н—ча. Мне пришлось слышать из уст Марии Александровны рассказ о том, как она со своей подругой познакомились со Л. Н—чем. Будучи обе религиозно православными, они тем не менее боготворили Л. Н—ча, как великого писателя, творца «Войны и мира», «Анны Карениной» и пр. И вот до них донел слух, что Толстой написал Евангелие. Религиозное чувство смешалось здесь с преклонением перед гением, и они решили во что бы то ни стало достать это произведение. В своей наивности они прежде всего обратились в синодальную лавку, зная, что там продают Евангелия. В синодальной лавке им сказали, что они об этом ничего не знают. А если вышло новое произведение Толстого, то надо обратиться в книжный магазин Вольфа и он достанет. Они поехали туда. Там им сказали, что они слышали о существовании такого Евангелия, но что оно запрещено и потому они продавать его не могут. Желание прочесть его было так сильно, что они решились поехать к самому Льву Николаевичу просить его дать им прочесть эту книгу. Вот об этом-то посещении и сообщает Л. Н—ч Софье Андреевне в письме в Петербург в феврале 1885 года. Л. Н—ч принял их ласково и дал им просимое. Прочитав в первый раз, они были в большом смущении и даже в возмущении. Их традиционному религиозному чувству показались кощунственными некоторые реалистические, непривычные для слуха выражения, которые употребил Л. Н—ч по отношению к Богородице. Тем не менее многие страницы этой книги захватили их моральное чувство. Они стали перечитывать это произведение, и по мере того, как они вчитывались в него, новый глубокий смысл Евангелия открывался им, они стали читать все, что написано было Л. Н—чем, и вскоре бросили то официальное положение, которое они занимали, и зажили простой, рабочей жизнью. Одно из ремесл, которыми они зарабатывали свою жизнь, были переписка сочинений Л. Н—ча, запрещенных цензурой, и можно сказать, что сотни копий вышли из-под рук их и распространились по России. Мы еще встретимся с этими замечательными людьми при описании дальнейшей жизни Л. Н—ча.

Одновременно с напряженной умственной и нравственной работой, во Л. Н—че шло и его дальнейшее религиозное развитие. Та новая ступень, на которую он был возведен своим пытливым религиозным сознанием, было учение о посланничестве. Он излагает его в письмах к двум друзьям своим, написанным почти одновременно к В. Г. Черткову и к Н. Н. Ге, в феврале 1885 года. Мы приводим здесь первое, как наиболее полную версию изложения этого учения:

«Одна сторона учения Христа, связанная со всем остальным, и даже основа всего, была скрыта от меня обоготворением Христа, именно его учение о посланничестве. Вспомните, сколько раз он говорил: «Отец послал меня, я послан, я творю волю пославшего меня». Мне всегда эти слова были неясны».

«Бог не мог послать Бога, а другого значения я не понимал или понимал неясно. Только теперь мне открылся простой, ясный и радостный смысл этих слов. Я пришел к пониманию их своими сомнениями и страданиями. Без этого учения

---

1) Толстовский музей, т. I. Переписка Л. Н—ча Толстого с гр. А. А. Толстой.

нет разрешения всех этих сомнений, которые мучают каждого ученика Христа. Смысл тот, что Христос учит всех людей той жизни, которую он считает для себя истиной. Он же считает свою жизнь посланничеством, исполнением воли пославшего. Воля же пославшего есть разумная (добрая) жизнь всего мира».

«Стало быть дело жизни есть внесение истины в мир. Жизнь на то только дана (по учению Христа) человеку с его разумом, чтобы он вносил этот разум в мир, и потому вся жизнь человека есть не что иное, как эта разумная его деятельность, обращенная на другие существа вообще, не только на людей. Так понимал Христос свою жизнь и так учил нас понимать нашу. Каждый из нас есть сила, сознающая себя, летящий камень, который знает, куда и зачем он летит, и радуется тому, что он летит, и знает, что сам он ничто—камень, а что все его значение в этом полете, в той силе, которая бросила его, что вся его жизнь есть эта сила. И в самом деле, вне этого взгляда, т.-е. того, что человек всякий есть посланник Отца, призванный только затем к жизни, чтобы исполнять волю Отца, вне этого взгляда жизнь не только не имеет смысла, но отвратительна и ужасна. И напротив, стоит хорошенько понять и сделать своим этот взгляд на жизнь, и жизнь становится не только осмысленной, ясной, но прекрасною, радостною и значительною.—Только при этом взгляде уничтожаются все сомнения борьбы и все страхи. Если я посланник Божий, то дело мое главное не только в том, чтобы исполнять пять заповедей, не иметь собственности, не предаваться похоти и т. п.,—все это условия, при которых я должен исполнять посланничество. Это тоже для меня теперь главный смысл моего посланничества, но дело мое главное в том, чтобы жить, внося в мир всеми средствами, какие даны мне, ту истину, которую я знаю, которая поверена мне. Может случиться, что я сам буду часто плох, буду изменять своему признанию, все это ни на минуту не может уничтожить значение моей жизни—светить тем светом, который есть во мне до тех пор, пока могу, пока свет есть в вас. Только при этом учении уничтожаются праздные сожаления о том, что есть или было не то, чтобы я хотел, и праздные желания чего-то определенного в будущем, уничтожается и страх смерти, и вся жизнь переносится в одно настоящее. Смерть уничтожается тем, что если моя жизнь слилась с деятельностью внесения разума и добра в мир, то придет время, когда физическое уничтожение моей личности будет содействовать тому, что стало моей жизнью—внесению добра и разума в мир» [1]).

И с этого момента вся дальнейшая жизнь Л. Н—ча становится исполнением воли пославшего его Отца жизни.

Но исполнение этого посланничества не всегда давалось ему легко.

Так, например, во время писания им книги «Так что же нам делать?», при полном сознании окружающей его лжи, эгоизма и всяких соблазнов, при ослепительном свете представшего перед его сознанием идеала, он встречает среди близких ему семейных, друзей, в лучшем случае равнодушие и беспечность, а часто враждебность и горькие упреки. И жизнь вокруг него самых близких ему идет вразрез со всем тем, что он выстрадал и считал непоколебимой правдой.

Его внутреннее состояние того времени прекрасно выражено в его письме к В. Г. Черткову, которому он, как другу, поверял свои самые сокровенные мысли. Вот это письмо, писанное в июне 1885 года:

«В последнем письме я писал вам, что мне хорошо; а теперь, отвечая на второе письмо ваше из Англии, полученное вчера, мне нехорошо. Письменная работа не идет, физическая работа почти бесцельная, т.-е. не вынужденная необходимостью, отношений с окружающими меня людьми почти нет (приходят нищие, я им даю гроши, и они уходят), и на моих глазах в семье идет вокруг меня систематическое развращение детей, привешивание жерновов к их шее. Разумеется, я виноват; но не хочу притворяться перед вами, выставлять спокойствие, которого нет.

---

[1]) Архив Черткова.

Смерти я не боюсь, даже желаю ее. Но это то и дурно; это значит, что я потерял ту нить, которая дана мне Богом для руководства в этой жизни и для полного удовлетворения. Я путаюсь, желаю умереть, приходят планы убежать или даже воспользоваться своим положением и перевернуть всю жизнь. Все это только показывает, что я слаб и скверен, а мне хочется обвинять других и видеть в своем положении что-то исключительно тяжелое. Мне очень тяжело вот уже дней шесть, но утешение одно: я чувствую, что это временное состояние. Мне тяжело, но я не в отчаянии, я знаю, что я найду потерянную нить, что Бог не оставит меня, что я не один. Но вот в такие минуты чувствуешь недостаток близких живых людей—той общины, той церкви, которая есть у пашковцев, у православных. Как бы мне теперь хорошо было передать мои затруднения на суд людей, верующих в ту же веру, и сделать то, что сказали бы мне они. Есть времена, когда тянешь сам и чувствуешь в себе силы; но есть времена, когда хочется не отдохнуть, а отдаться другим, которым веришь, чтобы они направляли. Все это пройдет, и если буду жив, напишу вам, как и когда пройдет. Вчера вместе с вашим письмом получил письмо от Оболенского. Он спрашивает, что Сибиряков ищет места, средств жизни и называет безвыходным то положение, в котором он находится и к которому я страстно стремлюсь вот уже 10 лет. Когда я сам себя жалоблю, я говорю себе: неужели так и придется мне умереть, не прожив хоть один год вне того сумасшедшего безнравственного дома, в котором я теперь вынужден страдать каждый час, не прожив хоть одного года по-человечески, разумно, т.-е. в деревне, не на барском дворе, а в избе, среди трудящихся, с ними вместе трудясь по мере своих сил и способностей, обмениваясь трудами, питаясь и одеваясь, как они, и смело, без стыда, говоря всем ту Христову истину, которую знаю. Я хочу быть с вами откровенен и говорю вам все; но так я думаю, когда я себя жалоблю, но тотчас же я поправляю это рассуждение и теперь делаю это. Такое желание, есть желание внешних благ для себя—такое же, как желание дворцов, и богатства, и славы, и потому оно не Божие. Это желание ставить палочку поперечную креста поперек, это недовольство теми условиями, в которые поставил меня Бог, это не верное исполнение посланничества. Но дело в том, что теперь я, как посланник в сложном и затруднительном положении, и не знаю иногда, как лучше исполнить волю пославшего. Буду ждать раз'яснений. Он никогда не отказывал в них и всегда давал их во-время» [1]).

Замечательна в этом письме глубина и тонкость душевного самоанализа. Л. Н—ч отрицает здесь не только материальную, но и моральную роскошь. Он доходит до предела самоотвержения. Ему уже хочется уйти, пожить в моральной свободе, но он считает это моральной роскошью и решается лучше терпеть эту моральную нужду, нести на себе эти моральные вериги, чтобы не нарушить любовь с близкими людьми. Много раз чувство свободы прорывалось через эти добровольно наложенные им на себя цепи и в нем снова являлось желание уйти. Такой «прорыв» совершился и в этом же 1885 году, в декабре.

Софья Андреевна так описывает это в письме к своей сестре:

«Случилось то, что уже столько раз случалось: Левочка пришел в крайне-нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входит: я смотрю—лицо страшное. До тех пор жили прекрасно: ни одного слова неприятного не было сказано, равно, ровно ничего. «Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку».

«Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы не так удивилась. Я спрашиваю удивленно: «Что случилось?»

«Ничего, но если на воз накладывают все больше и больше, лошадь станет и не везет».—Что накладывалось, неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже и, наконец, я терпела, терпела, не отвечала ничего почти, вижу человек сумасшедший, и когда он сказал, что «где ты—там воздух за-

---

[1]) Архив Черткова.

ражен», я велела принести сундук и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней. Прибежали дети, рев. Таня говорит: «Я с вами уеду, за что это?». Стал умолять остаться. Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто, подумай, Левочку всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его, дети 4: Таня, Илья, Леля, Маша, ревут на-крик: нашел на меня столбняк, ни говорить, ни плакать, все хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу, и молчу три часа, хоть убей—говорить не могу. Так и кончилось. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние отчужденности — все это во мне осталось. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну теперь, за что же? Я из дома ни шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда, и за что?

«Подписка на издание идет такая сильная, что я весь день, как в канцелярии сижу и орудую всеми делами. Наняла артельщика для укладки и беготни. Страшно утомительно и трудно. Денег выручила 2000 в 20 дней. Статьи две Победоносцев запретил окончательно. Вчера получила очень любезное от него письмо и отказ.

«Ну, вот после этой истории, вчера, почти дружелюбно расстались. Поехал Левочка с Таней вдвоем на неопределенное время в деревню к Олсуфьевым за 60 верст, на Султане, вдвоем в крошечных санках. Взяли шуб пропасть, провизии, и я сегодня уже получила письмо, что очень весело и хорошо доехали, только шесть раз вывалились. Я рада, что Левочка отправился в деревню, да еще в хорошую семью и на хорошее содержание. Я все эти нервные взрывы и мрачность и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной, физической работе. Авось он там образумится. Здесь топлением печей, возкой воды и пр. он замучил себя до худобы и до нервного состояния» [1]).

А во Льве Николаевиче такие эпизоды вызывали чувство умиления и покаяния, и тяжелое чувство исчезало тогда, когда ему удавалось снова вызвать любовь к тем, кто «не знали, что творили». Это настроение Л. Н—ча ярко выступает из его письма к Черткову, написанному им во время своего пребывания у Олсуфьевых, в конце этого года:

«Удивляюсь, почему люди не любят и стыдятся быть жалкими: мне радостнее всего именно это чувство сострадания. Я его заслуживаю со всех сторон. Много хотелось бы сказать вам, но отложу до свидания, если Бог велит. Я пробыл здесь 8 дней, и мне было почти хорошо. Нехорошо—полное непонимание того, в чем моя жизнь, и роскошная праздная жизнь, а хорошо—доброта, честность и чистота и не любовь, а уважение ко мне всех их. Кроме того были мои: Сережа, Таня и Леля, и теперь еще здесь двое. В самое Рождество случилось, что я пошел гулять по незнакомым пустынным, зимним, деревенским дорогам и проходил весь день и все время думал, каялся и молился. И мне стало лучше на душе с тех пор. Я твердил одно: Отец наш—всех нас людей, отец не земной, а небесный, вечный, от которого я изшел и к которому приду, свята да будет для нас сущность (имя) твоя (сущность твоя есть любовь). Да будет царствовать твоя сущность—любовь так, чтобы, как на небе любовно, согласно, совершаются движение и жизнь светил—воля твоя, чтобы также согласно, любовно шла наша жизнь здесь по твоей воле. Пищу жизни, т.-е. любви к людям, отношение с людьми, дай нам в настоящем, а прости, сделай, чтобы не имело на меня, на мою жизнь влияние то, что было прежде, и потому я не вменяю никому из людей, что прежде они сделали против меня. Не введи меня в искушение, извне соблазняющее меня, но главное—избави меня от лукавого, от зла во мне. В нем гордость, в нем желание сделать то, что хочется, в нем все несчастия,—от него избавь!».

«Пожалуйста, не показывайте всем моего письма. Неясно, странно, что я пишу, но тот, кто ходит теми дорогами, как я, поймет меня—вы. Я молился так и всегда с радостью и сознанием оживания. Кто не любит брата, тот пребывает в

---

[1]) Арх. Т. А. Кузьминской.

смерти. Я это боками узнал. Я не любил, имел зло на близких, и я умирал и умер. Я стал бояться смерти—не бояться, а недоумевать перед нею. Но стоило восстановить любовь, и я воскрес. Помогай нам Бог не умирать. Завтра, если буду жив, поеду в Москву. Приезжайте, все переговорим. Очень хочу работать, но вот уже давно нет сил. Я забыл первую заповедь Христа: не гневайся. Так просто, так мало и так огромно. Если есть один человек, которого не любишь,—погиб, умер. Я это опытом узнал» [1]).

Его друг, конечно, исполнил его желание, не показал, при его жизни, этого письма «всем». Но теперь, когда истлела его телесная оболочка, для духа его уже нет «всех» и не «всех», и мы считаем, что опубликование этого письма только прибавит новый светлый луч к жизни его великой души.

Но идейный разлад в его семейной жизни не уступал никаким попыткам со стороны Л. Н—ча.

В одном письме этого же времени С. А. категорически заявляет: «В нашей жизни, которую будто бы я веду, нельзя сойтись с Левочкиными убеждениями».

Трудно придумать более трагическую обстановку жизни Л. Н—ча. Весь пылающий самоотверженным служением ближнему, опростившийся, находящий отраду в простой мужицкой работе как в деревне, так и в городе, он встречает среди близких ему людей или полное непонимание, или равнодушие, или враждебность, или презрительно-снисходительную иронию.

Часто, утомленный этой борьбой, Л. Н—ч уезжал или уходил из города в Ясную Поляну и там отдыхал в простой, трудовой жизни. Запасшись силами, он снова возвращался к семье. Вот как описывает С. А. одно из таких возвращений в письме к сестре Т. А.:

«...Левочка вернулся 1-го ноября. Мы все повеселели от его приезда, и сам он очень мил, спокоен, весел и бодр. Только он переменил еще привычки. Все новенькое, что ни день. Встает в семь часов, темно. Качает на весь дом воду, везет огромную кадку на салазках, пилит длинные дрова, и колет, и складывает в сажень. Белый хлеб не ест; никуда положительно не ходит. Сегодня я возила его в санках снимать портрет к фотографу в Газетный переулок...».

Как велика была его радость, когда он замечал в семье своей проблески истинного разумения жизни.

Одной из первых доставила ему эту радость его старшая дочь Татьяна Львовна. Вот что писал ей Л. Н—ч в октябре 1885 года:

«...Ты в первый раз высказалась ясно, что твой взгляд на вещи переменился. Это моя единственная мечта и возможная радость, на которую я не смею надеяться,—та, чтобы найти в своей семье братьев и сестер, а не то, что я видел до сих пор—отчуждение и умышленное противодействие, в котором я вижу не то пренебрежение, не ко мне, а к истине, не то страх перед чем-то»...

И тотчас же Л. Н—ч старается дать дочери советы, как ей укрепиться на этом новом пути: «...Тебе важнее убрать свою комнату и сварить свой суп (хорошо бы коли бы ты это устроила—протискалась бы сквозь все, что мешает этому, особенно мнение), чем хорошо или дурно выйти замуж».

Это письмо он пишет из Ясной Поляны в Москву и в таких выражениях описывает свой образ жизни:

«...Я живу очень хорошо. Я никого не вижу кроме А. Петр. (рессурсы которого очень ограничены), и если бы верил в счастье, т.-е. думал бы, что надо замечать и желать его, я бы сказал, что я счастлив. Не вижу, как проходят дни, но думаю, что делаю то, что надо, что хочет от меня то, что пустило меня сюда жить».

Времена этой тяжелой внутренней борьбы сменяются интенсивной творческой работой и эта смена с радостью отмечается его семейными.

В сентябре С. А. пишет своей сестре:

---

[1]) Архив Черткова.

«...Он без вас написал чудесную сказку, прочел нам и мы все пришли в восторг. Теперь он ее старательно переделывает и дает в мое издание. Потом он взял все те отрывки пересмотреть и поправить, которые поступят в новое издание: «История лошади», «Смерть Ив. Ильича» и др. Через неделю их надо печатать, так как все подвигается к концу».

И далее, уже в декабре того же года:

«...На-днях Левочка прочел нам отрывок из написанного им рассказа, мрачно немножко, но очень хорошо; вот пишет-то, точно пережил что-то важное, когда прочел и такой маленький отрывок. Назвал он это нам: «Смерть Ивана Ильича». Левочка был все время очень мил, бодр, ласков даже с чужими. Он отделывает статью и обещает после этой статьи продолжать этот прочтенный нам рассказ. Дай-то Бог» [1]).

Надо сказать несколько слов о сказке, о которой упоминает Софья Андреевна в письме к сестре.

Думая о народной литературе, Л. Н—ч постарался в художественной форме народной сказки со всеми обычными волшебными аксессуарами и чертями, выразить в юмористической форме свое критическое отношение к современному строю, и в самой легкой, общедоступной форме изложить свои общественные идеалы. И в это время, осенью 1885 г. он пишет сказку: «Об Иване-дураке и его двух братьях: Семене Воине и Тарасе Брюхане и немой сестре Маланье и о старом дьяволе и трех чертенятах». Теперь эта сказка в миллионах экземпляров облетела весь мир, переведенная на многие языки. Простой, но глубокий смысл ее еще долгое время будет служить путеводною нитью в разрешении многих сложных вопросов общественной жизни. В «Симеоне воине и его царстве» Л. Н—ч, по его собственным словам, делает меткие художественно-критические намеки на развитие милитаризма в царстве Николая I, а «Тарас Брюхан»—это прообраз идущего ему на смену капиталистического строя. А единый закон «Иванова царства»: «у кого мозоли на руках—полезай за стол, а у кого нет мозолей—тому об'едки со свиньями», будет служить вечным обличением паразитизма привиллегированных классов. Конечно, эта ирония не была понята и многие интеллигенты от большого ума обиделись на эту сказку, видя в ней оскорбление всего мыслящего человечества и откровенно бойкотировали ее.

В простом народе по нашему личному опыту она имела большой успех.

Самое творение художественных произведений было для него отравлено сознанием, что все, что он напишет, будет продано по дорогой цене богатым людям, очень малая часть этого станет доступна народу, а на вырученные от продажи дорогого издания деньги будет поддерживаться та праздная и роскошная жизнь, которую он беспощадно осудил для самого себя и считал нравственной, умственной и физической отравой для своих детей.

Полное собрание сочинений Л. Н—ча Толстого, которым занималась С. А. в это время, было первым ее выступлением на издательском поприще.

Первым порывом Л. Н—ча, когда христианские взгляды его вполне определились, было отказаться от всяких литературных прав и начать раздавать свое имущество бедным.

Это намерение его встретило столь страстный протест его семьи, преимущественно со стороны его жены, что Л. Н—ч усумнился в правильности своего решения. Ему было категорически об'явлено, что если он начнет раздавать имущество, то над ним будет учреждена опека за расточительность вследствие психического расстройства. Таким образом ему угрожал дом умалишенных, а имущество все-таки осталось бы в руках семьи. Тогда он изменил свое решение.

В искании способа, как избавиться от собственности, не нарушая интересов семьи или по крайней мере не возбуждая в семейных недоброго чувства, Л. Н—ч попробовал еще один выход.

---

[1]) Арх. Т. А. Кузьминской.

Придя в комнату Софьи Андреевны, он сказал ей приблизительно следующее: «Мне так тяжело владеть и распоряжаться собственностью, что я непременно решил избавиться от нее, и вот я обращаюсь к тебе первой: возьми все—и дом, и землю, и сочинения и распоряжайся ими, как знаешь: я выдам тебе какой нужно документ».

Конечно, это было произнесено с большим волнением в голосе и встречено было также и Софьей Андреевной. Не чувствуя себя в силах взять все на свою ответственность, она категорически отказалась. «Если ты это считаешь злом, зачем же ты хочешь навалить все это на меня?»—ответила она ему, парируя удар.

Тогда Льву Николаевичу оставалось только одно: прибегнуть к полумерам и к постепенному освобождению себя от собственности, что он и совершил в течение своей жизни.

Первой такой полумерой была передача С. А—не права на издание своих сочинений.

Первое издание собрания сочинений Л. Н—ча Софьей Андреевной было сделано в 1885 году, в двенадцати томах; XII том был весь новый и заключал в себе несколько народных рассказов, написанных Л. Н—чем для «Посредника»; повесть «Смерть Ивана Ильича» и «Холстомер» и отрывки из его статьи «Так что же нам делать?», допущенные цензурой. К сожалению, этот XII том не продавался отдельно, что, конечно, было выгодно для издательницы, так как читатели, чтобы получить XII том, должны были покупать все собрание. Эта мера вызвала справедливое возмущение многих почитателей Л. Н—ча и, между прочим, грубые нападки в печати популярного тогда критика Н. К. Михайловского. Все это, конечно, доставило немало страданий Л. Н—чу.

В марте Л. Н—ч поехал в Крым, чтобы проводить туда своего больного друга, князя Леонида Дмитриевича Урусова, бывшего тогда вице-губернатором в Туле.

Об этом замечательном человеке следует сказать несколько слов. Он имел своеобразное влияние на Льва Николаевича. Несмотря на свое высокое административное положение, он разделял взгляды Л. Н—ча и был одним из первых людей высшего круга, выразивших Л. Н—чу свое сочувствие. Он перевел на французский язык «В чем моя вера», под названием «Ma religion» и издал эту книгу в Париже. Это издание послужило, вероятно, главным орудием распространения новых взглядов Л. Н—ча в Западной Европе и Америке. Из других трудов кн. Урусова укажем на перевод его на русский язык «Размышления императора Марка Аврелия», перевод долгое время бывший единственным на русском языке. Князь Урусов, живя в Туле, часто навещал Л. Н—ча и в Москве, и в Ясной Поляне и был другом дома в семье Толстых. Тяжкая болезнь заставила его удалиться в Крым, куда его весной 1885 г. проводил Лев Николаевич, и где он скончался осенью того же года.

Сначала Л. Н—ч с'ехался с Урусовым в имении его родственников Мальцевых, известных богачей-заводчиков в Брянском уезде, Орловской губернии, в их имении Дядькове. В письмах к Софье Андреевне Л. Н—ч описывает необыкновенную роскошь жизненной обстановки Мальцевых. Л. Н—ч относился к ней с терпимостью, как гость; интересовала же его, как всегда, жизнь окружающего их рабочего народа. Он осматривает заводы, помещения работ, идет на базар и так описывает свои впечатления в письме к жене:

«До сих пор писать не пришлось. А совестно жить без работы. Все работают, только не я. Вчера я провел время на площади, в кабаках, на заводе, один без чичерони, и много видел и слышал интересного, и видел настоящий трудовой народ. И когда я его вижу, мне всегда еще сильнее, чем обыкновенно, приходят эти слова: все работают, только не я. Нынче опять у Мальцева, в этой роскоши. Через два дня опять в роскоши и праздности. Так и кажется, что переезжаешь из одной богадельни в другую».

11-го марта они выехали, направляясь на юг. В Харькове была остановка и

Л. Н—ч воспользовался тем, чтобы посетить своего друга Русанова и друга своего умершего брата Дмитрия, профессора Якоби.

В письме к жене он так описывает это посещение Харькова:

«Пишу из Харькова, в 8 часов вечера. Мы едем через час. В Харькове стояли 7 часов. Я покинул князя и поехал в город на конке, которая подходит к самому вокзалу, купить провизию, минеральные воды Урусову, и исполнить поручение Дмоховской через Русанова. Был в суде, ждал долго Русанова, и под конец, дождался. Потом пошел мимо университета, вспомнил о Якоби, товарище Митеньки, профессоре гигиены, спросил его и зашел к нему. Он с семьей, милый, умный и приятный человек. Мы не видались с ним 40 лет. Он меня не узнал. С ним поговорили и он провел меня прямо к Русанову, у которого пил чай, и вот приехал. И то, и другое впечатление очень приятное».

В одном из следующих писем Л. Н—ч рассказывает впечатления Крыма, природа которого подействовала на Л. Н—ча особенно своими воспоминаниями; письмо со станции «Байдарские ворота», на полдороге от Севастополя до Симеиза, где пришлось кормить лошадей; Л. Н—ч пишет:

«Мы здесь кормим и встретили господина, едущего в Москву, и тоже кормящего. Это оказался господин Абрикосов молодой. Он меня узнал и читал, и жена его, которую он свез в Крым; и я пользуюсь тем, что он приедет прежде почты. Погода прекрасная, жарко в горах, по которым мы ехали. Урусов взял ландо не открывающееся, и хуже кареты, и я залез на сундук, на козлы. Ехал, и не то что думал, но набегали новые, нового строя—хорошие мысли. Между прочим одно: Каково! Я жив и еще могу жить! Еще: как бы это последнее прожить по-Божьи, т.-е. хорошо. Это очень глупо, но мне это радостно».

«Цветы цветут, и в одной блузе жарко. Лес голый, но на весеннем чутком воздухе сливаются запахи, то листа вялого, то человеческого испражнения, то фиалки, и все перемешивается. Проехали по тем местам, казавшимся неприступными, где были неприятельские батареи, и странно: воспоминание войны даже соединяется с чувством бодрости и молодости. Что, если бы это было воспоминание какого-нибудь народного торжества, общего дела, ведь могут же такие быть! Еще на козлах сочинял английского милорда. И хорошо. Еще думал, по тому случаю, что Урусов, сидя в карете, все погонял ямщика, а я полюбил, сидя на козлах, и ямщика, и лошадей,—что как несчастны вы, люди богатые, которые не знают ни того, в чем едут, ни того, в чем живут (т.-е. как выстроен дом), ни что носят, ни что едят. Мужик и бедный все это знает, ценит, и получает большие радости. Видишь, что я духом бодр и добр. Если бы только не неизвестность о тебе и детях. Целую их всех. Обнимаю тебя. Подали лошадей Абрикосову, он едет».

Живя в Крыму с Урусовым у его родственника Мальцева, Л. Н—ч по обыкновению присматривался к жизни народа. В одном из писем к жене он пишет:

«Нынче я опять встал рано, и, напившись кофе, пошел с Урусовым в татарскую деревню. Там встретили старика 65 лет; он идет на работу за 2 версты в гору. Я предложил ему наняться работать. Он согласился за рубль. Но это оказалась шутка. Он признал во мне богатого. И стал предлагать землю купить у него. И показывал землю и восхвалял ее. За 6 десятин просит 6000. Тут и виноградник, и табак, и каштаны, и инжирь, и грецкие орехи. Я дошел с ним до его плантации. Лазили по скалам, а в глуши нашли в лощинке—его 4 сына в белых рубахах, копают заступами виноградник, а он обрезает. Я поработал с ними и пошел домой».

Желание новых впечатлений в художнике было так сильно, что ему не хотелось даже работать пером; в том же письме он пишет:

«Работать не принимался; слишком жалко потерять возможность увидать». Но тем не менее, уступая просьбе Черткова, он пишет там небольшой рассказ для народа, под названием «Ильяс». Рассказ этот был издан «Посредником» и в конечной книжке и в виде текста к лубочной картине, нарисованной для этой цели художником Кившенко. Воспользовавшись случаем пребывания в Крыму, Л. Н—ч

заехал в имение Н. Я. Данилевского, Мшатку, чтобы познакомиться с другом своего друга, Н. Н. Страхова. Свидание было очень радостное и оставило в обоих самое хорошее воспоминание.

В эту крымскую поездку со Л. Н—чем произошел странный случай. Остановившись в Севастополе, Л. Н. пошел прогуляться по прежним местам укреплений, служивших театром военных действий в севастопольскую кампанию. Гуляя, он нашел старый снаряд. Вернувшись в Севастополь, он показал этот снаряд своему знакомому артиллерийскому офицеру, сослуживцу с ним в Севастополе, и тот об'яснил ему, что снаряд этот очень редкий, что его в севастопольскую кампанию только пробовали и, насколько он помнит, этим снарядом был произведен только один выстрел. И когда он стал припоминать обстоятельства этого выстрела, то оказалось, что выстрел этот был произведен именно той батареей, которой командовал Л. Н. Таким образом он нашел через 30 лет выпущенный им единственный снаряд.

24-го марта Л. Н—ч возвратился в Москву.

Он продолжает уже письменное общение со своим больным другом кн. Л. Д. Урусовым, все еще жившим и медленно угасавшим в Крыму. В июне Л. Н—ч между прочим написал ему такое определение «Что такое слово?»:

«...Я последнее время все больше и больше убеждаюсь в том, что люди совершенно напрасно гордятся тем, что они имеют преимущество перед животными в воображаемом даре слова, т.-е. способности сообщать свои и, следовательно, понимать чужие мысли. Такого дара у всех людей вообще никогда не было и нет. И изречение дипломата, что слово дано людям для того, чтобы скрывать свои мысли, совсем не шутка, а ужасная правда. Я прибавил бы только еще то, что оно употребляется людьми для того же, для чего употребляется птицами—соловьями: для удовольствия сочетаний звуков и формальных образов; для личного удовольствия, но никак не для сообщения мыслей... Очень может быть, что и соловей какой-нибудь или кукушка просвистали или прокуковали какую-нибудь новую мысль о том, как улучшить жизнь этих птиц. Результаты те же самые. И результаты моих и ваших логических доводов разве не такие же, comme si l'on chantait. Да, начало всего слово: слово—святыня души, а не свист птицы. И слово это есть одно божество, которое мы знаем, и оно одно делает и претворяет мир. Страшно только, когда смешаешь его со словом—произведением гортани, языка и губ человеческих» [1]).

Н. Я. Данилевский, познакомившись со Л. Н—чем, и заинтересованный его личностью, спрашивает о нем Страхова, и тот, приехав в Ясную Поляну в этом же году погостить, пишет Данилевскому о том, как проводит время Л. Н—ч и его сожители. Вот это интересное письмо:

«...Ясную Поляну нашел я наполненную женщинами и детьми, человек до 30, и среди них двое мужчин, Лев Николаевич и Кузминский. Такова она была и 14 лет тому назад, когда я в первый раз в нее заехал, только моложе и не так многолюдна, много народилось с тех пор... Л. Н. был нездоров и не в духе, и до сих пор жалуется, хотя и поправился немного. Сейчас же принялся он читать мне свою статью о деньгах, очень остроумную, но не захватывающую вполне вопроса. Потом прочитал я старый, неоконченный рассказ «Лошадь», потом новые рассказы: «Где любовь, там и Бог», «Упустишь огонь, не погасишь», «Свечка», «Два старика». Все это он делает для тех народных изданий, которые я вам показывал; два последние рассказа удивительны по своей художественности и по чудесному смыслу; они взяты из народных рассказов. Он исключительно этим и занимается.

«Я сплю в его кабинете, встаю в 8½ часов, пью кофе и завтракаю. Часов в 11 он приходит ко мне, сам убирает и подметает кабинет, умывается, и мы идем на крокет, т.-е. под клены, возле крокета, где старшие члены обеих семей пьют утренний кофе. Через час или полтора мы расходимся; он уходит в кабинет, а я в па-

[1]) «В. Е.» 1915. Февраль. Стр. 19. Письмо Л. Н—ча к Л. Д. Урусову.

вильон, в котором теперь пишу к вам и который появился лишь нынче весною. В 5 часов обед; каждая семья особо. В 8 часов детский чай; в 10 часов чай и ужин для взрослых, сходятся обе семьи и проводят время до полуночи, потом расходятся. Людно и пестро чрезвычайно; между обедом и чаем прогулки, купанье и всякое безделье. Переписка у него огромная, т.-е. он много получает писем с просьбами о деньгах и о советах, на которые не отвечает. Но кроме того переписывается с людьми, работающими для издания книжек и картин для народа. Словом литературная его деятельность кипит. Жена теперь держит корректуру нового издания собрания сочинений, и я помогал; кроме того она приводит в порядок и переписывает все старые рукописи. В новом собрании будет напечатано кое-что и неизданное» [1]).

Этой же весной 1885 года я получил от Льва Николаевича первое письмо. Трудно передать то впечатление восторга и умиления и какой-то счастливой гордости, когда я взял в руки конверт с адресом, написанным его крупным, особенным почерком.

Вот это письмо:

«Большое спасибо вам, милый Павел Иванович, за ваше посещение Грибовского и за ваше письмо—такое обстоятельное и ясное. Если он сумасшедший, то не мне судить о его сумасшествии, потому что я давно уже такой же сумасшедший на 6-м десятке. А на 2-м десятке, как он, я давно бы сидел в одном из этих вертепов, которые называются больницами.

«Пожалуйста сходите к Медведскому и передайте ему свое и мое — по письму Грибовского и по вашему впечатление. Мне очень интересны взгляды Грибовского. Если вы еще увидите его и он выскажет их вам, сообщите мне в общих чертах. Если он считает христианство истиной, то мы должны совпадать. Очень, очень вам благодарен и радуюсь общению с вами. Лев Толстой».

В. М. Грибовский, за посещение и за отзывы о котором Л. Н—ч благодарит меня, был тогда 18-тилетним гимназистом, теперь он занимает значительный пост в педагогическом мире.

Он писал Л. Н—чу, что прочтя его исповедь, он почувствовал к нему духовную близость и продолжает так:

«Вам, человеку, далеко от меня отстоящему по общественному положению, человеку незнакомому, я хочу раскрыть свою душу и передать для проверки мысли. В 11 лет я был атеист, в 16—я дошел до мысли о бесполезности жизни и до самоубийства. Судьба меня доводила до буквальной нищеты, заставляла переносить всевозможные унижения, заводила в притоны дикого разгула и разврата, я видел всевозможные страдания нашего интеллигентного и простого пролетариата, я участвовал в заговорах поляков, я вращался во всевозможных политических кружках, сидел в доме сумасшедших, был под надзором полиции и при всем этом я гимназист, мне 18 лет и я сын бедного отставного чиновника. Но вынес я все невзгоды, понял на некоторую дорогу, раз'яснил себе вздорный механизм всех кружков, сам своим страданием понял, что мне нужно и познал новую религию».

Этот 18-тилетний юноша, столько переживший, перечитавший всех философов и теологов, не нашедший в них удовлетворения, пишет Л. Н—чу с юношеским пылом и наивностью: «Вы же первый хотите высвободить философию из ее заколдованного круга, применить ее к действительной жизни и сделать ее доступной каждому, основываете таким образом новую школу. Как человек, как писатель, как философ, вы замечательная личность и преклониться перед вами можно».

Как раз в это время я был у Л. Н—ча в Москве и он просил меня зайти к Грибовскому и сообщить ему мое впечатление, что я, конечно, поспешил исполнить, и результатом этого исполнения и было это первое письмо ко мне Льва Николаевича.

---

[1]) Письма Н. Н. Страхова к Н. Я. Данилевскому. «Р. В.» 1901, № 3, стр. 137.

Мы очень сошлись тогда с Грибовским и он помогал мне в деле «Посредника» и усердно распространял наши издания.

Он посетил, наконец, Л. Н—ча и дал несколько статей в «Неделю», с отчетом о своем посещении; в этих статьях Грибовский, искусно сплетая действительность с фантазией, заставляет Л. Н—ча отвечать на его вопросы-реплики словами своей «Исповеди», тогда еще находившейся под запретом. И в этой форме ему удалось провести в печать значительную часть «Исповеди» Л. Н—ча.

Общение Л. Н—ча с Грибовским продолжалось и письменно. Пылкость и стремительность юноши, несмотря на все свое преклонение перед Л. Н—чем, не позволяла ему отрешиться от принятых и впитанных им общественных суеверий, и эти суеверия мешали ему вполне понять мысли Л. Н—ча, и особенно трудно ему было усвоить учение о непротивлении злу насилием. И вот он обращается ко Л. Н—чу с письмом, в котором выражает свои сомнения по этому поводу и получает от него такой ответ:

«Не противиться злу насилием не значит не противиться злу, а значит не противиться злу насилием. Мне грустно, что вы, столь тонко и верно понимая многое, в этом запутались не в рассуждении, а в желании. Доказывать бесполезность и непременимость всяких ограничений этого принципа бесполезно. Они слишком ясны и несомненны. *Сказано только то, что люди под влиянием страдания от боли, обиды и зла, вообще склонны, к чему склонны животные—отдавать тоже зло.* И вот сказано, что это есть соблазн заблуждения. Что же тут толковать? Все равно, что сказано: люди склонны смотреть на то, что притягивает их чувственность. Не смотря—легче будет победить чувственность. И вот чиновник, который не хочет отказаться от балетов, станет допрашивать меня: как не смотреть на обнаженных женщин? Ну, а скажет, утопающую женщину можно вытащить, свидетельствовать докторам можно? Поищите у себя в душе, милый друг, нет ли у вас там чего лишнего, что мешает вам понять ясное и простое. А то вы делаете то, что я часто встречаю. Человек живет в доме, построенном без отвеса и угольника и, прикинув по отвесу и угольнику, видит, что дом крив; но чтобы не сказать этого, он начинает делать геометрические вычисления, по которым бы вышло, что тупой или острый углы — прямые. Поправляйтесь здоровьем, я очень рад узнать вас и полюбил вас. Читали ли вы Руссо: «Emile» и «Confession»?—Прочтите. Л. Т.» [1]).

Сообщая мне копию с этого письма, Гр. прибавляет: «Это письмо мне пролило много света на мое понимание учения Л. Н—ча». После моего от'езда из Петербурга, в конце 80-х годов, наше общение прекратилось и Грибовский, продолжая свое образование, занял профессорскую кафедру в одном из русских университетов.

Тяготение мое ко Льву Николаевичу было тогда очень сильно: каким-то внутренним чутьем я сознавал, что на этом пути я найду благо. Но сознательные, теоретические убеждения мои далеко еще не приняли цельного, оформленного характера. На меня нападали сомнения, страх потери старой традиционной веры, и когда голос высшего разума звал меня вперед и ободрял на борьбу, мне он казался искусителем, зовущим меня на погибель. И вот, в одну из таких минут колебания я обратился ко Л. Н—чу за советом и помощью, изложив ему, как умел, главные мотивы моих сомнений; и он ответил мне длинным письмом, в котором неоднократно цитирует места из моего письма и опровергает мои доводы.

Нечего и говорить, какое сильное впечатление произвело на меня это письмо, какой порядок оно внесло в мои бродившие тогда мысли. Вот это письмо:

«Напрасно вы, П. И., не слушаете своего мефистофеля: он все говорит дело. Если бы вы его слушали и доводили до конца свой разговор с ним, то у вас никогда бы не было тени сомнения и раздвоения, которые я считаю самой опасной и

---

[1]) Арх. П. И. Бирюкова.

жалкой душевной болезнью. Он говорит: «Верь твоему рассудку и непреложным законам его логики, взгляни на кровавую историю человечества, пропадающую в бесконечности и, вероятно, не имеющую конца». «Это самое важное, что и нужно всегда иметь в виду. Еще он говорит вам: «напрасно ты думаешь водворить благо каким-то (тут неясно, какой способ он отрицает) бестолковым детским путем; а обними вооруженным наукою разумом весь беспредельный мир и не думай нарушать закон причины и следствия и развития. Ты властен направлять действия этих законов во благо себе и другим; изучай их, чтобы уметь пользоваться ими». Это все он прекрасно говорит. Я только это и говорю и думаю. И не знаю, за что вы называете «гадиной» такой разумный голос. Ему только одному и надо следовать. Прежде всего надо узнать, какие из всех законов, управляющих миром, во-первых, самые важные, а во-вторых (главное), какими я призван пользоваться, т.-е. такие, приложение которых мне наиболее доступно. И по этим соображениям установить правильную очередь в изучении законов и приложении их: прежде понять и научиться пользоваться теми законами, которые мне наиболее доступны и от которых более зависит счастье мое и других и которые поэтому для меня более обязательны; потому узнав эти законы и прилагая их, заняться следующими, по очереди (в смысле доступности и обязательности) и т. д., до самых последних законов, доступных уму человека. И потому голос совершенно справедливо говорит вам: «Обними весь беспредельный мир вооруженным наукою...» Наука только в том и состоит, чтобы знать эту очередь, знать, что мы можем и должны знать прежде, после и то, чего мы не можем знать. Справедливо говорит и то, что всякий другой путь есть детская мечта. Обновление мира посредством спектрального анализа или любви есть одинаковая детская мечта; не мечта есть только деятельность, сообразная с непреложными законами разума. Голос тоже советует вам помнить историю человечества, исполненную страданий и насилий. И в этом я с ним согласен. Это надо всегда помнить. Помнить то, что эти страдания уменьшались и уменьшаются в человечестве только благодаря деятельности разума, вооруженного наукой (подразумевая под наукой не считание козявок, звезд, телефон и спектральный анализ, а очередное по важности, доступности и обязательности изучение законов мира). И что я, так как я—существо, одаренное тем средством, которое уменьшает страдания, я и должен прилагать его, тем более, что это приложение доставляет человеку, мне, единственное благо, свободное, не уничтожаемое смертью» [1]).

Наш маленький просветительный центр уже начал обращать на себя внимание общественных деятелей, и в склад стали приходить с разных сторон запросы на составление библиотек. Между прочим получился запрос и на составление библиотеки для арестантов, в остроге.

Я обратился за советом ко Льву Николаевичу и он отвечал мне:

«...Я был нездоров и оттого не ответил вам скоро. Библиотеки в острогах — очень важное дело, и по-моему заняться ими—очень доброе дело. Это—время досуга, которое часто всю жизнь не знает рабочий человек. Сколько я знаю, внутренних переворотов совершилось в тюрьмах, среди политических, начиная с декабристов. Знаю случаи и между мужиками. Сютаев спрашивал у меня совета: хорошо ли будет сделать какое-нибудь не грешное дело, но такое, чтобы посадили в острог—для того, чтобы там проповедывать. В острожную библиотеку, я думаю, хорошо бы включить Евангелие Матфея по 2 коп. и учение 12 апостолов (киевское издание). Оно продается в Киеве. Есть ли оно у вас в складе? Как бы хорошо было его напечатать отдельно и дешево хоть все, но лучше бы первые 5 глав. В журнале «Детская помощь» (1885) напечатан мой перевод с предисловием и послесловием. Нельзя ли попытаться провести его через цензуру, не упоминая, главное, моего имени?»

---

[1]) Арх. П. И. Бирюкова.

Этим же летом посетил Льва Николаевича другой Данилевский, Григорий Петрович, известный писатель, и тогдашний редактор «Правительственного Вестника».

Его описание посещения Ясной Поляны дает интересную картину тогдашнего и образа жизни и мыслей Л. Н—ча, и потому, дополняя картину, начертанную Н. Н. Страховым, мы приводим здесь несколько выдержек из его статьи.

«Каменный в два этажа яснополянский дом, в котором теперь граф Л. Н. Толстой живет почти безвыездно уже около двадцати пяти лет (с 1862), передела им из отцовского флигеля. Место, где стоял большой старый дом, левее и невдали от нового. Оно заросло липами, обозначаясь в их гущине остатком нескольких камней былого фундамента. Здесь под липами стоят простые скамьи и стол, за которыми в летнее время семья графа собирается к обеду и чаю. Колокол, прицепленный к стволу старого вяза, созывает сюда под липы, из дома и сада членов графской семьи.

«У этого вяза обыкновенно между прочим собираются яснополянские и другие окрестные жители, имеющие надобность переговорить с графом о своих деревенских нуждах. Он выходит сюда и охотно беседует с ними, помогая им словом и делом. Он, невдали от своего двора, лет пятнадцать назад, посадил целую рощицу молодых елок. Елки поднялись, почти в два человеческих роста и немало утешали своего насадителя. Недавно граф вздумал пройти в поле, полюбоваться елками, и возвратился оттуда сильно огорченный. Более десятка его любимых, красивых елок оказались безжалостно вырубленными под корень и увезенными из рощи. Он досадовал и на происшествие и на свое неудовольствие. «Опять вернулось мое былое старое чувство досады за такую потерю», говорил он и, узнав, что, по домашним разведкам, виновником оказался домашний вор, тайно свезший елки, под праздник, в город, просил об одном, чтобы этот случай не был доведен до сведения графини—его жены.

«Граф с сочувствием говорил об искусстве, о родной литературе и ее лучших представителях. Он горячо соболезновал о смерти Тургенева, Мельникова-Печерского и Достоевского. Говоря о чуткой, любящей душе Тургенева, он сердечно сожалел, что этому, преданному России, высоко-художественному писателю пришлось лучшие годы зрелого творчества прожить вне отечества, вдали от искренних друзей и лишенному радостей родной, любящей семьи.

«Это был независимый, до конца жизни, пытливый ум, — выразился граф Л. Н. о Тургеневе,—и я, несмотря на нашу когда-то мимолетную размолвку, всегда высоко чтил его и горячо любил. Это был истинный, самостоятельный художник, не унижавшийся до сознательного служения мимолетным потребам минуты. Он мог заблуждаться, но и заблуждения его были искренни».

«Наиболее сочувственно граф отозвался о Достоевском, признавая в нем неподражаемого психолога-сердцеведа и вполне независимого писателя самостоятельных убеждений, которому долго не прощали в некоторых слоях литературы, подобно тому, как один немец, по словам Карлейля, не мог простить солнцу того обстоятельства, что от него в любой момент нельзя закурить сигару.

«...Мы разговорились о различных художественных приемах в литературе, живописи и музыке.—Недавно мне привелось прочесть одну книгу, — сказал между прочим граф Л. Н—ч, останавливаясь перед бревнышками, перекинутыми через ручей, — это были стихотворения одного умершего, молодого испанского поэта. Кроме замечательного дарования этого писателя, меня заняло его жизнеописание. Его биограф приводит рассказ о нем старухи, его няни. Она между прочим с тревогой заметила, что ее питомец нередко проводил ночи без сна, вздыхал, произносил вслух какие-то слова, уходил при месяце в поле, к деревьям, и там оставался по целым часам. Однажды ночью ей даже показалось, что он сошел с ума. Молодой человек встал, приоделся впотьмах и пошел к ближнему колодезю. Няня за ним. Видит, что он вытащил ведром воды и стал ее понемногу выливать на землю, вылил, снова зачерпнул и опять стал выливать. Няня в слезы: «спятил малый с ума».

А молодой человек это проделывал с целью ближе видеть и слышать, как в тихую ночь, при лунном сиянии, льются и плещутся струйки воды.Это ему было нужно для его нового стихотворения. Он в этом случае проверял свою память и заронившиеся в нее поэтические впечатления—тою же природой, как живописцы в известных случаях прибегают к пособию натурщиков, которых они ставят в нужные положения и одевают в необходимые одежды. Читая своих и чужих писателей, я невольно чувствую, кто из них верен природе и взятой им задаче, и кто фальшивит. Иного модного и расхваленного, особенно из иностранных, не одолеешь с первой страницы, как ни усиливаешься. Даже угроза телесным наказанием, кажется не могла бы заставить меня прочесть иного автора»... [1]).

Вскоре в разговоре был затронут земельный вопрос и Л. Н. высказал Данилевскому несколько оригинальных мыслей:

«...Вслед за видимым и коренным погромом старинного, дворянского поместного землевладения, в некоторой части общества особенно горячо и искренно усиливаются поощрять и навязывать крестьянам покупку дворянских и иных земель. Но для чего? Для того ли, чтобы вовсе не было на свете помещиков? Оказывается, что отнюдь не в тех видах, а чтобы сейчас же выдумать, искусственно сделать новых помещиков-крестьян. И мало того: сюда втянули, кроме бывших крепостных, и, не думавших о том, государственных крестьян, обратив их из вольных пользователей, оброчников свободных казенных земель в подневольных земельных собственников, т.-е. опять-таки в помещиков. Но кто поручится, что новым помещикам-крестьянам все это с течением времени не покажется недостаточным и что они, за свой суровый сельский труд и за свои деревенские лишения и тягости, не станут справедливо добиваться былых привилегий и между прочим стать дворянами? Забывают пример Китая, Турции, большей части древнего Востока. Там вся земля казенная, государственная и ею, за известный оброк правительству, казне, пользуются из всех сословий только те, кто действительно тем или другим способом, личным трудом или капиталом ее обрабатывает. Для такой цели выкуп в казну, и при посредстве казны частных земель имел бы скорее и свое оправдание и полезный для государства исход. На этот способ пользования землею давно обращено внимание западных и, в особенности, американских ученых, напр., Джорджа и других. Это, без сомнения, предмет далекого будущего, но не следует среди современных европейских доктрин забывать и того, чем живет и на чем ряд тысячелетий зиждется великий древний Восток» [2]).

В разговоре с Данилевским мы в первый раз встречаем ссылку Л. Н—ча на сочинения и взгляды Генри Джорджа. Не задолго до этого Л. Н. писал Черткову: «Я был нездоров с неделю и был поглощен George'ом и последней и первой его книгой: «Progress and Poverty», которая произвела на меня очень сильное впечатление. Прочтите, когда будет время. Оболенскому необходимо прочесть. Книга эта замечена, но не оценена, потому что она разрушает всю эту паутину научную, спенсеро-миллевскую—все это толчение воды, и прямо призывает людей к нравственному сознанию и к делу и определяет даже дело. Есть в ней слабости, как и во всем человеческом, но это настоящая человеческая мысль и сердце, а не научная дребедень. Я здесь поручил узнать его адрес и хочу написать ему письмо. Я вижу в нем брата одного из тех, которых, по учению апостолов, любишь больше, чем свою душу».

Впоследствии Л. Н—ч много потрудился над распространением идей Генри Джорджа, о чем мы упомянем в своем месте.

---

[1]) «Истор. Вестн.» 1886. III. Г. П. Данилевский. Поездка в Ясную Поляну. Стр. 529.
[2]) Там же.

ГЛАВА 4-я.

Религия человечества. В Ясной Поляне. Переписка.

Осенью того же года Л. Н—ча посетил бывший русский эмигрант, американец Вильям Фрей.

Прежде чем рассказывать об их свидании, следует сказать несколько слов о личности самого Фрея.

Вильям Фрей, настоящее имя которого было Владимир Константинович Гейнс, русский по рождению, воспитанию и по началу своей общественной деятельности, воспитывался в военно-учебных заведениях, служил в Финляндской полку, прошел две военные академии, артиллерийскую и генерального штаба; уже смолоду он отличался выдающимися способностями, исполнял поручения по самым точным математическим работам, и кроме своего специального образования, обладал всесторонними научными познаниями. Пренебрегши открывавшейся ему блестящей карьерой, он, движимый высшими нравственными побуждениями, эмигрировал в 1868 году в Северную Америку, где основал земледельческую ферму на коммунистических началах. Коммуна Фрея через несколько лет распалась; тогда он перешел в новую коммуну, основанную в 70-х годах в Канзасе русскими эмигрантами: Чайковским, Маликовым, В. И. Алексеевым и другими. В этой коммуне, кроме сильного, нравственого влияния своей личности, Фрей проявил себя и как автор-популяризатор научных знаний. Эта коммуна тоже распалась, и Фрей, после долголетних скитаний, во время которых он прошел самые разнообразные стадии так называемого «черного труда», переселился в Англию.

Поехав в Америку социалистом-коммунистом, он вернулся оттуда ортодоксальным позитивистом, т.-е. последователем Огюста Конта, основателя «религии человечества». Фрей принял не только положения Конта в его позитивной философии и классификации наук, но и все положения его позитивной политики, морали и религии, отвергаемые большей частью европейских ученых и разделяемых теперь небольшой группой людей, составляющих особую церковь, сохранившую, к сожалению, под новыми названиями почти весь католический культ и католическую иерархию.

В факте принятия этой религии Фреем сказалась его сильная нравственная потребность подчинить всю современную науку общественным стремлениям и религиозно-нравственным идеалам. В этом стремлении согласовать субъективный, по существу, метод религиозный с объективным, по существу же, методом положительной науки и в невозможности достигнуть этого, лежит весь трагизм беспримерно чистой и сильной души этого замечательного человека.

Во всю свою долгую жизнь в Америке, Фрей не забывал Россию и русских.

Волнения 80-х годов вызвали в нем горячий интерес и сожаление о стольких истраченых жизнях с такими сомнительными результатами. Ему казалось, что религия человечества должна умиротворить волнующиеся умы и дать правильный исход социальным инстинктам русского общества.

И вот летом 1885 года он поехал в Россию и уже здесь узнал о деятельности Л. Н—ча, о его влиянии на живую часть русского общества, о его сочинениях, распространявшихся в рукописях в тысячах экземпляров по России. Хотя в Англии он и имел возможность познакомиться с некоторыми из них, но он не представлял себе того значения, какое они имели для русского общества.

Первая мысль его была, как апостола дорогой ему идеи, привлечь Л. Н—ча к пропаганде религии Конта. Он написал ему почтительное письмо, в котором изложил сущность своих взглядов, высказал критический взгляд на сочинения Л. Н—ча и с полной терпимостью к его взглядам приглашал его соединиться в общем усилии на благо человечества.

6. «Пахарь»
(с картины И. Е. Р[illegible])

Чтобы ясно понять их дальнейшие отношения, приведем из этого письма несколько мыслей, выражающих сущность религии человечества.

Все учение «религии человечества» сконцентрировано ее основателем в следующую формулу:

«Во имя человечества, любовь — наш принцип, порядок—основание и прогресс—цель нашей деятельности. Жить для других. Жить открыто».

Далее идет развитие каждого положения этой формулы.

Любовь исключает насилие.

«...Насилие против отдельного человека,—говорит Фрей,—становится так же ужасно, как над той или другой частью любимого существа».

«Братство полное, безусловное братство всех людей, заменяет для нас то половинчатое братство, которое было реализировано христианством».

«Равенство перестает быть отдаленною возможностью будущего: оно становится несомненным фактом в настоящем для всякого, кто понимает, что все отправления общественного организма одинаково необходимы и полезны для жизни целого».

«Порядок означает подчинение законам природы независимо оттого, нравятся ли они нам или нет».

Это правило, на первый взгляд весьма естественное, легко может повести к полному индиферентизму в сфере общественной.

И действительно, Фрей делает из этого положения такой вывод: «Наши антипатии к суду, к современному экономическому строю, к войне должны умеряться историческими и психологическими соображениями, отчасти высказанными раньше. Мы видим в них факторы общественного воспитания, безусловно необходимые вначале, условно полезные теперь и долженствующие перейти в другие, высшие формы.

Прогресс—цель нашей деятельности. Каждый человек должен участвовать в общем прогрессе, способствовать ему, и одно из главных средств к этому есть нравственное самоусовершенствование.

Жить для других; в этом принципе Фрей считает себя совершенно солидарным со Львом Николаевичем и полемизирует уже не с ним, а с теми европейскими учеными и философами-индивидуалистами, которые, видя неосуществимость непосредственную данного идеала в практической жизни, отбрасывают его, как бесполезную мечту.

Наконец, он переходит к последнему положению—«жить открыто».

«Это значит,—говорит Фрей,—что каждый, исповедующий религию человечества, должен прежде всего стараться о соответствии своих слов с поступками, с тем, чтобы никогда не унижаться до уровня современных «деятелей», которые, подобно ворам и мошенникам, стыдятся и прячут свою частную жизнь от других».

Искренность, с которой было написано это письмо, побудила Л. Н—ча послать Фрею приглашение приехать к нему для личной беседы. Фрей не замедлил воспользоваться этим приглашением, и свидание их состоялось, к их обоюдной радости, осенью этого же года.

Вот как сам Фрей рассказывает об этом свидании в письме, обращенном к русскому обществу:

«Вскоре после получения моего письма, Лев Толстой написал мне братское приглашение приехать к нему, чтобы словесно разобраться в недоразумениях, всегда сопровождающих сжатое изложение нового мнения. Я поспешил воспользоваться его приглашением и провел с ним пять незабвенных для меня дней (от 7—12 октября), в течение которых мы ясно поняли друг друга и отчетливо увидали, что большая часть наших несогласий имеет временный, несущественный характер. Немногие различия, стоящие до сих пор как бы препятствием к полному духовному об'единению, должны быть приписаны только индивидуальным качествам и своеобразным ходам развития мысли у каждого из нас, и вовсе не представляют тех несоизмеримостей, которые происходят от различия в преобладающем мотиве».

И далее в том же письме он говорит:

«Пять дней было достаточно, чтобы раз'яснить наши сходства и различия по религиозно-нравственным вопросам. Мы не только поняли друг друга, но расстались скрепленные духовным родством, взаимным уважением и глубокой симпатией, при которой разница во мнениях не только перестает раздражать друг друга, но, напротив, признается естественным и необходимым фактором в усилиях человечества разрешить жизненные вопросы нашего времени».

Фрей ожидал встретить в Толстом фанатика своей идеи и был удивлен его широкой терпимостью, дошедшей до того, что Л. Н—ч был согласен одно из правил Конта присоединить к заповедям Христа.

Фрей так рассказывает об этом:

«До какой степени учение Толстого отличается от общепринятого христианства, как далеко оно от узкой исключительности и нетерпимости теологических и метафизических систем, как сильно бьется в его истолкователе живая потребность критически и научно относиться ко всему окружающему и постоянно совершенствоваться, можно видеть из того, что Л. Т. почти с первых слов нашего свидания заявил свою признательность Конту за этическое правило «жить открыто», так как им (далее я почти буквально приведу слова Толстого), «превосходно пополняется пробел в нравственном учении Христа и потому последняя заповедь позитивизма должна стоять рядом с пятью заповедями Христа». Человек, который с готовностью пополняет свое учение из других источников, который видит в духовном общении людей высший контроль частной жизни и лучшее средство для определения границы возможно полного осуществления законов нравственности, который признает в братском общежитии верующих лучшую школу для самоусовершенствования—такой человек не может быть упрекаем в попытке воскресить прежнее иерархическое окаменелое христианство».

На Л. Н—ча Фрей произвел самое благоприятное впечатление. В нескольких письмах к друзьям своим он вспоминает об этом свидании. Так, в письме к свояченице своей, Т. А. Кузьминской, он пишет так:

«...Без тебя был Фрей, ты слышала—он интересен и хорош не одним вегетарианством. Жаль, что ты не была при нем. Ты бы многое узнала. У меня от него осталось самое хорошее воспоминание. Я много узнал, научился от него и многое, мне кажется, не успел узнать. Он интересен тем, что от него веет свежим, сильным, молодым, огромным миром американской жизни.

«...Он 17 лет прожил большею частью в русских и американских коммунах, где нет ни у кого собственности, где все работают не «головою», а руками и где многие, и мужчины и женщины, счастливы очень».

Еще интереснее отзыв Л. Н—ча о Фрее в письме ко мне, в котором Л. Н—ч говорит о Фрее, как о будущем ценном сотруднике предполагавшегося тогда к изданию народного журнала.

«...Поблагодарите А. М. за Фрея. Как мне кажется, она оценила его больше всех. Он пробыл 4 дня, и мне жалко было и тогда, и теперь, всякий день жалко, что его нет. Во-первых, чистая, искренняя, серьезная натура, потом знаний не книжных, а жизненных, самых важных, о том, как людям жить с природой и между собой,—бездна. Я его просил быть сотрудником нашего фантастического пока журнала, и он обещал. Он мог бы вести три отдела: 1) Гигиена—народная, для бедняков, практическая гигиена: как с малыми средствами и в деревне и особенно в городах людям здорово жить. По-моему, он знает по этой части больше, чем весь медицинский факультет. Он обещал это. 2) Техника первых орудий работы: топора, пилы, кочерги, стиральных прессов и снарядов мешания хлебов и т. п. Мы говорили с вами про это. Этого он не обещал, и, по-моему, надо искать такого человека, только не теоретика, а такого, который бы, как Фрей, сам все проделывал, употребляя сам те снаряды и прессы, которые он описывает. 3) Это его записки о жизни в Америке, о труде, приучения себя к ней, жизни фермерской, о жизни в общинах. Он обещал, но сомнительно, чтобы он написал это скоро. Он был в школе

со мной, на вечернем чтении и начал разговор с мужиками. Надо было видеть, как разинули рты на его рассказы».

После этого свидания Фрей уехал на юг. Оттуда из Симферополя он послал Льву Н—чу второе большое письмо и кроме того между прочим писал Л. Н—чу:

«...Держите мою заметку до той поры, пока я не заеду к вам на обратном пути в Питер. Это случится в первой половине декабря. Будете ли вы к тому времени в Ясной Поляне, или в Москве, я надеюсь, вы уделите часть своего времени для меня. Мне также желательно видеть вас, и еще раз от души переговорить с вами, прежде чем я уеду из России. Ваше теплое участие к моей работе и ваше дружеское братское расположение будут поддерживать меня гораздо сильнее, чем я предполагал в начале, до знакомства с вами. А потому я хочу взять у вас того и другого в возможно большем количестве».

Второе свидание состоялось в Москве, как и предполагал Фрей, в декабре того же года.

В это время Л. Н. с увлечением писал о науке и искусстве в последних главах своей книги «Так что же нам делать?».

В 29-й главе этой книги Л. Н—ч делает беглый обзор религиозных и философских систем, удовлетворявших требованию толпы, т.-е. потакавших, оправдывавших ее уклонения от праведной жизни.

Такою системою было учение о грехопадении и искуплении человека, ставшее на место обличительного учения Христа, такой же заменой было в области философии распространение системы Гегеля с ее принципом: «все существующее разумно», восторжествовавшей над обличительными учениями Руссо, Паскаля, Спинозы, Шопенгауера и других. На смену гегельянству явилась новая научная система позитивной философии.

И вот вся 30-я глава посвящена уничтожающей критике этого учения. Когда Фрей снова пришел ко Л. Н—чу в Москве, Л. Н—ч прочел ему эти две главы.

Так как одно из главных положений того учения, которому следовал Фрей, было подчинение научной деятельности религиозно-нравственным принципам, то Л. Н. надеялся встретить сочувствие Фрея к изложению своих мыслей о том, как научная система заняла место религии и уничтожила руководящий нравственный принцип.

И Фрей действительно весьма сочувственно отнесся к 29 главе, т.-е. к той, где подвергаются критике вообще все религиозные и научные системы, исключающие нравственное руководство людей, но при чтении 30-й главы, в которой Л. Н. причисляет Огюста Конта к числу таких же основателей учений, оправдывающих заблуждение толпы, как Мальтус, Дарвин, Спенсер и др., Фрей возмутился и, оставшись ночевать у Л. Н—ча в кабинете, встал на другой день рано утром и тут же, за столом Л. Н—ча, написал ему 2-е письмо с убедительной просьбой уничтожить всю 30-ю главу и исправить 29-ю, не называя «позитивной» царствующую, оправдательную научную теорию и выделив Огюста Конта из числа основателей таких теорий.

Но доводы Фрея не убедили Л. Н—ча, и 29 и 30 главы остались в книге «Так что же нам делать?» в прежнем виде.

У нас случайно сохранились две редакции этих глав: та, которую читал Фрей, и позднейшая редакция, со многими исправлениями, но не одно из них не соответствует доводам Фрея.

Вскоре после этого свидания, возвратившись в Петербург, Фрей стал собираться в Англию. Миссия его в России была кончена, хоть и не дала больших видимых результатов. Он успел заинтересовать небольшой кружок интеллигенции своими взглядами и, вероятно, посеял добрые семена, так как он везде вызывал к себе личную симпатию и, уезжая из России, оставил там много друзей.

Та заметка, которую Фрей прислал Л. Н—чу из Симферополя и заключавшая в себе результат яснополянской беседы, свод тех заключений, к которым, как думал Фрей, они оба пришли после пятидневного дружеского свидания, эта об'емистая

рукопись долго лежала у Л. Н—ча без движения; наконец, по настоянию Фрея, он прочел ее, испестрил своими заметками на полях и ответил на основные тезисы, в которых Фрей в конце статьи резюмировал свои мысли.

Мы приведем здесь целиком эти интересные ответы и общее заключение Льва Николаевича.

Тезис Фрея.

1. Нравственность не прививается к людям ни наукой вообще, ни той наукой, которая исследует законы нравственности.

Ответ Л. Н—ча.

Мне дела нет, как она прививается; а кстати же, я не могу этого знать.

Тезис Фрея.

2. Нравственные инстинкты пробуждаются в людях чисто симпатическими влияниями: в частной жизни—влияниями нравственных людей и обстановки; в жизни массовой влияниями существа (реального или фиктивного, все равно), которое религия облекает в конкретные формы и ставит по силе, высоте и яркости нравственных совершенств неизмеримо выше отдельных людей.

Ответ Л. Н—ча.

Религия совсем не то делает.

Тезис Фрея.

3. Человечество есть единственное существо, все равно, будет ли оно фиктивным, гипотетическим или реальным органическим, способное вызвать в передовых, по умственному развитию, классах Европы религиозное чувство, так как оно одно, бесспорно, обладает всеми человеческими совершенствами.

Ответ Л. Н—ча.

Такого существа нет.

Тезис Фрея.

4. Религия будущего есть поэтому религия человечества, она сохраняет все хорошее прежних религий (т.-е. любовь и самоулучшение), но свободна от их недостатков, будучи религией прогресса, науки, социализма и терпимости.

Ответ Л. Н—ча.

Дай Бог иметь религию, а какая она будет, не знаю, знаю только, что религии прогресса, науки, социализма и терпимости быть не может.

Тезис Фрея.

5. Художник обязан делать людей восприимчивыми к добру и потому не пренебрегать их религиозным чувством.

Ответ Л. Н—ча.

Таких особенных людей, называемых художниками, не знаю, знаю обязанность каждого жить разумно.

Тезис Фрея.

6. Здравый смысл и практика жизни одинаково требуют, чтобы желающие радикальных перемен обособляли свое учение и деятельность от людей, поддерживающих существующий порядок.

Ответ Л. Н—ча.

Побочное соображение, решение вопроса неподлежащего.

Тезис Фрея.

7. А потому вы, Лев Николаевич, как человек и как художник, обязаны стать открытым проповедником религии человечества, предоставляя себе и каждому ее последователю полную свободу в определении пути в сферах не вполне или вовсе неизследованных наукой.

Ответ Л. Н—ча.

А потому постараюсь прожить до смерти, как можно меньше греша, т.-е. не отступая от разума.

Наконец Л. Н. пишет такое заключение:

«Все недоразумение зиждется на том, что вы, говоря о религии, совсем не то понимаете под нею, что понимаю я, и что понимал Конфуций, Лаодзе, Будда, Хри-

стос. У вас религию надо выдумать или, по крайней мере, придумать, и такую, которая бы хорошо действовала на людей и сходилась бы с наукой и как бы совокупляла и обнимала все, согревая людей, поощряя их к добру, но не нарушала бы их жизни. Я же понимаю (льщу себя надеждой, что не я один), религию совсем не так. Религия есть сознание тех истин, которые общи, понятны всем людям, во всех положениях, во все времена и несомненны, как 2×2=4. Дело религии есть нахождение и выражение этих истин, и когда истина эта выражена, то она неизбежно изменяет жизнь людей. А потому то, что вы называете схемой, не есть вовсе произвольное утверждение кого-нибудь, а есть выражение тех законов, которые всегда неизменны и чувствуются всеми людьми. Дело религии подобно делу геометрии: отношение катетов к гипотенузе всегда было, и люди знали, что есть какое-то, но когда Пифагор указал и доказал его, то оно стало достоянием всех. И говорить, что схема нравственности не хороша, потому что она исключает другие схемы, все равно, что говорить, что теорема отношения катетов к гипотенузе не хороша, потому что она нарушает другие ложные предположения.

«Оспаривать схему (как вы называете), истину (как я называю) Христа нельзя тем, что она не подходит к выдуманной религии человечества и исключает другие схемы (по-вашему), ложь (по-моему), а ее надо оспаривать, прямо показав, что она неистинна. Религия слагается не из набора слов, которые могут хорошо действовать на людей, религия слагается из простых очевидных, ясных, несомненных нравственных истин, которые выделяются из хаоса ложных и обманчивых суждений, и таковы истины Христа. Если бы я нашел такие истины у Каткова, я сейчас же бы их принял. На этом вашем непонимании того, что я, да и все религиозные люди, считают религией и на желании поставить на место этого известную форму пропаганды—зиждется недоразумение».

И несмотря на эти крупные разногласия, Л. Н—ч до конца жизни сохранил самую лучшую память об этом замечательном человеке, умершем в бедности, в Англии, в 1889 году [1]).

В этом же году, весной, пришел ко Л. Н—чу, с юга России, молодой человек, еврей, симпатичной наружности, интеллигентный и вполне опростившийся, полный энергии и добрых желаний и, заявив свое полное согласие со Л. Н—чем в его взглядах на вопросы жизни и религии, решил остаться жить вблизи его, в деревне «Ясной Поляне». Чтобы войти в более близкое общение с народом, он избрал должность учителя в местной сельской школе, устроенной земством. Конечно, еврей не мог быть учителем в русской школе, и чтобы получить это право, ему надо было принять православие. Он, не задумываясь, решился и на это. Этот сознательный компромисс со своей совестью на первых же шагах своей идейной жизни, неприятно поразил всех тех, в ком он вызывал симпатию своим внешним видом, своим характером и образом жизни. Благодаря связям Л. Н—ча с местными общественными деятелями, Исаак Борисович Фейнерман, так звали этого молодого человека, был допущен к преподаванию, и, по обращении в православие, считал себя уже прочно водворившимся в ясно-полянской школе.

Но когда дело дошло до попечителя округа, он его не утвердил, и Фейнерману пришлось оставить учительство. Тогда он поселился, как простой работник, у одного из крестьян, и, живя действительно без всякой собственности, без всяких удобств, справлял всю крестьянскую работу. Быть может, много сказать, что он имел влияние на Л. Н—ча, но несомненно то, что своим радикализмом в опрощении и упорством в крестьянском образе жизни и труде, он оказывал поддержку стремлениям Л. Н—ча в этом же направлении, являя живой пример приложения к жизни основ его мировоззрения.

Он оказался женатым. Вскоре приехала жена, молодая, симпатичная еврейка с ребенком и поселилась вместе с ним в крестьянской избе, с намерением разделить

---

[1]) Сведения о Фрее почерпнуты мною отчасти из моего личного архива и личных воспоминаний о нем, отчасти из рукописей, хранящихся в библиотеке импер. академии наук в Петрограде.

с ним его образ жизни. Но в семейной жизни потребности стали расти, понадобились деньги, и Л. Н. стал давать им работу по переписке своих запрещенных цензурой произведений, на которых тогда был большой спрос, и много людей кормилось этой перепиской.

Но женский характер не удовольствовался этим случайным заработком, и жена приходила в семью Толстых жаловаться на трудное положение и требовала от мужа более выгодного заработка и обеспечения будущей семьи, что, конечно, вызывало тяжелые семейные сцены. Жить стало трудно, и Фейнерман уехал снова на юг. Сначала он жил в колониях интеллигентных земледельцев, изучил столярное ремесло, зарабатывал этим на семью, побывал в еврейских колониях, временно увлекался спонизмом и, наконец, стал заниматься литературой, и по признанию даже Л. Н—ча, весьма строгого судьи для начинающих литераторов, обнаружил несомненный литературный талант. Впоследствии он издал целую книжку рассказов из жизни Л. Н—ча. Так как он жил 2—3 года вблизи Л. Н—ча, часто виделся с ним и благодаря своим умственным способностям живо схватывал мысли и слова его, то во всех его рассказах можно найти искру, принадлежащую действительно Л. Н—чу. Но эта искра тонет и потухает в пространной литературной декорации, которыми обильно снабжены эти рассказы. И для людей, близко знавших Л. Н—ча, трудно читать их, так как стиль этих рассказов и передача слов Л. Н—ча далеко не соотвествуют простоте и силе речи самого Л. Н—ча, и потому эти рассказы могут ввести в заблуждение людей, могущих принять за чистую монету все в них написанное. Рассказы эти подписаны псевдонимом Теперомо, что представляет латинский перевод фамилии Фейнерман.

Вся эта панорама лиц проходящих перед Л. Н—чем ясно обрисовывает нам новую, разнообразную и в тоже время своеобразную идейную среду, в общение с которой вступил Л. Н—ч, приобретая себе друзей и единомышленников или просто сочувствующих ему из всех слоев и возрастов. От неграмотного крестьянина до философа писателя, и от юноши гимназиста до администратора.

Характерный эпизод того времени рассказан одним судебным деятелем, эпизод, указывающий на отношение Л. Н—ча к нарушению прав его собственности, к которой он потерял тогда уже всякий интерес.

«Возникло дело,—рассказывает бывший следователь М.—о краже капусты лет 18 тому назад в Ясной Поляне. Кража совершалась систематически, и для поимки вора был снаряжен специальный караульщик. В одну ночь поймали крестьянку Матрену, которая на посланные ей упреки заявила, что «есть нечего».

Под конвоем нескольких человек старуху отвели в соседнюю деревню к полицейскому урядинку. Протокол составлен. Матрена посажена в холодную, и дознание отослано к становому приставу, который тотчас же передал его мировому судье.

Как-то ранним утром собственник «Ясной Поляны» Л. Н. Толстой шел в поле, мимо деревни. Его внимание привлекла толпа, стоявшая около старой, покосившейся набок избы. Слышался плач.

— Умер кто?—спросил он.

— Нет, это Матрену в тюрьму ведут.

— Матрену, старуху, в тюрьму?—изумился он.—За что?

— Да за вашу же капусту.

— Как за мою капусту? Какую капусту?

Ему стали рассказывать. В это время вышла из избы и Матрена в сопровождении полицейского урядника. Л. Н. попросил отпустить старуху, заявив, что он прощает ее.

Урядник об'яснил ему, что теперь он освободить ее не имеет права, так как она осуждена уже судьей.

Попросив отложить исполнение приговора до следующего дня, Л. Н. поспешил сначала в город к прокурору, а затем к своему соседу, мировому судье, постановив-

шему приговор. Приведение приговора было немедленно приостановлено. От Матрены была принята мировым судьей просьба о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы, и апелляция была подана.

Через две недели в уездном мировом с'езде слушалось дело о краже капусты.

Свидетельскими показаниями было вполне доказано, что Матрена поймана на месте преступления. Сама Матрена чистосердечно призналась.

Тов. прокурора относил преступное деяние Матрены к покушению на кражу и, ввиду чистосердечного признания обвиняемой, ходатайствовал о смягчении наказания. Судьи долго совещались и вынесли неожиданную резолюцию. Оправдав Матрену в тайном похищении капусты, они признали ее виновной по 145 статье устава о наказании в самовольном срывании овощей, но не в виде кражи, и приговорили ее к денежному взысканию в размере пяти рублей.

Тов. прокурора не опротестовал этого приговора. Пять рублей за Матрену уплатил мировой судья, постановивший приговор» [1]).

Вскоре Льву Николаевичу пришлось увидать то столкновение учения Христа с жизнью, которое он предвидел; как только учение Христа в его чистом виде стало распространяться в обществе и народе, так перед многими молодыми людьми возник вопрос, можно ли христианину отбывать воинскую повинность. И большинство искренних молодых людей ответило себе: нельзя. И вот начинаются отказы от воинской повинности, без которых теперь не проходит ни один набор.

Один из первых, отказавшихся от воинской повинности, под влиянием прочитанных сочинений Льва Николаевича, был Алексей Петрович Залюбовский. Весть об этом отказе дошла до Льва Николаевича и он писал мне об этом в ноябре 1885 г.:

«...Вчера я получил письмо, очень взволновавшее меня, от офицера артиллер. академии Анат. Петров. Залюбовского, брата того Залюбовского, который в прошлом году отказался от воинской повинности в Москве. Я думал, что его освободили от фронтовой службы, и он живет в Кишиневе, но оказывается, что его уж год мучают, посылают по этапам с бродягами, помещают в госпитали, пересылают из части в часть и заслали теперь в Закаспийский край. И он до сих пор продолжает на основании учения Христа отказываться от участия в убийстве. Я кое-кому писал об этом. Пишу вам, не можете ли узнать и что-нибудь сделать? Дело было у военного министра и в главном штабе. Я прошу об одном, чтобы с ним поступили по закону, признав его так называемым сектантом. А то они сами не знают, что делать, и прямо отступают от закона и ведут дело тайно. Хорошо бы уж и то, чтобы начальствующие знали, что дело это не тайна, и есть люди, следящие за судьбой Залюбовского. Неужели мученичество первых времен христианства опять возможно и нужно?».

«Жена в Петербурге у Кузьминских; зайдите к ней: я ей посылаю копию письма Залюбовского. Посоветуйтесь, подумайте и напишите».

«Нельзя ли где напечатать об этом? Я бы написал с радостью».

Софья Андреевна, приехавшая в Петербург, чтобы хлопотать об издании XII тома полного собрания сочинений Л. Н—ча, энергично принялась и за хлопоты об облегчении участи Залюбовского; была у разных генералов, и результатом ее хлопот было, если не облегчение участи, то ускорение дела Залюбовского, которого вскоре по военному суду, т.-е. по приказанию начальства, сослали в Закаспийский край, где он и отбыл наказание в качестве нестроевого солдата, т.-е. без ношения оружия.

---

[1]) Из современной газеты.

В этом году вся семья, до глубокой осени, оставалась в Ясной Поляне.

Софья Андреевна так пишет о Л. Н—че другу дома Ник. Н—чу Страхову от 12 сентября:

«Лев Николаевич пишет понемногу вторую часть «Так что же нам делать?», но больше ходит в лес, рубить деревья, собирать грибы, или пашет; сохой учится управлять так же, как топором».

Мне случилось в эту осень быть в Ясной Поляне; как теперь помню чудный вечер, проведенный в кабинете Льва Николаевича. Теперь уже взрослые, младшие сыновья Л. Н—ча, были милыми мальчиками. Мы сидели кучей на диване в полутемной комнате со Львом Николаевичем. Он был весел и общителен. Он предложил каждому из нас рассказать что-нибудь замечательное из своей жизни. Мне помнится, что я рассказал эпизод из своей службы во флоте, как я раз едва не погиб, столкнувшись на паровом катере с пароходом почью на кильском рейде. Других рассказов не помню, но когда дошла очередь до Льва Николаевича, то он рассказал нам о том, как на Кавказе во время сражения с горцами у его ног разорвалась граната и разбила в щепки колесо пушки, которую он наводил.

Мы жадно слушали его рассказ, но кроме этого фактического рассказа я помню хорошо, что я чувствовал какое-то невыразимое обаяние от всей обстановки и от голоса и близости Льва Николаевича, от какой-то тихой любовной атмосферы, окружавшей нас, и вечер этот, один из первых вечеров, проведенных мною в Ясной Поляне, никогда не изгладится из моей памяти.

Много раз после мне случалось беседовать со Л. Н—чем, и чем эта беседа носила более частный характер, чем она была интимнее, тем слова Л. Н—ча были сердечнее, тем они глубже проникали в душу и крепче запоминались.

Когда же Лев Н—ч говорил в более многолюдном собрании, у меня всегда являлось желание сесть у его ног и смотреть ему в глаза, чтобы не проронить ни слова из его беседы. Велико было его обаяние.

Закончим эту главу интересным письмом Л. Н—ча к Н. Н—чу Страхову, после прочтения его статьи о спиритизме.

В этом письме Л. Н—ч делает смелые обобщения, высказывая общий взгляд на идеалистическую философию, давая практический, жизненный смысл главным ее принципам.

«Сейчас прочел ваши прекрасные две статьи, дорогой Н. Н., они мне очень понравились по строгости и ясности мысли, по простоте распутывания умышленно запутываемого. Я читал их, любуясь на мастерство работы, но с некоторым равнодушием и осуждением: зачем заниматься таким искусственным ходом мыслей, вроде того чувства, с которым разбираешь решение шахматной задачи? Бутлеров сочинил задачу; вы решили. Интересно удивительно, но зачем это мне? Конец статьи, однако, подействовал на меня иначе, он мне об'яснил, почему вы сделали и делаете такие усилия, что можете так легко разрешить такие задачи и, главное, показал вас, вашу душу, то чужое и родное мне в вашей душе, которое и сближает и разделяет нас. Вы никогда так не высказывались, или я теперь только понял вас. Конец этой статьи об'яснил мне все: и ваше пристрастие к инд. мудрости и к m-me Guyion, к углублению в себя и то ваше последнее письмо, которое меня за вас очень огорчило. Вы между прочим пишете, что чаще и чаще думаете о смерти, чувствуете ее приближение и уходите из мира, в котором не видите никакого просвета, ничего, что бы вызвало надежду на лучшее. Ведь это нездоровое душевное состояние. И вот в этой статье мне дан ключ ко всему. *Познание есть в известном смысле отрицание, понижение, удаление от себя того, что познается* (и далее до черточки). Это совершенно справедливо по отношению к познанию всего внешнего мира, за исключением человека—всех людей, т.-е. того, что познает не во мне одном, но и вне меня. Познание понижает и удаляет внешний мир, но зато и для того только, чтобы поднять и приблизить человека. И тут-то кажущееся мне разномыслие мое с вами. Мне кажется, что вы познание и удаление ставите целью. Я же считаю его средством. Познание мира и человека, принижающее и удаляющее первое и возвышающее и

приближающее второе, есть только орудие, которое надо взять в руки, прежде чем и для того, чтобы начать работу. Я, мы все упали с неба в какое-то заведение. Первое—нужно жить, т.-е. употреблять в дело свои руки, голову, свое движение и время, т.-е. работать. Для того, чтобы это делать, надо понять где я? что я? *Какое мое назначение?* (Я подчеркиваю этот вопрос потому, что для меня он главный, и мне кажется, что у вас он выпущен.) И для этого мне надо познать. Познание это дает мне великое удовлетворение; но это удовлетворение делается страданием (как бы я ни раздувал его), если я тотчас не употреблю этого познания, удалившего и приблизившего внешний мир, и поднявшего, и приблизившего человека, уяснившего для меня, разместившего для меня правильно весь окружающий меня хаос, если я не употребляю это познание на исполнение своего назначения, на работу, всем существом моим для того, что поднялось и приблизилось для человека. Очень мне грустно было узнать о смерти Данилевского. Я рад все-таки, что мы полюбили друг друга. Грустно за вас. Простите, что давно не писал вам. От души целую вас. Л. Толстой».

«P. S. Я перечел, что написал, и боюсь, что не ясно, а мне дорого передать вам всю мою (дорогую мне, которой я живу) мысль. На то только мы, любящие друг друга люди, и нужны друг другу, чтобы общаться духом. Мне кажется, что индейцы, Шопенгауер, мистики и вы делаете ту ошибку ничем неоправдываемую, что вы признаете мир внешний, природу, бесцельной фантасмагорией. Задача духа есть освобождение от подчинения этой внешней игры материи, но не для того, чтобы освободиться. Иначе гораздо бы проще было и не подневоливать дух этой игре. И каждый может освободиться радикально, убив себя. (Я никогда не верил и не понимал этого страха перед метампсихозой, которая руководит Буддою.) Задача состоит в освобождении не для освобождения, а для освобожденной жизни—труда в этих самых материальных условиях жизни. Человек, освобождающийся из темницы, почти всегда думает, что освобождение и есть цель, а между тем он освобождается для того, чтобы жить. Также я представляю себе ваш взгляд. Все переально, все фантасмагория, все мое представление и больше ничего; это так только до тех пор, пока я подчинен этим призракам. Но как скоро я освободился от подчинения, так призраки становятся орудием и реальностью из реальностей; составляют необходимое условие моей жизни духа, когда все эти прежде странные и страшные орудия непонятного мне заведения становятся настолько понятными, необходимыми и покорными, подчиненными мне. Боюсь, что, желая раз'яснить вам свою мысль, я еще больше запутал ее. Вы, впрочем один из тех редких людей, которые умеют понимать чужие ходы мыслей. Материальный мир не есть ни призрак, ни пустяки, ни зло, а это тот материал и те орудия, над которыми и которыми мы призваны работать. Я возьмусь без уменья и без охоты строгать и, сбив себе руки, обругаю доску и рубанок; это же самое я делаю, когда называю материальный мир пустяками или злом».

И рядом с этими философскими рассуждениями Л. Н—ч чутко прислушивается к нарождающемуся движению в народных рабочих массах и прозревает в них серьезную опасность, так наз. существующему порядку и сочувствует этому движению. Вот как он выразил это в письме к своей свояченице от 17 октября 1885 г.:

«...У нас все благополучно и очень тихо. По письмам вижу, что и у вас также и во всей России и Европе также. Но не уповай на эту тишину. Глухая борьба против анковского пирога [1]) не только не прекращается, но растет, и слышны уже кое-где раскаты землетрясения, разрывающего пирог. Я только тем и живу, что верю в то, что пирог не вечен, а вечен разум человеческий» [2]).

---

[1]) Шуточное выражение, употреблявшееся в семье Л. Н—ча, для обозначения некоторого материального благополучия. Прим. *И. Б.*

[2]) Арх. Т. А. Кузьминской.

ГЛАВА 5-я.

Бондарев. Палкин. Дерулэд.

В своей книге «Так что же нам делать?» Л. Н. пишет:

«За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое миросозерцание. Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники, это были два, живущие теперь, замечательных человека, оба крестьяне: Сютаев и Бондарев» [1]).

Оба эти замечательные человека теперь уже умерли. О Сютаеве мы уже вкратце упоминали во 2-м томе, теперь скажем о Бондареве, так как общение с ним Л. Н—ча происходило, главным образом, в 1886-м году, т.-е. в то время, до которого мы довели описание жизни Л. Н—ча.

Впервые заговорил в печати о Бондареве, хотя и не называя его по имени, Глеб Иванович Успенский в своей статье, напечатанной в «Русской Мысли» в 1884 году. Повидимому, и Л. Н—ч узнал о Бондареве из этой статьи, так как в первом письме своем к Бондареву, говоря о получении рукописи с сокращенным изложением его учения, Л. Н—ч прибавляет: «Я прежде читал из нее извлечения и меня они очень поразили тем, что все это правда и хорошо высказано».

Затем в том же письме Л. Н—ч продолжает делать такую оценку сочинения Бондарева:

«Прочтя рукопись,—говорит он,—я еще больше обрадовался. То, что вы говорите, это святая истина и то, что вы сказали, не пропадет даром; оно обличит неправду людей. Я буду стараться раз'яснять то же самое. Дело людей, познавших истину, говорить ее людям и исполнять, а придется ли им увидать плоды своих трудов, то Бог один знает».

Что же это за учение, столь поразившее Л. Н—ча своею значительностью и близостью к его взглядам?

В своем предисловии к сочинению Бондарева Л. Н—ч так излагает сущность его учения.

«Основная мысль этого сочинения следующая: во всех житейских делах важно бывает не то, что именно хорошо и нужно знать, а то, что́ из всех хороших и нужных вещей или дел—что́ есть самой первой важности, что̀ второй, что́ третьей и т. д.

«Если это важно в житейских делах, то тем более это важно в деле веры, определяющей обязанности человека.

«Бондарев утверждает, что несчастие и зло людей произошли оттого, что они признали своими религиозными обязанностями много пустых и вредных постановлений, а забыли и скрыли от себя и других свою главную, первую, несомненную обязанность, выраженную в первой главе св. Писания: «в поте лица снеси хлеб твой».

«Закон этот кажется очень простым и давно известным, но это только кажется, и чтобы убедиться в противном, стоит только оглянуться вокруг себя. Люди не только не признают этого закона, но признают как раз обратное. Люди по своей вере—все, от высшего лица до низшего—стремятся не к тому, чтобы исполнить этот закон, а к тому, чтобы избегнуть исполнения его. Раз'яснению вечности, неизменяемости этого закона и неизбежности бедствий, вытекающих из отступления от него, и посвящено вышеназванное сочинение Бондарева.

«Закон этот,—по мнению Бондарева,—должен быть признан, как религиозный закон, как соблюдение субботы, обрезание у евреев, как исполнение таинств, поста у церковных христиан, как пятикратная молитва у магометан. Бондарев говорит в одном месте, что если только люди признают хлебный труд своею религиозною обязанностью, то никакие частные особенные занятия не могут помешать им исполнять

---

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Изд. т-ва Сытина. Т. XIII. Стр. 212.

это дело, как не могут никакие специальные занятия помешать церковным людям исполнять праздность своих праздников. Праздников насчитывается больше 80, а для исполнения хлебной работы нужно, по расчету Бондарева, только 40 дней».

«...Хлебный труд,—говорит Бондарев,—есть лекарство, спасающее человечество. Признай люди этот первородный закон законом божеским и неизменным, признай каждый своей неотменной обязанностью хлебный труд, т.-е. то, чтобы самому кормиться своими трудами, и люди все соединятся в вере в одного Бога, в любви друг к другу, и уничтожатся бедствия, удручающие людей.

«...Все будут работать и есть хлеб своих трудов, и хлеб и предметы первой необходимости не будут предметами купли и продажи.

Что будет тогда?

«Будет то, что не будет людей, гибнущих от нужды. Если один человек вследствие несчастных случайностей не заработает достаточно для своего и своей семьи корма,—другой человек, вследствие благоприятных условий приобревший лишнее, даст неимущему,—даст уже потому, что девать ему хлеба больше некуда, так как он не продается.

«Не будет того настроения мысли человеческой, по которому все усилия человеческого ума направляются не на то, чтобы облегчить труд трудящихся, а облегчить и украсить праздность празднующих. Участие всех в хлебном труде и признание его головой всяких дел людских делает то, что сделал бы человек с телегою, которую глупые люди везли бы вверх колесами, когда он перевернул бы ее и поставил на колеса. И не сломает телеги и пойдет она легко.

«А наша жизнь с презрением и отрицанием хлебного труда и наши поправки этой ложной жизни—это телега, которую мы везем вверх колесами. И все наши поправки этого дела не попользуют, пока не перевернем телеги и не поставим ее, как ей стоять должно.

«Такова,—заключает Л. Н—ч,—вполне разделяемая мною мысль Бондарева» [1]).

И вот между этими людьми, стоящими по своему внешнему положению на двух различных полюсах культуры и цивилизации, начинается душевное общение, тяготение друг к другу и завязывается деятельная переписка.

Бондарев был сектант-субботник, сосланный на поселение за пропаганду своего учения из области войска Донского в Сибирь, в г. Минусинск, и там умерший вскоре после знакомства своего со Л. Н—чем.

В следующем письме своем к Бондареву Л. Н—ч между прочим говорит:

«Из вашей статьи я почерпнул много полезного для людей, и в той книге, которую я пишу об этом же предмете, упомянул о том, что я почерпнул это не от ученых и мудрых мира сего, но от крестьянина Т. М. Бондарева. Свое писание об этом я очень бы желал прислать вам, но вот уже 5 лет, все, что я пишу об этом предмете, о том, что все мы живем не по закону Бога, все это правительством запрещается и книжки мои запрещают и сжигают. Поэтому-то самому я и писал вам, что напрасно вы трудитесь подавать прошения министру вн. дел и государю. И государь и министры все запрещают даже говорить об этом. От этого самого я и боюсь, что и вашу проповедь не позволят напечатать всю вполне, а только с сокращениями. Большое сочинение ваше я желал бы прочесть, но если это так затруднительно, то что же делать».

Наконец, Л. Н—ч получил и большую рукопись Бондарева, полное его сочинение с прибавлениями.

«И то и другое,—пишет Л. Н—ч в 3-м письме,—очень хорошо и вполне верно. Я буду стараться и сохранить рукопись и распространить ее в списках или в печати, сколько возможно».

И действительно, многие из друзей Л. Н—ча стали переписывать это сочинение и разнесли его по всей России.

---

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Изд. т-ва Сытина. Т. XIII. Стр. 228 и след.

В том же письме Л. Н—ч старается выяснить Бондареву, что кроме сокрытия первородного закона: «в поте лица твоего снеси хлеб свой» есть еще и другая причина существования зла в людях. Причина эта тоже сокрытие, но другого закона: «вам сказано: око за око и зуб за зуб, а я говорю—не противься злому». По мнению Л. Н—ча, эти два закона поддерживают один другого, и если бы не было насилия, то не могли бы люди освободить себя от хлебного труда и заставить других работать на себя.

Так как Бондарев принадлежал к секте субботников, т.-е. основывал свои воззрения на книгах ветхого завета, то он со свойственным ветхозаветным сектантам раздражением и пренебрежением относился к новому завету и считал проповедь любви лицемерием. На этой почве между ним и Л. Н—чем возникла дружеская полемика. На одно из писем Бондарева, в котором он старается убедить Л. Н—ча в бесплодности проповеди любви, Л. Н—ч между прочим отвечал так:

«Рукопись вашу я получил и прочел. Я согласен с вами, что любовь без труда есть один обман и мертва, но нельзя сказать, чтобы труд включал в себя любовь. Животные трудятся, добывая себе пищу, но не имеют любви: дерутся и истребляют друг друга. Так же и человек».

В этом письме, писанном уже в 1887 году, Л. Н—ч старается утешить Бондарева, сетующего на то, что его сочинение не может быть напечатано.

«Мысль человеческая,—говорит Л. Н—ч,—тем-то и важна, что она действует на людей свободно, а не насильно, и никто не может заставить людей думать так, а не иначе, и вместе с тем никто не может остановить и задержать мысль человеческую, если она истинна, с Богом думана. Правда возьмет свое и рано или поздно все люди признают ее. Только, как Моисею не дано было войти в обетованную землю, так и людям не дано видеть плодов своих трудов. А надо сеять и радоваться тому, что Бог привел быть сеятелями доброго семени, которое взойдет на пользу людям, если оно доброе. Так и с нашими мыслями. Они многим уже послужили на пользу, открыли им ложь и указали истину и, как свеча от свечи, будут зажигаться дальше. Скучать о том, что мысли мои не признаны сейчас, теперь, и не приведены в исполнение, может только тот человек, который не верит в истину своих мыслей; а если верить тому, что мои мысли думаны с Богом, то и заботушки нет: Бог возьмет свое и слуг себе найдет, и время свое знает, а мне остается только радоваться тому, что довелось быть слугою вечного дела Божьего».

Одно из предыдущих писем Л. Н—ча к Бондареву посвящено сжатому изложению теории Генри Джорджа о едином налоге и национализации земли. В заключение письма Л. Н—ч к таким кратким тезисам сводит все выгоды от принятия и проведения в жизнь теории Генри Джорджа.

«1) Выгода такого устройства будет состоять в том, что не будет людей, лишенных возможности пользоваться землею.

«2) В том, что не будет праздных людей, владеющих землями и заставляющих работать на себя за право пользования землею.

«3) В том, что земля будет в руках тех, которые работают ее, а не тех, которые не работают.

«4) В том, что народ, имея возможность работать на земле, перестанет закабаляться в работники на заводы, фабрики, и в прислуги в города, и разойдется по деревням.

«5) В том, что не будет больше никаких надсмотрщиков и сборщиков податей на заводах, фабриках, заведениях и таможнях, а будут только собиратели платы за землю, которую украсть нельзя, и с которой собирать подать легче всего.

«6) Главное, избавятся люди не работающие от греха пользования чужим трудом, в котором они часто и не виноваты, так как с детства воспитаны в праздности и не умеют работать, и от еще большего греха—всякой лжи и изворотов для оправдания себя в этом грехе; и избавятся люди работающие от соблазна и греха зависти, осуждения и озлобления против неработающих людей, и уничтожится одна из причин разделения людей».

Интересные мысли о Бондареве излагает Л. Н—ч в статье о нем, написанной для словаря С. А. Венгерова:

«Как странно и дико,—начинает так Л. Н—ч эту статью,—показалось бы утонченно образованным римлянам I-го столетия, если бы кто-нибудь сказал им, что полуграмотные, неясные, запутанные, часто непонятные письма странствующего еврея к своим друзьям и ученикам будут в сто, тысячу, в сотню тысяч раз больше читаться, больше распространены и влиять на людей, чем все любимые утонченными людьми поэмы, оды, элегии и элегантные послания сочинителей того времени. А между тем это случилось с посланиями Павла. Точно также странно и дико должно показаться людям теперешнее мое утверждение, что сочинение Бондарева, над наивностью которого мы снисходительно улыбаемся с высоты своего умственного величия, переживет все те сочинения, которые описаны в этом лексиконе и произведет большее влияние на людей, чем все они, взятые вместе. А между тем я уверен, что это будет так».

Далее он цитирует мысль английского философа Рескина, выражающую другими словами то самое, что говорит русский умный мужик:

«It is physically impossible, that the true religious knowledge or pure morality should exist among our classes of a nation, who do not work with their hands their bread, т.-е. что физически невозможно, чтобы существовало истинное религиозное познание или чистая нравственность между сословиями народа, который не вырабатывает себе хлеба своими руками».

И в заключение Л. Н—ч снова в сжатой, но яркой форме старается выразить мысль Бондарева:

«Бондарев не требует того,—говорит Л. Н—ч,—чтобы всякий непременно надел лапти и пошел ходить за сохою, хотя он и говорит, что это было бы желательно и освободило бы погрязших в роскоши людей от мучающих их заблуждений (и действительно, кроме хорошего ничего не вышло бы и от точного исполнения даже и этого требования), но Бондарев говорит, что всякий человек должен считать обязанность физического труда, прямого участия в тех трудах, плодами которых он пользуется, своей первой главной, несомненной обязанностью и что в таком сознании этой обязанности должны быть воспитываемы люди. И я не могу себе представить, каким образом честный и думающий человек может не согласиться с этим».

Продолжая интересоваться сочинением Бондарева, Л. Н—ч пытается напечатать его в России. Он предложил его в журнал «Русская Старина» и для этого написал к нему предисловие.

В письме ко мне он пишет о Бондареве следующее:

«...Вчера после вашего от'езда я решил отдать перевести статью Бондарева по-английски и предложил сделать это нашей гувернантке. Она это хорошо сделает с помощью Маши. Очень уж меня пробрал Бондарев, и я не могу опомниться от полученного впечатления».

И далее:

«Я написал Бондареву, и пишу, что вы вышлете ему рукопись. Хорошо бы было, если бы вы написали ему словечко. Что́ бы предложить Сибирякову напечатать Бондарева за границей? Хлопоты по печатанию я бы взял на себя; заодно с «Жизнью» присылать бы корректуры к Гроту».

Я, конечно, поспешил исполнить поручение Л. Н—ча, отослал Бондареву рукопись и написал письмо. Но почему-то это письмо не дошло до него, мне его вернули с почты «за непахождением адресата», так мне и не удалось вступить с ним в общение.

Семье Л. Н—ча этой зимой пришлось пережить большое горе. Умер маленький сын Алеша.

Вот как описывает Л. Н—ч эту смерть в письме к Черткову:

«Я знаю только, что смерть ребенка, казавшаяся мне прежде непонятной и жестокой, мне теперь кажется и разумной, и благой. Мы все соединились этой

смертью еще любовнее и теснее, чем прежде. Спасибо вам за ваше письмо. Я ждал именно его. Помогай вам Бог делать общее наше дело, дело любви—словом, делом, воздержанием, усилием: тут не сказал словечка дурного, не сделал того, что было бы хуже, тут преодолел робость и ложный стыд, и сделал и сказал то, что надо, что хорошо, то, что любовно,—все крошечные незаметные поступки и слова, а из этих-то горчичных зерен вырастает это дерево любви, закрывающее ветвями весь мир. Вот это-то дело помогай нам Бог делать с друзьями, с врагами, с чужими, в минуты высокого и самого низкого настроения. И нам будет хорошо, и всем будет хорошо» [1]).

В то же время Л. Н—ч продолжал переписываться с друзьями. Весной он писал Н. Н. Ге из Москвы:

«Я очень много работал. Все то, что должно войти в XII том и потому не уезжал. По письму вашему вижу, что житейское болото засасывает вас. Держитесь, голубчик, как и я стараюсь держаться, твердо зная, что мое дело (такое же и ваше) содействовать установлению Царства Божия на земле, уясняя его законы, но делая это не иначе, как при доброй жизни, добрая же жизнь—в любовных отношениях со всеми людьми. Мне до сих пор помогает Бог в последнем. Помогай Он и вам. Мне представляется, что дело наше—уяснение истины; она бывает мертвая, ершом, не входит в людей, и прежде выражения истины, нужно расположить людей любовью к принятию ее» [2]).

Полный такими мыслями, Л. Н—ч в личной жизни старался следовать им и он действительно жил простой рабочей жизнью, насколько позволяли ему его силы и насколько возможно было, не нарушая любви, изменить обстановку своей жизни.

Николай Николаевич Ге был в это время поглощен огромной религиозно-художественной работой. Он задумал иллюстрировать новые произведения Л. Н—ча. Одними из первых он сделал иллюстрации к рассказу «Чем люди живы». Эти иллюстрации были изданы альбомом фототипий фотографом Пановым. Л. Н—ч много хлопотал об этом издании. Иллюстрации ему нравились и по настроению, переданному в них, и мастерству работы. Издание этих иллюстраций относится именно к этому времени, т.-е. к весне 1886 года.

Всегда тяжелая для него городская жизнь, весной, с оживлением природы, делалась ему не под силу. На этот раз он задумал воспользоваться полной свободой и пошел в Ясную Поляну из Москвы пешком. Накануне он написал об этом Черткову:

«Не знаю, что буду делать дорогою и в деревне, но надеюсь, что буду чем-нибудь служить за корм. Иду же, главное, за тем, чтобы отдохнуть от роскошной жизни и хоть немного принять участие в настоящей».

И вот, 4-го апреля, вечером, он вышел, с котомкой за плечами, из Москвы через Серпуховскую заставу, в сопровождении двух молодых друзей: Ник. Ник. Ге, сына художника, и Михаила Александровича Стаховича.

Самое отправление не обошлось без курьезного обстоятельства. Стахович, неожиданно для себя собравшийся сопровождать Л. Н—ча, не захватил с собой паспорта. Вспомнили какой-то закон, дозволяющий двум дворянам удостоверять личность третьего, и вот Л. Н—ч своей рукой написал удостоверение личности Стаховичу, подписался и Н. Н. скрепил. И с этим паспортом, выданным ему Л. Н—чем, он и отправился в путь [3]).

Для Л. Н—ча такая прогулка, кроме принципиального значения, удовлетворения самому своим нуждам, имела еще значение широкого и свободного общения с народом; общение это всегда давало духовную пищу ему самому и потом отражалось в художественных образах, становившихся достоянием всего человечества.

---

[1]) Архив Черткова.
[2]) Архив Черткова.
[3]) Оригинал этого паспорта находится в Толстовском музее в Петербурге.

На этот раз он с радостью мог наблюдать плоды своих трудов по народной литературе. Они сошлись дорогой со стариком-странником, который пошел с ними и рассказывал им «Чем люди живы». Он узнал этот рассказ от кого-то, прочитавшего книжки «Посредника». Таким образом эта легенда, вышедшая из народа, вернулась к нему в художественной переработке литературного гения и снова стала народной.

В эту прогулку судьба натолкнула его еще на одного человека, давшего ему материал для нового сильного литературного произведения, известного под названием «Николай Палкин». Мы заимствуем описание этой встречи из его записной книжки. Описание это сохранило всю свежесть непосредственного впечатления и в этом отношении гораздо сильнее литературной его обработки. В этой первоначальной версии оно еще не появлялось в печати.

«Мы ночевали у 95-тилетнего солдата. Он служил при Александре I и Николае.

— Что умереть хочешь?

— Умереть! Еще как хочу. Прежде боялся, а теперь об одном прошу Бога, только бы причаститься, покаяться, а то грехов много.

— Какие же грехи?

— Как какие? Тогда служба была не такая. Александра хвалили солдаты, милостив был. А мне пришлось служить при Николае Палкине. Так его солдаты прозвали. Тогда что было!—заговорил он оживляясь.—Тогда на 50 палок и порток не снимали, а 150, 200, 300—на смерть запарывали. Дело подначальное. Тебе всыпят 150 палок за солдата (отставной солдат был унтер-офицер, а теперь кандидат), а ты ему 200. У тебя не заживет от того, а его мучаешь, вот и грех. Тогда что было! До смерти унтер-офицеры убивали. Прикладом или кулаком. Он и умрет, а начальство говорит: «Властью Божьею помре».

«Он начал рассказывать про «сквозь строй». Известное, ужасное дело. Ведут, сзади штыки и все бьют и сзади строя ходят офицеры и их бьют. «Бей больней». Подушка кровяная во всю спину и в страшных мучениях смерть. Все палачи и никто не виноват. Кандидат так и сказал, что не считает себя виноватым. «Это по суду».

«И стал я вспоминать все, что я знаю из истории о жестокостях человека в русской истории, о жестокостях этого христианского, кроткого, доброго, русского человека. К счастью или несчастью, я знаю много. Всегда в истории и в действительности: «Как кричит?» «Когда?». Меня притягивало к этим жестокостям, я читал, слыхал или видел их и замирал, вдумываясь, вслушиваясь, вглядываясь в них. Чего мне нужно было от них, я не знал, но мне неизбежно нужно было знать, слышать, видеть это.

«Иоанн Грозный топит, жжет, казнит, как зверь. Это страшно. Но отчего-то дела Иоанна Грозного для меня что-то далекое, вроде басни. Я не видел всего этого. То же с временами междуцарствия, Михаила, Алексея. Но с Петра, так называемого, «великого» началось для меня что-то новое, живое. Я чувствовал, читая ужасы этого беснующегося, пьяного, распутного зверя, что это касается меня, что все его дела к чему-то обязывают меня. Сначала это было чувство злобы, потом презрения, желание унизить его, но все это было не то. Чего-то от меня требовало мое чувство, как оно требует чего-то того, когда при вас оскорбляют и мучают родного, да и не родного, а просто человека. Но я не мог найти и понять того, чего от меня требовало и почему меня тянуло к этому. Еще сильнее было во мне это чувство негодования и омерзения при чтении ужасов его бляди, ставшей царицей, еще сильней при чтении ужасов Анны Иоан., Елизаветы и сильнее и отвратительнее всего при описании жизни истинной блудницы и всей подлости окружавших ее—подлости, до сих пор остающейся в их потомках. Потом Павел (он почему-то не возбуждал во мне негодования). Потом отцеубийца и аракчеевщина и палки, палки... Забивание живых людей живыми людьми, христианами, обманутыми своими вожаками. И потом Николай Палкин, которого я застал, вместе с его ужасными делами.

«Только очень недавно я понял, наконец, что мне нужно было в этих ужасах,

почему они притягивали меня. Почему я чувствовал себя ответственным в них, и что мне нужно сделать по отношению их. Мне нужно сорвать с глаз людей завесу, которая скрывает от них их человеческие обязанности и призывает их к служению дьяволу. Не захотят они видеть, пересилит меня дьявол, они—большинство из них—будут продолжать служить дьяволу и губить свою душу и души братьев своих, но хоть кто-нибудь увидит: семя будет брошено и оно вырастет, потому что оно семя Божье. Дело идет вот как: заблудились люди, слуги дьявола, т.-е. зла и обмана. Для достижения своих маленьких, ничтожных целей—вроде пожара Рима Нерона, делают ужасные жестокости над своими. Люди жестокие, заблудшие всегда были, но люди, про жестокость которых я говорю, сделали свою жестокость наследственною, то, что делает один, другой от того не отрекается. Время, т.-е. общее состояние людей идет вперед и оказывается, что то, что делал Петр, не может делать Екатерина: то, что делал Павел, не может делать Александр. То, что делал Александр, не может делать Палкин, не может сделать его сын. Но если он не может делать то же, он может делать другое. И он делает это другое. И он и помощники его говорят: зачем поминать старое и озлоблять народ. И старое забывается—не только забывается, но стирается из памяти, а новое, такое же, как старое, начинает делаться и делается, пока возможно, в той же форме, когда становится невозможным, переменяет форму, но остается тем же.

«Зло в том, что люди полагают, что может быть необходимым делать зло людям, что может не быть греха в том, чтобы делать зло людям, в том, что от зла людей может произойти добро людям.

«Был Ник. Палкин, зачем это поминать? Только старый солдат перед смертью помянул. Зачем раздражать народ? Также говорили при Палкине про Александра и аракчеевщину, зачем поминать? Также про Павла, также про Екатерину и закрепощение Малороссии и убийство мужа и Иоанна и все ее ужасы. Также про Бирона, Елизавету, Петра. И так теперь говорят о крепостном праве, о всех перевешенных (в числе их 15- и 16-летние мальчики). Также будут говорить и про теперешнее время, про убиваемых в одиночных заключениях и в крепостях тысячах и также про мрущий голодной смертью народ. Зачем поминать? Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь или опаспая и я излечился и стал чистым от нее, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею и все также и еще хуже и мне хочется обмануть себя. А мы больны и все также больны. Болезнь изменила форму, но болезнь все та же, только ее иначе зовут. Le roi est mort, vive le roi! [1]). Болезнь, которою мы больны, есть убийство людей. Но убийство еще не все. Пускай бы Палкин мучил, убивал в 10 раз больше людей, только бы он делал это сам, а не развращал людей, заставляя их убивать и мучать людей, давая им за это награды и уверяя их с молоду и до старости, от школы до церкви, что в этом святая обязанность человеческая.

«Мы знаем про пытки, про весь ужас и безсмысленность их, знаем, что люди, которые пытали людей, были умные, ученые, по тому времени, люди. И такие-то люди не могли видеть той бессмыслицы, понятной теперь малому ребенку, что дыбой можно затемнить, но нельзя узнать правду. И такие дела, как пытка, всегда были между людьми—рабство, инквизиция и др. Такие дела не переводятся. Как же те дела нашего времени, которых бессмысленность и жестокость будет также видна нашим потомкам, как нам пытки? Они есть, надо только подумать про них, поискать и не говорить, что не будем поминать про старое. Если мы вспомним старое и прямо взгляпем ему в лицо, тогда и новое наше теперешнее насилие откроется. Откроется потому, что оно все и всегда одно и то же. Мучительство и убийство людей для пользы людей.

«Если мы только назовем настоящим именем костры, клейма, пытки, плахи, служилых людей, стрельцов, рекрутский набор, то мы найдем и настоящее имя для

---

[1]) Король умер. Да здравствует новый король!

тюрем, острогов, войск, с общей воинской повинностью, прокуроров, жандармов. Если нам ясно, что нелепо и жестоко рубить головы на плахе по суду с пыткой, то также ясно, что едва ли не более нелепо и жестоко вешать людей или сажать в одиночное заключение, равное или худшее смерти по суду прокуроров и сословных представителей. Если нелепо и жестоко было казнить, то еще нелепее сажать в острог, чтобы развращать, если нелепо и жестоко ловить мужиков в солдаты и клеймить в руки, то тоже с общей воинской повинностью. Если нелепы и жестоки опричники, тоже с гвардией и войском.

«1880 лет тому назад на вопрос фарисеев, давать ли подати, сказано: Кесарю—Кесарево, а Богу—Богови. Если бы была какая-нибудь вера у людей, то они хоть что-нибудь считали должным Богу и прежде всего то, чему учил Бог-человек, не убивать. Тогда бы обман перестал быть возможным. Царю или кому еще, все, что хочешь, сказал бы верующий человек, но не то, что противно воле Бога. А мучительство и убийство противны воле Бога.

«Опомнитесь, люди! Ведь можно было оттовариваться незнанием и попадать в обман, пока неизвестна была воля Бога, пока не понят был обман, но как только она выражена ясно, нельзя уже оттовариваться. После этого ваши поступки получают уже другое, страшное значение. Нельзя человеку, не хотящему быть животным, носить мундир, орудия убийства, нельзя ходить в суд, нельзя набирать солдат, устраивать тюрьмы, суды. Опомнитесь люди!» [1]).

На этот раз Л. Н—ч пробыл в Ясной недолго. Он вернулся в Москву, но оттуда его снова потянуло в Ясную, в конце апреля он уже там. В первых числах мая он пишет оттуда жене:

«Дома было много приходивших мужиков. Всегда была бедность, но все эти года она шла, усиливаясь, и нынешний год она дошла до ужасающего, и волей-неволей тревожащего богатых людей. Невозможно есть спокойно даже кашу и калач с чаем, когда знаешь, что тут рядом знакомые мне люди—дети (как дети Чиликиных в Телятинках, кормилица Матрена Таниного Сани) ложатся спать без хлеба, которого они просят и которого нет. И таких много. Не говоря уже об овсе на семена, отсутствие которых мучает этих людей за будущее, т.-е. ясно показывает им, что и в будущем, если поле не посеется и отдастся другому, то ждать нечего, кроме продажи последнего, и сумы. Закрывать глаза можно, как можно закрывать глаза тому, кто катится в пропасть; но положение от этого не переменяется. Прежде жаловались на бедность, но изредка, некоторые; а теперь это общий один стон. На дороге, в кабаке, в церкви, по домам,—все говорят об одном: о нужде. Ты спросишь: что делать? Как помочь? Помочь семенами, хлебом тем, кто просит—можно; но это не помощь, эта капля в море, и кроме того сама по себе эта помощь себя отрицает: дал одному, трем... почему же не 20-ти, не 1000, миллиону? Что же делать? Чем помочь? Только одним: доброй жизнью. Все зло не от того, что богатые забрали у бедных; это маленькая часть причины. Причина та, что люди и богатые, и средние, и бедные живут по-зверски, каждый для себя, каждый наступая на другого. От этого горе и бедность. Спасенье от этого только в том, чтобы вносить в жизнь свою и потому других людей другое: уважение ко всем людям, любовь к ним, заботу о других, и наибольшее возможное отречение от себя, от своих эгоистических радостей. Я не тебе внушаю или проповедую, я только пишу то, что думаю—вслух с тобою думаю. Я знаю, и ты знаешь, и всякий знает, что зло человеческое уничтожится людьми, что в этом одном—задача людей, смысл жизни. Люди будут работать и работают для этого, почему же мы не будем для этого самого работать? Расписался бы я с тобой об этом, да почему-то мне кажется, что ты, читая это, скажешь какое-нибудь жестокое слово, и рука не идет писать дальше» [2]).

Все лето 1886 года Л. Н—ч напряженно работал тяжелую полевую, крестьянскую работу. Он взял на себя тягло вдовы Аписьи Конюловой и впрягся в эту ра-

[1]) Архив княгини М. Л. Оболенской. Москва. Толстовский музей.
[2]) Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910 г.г. Стр. 295.

боту и дотянул ее до конца. Ближайшими помощницами его были дочери его Татьяна и Марья Львовны, особенно последняя, своей энергией и уменьем работать не уступавшая крестьянским девкам. Иногда жизнерадостность и бодрость Л. Н—ча увлекала в работу и его семейных. Ясная Поляна в то время была полна молодых сил. В обеих родственных семьях, Толстых и Кузьминских, росли молодые люди и девицы, к ним приезжали товарищи и подруги и дым стоял коромыслом. Когда вся эта ватага набрасывалась на работу, то, несмотря на неуменье работать, получался ощутительный результат от приложения всей этой могучей, большею частью праздно-гуляющей силы. Но увлечение проходило, и Л. Н—ч снова оставался один с Марьей Львовной.

Вот два отрывка из письма Л. Н—ча к его другу-художнику Н. Н. Ге, в котором ярко выражается его настроение и ход мыслей в это лето:

21 мая 1886 г. «Радуюсь, что у вас все хорошо и вы за *своей* работой. Хорошо и косить и пахать, но нет лучше, как в своем ремесле привычном удаляться работать на пользу людям. Количку встретил мельком, но и то осталось самое радостное впечатление. Мы 4 дня, как переехали. Работы у нас по горло и я этим счастлив. Льщусь мыслью, что работа не бесполезная: и продолжение статьи Ч. Н. Д. и пишу для лубочных изданий. А начатых еще работ, до которых руки не доходят, пропасть. Посмотришь на нашу жизнь, на мою, на вашу (думаю о вашей со всей вашей семьей и различными настроениями в ней), и голова кругом пойдет, если думать о том, как это все будет, как это все лучше устроить. Но стоит только посмотреть на тоже, но только с той мыслью, как мне сейчас сделать наилучшее для А для Б для В, с которыми я прихожу в соприкосновение, и все представлявшиеся трудности разрываются, как паутина, и все слагается так, как бы и не придумал. Ищите Царствия Божия и правды его и остальное все приложится вам; а мы начинаем искать того, что должно приложиться. И того не найдем ни за что (потому что оно дается только, как последствие искания Царствия) и Царствие потеряем. Вы-то знаете это, но как хорошо бы было, если бы все знали, что это не красивые слова, а самое из практических практическое правило. Я уже опытом знаю. Делаешь à jour le jour [1]),—только бы худого не делать, хлоп! такое вырастает большущее, хорошее, доброе, приятное дело!».

В следующем письме от 18 июля он пишет:

«Вчера получил ваше радостное письмо, милый друг, радостное потому, что от вас и оттого, что пишите про ваши работы. Больше всего мне нравится по замыслу «Искушение», потом «Вот спаситель мира», но, разумеется, судить и понять можно только увидав. Большая бы была радость для всех наших, — все вас любят, — а главное для меня, если бы вы приехали к нам, но не смею и не хочу вас звать: отрывать, расстраивать течение вашей работы, т.-е. жизни. У нас все было совсем с внешней стороны хорошо, но недели две тому назад С. А. заболела воспалением мочевого пузыря и теперь лежит [2]). Ей гораздо лучше и она лежит только из предосторожности. Дети, начиная с Сережи и кончая Машей, много работали в поле крестьянскую работу. Сережа и Таня ухали теперь на несколько дней к Олсуфьевым, остальные продолжают, и я с ними по силам. С внутренней стороны все хорошо. Отчаиваешься часто, грустишь и все напрасно. Если есть в душе и когда он есть, ключ воды живой, то он не останавливается и не может не производить последствий; только не надо рассчитывать на них, оглядываться. Я ничего не пишу, но не перестаю жить, слава Богу, т.-е. двигаться в том направлении, в котором я так же, как и вы, радостно чувствую, что я всегда с вами» [3]).

---

[1]) Изо дня в день.
[2]) «Надорвалась на покосе». Замечан. С. А. при просм. рукописи.
[3]) Архив Черткова.

Летом этого же года Ясную Поляну посетил интересный иностранный гость; несмотря на важность, которую он приписывал своей миссии, все яснополянские жители приняли его с некоторым комическим удивлением. Это был француз Поль Дерулэд.

Л. Н—ч сам рассказывает об этом посещении в своей статье «Христианство и патриотизм», написанной по поводу заключения франко-русского союза и тулонских торжеств.

«Года четыре [1]) тому назад — первая ласточка тулонской весны — один известный французский агитатор в пользу войны с Германией приезжал в Россию для подготовления франко-русского союза и был у нас в деревне. Он приехал к нам в то время, как мы работали на покосе. Во время завтрака мы, вернувшись домой, познакомились с гостем, и он тотчас же рассказал нам, как он воевал, был в плену, бежал из него, и как дал себе патриотический обет, которым он, очевидно, гордился: не перестать агитировать для войны против Германии до тех пор, пока не восстановится целость и слава Франции.

«В нашем кругу все убеждения нашего гостя о том, как необходим союз России с Францией для восстановления прежних границ Франции и ее могущества и славы и для обеспечения нас от зловредных замыслов Германии, не имели успеха.

«После беседы с ним мы пошли на покос и там он, надеясь найти в народе больше сочувствия своим мыслям, попросил меня перевести старому уже, болезненному, с огромной грыжей и все-таки затяжному в труде мужику, нашему товарищу по работе, крестьянину Прокофию, свой план воздействия на немцев, состоящий в том, чтобы с двух сторон сжать находящегося в середине между русскими и французами немца. Француз в лицах представил это Прокофию, своими белыми пальцами прикасаясь с обеих сторон к потной посконной рубахе Прокофия. Помню добродушно-насмешливое удивление Прокофия, когда я об'яснил ему слова и жест француза. Предложение о сжатии немца с двух сторон Прокофий, очевидно, принял за шутку, не допуская мысли о том, чтобы взрослый и ученый человек мог с спокойным духом и в трезвом состоянии говорить о том, чтобы желательно было воевать.

—Что же, как мы его с обеих сторон зажмем, — сказал он, отвечая шуткой, как он думал на шутку, — ему и податься некуда будет, надо ему тоже простор дать.

Я перевел этот ответ моему гостю.

— Dites lui que nous aimons les Russes (скажите ему, что мы любим русских), — сказал он. Слова эти поразили Прокофия, очевидно, более, чем предложение о сжатии немца, и вызвали некоторое чувство подозрения.

— Чей же он будет?—спросил меня Прокофий, с недоверием указывая головой на моего гостя. Я сказал, что он француз, богатый человек.

— Что же он, по какому делу?—спросил Прокофий. Когда я ему об'яснил, что он приехал для того, чтобы вызвать русских на союз с Францией в случае войны с немцами, Прокофий, очевидно, остался вполне недоволен и, обратившись к бабам, сидевшим у копны, строгим голосом, невольно выражавшим чувства, вызванные в нем этим разговором, крикнул на них, чтобы они заходили стребать в копны недогребенное сено.

— «Ну, вы, вороны, задремали. Заходи! Пора тут немца жать. Вон еще покос не убрали, а похоже, что с середы жать пойдут,—сказал он. И потом, как будто боясь оскорбить таким замечанием приезжего чужого человека, он прибавил, оскаливая в добрую улыбку свои до половины с'еденные зубы:—Приходи лучше с нами работать, да и немца присылай. А отработаемся, гулять будем. И немца возьмем. Такие же люди.—И, сказав это, Прокофий вынул свою жилистую руку из развилины вил, на которые он опирался, вскинул их на плечи и пошел к бабам.

---

[1]) Надо бы было сказать «восемь», так как статья «Христианство и патриотизм» написана Л. Н—чем в 1894 г. Последнее время жизни Л. Н—ч часто забывал точные даты событий.

— Oh, le brave homme! (О, добрый человек!) воскликнул, смеясь, учтивый француз. И на этом закончил тогда свою дипломатическую миссию к русскому народу» [1]).

Осень этого года принесла новые важные события, и горе и радость, последствия которых никто не мог предвидеть, а между тем они нашли отклик во всем образованном мире.

ГЛАВА 6-я.

Власть тьмы. Календарь. Переписка с друзьями.

Проработав все лето крестьянскую работу, Л. Н—ч в августе опасно заболел.

Работая на покосе, слезая с телеги, он зашиб ногу в голени об грядку телеги; в жару работы он не обратил на этот ушиб внимания. Придя домой вечером, он почувствовал боль в ушибленном месте и, осмотрев ногу, заметил небольшой струпик. Л. Н—ч, полагая, что струпик этот подживет и свалится, не обратил на него внимания и, вероятно, в следующие затем дни еще больше разбередил его; началось воспаление и на месте струпа нарыв. Усилилось лихорадочное состояние и Л. Н—ч слег в постель. Призванный врач констатировал воспаление надкостницы и опасался общего заражения крови. Пришлось делать операцию, вскрывать нарыв; все это доставило Л. Н—чу немало страданий, и безпокойства и тревоги всем окружавшим его близким людям.

Но Л. Н—ч не унывал. В опасные моменты болезни он говорил посещавшим его: «Ну что же, умираю от ноги; чем эта смерть хуже всякой другой?».

Вот письмо его того времени к А. А. Толстой:

«...Вы спрашиваете обо мне. Как ни странно это сказать, мне очень, очень хорошо. О ноге там говорят, что воспаление надкостницы и рожа и т. д., но я знаю очень хорошо, что главное в том, что я «помираю от ноги», как говорят мужики, т.-е. нахожусь в положении немного более близком к смерти, чем мы обыкновенно, и именно от ноги, которая указывает на себя болью. И это положение, как и вы прекрасно говорите — чувствовать себя в руке Божией, очень хорошо, и мне и всегда желается быть в нем и теперь не желается из него выходить. В самом деле, очень большие и продолжительные телесные страдания и после них телесная смерть, это такое необходимое и вечное и общее всем условие жизни, что человеку, вышедшему из детства, странно забывать про это хоть на минуту. Тем более, что память об этом, всегдашнее ожидание этого не только не отравляет жизни (если она есть), но только придает ей твердость и ясность. Если я смотрю на свою жизнь, как на свою собственную, данную мне для моего счастья, то никакие ухищрения и обманы не сделают того, чтобы я мог покойно жить в виду смерти. Только тогда можно быть совершенно равнодушным к телесной смерти, когда жизнь представляется только обязанностью — исполнение воли отца. Тогда интерес жизни не в том, хорошо ли или дурно мне, а в том, хорошо ли я исполняю то, что велено: а неполнять я могу до последнего издыхания и до последнего издыхания быть спокоен и радостен. Не говорю, что я такой — желаю быть таким и вам желаю этого. И надеюсь, что вы не будете несогласны с такой постановкой вопроса. А чтобы вы не думали, что под исполнением воли я разумею что-нибудь особенное, я скажу, что воля Отца одна и всем известна — любовь ко всем людям и единение с ними, начиная с самых близких до самых далеких. Не правда ли, вы согласны» [2]).

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Изд. т-ва Сытина. Т. XVIII. Стр. 153.
[2]) Толстовский музей. Т. I. Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. СПБ. Стр. 344.

А между тем невольный досуг болезни давал ему возможность обдумывать сюжеты новых произведений, которые и вышли из-под его пера в период его выздоровления.

Оправляясь от болезни, он писал своему другу Н. Н. Страхову:

«19 октября. Как вы живете, дорогой Николай Николаевич? Что ваша книга? Видно, еще не кончилась печатаньем; иначе бы вы прислали. Тепло ли вам, независимо от одеяла, на душе? Благодарю вас за письмо ко мне. Вы угадали в одном из писем, что болезнь мне дает многое. Она, мне кажется, мне дала многое новое. Я много передумал и перечувствовал. Теперь все еще примериваюсь к работе и все еще не могу сказать, что напал на такую, какую мне нужно для спокойствия, такую, чтобы поглотила меня всего. Если нужно, то Бог даст. Благодарю за сведения о книгах».

И далее в том же письме: «Как всегда книги кажутся нужными, когда их нет и бесполезными, когда они есть. Николай Николаевич, помогите предприятию Посредника издания научных книг. Вы можете помочь и непосредственно и посредственно, возбуждая к работе ваших знакомых. Как мне жаль, что нельзя поговорить с вами об этом. Мне представляется желательным и возможным (отнюдь не легким и даже очень трудным) составление книг, излагающих основы науки в доступной только грамотному человеку форме — учебников так сказать для самообучения самых даровитых и склонных к известного рода знаний людей из народа; таких книг, которые бы вызывали потребность мышления по известному предмету и дальнейшего изучения. Такими мне представляются возможными — арифметика, алгебра, геометрия, химия, физика. Мне представляется, что изложение должно быть самое строгое и серьезное. Не выражу всего, что думаю об этом теперь, но рад бы был вызвать ваше мнение. Здоровье мое очень хорошо. Иногда думаю: что если бы жизнь моя не имела другого смысла, кроме моей жизни и удовольствий от нее—выздоровление было бы еще ужасней, чем смерть. У казнимого уже была петля на шее, он совсем приготовился и вдруг петлю сняли, но не затем, чтобы простить, а чтобы казнить какой-то другой казнью. При Христовой же вере в то, что жизнь не во мне, а в служении Богу и ближнему — отсрочка эта самая радостная: жизнь какая была, так и останется, а радость служения закону мира, Богу в моей теперешней форме увеличивается. Прощайте, дорогой Николай Николаевич. Пишите, когда вздумается» [1]).

Подобное же письмо он написал и мне в это время.

«Спасибо, дорогой друг, за то, что пишите мне. Нынешнее письмо со вложением письма Джунковского, доставило мне большую радость. Радуешься тому, что за стеной идет та же работа, которая для тебя составляет жизнь. И, странно, совсем не хочется видеть, притти в общение с ними: бесполезно, произойдет трата времени. Мы в своей, они в своей траншее. Радостно только слышать работу друг друга. Чертков только что уехал, очень бодр. Мне хорошо с ним было. Знаю вашу переписку и, кроме самого хорошего, ничего в ней не вижу. От Залюбовского опять получил письма брата. Очень хорошие письма.

«Я на костылях с болью передвигаюсь и опускать ногу не могу, оттого дурно сплю, и оттого не могу хорошо связно выражать все то, что много набралось в голове и сердце. Поцелуйте от меня Симона. Что он? Что научный отдел? Хорошо бы, кабы вы взялись за него. Л. Т.».

«Благодарю Симона за его письмо, выражающее его хорошее душевное состояние. Мы все очень полюбили Лиз. Федоровну. Начал ли он работать? Его начало метеорологии хорошо по чувству, по отношению к предмету, но мне кажется, что нужно строго научное, т.-е. изложение в сжатой, понятной форме всего того, что каждый из нас знает по своему предмету, в более правильном изложении, чем то, в котором мы их воспринимали, и потому не понижение тона, а повышение его. В естественных науках (химии, физике, ботанике и др.) мне представляется, что изложение распадается на 3 части: 1. Основы науки, установление взгляда на явления с точки зрения известной науки. 2. Соображения, предложения, аналогии, полузаконы (в хи-

---

1) Архив В. Г. Черткова.

мии), которые можно выводить из основных законов, и 3. Приложение науки к жизни. Я неясно выражаюсь, но вы отчасти поймете, и, Бог даст, само дело покажет и раз'яснит. Я знаю тоже, что требования такие — огромны. Но ведь разве нужно сразу достигнуть совершенства или все бросить? Надо делать, попытаться. Мне представляется возможным: арифметика, алгебра, геометрия, химия, история и древняя, и средняя и русская церкви. Но я уверен, что все науки возможны, потому что настолько наука—наука, насколько она ясно и просто может быть изложена. Л. Т.» [1]).

Видно, как занимало его дело «Посредника» и эта забота его удваивала нашу энергию.

В начале этого письма Л. Н—ч говорит о письме Джунковского. В этом письме молодой гвардейский уланский офицер, Николай Федорович Джунковский, сообщал Л. Н—чу, что его двоюродный брат, князь Дмитрий Александрович Хилков, совершенно самостоятельно пришел к тем же выводам о необходимости применения в жизни учения Христа, как и Л. Н—ч. Хилков в то время, получив от матери большой и ценный участок земли, передал его в общинное пользование крестьянам и сам стал крестьянствовать на небольшом участке земли. Кто-то из родственников привез Хилкову «В чем моя вера» на французском языке. Прочтя эту книгу, Хилков почувствовал полную близость к выраженным в ней идеям, и, не зная, где достать оригинал, перевел всю книгу на русский язык и распространял ее в рукописи среди своих друзей и знакомых.

Вскоре последовало личное знакомство Хилкова и Л. Н—ча, и между ними установилось тесное дружеское общение; в дальнейшем изложении мы приведем некоторые выдержки из их интересной переписки.

В конце октября посетил Л. Н—ча его старинный приятель Александр Александрович Стахович, большой мастер читать вслух драматические произведения. Большой поклонник Островского, Стахович с увлечением прочел Л. Н—чу несколько пьес.

Л. Н—ч, хорошо знавший и ценивший Островского, был особенно поражен его силой в чтении Стаховича, и ему пришло на мысль воспользоваться драматической формой для создания новых художественных образов, уже давно готовых принять реальную форму.

И вот Л. Н—ч набрасывает сюжет «Власти тьмы».

Тема этой драмы взята из действительной жизни и рассказана была Л. Н—чу Ник. Вас. Давыдовым, тогдашним прокурором тульского окружного суда.

Заимствуем сведения о происхождении этой драмы из воспоминаний графини Софьи Андреевны Толстой, напечатанных в «Толстовском Ежегоднике» 1912 года.

1-е действие драмы было написано 20 октября. В ноябре к нему снова заехал А. А. Стахович. Л. Н—ч работал в зале и встретил его словами: «Как я рад, что вы приехали! Вашим чтением вы расшевелили меня. После вас я написал драму». Между двумя приездами Стаховича прошло около 3-х недель. Так что драма была написана в 2½ недели. Работа Л. Н—ча шла действительно необыкновенно быстро. Видимо, образы ждали момента воплощения и сами просились на бумагу. Переписчики едва успевали вносить в рукопись исправления.

В конце ноября Л. Н—ч с семьей переехал в Москву и там придал своему произведению окончательный вид и отдал его в издание «Посредника».

«Еще до напечатания ее,—рассказывает Софья Андреевна,—«Власть тьмы» читали всюду по рукописи. М. Г. Савина приезжала в Москву просить у Льва Николаевича разрешения поставить драму на петербургской сцене в ее бенефис. Лев Николаевич охотно согласился, но 2 апреля 1887 года была получена от Савиной телеграмма, что пьеса запрещена цензурой, и не только для театра, но и для напечатания. По этому поводу я написала недоумевающее письмо начальнику по делам печати

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

Феоктистову, который мне отвечал длинным письмом, об'ясняя, что в «Власти тьмы» *цинизм выражений, невозможные для нерв сцены и т. п.* О том же, почему драма запрещена в печати, не дал мне никакого ответа. Во мне кипела злоба, хотелось ехать в Петербург воевать, но я не могла оставить детей в отсутствие дочери Тани и ее отца, гостивших тогда у гр. Олсуфьевых, в их имении, близ станции Подсолнечное» [1]).

«Всюду восхищались этой драмой,—говорит С. А.,—и запрещение цензурой напечатания ее возмущало все общество. Вероятно, это заставило Феоктистова одуматься, и он привез разрешение к печати «Власти тьмы» моей сестре—Т. А. Кузьминской, для передачи мне, после чего мой хороший знакомый, М. А. С..., мне пишет:

«В радости своей забыв все, что было глупого, досадного, непонятного в этой неравной борьбе величайшего писателя с непризнанными судьями,—этого познающего себя гения с непонимающими своих обязанностей—глупцами» [2])...

Наконец, драма благополучно прошла цензуру и появилась в печати (был вычеркнут только эпиграф из евангелия и два—три выражения, резких по отношению к церкви). Она разошлась тогда в три дня в количестве 250.000 экземпляров. Эффект, произведенный этим произведением, был неожиданный больше всего для самого Л. Н—ча. Я помню, как он скромно говорил мне, что он никак не ожидал, что это произведение так понравится публике. Он хотел просто написать драму для народного театра, и думал, что ее будут давать на балаганах. «Кабы я знал, что так понравится, я бы получше постарался написать», говорил шутя Л. Н—ч.

«Много перипетий пережила эта драма,—продолжает свои воспоминания С. А.,—прежде, чем ее познало все русское общество, несмотря на шум и успех, произведенные ею. 24 января 1887 года мне писали из Петербурга:

«Ура! Драма на сцену пропущена. Варламов распределял роли и шутил, что Савиной надо ноги подрезать, если она хочет играть Анютку... Потом вдруг, вследствие каких-то недоразумений, у Савиной был отнят бенефис, и «Власть тьмы» запретили».

3 февраля меня снова уведомили, что «решено репетировать драму и с а м будет на генеральной репетиции». А. Потехин писал мне 12 марта, что ходят слухи о запрещении «Власти тьмы», и очень звал меня на генеральную репетицию, надеясь, что мое присутствие будет полезно в цензурном отношении. Поехать в Петербург мне не пришлось и почему-то, и тогда драма эта не была поставлена на императорском театре. 22 марта А. Потехин мне снова пишет:

«Власть тьмы» срепетирована,—декорации, костюмы все готовы, и вдруг запретили ее играть через министерство двора... Все актеры ужасно огорчены...».

«Но прежде, чем «Власть тьмы» появилась на императорских и частных театрах, ее превосходно сыграли в 1890 году в Петербурге любители из общества. Инициатива постановки этой драмы принадлежала госпоже Приселковой» [3]).

Несмотря на огромный успех «Власти тьмы», ее поставили на императорских и частных театрах только еще через пять лет. Шла она в Петербурге 18 октября 1895 года, в бенефис актрисы Васильевой [4]).

А. А. Стахович рассказывает о странном впечатлении, произведенном чтением «Власти тьмы» на яснополянских крестьян:

«На другой день кое-как переписали драму. Вечером в нижнем этаже дома было чтение. Собралось не менее сорока крестьян. Я плохо разбирал переписанный разными почерками экземпляр, так что 5-й акт читал сам Л. Н. Крестьяне слушали молча. Один Мих. Фом.—буфетчик—шумно выражал свой восторг громким хохотом.

Кончилось чтение; Л. Н. обратился к пожилому крестьянину, бывшему его любимому ученику ясно-полянской школы с вопросом, как ему понравилось прочитанное сочинение?

---

[1]) «Толстовский Ежегодник», 1912 г. М. Стр. 18.
[2]) Там же, стр. 19.
[3]) Там же, стр. 20—21.
[4]) Там же, стр. 22.

Тот ответил:

«Как тебе сказать, Лев Николаевич, Микита по началу ловко повел дело... а потом силоховал»...

Больше Толстой ни у кого ничего не спрашивал...

Вечером Л. Н. был не в духе. «Это буфетчик всему виной,—говорил он,—для него вы генерал, он вас уважает: вы даете ему на чай по три рубля... и вдруг вы же кричите, представляете пьяного; как ему было не хохотать и тем помешать крестьянам верно понять достоинство пьесы, тем более, что большинство слушателей считают его за образованного человека» [1]).

Затем А. А. Стахович, получив корректурные оттиски в Петербурге, стал читать «Власть тьмы» в высших светских кругах Петербурга. Вскоре он был приглашен на чтение к императору Александру III.

В письме к Софье Андреевне А. А. Стахович так описывает это чтение у государя 27 января 1887 года:

«Присутствовали: государь, императрица, великие княгини, великие князья, кружок приближенных государю, императрицы и близкие графа Воронцова.

Государь подошел к столику, на котором лежала пьеса, взял ее и сказал мне:

«Целую неделю лежала она у меня на столе. Я никак не успел ее прочесть; пожалуйста, читайте все, без всяких пропусков».

Когда я начал читать действующих лиц, то заметил, что государь их записывает; я подошел и просил разрешения перечесть их снова. Его величество записал все имена.

Началось чтение. Как ни был я увлечен драмой и желанием прочесть хорошо, я, насколько мог, старался следить за впечатлением, которое пьеса произведет на его величество; он слушал внимательно; я заметил, что ход и развитие действия интересовало его; внутреннее чувство говорило мне, что успех возможен... но—увы!—актер снова переслилил наблюдателя, я почувствовал, что переживает в пьесе Матрена, Никита и бедная Маринка... И забыл я, где читаю и перед кем...

Государю было угодно, чтобы для отдыха чтеца антракты были продолжительны; они затягивались сами собой: Его величество приходил курить, долго говорил о пьесе. Про роль Митрича он выразился:

«Солдат всегда во всех творениях Толстого поразительно хорош».

После сцены Митрича с Анюткой, великий князь Владимир Александрович сказал мне:

«И в солнце есть пятна, только на основании этого я позволю себе указать на неверность этой сцены. Все рассуждения Митрича о бабах справедливы, но говорит их не николаевский солдат... а сам граф Толстой. Это не разговор старика с крестьянской девочкой, а длинные философские монологи».

«Я стал возражать, великий князь перебил меня:

«Я пойду просить Ее Величество, чтобы она позволила снова прочесть эту сцену, все будут рады опять услышать вас, а после чтения мне будет легче доказать, что я прав».

Подошел государь. Великий князь повторил ему свое мнение об этой сцене. Государь отвечал:

«Ты не прав. Все рассуждения Митрича не монологи, вложенные автором в уста солдату, а естественный разговор; невольно на эту тему навела Митрича Аннушка, и под ужасным впечатлением этой ночи и всего, что делается за сценой, Митрич «*думает вслух*», как часто делают это старые люди, передавая словами все свои тяжелые думы о бабах и их печальной судьбе... не обращая никакого внимания на свою десятилетнюю слушательницу».

---

[1]) Там же, стр. 38—39.

Как в этих немногих словах верно понято и высказано душевное состояние Митрича и все его рассуждения [1])!

Сильное впечатление произвел 4-й акт; видно было, что он захватил всех, что выразилось в антрактах в разнообразных, но общих похвалах. После конца 5-го действия все долго молчали, пока не раздался голос государя.

«Чудная вещь».

И эти два слова развязли уста *всем*. Пошли толки: о задушевном признании Никиты, святой радости Акима, любви глухой Акулины к Никите, желавшей, чтоб спасти его, взять на себя его преступление... Восторженные возгласы: чудо, чудо, раздавались со всех сторон» [2]).

Отношение Л. Н—ча ко всему шуму, поднятому около этого произведения, выражается в нескольких строках в его письме того времени к Н. Н. Страхову:

«Про себя скажу, что я последнее время решительно мучим последствиями моей драмы. Если бы знал, что столько это у меня отнимет времени, ни за что бы не напечатал. Чудной народ люди нашего круга! Как ни думаешь знать их, всякий день удивляют своей праздностью и неожиданностью употребления способности мысли. Вот именно, как с писанной торбой. На дело боятся употребить и болтается она у них перед ногами, бьет и их и других. А делать им, беднякам, больше нечего» [3]).

Жизненная сила этой драмы, этнографически чистый язык, глубина идеи, выраженной в ней, этой затяжной силы греха и блеска истины в убогой форме Акима; новизна самой формы творчества, еще не проявлявшейся у Л. Н—ча,—все это ошеломляющим образом подействовало на читающую публику и она преклонилась перед свободным творцом, так ясно показавшим, что форма безразлична для того, кто полон познанием высших нравственных чувств.

И только что успел кончить Л. Н—ч эту вещь, как принялся за новую работу, которая, как и первая, предназначалась для народа.

Он с увлечением стал заниматься составлением народного календаря с пословицами.

Работа, видимо, кипела и календарь был почти готов, но ужасная цензура и тут наложила свою жестокую лапу.

Обеспокоенный судьбой календаря в московской цензуре, Л. Н—ч пишет такое письмо:

«Дорогой Павел Иванович, календарь здесь застрял в цензуре. Сытин уверяет, что в Петербурге лучше. Я боюсь, что он сваливает с себя и наваливает на вас. Ну, уж вы это знаете. Велел Петров переписать отдельно святых и тексты на воскресения. Мне не верится, чтобы так надо было: так это глупо. Запрещено, может быть, для них ведь только сопоставление текстов с пословицами. Если так, то представляйте, как есть, и тогда постарайтесь от себя пополнить или заменить пословицы тех дней, которые я выписываю. Некоторые из них мне кажутся слабы, некоторые бедны без об'яснения. Я тоже с своей стороны придумаю; если успею, велю переслать. Но вы вообще действуйте смелее. Приписывайте, поправляйте, выбрасывайте.

Если же, как я и предполагаю, текстов не пропустят в соединении с пословицами, то по воскресным дням поместите одни тексты, а оставшимися от текстов пословицами замесите те дни, в которые плохи. Если же вовсе текстов не пропустят, то оставьте одни пословицы, избрав самые серьезные, а замесите самые плохие. Я это очень охотно бы сделал, если бы был в Петербурге, а теперь уж вы — общими сила-

---

[1]) Я читал «Власть тьмы» у М. А. Сольской для принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, которая приказала передать Толстому ее поклон, сказав: «Я была девочкой, когда граф Толстой был у матушки во Флоренции; скажите ему, что, как я буду в Москве, я навещу его. Если он, как Митрич, от меня полезет на печку, я, как Анютка, найду его и там».

[2]) Там же, стр. 40—42.

[3]) Архив Черткова.

ми. Главное дело в том, что у вас, говорят, цензура—люди, т.-е. с ними можно говорить, а здесь, говорят, — стена и нельзя говорить. Как только можно говорить, то можно сказать: нельзя текстов с пословицами — поместим отдельно, нельзя совсем текстов — мы не поместим. Нельзя святых без обозначения равноапостольных и т. д. — поместим и это. Нельзя без царских дней — поместим. Кроме того я почти кончил заметки на каждый месяц. Напишите мне поскорей, даже телеграфируйте, есть ли надежда на пропуск в цензуре через неделю (ну, 10 дней), и тогда я брошу другие дела и кончу это и пришлю вам. Спасибо вам за ваше письмо; я получил его в Ясной. Обнимаю вас. Я жив, здоров, в Москве».

Мне удалось кое-что сделать в петербургской цензуре, т.-е. добиться разрешения печатать календарь хотя и с урезками, но в приличной форме. И Л. Н—ч, ободренный этим, продолжает работать и посылает мне дополнения.

Вот следующее его руководящее письмо:

«Передаст вам это письмо шурин Берс Вячеслав и рукопись статьи к каждому месяцу календаря. Мне кажется, что эти заметки могут быть на пользу. Могут вызвать подражание, особенно, по отделу сельско-хозяйственных, да и всех других советов. Просить вас нечего хлопотать в цензуре: вы сами сделаете, что нужно. Статьи не получал. Статья астрономическая о затмении солнца превосходна по мысли. Свою выдержку из письма никак не могу успеть просмотреть. Мне нужно только часа два ею заняться. Но до сих пор не могу выбрать времени. Слава Богу, занят очень. Еще мне хотелось очень к календарю восхождение солнца и луны на каждый день. Это просто списать. А хотелось восход известных созвездий — стожаров (плеяд), креста и сириуса. Чтобы ночью время узнавать и маленькое понятие о видимых явлениях неба. Тут же можно поместить о направлении хвоста медведицы по временам года и о полярной звезде» [1]).

Маленькая задержка в печатании уже беспокоит его. Так, через несколько дней он пишет, давая новые указания:

«...Что вы мне не пишите, как набирается или печатается календарь? То, что вы меня распекаете, это очень хорошо. И хорошо то, что поправляете. Ум—хорошо, а два—еще лучше. Главное, надо, чтобы было не так, чтобы оттолкнуло, подорвало доверие у читателя. Еще нельзя ли к тому месту, где говорится о порчах, прибавить следующее: «Заболевают от порчи только те, кто верит в колдовство и порчу. Заболевают не от колдовства, а от думы. Начнут думать, скучать, и точно заболевают. А кто не верит в пустяки в эти, тот ни от какого колдовства не заболевает». Или что нибудь имеющее этот смысл. Очень радуюсь, милый друг, что увижу вас к новому году, если будем живы. Как вы печатаете? Что цензура? Сколько вы печатаете? И не боитесь ли того, что не разойдется, потому что не во время? Исправили ли, заместили ли плохие пословицы?» [2]).

Вследствие возни с цензурой, светской и духовной, в которой всегда можно было добиться чего-нибудь только обходными путями, календарь действительно запоздал. Он вышел только в январе 1887 года. Это и заставляло беспокоиться Л. Н—ча.

Но когда вышел календарь, беспокойство Л. Н—ча смешилось горьким разочарованием; календарь ему не понравился, особенно приложенная к нему астрономическая статья, написанная специально для календаря молодым тогда профессором Клебером, ныне уже умершим.

В одном из писем я выражал Л. Н—чу недоумение, что он в одной из своих статей о деревенской жизни и работах советует в праздник сходить в церковь. Л. Н—ч исправил, смягчил место и благодарил меня за указания. И вот, вспоминая это мое замечание, он пишет мне письмо, полное укоров и сожаления, но вместе с тем проникнутое такою любовью, что я не испытал ни малейшего огорчения, читая его, хотя и пришлось сильно пожалеть, что я не сумел угодить ему этим календарем, которого он с таким нетерпением ждал.

[1]) Архив П. И. Бирюкова.
[2]) Там же.

«Вы меня распекали, милый друг, за то, что я посоветовал в церковь ходить— это старое существующее суеверие, и потому простительно, но как же вас распекать за статью астр. в календаре? Это отвратительная, ужасная, безбожная, дикая, злодейская статья. Во-первых, гордость: мы вот что знаем, а вы что, сиволапые? Во-вторых, невежество: выдавать за знания свои дикие безбожные суеверия, что оторвался от солнца кусок и что солнце потухнет; в-третьих, незнание народа. Никто не поверит ни одному слову и только на смех поднимет господ (и поделом); в-четвертых, главное — не любовное — не помочь человеку, не рассказать, как я что узнал, чтобы и он мог узнать, а хвастовство чужими, да еще не усвоенными себе трудами, да еще неправдой.

«Хороша эта статья только тем, что ясно показывает, каких статей не надо. Все то, наверное, не годится, что хоть немного похоже на эту статью. Тут на 20 стр. все: и спектр. анализ и образование миров. И ничего, кроме кощунства против Бога и науки. Вместо всего этого я бы занял эти страницы описанием видимого неба в разные времена, показал бы по отношению звезд места восхождения и захождения солнца, видимые у нас звезды в разные времена года и место этих звезд днем, и того бы много. Если не вы писали эту статью (я уверен — не вы), то не показывайте тому, кто писал, этого письма, а коли он такой, что можно ему сказать, то скажите, что я думаю, если ему интересно. Из популярных книжек в области науки (как и в области искусства) ничего нельзя брать. Надо, став на точку зрения своего читателя, самостоятельно работать. И если работа эта удалась — передать этот ход работы читателю. Главное же, науку передавать научно, т.-е. весь ход мысли при исследовании какого-нибудь предмета, а не сказочно, как в этой ужасной статье. — Вообще календарь произвел во мне грусть, и я спрятал его подальше, чтобы не видать его. Святцы отдельно, и потому пословицы по числам уже не имеют смысла. Нельзя было совсем без святцев? Восхождения месяца нет. И злодейская статья, имеющая одно значение для народа — полемики с библией. А с библией для народа неразрывно связано и Евангелие. Хорошо, если вращение земли и тем более древность за 6000 лет мира вытекает из несомненного знания, но беда, если это новое суеверие вместо старого. Старое нравственнее и умнее нового. Если это знание, то с знанием приобретается и критическая способность, и потому знание не опасно. Но голые результаты знания — это хуже Иверской и мощей. Простите, милый друг, если вас огорчит это письмо. Вы мучились, хлопотали, а я как будто упрекаю, но все, что я пишу, я уверен, что вы знаете так же, как и я. Вас закрутила цензура и суета жизни. Я бы на вашем месте не то бы еще наделал. Если вы не согласны со мной, тем более, что я очень бестолково пишу, то поговорим обо всем при свидании, которого я жду-не дождусь. Не еду никуда, ожидая этой радости. Как адрес Хилкова? Л. Т.

«Ради Бога, если есть чувство досады на меня, уничтожьте в себе, потому что я, огорчаясь на календарь изо всех сил, ни на секунду не переносил этого огорчения на вас, а, кажется, еще больше люблю вас, досадуя на статью».

Несмотря на эту неудачу, календарь имел большой успех и 1-е издание быстро разошлось. Повторение его было уже поздно, но пословицы, выбранные Л. Н—чем и расположенные по дням, были с тех пор много раз перепечатаны разными фирмами под названием: «Пословицы на каждый день».

И этот маленький сборник народных мудрых изречений послужил, по нашему мнению, основанием для составления в будущем «Круга чтения».

В это же время, т.-е. в декабре 1886 года Л. Н—ч пишет между прочим П. Н. Ге:

«Я в Москве, и так, несмотря на это, счастлив и спокоен большею частью, что ничего не желаю. Работы столько, вероятно что нужной людям, что знаешь вперед, что не кончишь. Также и у вас, я знаю. А как знаешь, что не кончишь работы, отпадает желание личной награды за нее, а остается одно сознание служения. Я иногда испытываю это и тогда особенно хорошо; но как только начнут другие хвалить (как у меня теперь с драмой), так сейчас является желание личной награды за свой труд и глупое самодовольство: каков я! что сделал. Правда, спасает от этого — вы тоже

знаете это, то, что некогда, а надо за другое приниматься... Когда не думаю о ваших работах ничего, а как подумаю, так ужасно хочется их видеть. Ну, живы будем, увидим. Чертков в деревне с женой. Дело печатания затихло от цензуры. Все марают. Я нахожу, что это хорошо. Ведь то, что насилием ничего нельзя сделать, есть не фраза, а самая очевидная истина. Так как же меня может огорчать то, что против моего дела употребляют то орудие, которое ничего не может сделать. Если огорчает, то тут непременно есть моя личность, та самая, которой не должно быть для моего дела...

«Эпиктет не мешает Христу, но не заменяет Христа. Только через Христа и поймешь Эпиктета. Я читал Эпиктета и ничего не нашел. А после Христа понял всю его, Эпиктета, глубину и силу. Я думаю и с Конфуцием тоже» [1]).

Связь Н. Н. Ге с Л. Н—чем все сильнее крепла. Он с увлечением вчитывался в его религиозно-философские художественные произведения нового периода и старался запечатлеть на бумаге и полотне возникавшие в его голове чудные образы.

В это приблизительно время Л. Н—ч написал текст к известной картине Ге «Тайная вечеря».

В этом тексте Л. Н—ч высказывает мысль, дающую новый смысл всему рассказу о тайной вечере. Христос умыл ноги ученикам и стало быть и Иуде. И сказав ему, что делаешь, делай скорее! Христос, побудив Иуду уйти, спас его от гнева учеников, уже догадывавшихся, кто предатель. Таким образом вся прощальная беседа является не только словами, но делом высочайшей любви не только к ближним, но и к врагам.

В ноябре этого года Л. Н—ч пишет к Н. Н. Ге:

«У меня все хорошо, Божья благодать. Радостей мне Бог дает слишком много. В семье доброе семя хоть медленно, но, несомненно, растет. Людей, братьев по вере все прибывает».

Из переписки Л. Н—ча с его друзьями и знакомыми упомянем его письмо к одному революционеру Л—ому, побывавшему у него и потом написавшему ему письмо, в котором, выражая сочувствие, он делал Л. Н—чу некоторые возражения. Искренность, замеченная Л. Н—чем в этом человеке, и серьезное искание правды побудили Л. Н—ча ответить ему большим письмом, в котором Л. Н—ч дает ясное определение своей точки зрения на революционную деятельность, указывая на сходство и различие между двумя мировоззрениями. Говоря об отношении революционеров к правительству, Л. Н—ч видит их слабость в том, что они, подобно правительству, допускают употребление насилия, хотя и направленного в обратную сторону.

«Доводы ваши сводятся к тому,—продолжает Л. Н—ч,—что человек во имя любви к людям может и *должен* убивать людей, потому что есть какие-то для меня таинственные силы или самые непонятные рассуждения, во имя которых люди всегда и убивали друг друга,—те самые, по которым Каиафа нашел, что выгоднее убить одного Христа, чем погубить целый народ. Цель же всех доводов есть оправдание убийства. Вы даже как будто негодуете на то, что есть люди, которые утверждают, что жен и детей не надо бить.

«Человечество живет, нравственное сознание растет в нем, и оно доживает сначала до того, что сознает нравственную невозможность есть своих родителей, потом убивать излишних детей, потом убивать пленных, потом держать рабов, потом битьем приводить в согласие своих семейных и потом — одно из главных приобретений человечества — невозможность убийством и вообще насилием достигать своего совокупного блага. Есть люди, дожившие до этой стадии нравственного сознания; есть люди, не дожившие до нее» [2]).

Затем он определяет значение заповеди о любви, признаваемой и революционером, и говорит:

«Вы прекрасно говорите о том, что основная заповедь есть заповедь любви, но неправильно говорите, что всякие частные заповеди могут нарушать ее. Вы тут неправильно смешиваете две разные вещи: заповедь — не есть свинины и хотя бы за-

---

[1]) Архив Черткова.

[2]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. XXII. Изд. П. Д. Сытина. М. 1913. Стр. 15.

поведь — не убивать. Первая может быть в разногласии с любовью, потому что не имеет предметов любви. Но вторая есть только выражение той степени сознания, которой достигло человечество в определении любви. Любовь—очень опасное слово. Вы знаете, что во имя любви в семье совершаются самые злые поступки, во имя любви к отечеству — еще худшие, а во имя любви к человечеству—самые страшные ужасы. Что любовь дает смысл жизни человеческой, давно известно, но в чем любовь? Этот вопрос не переставая решается мудростью человечества и решается всегда отрицательным путем: показывается, что то, что неправильно называлось и проходило под фирмой любви, не есть любовь. Убивать людей—не любовь, мучить их, бить их во имя чего бы то ни было, предпочитать одних другим — тоже не любовь. И заповедь «не противься злу насилием» есть такая заповедь, указывающая тот предел, на котором прекращается деятельность любви. И в этом деле можно итти вперед, но не назад, как вы хотите» [1]).

Наконец, он сам старается войти в положение искреннего революционера, признавая законными и разумными мотивы его деятельности, т.-е. возмущение окружающим его злом и насилием, и старается показать ему неразумность того метода, который употребляется революционерами и который уничтожает нравственную силу их часто самоотверженного поведения:

«Насилие и убийство возмутило вас, и вы увлеклись естественным чувством: положим, стали противодействовать насилию и убийству насилием и убийством. Такая деятельность, хотя и близкая к животной, неразумная, не имеет в себе ничего бессмысленного и противоречивого; но как только правительства или революционеры хотят оправдать такую деятельность разумными основаниями, тогда является ужасающая бессмыслица, и необходимо нагромождение софизмов, чтобы не видна была бессмысленность такой попытки».

Интересно сопоставить с этим письмом мысль, высказанную Л. Н—чем в письме к Черткову около этого же времени:

«Мы часто обманываемся тем, что, встречаясь с революционерами, думаем, что мы стоим близко рядом. Нет государства — нет государства, нет собственности — нет собственности, нет неравенства — нет неравенства и мн. др. Кажется, все одно и то же. Но не только есть большая разница, но нет более далеких от нас людей. Для христианина нет государства, а для них нужно уничтожить государство; для христианина нет собственности, а они уничтожают собственность. Для христианина все равны, а они хотят уничтожить неравенство. Это как раз два конца несомкнутого кольца. Концы рядом, но более отдалены друг от друга, чем все остальные части кольца. Надо обойти все кольцо для того, чтобы соединить то, что на концах».

Другого характера письмо того же времени, которое распространилось среди друзей Л. Н—ча под именем письма «к милому юноше», озаглавленного так, кажется, другом Л. Н—ча Марьей Александровной Шмидт.

В этом письме среди нежных эпитетов, с которыми Л. Н—ч обращается к юноше, есть много глубоких мыслей. Юношу смущают разветвления христианства. Он чует истину в этом учении, у него есть потребность веры, но перед ним многообразие вер и он останавливается перед дорогой, разбившейся на множество тропинок, сбивших его с настоящего пути. И вот Л. Н—ч направляет его снова на главный путь. Он предполагает два способа решения вопроса об истинном христианстве. 1. Христос догматическая личность, 2-е лицо, сын Божий, сошедший с неба для спасения людей, ради любви общей. 2. Христос — мудрый учитель жизни. И в том и в другом случае исход один:

«Если учение искажено и распалось на много толков, то одно из двух: или самое учение ничтожно, или я не знаю великого учения.

«И потому, в случае второго предположения, того, что Христос — мудрый человек, необходимо совершенно свободно читать Евангелие четырех евангелистов, и без самоуверенности и без ложной радости читать эту книгу, как мы читаем книги муд-

---

[1]) Там же, стр. 16.

рецов. И тогда тотчас же скажется величие учения, отпадут сами собою искажения и станет очевидно, что распадение на толки происходит не в самом учении, а в искусственной области, находящейся вне его.

«Необходимость самому просто и наивно читать четырех евангелистов, выделяя из них слова самого Христа, будет еще очевиднее при первом предположении.

«Христос-Бог сошел раз во все продолжение жизни мира на землю, чтобы открыть людям их спасение. Сошел Он по любви к людям. Жил и учил, и умер, любя людей.

«Мы с вами — люди. Мы страдаем, мучимся, ища спасения и не находим его. Зачем же сходил Христос в мир?

«Тут что-то не то.

«Разве мог Бог, сойдя в мир для нас, забыть нас с вами?

«Или Он не умел так сказать, чтобы нам было понятно?

«А Он говорил, и мы имеем перед собой Его слова. Они перед нами точно те же, какими они были перед теми, которые слушали его проповедь на горе.

«Отчего же те все поняли, и не сказали, что это неясно, не требовали у него раз'яснений, а все поняли и сказали, что они никогда не слыхали ничего подобного, что Он учит, как ἐξουσίαν ἔχων , власть имеющий.

«Отчего же нам не понятно, и мы боимся, что распадемся на секты?

«Очевидно, оттого, что мы слушаем не Его, а тех, которые стали на его место.

«Так что и в первом предположении остается одно — внимать Его словам с детской простотой, как ребенок слушает мать, с полной уверенностью, что мать, любя его, сумеет сказать ему все ясно и понятно, и что только одна мать скажет ему истинную правду и все, что нужно для его блага».

Но у Л. Н—ча были и совсем другого рода ученики, которым он давал советы по своей специальности, литературе.

Одним из таких учеников был писатель Федор Тищенко, переписка с которым завязалась в этом же году. Тищенко послал Л. Н—чу написанный им рассказ «Семен сирота и его жена». Л. Н—ч почувствовал в авторе дарование и серьезно принялся руководить его работой. Он дает ему и технические, литературные советы, как улучшить его работу, выясняет ему, для каких читателей будет годна его повесть и каких он должен иметь в виду. Он поощряет его на дальнейшую работу и старается дать направление его таланту.

Одно письмо он заключает так:

«Впрочем, я напрасно все это пишу вам. Если, как я понимаю вас, у вас есть талант, то вы все это должны сами чувствовать. Если же нет, то—тупо сковано не наточишь. Я понимаю вас так: у вас тонкая художественная натура, но взгляд на жизнь у вас неверный. Вы, например, на писание смотрите, как на средство к жизни. Это ужасная ошибка. Это значит высшее условие подчинить низшему. Будете думать о том, что вам даст писание, и оно ничего вам не даст. Не будете думать об этом, и оно даст вам гораздо больше того, что вы можете ожидать.

Пожалуйста, примите все мои резкие слова с тою же любовью, с которой я пишу их. Посылаю вам назад рукопись, надеясь, что вы последуете моему совету» [1]).

Другое письмо к нему же он кончает такими словами:

«Общий вывод тот, что если вы верите в истину (истина одна — учение Христа), то вы можете писать хорошо, но только при непременном условии, чтобы иметь в виду не исключительную публику образованного класса, а всю огромную массу рабочих мужчин и женщин. Если вы не читали тех книг, которые я посылаю вам, то прочтите и вникните и в направление, и в характер их и попытайтесь написать та-

---

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. XXII. Изд. И. Д. Сытина. М. 1913. Стр. 11.

кую же. Мне кажется, что вы можете. Направление ясно — выраженное в художественных образах учение Христа его 5 заповедей, характер, — чтобы можно было прочесть эту книгу старику, женщинам, ребенку, и тот и другой заинтересовались, умилились и почувствовали бы себя добрее. Постарайтесь писать в этом роде. Если вам нужны деньги, то вы получите и деньги за этот труд. Но, ради Бога, не стройте свою материальную жизнь на литературной работе. Это — разврат» [1]).

Повесть, о которой идет речь, исправленная согласно совету Л. Н—ча, была напечатана сначала в «Вестнике Европы» и потом в издании «Посредника».

---

[1]) Там же, стр. 7.

8. Семейная группа в Яснополянском саду в 1887 году.
Сзади стоят: Вера Шидловская, М. А. Кузминская; в средине слева: Татьяна Львовна, Софья Андреевна, Лев Николаевич; справа: Лев Львович; внизу: Марья Львовна.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1887—1891 г.г.

ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПРАКТИКА ЖИЗНИ

ГЛАВА 7-я.

«О жизни». Новые посетители. Переписка.

Одновременно с художественным творчеством во Л. Н—че шла глубокая философская работа, вырабатывались твердые теоретические положения. Помню, как раз, во время болезни, в конце 1886 года, Л. Н—ч получил от Анны Константиновны Дитерихс, впоследствии Чертковой, серьезное письмо с запросами о смысле жизни, о значении смерти; его заинтересовало оно и он написал довольно обстоятельный ответ на нескольких листках почтовой бумаги. Ответ этот был переписан начисто и возвращен Л. Н—чу; после этого Л. Н—ч, поправляя, увлекся этой работой и отдал ей много умственных и творческих сил. Он писал ее довольно долго, целый год. Этот «ответ на письмо» все разрастался, а внутренняя духовная работа, сопровождавшая его, открывала ему новые формы сознания, которые он выражал на бумаге.

Несколько раз ему казалось, что он кончил эту статью, и он читал ее близким людям, в ком надеялся найти серьезное понимание.

25 февраля 1887 года Л. Н—ч присутствовал на заседании Московского психологического общества. Профессор Н. Я. Грот читал реферат о свободе воли. В письме к Н. Н. Страхову Л. Н—ч говорит: «Я слушал дебаты и прекрасно провел вечер, не без поучительности и, главное, с большим сочувствием лицам общества. Я начинаю выучиваться не сердиться на заблуждения». Таким образом у Л. Н—ча установилась моральная связь с психологическим обществом, поддерживаемая преимущественно Н. Я. Гротом. И вот в одно из ближайших следующих заседаний, а именно 14 марта того же года, Л. Н—ч выступил сам с рефератом под названием «Жизнь бесконечная». Это было временное название его статьи, которую он тогда писал. Одно время Л. Н—ч называл эту статью «Понятие о жизни», а потом «О жизни и смерти». Но так как, чем больше он углублялся в смысл этой статьи, тем меньше в ней оставалось места и значения смерти, то когда он кончил ее, слово «смерть» совсем выпало из заглавия и статья приняла название «О жизни».

Несколько выписок из писем ко мне этого года показывают, как занимала его эта книга.

Так, весной этого года он пишет: «Соскучился я о вас, милые друзья (обращаюсь к вам и Чертковым), беспрестанно думаю о вас. Верно оттого, что последнее время так был увлечен своими мыслями о жизни и смерти, что мало думал, так теперь наверстываю. Я все еще не кончил и все уясняю себе больше и больше. Когда кончу, то напечатаю у Оболенского последнюю, по-моему, лучшую версию, если он хочет и цензура пропустит (нецензурного, кажется, нет ничего)» [1]).

В апреле он писал Черткову:

«Я все работаю над жизнью и смертью, и что дальше, то яснее. Эта работа для меня ступень, на которую взбираюсь. Во время работы этой приходят мысли из этой же работы, которые могут быть выражены только в художественной форме, и когда кончу или перерву, Бог даст, то и напишу» [2]).

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.
[2]) Архив Черткова.

Летом, в одном из писем ко мне он говорит: «Статья моя о жизни и смерти все не кончается и разрастается в одну сторону и сокращается и уясняется в другую. Вообще же я вижу, что не скоро кончу, и если кончу, то напечатаю ее отдельной книгой, без цензуры, и потому не могу дать ее Оболенскому. И это меня огорчает. Будьте моим посредником между ним, чтобы он не огорчился и на меня не имел досады. Я постараюсь заменить это чем-либо другим. Пожалуйста, поговорите с ним и напишите мне».

Наконец, еще дальше он пишет: «Свою статью «О жизни и смерти» все писал и пишу, и очень трудно, однако, посылаю набирать. Страхов был и одобрил; это меня поощрило» [1]).

Однако, он не отослал статьи в набор и после этого письма.

Когда я приехал в Ясную Поляну в конце июля, я застал рукопись вновь переписанную и уже с небольшими только поправками, признак, что дело близится к концу. И действительно, когда я, пробыв несколько дней, собрался ехать в Москву, Л. Н—ч дал мне с собой всю рукопись, с поручением сдать в набор в типографию Мамонтова, что я и сделал. При этом Л. Н—ч просил меня передать профессору Гроту его просьбу продержать корректуру. Этим он хотел искусственно оторваться от своей работы, снять с себя заботы о ней, чтобы освободить свои силы для другой назревавшей в нем работы художественной.

После моего от'езда он писал Черткову:

«П. И. милый вчера уехал и увез в типографию статью о жизни. Начал я писать о жизни и смерти, а когда дописал, оказалось, что вторую часть заглавия пришлось выкинуть, потому что для меня по крайней мере это слово потеряло совершенно то значение, какое я ему придавал в заглавии. Дай-то Бог, чтобы хоть на некоторых читателей она произвела то же действие» [2]).

Но совсем освободиться он не мог. Эта философская работа притягивала его к себе и он сам руководил корректурной работой Грота.

В ноябре того же года он мне пишет об этом:

«Гроту, пожалуйста, скажите, что «вступление» я отнес к примечаниям, но потом думаю, что надо оставить его «вступлением» и колеблюсь. Не будет ли он так добр решить это за меня. А еще то, что я желал бы просмотреть то, что идет после тех глав, которые мы с вами переправили. Пожалуйста, скажите то же и в типографии. Они теперь мне ничего не посылают. Представьте себе, что у Канта все то же самое сказано, и чудесно во многих местах» [3]).

В это время он действительно читал Канта и восхищался им.

Вот что он между прочим пишет о Канте в том же письме ко мне:

«Много испытал радости, прочтя в 1-й раз Канта — Критику практического разума. Какая странная судьба этого удивительного сочинения. Это венец всей его глубокой разумной деятельности и это-то никому неизвестно. Если вы не прочтете в подлиннике, и я буду жив—переведу и изложу, как умею. Нет ли биографии Канта в публичной библиотеке? Попросите от меня и пришлите». Об этом же, более пространно он пишет в письме к Н. Н. Страхову от 16 октября 1887 года:

«Я в большом волнении. Я был нездоров простудой эти несколько дней и, не будучи в силах писать, читал и прочел в 1-й раз Критику практического разума Канта. Пожалуйста ответьте мне, читали ли вы ее? Когда? И поразила ли она вас? Я лет 25 тому назад поверил этому талантливому подкупу Шопенгауера и прочел критику спекулятивного разума, которая есть не что иное, как введение к изложению его основных взглядов к Критике практического разума, и так и поверил, что старик заврался и что центр тяжести его—отрицание. Я и жил 20 лет в таком убеждении и никогда ничто не навело меня на мысль заглянуть в самую книгу. Ведь такое отношение к Канту все равно, что принять леса вокруг здания за здание. Моя ли это лич-

---

1) Архив П. И. Бирюкова.
2) Архив Черткова.
3) Архив П. И. Бирюкова.

ная ошибка или общая. Мне кажется, что есть тут общая ошибка. Я нарочно посмотрел (на-днях прочел его биографию русскую) историю философии Вебера, которая у меня случилась, и увидал, что Г. Вебер не одобряет того основного положения, к которому пришел Кант, что наша свобода, определяемая нравственными законами, и есть вещь сама в себе (т.-е. сама жизнь) и видит в нем только повод для элукубраций Фихте, Шеллинга и Гегеля и всю заслугу видит в Критике чистого разума, т.-е. не видит совсем храма, который построен на расчищенном месте, а видит только расчищенное место весьма удобное для гимнастических упражнений. Грот, доктор философии, пишет реферат о свободе и цитирует каких-то Рибо и др., определения которых представляют турнир бессмыслиц и противоречий и кантовское определение игнорируется и мы слушаем и толкуем, открывая открытую Америку. Если не случится среди нашего мира возрождения наук и искусств через выделение жемчуга из навоза, мы так и потопем в нашем пужнике невежественного многокнижия и многозаучивания под ряд. Напишите, пожалуйста, ваше мнение об этом и ответы на мои вопросы» [1]).

Страхов ответил ему длинным письмом, начинающимся словами:

«Какое чудное письмо вы мне прислали, бесценный Л. Н—ч! Я так и вижу тот пламень, который в вас горит и светит».

Страхов сознается, что не читал Критики практического разума Канта, зная ее только в изложении, и в общем соглашается с точкой зрения Л. Н—ча [2]).

Наконец, книга «О жизни» начала печататься. В декабре того же года Л. Н—ч писал мне между прочим следующее: «Занят преимущественно исправлениями и добавлениями «О жизни», которая вся набрана и более ¾ отпечатана».

Вскоре она была действительно отпечатана, но, увы, ей не суждено было увидеть света. Тогдашняя цензура нашла ее вредной, и она была уничтожена.

А между тем цель ее и смысл заключались в том, что если жизнь—любовь, то в ней нет смерти. И это показалось вредным. Цензура придралась к той главе, где обличаются книжники и фарисеи, приняв это на свой счет. Л. Н—ч был огорчен и поражен нелепостью такого решения.

Помню, как он радовался, перечитывая свое изложение, которое удовлетворяло запросам на систематическое, философское обоснование его взглядов.

«Часто в спорах с учеными людьми,—говорил он мне,—я натыкаюсь на полное непонимание того, что я говорю—мы как будто говорим на разных языках». И вот он пришел к убеждению, что ему нужно изложить логические обоснования своих взглядов, чтобы ввести людей в тот круг понятий, которые составляют основу его миросозерцания. Вот этой цели и должна была служить книга «О жизни».

Он изображает в ней картину бедственности человеческой жизни вследствие трех противоречий, на которые наталкивает человека его разумное сознание. Сознательно живущий человек не может не чувствовать постоянно преследующее его пугало физических страданий и смерти и это нарушает его благо. Кроме того, стремясь к своему личному благу, он вступает в борьбу со всеми окружающими его существами, и условия этой борьбы отравляют ему его жизнь. Но если ему и удается достигнуть того личного блага, к которому он стремился, то как только личное благо достигнуто, иллюзия его разрушается и оно перестает быть благом, и только возбуждает новое неутолимое желание, не дающее человеку никакого блага.

Приведенный к сознанию бедственности своего существования, человек чувствует остановку жизни и бывает близок к погибели.

Разрешается это противоречие тем единственным средством, которое и составляет сущность учения Христа и всех мудрецов мира: служением вне себя, любовью, самоотвержением. И для этого нужно не уничтожить животную личность, а подчинить ее высшему разумному сознанию.

---

[1]) Архив Черткова.

[2]) См. «Толстовский музей», том II, переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1914. СПБ, стр. 357.

Любовь разрешает все противоречия жизни. Деятельность любви не встречает конкуренции, так как и конкурирующий становится предметом любви. Деятельность любви не знает смерти. Она не страшна ей, потому что весь мир живет вечно, а вступающий на путь любви приобщается к вечному миру. Деятельность любви не знает пресыщения, не встречает иллюзий, потому что есть сама сущность жизни, высшая и вечная реальность.

В этой же книге Л. Н—ч дает точное определение любви; разграничивая и противополагая один другому два рода любви: один — любовь, как предпочтение одного существа или предмета другому ради своих интересов. И другой — любовь, как предпочтение интересов всякого другого лица интересам своей личности.

В трогательных поэтических выражениях Л. Н—ч изображает эту истинную любовь:

«Любовь, та, в которой только и есть жизнь, проявляется в душе человека, как чуть заметный, нежный росток среди похожих на нее грубых ростков сорных трав, различных похотей человека, которые мы называем любовью. Сначала людям и самому человеку кажется, что этот росток—тот, из которого должно вырастать то дерево, в котором будут укрываться птицы, и все другие ростки — все одно и то же. Люди даже предпочитают сначала ростки сорных трав, которые растут быстрее, и единственный росток жизни глохнет и замирает. Но еще хуже то, что еще чаще бывает: люди слышали, что в числе ростков этих есть один настоящий, жизненный, называемый любовью, и они вместо него, топча его, начинают воспитывать другой росток сорной травы, называя его любовью. Но что еще хуже: люди грубыми руками ухватывают самый росток и кричат: «Вот он, мы нашли его, мы теперь знаем его, возрастим его, любовь, любовь! Высшее чувство, вот оно!». И люди начинают пересаживать его, исправлять его и захватывают, заминают его так, что росток умирает, не расцветши, и те же или другие люди говорят: все это вздор, пустяки, сантиментальность. Росток любви, при появлении своем нежный, не терпящий прикосновения, могущественен только при своем разросте. Все, что будут делать над ним люди, только хуже для него. Ему нужно одного, — того, чтобы ничто не скрывало от него солнце разума, которое одно возращает его».

Наконец, Л. Н—ч заканчивает свою книгу такими словами:

«То, что к чему стремится человек, то и дано ему: жизнь, не могущая быть смертью, и благо, не могущее быть злом».

Книга эта только русской цензурой могла быть признана вредной. На самом деле она написана в столь мягком тоне, что Софья Андреевна, вообще относившаяся отрицательно к критическим религиозно-философским работам Л. Н—ча, отказавшаяся даже переписывать их, прочитав эту книгу, снова берется за переписку и даже за перевод ее на французский язык, который и заканчивает под редакцией проф. Тастевэн и издает в Париже. Некоторые главы были просмотрены в переводе Л. Н—чем и послужили ему для исправления русского текста. Он говорил, что в переводе, как в зеркале, виднее ошибки рисунка, и ему было полезно взглянуть на это отражение его мыслей. Только через 20 лет книга эта могла полностью появиться в России. Раньше же из нее печатались только допущенные цензурою отрывки.

Эту серьезную философскую работу Л. Н—ч сумел совмещать и с чисто практической деятельностью как в области личной жизни, так и в области общественных движений, и в области литературы.

В личной его жизни, во внутренней области ее наступает некоторое успокоение.

Он начинает новое художественное произведение из жизни христиан первых веков, под названием «Ходите в свете, пока в вас есть свет», набрасывает эту повесть до конца, но останавливается и бросает ее, не отделанную. По его словам, чтобы доделать, ему пришлось бы совершить большую работу, изучить бытовые источники того времени. А на это у него не было уже сил, а главное—времени.

Несмотря на свою незаконченность, повесть эта представляет большой интерес как по содержанию, так и по форме. Она написана в виде толкования на притчу о ви-

ноградарях. И смысл ее в том, что для Бога нет времени, и когда бы человек ни обратился на истинный путь, в молодости или в старости, он будет желанным работником в христовом винограднике, и благо, которое он получит, одинаково для всех, потому что это—вечное, неизмеримое благо.

Многие страницы этой повести представляют замечательную философскую борьбу двух мировоззрений, при чем язычник является во всеоружии диалектики, а христианин—в простоте и нищете аргументов, но вместе с тем в неопровержимости их жизненной правды.

Прологом к этой повести служит небольшой рассказ «Беседа досужих людей», где в несколько легком тоне изложен с оттенком юмора весь смысл и значение повести.

Неутомимо работая на пользу народа, Л. Н—ч начал в том же году агитацию против пьянства.

Он основал первое в России общество трезвости, под названием «Согласие против пьянства». Желавший поступить членом в это согласие, должен был подписать такую декларацию:

Согласие против пьянства.

«Сознавая страшное зло и грех пьянства, мы, нижеподписавшиеся, порешили: во первых, сами никогда ничего не пить пьяного: ни водки, ни вина, ни пива, ни меда; во-вторых, не покупать и не угощать ничем пьяным других людей; в-третьих, по мере сил внушать другим людям, особенно молодым и детям, о вреде пьянства и преимуществах трезвой жизни и привлекать людей в наше согласие.

Просим всех согласных с нами заводить себе такой же лист, вписывать в него новых членов и сообщать нам.

Просим тех, кто почему-либо изменит своему согласию, сообщать нам об этом» [1]).

Как ни разумна казалась эта попытка удержать людей от губительной привычки, но многих из нас эта декларация смутила и показалась непоследовательностью со стороны Л. Н—ча.

Подпись этой декларации являлась торжественным обещанием, вроде клятвы за свое будущее поведение. У всех на сердце запечатлелась сильная аргументация Л. Н—ча при толковании слов Христа: «а я говорю вам, не клянитесь вовсе». И предложение со стороны Л. Н—ча своего рода клятвы смутило многих. Некоторые, как, напр., В. Г. Чертков, кроме того не сочувствовали обособлению людей в отдельные группы или общества в зависимости от их отношений к той или другой частной области отношений.

По этому поводу у меня со Л. Н—чем завязалась переписка. Я выразил ему все свои сомнения и вместе с тем сознание важности задуманного им дела.

Я получил скоро ответ на это письмо, в котором Л. Н—ч между прочим писал:

«Я так и знал, что вы побоитесь общества трезвости, но вы сами высказали все самое главное за него. Чертков тоже чурается...

«Для меня за общество трезвости то, что, кроме его практической пользы (уж теперь десятки людей в продолжение 10 дней не дурманились, не тушили свой разум) то, что в том распущенном мире, в котором мы живем, оно призывает людей хоть к крошечному проявлению нравственной деятельности, указывает на то, что в нашей обыденной жизни всякие вещи: есть, спать, передвигаться, говорить, читать, глядеть и пить можно нравственно и безнравственно. Тут резкий случай и потому его видят. И удивительно: как лакмусова бумага, такие вещи, как вегетарианство, трезвость разделяют людей. Есть добрые люди, которые из себя выходят и злятся на общ. трезвости, злятся неожиданно, очевидно, на проявление такой какой-то забытой ими силы, которая требует от них чего-то. То же, что это общество или согласие, то это

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

только имя, и бояться этого нечего. Я первое, что всегда всем говорю, что листок есть только случайное выражение моих мыслей о вреде пьянства, которое мне пришло в голову. А пускай каждый, и вы, выражает свое отношение к этому, как он хочет, только бы было желание противодействовать злу. У нас уж и есть несколько версий. Газеты сделали то, что письма получаются... Мы посылаем свою редакцию» [1]).

Запись в члены этого согласия пошла очень быстро, за отдельными лицами начались присоединения коллективные. Присоединялись целые сектантские общины. Из Воронежской губернии пришло заявление о присоединении более чем тысячи человек крестьян одной волости, в лице нескольких тысяч основанного ими согласия.

Так как частный характер этого общества не позволял вести публичную пропаганду, то Л. Н—ч решил хлопотать об административном утверждении этого общества. Он написал об этом своему придворному другу Александре Андреевне Толстой, прося исходатайствовать у кого следует это утверждение. Александра Андреевна обратилась к тогдашнему министру внутренних дел Толстому; он передал просьбу для справки в канцелярию и оттуда ответили, что для утверждения общества должен быть представлен его устав. Так как Л. Н—ч писать устав не стал, то общество так и осталось частным согласием против пьянства.

Деятельность Л. Н—ча по вопросу о трезвости, конечно, не ограничилась этим воззванием. Он пишет целый ряд статей по этому вопросу.

Более замечательные из них это «Для чего люди одурманиваются?», написанная в виде предисловия к книге доктора Алексеева «О пьянстве». Для народных изданий Л. Н—ч написал «Богу или мамоне», для народного театра «Первый винокур» и проч. Кроме того Л. Н—ч вызвал своим примером целый ряд других подобных попыток, переводил статьи с иностранных языков и вообще положил в России начало этому движению.

В это же время Л. Н—ч начинает серьезно относиться к вегетарианству или к безубойному питанию и многих увлекает на этот путь. Мы вернемся еще к этому вопросу, когда будем говорить о его статье «Первая ступень», написанной значительно позже.

Известность Л. Н—ча росла и привлекала к нему многих замечательных посетителей.

В апреле, в Москве, куда Л. Н—ч приезжал из Ясной на несколько дней, он познакомился с посетившим его писателем Николаем Семеновичем Лесковым, давно уже с любовью следившем за развитием религиозной мысли Л. Н—ча; Лесков был другом «Посредника», дав ему целый ряд своих произведений, весьма ценимых Л. Н—чем. Л. Н—ч в письме к Черткову так отзывается об этом первом знакомстве с Лесковым:

«Был Лесков. Какой умный и оригинальный человек».

В апреле же, по возвращении в Ясную Поляну, Л. Н—ча посетил чешский профессор доктор философии Массарик. Предварительно он прислал Л. Н—чу свою докторскую диссертацию «О самоубийстве». В этой книге уже проявилась серьезная религиозная основа молодого ученого и она расположила Л. Н—ча к ее автору.

Личное свидание только усилило взаимные симпатии. Мне удалось несколько раз присутствовать при их беседе и от самого Л. Н—ча слышать симпатичный отзыв об уме, простоте и религиозности его нового друга.

Вероятно, Массарик приехал ко Л. Н—чу по рекомендации Н. Н. Страхова, так как в письме к нему от 20 мая Л. Н—ч пишет:

«Очень благодарю вас за Массарика. Он был и в Ясной и я очень полюбил его».

С тех пор общение Л. Н—ча с Массариком не прекращалось, и за свою преданность ему Массарик получил упрек в венском парламенте, когда он был депутатом от Праги.

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

Вероятно, следствием этого посещения Л. Н—ча Массариком было избрание Л. Н—ча почетным членом чешского литературного общества «Umelecka beseda», состоявшееся 11 декабря 1887 года.

Иное впечатление оставило по себе во Л. Н—че посещение его американцем Кенаном, приезжавшим ко Л. Н—чу в это же время, т.-е. летом 1887 года.

Блестящий ученый, автор известной книги «Сибирь и ссылка», сумевший проникнуть в такие места и раскрыть такие язвы, которых ни до него, ни после него уже не приходилось видеть ни одному исследователю, он был поглощен этой своей деятельностью, обличением и борьбой с русской государственной властью и не мог усвоить себе взгляды Л. Н—ча на полное отрицание насилия, и в его отчете о свидании с ним видно это неудовлетворение.

Летом этого года Л. Н—ч познакомился с Анатолием Федоровичем Кони. Знаменитый юрист, писатель и привлекательный человек, оставил след в жизни Л. Н—ча, и, несомненно, сам по себе испытал его могучее влияние. А. Ф. Кони дал нам увлекательно написанные воспоминания о своем знакомстве со Л. Н—чем. Описывая нам шаг за шагом время пребывания своего в Ясной Поляне, он дает интересную картину интимных бесед со Л. Н—чем по вечерам перед сном. Вот одна лирическая картина:

«Когда в первый вечер, простившись, я просил показать мне дорогу во флигель, занимаемый Кузьминскими, Лев Николаевич сказал мне, что я помещен на жительство в его рабочей комнате внизу, и пошел меня туда проводить. Это была обширная комната, разделенная невысокой перегородкой на две неравные части. В первой, большей, с выходом на маленькую террасу и в сад, стояли шкафы с книгами и висел, сколько мне помнится, портрет Шопенгауера. Тут же, у стены, в ящике лежали орудия и материалы сапожного мастерства. В меньшей части комнаты находился большой письменный стол, за которым были написаны в свое время «Анна Каренина» и «Война и мир». У полок с книгами в этой части комнаты для меня поставлена кровать. Здесь в течение дня работал Лев Николаевич. Приведя меня в эту комнату, он над чем-то копошился в большей части ее, покуда я разделся и лег, а затем вошел ко мне проститься. Но тут между нами началась одна из тех типических русских бесед, которые с особенной любовью ведутся в передней при уходе или на краешке постели. Так поступил и Толстой. Сел на краешек, начал задушевный разговор — и обдал меня сиянием своей душевной силы...» [1]).

Другой раз между ними завязалась при таких же обстоятельствах интересная беседа о Некрасове.

«Иногда, простившись со мной, Толстой уходил за перегородку и там что-нибудь разбирал, вновь начиная разговор, но, затронутый или заинтересованный каким-либо моим ответом, снова входил в мое отделение, и прерванная беседа возобновлялась. Один из таких случаев остался у меня в памяти. — «А вы какого мнения о Некрасове?» — спросил он меня из-за перегородки, что-то передвигая. Я отвечал, что ставлю высоко лирические произведения Некрасова и считаю, что он принес огромную пользу русскому молодому поколению, родившемуся и воспитанному в городах, тем, что, вместе с Тургеневым, научил его знать, ценить и любить русскую сельскую природу и простого русского человека, воспев их в берущих за душу стихах; что же касается его личных свойств, то я не верю яростным наветам на него и во всяком случае считаю, что то, что он был игрок, еще не дает права ставить на его личности крест и называть его дурным человеком. Он был, — продолжал я, — одержим страстью к игре, обратившеюся, если угодно, в порок, но *порочный* человек не всегда *дурной* человек. Нередко, вне узких рамок своей пагубной страсти, порочные люди являют такие стороны, которые многое искупают. Наоборот, так называемые *хорошие люди* подчас, при внешней безупречности, проявляют грубый эгоизм и бессердечие. Жизненный опыт дает частые подтверждения этому. Игроки нередко бывают смелыми и великодушными людьми, чуждыми низменной скупости и черствой расчетливо-

---

[1]) А. Ф. Кони. «На жизненном пути». Том второй. Из записок судебного следователя. Житейские встречи, стр. 13—15.

сти; пьяницы часто отличаются, в трезвом состоянии, истинной добротой. Недаром Достоевский сказал, что в России добрые люди — почти всегда пьяные люди, и пьяные люди—всегда добрые люди. Наконец, история оставила нам примеры «явных прелюбодеев», проникнутых глубоким человеколюбием и вне служения своим страстям явивших образцы гражданской доблести и глубины мысли. Выслушав это мнение, Толстой вышел из-за перегородки со светлым выражением лица, и, сев на «краешек», сказал мне радостно: «Ну, вот, вот, и я это именно всегда думал и говорил, это различие необходимо делать!» и между нами снова началась длинная беседа на эту тему с приведением фактических ссылок и доказательств в подтвержденне нашей общей мысли» [1]).

А вот поэтическая картина вечерней прогулки, которую совершил в этот же день Л. Н—ч с А. Ф. Кони, едва не замучив его ходьбой.

«Из первого пребывания моего в Ясной Поляне мне с особенной яркостью вспоминается вечер, проведенный с Толстым в путешествии к родственнице его супруги, жившей в верстах семи от Ясной Поляны и праздновавшей какое-то семейное торжество. Лев Николаевич предложил мне итти пешком, и всю дорогу был очаровательно весел и увлекательно разговорчив. Но когда мы пришли в богатый барский дом с роскошно обставленным чайным столом, он заскучал, нахмурился и внезапно, через полчаса по приходе, подсев ко мне, вполголоса сказал: уйдем! Мы так и сделали, удалившись, по английскому обычаю, не прощаясь. Но когда мы вышли на дорогу, уже освещенную луной, я взмолился о невозможности итти назад пешком, ибо в этот день утром мы уже сделали большую полуторачасовую прогулку, при чем Толстой, с удивительной для его лет гибкостью и легкостью, взбегал на пригорки и перепрыгивал через канавки, быстрыми и решительными движениями упругих ног. Мы сели в лесу на полянке в ожидании «катков» (так называется в этой местности экипаж вроде длинных дрог или линейки). Опять потекла беседа, и так прошло более получаса. Наконец, мы заслышали вдалеке шум приближающихся «катков». Я сделал движение, чтобы выйти на дорогу им навстречу, но Толстой настойчиво сказал мне: пойдемте, пожалуйста, пешком!.. Когда мы были в полуверсте от Ясной Поляны и перешли шоссе, в кустах вокруг нас замелькали светляки. Совершенно с детской радостью Толстой стал их собирать в свою «шапоньку» и торжествующе понес ее домой в руках, при чем исходивший из нее сильный зеленоватый фосфорический свет озарял его оживленное лицо. Он и теперь точно стоит передо мною под теплым покровом июньской ночи, как бы в отблеске внутреннего сияния своей возвышенной и чистой души...» [2]).

В конце июля Л. Н—ча посетил его старый друг, графиня Александра Андреевна Толстая. Мы уже не раз упоминали о характере их дружбы. Прежняя ничем не затуманенная привязанность теперь часто затемнялась и подвергалась испытанию вследствие крупных религиозных разногласий. Только их взаимная терпимость удерживала их на степени дружбы. Надо отдать справедливость Л. Н—чу, что он никогда не навязывал своему другу своих новых взглядов; друг же его частенько пробовал обратить его на путь истинный, и много надо было мягкости и в то же время стойкости во Л. Н—че, чтобы оградить себя от этих нападений, не причинив вреда их отношениям. Искренняя, старая дружба влекла графиню Александру Андреевну к свиданию со «Львом», как она его называла, и, выбрав, наконец, удобное время, она приехала в Ясную Поляну в сопровождении А. М. Кузьминского. Она очень живо описала это свое пребывание в Ясной в своих воспоминаниях о Л. Н—че. Мы заимствуем оттуда несколько характерных мест. Вот как она проводила утро со Л. Н—чем:

«Я очень любила эти утренние часы. Лев, обновленный сном, был в отличном духе и необыкновенно мил. Мы разговаривали совершенно спокойно; он часто читал мне любимые его стихи Тютчева и некоторые Хомякова, которые он ценил особенно; и когда в каком-нибудь стихотворении появлялось имя Христа, голос его дрожал и глаза наполнялись слезами... Это воспоминание и до сих пор меня утешает: он, сам

---

[1]) Там же, стр. 13.
[2]) Там же, стр. 32.

того не сознавая, глубоко любит Спасителя, и, конечно, чувствует в нем *не обыкновенного* человека, трудно понять противоречие его слов и его чувства.

Уходя на работу в свой кабинет, он мне обыкновенно оставлял все журналы, книги и письма, полученные накануне. Нельзя себе представить, какой ворох этого материала почта приносила ежедневно не только из России, но и со всех стран Европы и даже из Америки, — и все это было пропитано фимиамом, фимиамом... Я часто удивлялась, как он не задохся от него, и даже ставила ему это в великую заслугу.

— Quelle effrayante nourriture pour votre orgueil, mon cher ami; je crains vraiment que vous ne deveniez un jour comme Nabuchodonsor avant sa conversion [1]).

— Pourquoi voulez-vous que j'en suis fier,—отвечал он,—lorsque je vais dans le grand monde (так он называл мужицкие избы), ma gloire n'existe par pour eux—donc elle n'existe pas du tout [2]).

Какой парадокс! — и, однако, он в него верил [3]).

Л. Н—ч был в это время занят обработкой своего сочинения «О жизни».

Мы уже говорили, что Софья Андреевна приняла участие в переписке книги «О жизни». Александра Андреевна заметила это и отмечает это в своих воспоминаниях:

«Кажется, я уже говорила, что Софья Андреевна, несмотря на свои хозяйские заботы, беспрестанно переписывала то, что Л. Н—ч готовил к печати; переделкам его и поправкам не было конца, и все вместе составляло огромный труд, вроде тех работ, которым в волшебных сказках злые волшебницы подвергали своих жертв. Будучи совершенно свободна, я предложила однажды Софи свои услуги для переписки, но она отклонила их, уверяя, что я не разберу тарабарской грамоты ее мужа; однако, через несколько дней сам Лев, имея спешную работу для отсылки в Москву, просил меня и других помочь ему в этом деле. Нас рассадили по парочкам на отдельных столах, каждую даму с кавалером; составилось шесть пар. Мне достался А. М. Кузьминский, и мы сидели отдельно в маленькой гостиной, другие же все в большой зале. Он диктовал, а я писала. Совсем неожиданно вдруг стали попадаться такие неуклюжие фразы, что я невольно вспомнила «непроходимые болота», как выразился раз о Толстом Тургенев, и не могла решиться ни переступить болота, ни передать печати в этом виде; Кузьминский, хотя и соглашался со мной, но считал невозможным простым смертным поправлять Толстого. Я, однако ж, стояла на своем. В это время Лев, прохаживавшийся по комнатам от одного стола к другому, подошел и к нам.

— Savez-vous, mon cher, que je viens de corriger votre prose au grand scandale de votre beau frère [4]),—сказала я.

— Et vous avez eu parfaitement raison, je ne tiens qu'à l'idée et ne fais aucune attention à mon style [5]),—ответил мне Л. Н.

На другой день он предложил прочитать кое-что из переписанного нами; это было философское сочинение, под заглавием «Жизнь»; так как он адресовался ко мне, то я и отвечала: «Буду очень рада услышать образчик вашей мудрости, но вряд ли я пойму что-нибудь: философия чужда мне наравне с санскритским языком».

— Если вы не поймете, то это будет, конечно, не ваша, а моя вина, но я надеюсь, что этого не будет, — отвечал Лев.

В семь часов мы все собрались около него; он был особенно весел и любезен.

— Какая же у меня дивная аудитория! — шутил он, окидывая нас взглядом. — Какие представители: Ал. М. Кузьминский, как прокурор, представитель юриспруден-

---

[1]) Какая страшная пища для вашей гордости, мой друг; я право боюсь, чтобы вы не стали Навуходоносором до его обращения.

[2]) Почему вы думаете, что я этим горжусь? В моем «большом свете» слава моя не существует, стало быть ее вовсе нет.

[3]) Толстовский музей. Т. I. Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857—1903. Стр. 35—36. СПБ. 1911.

[4]) Знаете, мой милый, я только что исправила вашу прозу к великому негодованию вашего зятя.

[5]) И вы хорошо сделали: я дорожу только мыслью и не обращаю ни малейшего внимания на слог.

ции, Николай Яковлевич Грот, сам профессор философии, и, наконец, — прибавил он, указывая на меня, — графиня, представительница религии (вот поистине незаслуженная честь).

Чтение продолжалось около двух часов. Я поняла гораздо более, чем ожидала; были места прекрасные, но сердце мое не дрожало и не горело. Мне казалось, что я то сижу в анатомическом кабинете, то, что я бегаю по кривым дорожкам в полуосвещенном лабиринте и все сбиваюсь, путаюсь, и не могу вздохнуть свободно... Разумеется, об этом я не поведала никому, и если останавливала чтение каким-либо вопросом, то это было единственно для того, чтобы дать другим слушателям возможность сказать свое слово, так как замечала, что у Грота и у других скопилось много возражений на языке, но он, как и другие, не дерзал перебивать учителя; впрочем, Лев был очень снисходителен к его мнениям, и вечер окончился прекрасно, загладив впечатление предыдущих бурь» [1]).

Бури, про которые намекает здесь Александра Андреевна, были небольшие столкновения, которых друзья не могли избежать, несмотря на все их желание, когда в разговоре затрагивались религиозные вопросы. Столкновения эти были столь незначительны, что Л. Н—ч после от'езда Александры Андреевны писал Черткову:

«П. И. застал у нас много гостей... в том числе Алекс. Андр. Толстую, которая тоже пынче уехала. Мы, слава Богу, прожили с ней дней 10 не сталкиваясь, а любовно и также расстались» [2]).

Но, вероятно, более близкое знакомство с новыми взглядами Л. Н—ча и с его новыми отношениями к семье и другим людям, возбудило в Александре Андреевне желание еще раз попробовать, не обратится ли ее друг на путь истинный, и она, по возвращении от него, пишет ему длинное письмо на французском языке, на котором ей было легче излагать свои мысли. Сущность этого письма заключалась в том, что она, вполне понимая и ценя высокие нравственные стремления Л. Н—ча к проведению в жизни учения Христа, спрашивала его, может ли он стать лучше собственными силами, без помощи «благодати», которая дается верою в искупительную жертву Христа, покрывающую наши грехи.

Л. Н—ч отвечал ей кротким письмом, благодаря ее за дружеский тон, которым было проникнуто ее письмо, и указывая ей на то обстоятельство, что христианин, искренно стремящийся к исполнению учения Христа, не может не двигаться вперед, как бы ни была мала эта скорость. Вера же в искупление и благодать казалась ему и невозможностью по своей неразумности и прямо нарушала это стремление к совершенствованию, перенося ответственность за поступки на какой-то догматический принцип и лишая поэтому человека главного стимула его нравственной борьбы.

На этом обмене письмами и кончилась эта новая попытка обращения.

Наконец, в эту же осень Л. Н—ч приобрел нового преданного друга в лице Евгения Ивановича Попова, о котором придется часто упоминать в дальнейшем изложении.

Из артистического мира упомянем о посещении за это время Л. Н—ча известным актером Андреем Бурлаком, занимавшим Л. Н—ча своими рассказами до 2-х часов ночи.

В августе Л. Н—ча посетил художник Репин. Он написал прекрасный портрет Л. Н—ча, сидящего в кресле. Этот портрет находится теперь в Третьяковской галлерее. Но кроме портрета Репин написал еще замечательную картину «Толстой пахарь». Эта картина, полная глубокого содержания, превосходно написанная, эмблематически указывает на единение богатыря духа с матерью землей. От нее веет чем-то эпически прекрасным и чувствуется непреодолимая мощь народного гения.

О посещении Репина Л. Н—ч писал Н. Н. Страхову: «Был Репин, написал хо-

---

[1]) Там же, стр. 40—42.
[2]) Архив Черткова.

роший портрет. Я его еще больше полюбил. Живой, растущий человек и приближается к тому свету, куда все идет, и мы, грешные».

Вскоре Репин издал эту картину в виде хромолитографии. Это было первое выставление на суд публики событий частной жизни Л. Н—ча, и семья Л. Н—ча была очень недовольна этим. Конечно, Л. Н—ч поспешил затушить это возникшее чувство недовольства к дорогому ему человеку и написал Н. Н. Страхову, защищавшему Репина, доброе письмо, в котором между прочим говорит:

«Все, что вы пишете о Репине, совершенно справедливо; и то, что вы пишете о нелепости и непоследовательности запрещения распространять его картину. Вы очень верно описываете мое отношение к толкам обо мне: оно сознательно и я не перестаю держаться все того же самого для меня покойного правила, но тут случилось так, что когда мы получили от Стасова известия о затеянном Репиным распространении этой картинки, всем нам показалось неприятно: жена написала в этом смысле Стасову и я ему тоже написал, но потом, когда получилось 2-е письмо от Стасова и Репина, где они писали, что у них начата работа и что это запрещение огорчает их, я увидел, что это наше несогласие было неправильно, но жена, желая избавить меня от того, что мне было неприятно, написала им, об'яснив мотив отказа и подтверждая его. Теперь же я вижу, что я сначала поступил неправильно и вы совершенно правы. Главное же то, что во имя этих пустяков я как будто огорчил Репина, которого я так же высоко ценю, как и вы и сердечно люблю. Поэтому будьте добры передайте ему, что я отказываюсь от своего отказа и очень жалею, если ему доставил неприятное. Я знаю, что он меня любит, как и я его, и что он не станет на меня сердиться».

На этом кончился этот эпизод, картина была издана и издание быстро разошлось.

---

23 сентября этого 1887 года Л. Н—ч и Софья Андреевна скромно отпраздновали свою серебряную свадьбу в кругу с'ехавшихся родных и друзей.

Л. Н—ч по этому поводу записал в своем дневнике о прожитой семейной жизни: «могло бы быть лучше».

Через несколько дней после этого вся семья Толстых переехала в Москву.

В это время В. Г. Чертков с семьей жил на даче недалеко от Москвы в имении своего родственника Пашкова.

Л. Н—ч собрался к нему в гости и я поехал вместе с ним. Чертковы ждали нас, но произошло какое-то недоразумение в телеграммах и мы вышли с поезда не на той станции, где ждали лошади от Черткова. Мы наняли лошадей и поехали. Была темная ночь, а ямщик неопытный и мы заблудились. Вместо часа с небольшим, в который мы должны были проехать расстояние в 12 верст от ст. Голицына до имения Пашкова, мы проплутали часа 3, заехали в какую-то деревню, где нас вывели на дорогу, и поздно ночью приехали, наконец, к Черткову без особенных повреждений. Все ограничилось потерей пледа. Л. Н—ч, узнав о пропаже, сказал: «Жалко, доставим неприятность Софье Андреевне».

Мне пришлось спать в одной комнате со Л. Н—чем и я помню смутно нашу ночную беседу. Он опять почему-то вспомнил прожитую семейную жизнь и говорил, что ему приятно сознавать, что ни с его стороны, ни со стороны его супруги не было ни малейшей неверности и они прожили честную и чистую семейную жизнь.

Приведем несколько выдержек из писем Л. Н—ча того времени, в которых выражается его понятие об искусстве; мысли о нем постоянно занимали Л. Н—ча и он выражал их по разным поводам, большею частью говоря о произведениях близких ему людей.

Так, по поводу одного нового произведения писателя В. Савихина, сотрудника «Посредника» первого периода, автора «Деда Софрона», «Кривой доли» и др., Л. Н—ч высказывает такие мысли в письме ко мне:

«Чертков пишет о Савихине. Язык его поэмы, образы тоже превосходны. Стих хорош местами, но не мешало бы его сделать еще ровнее и лучше, но содержание не то, чтобы нехорошо, а его совсем нет. Содержание есть только подражание тому, чему не нужно подражать у Некрасова, т.-е. преувеличение народной бедности и отчаянное отношение к ней, вызывающее только негодование к кому-то... Зачем попал туда Г—н в очках? Что он делает? И главное, чем кормится? Сочувствие никак не может быть на стороне его, потому что в нем что-то таинственное, скрытное. А сочувствие невольно на стороне мужиков, и досадуешь на то, что автор с презрением относится к ним, а с уважением к тому, что возбуждает только недоумение и подозрение. Ни на какой вещи я давно не видал с такой ясностью, как невозможно человеку писать, не проведя для самого себя определенную черту между добром и злом. Писателю-художнику, кроме внешнего таланта, надо две вещи: первое — знать твердо, что должно быть, а второе — так верить в то, что должно быть, чтобы изображать то, что должно быть, так, как будто оно есть, как будто я живу среди него. У неполных художников — неготовых, есть что-нибудь одно, а нет другого. У Савихина есть способность видеть, что должно бы быть как будто оно есть. Но он не знает, что должно быть. У других бывает обратное. Большинство бездарных произведений принадлежит ко 2-му разряду, большинство так называемых художественных произведений принадлежит к первому. Люди чувствуют, что нельзя писать то, что есть, что это не будет искусство, не знают, что должно быть, и начинают писать то, что было (историческое искусство — картины Сурикова), или пишут не то, что должно быть, а то, что им или их кружку нравится. Оба нехорошо. Первый недостаток Иванова, второй — Савихина. Смешать их вместе — выйдет большой художник. Но и не смешивая, каждый, выработав то, что ему недостает, может сделаться хорошим умственным работником, т.-е. писателем» [1]).

Вскоре после этого в нашем издательском кружке появилось новое лицо, внесшее в дело много своего таланта, любви и энергии и продолжающее это дело его до сих пор. Это был Ив. Ив. Горбунов-Посадов. Первое произведение, которое он сообщил нам, была его поэма «Христова ночь». Давно уже тяготея сердцем к тому, что высказывал Л. Н—ч, Горбунов обратился к нему на суд с этим произведением. Опасаясь, что во множестве корреспонденции, которую получает Л. Н—ч, могло затеряться произведение незнакомого ему лица, Ив. Ив. просил меня обратить как-нибудь внимание Л. Н—ча на его стихи и узнать о впечатлении, произведенном на него этими стихами. Я поспешил исполнить просьбу Ив. Ив. и на мой запрос получил следующий отзыв Л. Н—ча:

«Стихи Горбунова,—хорошие стихи; в них чувствуется искренность, которую редко встречаешь в стихах. Я отметил некоторые стихи слабые—очевидно, вследствие условий размера и рифмы—напр., «озарив—нив», светлячки не на нивах, «аркады» и т. п. Но стихотворение это нравится мне и со своими слабостями и даже по слабостям. Чувство пробивается сквозь путы формы. Почему именно эта самая мысль не могла бы быть выражена не прозой, но и не стихами? Я отвечаю вам на письмо Горбунова, в котором он спрашивает мнение о значении стихотворной поэзии. Это мы все знаем. Еще Буало сказал, чтобы мысль не калечилась рифмой. Если может поэт так сказать стихами, чтобы мы и не заметили, что это стихи—хорошо, а без этого лучше говорить, как умеешь, во всю. Ведь все, и самое хорошее, так испошлилось, что надо все начинать сначала. Стихи... Мне кажется так: если совсем серьезно относиться к поэзии — хоть эта мысль Светло-Христово Воскресенья — я бы начал говорить — писать, как вижу, чувствую, не стихами, а потом пришло бы место, где моя мысль потребовала бы больше сжатости, силы, законченности, и вышли бы стихи, может быть, так и кончилось бы стихами, а, может быть, несколько строф, а потом опять проза. Только для этого надо хорошенько забыть всякие стихотворения, места, где они помещаются, и пиитику, а хорошенько вспомнить свою душу» [2]).

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.
[2]) Там же.

Подобного рода мысли Л. Н—ч высказывал и по отношению к произведению живописи своего друга Н. Н. Ге. В одном письме он писал ему почти теми же словами, как и о произведениях Савихина:

«Для того, чтобы производить то, что называется произведениями искусства, надо: 1) чтобы человек ясно, несомненно зная, что добро, что зло, тонко видел разделяющую черту, а потому писал бы не то, что есть, а что должно быть. А думал бы то, что должно быть, так как будто оно есть. Чтобы для него то, что должно быть,— было бы. Не правда ли? И у вас оба термина очень сильны и равны и потому вы должны писать, когда вам хочется и ничего не мешает» [1]).

В одном из следующих писем он высказывает такие мысли:

«Все художники настоящие потому художники, что им есть что писать, что они умеют писать и что у них есть способность писать и в одно и то же время читать или смотреть и самым строгим судом судить себя. Вот этой способности я боюсь у вас слишком и она мешает вам делать для людей то, что им нужно. Я говорю про евангельские картины. Кроме вас никто не знает того содержания этих картин, которое у вас в сердце, кроме вас никто не может их так искренно выразить и никто не может их так написать. Пускай некоторые из них будут не доделаны, но самые низкие по уровню будут все-таки большое и важное приобретение в настоящем искусстве и в настоящем единственном деле жизни. Мне особенно это живо представилось, когда я получил прекрасный оттиск «Тайной вечери», сделанный для М. А. (С. А. сделала их 10 без вашего позволения. Вы ведь позволите?). Знаю я, что нельзя советовать и указывать художнику, что ему делать. Там идет своя внутренняя работа, но мне ужасно подумать, что начатое дело чудесное не осуществится» [2]).

Столь же глубокие мысли о литературе высказывает Л. Н—ч по поводу прочтения «Переписки с друзьями» Гоголя.

В письме ко мне он говорит:

«Всякий раз, как я читал «Переписку» Гоголя, она производила на меня сильное впечатление, а теперь сильнее всех. Я отчеркнул излишнее и мы прочли вслух, на всех произвело сильное впечатление и бесспорное. 40 лет тому назад человек, имевший право это говорить, сказал, что наша литература на ложном пути—ничтожна, и с необыкновенной силой показал, растолковал, чем она должна быть, и в знак своей искренности сжег свои прежние писания. Но много и сказал в своих письмах, по его выражению, что важнее всех его повестей. Пошлость, обличенная им, закричала: он сумасшедший и сорок лет литература продолжает итти по этому ложному пути, ложность которого он показал с такой силой, и Гоголь, как Паскаль, лежит под спудом. Пошлость царствует и я всеми силами стараюсь, как новость, сказать то, что сказано Гоголем. Надо издать выбранные места из его переписки и его краткую биографию» [3]).

Подобные же мысли, еще в более резкой форме высказаны им в письме к Н. Н. Страхову:

«Еще сильное впечатление у меня было подобное Канту—недели три тому назад при перечитывании в 3-й раз в моей жизни «Переписки» Гоголя. Ведь я опять относительно значения истинного искусства открываю Америку, открытую Гоголем 35 лет тому назад. Значение писателя вообще определено там (письмо к Языкову) так, что лучше сказать нельзя. Да и вся переписка (если исключить немного частное) полна самых существенных глубоких мыслей; великий мастер своего дела увидал возможность лучшего делания, увидал недостатки своих работ, указал их и доказал искренность своего убеждения и показал хоть не образцы, но программу того, что можно и должно делать, и толпа, не понимавшая никогда смысла делаемых предметов и достоинства их, найдя бойкого представителя своей неизменной точки зрения, загоготала, и 35 лет лежит под спудом, в высшей степени трогательное и значительное поучение подвижника нашего цеха, нашего русского Паскаля. Тот понял несвойственное место,

---

[1]) Архив Черткова.
[2]) Там же.
[3]) Архив П. И. Бирюкова.

которое в его сознании занимала наука, а этот—искусство. Но того поняли, выделив то истинное и вечное, которое было в нем, а нашего смешали раз с грязью, так он и лежит, а мы-то над ним проделываем 30 лет ту самую работу, бессмысленность которой он так ясно показал и словами и делами. Я мечтаю издать выбранные места из переписки в «Посреднике» с биографией. Это будет чудесное житие для народа, хоть они поймут. Есть ли биография Гоголя?» [1]).

Переписка Л. Н—ча с его друзьями, знакомыми и единомышленниками принимает в это время все более и более широкие размеры. Какие только корреспонденты не вступают в сношение с ним! Ему пишут тифлисские барышни, спрашивая, что им делать, чтобы быть полезными народу, и он им отвечает интересным письмом, принимая во внимание их общественное положение—среди местной интеллигенции, и советует поделиться с народом своим умственным имуществом. Вот его ответ:

«Вы спрашиваете дела. Кроме общего всем нам дела — стараться уменьшать те труды, которые употребляются другими на поддержание нашей жизни, сокращая свои потребности и делая своими руками, что можешь сделать для себя и для других,— у приобретающих знания есть еще дело: поделиться этими знаниями, вернуть их назад тому народу, который воспитал нас. И вот такое дело есть у меня.

«Существуют в Москве издатели народных книг: азбук, арифметик, историй, календарей, картин, рассказов. Все это продается в огромных количествах, независимо от достоинства содержания, а только потому, что приучены покупатели и есть искусные продавцы... Один из этих издателей — Сытин, мне знакомый, хороший человек, желающий сколь возможно улучшить содержание этих книг. Дело же, предлагаемое мною вам, следующее: взять одну или несколько из этих книг, азбуку ли, календарь, роман ли (особенно нужна работа над повестями: они дурны и их много расходится), прочесть и исправить или вовсе переделать.

«Если вы исправите опечатки, бессмыслицы, там встречающиеся, — ошибки и бессмыслицы географические и исторические, — то и то будет польза, потому что, как ни плоха книга, она все-таки будет продаваться. Польза будет в том, что меньше будет вздора и бессмыслицы сообщаться народу. Если вы при этом еще выкипете места глупые или безнравственные, заменив их такими, чтобы не нарушался смысл, это будет еще лучше. Если же вы, под тем же заглавием и пользуясь фабулой, составите свою повесть или роман с хорошим содержанием, то это будет уже очень хорошо. То же о календарях, азбуках, арифметиках, историях, картинах. Итак, если работа эта вам нравится, выбирайте тот род, в котором вам кажется, что вы лучше можете работать, и напишите мне. Я вышлю вам несколько книг. Очень желал бы, чтобы вы согласились на мое предложение.

«Работа, несомненно, полезная. Степень пользы будет зависеть от той любви, которую вы положите в нее» [2]).

Сношения с этими барышнями были поручены Т. Львовне, и из переписки видно, что работа дала значительные результаты.

Осенью этого года Л. Н—ч получил письмо от француза Ромэна Роллана, теперь уже приобревшего всемирную известность и репутацию человека, не боящегося высказывать публично сознаваемую им правду, — тогда еще молодого студента Ecole Normale в Париже. В своей книге о Толстом, недавно изданной, Ромэн Роллан говорит о том сильном влиянии, которое имел Толстой на французскую молодежь, на современную литературу и искусство.

Его смущал тогда вопрос о совместимости служения науке и искусству,—что казалось ему выше всего — с нравственным требованием физического труда и в той или иной форме непосредственного служения ближнему. Л. Н—ч ответил ему большим письмом на французском языке; мне пришлось тогда же, под руководством Л. Н—ча, перевести его на русский язык, и письмо это получило большое распростра-

---

[1]) Архив Черткова.

[2]) Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого. Т. XII. Под ред. и с прим. П. И. Бирюкова. Стр. 26—27.

9. За самоваром. Утро в Яснополянском доме в 1887 году.
За столом: Лев Николаевич и Степан Андреевич Берс; впереди стола: Софья Андреевна, Мария Петровна Берс, Мария Львовна Толстая.

ление под именем «Письма к французу о физическом труде и умственной деятельности». В первый раз оно было напечатано в газете «Неделя» и потом вошло в собрание сочинений.

В этом письме, достаточно известном всей читающей публике, Л. Н—ч дает в сжатой форме сущность своих взглядов, изложенных им в книге «Так что же нам делать?» и в «О жизни». Он считает очень высоким и ответственным, искупаемым страданием призвание ученого или художника и требует подчинения его деятельности всеобъемлющему и всеразрешающему чувству самоотверженной любви.

Наконец, влияние Л. Н—ча доходит до самых недр народа, через лучших представителей его сектантов-рационалистов.

К этому времени на юго-западе России распространялась секта штундистов. Одна из общин Херсонского уезда подошла очень близко в понимании Евангелия ко взглядам Л. Н—ча. Они составили изложение своего вероучения в форме катехизиса, в вопросах и ответах и послали отпечатанный на ремингтоне экземпляр Л. Н—чу при следующем письме:

Господи благослови.

Во имя разума, жизни и этики.

От штундистов Херсонского уезда, брату по ИИСУСУ, Льву Николаевичу Толстому.

Привет.

Так как вера твоя разнится от нашей только в догмате Святыя Троицы и в понимании Молитвы Господней, то, посылая тебе катехизис наш, надеемся, что ты, ознакомившись с ним, и себя причислишь к числу членов Иисусова БРАТСТВА ПО ЕВАНГЕЛИЮ.

Уполномоченный братства

Димитрий Кудрявцев.

Новый Буг, Херс. губ. 1887 года, августа 1 дня.

На благодарность, выраженную им Л. Н—чем, он получил следующий ответ от уполномоченных братства.

«Лев Николаевич.

На отзывчивые строки ваши отвечаю.

Штундизм, как проявление религиозного рационализма, очень распространен в Новороссийском крае. Адепты его считаются сотнями тысяч.

Штундизм, этот раскол лютеранства, отрицает обряды, таинства, священства, посты, иконы, ветхозаветное учение и основой веры признает одно Евангелие.

Ввиду же того, что администрация всеми мерами мешает общению штундистов между собою, в каждой местности, в каждой почти деревне, штундисты, оставаясь верными главным основам своей веры, расходятся в подробностях.

ИИСУСОВО БРАТСТВО ПО ЕВАНГЕЛИЮ задалось мыслью сплотить всех штундистов в одну духовную семью.

С этой целью, лет пять тому назад, был составлен народным учителем Ткаченко катехизис, присланный мною вам.

В пределах Антоновской и Новобуговской волостей, Херсонского уезда, катехизис этот принят, но распространение его сопряжено было с большими затруднениями, ввиду малочисленности лиц, умеющих читать рукопись, даже в числе окончивших народную школу.

Ныне с приобретением машинки Ремингтона и гектографированием ее оттисков братство надеется значительно расширить круг лиц, способных усвоить себе истины, изложенные в катехизисе.

Первый экземпляр нового издания и был послан вам.

Расширив круг читателей катехизиса, братство остановилось на том соображении, которое и вы высказываете в письме вашем.

Редакторская неумелость может повредить делу.

Враги истины придерутся к малейшей неточности, чтобы осудить все, говорите вы.

Сознавали это и мы, и заручившись согласием вашим с основами учения Иисусова братства, мы приступаем с главной нашей просьбой: исправьте, Лев Николаевич, замеченные вами в катехизисе неточности и натянутость и обеспечьте тем успех распространения истины.

Брат ваш Д. Р. Кудрявцев».

Новый Буг. Херс. губ. [1]).

Л. Н—ч, получив этот катехизис, очень радовался тому, что мысли его проникли в народ. Но исправлять его он не взялся. Он боялся, чтобы работа эта не завлекла его и не отвлекла от работ более самостоятельных.

В постоянной переписке с Чертковым Л. Н—ч часто высказывал ему глубокие мысли по различным жизненным вопросам. Чертков обладал особенною способностью вызывать Л. Н—ча на изложение своих мыслей, ставя ему различные вопросы. Из писем этого времени мы выбираем наиболее интересные, которые характеризуют духовный облик Л. Н—ча этой эпохи его жизни.

Л. Н—ча нельзя было назвать пропагандистом своего учения. Он мало заботился о распространении своих взглядов, но твердо верил в силу света истины. Об этом он так писал Черткову:

«Если уже говорить о воздействии на других, о чем я не должен думать и не стараюсь думать, то я всегда об одном бессознательно стараюсь, чтобы направить зрение людей на вечное одно солнце, а самому отскочить; а видеть, что меня считают за солнце не из скромности (тут не может быть и речи об этом), а из стыда и жалости и омерзения к себе, всегда при этом испытываю мучительное чувство. Как резать что-нибудь липкое, и к ножу прилипает, и вместо резания выходит какая-то путаница грязная. Вот то же и когда своя личность липнет к этому ножу или скорее нож нечистый, загрязненный своею личностью и вместо того, чтобы счищать — грязнишь» [2]).

Около этого времени В. Г. Чертков задумал составить свод мнений более близких друзей о понятии «Бог». Он обратился и ко Л. Н—чу с просьбой дать свое определение, и Л. Н—ч так ответил ему в письме:

«Ну, смотрите же, понимайте с полуслова и не требуйте определений, и не придирайтесь к словам. Бог для меня это то, к чему я стремлюсь, то, в стремлении к чему и состоит моя жизнь, и который поэтому и есть для меня, но есть непременно такой, что я его понять, назвать не могу. Если бы я его понял, я бы дошел до него и стремиться бы некуда было, и жизни бы не было. Но, что кажется противоречием, я его понять и назвать не могу, а вместе с тем знаю его, знаю направление к нему, и даже из всех моих знаний это самое достоверное. Не знаю его, а вместе с тем мне всегда страшно, когда я без него, а только тогда не страшно, когда я с ним. Еще страннее то, что знать его больше и лучше, чем я его знаю, теперь, мне теперь, в моей теперешней жизни и не нужно. Приблизиться мне к нему можно и хочется, и в этом моя жизнь, но приближение нисколько не увеличивает и не может увеличить моего знания. Всякая попытка воображения о том, что я познаю его (напр., что он Творец, или милосерд, или что-нибудь подобное) удаляет меня от него и прекращает мое приближение к нему. Еще страннее то, что любить по-настоящему, т.-е. больше

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

[2]) Архив Черткова.

себя и больше всего, я могу только его одного; только в этой любви нет никакой остановки, никакого умаления (напротив, все прибавление), нет никакой чувственности, нет влияний, угодливости, нет страха, нет самодовольства. Все, что хорошо, любишь через эту любовь; так что выходит еще то, что любишь, а, следовательно, живешь только через него и им. Ну, вот как я думаю, чувствую скорее. Прибавить надо только то, что местоимение *он* уже несколько нарушает для меня Бога. «Он» как-то умаляет его» [1]).

Черткова мучил тогда вопрос о деньгах и он ставил вопрос об их полном устранении и сообщал Л. Н—чу свои мысли об этом. Л. Н—ч отвечал ему так:

«Вижу я, что вы сближаетесь с нуждами народа, с забытыми братьями нашими. Они забыты так давно, так окончательно, что всем нам, желающим восстановить это братство, мало одного сознания родства, нужна длинная работа, которая у меня не только не кончена, но только начинается; а вы позади меня в этом отношении, и потому этому я за вас радуюсь; но о деньгах, о своем отношении к ним, я ничего сказать не могу. Каждый по-своему умывается. Дело в том, чтобы самому внешнему предмету этому не приписывать значения; а то—тот же грех, как и с деньгами. Приписывать же значение надо только тому, что уничтожает значение многих пустых вещей, в том числе и денег. Хочется мне написать сказочку такую. Был царь, и все ему не удавалось, и пошел он к мудрецам спросить, отчего ему неудача. Один мудрец сказал: оттого, что он не знает часа, когда что делать. Другой сказал: оттого, что он не знает человека, который ему нужнее всех. Третий сказал: оттого, что он не знает, какое дело дороже всех других дел. И послал царь еще спрашивать у мудрецов, у этих и других: какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех. И никто не мог отгадать. И все думал об этом царь и у всех спрашивал. И отгадала ему девица. Она сказала, что важнее всех часов теперешний, потому что другого ни одного нет такого же. А нужнее всех тот человек, с которым сейчас имеешь дело, потому что только этого человека и знаешь. А дороже всех дел то, чтобы сделать этому человеку доброе, потому что это одно дело тебе наверно на пользу. — Вот эта мысль не разрешает для меня и вопроса денег, а ставит его на место, которое ему подобает» [2]).

В это время жена Черткова Анна Константиновна часто хворала, и в семье Черткова часто возникал и решался в ту или другую сторону вопрос о медицинской помощи. Л. Н—ч высказал тогда в письме к Черткову о медицине такое мнение:

«Есть взгляд на медицину такой, какой мне приписывают, что медицина есть зло и надо от нее избавляться и ни в каком случае не пользоваться: этот взгляд неправильный. Есть другой взгляд такой, что человек помирает и страдает не потому, что так ему свойственно, а только потому, что не поспел доктор или ошибся, не нашел лекарства, или еще медицина не поспела всего выдумать. Этот взгляд, к несчастью, самый распространенный (особенно между врачами) и самый ложный и вредный. От первой ошибки иногда пострадает тело, а от 2-го всегда страдает дух. Нас неученых людей разумное отношение к медицинской помощи всегда будет (да и ученых тоже) такое: искать вперед помощи от угрожающей смерти и страданий я не буду (потому что, если стану это делать, то вся жизнь моя уйдет на это и все-таки ее недостанет); но пользоваться теми средствами ограждения себя от смерти и страданий, которые приспособляются людьми, специально занятыми этим делом и которые невольно вторгаются в мою жизнь, я буду, но только в пределах того, что подтверждается ясностью для меня своего действия, опытом, распространением и удобством приобретения, т.-е. теми средствами, пользование которыми не нарушает моих нравственных потребностей. Тут, разумеется, беспрестанные дилеммы, и решение их в *душе каждого*» [3]).

---

[1]) Архив Черткова.
[2]) Архив Черткова.
[3]) Архив Черткова.

В письме ко мне этой же осенью Л. Н—ч сообщает сведение о новом, родственном ему по духу учении:

«Я вам говорил о Christian science учении, которое недавно возникло в Америке. Они очень сочувствуют моим взглядам и пишут мне и присылают и книги и брошюры. В этом учении есть много гораздо более важного, чем мне показалось сначала. Слабая сторона их, усиливаемая их женщинами, в том, что можно лечить болезни духовно, и это глупо, но основная мысль, прекрасно выраженная, которую я дал племяннице перевести, такая: болезни и грехи—это все равно, что движение и тепло: одно переходит в другое. Болезни большею частию—последствия греха, и чтобы избавиться от них надо избавиться от греха — заблуждения. И живя в заблуждении, надо знать, что живешь в болезни, которая если еще не появилась, то неизбежно появится. Важно еще то, что всякий человек, подвергаясь болезням, несет ответственность за заблуждения других: и предков и современников, и что каждый, живя в заблуждении, вносит болезни и страдания в других — в потомков и в современников. И что каждый, живя безболезненно, обязан этим другим—и предкам и современным добрым людям, и что каждый, освобождаясь от заблуждений, излечивает не одного себя (одного и нельзя), а и потомков и современников» [1]).

Все эти мысли весьма характерны для Л. Н—ча и показывают широту его взглядов, отсутствие всякого педантизма. Ему важно не формальное решение вопроса, а решение его по существу. Он искал, по слову Евангелия, прежде всего Царства Божия и правды его, зная, что все остальное приложится к нему.

Общее настроение Л. Н—ча в это время было чрезвычайно бодрое и радостное. В октябре 1887 года он писал между прочим Страхову:

«Не сметь быть ни чем иным, как счастливым, благодарным и радостным, с успехом повторяю себе. И очень рад, что вы с этим согласны» [2]).

ГЛАВА 8-я.

В Ясной Поляне за работой. В Москве. Новые друзья.

Зиму 1887—1888 годов Л. Н—ч проводит в Москве: он с увлечением читает Герцена и пишет об этом Н. Н. Страхову:

«Все последнее время читал и читаю Герцена. Что за удивительный писатель. И наша жизнь русская за последние 20 лет была бы не та, если бы этот писатель не был скрыт от молодого поколения. А то из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган».

Ту же мысль подробнее Л. Н—ч развивает в письме к Черткову:

«Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения запрещены: во-первых, это писатель,—как писатель художественный,—если не выше, то уже, наверное, равный нашим первым писателям; а во-вторых, если бы он вошел в духовную плоть молодых поколений с 50-х годов, то у нас не было бы революционных нигилистов.

Доказывать несостоятельность революционных теорий — нужно только читать Герцена,—как казнится всякое насилие именно самим делом, для которого оно делается. Если бы не было запрещения Герцена, не было бы динамита и убийства, и виселиц, и всех расходов, усилий тайной полиции, и всего того ужаса, и всего того зла правительства и консерваторов...

Очень поучительно читать его теперь. И хороший, искренний человек. Человек,—выдающийся по силе, уму, искренности,—случайно мог без помехи дойти по

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.
[2]) Архив Черткова.

ложному пути до болота и увязнуть и закричать: не ходите! И что ж! Оттого, что человек этот говорит о правительстве правду, говорит, что то, что есть,—не есть то, что должно быть, — опыт и слова этого человека старательно скрывают от тех, которые идут за ним.

«Чудно и жалко. А, должно быть, так должно быть, и это к лучшему» [1]).

Я проводил эту зиму в Петербурге, заведуя «Посредником». В скромном помещении, которое занимал тогда «Посредник», на Греческом проспекте, собиралось много друзей, группировавшихся около этого центра нового движения в Петербурге. Время это оставило во мне светлое воспоминание. Было много молодых сил, стремившихся выразиться в новых формах практической жизни.

Нам пришла мысль сорганизоваться в ремесленную кооперацию, совершенно свободную, удовлетворяющую, во-первых, потребности физического труда, а во-вторых, работающую на рынок, для поддержания вырученной суммой всей нашей организации.

И мы завели артельные мастерские по трем ремеслам: столярному, сапожному и переплетному. Собирались по вечерам, большею частью учащаяся молодежь, работали, читали, пили чай и беседовали, и на всем этом лежал отпечаток наивной, чистой, молодой мечты.

Конечно, Л. Н—ч был в курсе этого дела, и вот одно из его писем того времени, такое же бодрое и жизнерадостное, как и наше молодое дело.

Он писал мне в феврале 1888 года:

«Виноват... винов... вино... вин... ви... в... в... А главное, что все время хотелось вам писать, милый друг П. И. Я все письма от вас получал, но был и теперь продолжаю быть в таком тихом тупоумии, что не только статей, но писем писать не хочется. Мастерские, что устраиваются—это очень, очень хорошо. Чтение о пьянстве тоже, то, что вы приедете в марте, лучше всего. Бондарева хотел напечатать в «Русс. Деле», но теперь заробел. «Жизнь» до сих пор в духовной цензуре, и так как нет ответа, то и не посылается еще для печатания за границей. Тогда заодно пошлю и Бондарева. Мисс Hapgood вчера прислала мне статьи и двух американок; и то и другое неинтересно. Вообще, если можно, скажите ей: 1) что статьи ее неинтересны мне, я все знаю об этом, а 2) то, что я боюсь, судя по поправкам французского перевода «О жизни», который я делаю, чтобы в ее переводе не было неточностей. Виноват тут я неясностью своего языка, и потому хорошо бы проверить ее перевод. Это, верно, не отказался бы сделать Страхов.

«Теперь я буду делать вопросы. Что статьи Полушина? Отчего не печатаются? Что Гоголь? Что Семен Сирота и мн. др.?

«Илюшу вчера обвенчали, и свадьба была самая глупая, т.-е. настоящая. Никто этого не хотел, и сделалось само» [1]).

Вскоре после этого мне пришлось быть в Москве. Как часто бывало, я остановился у Л. Н—ча и был свидетелем одного из самых важных событий его семейной жизни, рождения его последнего сына Ванички.

Помню тот вечер, когда я сидел с другими детьми внизу, а наверху в гостиной совершалось великое и таинственное явление — рождение на свет нового человека. Мы все, не отдавая себе отчета в этом, переговаривались как-то шопотом, боясь нарушить величие тайны.

И вдруг пришел к нам Л. Н—ч с взволнованным, заплаканным, но уже радостным лицом и об'явил, что все кончилось благополучно. «А было очень страшно!» — прибавил он нам, как бы поясняя и оправдывая свое волнение. И он пригласил меня к родильнице; ему хотелось как-то похвастать передо мной мужеством матери, перенесшей страдания без малейшего крика и даже стона.

Софья Андреевна лежала на диване в гостиной закрытая до головы теплым

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

одеялом, и меня поразило ее лицо, одухотворенное сознанием исполненного долга, сияющее какой-то особенной неповторяемой красотой.

Рядом с ней копошилось завернутое красненькое существо. Вскоре из этого комочка, едва напоминающего человека, развился прекрасный ребенок с небесными стремлениями. Хрупкое тело его не выдержало этих стремлений, и через семь лет мне пришлось по странному совпадению присутствовать и на его похоронах, о чем я буду говорить в своем месте.

Эти события семейной жизни не мешали Л. Н—чу думать об общих наших литературных издательских делах по «Посреднику». Работа эта кипела, это было время расцвета деятельности «Посредника», и у Л. Н—ча уже назревала мысль о расширении его и перенесении деятельности за пределы России. В конце марта Л. Н—ч писал Черткову:

«Пришло в голову издавать «Посредник» международный в Лейпциге без цензуры на 3-х или 4-х языках. Программа: все, что выработал дух человеческий во всех областях—такое, что доступно пониманию рабочих, трудящихся масс, и что непротивно нравственному учению Христа: мудрость, история, поэзия, искусства... Устройства учреждения никакого не нужно: «Посредник» с расширенной программой. Все, что у нас есть непропускаемое цензурой — статьи Озмидова, Декларация Гаррисона и очерки его жизни, легенда Костомарова, Достоевского, Лескова, — все, что есть печатать в Лейпциге на 4-х языках — русском, французском, немецком, английском, и на обертках печатать краткую программу» [1]).

С этого времени прошло уже более четверти века, и этот грандиозный проект до сих пор еще не осуществлен. Помню раз в разговорах со Л. Н—чем я размечтался об этом деле и стал развивать ему план такой организации на средства одного из наших общих друзей. Я спрашивал у Л. Н—ча совета о том, стоит ли мне для этого ехать за границу, чтобы принять участие в этом деле. Враг всяких придуманных организаций, Л. Н—ч сказал мне: «Никуда ехать не надо, ничего не надо устраивать. Вот Черткова вышлют за границу, тогда и станет «Посредник» международным». Л. Н—ч верил в организаторские способности своего друга. Через девять лет после высказанной в письме мысли Черткова действительно выслали за границу. И он действительно основал большую издательскую деятельность, под фирмой «Свободное Слово», в которой и мне пришлось принять участие. Но это было только частичное осуществление замысла Л. Н—ча. Чертков издавал по-русски и некоторые из брошюр по-английски. Кроме того эта деятельность была посвящена почти исключительно распространению сочинений Л. Н—ча. Общечеловеческая мудрость была едва затронута (Паркер, Унитарьянцы, Гаррисон и др.). Таким образом этот великий проект все-таки ждет своего исполнителя.

Следующее письмо Л. Н—ча ко мне, полученное в апреле, полно внутреннего духовного интереса; в ответ на мои вопросы, с которыми я часто обращался к своему старому доброму другу, он писал следующее:

«Дорогой П. И., первое дело о том, что вы пишете: мне думается, что высшее доступное человеку благо жизни это то, когда его личное стремление влечет его к любовной деятельности, т.-е. к такой, цель которой не я, а другие, когда нет ни борьбы, ни напоминаний со стороны разума, ни малейшего остатка силы жизни, не поглощенного деятельностью для других. И это состояние бывает (сколько я знаю) только в двух случаях: в любимой работе нужной и разумной и в любви к избранным лицам, в деятельности для них нужной и разумной. Я понимаю вас и сам то же испытывал, боясь деятельности писательской, как бы она не была эгоистичной, но знаю, что в ней, когда она истинная, высшее мое благо, и потому и дело. То же и в любви к близким, к семейным, к детям. Лескова легенду прочел в тот же день, как она

---

[1]) Архив Черткова.

вышла. Эта еще лучше той. Обе прекрасны. Но та слишком кудрява, а эта проста и прелестна. Помогай ему Бог.

«Получаю я письма о сборнике для Гаршина. Помогите мне, милый друг, в том, чтобы не обидеть людей. Не говоря уже о том, что нет никакого повода и причины составлять сборник и собирать на что-то деньги по случаю смерти Г., я никак не могу быть в этом участником, несмотря на мою большую любовь к Г., которую я желал бы выразить. И если бы пришлось написать о нем, что я думаю, то, разумеется, отдал бы в самое приличное для того место—сборник. Если увидите Кузьминского или Кони, спросите его (Кони), начал ли он писать обещанный рассказ для П., а если нет, то отдаст ли он мне тему этого рассказа. Очень хороша и нужна. Писать головой очень хочется и знаю, что нужно, а не могу — сердцем не тянет. Колечка не поехал к Ч., а еще у нас. У нас все хорошо; все, исключая Пв., здоровы, и молодые приехали на два дня. Броневского письма не нашел. Остальное все исполню. Попов был здесь и уехал к Озмидову с Залюбовским» [1]).

Легенды Лескова, о которых упоминает здесь Л. Н—ч, были: первая «Совестный Данила», вторая «Прекрасная Аза», написанная Лесковым для «Посредника».

Тема, которую Л. Н—ч просит уступить ему, — это сюжет его романа «Воскресение», законченного им через 12 лет.

---

18 апреля Л. Н—ч собрался в Ясную Поляну и пошел пешком с своим молодым тогда другом Ник. Ник. Ге-сыном, хорошим ходоком. Эти путешествия были для Л. Н—ча, с одной стороны, способом изучения народа и, с другой стороны, сам он, проходя по городам и селам, разбрасывал то там, то сям искры своей любви. Сохранилось несколько рассказов из этого и другого путешествия. Мы приведем некоторые из них, заимствуя их из книги П. А. Сергеенко «Как живет и работает Толстой».

«В одно из своих путешествий зашел он ночевать на сельский постоялый двор. Хозяин двора, крутой, правный старик рассердился за что-то на своего сына-юношу и начал его бить, затем схватил за волосы и поволок из комнаты. Л. Н—ч стал убеждать мужика. Но тот вошел в азарт и не обращал ни на что внимания. Тогда Лев Николаевич сказал ему с укором:

— Стыдись! Ведь этого и зверь над зверем не станет делать. А ты называешься христианином. Как же ты Бога не боишься?

Это задело мужика и он злобно крикнул:

— Так что ж по твоему мудрому разуму, значит не надо и детей учить?

— Надо учить, но не бить, —сказал Лев Николаевич.

— А ты знаешь, что сказал граф Аракчеев? — спросил мужик злым, вызывающим тоном.

— Что?

— Девять человек убей, а десятого выучи...

Не успел мужик договорить всей фразы, как Лев Николаевич подскочил к нему с загоревшимися глазами и закричал:

— Не смей так говорить! Бога в тебе нет. И знай: и тот зверь, кто сказал это...

И в лице его и в голосе было при этом нечто такое, перед чем сразу потухло бешенство жестокого мужика.

В это же или другое путешествие из Москвы в Тулу был такой случай. По дороге, возле кучи щебня, они увидели мужика, который сердито отбивал камнем коблук на сапоге и крепко ругался. Он натер сапогом ногу и это очень сердило его. Путники подошли к нему, разговорились и затем пошли вместе. У рабочего был недовольный вид и он все время жаловался на людскую несправедливость. Работал он на заводе, а хо-

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

зяин не заплатил ему «за литье» сколько следовало. Лев Николаевич все время слушал рабочего, затем сказал серьезно:

— Тут что-нибудь не так, Иван Семенов!

— Побей меня Бог, все было, как я говорю!—возразил горячо Иван Семенов, и в подтверждение своих слов показал Льву Николаевичу квитки из завода.

Так они прошли вместе около трех суток, останавливаясь по постоялым дворам для отдыха и беседуя уже, как старые приятели.

Очутившись с глазу на глаз с спутником Льва Николаевича, Иван Семенов спросил с любопытством:

— Скажи, пожалуйста, кто такой этот Лев Николаевич?

— Да так себе старик. А что?

— Божественный старик!

На последнем привале напились путники чаю, Лев Николаевич прощается с Иваном Семеновым и говорит:

— Как хорошо Бог привел нас познакомиться и вместе время провести. А только мне все кажется, Иван Семенов, что ты всей правды о себе не сказал.

У Ивана Семенова показались слезы на глазах.

— Прости меня, Лев Николаевич, соврал я тебе: деньги-то я все дочиста получил от хозяина и пропил их, окаянный.

В другой раз Лев Николаевич со своим спутником догнали на дороге больного мальчика, который был очень слаб, и взяли его с собой. Хозяйка постоялого двора, когда увидала, что мальчик очень плох, рассердилась и закричала:

— Уходите, уходите! Что это вы привели сюда совсем дохлого. Он еще умрет здесь.

Лев Николаевич помолчал немного и кротко сказал:

— Это не наш мальчик, а чужой. Мы его взяли, потому что он был беспомощен. Подумайте, как бы вам было тяжело, если бы вы были в беспомощном положении и никто не хотел бы помочь вам.

Хозяйка смягчилась, приняла путников, матерински ухаживала за мальчиком и потом все повторяла ему:

«Вот видишь, добрые люди подобрали тебя и привели. А не будь добрых людей... не будь добрых людей на свете, что ж бы это было?» [1]).

Этот больной мальчик доставил Л. Н—чу немало хлопот; но все-таки о своем путешествии он сохранил самое хорошее воспоминание. Он пишет С. А—не:

«Путешествие очень удалось. Как я ни стар, и как ни знаю нашу жизнь, всякий раз узнаешь во всех отношениях: и нравственном и умственном».

Из Ясной Л. Н—ч писал мне:

«Получил ваше письмо, милый Поша, в Ясной, куда мы с Колечкой благополучно, весело и поучительно дошли. Спасибо вам за исполнение моих просьб. Смирягин мне очень понравился. Сейчас с нами Дунаев, он нагнал нас в Серпухове, и с нами шел и Сытин С. Д. Вот кабы удержался в согласии против пьянства, к которому присоединился» [2]).

Смирягин, о котором пишет Л. Н—ч, это был только что кончивший петербургскую академию молодой теолог, искренно приближавшийся по своим нравственным воззрениям ко Л. Н—чу, но оставшийся православным. Он писал докторскую диссертацию о Толстом.

Сергей Дмитриевич Сытин, теперь уже умерший, страдавший страстью к спиртным напиткам, часто как бы воскресал и зарекался под влиянием Л. Н—ча, и в эти периоды был светлым, чистым душою человеком. Но плоть снова побарывала его, и он опускался до самого дна жизни, откуда приходилось его выручать его старшему брату Ивану Дмитриевичу...

---

[1]) П. А. Сергеенко. «Как живет и работает Л. Н. Толстой». М.

[2]) Архив П. И. Бирюкова.

Об этом путешествии спешит также известить меня и новый преданный друг Л. Н—ча, Марья Александровна Шмидт, как всегда, в восторженном тоне:

«Голубчик Павел Иванович, Лев Николаевич с Колечкой Ге и Дунаевым пешком ушел в Тулу 17 апреля, а пришел в Ясную 22-го здоровым и веселым, убрал свой кабинет и сел работать, ужасно я рада за него, Софья Андреевна спешит со всей семьей к нему в Ясную, так что Л. Н. больше не приедет в Москву, маленький Ваня чихает так громко, как отец, и Софья Андреевна уверяет всех, что он похож на Л. Н., все они здоровы и веселы, в конце святой помчусь к ним опять» [1]).

Это время в жизни Л. Н—ча следует отметить, как посвященное им борьбе с привычкой к курению. Л. Н—ч еще не переставал курить.

В сознании его давно уже была решена необходимость расстаться с этой вредной привычкой, но сила привычки была так велика, что Л. Н—чу пришлось тратить значительные силы для борьбы с нею. Он не раз бросал и снова начинал курить, наконец, именно весной этого 1888 года, он расстался с папироской окончательно.

Мне вспоминаются эпизоды этой борьбы. Одним из доводов против курения была деликатность по отношению тех присутствующих, которые по той или иной причине не выносят запаха курения.

И вот Л. Н—ч старался не курить при гостях, а если ему очень хотелось курить, он уходил в прихожую, садился на ларь и закуривал папироску. Но гости, дорожившие беседой со Л. Н—чем, также перекочевывали в переднюю, и там образовывался своего рода клуб.

На этот раз, весной 1888 года, Л. Н—ч бросил курить окончательно.

Л. Н—ч в это время много работал в поле и на деревне.

Вот как с наивной восторженностью описывает это время Марья Алекс. Шмидт в письме ко мне:

«В среду вечером с девятичасовым поездом я с О. А. выехали из Москвы и утром часов в 8, в четверг, мы прибежали в Ясную, Маша была вставши, напились мы чаю и помчались на деревню ко Л. Н—чу. Он там работал земляную избу и сейчас же Маша разулась и стала работать. Н. И. возил воду, а мы рыли землю и носили ее на носилках, и так работали до их завтрака. Л. Н—ч интересовался о N N, я сказала, что просто дивлюсь на него, и что, главное, меня больше ни к нему, т.-е. к N N, ни к С. не тянет, чувствую, что эти два человека мне совершенно чужие. Л. Н—ч сказал на это следующее: «Чтобы вышло дело, человеку надо разуться, без этого ничего не выйдет». Как это верно, и как Л. Н. в двух словах выразил ясно всю путаницу мирской жизни» [2]).

Кроме обыденных полевых работ, одним из главных дел в начале лета было для Л. Н—ча постройка избы для вдовы Анисьи Копыловой. В этой постройке принимали участие сосед-крестьянин Прокофий и художник Николай Николаевич Ге, клавший Анисье печь, Марья Львовна, Марья Александровна и я.

Когда я приехал в начале июня гостить в Ясную, я застал избу почти законченной, т.-е. стены были выведены, Ге клал печку, Прокофий поправлял стропила и слеги, положенные Л. Н—чем, а Л. Н., М. Л. и М. А. были заняты крышей, и я присоединился к ним. Л. Н—чу хотелось сделать эту крышу несгораемой, и он решил покрыть ее соломенными щитами, вымоченными в глине, по красноуфимскому способу. Хлопот с этим было много. Нужно было на особом большом станке наткать соломенных ковров по сажени длиной. Потом в особой кадке развести глину, вылить ее в особо выкопанную продолговатую по величине ковра яму и опустить туда ковер, стараясь сделать так, чтобы он весь пропитался глиняным раствором. Глину приходилось размешивать особым веслом, а иногда разминать комки босыми ногами. Все это было очень весело. Л. Н—ч веселил всех своими остроумными шутками. Мешая глину в

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.
[2]) Архив П. И. Бирюкова.

кадке, он приговаривал: «Точно миро варим». Около этого времени, в посту, действительно происходило мироварение в Чудовом монастыре. Л. Н—ч читал описание этого странного обычая в газетах, и мешание глины напомнило ему это варение.

Намоченный и пропитанный глиной ковер мы втаскивали на крышу, прикалачивали к слеге чешуей, ряд на ряд.

К сожалению, изба эта через несколько лет сгорела.

Зрителем этой работы в один из дней случайно оказался молодой человек Штандель, корреспондент «Русского Курьера», зашедший в Ясную Поляну, чтобы познакомиться со Л. Н—чем. Через несколько дней в его газете появился обширный фельетон, с рассказом о виденном и слышанном, при чем фантазии был дан широкий простор.

Живо помню то бодрое жизнерадостное настроение, которым заражал всех нас Л. Н—ч. Работая целый день без устали, с небольшим обеденным промежутком, он возвращался вечером потный, усталый, растрепанный, перепачканный глиной, с заступом на плече, а глаза его горели радостью исполненного долга, и он, любуясь чудным весенним вечером, шел, восклицая: «Как хорошо жить на свете!».

Пробыв в Ясной Поляне с неделю, я поехал тогда к себе на хутор в Костромскую губернию, где у меня уже начиналось самостоятельное хозяйство.

Л. Н—ч писал мне туда:

«Что вы поделываете, дорогой друг? Из деревни не было еще от вас писем. Я живу очень хорошо для себя и, думаю, для Бога. Много работаю руками и меньше пером и языком, и потому на совести чище. Ничего не пишу, но не скажу, чтобы не работалось само собой внутри. На-днях приехать хочет Ге-старший» [1]).

В письме к Черткову Л. Н—ч как бы оправдывается в том, что он мало пишет:

«Вы на меня не сетуйте, милый друг, что я теперь ничего не пишу. Ведь нельзя жать, не посеяв. А кажется мне, что я сею, т.-е. живу очень полной радостной жизнью и, не скажу много, но хорошо иногда думаю. Большую же часть времени и энергии употребляю на полевую работу. И не умею вам сказать, как и отчего, но твердо знаю, что я делаю то, что должно» [2]).

Так проходило лето, а к осени меня уже опять тянуло в Ясную Поляну.

Особенно после получения от Л. Н—ча такого письма:

«Радуюсь за вас, что вы в деревне. Надолго ли? Верно, заедете опять проездом. Мы здесь, говорят, до ноября. Несмотря на то, или скорее благодаря тому, что веду всю ту же рабочую жизнь, не вижу, как идет время. Крышу только что покрыл с Немым еще одно звено по-уфимски, а остальное просто прикрыл до будущего года. Теперь понемногу подсобляю в лесной постройке Прокофью и Семену. Садами тоже мужицкими начал заниматься. Дела всегда много. Хочется и писать иногда, но думаю, что это соблазн, потому что хочется головой, т.-е. говорю себе: как бы приятно по примеру прежних лет иметь работу, в которую бы уходить по уши, хочется головой, а не всем существом. И потому думаю, что это соблазн. Вообще я с нынешнего года ступил на новую ступеньку,—может быть, она покажется вниз для других, потому что не хочется писать и говорить не хочется и засыпаешь часто — старческое ослабление, но для меня оно вверх, потому что меньше зла к людям и радостнее жить и умирать» [3]).

Интересным событием в эту осень было посещение Ясной Поляны Фетом, поэтом и другом Л. Н—ча.

Фет в это время писал свои воспоминания о Л. Н—че, Тургеневе, Боткине и других своих литературных сверстниках. Для этого он перечитывал бережно хранимые письма Л. Н—ча. Перед приездом в Ясную он так писал об этих письмах Софье Андреевне:

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.
[2]) Архив В. Г. Черткова.
[3]) Архив П. И. Бирюкова.

«Боже мой, как это молодо, могуче, гениально и правдиво. Это точно вырвавшийся чистокровный годовик, который и косится на вас своим агатовым глазом, и скачет молниеносно, лягаясь и становясь на дыбы, и вот готов, как птица, перенестись через 2-харшинный забор».

И об одном из писем он замечает особо:

«Самый тупой человек увидит в этом письме не сдачу экзамена по заграничному тексту, а действительно родник всех самобытных мыслей, какими питается до сих пор наша русская умственная жизнь во всех своих проявлениях».

Приехав осенью в Ясную, Фет читал в присутствии Л. Н—ча свои интересные записки.

Я же приехал в Ясную в сентябре с большим багажом. Привез с собой большой волшебный фонарь с картинами и показывал его в темный, теплый осенний вечер в саду, отражая картины на белой стене яснополянского дома, в том месте, где теперь выстроена терраса. Картины получались большие, фигуры человеческие в натуральную величину, и производили большое впечатление на собравшуюся толпу яснополянских крестьян взрослых и детей. Подбор картин у меня был умышленный. Серия картин из Нового завета, при чем я об'яснил так, как эти события толкуются Л. Н—чем в его переводе Евангелия. Затем шла серия естественно-научных, несколько комических картин и световых эффектов.

Все были довольны, включая Л. Н—ча. Перед моим от'ездом из Ясной туда приехал известный английский журналист Стэд, с которым я еще познакомился в Петербурге. Он пробыл после меня в Ясной Поляне несколько дней, но в этот раз он не оставил после себя хорошего впечатления.

А Лев Николаевич тогда усердно шил сапоги и его дочери уже носили отцовскую работу.

Число друзей и единомышленников Л. Н—ча в разных степенях все возрастало, а вместе с этим росла и переписка Л. Н—ча с этими друзьями-единомышленниками, обращавшимися к нему за разрешением всевозможных вопросов, от чисто личных или семейных, самых интимных до вопросов общего философского характера.

Л. Н—ч всегда был очень аккуратным корреспондентом. Если только он чувствовал, что тон письма серьезный и искренний и думал, что его ответ может помочь этому человеку, он непременно ему отвечал, стараясь входить в малейшие, известные ему обстоятельства жизни.

Вот пример такого письма, написанного Е. И. Попову, его новому другу:

«Много, много любя думал о вас и о вашем положении и духовном и материальном, которое есть ни что иное, как последствие духовного. Не хорошо мне кажется одно: это то, что вы недовольны не собой, а своим положением. Кто вы и что вы? Вы молодой муж богатой и милой и доброй любящей жены. В этом положении вас застает сознание того, что есть требования главные жизни истинной, и что требования эти несовместимы с жизнью широкой, т.-е. роскошной, богатой и эгоистической жизнью, поедающей жизнь других. Что надо делать такому человеку? Коротко и грубо, но существенно верно, в практическом приложении можно сказать: уменьшить сколько возможно требования на себя труда других людей, т.-е. свои потребности, и увеличивать, или, если не был, начинать свой труд для других людей. Делать же все это с чистотой, т.-е. избегая пороков, оскверняющих тело и душу (пьянство, разврат) и любовно, т.-е. делая это, не делать больно людям, связанным со мною или стоящим на дороге моего дела.

«Что же, сколько я знаю, вы не сделали *все* это, но делали, что умели в этом направлении. Если вы нагрешили в чем, то покайтесь и исправляйте. И каяться и исправлять легко, потому что что вы делали, делали не для себя. Если бы вы, как вы писали раз, делали бы для славы людской, то это все-таки не для себя, а это есть тот соблазн, который угрожает при всяком добром деле.

«Вот что, милый друг. Проверьте себя на основании этой программы, чего вы не сделали, что переделали, в чем ошиблись, а ошиблись вы, как мне кажется, в том

в чем все склонны ошибаться, о чем третьего дня я рассуждал с Н. и многими другими молодыми, желающими жить по-божьи. Да, надо освободиться от рабовладельчества, т.-е. денег, главное, нужды в деньгах, от многих потребностей, и надо увеличить свой труд, труд самый простой, презираемый, такой труд — черная работа. Все это правда, и все это хорошо. Но ведь дело не в том, чтобы во что бы то ни стало пахать, чистить нужники и никогда не переменять рубашку, если сам ее не вымоешь.

«Все это то самое, к чему нельзя не стремиться тому, кто не на словах только признает людей братьями, но, стремясь к этому, нельзя отступать от других двух требований совести — чистоты и любовности. Можно и должно подвигаться, не нарушая этих требований.

«Мирской человек считает, что хорошо быть богатым, но по законам мирским нельзя вдруг сделаться богатым, украв, т.-е. нарушив ту безопасность богатства, без которой богатство не впрок. То же самое и с богатством духовным: достичь того, чтобы не жить трудами других, а самому служить — хорошо, но нельзя достигнуть этого, как делал Алексей Божий человек, уйдя и заставляя мучаться и страдать и жену и родителей.

«Если допустить нечистоту и жестокость или нелюбовность при достижении справедливого положения между людьми, то положение это уже несправедливо. И вот я боюсь, что вы ошиблись в этом. Вам так хотелось (этим мы все страдаем) достичь такого положения, в котором бы вы могли сказать: «Смотрите, я чист перед людьми», что, достигая его, вы нарушили любовь, сделали больно. Помогай вам Бог поправить то, что нарушено. Главное, не думайте о своем положении: похоже ли оно на то, что люди считают справедливым для вас при ваших убеждениях, а думайте об одном, чтобы не отступить, достигая цели, не переставая никогда достигать ее, — от чистоты и любви. А о людях надо помириться с тою мыслью, что как бы ни жили по Христу, люди, не следующие Христу, будут осуждать вас» [1]).

Интересны письма того времени, в которых Л. Н—ч дает советы житейской мудрости, конечно, выводя их из собственного душевного опыта.

Так, он писал одному другу:

«Знаете, как кубики с картинками укладывают?

«Один поймет картинку по одной паре кубиков, другой—по другой паре. Но только бы удалось ему сложить первую пару,—то доберется и до всей. Я опытом знаю и умею теперь различать людей, которые переставляют кубики наобум, от тех, которые сложили осмысленно два, и потому наверное узнают всю картину, — узнают ее не нынче, так завтра, и все ту же единственную вечную картину.

«И потому я, читая ваши разногласия со мной, даже не волнуюсь, а вперед знаю, что у нас одна неизбежная и вечная картина.

«И потому я во всем согласен с вами, не оттого, что нарочно хочу согласиться, а оттого, что разногласия наши происходят только оттого, что вы с одной стороны сводите кубики, а я с другой, но кубики те же.

«С теми, которые не начали сводить еще и которые уверяют, что они то-то и то-то видят, я вперед не согласен. С теми же, которые вперед говорят, что ничего не выйдет и не может выйти, с теми мне больно, на тех мне сердиться хочется, и я сдерживаюсь».

В эту же осень Л. Н—ч пишет Черткову полное глубокого смысла письмо по вопросу о благе и страдании:

«Вопрос о том, что Христово учение дает благо, и потому, кто следует ему, тот не может мучиться; а борьба есть мученье—вопрос, действительно многих вводящий в заблуждение. Оправдание верою в искупление, причащение и исповедь,—все это попытки уничтожить борьбу. Христианское учение требует совершенства подобного совершенству Отца, а мы все исполнены грехов, и потому приближение к совершенству есть борьба, а борьба представляется всегда, как страдание, мучение, а

[1]) Архив В. Г. Черткова.

потому христианское учение ведет к страданиям, к мучениям. Так и понимают его многие. С другой стороны, христианское учение и есть благодать, откровение блага, и Христос избавил людей от страданий и мучений; как это соединить? Все исповедания христианские суть попытки разрешения этого противоречия.

«А разрешение одно только и возможно, то самое, которое в приводимом вами месте Паскаля (жаль, что нет у меня и не помню верно), разрешение одно: благо в борьбе, т.-е. в движении вперед к совершенству, подобному совершенству Отца. Тут происходит нечто подобное тому, что происходит по отношению работы, телесной, грубой работы. Благо человека в том, чтобы кормиться, а кормиться нельзя без борьбы, без усилий, представляющихся страданиями, мучениями. И вот люди придумывают средства, как бы кормиться без труда, как в раю, как с себя на других свалить труд, как бы так машины выдумать, чтобы они за нас работали. И, разумеется, ничего не выходит и не выйдет до тех пор, пока люди не догадаются, что благо телесное и состоит в том, чтобы, трудясь, кормиться, что благо, главное, в труде. То же и с нашими грехами и потребностью блаженства. Сколько ни придумывай такие состояния, в которых не было или не будет грехов, сколько ни уверяй себя, что Христос или таинства через Христа очистили нас, грехи все грехи, и мы их знаем в себе и с ними не можем быть блаженны. И, разумеется, ничего не выйдет до тех пор, пока мы не поймем, что блаженство наше и состоит в освобождении от грехов и в движении к совершенству. И в этом христианское учение; оно освобождает от греха и дает возможность приближения к совершенству.

«Со мною по крайней мере так было и есть. Прежде мне казался так мучителен разлад моей греховности с совершенством Отца, что я хотел во что бы то ни стало сразу достигнуть этого совершенства, и, разумеется, не достигал и ослабевал. Точно так же, как и в работе. Прежде бросался на работу, желая как можно скорее кончить, и ослабевал и бросал. И только недавно, как я в работе узнал, что дело не в том, чтобы кончить, а в том, напротив, чтобы иметь счастие работать (часто я жалею теперь о том, что работа кончается). Так и в христианской жизни я начинаю чувствовать радость в самой работе над своими грехами и над приближением к Отцу. Не думайте, читая эту нескладицу, что я пишу, что попало. Нет, я очень знаю, что хочу сказать, только не умею, может быть. Я описываю очень определенную разницу, происшедшую в моей жизни: прежде бороться хоть с самым главным грехом своим — злость недоброжелательства к людям было мучением, а теперь это самое дело (эта борьба) есть лучшая радость моей жизни. Только что поднимается на кого злость, а я себе скажу: «Неправда, я его люблю за то, за то», и злость стихает и делается радостно опять, точно так же, как работа косить, пахать, пока не умеешь — мука, а потом радость» [1]).

Около этого же времени Л. Н—ч пишет старику Ге о своем душевном состоянии:

«Я не пишу и сначала было скучно, а теперь рад. У меня сделалась привычка от жизни уходить в раковину моего писания — пренебрегать жизнью (отношениями с людьми) из-за писания, и это не хорошо. Теперь не пишешь, некуда спрятаться и серьезнее относишься к жизни, всякую минуту ее стараешься прожить во-всю — лучше, и этак лучше» [2]).

Вскоре я получил от него письмо, свидетельствующее о целом ряде отношений с людьми, заботами о которых была полна его жизнь. Вот что между прочим он пишет мне 6 ноября:

«Спасибо, что написали, милый друг. Мы еще в деревне. Жену задержали холода, но теперь оттепель, и после завтра она хочет ехать, мы же останемся еще на несколько дней. Я все в том же состоянии, как и при вас: писать по рассуждению хочу и надобно, да не пишется. Письмо французу два раза еще принимался, да не идет. Пусть печатает так. Нынче только я расписался и Черткову написал длинное

---

[1]) Архив Черткова.
[2]) Там же.

письмо, но бестолковое, все о том же предмете — о супружеских отношениях. Хотелось бы внести свою ленту в раз'яснение этого страшно запутанного и во всеобщем прогрессе отставшего дела, кажущегося неважным, а, в сущности, самого коренного».

«...Получил я от Хилкова хорошее письмо и записку, как бы исповедание веры; посылаю ее вам. Я еще не отвечал ему. А еще поразительные две английские книги «Modern Pharisaism» от англичанина Albert Blake, письмо которого, помните, мы вместе читали: христианство, отрицающее (с слишком большой злобой) все церковное и требующее не только непротивления злу, но и нищеты. Только недостаточно ясно, слишком задорно и в некоторых пунктах, как, напр., о супружестве, для которого он допускает расторжимость брака, необдуманно. Надо ему написать. Очевидно, он в Англии забит, и раздражен, и больше боец за свою партию, чем христианин. Постараюсь написать, но знаменательно и радостно. Да, да, нельзя стоять на том пути, на котором мы стали: движет вперед. Напишите про Булыгина, про Броневского. Он написал очень возбужденное письмо, тоже отвечу, а вы повидайте. Пв. Ив. целую. Хорошо вы устроились, помогай вам Бог. Наши все вам кланяются. Нынче пришла пешком Марья Алекс. из Тулы и теперь сидит с Машами, проверяет «О жизни», а я рядом, в комнате француза, куда я перешел» [1]).

В дневнике своем от 23 ноября он записывает мысль, указывающую на непрестанную внутреннюю борьбу.

«Все не пишу, — нет потребности такой, которая притиснула бы к столу, а нарочно не могу. Состояние спокойствия — того, что не делаю против совести — дает тихую радость и готовность к смерти, т.-е. жизни».

Через несколько времени уже в декабре, у него записана такая мысль:

«Никто не уживается...

«Одна причина, что все преграды приличия, законов, которые облегчали сожитие—устранена; но этого мало; утешаться можно этим, но это неправда.

«Это ужасное доказательство того, что люди эти, считающие себя лучше других (из которых первый я) оказываются, когда дело дошло до поверки, до экзамена, ни на волос не лучше».

«...все: бедность жизни, воздержание, труд, смирение даже, все это нужно только для того, чтобы уметь жить с людьми, т.-е. любить их, а коли нет любви, так и это все ничего не стоит».

И как бы внушая себе самому осторожность в сношениях с людьми, он далее записывает так:

«Немного помогает мне правило: желать, сходясь с людьми, чтобы они тебя унизили, оскорбили, поставили в неловкое положение, а ты был бы добр к ним...».

В начале декабря он снова пишет старику Ге уже из Москвы, и опять главная мысль письма его—отношение к своему писанию. Видно, какая происходила в нем непрестанная борьба высоких нравственных требований со старыми привычками. Он пишет между прочим:

«Я с неделю, как переехал в Москву. Как в деревне, так и здесь продолжаю не работать пером, и это воздержание, представьте себе, удовлетворяет, радует меня. Хочется по привычке, по себялюбию, по желанию отуманиться, уйти от жизни, по этим причинам хочется, но нет той непреодолимой силы, которая привлекла бы меня к писанию, нет того снисходительного суда к себе, который, как прежде, одобрял все, и не пишешь и чувствуешь какую-то чистоту вроде как от некурения. Продолжаете ли курить? Я не нарадуюсь на то, что избавился от этого. Так мы отвыкли от естественного понимания жизни» [2]).

В Москве Л. Н—ч старается создать себе трудовую обстановку: он возит воду, колет дрова, шьет кожанные калоши и, наконец, задумывает заняться педагогической деятельностью, к которой всегда чувствовал склонность.

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

[2]) Архив Черткова.

И вот он посещает городскую хамовническую школу, знакомится с учителем, и чтобы не смущать его своим незаконным присутствием, он подает прошение о разрешении ему преподавать в городской школе. На это прошение вскоре получился категорический отказ.

Так трудно ему было с его радикальными взглядами приобщиться к общественной деятельности.

Город все также был ему тяжел, и в его дневнике того времени попадается такая запись: «Магазины Пассажа — хуже сифилитической больницы».

В Москве, как всегда, Л. Н—ч становился центром большого кружка лиц, серьезно стремившихся к разрешению основных вопросов жизни.

Среди этих, большею частью молодых людей, были люди беззаветно преданные взглядам, выраженным их учителем, были скептики, улыбавшиеся этим несбыточным иллюзиям, были и люди прямо враждебно к ним настроенные. Эти люди причиняли Л. Н—чу много огорчения и служили пробным камнем его терпения.

Об одном из таких кружков рассказывает в своих воспоминаниях врач В. В. Рахманов, мы заимствуем оттуда несколько страниц.

«В ту зиму как-то вошло в обыкновение собираться по вторникам у Толстого. Приходил и весь наш кружок, за исключением лишь Л. Н. М. и И. А. К., которые не разделяли воззрений Толстого и не хотели с ним знакомиться.

«В эти дни происходили жаркие споры между Толстым и нами. Застрельщиками были обыкновенно М. и А. В. А.

«Как сейчас я помню Л. Н—ча, выпрямившегося во весь рост, с сверкающими глазами, упорно отстаивающего свою точку зрения против наших нападений. Как поразителен он был в эти мгновения и как жаль, что тут не было художника, который бы его срисовал в это время.

В Толстом совмещается вместе, с одной стороны, народник и политический мыслитель с оттенком анархизма, и, с другой стороны, философ-моралист, отыскивающий пути для новой, очищенной от всех суеверий религии. Сам Толстой более всего ценил свои религиозно-философские идеи. Народнические и политические воззрения лишь вытекали у него из его религиозного миросозерцания и не были на первом плане. Для нас же в то время важнее всего были именно эти народнические и анархические идеи. Его же религиозным воззрениям мы не придавали особенно большого значения. Эта-то разница и служила причиною всех наших споров. Мы с своей точки зрения не могли допустить, чтобы последователь Толстого, сделавшись таковым, продолжал жить прежнею барскою жизнью. Лев Николаевич отстаивал ту точку зрения, что важнее всего сохранить хорошее отношение к окружающим тебя в данный момент людям, и если для этого требуется остаться в условиях прежней богатой жизни, то следует лучше принести в жертву свой душевный покой, чем причинить зло и огорчение окружающим тебя близким людям.

«А. В. с особенной резкостью возражал Толстому. «Враги человеку близкие его», приводил он текст Евангелия. «А если для спокойствия этих близких людей понадобится, чтобы я участвовал в разбое, неужели же я должен в нем участвовать?» — задавал он негодующий вопрос. Напрасно возражал Толстой, что все определяется степенью религиозного сознания. Мы оставались при прежнем воззрении, и при каждой новой встрече спор возгорался с новой силой.

«Таким образом все яснее намечались два течения в толстовстве. Одно, на стороне которого стоял наш кружок, собиравшийся у Л. Н., можно было назвать народническим. Другое было скорее религиозное.

«Сторонники этого последнего течения были духовно ближе к Толстому: он считал, что они лучше его понимают, чем сторонники первого течения. В свою очередь и представители религиозного течения относились к Толстому с большим уважением, доходящим до благоговения. Для них была бесспорной, истинной почти всякая мысль, выраженная Л. Н—чем.

«В то время как народники-толстовцы, не взирая ни на какие трудности, сделали все от них зависящее, чтобы воплотить в жизнь учение Толстого, представители другого направления, по большей части не изменяли своей прежней внешней жизненной обстановки, за исключением лишь того, что те, кто служил в военной службе, вышел в отставку. Зато они очень много сделали для распространения идей Толстого. Я не буду в дальнейшем изложении говорить о толстовцах этого направления: их жизнь, с внешней стороны, мало отличалась от жизни заурядных обывателей, а в их писаниях на все лады варьировались мысли, уже высказанные Толстым.

«Прежде, чем перейти к дальнейшему рассказу, замечу, что последователи Толстого, близкие к нему по его религиозно-философским воззрениям, и до сих пор остались верны своим взглядам; не так обстоит дело с народниками-толстовцами: лишь немногие из них и теперь еще стоят на том же пути, по которому пошли 20 лет тому назад, большинство же изменило свои воззрения и пошло другими путями».

«В это же время, — продолжает Рахманов, — один из посетителей Л. Н—ча М. Н. был арестован за издание на гекторграфе статьи Л. Н—ча «Николай Палкин». Его мать была этим страшно потрясена. Она, со слезами на глазах, просила меня сходить к Толстому и попросить его, чтобы он показал, если его спросят, что брошюра была издана с его согласия. Я знал, что этого не было: М. Н. письменно обращался к Л. Н. с просьбой разрешить издание брошюры, но ответа на свое письмо не дождался и издал брошюру, не получив согласия Толстого. Поручение было тяжелое. Но я все же пошел к Толстому и передал ему просьбу матери М. Н. С замечательной мягкостью и тактичностью Л. Н. поспешил рассеять мое смущение. «Конечно, с моего согласия,—заявил он,—я всегда рад, когда распространяют мои сочинения. «Передайте матери Н., что я так и скажу, если кто-нибудь меня спросит». Через несколько дней Толстой получил приглашение явиться к какому-то высокому сановнику (не помню, к какому именно), Л. Н. ответил, что у него нет никакого дела к этому господину, и что если тот хочет его видеть, то он сам может к нему притти. Сановное лицо само не пошло, а послало своего чиновника, молодого человека. Последний был принят любезно, как и всякий посетитель, при чем Толстой все время говорил ему о безнравственности его службы.

«Вскоре М. Н. был освобожден, но ему был запрещен в'езд в Москву, и он уехал в Тверскую губернию искать подходящего для общины имения».

В заключение этой главы приведем два письма Л. Н—ча, относящиеся к 1888 году, указывающие нам на то влияние, посредством писем, которое исходило лучами из Л. Н—ча на окружающих его близких и дальних и светило всему миру. Вот первое письмо:

«Не могу и не хочу ответить вам двумя словами: предмет, о котором вы пишете, слишком важен. Человек, мужчина или женщина, — женщина особенно, — который пойдет в деревню, поселится среди народа, в условиях жизни народа и поставит себе хоть не исключительной, но главной целью следить за воспитанием, уходом, кормлением младенцев и детей и будет помогать правильному воспитанию, словом и делом, разумным советом и присмотром, обмывкой, расческой заброшенных, такой человек будет делать такое дело, лучше, нужнее, важнее которого нет и не может быть и будет чувствовать это. Дело это очень трудное с точки зрения эгоистической и барской и самое легкое (потому что исключает всякую возможность сомнения в важности и полезности дела и несет с собой свою награду), и радостное с точки зрения человека, имеющего нравственные требования, и нет ничего легче, как приняться за него. Стоит только приехать из города в первую попавшуюся деревню, и если не имеешь средств, то избрать какое-нибудь ремесло, чтобы кормиться (шить, переплетать, переписывать, переводить, учительствовать), и свободное время посвящать на это дело. С некоторою смелостью и малыми потребностями можно даже и рискнуть на то, что родители, детям которых лицо будет служить, будут кормить. Но это было бы уже исключение. С некоторым же ремеслом это очень легко и естественно. Я счастлив тем, что знал и знаю таких женщин. Ведь для этого ни перед кем

10. Лев Николаевич в своем рабочем кабинете в 90-х годах (с картины И. Е. Репина).

из тех, которым вы думаете посвятить себя, этому делу не стоит никаких препятствий, ведь все, что нужно, это только желание и грамотность, чтобы перечесть книжку о детской гигиене. Так зачем же дело стало: пускай они идут. Пойдя теперь, они покажут, что ими руководит искреннее желание служения людям, а не жалованье (какое бы скромное оно ни было, получение определенного обеспеченного жалованья есть великий соблазн), не положение, не мода. Вы скажете, что люди не знают, как взяться, никогда не слышали про возможность такой деятельности, и я соглашусь с вами. Вам пришла эта благая мысль, и надо распространять, уяснять ее, развивать подробности ее исполнения. И давайте это делать. Я по крайней мере лично очень вам благодарен за сообщение мне вашей мысли, которая уяснила мне одну из форм служения людям и готов служить, как умею, к ее распространению, но не только не желаю того, чтобы земство учреждало что-нибудь, но боюсь этого, как только земство возьмется, напечатает первый циркуляр, так этот зародыш добра будет убит. Так вот вам мое мнение, пожалуйста, примите его с тем же чувством доброжелательства, с которым я принял ваше, и верьте, что я сказал от всей души все, что умею и мог сказать».

Письмо второе:

«Я прочел те печатные рассказы, которые вы мне прислали, и прочел местами (конец, начало) и пробежал всю рукопись, которую вы мне прислали, и как ни неприятно мне это говорить, я должен сказать, что и в том и в другом я не заметил и признака того, что называют неправильно талантом, и что я называю самобытностью. Все это не нужно. Я должен вам сказать, не признаю деления людей с талантом и без него: все люди одинаково могут и физически и духовно служить людям, когда они к этому призваны. Дело в том, что физически мы знаем, что люди служат другим бесчисленно разнообразными способами; в духовном же служении у нас установилось мнение, что мы можем служить другим только наукой, искусством (литературой). Это все равно, как если бы люди вообразили себе, что физически можно служить людям только тем, чтобы делать телеги и чемоданы. Очевидно, что их наделали бы столько, что они бы не употреблялись и потому сделались бы плохи, и, главное, что они были бы никому не нужны. То же самое происходит вообще с произведениями так называемых наук и искусств вообще и с литературой и повестями, романами—в особенности. Если бы вы знали, как я, сколько пишется этих никому не нужных и разнообразно-однообразных пустяков. Бросьте это занятие. Старайтесь быть хорошим человеком, живущим сообразно с тем светом, который есть в вас, т.-е. с совестью, и тогда вы неизбежно будете действовать духовно на других людей — жизнью, речами или даже писаньем, я не знаю, но будете действовать. Таков закон человеческой жизни, что человек, как губка, только сам насытившись вполне добром, может изливать его на других, и не только может, но неизбежно будет. А то что ж? Зачем не называть вещи по имени? Ведь я прошел через это, не говоря о тех пишущих, которые прямо пишут для репутации и денег, и даже самих себя не обманывают, самые искренние писатели, если пишут и печатают, то кроме потребности высказаться, иногда желания добра, они все-таки желают славы и денег. И эти два желания так скверны особенно в соединении с духовным делом, что отравляют своим ядом все. Писатель делается тщеславным, жадным, не переносящим осуждения, озлобляется не только на хулителя, но на нехвалителя, делается равнодушным к важнейшим явлениям внутренней жизни в отношениях к людям, гордость, злость, зависть, — все дьяволы поднимаются. Скверное состояние, я его испытал. И зачем вступать в него! Так вот вам мое мнение, высказанное любя».

Осенью Л. Н—ч писал между прочим Попову, выражая свое душевное состояние следующими словами:

«Я живу очень хорошо, никогда так много не работал, как нынешнее лето, и так легко и радостно. Любить есть кого и работать есть над чем — над своими грехами, и людей любящих меня все больше и больше, так что жить очень хорошо и умирать не хочется».

ГЛАВА 9-я.

Новые шаги. Голос обличения. «Крейцерова соната».

Л. Н—ч начинает 1889 год горячим выступлением против традиционного празднования в Москве Татьянина дня. 12 января в фельетоне «Русских Ведомостей» появилась статья Л. Н—ча: «Праздник просвещения» 12-го января.

«Нет, в самом деле это ужасно!—говорит Л. Н—ч в этой статье. Ужасно то, что люди, стоящие, по своему мнению, на высшей ступени человеческого образования, не умеют ничем иным ознаменовать праздник просвещения, как только тем, чтобы в продолжение нескольких часов сряду есть, пить, курить, и кричать всякую бессмыслицу»... «...Все знают, что пьянство дурно. Но вот пьянствуют образованные, просвещенные люди и они вполне уверены, что тут не только нет стыдного и дурного, но что это очень мило и с удовольствием и смехом пересказывают забавные эпизоды своего прошедшего пьянства...».

«...Мужик всякий считает себя виноватым, если он пьян, и просит у всех прощения за свое пьянство. Несмотря на временное падение, в нем живо сознание хорошего и дурного. В нашем обществе оно начинает утрачиваться».

«Ну, хорошо, вы привыкли это делать и не можете отстать, ну, что же, продолжайте, если уж никак невозможно удержаться; но знайте только, что и 12-го, и 15-го, и 17-го января и февраля, и всех месяцев это стыдно и гадко, и, зная это, предавайтесь своим порочным наклонностям потихоньку, а не так, как вы теперь делаете, торжественно, путая и развращая молодежь и, так называемую вами же, вашу меньшую братию».

«Пора понять,—заключает Л. Н—ч свою статью,—что просвещение распространяется не одними туманными и другими картинами, не одним устным и печатным словом, но заразительным примером всей жизни людей, и что просвещение, не основанное на нравственной жизни, не было и никогда не будет просвещением, а будет всегда только затемнением и развращением».

Это воззвание к нравственному чувству людей, к воздержанию, не остановило традиционного празднования. Но престиж его был свергнут, и оно не могло уже более совершаться с тем же беззастенчивым упоением.

Далеко не всем стало стыдно от этого обличения. Бесстыдство некоторых из празднующих дошло до того, что они, вероятно уже в полупьяном виде, посылали со своих пирушек Л. Н—чу телеграммы: «Пьем за ваше здоровье». У молодежи была попытка и более буйной демонстрации против разумного предупреждения великого старца. Вот что писала мне между прочим покойная Мария Львовна, говоря о статье отца: «Папа много получил писем по поводу этого. Одни благодарственные, другие ругательные. 12-го вечером пришел к нам околодочный и рассказал, что тайные сыщики подслушали, что студенты собираются к папа бунтовать, пьяные, среди ночи, и что обер-полицеймейстер поставил в нашем переулке городовых в случае чего. Но ничего этого не случилось и никаких студентов не явилось».

В конце января в Москве происходило событие, только косвенным образом задевшее Л. Н—ча. Это был юбилей его друга-поэта Фета, об устройстве которого с большим старанием хлопотала Софья Андреевна. Еще в декабре 1888 года она писала общему другу семьи Толстых—Н. Н. Страхову, прося его участия в юбилее и подготовке его в петербургских литературных кругах.

Софья Андреевна была очень дружна с обоими супругами Фетов и действовала почти по их просьбе. Старик Фет откровенно выражал свои опасения, как бы юбилей этот не прошел незамеченным. И вот два его московские друга—Софья Андреевна и Н. Я. Грот—взялись за это. Л. Н—ч, конечно, относился к этому совершенно пассивно, как ко всякому торжеству.

Собственно к Фету он всегда чувствовал симпатию. Очень многих смущала эта близость столь далеких по внутренним своим качествам людей. Эта близость смущала и меня. И я раз спросил Л. Н—ча о том, что сблизило его с Фетом? Он сказал мне, что кроме истинного поэтического дарования, к Фету его привлекала искренность его характера. Он никогда не притворялся и не лицемерил, что у него было на душе, то и выходило наружу. Это качество Л. Н—ч всегда особенно ценил во всех людях.

Благодаря стараниям друзей, юбилей Фета действительно был отпразднован так, что торжество превзошло его ожидания и старик был тронут и утешен. Но одна из главных виновниц этого торжества, Софья Андреевна, не могла присутствовать на нем. Помешало этому болезнь младшего сына Ванички. Он едва не умер, и в самый разгар торжества лежал в страшном жару, между жизнью и смертью, и Софья Андреевна и вся семья были неотлучны при больном мальчике, в тоске и страхе ожидая того или другого исхода. Страдал и мучился за исход болезни и Л. Н—ч, как всегда стараясь своей связью с Богом облегчить себе тяжелую минуту и найти разумное об'яснение совершавшейся перед ним тайны.

Ожидая близкого конца маленькой жизни, он записал в своем дневнике: «Обмакнулась душа в тело», этим поэтическим сравнением стараясь об'яснить непостижимость короткой обрывающейся жизни ребенка.

Но на этот раз обмакнувшаяся душа осталась, хотя и ненадолго, в теле, и Ваничка выздоровел, став, конечно, слабым, но еще более любимым и трогательным ребенком.

Сам Л. Н—ч жил в это время напряженной духовной жизнью. Больше всего его занимали отношения с людьми, хотя и близкими ему по плоти, но несогласными с ним. Перед ним, как всегда, стоял вопрос: как с любовью бороться с ними? И он записывает в своем дневнике 25 января:

«...Думал, не только думал, но чувствовал, что могу любить и люблю заблудших, так называемых, злых людей. Думал сначала так: разве можно указать людям их ошибку, грех, вину, не сделав им больно? Есть хлороформ и кокаин для телесной боли, но нет для души. Подумал так, и тотчас же пришло в голову: неправда, есть такой хлороформ душевный. Так же, как и во всем, тело обдумано со всех сторон, а о душе еще и не начато думать. Операцию ноги, руки, делают с хлороформом, а операцию исправления человека делают больно, заглушая исправление болью, вызывая худшую болезнь злобы. А душевный хлороформ есть и давно известен—все тот же, любовь. И мало того: в телесном деле можно сделать пользу операцией без хлороформа, а душа—такое чувствительное существо, что операция, произведенная над ней без хлороформа—любви, всегда только губительна. Пациенты всегда знают это, требуют хлороформа, и знают, что он должен быть. Лекаря же часто сердятся за это требование. «Чего захотел,—говорят они, говорил я сколько раз,—и за то он должен быть благодарен, что я мочу, вырываю, отрезаю его болячку; а он требует, чтобы еще без боли! Будь доволен и тем, что мочу». Но больной не внемлет этим рассуждениям, ему больно, и он кричит, прячет больное место и говорит: «Не вымочишь и не хочу лечиться, хочу хуже болеть, если ты не умеешь лечить без боли»... И он прав. Ведь что такое духовная болезнь? Это заблуждение, отступление от закона, от единого пути, и запутывание на ложных путях в сети соблазна. И вот, люди, желающие помочь, или просто идущие более прямым путем (и по существующей между всеми людьми связи), вытягивающие заблуждающих из их сетей, как же они должны поступать? Очевидно, человека, только что своротившего, можно прямо тянуть с ложного пути на правый,—ему не больно будет. Но человека уже опутанного сетью, нельзя прямо тянуть,—ему сделаешь больно; надо мягко, нежно распутать прежде. Эта остановка, это распутывание и есть хлороформ любви. А то что же выходит? Человек весь по ногам, по рукам, по шее обмотан сетями на ложном пути, и вот чтобы спасти его, я, ухватив за что попало,

тащу его, душа его, и перерезая ему члены, и хуже затягиваю его. Чем дальше он, тем больше запутан, тем больше любви нужно ему. Вот это-то я почти понимал прежде, теперь же совсем понимаю и начинаю чувствовать. Отец! Помоги мне».

С другой стороны, эту любовную борьбу он рекомендовал и друзьям своим.

В половине февраля он писал мне из Москвы:

«Как вы живете, милый друг? Маша уехала к Илье и в четверг приедет. Пишу, чтобы вам веселее было. У нас все хорошо. Помогай вам Бог не переставая радоваться тому, чему никто никогда нигде не может помешать: радости исполнения Его воли, если только исполнять ее в чистоте, смирении и любви».

Подробнее в этом же направлении он пишет Н. Н. Ге от 20 февраля:

«Вести ваши очень хорошие и мне радостные—буду ждать выставки с интересом большим, а вы мне еще напишите, как подвигается ваша теперешняя работа «Последняя беседа». Хотелось бы и мне тоже за зиму сделаеть кое-что по своей выработанной специальности, да не велит, видно, Бог. Хотелось бы, но и без этого живу радостно. Часто себе говорю: жить, не переставая радуясь тому, чему никто никогда нигде помешать не может,—радость исполнения воли Бога в чистоте, смирении и любви. И бывает чаще и чаще, что удается испытывать эту радость. При исполнении того дела, к которому чувствуешь себя непреодолимо и несомненно призванным, как вы теперь в своей теперешней работе—это бывает чаще всего. Только бы в чистоте, т.-е. чистым от всяких похотей—об'ядения, вина, курения, половой похоти и славы людской; в смирении, т.-е. готовым всегда на то, чтобы мой труд ругали и меня срамили, и в любви, т.-е. при этом без злобы, досады, желания удаления от какого бы то ни было человеческого существа. Тогда очень хорошо. И мне часто бывает так, и кажется мне, чего желает мое сердце, что и вам теперь так».

Еще в иной форме Л. Н—ч выражал ту же дорогую ему мысль в письме к Черткову:

«Я был огорчен, раздражен, недоволен тем, что есть и искал виноватых. Я чувствовал, что весь мой склад мыслей и чувств дурной, не божеский, не христианский, но никак не мог выбиться из этого состояния. Но я решил, что так нельзя, что я виноват, что я дурен и просто стал останавливать себя, не давать себе хода в известном направлении. Я замечал, что все лучшие наши подвиги достигаются не бурными порывами, а, напротив, задержкой, утишением себя. Все двери в хорошие святые покои отворяются внутрь. Наружу, напролом, отворяются только двери к дьяволу. И вот, утишив себя, я стал искать—где ошибка? Как надо тут быть по-Божьи—стал молиться, но, признаюсь, привычная молитва не успокоила, не вывела меня на свет. И я стал думать, чего мне нужно? Чего же мне нужно? Жить с Богом, по Его воле, с Ним. Что для этого нужно? Нужно одно: соблюсти данный мне талант, мою душу, данную мне, не только соблюсти, возрастить ее. Как возрастить ее? Я для себя знаю, что мне нужно: в чистоте блюсти свое животное, в смирении—свое человеческое, и в любви—свое божеское. Что нужно для соблюдения чистоты? Лишения, всякого рода лишения; для смирения?—унижения; для любви?—враждебность людей. Где же и как я соблюду свою чистоту без лишений, смирение без унижений и любовь без враждебности?

Эта новая форма выражения сущности христианской жизни: «в чистоте, смирении и любви», видимо, сильно занимала Л. Н—ча; он сводит к ней целый ряд рассуждений из разных областей нравственной жизни. Так, Евг. Ив. Попову он пишет в этом же духе о физическом труде:

«Физический труд, как разрешение вопроса жизни,—разумеется, что это нелепость, разумеется, что не род труда, не самый труд даже, а то, во имя чего трудишься, разрешает вопрос. Вы говорите: во имя сострадания, любви. Но и тут сами себе возражаете и видите возможность такого положения, при котором некого жалеть, любить, не на кого трудиться, или есть кого жалеть и любить и нельзя трудиться. Стало быть, может быть положение, в котором жизнь бессмысленна и есть

бесцельное страдание, от которого разумно избавиться, как и говорили стоики. Все это совершенно справедливо, но только при определении смысла жизни в труде во имя любви. Но это не полное и не Христово определение. Христово определение есть исполнение воли Отца, исполнение этой воли при условиях чистоты, смирения и любви.

«В чем воля? На этот вопрос иногда, когда человек ясно сознает ту роль, которую он играет в содействии установлению Царства Божия на земле, есть прямой несомненный ответ в душе; иногда, когда нет такого ответа, стоит только соблюдать условие чистоты, смирения и любви (т.-е. не предаваться похотям всякого рода, не искать одобрения людей и не иметь враждебного чувства ни к кому), и сама жизнь—сама плотская жизнь в труде или вынужденной праздности будет исполнение воли Бога. И потому-то освобождение от плотской жизни есть поступок, несогласный с учением истины. Трудовая же жизнь есть не пустяки, а есть одно из условий чистоты» [1]).

Внешняя жизнь Л. Н—ча шла в Москве обычным путем; он делил время между своим писанием, семьей и посетителями и корреспондентами.

Марья Львовна писала в январе своему другу М. А. Шмидт:

«У папа, как и прежде, очень много посетителей. Дунаев часто бывает, он кажется в хорошем спокойном духе; Брашнин, старичок, Попов Евгений, Рахманов, две американки: Hapgood, которая «О жизни» перевела, потом еще новые. Пишет Брюневский странные, неспокойные письма. Озлоблен против папа и письменно с ним спорит и силится что-то доказать ему. Несогласен в чем-то с ним, но понять ничего нельзя. Мы боимся, что он с ума сойдет».

Такие корреспонденты были, конечно, особенно тяжелы для Л. Н—ча.

Из других писем видно, что в это время Л. Н—ч продолжал интересоваться народной литературой, и в особенности его занимала мысль о народном журнале.

Еще в декабре 1888 года Л. Н—ч писал мне между прочим из Ясной Поляны:

«Сейчас прочел прекрасного Эпиктета, полученного от Черткова. Здесь же Сытин, купил журнал «Сотрудник» и просил меня помочь и руководить. И я чувствую, что обязан, не могу не помочь, и планы есть довольно определенные, но нет помощников и у самого мало сил работать. Выйдет или нет из этого дело, а главное, что надо стараться помогать, т.-е. из дурного стараться сделать хорошее. Если вы приедете, то поговорим, а если нет, то я вам напишу, что я думаю» [2]).

Более подробно о том же самом сообщает мне Марья Львовна:

«Папа теперь очень заинтересован журналом для народа. Сытин купил журнал Залесского—«Сотрудник», и просил папа помощи в переделке этого журнала. Папа обещал и теперь все об этом думает. Он хочет поместить туда: 1) статьи о вине, 2) о табаке, 3) о соске, 4) жития святых, 5) путешествия, 6) история и т. д. Мне кажется, что если бы это удалось, это было бы очень хорошо. Папа говорит, что у него для этого помощников нет. Две девки и те никуда не годятся. Мы с Таней с ним согласились» [3]).

Затем в январе Марья Львовна пишет мне из Москвы, по поручению Л. Н—ча:

«...Он велел сказать, что журнал подвигается. Александров, на дворе [4]), пишет об «Египте», Никифоров взялся написать о «Куке», и он велит сказать, что я перевела свою вещь, но не могу этого сказать, потому что половины еще не перевела, да теперь и не могу, пока дети не поправятся. Они ищут для этого журнала редактора, не подозрительного для правительства, с вознаграждением 100 рублей в месяц. Хотели пригласить Златовратского, но Сытин испугался его».

К сожалению, этому предприятию не суждено было осуществиться.

---

[1]) Архив Черткова.
[2]) Архив П. И. Бирюкова.
[3]) Там же.
[4]) Жилец Толстых в надворном флигеле в Хамовническом доме.

Из других занятий Л. Н—ча можно отметить чтение сочинений А. П. Чехова и первые наброски статьи об искусстве.

В марте месяце, живя в Петербурге и занимаясь в «Посреднике», я перевел с французского из сборника китайских сказок: «Les Avadanas» буддийскую притчу «О стреле» и послал ее Л. Н—чу. Он отвечал мне на это письмо так:

«...Ваше письмо с притчей и гектограф получил. Заключение притчи—смысл ее я всегда не так думал. Стрелок, пославший стрелу, это Отец, пославший меня в эту жизнь. Мне не допрашиваться надо о том, какая стрела, лук, даже кто стрелок, а лечиться от этой жизни, перестрадывать ее. Это—прелестная притча, но не христианская, а периода, предшествовавшего христианству — буддизма, когда жизнь представлялась только, как страдание. Она и осталась этим страданием (испытанием), но как только она была сознана страданием, она и перестала им быть. И вот буддийский момент сознания, страдания и воображаемого избавления от него—там. Христианское же сознание показывает избавление от него теперь и вечно. Живем по-старому».

И затем прибавляет о своих занятиях по «Посреднику»:

«Я вчера получил очень хорошую статью от Желтова «О пьянстве»—обращение к братьям. Статью Бунге можно ли печатать у Сытина? Я последние два дня усердно поправлял статью Покровского и вписал там о соске, из которой, надеюсь, сделать отдельное» [1]).

В это же время Л. Н—ч писал своему другу Г. А. Русанову о своих литературных занятиях:

«Я живу очень хорошо, искренно говорю, что дальше, то лучше, и улучшение, т.-е. увеличение радости жизни, происходит вроде закона падения тел: обратно пропорционально квадратам расстояния от смерти. Писать многое хочется, но еще не пишу ничего. Нет тех прежних мотивов тщеславия и корысти, подстегивавших и потому (знаю, как вы за меня ревнивы, но не могу не сказать, что думаю) производивших незрелые и слабые произведения. Но и зачем писать? Если бы я был законодатель, я бы сделал закон, чтобы писатель не смел при своей жизни обнародовать свои сочинения. Странное дело: есть книги, которые я всегда вожу с собою и желал бы всегда иметь, это книги неписанные. Пророки, Евангелия, Будда, Конфуций, Менций, Лаодзы, Марк Аврелий, Сократ, Эпиктет, Паскаль. Иногда хочется все-таки писать и, представьте себе, чаще всего именно роман, широкий, свободный, вроде «Анны Карениной», в который без напряжения входило бы все, что кажется мне понятым мною с новой, необычной и полезной людям стороны.

«Слух о повести имеет основание. Я уже года два тому назад написал на-черно повесть, действительно, на тему половой любви, но так небрежно и неудовлетворительно, что и не поправляю, и если бы занялся этой мыслью, то начал бы писать вновь. Никому так не рассказываю и так не пишу о своих литературных работах и мечтах, как теперь вам, потому что знаю, что нет человека, который бы так сердечно относился к этой стороне моей жизни, как вы.

«Карамзин где-то сказал, что дело не в том, чтобы писать «Историю Государства Российского», а в том, чтобы жить добро. И этого нельзя достаточно повторять нам, писателям. И я опытом убедился, как это хорошо не писать. Как ни верти, дело каждого из нас одно: исполнять волю пославшего. Воля же пославшего в том, чтобы мы были совершенны, как Отец наш небесный, и только этим путем, т.-е. своим приближением к совершенству, мы можем воздействовать на других, — наливаться должна лейка до верху, чтобы из нее потекло, — и воздействие будет через нашу жизнь и через слово, устное и письменное, насколько это слово будет частью и последствием жизни, настолько от избытка сердца будут говорить уста» [2]).

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

[2]) В. Ч. Март 1905. Стр. 14. Письма Л. Н—ча к Г. А. Русанову.

Во второй половине марта я проезжал через Москву к себе на родину, в Костромскую губернию.

Л. Н—ч, утомленный суетливой московской жизнью, собирался отдохнуть где-нибудь в уединении. На этот раз он выбрал уютную усадьбу своего друга и товарища по Севастополю, князя Сергея Семеновича Урусова, расположенную близ Троицы, по Ярославской железной дороге. Нам было по дороге и я, конечно, рад был сопутствовать Л. Н—чу в его поездке. Мы выехали 22 марта днем. На вокзал нас доставила, в своей коляске, Софья Алексеевна Философова. Я сидел на козлах, и, несмотря на городской шум, старался слушать, о чем разговаривали Л. Н—ч и Софья Алексеевна. Главной темой был так называемый женский вопрос, и Л. Н—ч убеждал Софью Алексеевну в необходимости подчинения женщины мужчине, против чего протестовала его собеседница. Ехали мы в третьем классе, как всегда в тесноте и духоте. Помню, что против нас сидел грубого вида крестьянин прасол, гуртовщик или мясник, одним словом, торговец скотом. Л. Н—ч обменялся с ним несколькими словами, и по уходе его на одной из станций, передал мне, с ужасом, свое впечатление об этом человеке, как о животной, чувственной натуре. Мы вышли на станции Хотьково и, напяв лошадей, поехали к князю. Конечно, были приняты там с распростертыми об'ятиями. Князь был занят сложными математическими вычислениями, в которых он думал сделать какое-то открытие, и хотел поделиться им со мной, но мне было очень трудно понять его; это был его пунктик. Я переночевал у него и на другой день продолжал свой путь, а Л. Н—ч пробыл там более двух недель.

Уединение его было и там нарушено, впрочем, приятными ему посетителями, двумя американскими квакерами, приехавшими выразить сочувствие его религиозным взглядам.

Американцы зашли сначала в Москве в Хамовнический дом Л. Н—ча и были приняты Софьей Андреевной. Они выразили сожаление, что не застали Л. Н—ча и просили указать его адрес. С. А—на, любезно приняв иностранцев, сказала им, что не стоит ездить, что Л. Н—ч скоро вернется, что если они не торопятся, то найдут в Москве много интересного и могут провести время приятно и полезно. На это они ответили: «We came only to see count Leo Tolstoy» [1]), и отправились по указанному адресу.

Часть времени Л. Н—ч проводил в ежедневных, если позволяла погода, прогулках по соседним деревням, интересуясь, как всегда, народной жизнью. Имение Урусова находится на границе Московской и Владимирской губерний, если можно так выразиться, в фабрично-монастырском районе. Впечатление Л. Н—ча от знакомства с местной жизнью получилось тяжелое; он так описывает эту жизнь в письме к Софье Андреевне:

«Деревенская жизнь вокруг, как и везде в России—плачевная. Мнимая школа у священника с 4-мя мальчиками; а мальчики, более 30-ти, соседних в ½ версте деревень—безграмотны. И не ходят, потому что поп не учит, а заставляет работать. Мужики идут, 11 человек, откуда-то. «Откуда»?—«Гоняли к старшине об оброке, гонят к становому». Разговорился с одной старухой; она рассказала, что все, и из ее дома, девки на фабрике, в 8 верстах, как Урусов говорит, повальный разврат. В церкви сторож без носа. Кабак и трактир, великолепный дом с толстым мужиком. Везде и все одно и то же. Грустная заброшенность людей самим себе без малейшей помощи от сильных, богатых и образованных. Напротив, какая-то безнадежность в этом, как будто предполагается, что все устроено прекрасно, и вмешиваться во все это нельзя, не должен, и оскорбительно для кого-то, и донкихотство. Все устроено: и церковь, и школа, и государственное устройство, и промышленность, и увеселенья, и нам, высшим классам только о себе надо позаботиться. А оглянешься назад, наши классы в еще более плачевном состоянии, коснеем» [2]).

---

[1]) Мы приехали только для того, чтобы видеть Льва Толстого.

[2]) Письма графа Л. Н. Толстого к жене. 1862—1910 г. Стр. 331.

Живя у Урусова, Л. Н—ч начерно набросал комедию «Исхитрилась», которая потом получила название «Плоды просвещения». Там же Л. Н—ч писал свою повесть «Крейцерова соната».

В это же время у Урусова, Л. Н—ч заболел своей обычной болезнью, сопровождавшейся почти всегда мучительными болями желудка. Для Л. Н—ча это был новый повод для борьбы с собой, для выработки духовного самообладания. И он так записывает об этом в дневнике 24 марта:

«Ночью разбудила боль очень сильная, пот капал и рубаха смокла. До 5 часов от 2-х. Пробовал молиться. Мог. Встал поздно. Все поет. Вчера и третьего дня еще не мог вызвать в себе высокое твердое, в Боге, в духе, состояние. Как будто набегло сомнение. Не мог молиться. Не то, чтобы сомнение, т.-е. опровержение истины христианской жизни, а отсутствие веры живой в нее. Именно застилает. Это физическое состояние...».

11 апреля, вернувшись от Урусова, Л. Н—ч писал мне:

«Спасибо за письмо, милый друг, главное—за побуждение письма. Мне было очень радостно получить его. Я пробыл у Урусова больше 2-х недель, и мне было очень хорошо. Я много писал—едва ли хорошо, но много; и теперь, 3-го дня вернувшись в Москву, продолжаю быть в том же пишущем настроении».

В том же духе он пишет и самому С. С. Урусову:

«...У нас хорошо, но так хорошо, духовно хорошо, как бывало у вас, уже не будет. Редко проводил так хорошо время спокойно, серьезно, любовно, как то, что провел у вас, и очень вас благодарю. Радостно тоже, что мы сблизились опять и теснее, по-моему, чем прежде. Надеюсь, что уже до гроба. Многое я понял, чего не понимал из ваших мыслей, главное же, понял то стремление к добру, к Богу, которым вы живете, и это-то больше всего влечет меня к вам» [1]).

В апреле в Москву переехала передвижная выставка картин. Л. Н—ч очень охотно посещал ее. На этот раз он ждал ее, чтобы увидать новую картину Н. Н. Ге. Он слышал уже о ней раньше и писал в марте Н. Н—чу, которого он всегда старался поощрять в работе:

«Я жду всей серии евангельских картин. Слышал о той, которая в Петербурге от Ирян., по словам Маковского, очень хороша, говорил. Вот поняли же и они. А простецы-то и подавно. Да не в том дело, как вы знаете, чтобы NN хвалили, а чтобы чувствовать, что говорим нечто новое и важное, и нужное людям. И когда это чувствуешь и работаешь во имя этого, — как вы, надеюсь, теперь работаете,—то это слишком большое счастье на земле. Даже совестно перед другими» [2]).

Но вот он увидал сам эту картину и так выражает о ней свое впечатление в письме к ее автору:

«Картину вашу ждал и видел. Поразительная иллюстрация того, что есть искусство на нынешней выставке: картина ваша и Репина. У Репина представлено то, что человек во имя Христа останавливает казнь, т.-е. делает одно из самых поразительных и важных дел. У вас представлено (для меня и для одного из 1.000.000 то, что в душе Христа происходит внутренняя работа, а для всех)—то, что Христос с учениками кроме того, что преображался, въезжал в Ерусалим, распинался, воскрес, еще жил, жил, как мы живем, думал, чувствовал, страдал, и ночью, и утром, и днем. У Репина сказано то, что он хотел так узко, тесно, что на словах это бы еще точнее можно сказать. Сказано и больше ничего. Помешал казнить, ну, что ж? Ну, помешал. А потом? Но мало того: так как содержание не художественно, не ново, не дорого автору, то даже и то не сказано. Вся картина без фокуса и все фигуры ползут врозь. У вас же сделано то, что нужно. Я знал эскиз, слышал про картину, но когда увидал, я умилился. Картина делает то, что нужно: раскрывает целый мир той жизни Христа, вне знакомых элементов и показывает его нам таким,

---

[1]) «Вестник Европы». 1915. Янв. Стр. 17. Письма Л. Н—ча к кн. С. С. Урусову.
[2]) Архив Черткова.

каким каждый из нас может его себе представить по своей духовной силе. Единственный упрек, это зачем Иоанн, отыскивая в темноте что-то, стоит так близко от Христа? Удаленная от других фигура Христа мне лучше нравилась. *Настоящая картина*, т.-е. она дает то, что должно давать искусство. И как радостно, что она пробрала всех самых чуждых ее смыслу людей. Я гостил 3 недели у Урусова. Есть такой генерал, мой кум, математик и богослов, но хороший человек. В уединении у него пописал. Здесь опять иссяк. Начал писать статейку об искусстве между прочим, и все не могу кончить. Но не то, не то надо писать. Кое-что есть такое, что я вижу, а никто, кроме меня, не видит. Так мне кажется по крайней мере. У вас тоже такое есть. И вот сделать так, чтобы и другие это видели—это надо прежде смерти. Тому, чтобы жить честно и чисто, т.-е. не на чужой шее, это не только не помешает, но одно поощряет другое» [1]).

Живопись, как искусство, очень интересовала Л. Н—ча и он часто посещал выставки и галлереи. Но суждения его о живописи были всегда строги и самобытны. В своем дневнике, 14 марта, он записывает: «Пошел к Третьякову. Хорошая картина Ярошенки «Голуби». Хорошая, но и она, и особенно все эти 1000 рам и полотен с такой важностью развешенные. Зачем это? Стоит искреннему человеку пройти по залам, чтобы наверно сказать, что тут какая-то грубая ошибка, и что это совсем не то, что нужно».

При этой строгости к произведениям искусства особенно ценна его любовь к картинам Н. Н. Ге.

В этом письме Л. Н—ча к Ге мы уже замечаем, что он снова тяготится Москвой, в которой «иссякал» его творческий источник.

И вот 2-го мая он уходит пешком в Ясную Поляну в сопровождении Евгения Ивановича Попова, и уже до осени не возвращается в Москву.

Внутренняя работа Л. Н—ча шла в это время особенно напряженно. А жизнь вокруг оставалась все та же, и, как Будде милосердному, Л. Н—чу стало жалко людей, блуждающих во мраке, и у него явилась непреодолимая потребность поделиться с людьми познанной истиной. В записной книжке он записывает 25 мая 1889 года:

(«Ночью слышал голос, требующий обличения заблуждений мира.) Нынешнею ночью голос говорил мне, что настало время обличить зло мира. И в самом деле, нечего медлить и откладывать. Нечего бояться, нечего обдумывать, как и что сказать. Жизнь не дожидается. Жизнь моя уже на исходе и всякую минуту может оборваться. А если могу чем послужить людям, если могу чем загладить все мои грехи, всю мою праздную похотливую жизнь, то только тем, чтобы сказать людям-братьям то, что мне дано понять яснее других людей, то, что вот уже 10 лет мучает меня и раздирает мне сердце.

«Не мне одному, но всем людям и не только (христианам, но магометанам, буддистам, конфуцианцам, браманистам), русским, французам, англичанам, немцам, американцам, но и туркам, татарам, японцам, китайцам, индейцам ясно и понятно, что жизнь людская идет не так, как она должна итти, что люди мучают себя и других и только тем, что живут не так, как должно, как им хочется и как указывает им мудрость людская, учителя человечества: индийские, китайские, греческие, еврейские и яснее всех Христос, которого более 400 миллионов в Европе и Америке христиан признают Богом. Всякий человек знает, что для его блага, для блага всех людей нужно любить ближнего не меньше себя, и если не можешь делать ему того, что себе хочешь—не делать ему, чего себе не хочешь и учения веры всех народов, и разум и совесть говорят то же всякому человеку.

. . . . .

[1]) Здесь идет речь о картине Ге «Выход с тайной вечери», известной русской публике более по эскизу, имеющемуся в галлерее Третьякова. Самая же картина была с выставки приобретена частным лицом фон-Дервизом и находилась в его доме. Было бы очень желательно сделать ее достоянием общественным.

И обличая ложную жизнь людей, Л. Н. в заключение взывает к ним:

«Одумайтесь, одумайтесь, одумайтесь!—кричал еще Иоанн Креститель, провозглашал Христос, провозглашал голос Бога, голос совести и разума. Прежде всего остановись каждый в своей работе, и в своей забаве, остановись и подумай. Остановись и подумай о том, что ты делаешь. Делаешь ли то, что должно, делаешь ли лучшее, или так даром ни за что прожигаешь ту жизнь, которая среди двух вечностей смерти дана тебе. Знаю я, что со всех сторон на тебя налегают и не дают тебе минуты покоя, и что тебе, как лошади на колесе кажется, что тебе никак нельзя остановиться, хотя и колесо, движущееся под тобой, разогнано самим тобою, знаю я, что сотни голосов закричат на тебя, как только ты попытаешься остановиться, чтобы одуматься. «Некогда думать и рассуждать, надо делать», закричит один голос. «Не следует рассуждать о себе и о своих желаниях, когда дело, которому ты служишь, есть дело общее, дело семьи, дело торговли, искусства, науки, государства». «Ты должен служить общему благу», закричит другой голос. «Все это уже пробовано обдумывать и никто ничего не обдумал, живи, вот и все», закричит третий голос. «Думай или не думай, все будет одно: поживешь недолго и умрешь, и потому живи в свое удовольствие». «Не думай». «Если станешь думать, увидишь, что эта жизнь хуже, чем не жизнь и убьешь себя». «Убей себя или живи, как попало, но не думай», закричит четвертый голос. Как в сказке рассказывают, что когда уже в виду искателя было то, что он искал, 1000 страшных и соблазнительных голосов закричало вокруг него, чтобы помешать ему взять то, что давала ему охота. Так и голоса слуг мира сбивают искателя истины, когда она уже в виду его. Не слушай этих голосов. И в ответ на все, что они могут сказать тебе, скажи себе одно:

«Позади своей жизни я вижу бесконечность времени, в котором меня не было. Впереди меня такая же бесконечная тьма, в которую вот-вот придет смерть и погрузит меня. Теперь я в жизни и могу,—знаю, что могу,—могу закрыть глаза и не видя ничего, попасть в самую злую и мучительную жизнь, и могу не только открыть глаза, смотреть, могу видеть, оглядывать все вокруг себя и избрать самую лучшую и радостную жизнь. И потому, что бы мне ни говорили голоса и как бы ни тянула меня уже начатая мною, и как бы ни поощряла меня текущая вокруг меня жизнь, я остановлюсь, оглянусь вокруг себя и одумаюсь. И стоит человеку сказать себе это, как он увидит, что не он один одумывается, что и прежде его и при нем много и много людей так же как он одумывались и избирали тот лучший путь жизни, который один дает благо и ведет к нему».

Среди всей этой борьбы внешней и внутренней, Л. Н—ч продолжал свойственную ему работу писания. Как мы уже упоминали, Л. Н—ч в это время был занят тремя вещами: статьей об искусстве, комедией «Исхитрилась» и «Крейцеровой сонатой». В письмах ко мне он часто упоминает об этих работах:

«Я все писал об искусстве. Все разрастается, и я вижу, что опять не удастся напечатать в «Р. Б.». Вопрос-то слишком важный. Не одно искусство, а и наука: вообще вся духовная деятельность и духовное богатство человечества—что оно, откуда оно и какое настоящее истинное богатство духовное. Я нынче бросил на время и стал писать «Крейцерову сонату». Это пошло легко».

Поводом к написанию «Крейцеровой сонаты» послужило следующее обстоятельство.

Как-то весной, в Москве, в Хамовническом доме у Л. Н—ча собралось большое общество и светских, и литературно-аристократических гостей. Из выдающихся людей были Репин и Андреев-Бурлак. На этом вечере присутствовал также скрипач Лассото, учитель музыки детей Л. Н—ча. Знаток и любитель музыки, Серг. Льв. Толстой сыграл вместе с скрипачем Лассото «Крейцерову сонату». Л. Н. давно знал и любил эту вещь; ее игрывали еще во время его молодости на музы-

кальных вечерах в Москве. В этот вечер «Крейцерова соната» произвела на Л. Н. особенно сильное впечатление. И он перевел это впечатление с музыкального на литературный язык и, обратившись к Репину и Андрееву-Бурлаку, сказал: «Давайте изобразим «Крейцерову сонату» доступными нам способами искусства. Я напишу рассказ, Андреев-Бурлак прочтет его перед публикой, а вы напишите на эту тему картину, которая будет стоять на сцене, пока Андреев-Бурлак будет читать мою повесть».

Репина Л. Н—ч знал уже давно, а Андреев-Бурлак в этот приезд свой поразил Л. Н—ча своей декламацией, и он хотел воспользоваться силой его таланта, чтобы произвести своим словом, через его посредство, наибольшее впечатление на публику.

Предложение это было принято, но далеко не выполнено в том виде, как его предлагал Л. Н—ч. Сам же Л. Н—ч действительно принялся за писание «Крейцеровой сонаты».

Мне пришлось присутствовать на чтении Л. Н—чем начала ее Андрееву-Бурлаку. Он, конечно, с радостью готов был отдать свои силы на исполнение возложенной на него Л. Н—чем обязанности, был в восторге от начала, и тут же стал пробовать передавать тот нервный звук, вроде рыдания, который часто произносил Познышев во время своего рассказа.

Этому назначению повесть и обязана своей формой диалога, превращающегося в длинный монолог с незначительными репликами собеседника.

Андреев-Бурлак вскоре умер, не дождавшись окончания повести, а Л. Н—ч увлекся ее содержанием и она приняла такие размеры, которыми она уже уклонилась от своего прежнего назначения.

Повесть эта была эпохой не только в русской, но и во всемирной литературе.

Мы еще вернемся к ней, когда будем говорить о появлении ее в печати в окончательной редакции.

Когда повесть принимала более или менее законченный вид, Л. Н—ч читал ее в обществе своих друзей и знакомых. Первое такое чтение было 31 августа 1889 года в Ясной Поляне, в присутствии, гостивших тогда в Ясной, кн. С. С. Урусова и семьи Стаховича.

В письме Е. И. Попову Л. Н—ч так пишет о своем образе жизни этого года:

«...Я веду довольно правильную жизнь; утром пишу, все переделываю, дополняю, изменяю то, что при вас писал; я и прежде говорил и чувствую справедливость, что надо говорить не: «скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается», а наоборот: «скоро дело делается, а не скоро сказка сказывается». Я решил давно, что так как мне остается жить недолго, а кажется, что еще нужно кое-что сказать, чего, по всем вероятиям, я не успею сказать наилучшим образом, то надо оставить авторское кокетство, а писать, как напишется, но вот никак не могу. Так по утрам пишу, а после обеда работаю в лесу. За сапожную работу, которая даже очень нужна, никак не могу взяться. Еще занятие—это переписка, чтение и общение с людьми, которые приходят и приезжают»...

Переписка, т.-е. письменное общение с людьми в это время, действительно, составляла серьезное дело для Л. Н—ча и отнимала у него немало времени. Нет возможности в этом биографическом труде привести все то количество писем, которые писал и получал Л. Н—ч.

«Переписка, чтение и общение с людьми, которые приходят и приезжают», говорит Л. Н—ч, указывая этим на то, что в конце 80-х годов он действительно представлял духовный мировой центр. Посетивший в это лето Л. Н—ча его друг-философ Н. Н. Страхов испытал на себе тяготение к этому центру и прекрасно передает это впечатление в письме ко Л. Н—чу:

«На этот раз, после долгого промежутка, я особенно ясно почувствовал, что Ясная Поляна есть тоже *центр духовной деятельности*, но какой удивительный!

Другие центры, о которых пишется в тетрадке Стэда [1]), иногда ничего в себе не содержат, суть пустые точки, важные только потому, что к ним направлены мысли и стремления живых людей, так что, зная эти точки, можно видеть направление этих стремлений. В Ясной же Поляне сам центр живой, лучистый,—вы сами с своей неустающей мыслью и сердечной работой. Видеть это—значит видеть зрелище удивительной красоты и значения. Простите меня, что по своей привычке я вас об'ективирую, стараюсь стать от вас подальше и посмотреть на вашу деятельность со стороны. Часто мне больно думать, что я, как и другие, не умею видеть того великого, что совершается вокруг меня, и только потому твержу иногда: все стало скверно, везде пошлость, упадок ума и вкуса. Если, однако, сравнить знаменитую эпоху *сороковых годов*, остатки которой мы видим в Григоровиче [2]), Фете, Полонском [3]), с нынешним временем, то как не сказать, что с тех пор мы много выросли и поумнели. Нигилизм и анархизм—ведь это очень серьезные явления в сравнении с тою болтовнею, которая составляет верх человеческого достоинства для Григоровичей и Фетов. И вся эта борьба, все мучительное броженье умов разрешилось и завершается вашею проповедью, призывом к духовному и телесному исправлению, к истинной *жизни*, к тому истинному *благу*, без которого ничтожны все другие блага и которое никогда не может изменить нам. Пронеслось от вас какое-то веянье, раздался звук, на который невольно откликаются сердца, которого заглушить, подавить ничем невозможно. И я верю, что дело, вами начатое, уже никогда не умрет, что люди страдающие, ищущие, колеблющиеся постоянно будут приходить к выходу, который вы нашли и указали. Дай Бог вам здоровья, дай Бог сил и всего, что нужно для вашего *дела!*» [4]).

И в следующем письме он снова и еще сильнее говорит в том же духе:

«К вам со всех сторон обращено столько любви, что не мудрено, если для меня у вас недостает внимания. Между тем мне кажется, я понимаю лучшее, что в вас есть, ваше несравненно-высокое нравственное стремление, вашу неустанную борьбу, ваше страдание. Несколько таких впечатлений из последнего свидания трогают и волнуют меня. То я вижу вас в лесу с топором, когда минутами на вас находит совершенный мир, полная, светлая душевная тишина, то слышу ваш разговор, когда вы назвали себя юродивым, с волненьем и страданием. Боже мой! — иногда я думаю: неужели никто этого не поймет? Не удастся ли хоть мне написать об этом, хоть как-нибудь, хоть моим искусственным и отвлеченным языком? А кругом ведь то и дело слышатся о вас глупые и пустые речи. Вы знаете, что у меня нет никакого простодушия, никакой способности создавать ореолы и ослепляться ими. Все, что можно сказать против вас, я знаю и хорошо вижу. Но все это ничтожно в сравнении с тем, что говорит за вас и чему я сочувствую всею душой, насколько только могу ценить и понимать нравственную красоту. О, дай вам Бог здоровья и сил для вашего прекраснейшего и труднейшего подвига!» [5]).

Можно много найти причин, привлекавших ко Л. Н—чу всю эту массу людей. Но мы не ошибемся, если скажем, что одною из главных притягательных сил, которыми обладал Л. Н—ч, это была его духовная свобода. Много говорили и будут говорить о «толстовской вере». Но таковой не было и не будет, потому что вера Л. Н—ча была сама жизнь, движенье, стремленье к правде. И он старательно отклонял от себя всякую попытку катехизации своей веры. Прекрасно выражена эта борьба Л. Н—ча против «изложения веры» в его письме к Черткову, писанному в начале этого года:

---

[1]) Книга известного английского журналиста Вильяма Стэда (Stead, главный редактор Pall Mall Gazette»)—«The truth about Russia» (1888).

[2]) Известный писатель Дмитрий Васильевич Григорович.

[3]) Поэт Яков Петрович.

[4]) Толстовский музей. Том II. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894. СПБ. 1914. Стр. 383—384.

[5]) Там же, стр. 386.

«То, что вы пишете о том, как бы хорошо было так ясно, коротко выразить все то, во что мы верим, чтобы всякому стало ясно, что так, а не иначе и надо жить, все это совершенно справедливо и не только желательно, но это одно только и нужно. Все это так, да дело в том, что желать этого, стремиться к этому, стараться осуществить это есть самое хорошее и законное дело, но думать, что это легко осуществимо, и что от вас, единичного человека, зависит осуществить или не осуществить это,—в этом заблуждение. Нам так этого хочется, что кажется легким. Впрочем, заблуждение старое: на собор в Никее собираются люди и говорят: давайте, решим и запишем, как надо веровать и жить; или в французской палате лет 10 назад толковали о том, что надо составить догматы веры и нравственности, избрать комиссию, поручить ей выработать, и вот будут догматы веры, которые будут служить руководством и поддержкою людям. Люди никак не могут поверить, привыкнуть к мысли, что не административные соображения производят разумение людей, а что от разумения людей происходит и все остальное—и административные и всякие явления, и что распорядиться распространить и изложить можно, но произвести разумение и выражение его нельзя: оно само родится, когда знает и когда хочет, и в той форме и в том человеке, в каком хочет. Вы напишите в письме, Емельян скажет в разговоре, я, Хилков, Поша, даже люди совсем чуждые нам, почувствуют, подумают, скажут, сделают, и из этого всего слагается разумение и является выражение его, самородное. Торопить это выражение, искать его может повредить. Вы говорите—написать. Да, это была бы безумная гордость, которая непременно была бы наказана бессилием, если бы я подумал о том, чтобы написать это. Вижу только одно, что мы все в одно и то же время начинаем чувствовать потребность одного и того же, в одном направлении думаем, как будто заносим ногу на другую следующую ступеньку. Если это дело Божие, то Он поможет нам» [1]).

В октябре, гостя у Чертковых в Воронежской губернии, я писал Л. Н—чу, выражая ему некоторые мысли, тревожившие тогда мой ум. Сущность этих мыслей заключалась в том, что я приводил цепь рассуждений о безграничности совершенствования, расходящимися концентрическими кругами и, мысленно захватывающими всю вселенную, т.-е. вечность.

Л. Н—ч отвечал мне на это таким письмом:

«Милый друг Павел Иванович, представьте себе, что я вчера в своем дневнике писал почти то же, что вы пишете, и потому не нужно вам говорить, что это мне близко сердцу. Я пишу с другой стороны, как должен писать старик, а вы, как молодой человек. Попрошу Машу списать вам это, а сам хоть еще что-нибудь напишу. Во-первых, о книге Ballou. Я очень рад, что она на вас произвела такое же впечатление, как на меня—восторга, желание общения с ним, выражение ему своей благодарности и любви, что я и исполнил. И вы, пожалуйста, не оставляйте своего намерения и напишите ему. Еще чувство, которое я испытал при этом чтении—это было чувство недоумения: каким образом эти мысли, самые важные для людей, мысли, которые восторжествуют неизбежно и сделаются общими, каким образом такие мысли так, сильно выраженные, напечатанные, изданные, так замолчены, что ни Гаррисон-сын, которого я спрашивал, ни все те американцы, которых я видел (человек 10 и все люди религиозные), даже не слышали ничего про это и не знают имени Ballou? Совершенно то же, что в первые времена христианства, 50 лет после и не слыхали. Только тогда была одна ступень, а теперь другая. И кажется мне, что наше участие в деле будет состоять в том, чтобы уже сделать невозможным замалчивание. Помогай Бог.

«Не знаю, пошлю ли вам выписку из дневника, хотя М. списала ее. Не пошлю, потому что это слишком задушевное, не сложившееся душевное движение. Ход его нарушится. Но в связи с тем, что вы пишете, скажу вам другое, что прежде приходило мне в голову: понятие о бесконечности пространства и времени

---

[1]) Архив Черткова.

сами в себе содержат противоречие и не укладываются в человеческом уме, а они есть, без них нельзя думать. Но ведь это противоречие происходит только оттого, что мы думаем о том, о чем нам вовсе не нужно думать, для забавы думаем. Нам о пространстве и времени думать совсем не нужно. Нам нужно думать только о своей жизни; и в жизни думать только о том, как быть совершенным, как Отец. Что, если бы мы представили себе не то, что мы счастливы, но что мы совершенны, что мы совершенно довольны собой: ведь это было бы нечто ужасное. Ведь одно это предположение уничтожает всякое понятие о добре. Стало быть, как бы мы ни шли вперед, совершенствуясь, необходимо, чтобы впереди нас открывалось бы бесконечное поле совершенства. Без бесконечности совершенствования не было бы жизни. Стало быть, бесконечность, когда мы думаем о том, о чем следует думать, не только не противоречива, но необходима. Без нее нет понятия жизни. Живем же мы и мыслим в пространстве и времени, а потому нам и необходимо мыслить пространство и время бесконечными» [1]).

Не знаю, сам ли Л. Н—ч изменил свое намерение, или добрая Марья Львовна сжалилась надо мной, только эта выписка из дневника, которую Л. Н—ч не хотел было посылать, оказалась приложенною к письму и переписанная рукою Марьи Львовны. Вот эта замечательная запись (из дневника 31 октября 1889 г.):

«По этому самому, по тому, что чувствую уменьшение интереса, не говорю уже—к своей личности, к своим радостям (это, слава Богу, отпето и похоронено), а к благу людей: к благу народа, чтобы образовывались, не пили, не бедствовали, охлаждение даже к благу всеобщему, к установлению Царства Божьего на земле, по случаю этого уменьшения интереса, охлаждения, думал: человек переживает 3 фазиса, и я переживаю из них теперь третий. Первый фазис человек живет только для своих страстей: еда, питье, веселье, охота, женщины, тщеславие, горность—и жизнь полна. Так у меня было лет до 34-х, до седых волос (у многих это гораздо раньше), потом начался интерес блага людей, всех людей, человечества (началось это резко с деятельности школ, хотя стремление это проявлялось кое-где, вплетаясь в жизнь личную, и прежде). Интерес этот затих было в первое время семейной жизни, но потом опять возник с новой и страшной силой, при сознании тщеты личной жизни. Все религиозное сознание мое сосредоточивалось в стремлении к благу людей, в деятельности для осуществления Царства Божьего. И стремление это было так же сильно, так же страстно, так же наполняло всю жизнь, как и стремление к личному благу. Теперь же я чувствую ослабление этого стремления: оно не наполняет мою жизнь, оно не влечет меня непосредственно; я должен рассудить, что это деятельность хорошая, деятельность помощи людям материальной, борьбы с пьянством, с суевериями правительства, церкви. Во мне, я чувствую, вырастает новая основа жизни, не вырастает, а выделяется, высвобаживается из своих покровов, новая основа, которая включает в себя стремление к благу людей так же, как стремление к благу людей включило в себя стремление к благу личному. Эта основа есть служение Богу, исполнение Его воли по отношению к той Его сущности, которая поручена. Не самосовершенствование—нет. Это было прежде, и в самосовершенствовании много любви к личности. Это другое. Это стремление чистоты божеской (и не чистоты телесной; нечистота телесная противна, но не противоположна этому, противоположна этой чистоте главное—ложь перед людьми и перед собою), соблюдение в чистоте полученного от Бога дара и вступление в жизнь, где нет осквернения Его, в жизнь другую: стремление к лучшей, высшей жизни и соблюдение себя в готовности к ней. Стремление это начинает все больше и больше охватывать меня, и я вижу, как оно охватит меня всего и заменит прежние стремления, сделав жизнь столь же полною. Я неясно выразился, но ясно чувствую. Главное дело в том, что когда во мне исчез интерес личной жизни и не вырос еще интерес религиозный, я ужаснулся, чувствуя, что мне нечем жить, но потом, когда воз-

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

никло религиозное чувство стремления ко благу человечества, я в этом стремлении нашел полное удовлетворение и стремление к благу личности; точно так же теперь, когда исчезает во мне прежнее страстное стремление к благу человечества, мне немножко жутко, как будто пусто, но стремление к той жизни и приготовление себя к ней уже заменяет понемногу прежнее, вылупляется из прежнего и точно так же, как и с стремлением к личному благу, удовлетворяет вполне и лучше стремление к благу общему. Готовясь только к той жизни, я вернее достигаю служения благу человечества, чем когда я ставил себе целью это благо. Точно так же, как стремясь к благу общему, я достигал своего личного блага вернее, чем когда я ставил себе целью личное благо. Стремясь, как теперь, к Богу, к чистоте божеской сущности во мне, к той жизни, для которой она очищается здесь, я попутно достигаю вернее, точнее блага общего и своего личного блага, как-то неторопливо, несомненно и радостно. И помоги мне Бог».

В сентябре Л. Н—ча в Ясной Поляне посетила американка Стокгейм в сопровождении шведки-спиритки Бимини.

Стокгейм была автор замечательной книги «Токология, или наука о рождении детей». Л. Н—ч был в восторге от этой книги, так как научные, физиологические и гигиенические положения, приводимые в этой книге, были основаны на глубоком религиозно-нравственном чувстве и потому женщинам внушались понятия целомудрия, воздержания, вегетарианства и т. д. Книга эта была переведена на русский язык, и Л. Н—ч написал к ней предисловие, в котором между прочим говорит, что книга Стокгейм «одна из тех редких книг, которые трактуют не о том, о чем все говорят и что никому не нужно, а о том, о чем никто не говорит, а что всем важно и нужно».

В октябре «Крейцерова соната» подвинулась настолько, что Л. Н—ч разрешил ее прочесть в Петербурге. Первый раз ее читал А. Ф. Кони у Кузьминских при большом и избранном обществе; и тогда эта повесть произвела на всех, по свидетельству многих лиц, потрясающее впечатление.

Н. Н. Страхов, присутствовавший на этом чтении, в письме своем ко Л. Н—чу так передает свое впечатление от выслушанной им повести:

«Вашу повесть, бесценный Лев Николаевич, я слышал 28 октября у Кузьминских, в большом обществе; читал Кони [1]), очень хорошо. Простите, что до сих пор я не написал вам; мешали дела, да я надеялся, что хорошенько обдумаю и ждал, что мне дадут рукопись и я еще лучше пойму, когда перечту. Но время идет и хочу написать, что понял по первому впечатлению.

«*Сильнее* этого вы ничего не писали, да и *мрачнее* тоже ничего. Много есть замечаний и описаний изумительных по глубине, до которой они проникают в душу, и страшных по своей правде. А сказаны и схвачены так просто и ясно! Герой ваш—несравненный пример эгоиста, и эгоизм его является во всей своей отвратительности. Как хорошо, что он убивает жену не за вину, а просто по ревности, для которой у него в душе нет ничего сдерживающего, и которая совершенно права в отношении к его жене. Какой ужас! Какие мучения! Он убил, но они все-таки продолжают ненавидеть друг друга—вот где верх несчастия и страдания!

«Что и говорить—правда дышет в каждой строке, в каждой сцене. Несмотря на то, я заметил, что впечатление у слушающих было смутное, да и мне самому что-то мешало вполне вникать в отдельные мысли и описания. Вы взяли форму рассказа от лица самого героя, форму, которая вас очень связывала, а у слушателей являлись вопросы: кто собеседник? Почему рассказчик долго-долго не приступает к делу, а ведет рассуждения об общих вопросах? Притом, есть, как мне показа-

---

[1]) Вспоминая об этом чтении, Анатолий Федорович Кони пишет, что он «останавливался от внутреннего волнения, сообщавшегося и слушателям этого удивительного произведения» («На жизненном пути», т. II. СПБ. 1912, стр. 8).

лось, одна главная неясность: в каком духе он рассказывает? По некоторым местам можно подумать, что эгоизм в нем сломлен, и он уже видит свои действия в истинном их значении; по другим, кажется, что он готов опять и без конца убивать свою жену, и нет в нем и тени раскаяния.

«Кроме того развязка происходит слишком быстро, т.-е. мало рассказано до той минуты, когда появляется музыкант. Поэтому кажется, что герой—не вполне нормальный человек, непомерно ревнив и первен. Между тем он человек обыкновенный и постепенно пришел в такое состояние. Долгие рассуждения, которые предшествуют рассказу, глубокие и важные, теряют силу от ожидания, в котором находится слушатель. Их следовало бы положить в сцены, которые, однако, не мог продолжительно рассказывать убийца, занятый больше всего последнею сценою—убийством.

Но какое богатство содержания! Например, рассуждение о докторах, о музыке, о детях—да всех не перечислишь! А мысль о том, что люди перестанут, наконец, совершать грех, ведущий к деторождению! Она меня очень восхитила. Вообще, хотя многое взято односторонне, но удивительно верно, и односторонность понятна у человека, который приведен к убийству жизнью без понятий о долге, жизнью самоугождения, всеми теперь принятою и проповедываемою.

«Вероятно, я с каждым новым чтением буду все больше влюбляться в вашу повесть—так ведь всегда со мною» [1]).

Л. Н—ч с кротостью отвечал ему:

«Спасибо, Николай Николаевич [2]) за письмо. Я очень дорожил вашим мнением [3]) и получил суждение гораздо более снисходительное, чем ожидал. В художественном отношении я знаю, что это писание ниже всякой критики: оно произошло двумя приемами, и оба приема несогласные между собой и от этого-то безобразие, которое вы слышали. Но все-таки оставляю, как есть и не жалею, не от лени, но не могу поправить: не жалею же оттого, что знаю верно, что то, что там написано, не то, что небесполезно, а, наверное, очень полезно людям и ново отчасти. Если художественное писать, в чем не зарекаюсь, то надо сначала и сразу» [4]).

В эту же осень старшие дочь и сын Л. Н—ча, Татьяна Львовна и Сергей Львович, ездили в Париж на тогдашнюю всемирную выставку. Они возвратились оттуда полные жизненной энергии, которой надо было разрядиться в чем-нибудь необыкновенном. Татьяна Львовна затеяла в Ясной на Рождестве домашний спектакль и выпросила у Л. Н—ча для этого спектакля написанную им комедию. Конечно, выбор был очень удачен и успех был заранее обеспечен.

Л. Н—ч был увлечен этим делом почти помимо своей воли. Вот как он сообщал об этом своим друзьям. Он писал Л. Ф. Анненковой:

«Рассказ мой «Крейцерова соната» я решил напечатать в сборнике, издающемся в Москве, в память Юрьева и в пользу его семейства, но из цензуры есть распоряжение, как мне писал Гайдебуров, чтобы его не пропускать. Я кое-что пишу, и между прочим совершенно неожиданно занялся комедией, которая у меня давно была набросана. Таня, дочь, затеяла спектакль и попросила у меня, я согласился, и вот поправил ее кое-как, и вот они играют у нас на праздниках».

А вот как пишет мне Л. Н—ч уже после спектакля:

«У нас все это время страшная суета. Хотели играть спектакль и взяли мою пьесу, которую я и стал поправлять и немножко исправил. И играли ее вчера здесь. Суета, народа, расхода—ужас. Делали с спокойной совестью то самое, что осмеивается комедией. Маша играла кухарку необыкновенно хорошо, но это, кажется,

---

[1]) Толстовский музей. Том II. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894. СПБ. 1914. Стр. 394.

[2]) Я так запутался в разных эпитетах при обращении, что решил отныне не употреблять никаких. (Примечание Толстого.)

[3]) О «Крейцеровой сонате».

[4]) Там же, стр. 397.

11. Хамовнический дом Льва Николаевича. Зимою.

не мешало ей смотреть ясно и прямо. Заливает нас с ней иногда волнами суеты, но мы стараемся не потонуть, держась друг за друга. На-днях раз'езжаются Кузьминские, Сиверцовы сыновья, Шепшин с женою, и она берется за школу, которая теперь готова. Я очень расположен писать и пишу художественное. Когда напишется, сообщу вам».

Здесь уже чувствуется нотка раскаяния за свое увлечение.

И у него действительно увлечение нередко сменялось сознанием отступления от избранного пути. В дневнике того времени есть запись:

«Мне стыдно, стыдно за эту затрату среди нищеты».

Но во время репетиции он искренно увлекался и хохотал до упаду.

Значительная часть комедии была написана уже во время представления, сообразно с успешным выполнением ролей.

В воспоминаниях П. А. Сергеенко есть интересный рассказ об одном из действующих лиц комедии, которая сначала называлась «Исхитрилась», а потом стала называться «Плоды просвещения».

Вот как рассказывает Сергеенко:

«Но по мере того, как шли репетиции, в которых Лев Николаевич принимал участие, он исправлял и дополнял пьесу, соображаясь с составом действующих лиц. Во время спектакля некоторые исполнители доставили ему такое большое удовольствие своей игрой, что некоторые сцены навсегда запечатлелись в его памяти. Особенно восхитил его судебный следователь Л., исполнявший роль одного из мужиков.

«Приехал он,—рассказывает Л. Н—ч,—в Ясную Поляну и целый день ни с кем почти не разговаривал, все ходил, понуря голову. Но на сцене превзошел всех и создал из своей маленькой роли столь прекрасное, чего я не мог даже предвидеть, создавая эту роль».

Режиссером спектакля был друг Л. Н—ча, Н. В. Давыдов, тогдашний председатель тульского окружного суда.

Успех спектакля превзошел все ожидания. Л. Н—ч еще раз дал понять публике, что ему доступны все формы литературно-художественного творчества, и комедия эта стала любимым спектаклем на всех русских сценах.

В своих воспоминаниях о Л. Н—че Н. В. Давыдов рассказывает о спиритическом сеансе, происходившем в Москве в квартире Н. А. Львова, на котором он присутствовал вместе со Л. Н—чем и который послужил первой канвой комедии. Известный спирит-зоолог Н. П. Вагнер обиделся, приняв на свой счет юмористическое изображение профессора, и Л. Н—чу пришлось извиняться и доказывать, что он не имел в виду никаких определенных личностей.

Все эти жизненные волнения не мешали Л. Н—чу продолжать свою постоянную внутреннюю работу приближения к Богу, и в минуты проникновения в тайны бытия он записывает в своем дневнике:

«Верю, что во мне сила Твоя, данная для исполнения дела Твоего. Дело же Твое в том, чтобы преувеличивать силу Твою в себе и во всем мире».

И как бы испугавшись того, что это сознание может возвеличить его самого, он тут же смущенно прибавляет: «Не то, совсем не то!».

И этим искренним сознанием становится на еще большую высоту в глазах людей, искренно любящих его.

ГЛАВА 10-я.

Земледельческие общины.

В конце 80-х годов получили большое развитие так называемые толстовские колонии или общины интеллигентных земледельцев. Несомненно, что Л. Н—ч влиял на их образование, и потому весьма интересно выяснение его отношения к ним.

В середине 80-х годов в революционную среду русской интеллигенции начинают проникать идеи марксизма. Почва для них была подготовлена: разгром партии «Народная Воля». Казни, аресты и бегство ее руководителей. Жестокая казнь русского императора Александра II и последующие за ней повторения террористических покушений оттолкнули от революционного движения ту часть умеренно-прогрессивной интеллигенции, которая поддерживала ее тайно как материальными средствами, так и разного рода проявлениями сочувствия.

В это время и явилось новое революционное учение, отодвигавшее на далекое неопределенное расстояние вопрос о насилии над государственной властью, дающее строго научные обоснования своего учения и привлекавшее прогрессивную, большею частью молодую русскую интеллигенцию принципами коллективизма, сочувствием рабочему классу и освобождением от всякого рода так называемых суеверий, пережитков, сантиментальностей, мистицизма и прочего «хлама», т.-е. освобождавшего своих адептов от религиозно-нравственных обязательств, всегда шатких в нашей молодежи, лишенной свободного морального образования и воспитания. Это учение, окрещенное именем его основателя, распространялось с большой быстротой под именем марксизма, научного социализма и политического социал-демократического идеализма и реализма. Новая революционная интеллигенция превратилась из лохматых и косматых нигилистов в корректных адептов нового учения, не требовавшего от них непосредственного личного изменения жизни, а предлагавшего им и звавшего их на коллективное подчинение вечным неумолимым законам исторического и экономического материализма, концентрации капитала, обобществления орудий труда и дисциплинированной, партийной, политической борьбы. Все шаткое, колеблющее, уставшее в бесплодных исканиях «нового» решения вопросов жизни, бросилось навстречу этому учению. Но среди русского общества и среди учащейся молодежи нашлась группа людей, неудовлетворившихся таким решением. В этих людях жила потребность личной внутренней моральной работы, потребность общения с тем таинственным началом или первопричиной мира, представление о которой не может отогнать от человеческого интеллекта никакая едкая кислота самого строгого, диалектического анализа. В этих людях жила потребность абсолютного, т.-е. религиозного критерия нравственности. И этой потребности глубоко и широко удовлетворял Л. Н. Толстой своими религиозно-философскими сочинениями. Издательство «Посредник», представлявшее нечто иное, как печатный орган Л. Н—ча, естественно стало центром интересов этой группы людей.

Как я уже упоминал ранее, в конце 80-х годов я заведывал книжным складом «Посредник» и жил в самом помещении склада, в Петербурге, на Песках, на углу Греческого проспекта и 8-й улицы Песков, в маленьком деревянном доме. У нас бывали собеседования о вопросах веры, нравственности и об общественных условиях жизни. Собиралась, главным образом, учащаяся молодежь обоего пола, студенты, курсистки, фельдшерицы.

Из этого живого общения, оставившего во мне воспоминание радостного, хорошего дела, конечно, исходила, как из центра, пропаганда словом и делом взглядов Л. Н—ча Толстого. На этих собраниях читались все новые произведения Л. Н—ча, большею частью тогда запрещавшиеся цензурой. Они горячо и искренно обсуждались, и часто искорки неподдельного молодого чувства любви к ближнему загорались

в сердцах еще не испорченного жизнью учащегося поколения. Мы чувствовали себя абсолютно свободными, и расправляли крылья, чтобы лететь к небесам. Бывали и приезжие из провинции, приносившие нам сведения о том, как идет дело распространения нашей «веры» по разным углам России; поддерживалась деятельная переписка с единомышленниками и со Л. Н—чем.

Из такого общения нам нетрудно было узнать, что в некоторых местах России собираются группы интеллигентных лиц, желающих немедленно и непосредственно применить к жизни исповедуемые ими убеждения. И вот мы узнали, что такая группа поселяется в Смоленской губернии, на земле, приобретенной неким Алехиным, для нас лицом мало известным. Конечно, этот предполагавшийся опыт возбудил во всех нас самый живой интерес и сочувствие, и мне поручено было собрать об этом подробные сведения. Получив адрес Алехина, я написал ему, прося сообщить все, что он может о своем деле для лиц, живо интересующихся им. Между нами были уже лица, желавшие присоединиться к ним. На мой запрос я получил вскоре подробный ответ, весьма полно изображающий те основы и намерения, которые руководили основателями общины.

Ответ Алехина вполне удовлетворил нас. Это было изложением взглядов Л. Н—ча в их применении к жизни коммунистической, интеллигентской земледельческой колонии. Всякому, прочитавшему это изложение основных положений общинников, становилось ясно, что оно соткано из произведений Л. Н—ча, при чем особенное внимание обращено на земледельческий общинный труд, являющийся как бы результатом и основой, альфой и омегой христианской жизни. Это было одностороннее, несколько узкое толкование взглядов Л. Н—ча, но так как стремление воплотить их было искренне и такое толкование захватывало большую область жизненных вопросов, то оно привлекло к себе много молодых сил.

Явление это было настолько значительно в деле распространения взглядов Л. Н—ча в русском и европейском обществе, что я позволяю себе остановиться на нем несколько долее.

Само по себе стремление сразу осуществить свои религиозные, нравственные и общественные убеждения вполне законно и чрезвычайно привлекательно. Но так как такое стремление является большею частью у очень молодых людей, то оно сопровождается столь большими ошибками и проявлениями неопытности, что большею частью кончается полной неудачей.

Рассмотрим некоторые из причин неуспеха этих колоний.

Религиозным, новозаветным основанием таких общин обыкновенно берут текст из Апостольских Деяний IV, 32: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа и никто из имения ничего не называл своим, а все у них было общее». Это трогательное единение первых христиан возбуждало в молодых людях искреннее желание подражать им; но сил для этого было мало. Не было главного основного—единения душ и сердец, достигаемого долгой внутренней работой смирения и самоотвержения. Эти люди хотели решить обратную проблему: назовем все наше имение общим и этим достигнем единения душ и сердец. Но это было ложное умозаключение. Общность внешних материальных благ достигается только, как результат внутреннего единения, или вследствие полного самоотречения в служении друг другу, или вследствие полного, смиренного подчинения всех одному высшему авторитету, устанавливающему общность имущества. Здесь не было ни того, ни другого. И потому, сколько ни называли они свое имение общим, они не могли достигнуть сердечного и душевного единения, а потому и не было в их жизни скрепляющего цемента и здание их неминуемо разрушалось. Но временно это здание все-таки созидалось и красота его поражала и привлекала людей. Мне самому пришлось испытать его чарующее влияние. Я пробыл там несколько дней, и на меня пахнуло духом какой-то необыкновенной простоты и серьезности этой жизни в обществе молодых людей обоего пола, так скоро и так просто решивших все общественные вопросы.

До Л. Н—ча доходили слухи об их жизни; он очень интересовался ею и в то же время какое-то жуткое чувство заставляло его быть постоянно на-стороже и предупреждать об опасности увлечения этой внешней привлекательной формой.

К сожалению, у этих людей, так легко сменивших свою одежду, нехватило смирения настолько, чтобы не осуждать людей, еще не успевших переменить ее и ищущих иных путей к осуществлению своего идеала. Это отсутствие смирения и заменяющее его самомнение многих отталкивало от них.

Вот что писал об этой колонии Л. Н—ч своему другу Н. Н. Ге:

«Был у меня Алехин осенью, живет он и они все удивительно. Например, вопрос половой они решают полным воздержанием, жизнь святая. Но,—Господи, прости мои согрешения,—осталось мне тяжелое впечатление. Не оттого, что я завидую чистоте их жизни из своей грязи, этого нет, я признаю их высоту и как на свою радуюсь, но что-то не то. Душа моя, не показывайте этого письма, это огорчит их; а я может быть ошибаюсь. Я ведь сказал ему все, что хотел».

В письме ко мне, около того же времени, он высказывает такие мысли:

«Интересные были разговоры с Романовым, повторение тех, которые были с Фейерманом. В разговорах этих мне очень уяснилась ошибка этих общинников. Я бы никогда не вздумал разыскивать их отступлений, если бы они не были так строги к другим. Коренное дело для верующего христианина — это не только не употреблять насилия, но и не пользоваться насилием других, а потому, как и неизбежное следствие этого, не приобретать собственности и не удерживать приобретенной или признаваемой другими мою. Это основная обязанность и на нее должна быть направлена вся энергия, а не на то, чтобы стать в положение кормящегося своими трудами земледельца. Первое, т.-е. отречение от собственности, ведет к положению чернорабочего и земледельца, но положение обеспеченного земледельца не только не ведет к отрицанию собственности, но часто, напротив,—к утверждению ее. Главное же дело в осуждении. Я всей душой радуюсь на жизнь общинников и на жизнь вашу и Чер., а они осуждают. Ром., кажется, понял» [1]).

А в дневнике своем Л. Н—ч записал такую мысль об общинах:

«Удаление в общину, общины, поддержание ее в чистоте, все это — грех, ошибка. Нельзя очиститься одному или одним — чиститься так вместе; отделить себя, чтобы не грязниться есть величайшая нечистота, вроде чистоты дамской, добываемой трудами других. Это все равно, как чистить или копать с края, где уже чисто. Нет, кто хочет работать, тот залезет в самую середину, где грязь, если не залезет, то по крайней мере не уйдет от середины, если попал туда».

Но сам Л. Н—ч искренне радовался проявлению христианской жизни, какую бы форму ни принимало это явление. У него иногда сходились представители как одиночной, так и общинной жизни. В беседах между такими людьми, при участии Л. Н—ча обсуждались самые серьезные жизненные вопросы; об одном из таких случайных «с'ездов» или вернее «схождений», Л. Н—ч пишет Черткову в августе этого года:

«Последнее время были все посетители и такие все радостные. Пришли пешком Золотарев и Хохлов, два юноши. Они все лето работали у Золотарева—босые, загорелые, без паспортов, совсем мужики. Сначала пугаешься—думаешь, не внешность ли одна работы, не мода ли, молодечество. Но поговоришь и видишь, что это только последствие — основание же служить Богу, любить, быть христианином. Тут же приехал Ругин из общины Алехинской, в которой был обыск, о котором вы, верно, знаете. Тут же заехал Булыгин и, наконец, Николай Николаевич Ге-старший. Так было радостно всем узнать друг друга, так хорошо, я почти уверен, с пользою во имя Его поговорили. Вчера все раз'ехались, остался один Николай-Николаевич».

Один из наших общих друзей, Евг. Ив. Попов, долго живший в двух подобных колониях, сначала у А—па в Смоленской губернии, а потом у Новосслова в Твер-

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

ской губернии и отнесшийся критически ко многим проявлениям этого рода жизни, сообщал письменно Л. Н—чу свои мысли, и тот отвечал ему следующим интересным письмом:

«Милый друг Е. И., пишу вам и всем вашим сотоварищам. Ругин, приехав, много рассказал про вашу жизнь и мы много говорили за и против общины, о том самом, о чем вы пишете в своем письме. Я думаю так: нельзя достаточно ценить то положение, в котором вы находитесь и тот опыт, который у вас производится. Мы все, откинув кое-что от мирской людской жизни, сделав кое-какие усилия для участия в общем труде, поддерживающем жизнь людей, очень склонны думать, что мы сделали все, что нужно, что мы чисты перед людьми и можем успокоиться, и потому нельзя достаточно ценить того строгого опыта, который производится в общине и который показывает, какую степень суровости жизни и напряжения труда надо держать для того, чтобы быть более или менее чистым от людоедства. (Мне очень нравится точность этого выражения.) Я говорю: «более или менее», потому что собственность земли и инвентаря нарушает полную чистоту. Нельзя достаточно ценить того положения, при котором нет места лжи христианского сантиментальничанья. «Я люблю, жалею и отдаю, что имею, а имею-то я незаконно, так что мне без всякого сострадания и милосердия надо бы отдать то, что я имею». Это сантиментальничанье невозможно у вас, где всякий поступок жалости и милосердия неизбежно выражается лишними часами работы и меньшей и худшей пищей, или другими неудобствами. Такое положение драгоценно для проверки себя и нельзя достаточно дорожить им.

«Но Бондарев неправ, говоря, что хлебный труд включает в себя любовь, а любовь не включила. Любовь не только к Богу, но к ближнему, которая есть только последствие любви к Богу (об этом скажу после), включает в себя хлебный труд, так что хлебный труд есть только частный случай любви к ближнему, не говоря о любви к Богу. Любовь к ближнему требует ведь кроме накормления и одежды, еще и посещение заключенного и больного, слова, под которыми нельзя не понимать всех тех духовных утешений, которые могут быть поданы страдающим. Любовь же к ближнему требует того, чтобы свет ваш светил перед людьми, т.-е. сообщение им той истины, которую вы знаете. Все эти требования любви к ближнему и, я думаю, что еще многие другие не включены в хлебный труд. Требование же любви к Богу еще менее включаются в него. Люби Господа Бога твоего всем сердцем и т. д., я понимаю, как закон любви к Богу моему, к тому, что во мне божественно. И любовь эта обязывает и влечет ко многому, никак не включающемуся в хлебном труде. Она влечет к чистоте, к соблюдению и возвращению в себе божественной сущности. Это и, думаю, еще многое не включено в хлебный труд. Да, человек, который будет любить Бога своего, будет любить неизбежно ближнего (как и сказано у Иоанна), а, любя ближнего, будет чутко следить за собой, чтобы, скрываясь за христианским сантиментальничаньем, не поедать братьев, и будет дорожить поверкой хлебного труда. Но человек, поставивший себе целью хлебный труд, очень легко может нарушить во многих отношениях и любовь к ближнему (может не утешить страдающего, не просветить темного и мн. др.), и любовь к Богу (может быть распутником, может не двигаться и не расти духовно и мн. др.)» [1]).

Еще больше любви и сочувствия к жизни общинников выразил Л. Н—ч в своем письме к ним всем, после дошедшего до него известия о произведенном там жандармском обыске. Вот что он писал им:

«Вчера получил ваше письмо, дорогие друзья, и рад был очень тому духу, в котором оно написано. Это тот дух, которым мы живы и которым мы живим друг друга. Такое оживление и под'ем я почувствовал от вашего письма. Кроме того я просто рад общению с вами, которое прошу поддерживать. Р., спасибо ему, не то, что сблизил, а, знаете, по сухому провел мокрым, и потекло по этому месту. Я

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

последнее время думал часто об одном, давно известном соображении, но которое с особенной живостью мне приходит все это время в голову и бодрит меня, а именно: если выразить только одним наипростейшим и яснейшим предложением смысл, сущность, цель жизни, то я для себя выражаю так, как сказано у Иоанна VI, 38, и в особенности 39, возрастить в себе, довести ее до высшей возможной степени божественности ту искру, то разумение, которое дано, поручено мне, как дитя няньке. Это определение смысла жизни шире всех других, включает все другие. Что же нужно для того, чтобы исполнить это, возрастить это дитя? Не нега, а труд, борьба, лишения, страдания, унижения, гонения, то самое, что сказано много раз в Евангелии. И вот это самое, то, что нужно нам и посылается нам в самых разнообразных формах, и в малых и больших размерах. Только бы мы умели принять это, как следует, как нужную нам, а потому радостную работу, а не как нечто досадное, нарушающее нашу, столь хорошо устроенную жизнь. Помогай вам Бог всем, именно так принять не только то посещение, но и то, если бы вас разогнали и нарушили бы вашу, столь радостную и для меня и для всех нас, хорошую жизнь. Обыкновенно в этих случаях делается такая ошибка. Говорят: «Вот обстоятельства, которые нарушают или грозят нарушить нашу хорошую жизнь; надо как-нибудь поскорее обойти, превозмочь эти обстоятельства, с тем, чтобы продолжать свою хорошую жизнь». В действительности же надо смотреть на дело совершенно обратно: «Вот была жизнь, которую мы установили с большой внутренней борьбой и трудами, и жизнь эта удовлетворяла нашим нравственным требованиям, но вот являются новые обстоятельства, заявляющие новые нравственные требования: давайте же постараемся ответить наилучшим образом на эти требования». Эти обстоятельства—не случайность, которую можно устранить, но требования новых форм жизни, в которых я должен испытать себя, и к которым должен приготовить себя, как я готовил себя к предшествующей форме жизни. Я говорю про ту возможность, что вас разгонят, запрут, сошлют (хотя этого не может быть). Впрочем, вы все это знаете так же, как я. Как только центр один, то и все радиусы совпадают, я это много раз замечал. Пишу это потому, что это самое думаю для себя, и еще потому, что люблю всех вас и хочу наибольшего с вами общения. Напишите, кто составляет ваши 15 человек. Напишите и то, как идут работы. Ну, пока прощайте!» [1]).

Колонии эти, большею частью, существовали от 2 до 3 лет. Их было значительное количество. Насколько нам известно, кроме первой Алехинской колонии в Дорогобужском уезде, Смоленской губернии, существовала подобная же колония, основанная его братом в Харьковской губернии, около Харькова, затем в Тверской губернии, основанная Новоселовым, на Волге, в Самарской губернии, на юге России, основанная группой молодых, по преимуществу евреев, в Глодоссах и, наконец, на Кавказе, около Нальчика. Кроме того под влиянием тех же идей образовался целый ряд одиночных поселений людей, не считавших себя готовыми к общинной жизни. К ним также присоединялись для работы некоторые члены, переходящие с места на место. Эти поселения были более прочны, и многие из них существуют и теперь, представляя ценные культурные центры.

Это общинное движение перекинулось и за границу и отразилось образованием колоний в Англии, Франции, Голландии, Германии и Америке. Претерпев некоторые эволюции, эти колонии существуют и теперь.

Конечно, англичане, как люди наиболее практические и серьезные, дали наибольшее развитие этому делу. Руководителем их явился молодой талантливый пастор одной из свободомыслящих сект, Джон Кенворти, приезжавший в 1895—1896 годах ко Л. Н—чу в Москву. Привыкший к свободным формам общественных организаций, он, возвратившись в Англию, основал «Братскую церковь» близ Лондона, в Кройдоне; стал издавать журнал, посвященный пропаганде идей и различных сведений, полезных общине, под названием «Новый порядок» (New Order). И затем обра-

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

зовалась недалеко от Лондона, в Эссексе, в местечке Перлэ, земледельческая колония, которая, эволюционируя, существовала довольно долго и следы которой можно найти и теперь. Немного забегая вперед, я приведу письмо Л. Н—ча к одному из членов «Братской церкви», писанное в 1896 году и ярко выражающее отношение Л. Н—ча к подобного рода организациям:

«Дорогой друг!

«Я получил ваше интересное письмо и очень желаю ответить вам, особенно по поводу преобразования и духовного роста, который произошел в среде ваших друзей «Братской церкви». Мне не нравится это название, и было бы очень хорошо, если бы реформа коснулась и его.

«Я думаю, что большая часть мирового зла происходит от нашего желания видеть осуществление того, к чему мы стремимся, но к чему еще не готовы и потому довольствуемся подобием того, что должно быть. Насильническое правительство есть не что иное, как подобие хорошего порядка, который поддерживается тюрьмами, виселицами, полицией, армией и рабочими домами. Действительного порядка не существует. Но все, что сопротивляется ему, скрыто от наших взоров в тюрьмах, исправительных заведениях и вертепах. И я полагаю, что этот недуг оттого так долго остается неизлечимым, потому что он скрыт.

«То же самое и с братством или с церковными обществами. Они то же подобие. Не может быть общины святых между грешниками. Я думаю, что члены общины для того, чтобы сохранить подобие святости, должны совершать много новых грехов.

«Мы так созданы, что не можем стать совершенными каждый отдельно, по очереди, или группами, но (по самой природе вещей) только все вместе.

«Теплота одной капли или частицы передается другим. И если возможно сохранить жар в одной частице так, чтобы он не передавался другим и от этого не уменьшался, это было бы доказательством того, что то, что мы считали за жар, не есть настоящий жар.

«И потому я думаю, что если бы наши друзья направили на внутренний духовный рост все то количество внимания и энергии, которое они посвящают на поддержание внешней формы общины между ними, это было бы лучше и для них и для дела Божия. Общины и другие внешние организации кажутся мне полезными и законными только тогда, когда они суть неизбежные последствия соответствующего внутреннего состояния. И потому, если два человека по соображению, что им выгоднее жить в одном доме и есть один обед, сказали бы друг другу: «Давай будем жить в одном доме и обедать вместе», очень мало вероятия, чтобы они устояли и жили вместе, не ощущая очень многих невыгод и неприятностей, которые превысили бы ожидаемые выгоды и радости; но если два человека, часто встречающиеся, полюбили бы друг друга и стали бы совершенно равнодушны к своему образу жизни и к еде, и сказали бы друг другу: «Зачем нам жить врозь, если нам безразличен наш образ жизни и наша пища и нам приятнее жить вместе?» тогда, весьма вероятно, что такие люди будут жить вместе до смерти. Более того: если бы один из этих людей был равнодушен к своему образу жизни и пище и полюбил бы другого, то такие два человека подошли бы один к другому. И потому главное основание для организации общины лежит в душе каждого человека. Люди естественно тянутся друг к другу (в этом тайна божеской любви), и для того, чтобы соединиться, нужно каждому сделать себя способным к единению, и тогда единение воспоследует. Если даже мы думаем, что единение может быть достигнуто нашими собственными усилиями и в этом случае, предварительно, мы должны стать готовыми к единению.

«Мне также очень интересно то, что вы говорите об анархистах и об их приближении к нам. Дай Бог, чтобы это было так. Сообщите мне более подробно, когда узнаете об этом.

«Помоги вам Бог в вашей работе.

Лев Толстой».

28 июля, 1896 г.

Мы полагаем, что приведенные письма достаточно определяют отношение Л. Н—ча к земледельческим интеллигентским колониям и общинам.

Отношение это, как мы видим, сдержанное. Сочувствие его явно склонялось на сторону личных, неорганизованных усилий. Это сочувствие ясно проглядывает в письме к его другу В. И. А—ву, которому он писал:

«Вы говорите, что вы как будто плачетесь на жизнь. Нет, вы не плачетесь, а вы недовольны не ею, но собою в ней, как и я всегда в хорошие минуты недоволен. А вы всегда недовольны, потому что всегда стремитесь к лучшему и с одной ступени всегда переставляете ногу на другую. И помогай вам Бог. Только на-днях приехал один бывший морской офицер, друг и товарищ теперь по жизни Б., и рассказывал про общину А. Живут они там 15 чел.: 8 мужчин, 7 женщин,—прекрасно, трудолюбиво, воздержано; картофель, горох, снятое молоко, не всегда, и чай—2 раза в неделю, и чисто и любовно, помогая окрестным бедным, но одно не совсем хорошо, что некоторые из них думают и говорят, что христианину нет другой жизни, как в общине, что во всякой другой жизни, напр., такой, как вы, как я—мы участвуем в людоедстве—сработаем на 30 коп., а с'едим на 1 руб. И мне это нравится—нравится то яркое выставление греха, про который мы так склонны забывать, но в ответ на это и в связи с воспоминаниями о вас приходит в голову следующая воображаемая история, которую я бы желал написать, коли бы были сила и время. Живет юноша, поступает в учебное заведение, предается науке, но скоро, увидав и тщету и незаконность досуга и жира научников, бросает, идет в революцию, но познав гордость, жестокость, исключительность революционеров, бросает, идет в народ. В народе суеверия, эгоизм, борьба за существование отталкивают его. Может даже пойти на время в православие, в монастырь—лицемерие. Попадает в общину, тоже находит не то, выходит. Тут сходится с женщиной, которой увлекается, тем более, что она как будто разделяет его стремления, сходится, родит детей, находит в ней совсем другое, не то, чего он ждал, мучается с ней, она бросает его, он остается один, живет у приятеля, сам не зная, что делать, как жить, но как и везде, и всегда любя людей вокруг себя и помогая им, и тут умирает. И умирая, говорит себе: неудачник я, пустой, дрянной человек, никуда не годился, за что ни брался, ничего не мог доделать, никому даже не нужный, никого не умел даже привязать к себе. И ударяет себя в грудь и говорит: пустой, дрянной я человек. Боже, милостив буди мне грешному. Я думаю, что ему хорошо и я желал бы быть им. Такой спасется и вне общины».

То же сочувствие единоличному труду выражается и в письме ко мне; он писал так:

«Завидую вам, что вы работаете, т.-е. не завидую, а радуюсь за вас. Держитесь работы, как можно. Не наплуйте себя, не уставайте очень, но не выходите из привычки работы. Я вижу по Булыгину, который очень хорош и тверд, как это трудно и как без этого неловко. Надо в нашем положении делать усилие, чтобы стать в эти условия работы—усилие небольшое, но усилие. И когда его сделаешь, то хорошо. Я не сделал его еще нынешний год. Приехал я поздно: все было вспахано, да и хотелось писать, да и слабее себя чувствовал, так меня и охватила барская жизнь, из которой надо вырваться с Машей и вырваться, не раздражив никого. Надеюсь это сделать, как ни кажется плохо, а я вижу признаки приближения к моему свету и молюсь об этом» [1]).

«...По письму вашему вижу, что вам живется хорошо. Помогай вам Бог. На Машу не перестаю радуюсь. С утра она с своими 6-ю школьниками, до 12 учит, разумно, любовно, терпеливо. Потом порабатывает около себя или ковры на крышу, потом письма свои и мои, переписка, доение коров, и только ждет работы со мной; потом отношения со всеми домашними простые, ровные, дружелюбные, но не шуточно пустяшные, как между другими. Все так и привыкли, что она не такая, как все, но другой, чудной, нелегкомысленный, но добрый человек. И все любят ее. Не

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

говоря уже о том, что все нужды до меня или до жены всегда почти идут через нее» [1]).

Отец и дочь вместе страдали и утешались, кротко перенося все препятствия, которые ставила жизнь их стремлениям. А у Л. Н—ча эта постоянная борьба вызывала мысли о смерти, в которых он каялся своим друзьям. Около этого же времени он между прочим писал мне:

«Маша все также работает просто, тихо, для удовлетворения своей совести. Хотели мы с ней возить навоз, но оставили, чтобы не раздражать. Вот наступает покос, который ждем, как удовольствия. Маша мне большая радость дома. Часто тяготит тоже роскошная, безнравственная жизнь, тем более, что чувствуется всеми, что неправда ее известна и нет в ней прежней невинности, бессознательности, и только на Маше отдыхает душа. Про себя покаюсь, что все больше и больше, чаще и чаще хочется умереть. Как раз Чертков пишет про это и доказывает мне, что это грех. Я согласен, что это так, и каюсь в этом. Происходит это оттого, что от нездоровья или от годов прежняя деятельность уменьшилась, а хочется попрежнему работать, недоволен своей работой и заглянул как будто уже за дверь туда, и манит. Надеюсь пережить это. Знаете, при достижении каждой ступени возраста: отрочества, юности, возмужалости, трудно не радоваться и не заглядывать вперед. Так и достигнув старости с раскрывающейся будущностью. Но, разумеется, это не надо. Все пишу «Крейцерову сонату». Нехорошо. Попов уехал к А—пу».

Но вот общины распадаются. Л. Н—ч не огорчается этим. Он пишет между прочим Хилкову:

«Третьего дня получил ваше письмо, Д. А., и сейчас опять перечел его. Постараюсь ответить на главное содержание его, как я его понимаю. Что ж за беда, что общины распались? Если бы мы считали, что эти общины образцы того, как должно осуществиться в мире учение Христа и как установить Царство Божие, тогда это было бы ужасно: тогда распадение общины показало бы несостоятельность учения Христа: но так ведь не смотрели на эти общины не только мы со стороны, но и участвовавшие в них. (Если кто так смотрел, то распадение исправит этот ложный взгляд, и потому распадение в этом смысле даже полезно.) Общины эти были известной формой жизни, которую избрали некоторые люди в своем движении по пути, указанном Христом, другие люди избрали другие формы—или другие люди были поставлены в другие условия, как я, Ге и все люди, идущие по тому же пути. И как вы сами пишете, что как ни хороши поселения отдельные, они хороши, пока нужны, — всякие формы, как формы, непременно переходные, как волны. Если общины распались, то только потому, что люди, жившие в них, выросли из своей оболочки и разорвали ее. И этому можно только радоваться» [2]).

И в дневнике того времени он записывает подобную мысль:

«С N говорил о том, почему разрушились общины.

«Общины не обманывали себя, что они свободны от собственности, если они владеют сообща; а видели, что они удерживали собственность вместе так же, как и прежде удерживали порознь. Окружающие тащили, а им надо было держать. И держать нельзя было, потому что у живших вместе людей та степень, дальше которой человек не может уступить, была не одна и та же. Оттого разлад. Оказалось, что жить надо в той перетасовке черного и белого и тех теней, в которой мы все находимся, а не выделяться одним более или менее светлым и окрашиваться еще одной краской.

«Жить можно только перестрадавшими с всякими людьми. Жить же святым вместе нельзя. Они все помрут.

«Жить нельзя одним святым. И для Божьего дела невыгодно. Одно сходится с другим» [3]).

---

[1]) Там же.
[2]) Архив Черткова.
[3]) Там же.

ГЛАВА 11-я.

(1890-й год.)

Оптина пустынь. Что есть истина. Молитва.

В начале 1890 года в Ясной Поляне в семье Толстых заметно некоторое затишье, реакция после бурного рождественского веселья, сопровождавшего постановку «Плодов просвещения».

Дочери Л. Н—ча открыли школу для яснополянских ребят в доме одного из дворовых. Главным образом, этим делом занималась Марья Львовна.

Но школа эта просуществовала недолго, около двух месяцев. Она была открыта без разрешения подлежащих властей, и как только до этих властей дошло сведение о существовании школы, руководимой Л. Н—чем, было сделано распоряжение об ее закрытии. Распоряжение это привел в исполнение сам губернатор, Н. А. Зиновьев, очень сочувственно относившийся ко Л. Н—чу; ему часто приходилось попадать в такое неловкое положение. И это неизбежно двойственное отношение его ко Л. Н—чу и привело его к увольнению от должности тульского губернатора и к переводу его в другую губернию.

Л. Н—ч был занят окончательной отделкой «Плодов просвещения».

В апреле комедия была поставлена в Царском Селе, в Китайском театре, в присутствии государя и имела большой успех. Она была напечатана в сборнике «В память Юрьева».

В самом Л. Н—че шла постоянная внутренняя работа и выработка нового высшего, любовного отношения к окружающей его среде, семейной и к среде своих многочисленных посетителей как принадлежащих к его прежнему кругу, большей частью не сочувствовавших его новым взглядам, хотя и выказывавших ему уважение и преклонение пред его художественным гением, так и к посетителям нового типа, его единомышленникам, в которых он дорожил больше всего искренностью, правдивым отношением к тому образу жизни, который подвергался критике проснувшимся сознанием, но от которого так трудно было очиститься.

Внутренняя работа его яснее всего отражалась в записях его дневника. Там же мы находим и мысли, вызванные чтением некоторых интересовавших его книг и журналов, во множестве получаемых им со всех сторон света.

Вот несколько выписок из его январского дневника 1890 года:

3 января 1890 г. Ясная Поляна. «Пророк, настоящий пророк, или еще лучше поэт (делающий), это человек, который вперед думает и понимает, что люди и сам он будет чувствовать. Я сам для себя такой пророк. Я всегда думаю то, что еще не чувствую, напр., несправедливость жизни богатых, потребность труда и т. п., и потом очень скоро начинаю чувствовать это самое.

«...Читал: Эмерсону сказали, что мир скоро кончится. Он отвечал: «Well, I can get along without it.» [1]). Очень важно.

«Мы ищем ума, силы, доброты, совершенства во всем этом, а совершенства не дано человеку ни в чем: совершенства не может быть ни в чем, ни в уме, ни в доброте,—может быть одно: соответствие к тому, где ты, «in sein Platz passen» [2]). Этого можно достигнуть, и тогда полное спокойствие и удовлетворение. Дает это главное—смирение».

5—9 января. «Первая стадия — за зло платить; вторая — зло перенести; третья—пожалеть злящегося; четвертая—помочь ему. Вот этому надо учиться» [3]).

Уже по этим нескольким выпискам можно заметить, что к этому времени, т.-е. к концу 80-х и к началу 90-х годов, в душевном состоянии Л. Н—ча замечается не-

[1]) Да, но я обойдусь и без него.
[2]) Войти в свое место.
[3]) Архив В. Г. Черткова.

который поворот или, вернее, восхождение на следующую ступень нравственной лестницы. Это изменение мы замечаем в том, что Л. Н—ч перестает считать важным употребление духовной энергии на борьбу с окружающим внешним миром, а все определеннее и настойчивее указывает на смиренное перенесение несоответствия внешней обстановки внутреннему сознанию и на необходимость направить все силы человека на это внутреннее очищение себя. Такого рода заметку мы встречаем и в февральском и в дальнейшем дневнике и те же мысли он выражает в письмах того времени к своим друзьям.

11 февраля он записывает: «Главный соблазн в моем положении тот, что жизнь в ненормальных условиях роскоши, допущенная сначала из того, чтобы не нарушить любви, потом захватывает своим соблазном и не знаешь, живешь так из страха нарушить любовь, или из подчинения соблазну?».

Эта опасность пассивного отношения к внешним условиям с другой стороны также беспокоила его и он обращался к близким людям, прося обличения. Должен сознаться, что и мне пришлось написать Л. Н—чу несколько слов о том, какое тяжелое впечатление произвело на меня известие о шумном веселье в Ясной Поляне, в котором Л. Н—ч принимал участие. Конечно, я не преминул выразить ему и то, что это известие ни на иоту не уменьшило моего уважения и любви к нему.

В ответ на это, в полном обычной нежности письме ко мне, он говорит:

«Спасибо, милый друг, за письмо и за правду. Мы вас также любим, вы в это верьте. Жизнь и формы ее пускай будут впереди, а любовь пускай будет неразлучно с нами. Ваше письмо еще эгоистично тронуло меня. Мне здорово вспоминать, что я живу дурно, и под предлогом избегания вражды подчиняюсь своим слабостям, похотям тела. Друг мой, любя меня, напишите мне, не смягчая, а в самой строгой форме, суждения обо мне, осуждающие меня, не называя никого. Вы ведь много таких слышали».

Написать строгое обличение Л. Н—чу для меня было вряд ли по силам. Желая исполнить в точности его просьбу, я собрал все, что мог в уме своем, что я слышал серьезного в суждениях о нем, и написал ему, на что получил скорый ответ:

«Спасибо, милый друг, за скорый ответ и за содержание его. Это не совсем то, чего я желаю, но и то хорошо и за то спасибо. Вот то, что про меня говорят, что я вместо того, чтобы жить хорошо, живу дурно, и из своей дурной жизни пишу советы, как жить хорошо, вот это верно и то, что нужно мне. И другое все верно, но это не то, что нужно, настоящее указание греха. Кабы еще да побольше кольнуло меня, потому что правда, и подействовало. Будем помогать друг другу. Помогайте мне. Ко мне обращаются за помощью, а мне как ее нужно» [1]).

Слухи о рождественских праздниках, спектакле и веселье в Ясной Поляне проникли в печать, и услужливые журналисты расписали все это в преувеличенном виде, дойдя до таких абсурдов, как утверждение, что в Ясной Поляне был бал, на котором Л. Н—ч танцовал во фраке. Быть может, кто-нибудь из присутствовавших рассказал это в виде шутки, принятой за чистую монету. Так или иначе, но это известие смутило многих почитателей Л. Н—ча, и один из них, г-н Воробьев, бывший тогда начальником станции на одной из Южных дорог, обратился ко Л. Н—чу за раз'яснением, на что получил от него следующий ответ:

«Раз'яснять то, что в газетном известии несправедливо, не считаю возможным в письме, да это и не нужно. Одно, что вам нужно, это знать, продолжаю ли я так же смотреть на жизнь и стараюсь ли я так жить, как я высказал в своих писаниях. На этот вопрос отвечаю, что чем более я подхожу к плотской смерти, тем несомненнее для меня истинность высказанного мною взгляда на жизнь, тем настоятельнее для меня требования моей совести и тем радостнее мне им следовать. Вот тут-то я боюсь, судя по первому ответу вашему на мое письмо и по сегодняшнему письму, что у вас другим, чем у меня, определяется исполнение требования совести. Каждый

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

из нас, познав истину, застает себя в известном далеком от истины положении, в связях, узлами завязанных и мертвыми петлями, нашими грехами затянутых связях с людьми мира. И человеку, познавшему истину, прежде всего представляется, что главное, что он должен делать, состоит в том, чтобы сейчас же, во что бы то ни стало, выйти из тех условий, в которых он находится, и поставить себя в такие условия, находясь в которых ясно было бы видно людям, что я живу по закону Христа, и жить в этих условиях, показывая людям пример истинной христианской жизни. Но это не так: требования совести не состоят в том, чтобы быть в том или ином положении, а в том, чтобы жить, не нарушая любви к Богу и ближнему. Христианин всегда будет стремиться к чистой от греха жизни, всегда изберет такую жизнь, если для достижения ее не будут требоваться от него дела, нарушающие любовь; но дело в том, что никогда человек не бывает так мало связан своими и чужими грехами с прошлым, чтобы быть в состоянии, не нарушая любви к Богу и ближнему, сразу вступить в такое внешнее положение. Всякий христианин среди мирских людей находится в таких условиях, что для того, чтобы ему приблизиться к этому положению, ему надо прежде распутывать узлы прежних грехов, которыми он связан с людьми, и потому главная и первая его задача в том, чтобы по закону любви к Богу и ближнему распутывать эти узлы, а не затягивать их, и главное, не делать больно тем, с кем он связан. Дело христианина не в каком-нибудь известном положении, в положении земледельца или тому подобное, а в исполнении воли Бога. Воля Бога же в том, чтобы на все требования жизни отвечать так, как того требует любовь к Богу и к людям. И потому определять близость или отдаленность себя и других от идеала Христа никак нельзя по тому положению, в котором находится человек, и по тем поступкам, которые он совершает.

«Отвращение христианина к мирской жизни всегда будет одно и тоже и не может измениться, и потому поступки христианина будут всегда клониться к тому, чтобы уйти от зла, суеты, роскоши, жестокости мирской жизни и притти к самому низкому, презираемому в мирском смысле, положению. Но то, в каком будет находиться христианин положении, будет зависеть от условий, в которых его застало сознание истины, и от степени чуткости его к страданиям других. Его поступки могут привести его на виселицу, в тюрьму, в ночлежный дом, но могут привести его и во дворец и на бал. Важно не положение, в котором находится человек, а те поступки, которые привели его в то положение, в котором он находится: судьей же в поступках может быть только он сам и Бог».

В одном из цитированных мною писем Л. Н—ча ко мне, от 15-го июня 1890 г., он делает большую интересную приписку, делясь со мной материалом для начатой мною литературной работы по истории истинного христианства. Работа вызвана была некоторыми размышлениями, которые я сообщил Л. Н—чу по поводу бывшей в Париже в 1889 году всемирной выставки, где с таким блеском был показан всему миру прогресс внешней, технической и языческой культуры, во главе с знаменитой Эйфелевой башней. Я высказал робкую мысль, что это чудо техники не знаменует собою истинный прогресс человечества и что его надо искать в иной области, именно в более последовательном проведении в жизнь христианских начал, чему мы уже видели примеры. От этого положения я переходил к перечислению подобных примеров в прошедшем, и это навело меня на мысль написать историю истинного христианства, т.-е. историю не господствующих церквей, как это пишется обыкновенно, а историю гонимых ересей. Л. Н—ч очень сочувствовал этой работе и поощрял меня в ней [1]).

В этой приписке он пишет следующее:

---

[1]) Работа была мною начата и обдумана и материал собран в значительном количестве; но, к сожалению, обстоятельства жизни отвлекли мою энергию на другое. Более законченным оказалось введение, под названием «Весна человечества», напечатанное в журнале «Духовный Христианин». Остальная же работа, доведенная мною до X века, лежит в рукописи, и я очень надеюсь возобновить ее по окончании работы биографической.

«Как хорошо бы продолжать и написать то, что вы начали. Недавно узнал, что в 40-х годах нашего столетия в Италии в горах жили люди под руководством одного человека Лазарони, исповедывавшие непротивление злу и практическое христианство. Им велено было разойтись. Они не послушались. В них стреляли и убили нескольких и Лазарони. Мне обещали подробные сведения. Есть еще «назарены» в Сербии; основалось в 50-х годах. О них есть где-то у меня сведения в письме, очень краткие. При этом же нужно бы собрать все, что у нас зародилось и зарождается: Сютаев, казак в Сибири (помните рукопись, кажется, Морозова), Зосима, Емельян и мн. др.

«Такой сборник, сначала исторический с краткими описаниями учений так называемых ересей и с выставлением главного практически-христианского значения, потом современных проявлений того же,—была бы драгоценная книга. В предисловии надо бы подчеркнуть то, что как было христианство в его начале при Христе и при апостолах и при мучениках—всегда смиренно, почти тайно, так оно осталось и до конца, таково оно и теперь, с тою только разницею, что оно прежде захватывало десятки, а теперь захватывает десятки тысяч людей. И что торжествующим, блестящим, победным, каким его представляют церкви, оно никогда не было и, по свойству своему, не может быть. Оно, по свойству своему, смиренно и незаметно; оно и душу человеческую и все человечество захватывает без треска так, что и не знаешь, когда оно вошло и окрепло».

И дальше, в том же письме, он переходит уже к внутренним вопросам жизни:

«Замечали ли вы проницательность злобы, того, что мы называем злобой, но что есть не что иное, как не на своем месте запутавшаяся та же доброта и любовь, которой жив мир. Я это говорю по случаю той пользы, которую мы получаем от осуждений, и тем большую, чем больше они проникнуты злобой. Это как какая-то серная кислота, которая выедает грязь во всех закоулках. Чем ядовитее, тем лучше. Коли бы мы были чисты, на нас бы не стали употреблять этой серной кислоты, а то наша гадость, вызывая ее, вызывает чувство испортившейся любви, которая и представляется злобой и выедает и которая полезна очень, очень. А мы, как привыкли угощать людей вином, мясом, обкармливать их, думая делать им пользу, так мы и обкармливаем их лестью. А любя, надо дать им попоститься, поголодать, и почувствовать то, как они воздействуют на других».

Внешняя жизнь шла своим чередом.

В феврале Л. Н—ч снова совершил поездку в Оптину пустынь. Поводом этой поездки было желание навестить сестру, жившую тогда уже во вновь построенном монастыре Шамардинском, близ г. Белева.

Л. Н—ч поехал с дочерьми и сначала направился через Белев, к сестре и, не застав ее дома, направился уже в Оптину пустынь, где его сестра временно гостила. Старец Амвросий был тогда слаб и произвел на Л. Н—ча впечатление жалости. Более интересен и симпатичен ему показался тогда его родственник Шидловский, бывший уже давно монахом. Кроме того в этот раз у Л. Н—ча была продолжительная беседа с известным Леонтьевым, бывшим сотрудником Каткова, также уже постриженным в монахи.

Л. Н—ча поразило глубокое суеверие Леонтьева, верившего в целительную силу какого-то песочка с могилы старца и серьезно предлагавшего его Л. Н—чу, когда речь зашла о каком-то недуге, которым Л. Н—ч страдал.

Софья Андреевна в своих воспоминаниях приводит выписки из дневника Л. Н—ча того времени. Вот наиболее интересная:

«Утром 27-го поехали в Оптину пустынь. Приехали рано. Машенька там и говорит об Амвросии, и все, что говорит—ужасно. Подтверждается, что я видел в Киеве: молодые послушники—святые, с ними Бог. Старые—не святые, с ними дьявол».

«Вчера был у Амвросия, говорили о разных верах. Я говорю: где мы в Боге, т.-е. истине, там все вместе; где мы в дьяволе, т.-е. мы во лжи, там все врозь»...

«Борис Шидловский [1]) умилял меня; Амвросий, напротив, жалок своими соблазнами до невозможности... На нем видно, что монастырь—сибаритство»...

28 февраля. «Достиг терпимости православия в этот приезд. Был у Леонтьева, прекрасно беседовали. Он сказал: «Вы безнадежны», а я сказал: «А вы надежны»...

Вероятно, поездка в монастырь и новое соприкосновение с монастырской жизнью вызвало во Л. Н—че мысли, которые он записал в дневнике по возвращении из своей поездки.

9 марта. «Поправить жизнь монастырскую, сделать из нее христианскую можно двумя способами:

«1) Перестать брать деньги от чужих, т.-е. чужие труды, а жить своим трудом.

«Или 2) уничтожить все внешние обряды, все, запрещенные евангелием, молитвы общие в храмах (Мф., гл. VI) и все, связанное с этим. Одно держит другое, как две доски шалашиком».

По возвращении в Ясную Л. Н—ч совершил еще поездку к своему брату С. Н—чу в его имение Пирогово и там заболел желтухой.

Поправившись от болезни, он писал мне:

«Хоть несколько слов напишу вам, милый друг П., чтобы вы знали про меня настоящее. Был болен. Три припадка желтухи—и очень ослабел. Теперь, кажется, лучше, но душевно, слава Богу, очень хорошо и было и есть. Пишите поподробнее про себя, про свое душевное состояние. Мы все живем и растем, и что вы писали мне о том, что чувствуете совершающийся не переворот, а ступень, я так понял — меня интересует, и потому что люблю вас, и потому что это общий всем нам процесс. Процесс этот в старости не кончается.

«Чем заняты? Какая доля физической, какая умственной работы? Каковы отношения с людьми? Что И. Д.? Целую его. У меня был во время болезни Хилков. Я сошелся с ним еще ближе. Были Дунаев, Золотарев Василий, Рахманов, Пастухов. Знаете ли вы его? Из академ. худ. Фейнерман поехал к Алехину. Митрофан Алех. приглашает в свою. У него мало народа. Буткевич Ап. остался в Глодоссах. Я не знаю, что вы знаете с И. Д., чего нет. Да, все эти передвижения, не могу ими интересоваться. Движение же духовное, как весною: не успеешь заметить один распустившийся цвет, как расцветает другой, а тот завязывается. И это не мечта, а самая реальная действительность».

Незадолго до этого совершил свое обычное зимнее путешествие Н. Н. Ге, каждый год возивший свою картину на передвижную выставку в Петербург. Как всегда, он заезжал по дороге ко Л. Н—чу в Москву или Ясную Поляну, и показывал прежде всего свою картину ему, ожидая его строгого суда.

Картина на этот раз была: Христос и Пилат; Н. Н. Ге дал ей название: «Что есть истина», без вопросительного знака, согласно толкованию этого места Л. Н—чем в своем переводе евангелия, где он считает эту фразу, брошенную Пилатом Христу, не вопросом, обращенным к нему, а ироническим замечанием скептика Пилата о том, что об истине и толковать не стоит, так как все знают, что ее нет.

Л. Н—ч высоко ценил эту картину и считал ее эпохой в истории живописи. В своих религиозных размышлениях он нередко вспоминал ее. Так, он записывает 9 марта в своем дневнике:

«Церкви сделали из Христа Бога, спасающего, в которого надо верить и которому надо молиться. Очевидно, что пример его стал не нужен. Работа истинных

---

[1]) Двоюродный брат графини С. А. Толстой по убеждению поступил тогда в монастырь. См. восп. гр С. А Толстой. «Толстовский Ежегодник», 1913 г. Отдел «Воспоминания». Стр. 7.

христиан именно в том, чтобы разделать эту божественность (картина Ге). Если он человек, то он важен примером и спасет только так, как себя спас, т.-е. если я буду делать то же, что он».

Картина эта, как всякое значительное произведение, вызвала много споров среди ценителей искусства. Явились восторженные поклонники ее и полные отрицатели. Отрицатели были двух родов: одни отрицали с точки зрения традиционной эстетики, другие с точки зрения церковной религии. Последние, как стоящие у власти, пересилили и картина была снята с выставки.

Ник. Ник., для которого вопрос о выставлении картины и продажи ее имел и огромное материальное значение, так как только на вырученную сумму он мог продолжать жить с семьей и работать дальше, конечно, был огорчен этим снятием картины, но кротко переносил это и утешал себя мыслью о том, что запрещение имеет огромное идейное значение. После этого запрещения картины он между прочим писал мне со своего хутора:

«По поводу картины я получил здесь два чрезвычайно хороших и дорогих мне письма: одно от студента, чрезвычайно восторженное, другое от присяжного пов. Да, я не жалуюсь и понимаю, что *они* должны были запретить. Не любя Христа, нельзя видеть правдивое его изображение. Язычникам и жрецам не это нужно. Им нужно боготворение тела; духа они не признают и не любят».

Л. Н—ч, желая помочь Н. Н—чу выпутаться из его затруднительного материального положения, стал хлопотать о продаже этой картины. Для Ник. Ник., конечно, было бы самым приятным приобретение этой картины Третьяковым для выставления ее в галлерее. И Л. Н—ч просил передать Третьякову свое мнение о том, что картина эта должна составить эпоху в живописи. И П. М. Третьяков, желая знать от самого Л. Н—ча подтверждение этого мнения, обратился к нему с письмом, на которое получил такой ответ:

«Спасибо за доброе письмо ваше, почтенный П. М.

«Что я разумею под словами: «картина Ге составит эпоху в истории христианского искусства?». Следующее:

«Католическое искусство выражало преимущественно святых, Мадонну и Христа, как Бога. Так это шло до последнего времени, когда начались попытки изображать его, как историческое лицо.

«Но изобразить, как историческое лицо, то лицо, которое признавалось веками и признается теперь миллионами людей Богом, неудобно: неудобно потому, что такое изображение вызывает спор. А спор нарушает художественное впечатление. И вот, я вижу много всяких попыток выйти из затруднения. Одни прямо с задором спорили,—таковы у нас картины Верещагина, даже и Ге «Воскресение», другие хотели трактовать эти сюжеты, как исторические, у нас Иванов, Крамской, опять Ге «Тайная вечеря», третьи хотели игнорировать всякий спор, а просто брали сюжет, как всем знакомый и заботились только о красоте, Дорэ, Поленов, и все не выходило дело.

«Потом были еще попытки свести Христа с неба, как Бога, и с пьедестала исторического лица на почву красивой обыденной жизни, придавая этой обыденной жизни религиозное освещение, несколько мистическое. Такова Ге «Милосердие» и французского художника «Христос в виде священника», босой, среди детей и др. И все не выходило.

«И вот, Ге взял самый простой и теперь понятный после того, как он взял его мотив: Христос и его учение не на одних словах, а на деле, в столкновении с учением мира, т.-е. тот мотив, который составлял тогда и теперь составляет главное значение явления Христа, и значение не спорное, такое, с которым не могут не быть согласны и церковники, признающие его Богом, и историки, признающие Его важным лицом в истории, и христиане, признающие главное в нем—Его нравственное учение.

«На картине изображен, с совершенной исторической верностью, тот момент, когда Христа водили, мучили, били, таскали из одной кутузки в другую, от одного начальства к другому и привели к губернатору, добрейшему малому, которому нет дела ни до Христа, ни до евреев, ни до еще менее, до какой-то истины, о которой ему, знакомому со всеми учениями и философиями Рима, толкует этот оборванец, ему дело только до высшего начальства, чтобы не ошибиться перед ним. Христос видит, что пред ним заблудший человек, заплывший жиром, но он не решается отвернуть его по одному виду и потому начинает высказывать ему сущность своего учения, но губернатору не до того, он говорит: «Какая такая истина» и уходит. И Христос с грустью смотрит на этого непроницаемого человека.

«Таково было положение тогда, такое положение тысячи, миллионы раз повторяется везде, всегда между учениями истины и представителями сего мира. И это выражено на картине. Это верно исторически и верно современно, и потому хватает за сердце всякого того, у кого есть сердце.

«Ну, вот такое отношение к христианству и составляет эпоху в искусстве, потому что такого рода картин может быть бездна, и будет» [1]).

Картина эта была действительно приобретена П. М. Третьяковым. Но прежде, чем быть выставленной в галлерее, картина должна была совершить путешествие в Америку. Везти ее туда взялся помощник присяжного поверенного Ильин, впоследствии как-то странно отшатнувшийся от этого дела, но сначала он казался искренним, преданным ему человеком.

Часть денег, полученных от Третьякова, была употреблена на отправку этой картины. Чтобы обеспечить ее успех, опять на помощь пришел Л. Н—ч, написавший большое и интересное письмо американцу Кепану, посетившему его еще в 1887 году. В этом письме он выставляет с новой стороны значение этой картины и попутно высказывает интересные мысли вообще о христианской религиозной живописи:

«Нынешней зимой появилась на петербургской выставке передвижников картина Н. Ге—Христос перед Пилатом, под названием: «Что есть истина». (Иоанн, XVIII, 38). Не говоря о том, что картина написана большим мастером (профессор акад.) и известными своими картинами—самая замечательная «Тайная вечеря» — художником, картина эта, кроме мастерской техники, обратила особенное внимание всех силою выражения основной мысли, и новизною, и искренностью отношения к предмету. Как верно говорит, кажется, Swift, что: we shall find that to be the best fruit which the birds have pitching at [2]), картина эта вызвала страшные нападки до такой степени, что ее сняли с выставки и запретили показывать. Теперь один адвокат (я не знаю его), решился на свой счет и риск везти картину в Америку, и вчера я получил письмо о том, что картина уехала. Цель моего письма—та, чтобы обратить ваше внимание на эту, по моему мнению, составляющую эпоху в истории христианской живописи, картину, и если она, как я почти уверен, произведет на вас то же впечатление, как на меня, то я хочу просить вас содействовать пониманию ее американской публикой, растолковать ее. Смысл картины, на мой взгляд, следующий. В историческом отношении она выражает ту минуту, когда Иисуса после бессонной ночи, во время которой, его связанного водили из места в место и били, привели к Пилату. Пилат живет только интересами метрополии и, разумеется, с презрением и некоторой гадливостью относится к тем смутам, да еще религиозным, грубого суеверного народа, которым он управляет. Тут-то происходит разговор (Иоанн, XVIII, 33, 38), в котором добродушный губернатор хочет спуститься, en bon, prince, до варварских интересов своих подчиненных, и, как это свойственно важным людям, составил себе понятие о том, о чем он и спрашивает, и сам вперед говорит, не интересуясь даже ответом. С улыбкой снисхождения (я полагаю) все говорит: так ты царь! Иисус измучен, и одного

[1]) Архив Черткова.

[2]) Мы узнаем лучшие фрукты, потому, что птицы клевали их.

12. Лев Николаевич в 1892 году
(с фотографии Д. Ф. Самарина).

взгляда на это выхоленное, самодовольное, отупевшее от роскошной жизни лицо достаточно, чтобы понять ту пропасть, которая их разделяет, и невозможность или страшную трудность для Пилата понять его учение. Но Иисус помнит, что и Пилат человек и брат, заблудший, но брат, и что он не имеет права не открывать ему ту истину, которую он открывает людям, и он начинает говорить (37). Но Пилат останавливает его на слове—истина. Что может оборванный нищий сказать ему, другу и собеседнику римских поэтов и философов, сказать об истине? Ему не интересно дослушивать, что ему может сказать этот еврей и даже немножко неприятно, что этот бродяга может вообразить, что он может поучать римского вельможу, и потому он сразу останавливает его и показывает ему, что об этом слове и понятии *истина* думали люди поумнее, поученее и поутонченнее его и его евреев и давно уже решили, что нельзя знать, что такое истина, что истина—пустое слово. И сказав: «что есть истина» и повернувшись на каблучке, добродушный и самодовольный губернатор уходит к себе. А Иисусу жалко человека и страшно за ту пучину лжи, которая отделяет его и таких людей от истины, и это выражено на его лице. Достоинство картины, по моему мнению, в том, что она правдива (реалистична, как говорят теперь), в самом настоящем значении слова. Христос не такой, какого приятно бы было видеть, а именно такой, каким должен быть человек, которого мучили целую ночь и ведут мучить. И Пилат такой, каким должен быть губернатор. Эпоху же в христианской живописи эта картина производит потому, что она устанавливает новое отношение к христианским сюжетам. Это не есть отношение к христианским сюжетам, как к историческим событиям, как это требовали многие и всегда неудачно, потому что отречение Наполеона или смерть Елизаветы представляют нечто важное по важности лиц изображаемых: но Христос в то время, когда действовал, не был не только важен, но даже и заметен, и потому картины из его жизни никогда не будут историческими: отношение к Христу, как Богу, произвело много картин, высшее совершенство которых давно уже позади нас. В настоящее время делают попытки изобразить нравственное понимание жизни и учения Христа. И попытки эти до сих пор были неудачны. Где же нашел в жизни Христа такой момент, который важен был для него, для его учения и который точно также важен теперь для всех нас и повторяется везде и во всем мире, в борьбе нравственного, разумного сознания человека, проявляющегося не в блестящих сферах жизни, с преданиями утонченного, добродушного и самоуверенного насилия, подавляющего это сознание. И таких моментов много, и впечатление, производимое изображением таких моментов, очень сильно и плодотворно» [1]).

Картина благополучно вернулась из Америки и теперь находится в Третьяковской галлерее.

Повесть «Крейцерова соната», написанная Л. Н—чем в предыдущем 1889 г., запрещенная в сборнике памяти Юрьева, продолжала быстро распространяться в многочисленных рукописях, гектографированных копиях и заграничных изданиях. Всюду она поднимала серьезные и жаркие споры за и против высказанных в ней идей, читались рефераты, писались сочинения, критики. И особенно много получалось Л. Н—чем писем с одобрениями, порицаниями и с вопросами, раз'ясняющими то или другое положение повести. Л. Н—ч терпеливо прочитывал весь этот материал, и на письма, показавшиеся ему серьезными, старательно отвечал.

Высказываемые в письмах и разговорах положения наводили Л. Н—ча и на разные мысли по этим вопросам.

Интересны указания на источники некоторых основных мыслей, выраженных в «Крейцеровой сонате». Указание это мы находим в дневнике Л. Н—ча того времени:

---

[1]) Архив Черткова.

«Многие из тех мыслей, которые я высказывал в последнее время, принадлежат не мне, а людям, чувствующим родство со мной и обращающимся ко мне со своими вопросами, недоумениями, мыслями, планами.

«Так, основная мысль, скорее сказать, чувство «Крейцеровой сонаты» принадлежит одной женщине, славянке, писавшей мне комическое, по языку, письмо, но значительное по содержанию об угнетении женщин половыми требованиями. Потом она была у меня и оставила сильное впечатление.

«Мысль о том, что стих Матфея: «если взглянешь на женщину с вожделением» и т. д., относится не только к чужим женам, но и к своей, передана мне англичанином, писавшим это.

И так много других» [1]).

Отношения к «Крейцеровой сонате» были самые разнообразные. Для Л. Н—ча это отчасти был пробный камень для распознания людей, и в дневнике он записывает такую мысль:

«Думал по тому случаю, как некоторые люди относятся к «Крейцеровой сонате». Им кажется, что этот некто особенный человек, а во мне, мол, нет ничего подобного. Неужели ничего не могут найти?

«Нет раскаяния, потому что нет движения вперед, или нет движения вперед, потому что нет раскаяния. Раскаяние—это пролом яйца или зерна, вследствие которого зародыш и начинает расти и подвергается воздействию воздуха и света, или это последствие роста, от которого пробивается яйцо.

«Да, то же важное и самое существенное деление людей: люди с раскаянием и люди без него».

С большой радостью встречал Л. Н—ч сочувствие взглядам, выраженным в «Крейцеровой сонате». Так, он писал между прочим Хилкову:

«Меня очень обрадовало то, что «Крейцерову сонату» вы одобрили, т.-е. также думаете. Мысли, выраженные там, для меня самого были очень странны и неожиданны, когда они ясно пришли мне. И иногда я думал, что не оттого ли я так смотрю, что я стар. И потому мне важно суждение людей, как вы. Теперь я написал к этому послесловие—его от меня требовали многие—Чертков в том числе,—т.-е. ясно и определенно выразить, как я смотрю на брак. И нынче я кончил и с бывшим у меня датчанином-переводчиком отослал это послесловие в Петербург. Я его пришлю вам и мне опять интересно ваше мнение».

Сам Л. Н—ч не считал нужным это послесловие и уступил просьбам друзей, скрепя сердце.

Он пишет между прочим одному молодому человеку, выражавшему ему сочувствие:

«Очень рад буду прочесть то, что вы писали о моем рассказе.

«Я на-днях написал к этому послесловие, которое оказалось необходимым написать: так уж смело притворились люди, что они не понимают того, что там написано».

И на первое предложение Черткова об этом он отвечал отказом. Вот что он писал ему:

«В памяти у меня, главное, ваши заметки на мою повесть. Все совершенно верно, со всем согласен, но послесловие хотя и начал писать, едва ли напишу, и потому место о том, что идеал человечества есть не плодовитость, а исполнение закона достижения Ц. Б., совпадающего с чистотою и воздержанием, это место надо оставить, как есть. Мне тяжело теперь заниматься этим, да и просто не могу, misunderstandniss'ов не минуешь».

В окончательном виде, но с некоторыми пропусками, по требованию цензуры, «послесловие» было напечатано в журнале Грота «Вопросы философии и психологии».

---

[1]) Архив Черткова.

Интересен ответ Л. Н—ча на критику Л. Е. Оболенского. Вот что писал ему Л. Н—ч в апреле 1889 года:

«Я получил ваше письмо, Леонид Егорович, и меня очень огорчило то раздраженье против моего рассказа, которое я нашел в нем. Мне кажется, что причина та, что там сказано, что неправильность и потому бедственность половых отношений происходит от того взгляда, общего всем людям нашего мира, что половые отношения есть предмет наслаждения, удовольствия, и что потому для мужчины женщина, и надо бы прибавить, для женщины мужчина, есть орудие наслаждения, и что освобождение от неправильности и бедственности половых отношений будет тогда, когда люди перестанут так смотреть на это. Так думает П. (Позднышев), пострадав от этого, разделяемого им со всеми, взгляда. При этом прибавлено, что внешние умственные образования женщин, получаемые на курсах, не могут достигнуть этой цели, как многие склонны думать, потому что никакое самое научное образование не может изменить взгляда на этот предмет, так как и не задается этой целью. Мне кажется, что я не ошибаюсь в этом. И потому мне кажется, что вы неправы в этом, неправы и в тех раздражительных нападках на рассказчика, преувеличивая его недостатки, тогда как по самому замыслу рассказа Позднышев выдает себя головой не только тем, что он бранит сам себя (бранить себя легко), но тем, что он умышленно скрывает все добрые черты, которые, как в каждом человеке, должны были быть в нем. И в азарте самоосуждения, разоблачая все обычные самообманы, видит в себе одну только живую мерзость.

«Ну, вот, что я имею сказать на ваше письмо. Право, это так. И если вы спокойно обсудите, вы, с вашим критическим нравственным чутьем, верно, согласитесь со мной.

«Ведь мне достоинство моих писаний и одобренье их мало интересно. Уж мне скоро помирать и все чаще и чаще думаю о жизни в виду смерти. И потому интересно важно для меня одно это, чтобы не сделать худого своим писанием, не соблазнить, не оскорбить. Этого я боюсь и надеюсь, что не сделал. Ну, до свиданья!».

Но было и много истинных ценителей ее. Помню, после одного из чтений этой повести вслух, в квартире Черткова, в Петербурге, Ив. Леонт. Щеглов, схватившись за голову, воскликнул: «Что сделал с нами Толстой! Ведь тут все сказано и писать больше нечего!»

Мы уже видели, какое мнение о ней высказал Н. Н. Страхов, выслушав в первый раз чтение этого произведения у Кузьминских. После этого ему еще удалось прочесть его у себя на дому, и вот в апреле 1890 года он пишет Л. Н—чу:

«С «*Крейцеровой сонатой*»—в литературном отношении я совершенно помирился, видя, как действует ваша повесть. Конечно, вы знаете, что целую зиму только об ней и говорили и что вместо *как ваше здоровье?*—обыкновенно спрашивали: *читали ли вы «Крейцерову сонату»?* Цензура очень вам услужила, задержавши печатание, и «Соната» известна теперь и тем, кто не читал «*Ивана Ильича*» [1]) и «*Чем люди живы*»,—или читал, да ровно ничего не вынес. А «*Соната*» написана так, что всех задела, самых бестолковых, которые приходили бы только в глупый, сладкий восторг, если бы она была написана полною художественною манерою. Как естественно, что вы торопились высказать нравоучение! Эта искренность и естественность подействовали сильнее всякого художества. Вы в своем роде единственный писатель: владеть художеством в такой превосходной степени и не довольствоваться им, а выходить прямо в прозу, в голое рассужденье—это только вы умеете и можете. Читатель при этом чувствует, что вы пишете от сердца, и впечатление выходит неотразимое. Разных мнений я передавать вам не стану, хотя много было наговорено презабавных глупостей. Поразительно то, что чаще всего не замечали нравственной цели, не видели осуждения эгоизма и распутства; так все сжились с привычками эгоизма и распутства, что прямо обижались на вас, зачем

[1]) Т.-е. «Смерть Ивана Ильича».

вы нападаете на неизбежное и на то, с чем мы прекрасно поживаем. Только молодые умные люди, только чуткие и умные женщины понимали ваше обличение, признавали зло, против которого вы восстали, и сочувствовали проповеди целомудрия. Меня удивила графиня Ал. Андр. Толстая—та прямо выпалила: «Как? Он хочет прекращения рода человеческого?»—Точно на ком-нибудь лежит обязанность хлопотать о продолжении этого рода! Уж не завести ли случные конюшни?» [1]).

Как мы уже упоминали раньше, в описываемый нами период жизни Л. Н—ч чувствовал особенно интенсивно необходимость внутренней духовной работы и отступал перед попытками изменить внешние формы, достигать внешних результатов. По этому поводу у него есть интересные заметки в дневнике и те же мысли развиваются им в письмах к друзьям, особенно обильных в это время.

В дневнике еще заметно колебание. Так, он пишет:

«9 марта. Главная разница во влиянии не христианства, но нравственного сознания на жизнь та, что для одних известные положения, сословия, учреждения мира признаются непоколебимыми, и уж в этих положениях они стараются следовать указанию христианства или нравственного учения: для других же, настоящих, является вопрос о самих положениях, о сословиях, об устройстве жизни, и все подлежит изменению. Для одних христианство есть руководство для поступков в известных положениях; для других оно—проверка законности самих положений.

«Богатый, высокопоставленный должен на пользу употреблять свое... и т. д. Вчера читаю в «New Christianity»: Christ must be in social life, in politics in business.—Как это? «Christ in business».

«Все равно, что Christ in Kicking или Killing (война).

«Да, прежде всего надо этим людям внушать, что все положения от земледельца до палача распределяются по своей нравственности: и потому мало быть хорошими в своем положении: надо избрать то или другое».

«17 марта. Два типа: один критически относится не только к поступкам, но и к положению, напр., не может взять место чиновника правительства, не может собирать и держать деньги, брать проценты и т. д. и вследствие этого всегда в нужде, в бедности, не может прокормить ни семьи, ни даже себя, и по своей слабости становится в унизительное для себя и тяжелое для других положение — просить, другой же относится критически только к своим поступкам, но положение принимает, не критикуя, и, поставив себя раз в положение чиновника, богатого человека, с избытком кормит себя, семью и помогает другим, и никому не в тягость (незаметно, по крайней мере).

«Кто лучше? Оба, но никак не последний».

И тут, в записи этого же дня, он переходит уже к сознанию наибольшей важности внутреннего духовного развития.

«Не стараться делать добро надо, а стараться быть чистым. Человек носит в себе алмаз, призму, который он может очистить, и не очистить. Насколько очищен этот алмаз, настолько светит через него свет Бога, светит и для самого человека, и для других. И потому все дело человека внутреннее, не в делании добра, не в свечении людям, а только в очищении себя. И свет, и добро людям—неизбежное последствие очищения».

Еще с другой стороны Л. Н—ч определял истинный характер нравственной работы человека над самим собой:

«Живой человек, который идет вперед туда, где освещено впереди него двигающимся фонарем, и который никогда не доходит до конца освещенного места, и освещенное место идет впереди него». В противоположность человеческим правилам и древнему закону Моисееву, дававшему установленные раз навсегда правила, которые Л. Н—ч сравнивал с фонарем, неподвижно стоящим на столбе, и пройдя кото-

[1]) Толстовский музей. Т. II. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894. СПБ. 1914. Стр. 400—401.

рый человек снова попадает в темноту, Л. Н—ч указывал на внутренний новый закон Христа, уподобляя его фонарю, несомому самим человеком на палке впереди себя.

В этом духе он пишет своим друзьям. Мы приведем здесь для образца два письма, написанные двум разным лицам. Письма эти интересны и сами по себе и особенно тем, что каждое из них, трактуя собственно одну и ту же тему, передает ее применительно к адресату.

Так, в письме к Хилкову, Л. Н—ч старается разрушить его веру во внешнюю организацию, в общину и убеждает его с этой стороны в необходимости внутренней работы, увеличения любви. Вот это письмо:

«Еще вы говорите, что вам не нравится совершенствование: оно слишком неопределенно и широко. Я это понимаю... Я об этом самом,—а это имеет связь с вопросами об общинах и о формах,—думал так (притча о садовниках»... Жизнь истинная дана человеку под двумя условиями: 1) чтобы он делал добро людям (добро же есть только одно—увеличивать любовь к людям—накормить голодного, посетить больного и т. д.,—все только для того, чтобы увеличить любовь к людям), а 2) чтобы он увеличивал данную ему силу любви. Одно обусловливает другое: добрые дела, увеличивающие любовь в людях, только тогда таковы, когда при совершении их я чувствую, что во мне увеличивается любовь, когда я делаю их любя, с умилением; увеличивается же во мне любовь только тогда, когда я делаю добрые дела и вызываю любовь в других людях. Так что, если я делаю добрые дела и остаюсь холоден, или если совершенствуюсь и думаю, что увеличиваю в себе любовь, а это не вызывает любви в людях (другой раз вызывает еще зло), то это не то. Только тогда—и мы все это знаем—я наверное знаю, что то, когда и я люблю больше и люди делаются от этого любовнее (между прочим это доказательство того, что любовь есть единая сущность—Бог один во всех—раскрывая его в себе, раскрываешь его в других, и наоборот).

«Так вот, я думаю, что всякое устройство, всякое определение, всякая остановка сознания на каком-нибудь состоянии, есть преобладание заботы об увеличении в себе любви, самосовершенствование без добрых дел. Самая грубая форма есть стояние на столбу, но всякая форма есть более или менее такое стояние. Всякая форма отделяет от людей, следовательно, и от возможности добрых дел и вызывания в них любви. Таковы и общины, и это их недостаток, если признать их постоянной формой. Стояние на столбу и ухождение в пустыню и житье в общине, может быть, нужно временно людям, но как постоянная форма—это очевидный грех и неразумие. Жить чистой, святой жизнью на столбу или в общине нельзя, потому что человек лишен одной половины жизни—общения с миром, без которого его жизнь не имеет смысла. Чтобы жить постоянно так, надо обманывать себя, потому что слишком ясно, что как невозможно в потоке мутной реки выделить каким-нибудь химическим процессом кружок чистой воды, так невозможно среди всего мира, живущего насилием для похоти, жить одному или одним святым. Ведь надо купить или нанять землю, корову, надо войти в отношение с внешним миром не-христианским. А в этих-то отношениях самое важное и нужное. Уйти от них нельзя, да и не следует. Можно только обманывать себя. Ведь все дело ученика Христа—установить наихристианнейшие отношения с этим миром.

«Представьте себе, что все люди, понимающие учение истины, как мы, собрались бы вместе и поселились бы на острове. Неужели это была бы жизнь? И представьте себе, что весь мир, все люди идут волей-неволей по одному и тому же пути, по которому мы идем: но люди, понимающие так же, как и мы, стоящие на той же ступени (теперь), разбросаны по всему миру, и мы имеем радость встречаться с ними, узнавать их и их работы. Разве это не лучше. И это-то самое есть.

«Вы говорите: нельзя любить Ирода. Не знаю. Но знаю и вы знаете, что его надо любить; знаю и вы знаете, что если я не люблю его, то мне больно, что у меня нет жизни (1 посл. Иоанн, 14), и потому надо стараться работать и можно.

«Я представляю себе человека, прожившего всю жизнь среди любящих его в любви, но не любившего Ирода, и другого, который все силы употребил на любовь к Ироду и оставался равнодушным к любящим его и 20 лет не любил, а на 21-м полюбил Ирода и заставил Ирода полюбить себя и других людей,—не знаю, кто лучше. «И если любите любящих вас, что особенное делаете?» [1]).

Второе письмо написано к Е. И. Попову, человеку совсем иного типа, весьма склонному к внутренней душевной борьбе и совершенно чуждому внешних, организационных стремлений; но и он не ушел от внешнего идеала и ставил себе нравственный идеал определенный, внешней формы или, по крайней мере, степени, и Л. Н—ч старается оберечь его от этого увлечения и пишет ему так:

«То, о чем я писал вам, продолжает занимать меня. Это всем нам, всем людям нужно. И дорога хоть какая-нибудь помощь в единой, нужной всем, работе. Я думал об этом и не дописал вам, кажется, еще вот что:

«Ослабляет нас в нашей борьбе с искушением то, что мы задаемся вперед мыслью о победе, задаем себе задачу сверх сил, задачу, которую исполнить или не исполнить вне нашей власти. Мы, как монах, говорим себе вперед: я обещаюсь быть целомудренным, подразумевая под этим внешнее целомудрие. И это, во-первых, невозможно, потому что мы не можем представить себе тех условий, в которые мы можем быть поставлены, и в которых мы не выдержим соблазна. И кроме того дурно; дурно потому, что не помогает достижению цели—приближения к наибольшему целомудрию, а наоборот.

«Решив, что задача в том, чтобы соблюсти внешнее целомудрие, или уходят из мира, бегут женщины, как афонские монахи, или скопятся и пренебрегают тем, что важнее всего: внутренней борьбой с помыслами, в миру среди соблазнов. Это все равно, как воин, который сказал бы себе, что он пойдет на войну, но чтобы с тем условием, чтобы наверно победить. Такому воину придется уходить от врагов настоящих, воевать с воображаемыми врагами. Такой воин не выучится воевать и будет всегда плох.

«Кроме того это поставление себе задачей внешнего целомудрия и надежда, иногда уверенность осуществить его, невыгодно еще и оттого, что, стремясь к этому, всякое искушение, которому подпадает человек, и тем более падение, сразу уничтожает все, заставляет усумниться в возможности, даже законности борьбы. «Так, стало быть, нельзя быть целомудренным, и я поставил себе ложную задачу». И кончено, и человек отдается весь похоти и погрязает в ней. Это все равно, что воин с амулетом, который, в его воображении, обеспечивает его в том, что он не будет ни убит, ни ранен. Такой воин теряет последнее мужество и бежит при малейшей ране-царапине.

«Задачей может быть одно: достижение наибольшего, по моему характеру, темпераменту, условиям прошедшего и настоящего, целомудрия—не перед людьми, которые не знают того, с чем мне надо бороться, а перед Богом и собой. Тогда ничто не нарушает, не останавливает движения, тогда искушение, падение, даже, все ведется к одной вечной цели—удаления от животного и приближения к Богу.

«Это-то и приводит меня к самому главному, о чем я тоже писал, но не договорил.

«Все дела, которые совершает человек, можно разделить на три разряда дел: одни—такие, которые мы делаем, не спрашивая себя о них, хороши ли они или дурны, делаем их, не замечая их; другие—такие дела, которые мы, как говорит Павел, считаем дурными, но все-таки делаем, такие дела, которые мы желаем делать, но не всегда делаем, или не желаем делать, а все-таки иногда делаем; и третьи—такие дела, которые мы желаем делать и всегда делаем, или не желаем делать и никогда не делаем. Первый разряд дел это—те, которые еще не подпадали под суд нашей совести, но из которых, по мере движения нашей жизни, все больше и больше дел

---

[1]) Архив Черткова.

подпадает под суд и переходит во второй разряд. Третий разряд дел это—те, которые уже прошли суд нашей совести и, разделившись на добрые и злые, желательные и нежелательные, стали достоянием нашей нравственной природы,—это наш рост жизни, наше единственное и неотъемлемое богатство, приобретенное жизнью. (Это то, что я прежде мог подраться, напиться, блудить и т. п., теперь не то, что не хочу, но уже не могу.) Так что первый разряд это—материал для переработки жизнью; третий разряд это—изготовленное, совершенное жизнью, лежащее в кладовой, второй разряд это—то, что теперь на верстаке, что работается.

«И как удивительно счастливо, радостно положение людей: хочешь, не хочешь—в жизни перерабатывается этот третий разряд: мужает человек,—мудреет умом и опытом, стареется,—слабеют страсти и дело жизни совершается. Если же в этом деле положить весь смысл, всю цель жизни, то—постоянная радость постоянного успеха.

«Так вот понимать это и сознавать, какие дела принадлежат к какому разряду, и все внимание напрягать на второй разряд,—это поможет в борьбе» [1]).

Всякому прочитавшему это письмо бросится в глаза близость начала его к сюжету рассказа Л. Н—ча: «Отец Сергий». Мысли, изложенные в нем, настолько сильно занимали Л. Н—ча, что его художественное воображение во сне создавало ему образы, выражающие эти мысли. Так и возник сюжет «Отца Сергия». Л. Н—ч сначала увидал во сне и потом рассказал этот сюжет в письме к В. Г. Черткову и тот переписал его и возвратил его Л. Н—чу, прося его не оставлять этого прекрасного начала. Л. Н—ч стал развивать сюжет и, увлекшись, написал чудное художественное произведение.

На всю эту внутреннюю, духовную борьбу нужно было много силы и Л. Н—ч находил ее и другим советовал находить в молитве. И опять в этом же, 1890 году мы находим много мыслей о молитве, разбросанных и по записям дневников и по письмам к друзьям; мы постараемся сопоставить наиболее интересные из них, чтобы дать понятие тогдашнего отношения Л. Н—ча к этому важному рычагу духовной жизни.

Вот выписки из его дневника 1890 г., с июля по декабрь, ясно указывающие на ход развития мысли о молитве, приведшей его к сознанию необходимости полного смирения.

«16 июля 1890. Много и часто думал эти дни, молюсь о том, что думал сотни, тысячи раз, но иначе, именно, что мне хочется так-то именно, распространением Его истины не словом, а делом: жертвой, примером жертвы служить Богу. И не выходит. Он не велит.

«Вместо этого, я живу, ведя сам со всеми детьми грязную, подлую жизнь, которую лживо оправдываю тем, что я не могу нарушить любви. Вместо жертвы, примера победительного,—скверная, подлая, фарисейская, отталкивающая от учения Христа жизнь.

«Но ты знаешь, что в моем сердце и чего я хочу. Если не суждено, не нужен я тебе на эту службу, а нужен на навоз, да будет по-твоему.

«Это скверный эгоизм. И нельзя оправдываться тем, что я хочу успеха дела установления Царства Бога, и оттого грущу. Грустить об этом нечего. И без меня сделается.

«Самому хочется? Да. «Но хлеб наш насущный даждь нам днесь». Дай мне жизни настоящей. И эта жизнь есть, и дана, и просить нечего.

«Господи, Отец, люблю Тебя, возьми меня. И благодарю Тебя за то, что Ты открыл Себя мне, не скрывался от меня.

«30 июня 1890. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и Я успо-

---

[1]) Архив Черткова.

кою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо Я кроток и смирен сердцем: и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо и бремя мое легко есть».

«Глубоко значение этого. Все беспокойство только от несмирения. Если быть готовым ко всякому унижению, то какое спокойствие.

«И как легко: «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен, унижен сердцем. Будьте смиренны, и тогда только найдете покой душам вашим».

«5 июля 1890. Молился, когда встретил N. Он сказал, что мысль не всегда с одинаковой силой действует. Да, молиться можно только тогда, когда новый луч проникает в сердце или то—молитва, когда новый луч проник в сердце и ты живешь при свете этого луча.

«Как хорошо мне было, когда я мог вызвать не мысль о Боге, а мог стать перед лицом Его. А потом утратилось. Не совсем, но утратилось.

«Потом было сознание того, что нельзя, не должно огорчаться тем, что я не могу служить Богу так, как мне хочется,—проповедником, что Он знает зачем я ему нужен. И то и делать.

«Потом было сознание радости, спокойствия, унижения, смирения. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо и бремя легко». Думал, что беда в том, что я позволял зарождаться в себе духу недоброжелательства, а что нужна любовь.

«Нынче опять живо вспомнил, как бы хорошо так смириться.

«19 авг. 1890 г. Когда молишься: «Оставь нам долги наши» и т. д., надо вспоминать хорошенько свои грехи, и хорошенько свои глупости.

«Ну, я сержусь на тупость людей: а давно ли я мечтал о лошадях, о том, что мне царь подарит засеку, окружающую Ясную Поляну.

«Тупости и гадости для нехристя нет пределов, и все равны и на всех сердиться нельзя.

«9 ноября. Нынче думал на молитве:

«И не простит вам Отец ваш небесный, если каждый из вас не простит от сердца своего брату своему, все прегрешения его. Это имеет тот смысл, что как же я хочу, чтобы мне простились, не имели для меня последствий, не мучили меня все прегрешения мои, если я и то не могу простить. Если в моем сердце, которое могло бы выпустить из себя следы, оставленные на нем делами других, и то застревают эти дела, как же им, моим грехам, не застревать во всем окружающем мире.

«Это—один смысл, но другой смысл тот, что если бы я мог простить всем все, то это самое мое состояние прощения, примирения со всем миром стерло бы и все следы моих грехов в мире. Вспоминаю свои грехи: то, что не прощено мне в них, мое теперешнее дурное богатое положение, мои отношения к людям. Стоит мне простить все всем, простить суждения неправильные обо мне, вызванные моим положением, простить людям, стереть все, отнестись к ним сначала с любовью,—и отношение к ним меняется. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Истина же есть любовь.

«21 ноября. Все так же радостно молюсь. Молитва всегдашняя теперь: не людям, а Тебе, и перед Тобою работаю, и не этой жизнью хочу жить, а все той истиною бессмертною.

«26 декабря. Нынче, молясь об искушении славы людской, о том, что презирание нас людьми должно быть радостно для нас, думал об юродстве, прикидывая его к себе, и почувствовал опасность юродства для такого слабого человека, как я. Если совершенно отрешиться от людского мнения о себе, будешь искать осуждения, то лишишь себя сдерживающей силы людского мнения, которое для слабого человека еще нужно.

«Я думаю, что это есть Ахиллесова пята юродства. Начнет делать для того, чтобы люди осуждали его, а потом отдается соблазну».

У друзей его, развивавшихся под его руководством, часто возникали одновре-

менно мысли, подобные его мыслям, и Л. Н—ч всегда радостно встречал эти проявления духовного движения и давал советы своей старческой опытности, исправляя увлечения и ошибки молодежи.

Так, в этом же году я обратился ко Л. Н—чу с вопросом, именно «о молитве», сообщив ему свое определение молитвы, выразившееся у меня в такой форме: «Молитва есть восстановление нарушенного общения с Богом». Быть может, я не совсем ясно выразил свою мысль; к тому же я вполне сознаю, что она была узка, односторонняя, и вот Л. Н—ч в ответном письме ко мне исправляет мое определение, дает свое и излагает содержание своей молитвы того времени.

«Это так, я думаю. Молитва нужна.

«Начал так. Хотел согласиться с вами, но спросив себя поглубже, увидал, что нет. Для меня не так. Молитва не есть только заглаживание своего разрыва с Богом, молитва для меня есть, с одной стороны, сознание моего отношения к Богу, с другой стороны, есть увеличение моей духовной силы, есть, как разведение паров, которые будут работать, размахивание колеса, набирание силы. (Я говорю тут только то, что знаю из опыта.) Молюсь я часто, т.-е. раза два—три в день, и всегда «Отче наш». Пробовал я слагать свои молитвы—последнее время сложил молитву, выражавшую сознание того, что я есмь орудие, орган Бога и что я желаю одного: исполнять свое назначение без небрежности и без напряжения, постоянно сознавая, что через меня действует сила Божия, и иногда я вспоминаю это. Но как молитва «Отче наш» остается для меня не то, что незаменимым, но заменяющим и исполняющим все требования сердца. «Отче наш» для меня теперь выражается пятью положениями, которые так мне ясны, необходимы, связаны между собою и радостны, что они свободно возникают в душе и всякий раз говорят как будто что-то новое, из меня исходящее. 1) Свята сущность твоя — любовь. Стало быть, все должно быть меряно и руководимо только ею—любовью. И сейчас уж становится тверже и легче, и все затруднения распутываются. 2) Указание того, что делать надо, руководясь любовью в том, чтобы делать то, что содействует установлению Царства Твоего, свободного, радостного на земле, как на небе. Это дает содержание любовной деятельности, если не знаешь, что делать вообще или что из двух. 3) И делать это дело любовного установления Царства Божия я хочу и буду теперь, сейчас, сию минуту, там, где и с кем я теперь. И это еще усиливает размах и дает страшную твердость, если только слился с этою мыслью. 4) Если есть препятствия к этому, то только в моем прошедшем, в грехах—хочу избавиться от них (грехи похоти, грех самолюбия, грехи нелюбовности). Да я и просто говорю и люблю это говорить: прости мне, как я говорил перед людьми, каясь. Я говорю это, вспоминаю грехи других, самые мне противные, и прощаешь, не только прощаешь, не понимаешь, как можно сердиться, не прощать. И 5) боюсь искушений похоти, самолюбия, злости, и бегу от них; но главное, главное зло в сердце, — оно мешает. Его чтоб не было. Вот так и молюсь иногда даже в трудные минуты и будучи между людьми и знаю так же, как знает машинист, прорезавши половину сугроба, но завязши все-таки, что если он проехал половину большого сугроба, а маленький совсем переехал, то только потому, что разводил пары. Так знаю и я, что если бы я не молился, то было бы несравненно хуже. И знаю еще, что если бы я достиг того, возможность чего как будто вижу, когда молюсь, то жить бы незачем было. Знаю, что совершенным надо быть, как Отец. Ну, вот. Пишу, что испытываю и как попало. Вы поймете. Ошибка главная в том, чтобы молитву делать обязательной. Мне она полезна, а могут быть люди, иначе устанавливающие свое отношение к Богу. Вера для меня же только одна, и в одно я верю: в то, что Отец, пославший меня сюда — добр — любовь. И наваливаюсь на Него, а Он делай, что хочет, и все будет не то, что хорошо, а божественно.

«Сколько вас знаю, думаю, что вам нужна молитва, как выражаемое сознание своего отношения к Богу. Я всегда искал и ищу своего. В «Отче наш» я впадаю невольно.

«Молитва это — символ веры (таков «Отче наш»), и повторить себе ясно, сжато, сильно всю сущность своего отношения к Богу дает силу».

Из внешних событий, совершавшихся в это время вокруг Л. Н—ча, можно указать на страшный пожар, истребивший несколько домов в Ясной Поляне. Л. Н—ч, конечно, был на пожаре, принимал деятельное участие в тушении пожара, забегал в уже горевшие избы, ища детей, которые, иногда от испугу забиваются под лавки и незамеченные сгорают. Из имевшегося у него фонда для бедных, он выдал пособие погоревшим по 15 р. на двор.

Посетители приезжали в Ясную в этом году не менее часто; из более интересных укажем на писателя Н. С. Лескова, в это время чрезвычайно приблизившегося ко Л. Н—чу как своими писаниями, так и своим религиозным сознанием.

Затем Л. Н—ча посетил немецкий писатель и директор Шиллеровского театра в Берлине, Рафаил Левенфельд, собравший в свою поездку много биографического материала и написавшего прекрасный и самый полный, для того времени, биографический очерк о Л. Н—че, изданный им в Берлине по-немецки и вышедший затем в двух русских изданиях. Очерк этот обнимает первый период жизни Л. Н—ча до Анны Карениной.

Второй раз навестил Л. Н—ча профессор Массарик из Праги, все с тою же любовью относившийся ко Л. Н—чу. Приезжали молокане из Нижегородской губернии; затем из более частых обычных посетителей: Чертков, Грот, Страхов, который своим верным чутьем так прекрасно выразил в письме ко Л. Н—чу в нескольких словах значение его дела. Страхов между прочим писал: «Таково положение России: между революционерством и ретроградством нет прохода. Эти два течения все душат. Поэтому то, что вы сделали, ваше заявление самобытной религиозной мысли—я считаю великим делом».

Наконец, к концу августа приехал гостить Н. Н. Ге, покончив хлопоты со своей картиной. Это пребывание Н. Н. Ге ознаменовалось важным событием. Н. Н. вылепил прекрасный бюст Л. Н—ча. В это же время Н. Н. написал портрет Марьи Львовны, как все его вещи, отличающийся большой задушевностью.

В этом же году вышел в печати обычный всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. Синода о состоянии Православной Церкви. При перечислении разных опасностей, грозящих спокойствию Церкви, конечно, был упомянут и Л. Н. Толстой. При этом сделана оговорка, что вред Л. Н—ча парализуется благонадежным состоянием семьи Л. Н—ча, которую графиня ведет в духе православия и которая не дает Л. Н—чу вести свою тайную пропаганду. При этом было упомянуто, что сыновья Л. Н—ча «начали ограничивать его расточительность». В газете «Новое Время» была напечатана заметка о ереси Толстого и приведены именно эти выражения. Сергей Львович Толстой, бывший в это время в Петербурге, прочел эту заметку и возмутился заключавшеюся в ней ложью. Братья его присоединились к его протесту и Суворин напечатал, по просьбе Сергея Львовича, следующий протест:

«М. Г. г. редактор!

В «Новом Времени» от 8 мая было помещено извлечение из всеподданнейшего отчета г. обер-прокурора Св. Синода за 1887 г. относительно «распространения в Кочаковском приходе миросозерцания и нравственных убеждений гр. Л. Н. Толстого». В этом извлечении мы прочли между прочим, что граф Толстой «уже не имел возможности в прежних размерах оказывать крестьянам помощь из своего имения, так как старшие его сыновья начали ограничивать его расточительность и преследовать

проступки против его собственности и уже не дозволяют хищнически хозяйничать в его имении».

Как старшие сыновья графа Л. Н. Толстого, считаем своим долгом печатно заявить:

Во-первых, что отец, как известно из его сочинений, признает действительной только помощь *личным трудом*, что утверждает также отчет г-на обер-прокурора, где говорится, что гр. Толстой «при случае оказывает помощь бедным своими трудами». При таком воззрении нет места расточительности.

Во-вторых, что мы не только никогда не позволили бы себе ограничивать расточительность отца, на что мы не имеем никакого права, но что мы считали бы неуважительным и непозволительным всякое с нашей стороны вмешательство в его действия.

Надеемся, что газеты, поместившие извлечение из всеподданнейшего отчета г. обер-прокурора, не откажут перепечатать настоящее письмо. Примите и пр.

Старшие сыновья гр. Л. Н. Толстого: Сергей, Илья, Лев Толстые» [1]).

Из литературных работ, начатых Л. Н—чем в этот, столь плодотворный год, кроме уже упомянутых, следует указать на «Воскресение», которое тогда еще называлось просто: «Копевской повестью», т.-е. повестью, сюжет которой был сообщен Л. Н—чу Анатолием Федоровичем Кони из его уголовной практики. В это же время он поправляет написанную раньше повесть «Ходите в свете». Тогда же было начато Л. Н—чем большое произведение «Царство Божие внутри вас». Возникло оно из простого предисловия к двум американским статьям, поразившим Л. Н—ча ясностью своей мысли и близостью к нему понимания учения Христа; статьи эти были: «Катехизис непротивления» Адина Балу и «Провозглашение общества непротивления» Ллойда Гарриссона. Вначале Л. Н—ч думал выпустить их отдельно, лишь с небольшим предисловием, в котором он обращал внимание читателя на то, что вопрос о «непротивлении», так удививший русскую и европейскую публику в 80-х годах, свободно трактовался в Америке 50 лет тому назад и исповедывался значительными группами интеллигентных людей и видными общественными деятелями.

В то же время учащавшиеся случаи отказа от военной службы привлекли особое внимание Л. Н—ча и он начал писать сочинение, в котором задался целью проанализировать причины существующего зла военщины и наметить способы борьбы с ним.

В одном из писем того времени он между прочим писал мне:

«Пишу теперь о противлении злу, о церкви и о воинской общей повинности. Все это в связи и все это очень важно. Я чувствую, что обязан—не написать (это от Бога зависит), а писать это» [2]).

Дневник и письма того времени показывают нам, как полон он был мыслями об этих вопросах и как всесторонне он обсуждал их.

В ноябре он записывает в своем дневнике:

«Думал к статье о непротивлении:

«Низшие рабочие классы всегда ненавидят и только ждут возможности выместить все накипевшее, но верх теперь правящих классов. Они лежат на рабочих и не могут выпустить: если выпустят, им конец. Все остальное—игра, комедия: сущность дела—это борьба на жизнь и смерть. Они, как разбойники, караулят добычу и защищают добычу от других» [3]).

В это время вопрос о непротивлении вылился у него уже в определенную, не

---

[1]) «Толстовский Ежегодник» 1913 года. Отдел «Статьи и материалы». Стр. 73—74.

[2]) Архив П. И. Бирюкова.

[3]) Архив Черткова.

отрицательную, а положительную форму. Он прекрасно выразил это в письме к одному из друзей:

«Ведь все это, кажущееся сложным, положение о непротивлении злу и возражение против него сводится к тому, что вместо того, чтобы понимать, что сказано: злом или насилием не противься злу или насилию, понимается (мне даже кажется нарочно), что сказано: не противься злу, т.-е. потакай злу, будь к нему равнодушен, тогда как противиться злу, бороться с ним есть единственная внешняя задача христианства, и что правило о непротивлении злу сказано, как правило, каким образом бороться со злом самым успешным образом. Сказано: вы привыкли бороться со злом насилием, отплатой. Это нехорошее, дурное средство. Самое лучшее средство—не отплатой, а добром. Вроде того, как если бы кто бился отворять дверь наружу, когда она отворяется внутрь, и знающий сказал бы: не туда толкайте, а сюда тяните».

Его отрицательное отношение к церковному учению, которое он так определенно ставил в тесную связь с насильническим устройством мира, характерно выражено им в письме к Хилкову:

«То, что вы пишите, очень, очень интересно и много заняло меня, именно наше отношение к церковной вере. Я пришел к следующему: отчего я не волнуюсь, не вступаю в рассуждения по случаю распоряжений министра финансов о конверсиях или министра военного о мобилизации и т. п. Оттого, что все конверсии и мобилизации чужды мне: я знаю, что это происходит в области заблуждений, греха. Почему распоряжения, проповеди архирея и исцеление Иоанна как будто вызывают во мне протест, желание сказать, что это нехорошо, что это обман. Это оттого, что обманутый словом «христианский», я предполагаю, что это деятельность родственная мне, в одном направлении, только отклоняющаяся. Если вы во мне заметите отклонение и я в вас, мы ведь сейчас с жаром станем говорить друг другу. Хотя церковные христиане и священник Иоанн и гораздо отдаленнее нам кажутся от нас, но все-таки мы признаем их занятыми одним с нами и от этого наше желание поправить их ошибки. Но это—заблуждение. Между нами и ими, т.-е. их деятельностью и нашей (люди всегда останутся братьями и нашим братом бедный Иоанн) нет ничего общего. Менее, чем между деятельностью военного министра и нашей. Нас вводит в заблуждение слово. Я это с болью, страданием изведал. На слово «христианский» бросишься—и вдруг оказывается, что тут ничего нет похожего и ты во всем помеха. Я стараюсь выработать и отчасти достигаю и вам желаю такое отношение к этим делам, т.-е. слушать рассказ о том, как тот ходил причащаться, а этот к священнику Иоанну так, как слушать рассказ о том, как этот ездил с визитом, а этот затравил зайца.

«Рассказ ваш об Иоанне чудесен, я хохотал все время, пока читал его вслух. Тут ужасно то, что сделали в продолжение 900 лет христианства с народом русским. Он, особенно женщины, совершенно дикие идолопоклонницы. Тот дух христианский, выражающийся в милостыне, в милосердии вообще, занесен помимо, malgré церкви».

У Л. Н—ча было право так смотреть на мирскую жизнь, так как он, во-первых, беспощадно обличал и самого себя, когда он предавался мирским страстям, и во-вторых, это обличение не вызывало у него злобы на людей. Напротив, параллельно с этим обличением в нем шла напряженная работа по выработке общего благоволения к людям.

Обличая свою прежнюю жизнь, он записывал в своем дневнике этого года:

«Я вспомнил, как я играл в карты, выигрывал деньги и как я смотрел на них, как на естественное, законное средство наслаждения. И пока сомнений не было. И я любил их. Деньги были для меня тогда нечто основное. За ними ничего не было. Так теперь многие смотрят».

И эти мысли поддерживали и укрепляли в нем терпимое отношение к недостаткам других людей и освобождали чувство благоволения к людям.

И в то же время он писал:

«Как хорошо в 15 стихе, 3 глава послания Иоанна: «человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Не человек вступает в жизнь вечную, а жизнь вечная бывает в человеке. И бывает, и есть она в человеке, когда есть в нем любовь, Бог, любовь ко всем, радостная и умиленная».

Одним из последних актов любви в этом году было заступничество Л. Н—ча за уголовных преступников. 26 ноября он ездил на суд и своим отчасти присутствием, отчасти беседой с прокурором, смягчил участь осужденных. Всем было понижено наказание и некоторые оправданы совсем, чего они и не ожидали.

Заканчивая описание жизни Л. Н—ча 80-х годов, приведем имеющиеся у нас данные о тех всемирных литературных произведениях, которые, по его собственным словам, имели на него преобладающее влияние во время его душевного кризиса и во время, последовавшее за ним.

Название сочинений.	Степень влияния.
Евангелия все, по-гречески.	Огромное.
Книга Бытия (по-еврейски).	Очень большое.
Henri George. Progresse and Poverty [1]).	Очень большое.
Parker. Discourse on religions subjects [2]).	Большое.
Robertsons sermons [3]).	Большое.
Фейербах. Сущность христианства.	Большое.
Pascal. Pensées [4]).	Огромное.
Эпиктет.	Огромное.
Конфуций и Менций.	Очень большое.
О Будде. Эдуарда Шюрэ и Евгения Бюрнуфа.	Огромное.
Лао-Дзы. Жюльена.	Огромное.

Мы приближаемся теперь к периоду жизни Л. Н—ча, в который ему пришлось выступить не только как художнику-мыслителю, но и как общественному деятелю в тесном смысле этого слова, на большой организаторской работе кормления голодающих, а также и в других областях жизни. Деятельность эта дала много тревог Л. Н—чу и в то же время возвела его популярность на необычайную высоту.

ГЛАВА 12-я.

В семье. Гости. Отречение от литературных прав.

Этот год во многих отношениях был значительным для Л. Н—ча как в его личной жизни, так и по участию в жизни общественной.

Зиму 1890—1891 годов Л. Н—ч с семьей проводил в Ясной Поляне.

В семейной жизни самым значительным делом был раздел имущества и отказ от литературных прав. И то и другое подготовлялось постепенно. Со времени вступления Л. Н—ча на новый путь жизни он не переставая тяготился окружающей его обстановкой и искал выхода и вел тихую, упорную, любовную борьбу. Иногда нервы его не выдерживали и происходили бурные вспышки, но потом он опять смирялся,

---

[1]) Генри Джордж. Прогресс и бедность.
[2]) Паркер. Речи на религиозные темы.
[3]) Робертсон. Проповеди.
[4]) Паскаль. Мысли.

терпел и ждал. При каждом новом утверждении его семейными прав собственности, как, напр., при новом выгодном издании его произведений, при насильственном ограждении его земельных прав, Л. Н—ч делал напоминание о том, что он считает собственность грехом, и после этого нередко происходила тяжелая семейная сцена.

Подобная сцена произошла в конце 1890 года.

Осенью 1890 года управляющий Ясной Поляны поймал мужиков в краже леса; их судили и присудили к шести неделям острога. Они приходили к С. А—не просить, чтобы их помиловали, и С. А—на сказала, что ничего не хочет и не может для них сделать.

Л. Н—ч, узнав об этом, сделался страшно мрачен, и вот 15-го декабря ночью у него с С. А. был крупный разговор и он снова убеждал ее все раздать и говорил, что она пожалеет после его смерти, что не сделала этого для счастья их и всех детей. Он говорил, что видит только два выхода для своего спокойствия: один — это уйти из дома, о чем он и думал и думает; а другой — отдать всю землю мужикам и право издания его сочинений в общую собственность. Он говорил С. А—не, что если бы у нее была вера, она сделала бы это из убеждения. Если бы была любовь к нему, то из-за нее она сделала бы это и, наконец, если бы у нее было уважение к нему, то она постаралась бы, оставя все так, как есть, не делать ему таких неприятностей, как эта.

Этот случай показал всем семейным еще раз, что так или иначе вопрос о семейной собственности должен быть решен и со Л. Н—ча должна быть снята ответственность в распоряжении ею.

Семья Л. Н—ча, за немногими исключениями, далеко не разделяла его взглядов на собственность, и вот, наконец, назрел момент для разрешения этого затянувшегося конфликта. У многих членов семьи возникла мысль просить Л. Н—ча подписать бумагу о разделе имущества.

Как ни тяжело ему было это новое утверждение собственности, но он согласился на это, не видя иной возможности развязать этот узел.

Формальное совещание о разделе произошло на страстной неделе. С'ехались все члены семьи.

Отношение к этому делу Л. Н—ча ясно видно из его письма к одному из друзей от 17 апреля 1891 года.

«Теперь все собрались дети... и решили делить именье... Я должен буду подписать бумагу дарственную, которая меня избавит от собственности, но подписка которой будет отступлением от принципа. Я все-таки подпишу, потому что не поступив так, я бы вызвал зло».

Несмотря на спокойный тон этих строк, из дальнейшей части письма явствует его душевное волнение:

В том же письме он пишет:

«Пишу нехорошим почерком, потому что приехал из Ясенок и руки озябли, а нехорошо по содержанию, потому что несовсем хорошо настроен. Но хочется поскорее написать».

В этот день действительно Л. Н—чем подписан акт раздела, но самая процедура тянулась еще долго и закончилась только в июне следующего 1892 года.

Постоянное ясное сознание Л. Н—чем того ужасающего противоречия, которое лежит между двумя классами—работающих и праздных, выливалось нередко в его дневнике скорбными и полными глубокого смысла словами. Такова следующая запись Л. Н—ча в дневнике того времени, затрагивающая вопрос о борьбе с этим неравенством и противоречием:

«Зашел к Василию с разбитыми зубами, — нечистота рубах и воздуха и холод, главное—вонь поразила меня, хотя я знаю это давно.

«Да, на слова либерала, который скажет, что наука, свобода, культура исправит все это, можно отвечать только одно: «Устраивайте, а пока не устроено, мне тяжелее

жить с теми, которые живут с избытком, чем с теми, которые живут с лишениями. Устраивайте, да поскорее, я буду дожидаться внизу.

«Ох, ох. Ложь-то, ложь как в'елась. Ведь что нужно, чтобы устранить это? Они думают, чтобы всего было много, и хлеба, и табаку, и школ. Но ведь этого мало. Константин лепится. Чтобы устроить, мало материально все переменить, увеличить; надо душу людей переделать, сделать их добрыми и нравственными. А это не скоро устроите, увеличивая материальные блага.

«Устройство одно—сделать всех добрыми. А чтобы хоть не сделать это, а содействовать этому, едва ли не лучшее средство — уйти от празднующих и живущих потом и кровью братьев, и пойти к тем замученным братьям».

«Не едва ли, а наверно».

Литературной работой Л. Н—ча того времени были две главные вещи: статья об искусстве и науке и статья о «непротивлении злу», как он называл сначала свое будущее сочинение «Царство Божие внутри нас».

Начало статьи об искусстве было давно уже набросано Л. Н—чем по просьбе Гольцева. Потом Л. Н—ч остановился в этой работе и черновики ее хранились у В. Г. Черткова. Вероятно, по просьбе кого-нибудь из редакторов Л. Н—ч снова взялся за нее, попросив Черткова прислать начало.

2 января 1891 года Л. Н—ч между прочим пишет ему:

«Нынче же получил рукопись об искусстве и просмотрел ее, не касаясь. Казалось бы, что воздержавшись от попыток углубления и раз'езжания в сторону, можно бы привести ее в порядок, что и постараюсь сделать как можно скорее».

Но вскоре он отказывается от этой мысли и пишет:

«Получил «об искусстве» и начал работать на этом. Все углубляется и разрастается. Я не даю хода и надеюсь ограничить и кончить. Но в таком виде невозможно».

И работа эта снова откладывается, в феврале он уже пишет между прочим Черткову:

«Посылаю тоже мое писание о науке и искусстве. Хочу на время не развлекаться и отдать все свои слабеющие силы статье о непротивлении злу. Все думается, что она нужна, нужнее всего другого. О науке и искусстве я писал более для себя, а *то* иногда кажется, что для Бога».

Этому своему писанию он придавал действительно первенствующее значение. Около того же времени он писал своему другу Марье Александровне Шмидт, жившей тогда на Кавказе:

«Я много занимаюсь писанием. Пишу очень медленно, переделываю бесчисленное число раз и не знаю, происходит ли это оттого, что ослабели умственные силы, в чем дурного ничего нет (только бы способность любви росла), или оттого, что предмет, о котором пишу, очень важен. Предмет все тот же: необходимость для людей нашего времени принять на деле учение Христа и что из этого будет».

Порой его охватывало страстное желание художественной работы. И он спешил делиться этим чувством с Софьей Андреевной, зная, что доставит ей этим большую радость. Так, он писал ей в январе того же года: «...Как бы хорошо писать роман, освещая его теперешними взглядами...

«...И так мне весело и бодро стало (от мысли о художественном писательстве); но пришел домой, взялся за науку и искусство, и запнулся».

Работа над этими двумя статьями подвигалась медленно. Л. Н—чу сначала не удавалось найти форму; это беспокоило его, а самое беспокойство указывало ему на признак тщеславия, и он в дневнике своем записывал такие покаянные строки:

«Сейчас и нынче, как и все дни, сидел над тетрадями начатых работ о науке и искусстве, и о непротивлении, и не могу приняться за них; и убедился, что это грех. Оттого, что я хочу, чтобы было то, что *я* хочу и как *я* хочу, а не то, что Он, и как Он хочет. Праздность физическая оттого, что прямо не в силах, праздность

умственная преимущественно оттого, что хочу по-своему. Ну, отрывки; ну, без связи; ну, не ясно, ну, пусть будет то, что Он хочет и внушает мне».

Мысли о литературных произведениях своих и чужих наводили его на мысли о состоянии современной критики, и в дневнике его того времени мы находим такое строгое суждение о ней:

«Сейчас думал про критиков.

«Дело критиков—толковать творение больших писателей, главное — выделять из большого количества написанной всеми нами дребедени, — выделять самое лучшее.

«И вместо этого, что же они делают? Вымучат из себя, а то большей частью из плохого, но популярного писателя, выудят плоскую мыслишку и начинают на эту мыслишку, коверкая, извращая писателей, нанизывать их мысли так, что под их руками большие писатели делаются маленькими, глубокие — мелкими, и мудрые — глупыми.

«Это называется критика. И отчасти это отвечает требованию массы: она рада, что хоть чем-нибудь, хоть глупостью пришпилен большой писатель и заметен, памятен ей. Но это не есть критика, т.-е. уяснение мысли писателя, а это затемнение его» [1]).

В феврале Л. Н—ч был обрадован посещением стариков Ге, Н. Н—ча и его супруги Анны Петровны. Н. Н. ехал по обыкновению на передвижную выставку и вез туда свою новую картину, под названием «Совесть».

Вот что писал мне Л. Н—ч об этой картине:

«Картина представляет Иуду: лунная ночь (куинджевская), Иуда стоит на первом плане и смотрит вперед на кучку людей, уже далеко с факелами уводящих Христа. Хорошо, задушевно, но не так сильно и важно, как «Что есть истина».

---

25 февраля был арестован 13-й том полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, изданный отдельно Софьей Андреевной; предметом ареста была напечатанная там «Крейцерова соната», уже в предыдущем году запрещенная для напечатания в юрьевском сборнике и в журнале Гайдебурова.

С. А—на, сожалевшая о том, что новое художественное произведение Л. Н—ча не увидит света, и терпевшая, кроме того, вследствие этого запрещения большой материальный ущерб, не могла помириться с этим распоряжением.

Она обратилась сначала за советом к графине Александре Андреевне Толстой, нельзя ли довести об этом до сведения государя. Александра Андреевна ответила ей, что нужно просить министра. С. А—на последовала этому совету и написала министру внутренних дел Дурново, прося его снять запрещение. На это она получила вскоре письмо от Феоктистова, тогдашнего начальника главного управления по делам печати, такого содержания:

«Министр внутренних дел получил письмо вашего спятельства и поручил вам передать, что при всем желании оказать вам услугу, его высокопревосходительство не в состоянии разрешить к печати повесть «Крейцерову сонату», ибо поводом к ее запрещению послужили не один только, как вы изволите предполагать, встречающиеся в ней неудобные выражения».

Не удовлетворившись этим ответом, Софья Андреевна поехала в Петербург хлопотать у государя.

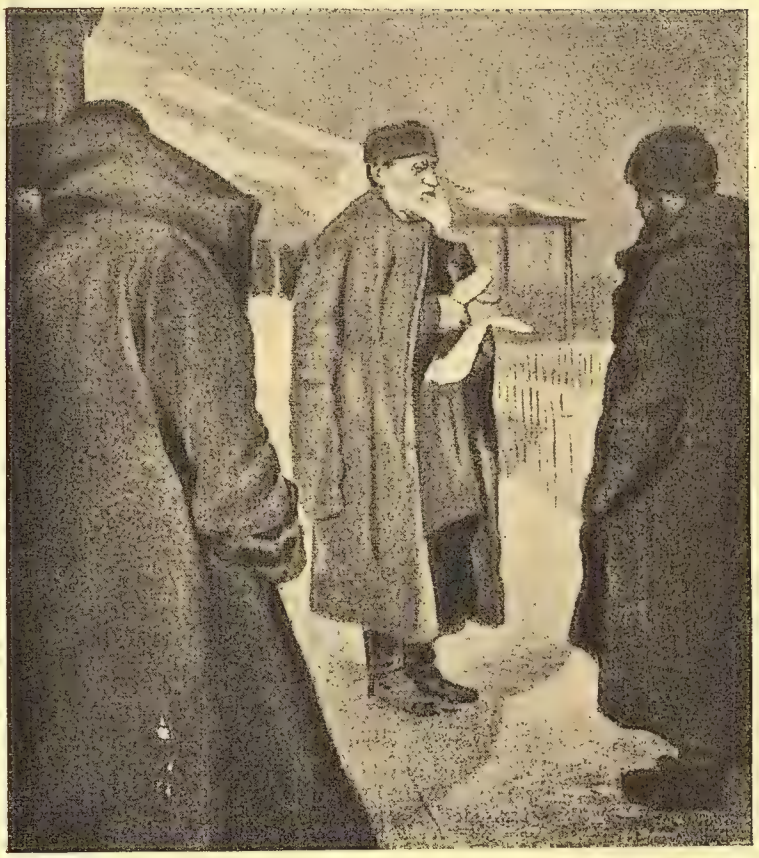
Она выехала в Петербург 29 марта.

Добившись свидания с государем, С. А. получила лично от него разрешение на издание «Крейцеровой сонаты» в полном собрании сочинений. Оттуда эта повесть попала и в отдельное издание и была перепечатана многими издателями.

Государь Александр III оказался в этом отношении более либеральным, чем

---

[1]) Архив Черткова.



13. Лев Николаевич в Бегичевке, на голоде, составляет списки нуждающихся.

американская цензура. Непонимание этой высоконравственной повести дошло до такой степени, что в одном из американских штатов она была конфискована за порнографическое содержание. А один немецкий издатель воспользовался «неприличным», как ему показалось, содержанием, чтобы сделать из него рекламу и издал «Крейцерову сонату», изобразив на обложке голую женщину для привлечения публики.

Для Л. Н—ча эта поездка С. А—ны, несмотря на успех ее, а, может быть, именно вследствие успеха ее не была радостна. Он писал об этом своему другу так:

«Жена вчера приехала из Петербурга, где она видела государя и говорила с ним про меня и мои писания — совершенно напрасно. Он обещал ей разрешить «Крейцерову сонату», чему я вовсе не рад. А что-нибудь скверное было в «Крейцеровой сонате». Она мне страшно опротивела, всякое воспоминание о ней. Что-нибудь было дурное в мотивах, руководивших мною при писании ее. Такую злобу она вызвала. Я даже вижу это дурное. Буду стараться, чтобы вперед этого не было, если придется что кончить».

Окончательное разрешение продавать «Крейцерову сонату» последовало от министра внутренних дел только в мае.

К упомянутым уже литературным работам Л. Н—ча присоединяется еще одна. Чертков прислал Л. Н—чу интересную книгу по вегетарианству, под названием Ethic of diet (Этика диэты или этика пищи, как ее назвали при переводе). Л. Н—ч очень заинтересовался этой книгой и написал к ней предисловие.

Содержание этой хорошо известной статьи захватывает вопрос шире вегетарианства. Она посвящена вообще вопросам воздержания. Так как Л. Н—ч был вполне убежден, что без воздержания не может быть нравственной жизни, то он и назвал эту статью «Первая ступень». Статья эта положила основание вегетарианскому движению в России, в настоящее время уже получившему значительное развитие.

Чтобы ярче изобразить весь ужас убийства скота для с'едения, Л. Н—ч побывал на тульских бойнях; в «Первой ступени» описано это посещение боен. То же впечатление запесено им и в дневнике. Запись эта интересна своей непосредственностью и потому мы приводим ее здесь.

«Был на бойне. Тащат за рога, винтят хвост так, что хрустят хрящи, не попадают сразу, а когда попадают, он бьется, а они режут горло, выпуская кровь в тазы, потом сдирают кожу с головы. Голова обнажается от кожи, с закушенным языком обращена кверху, а живот и ноги бьются. Мясники сердятся на них, что они не скоро умирают. Прасолы, мясники снуют около с озабоченными лицами, занятые своими расчетами».

В дневнике Л. Н—ча того времени мы находим целый ряд интересных и важных мыслей об еде, воздержании и вообще об уменьшении потребностей. Приводим некоторые из них.

«Есть два средства не чувствовать материальной нужды: одно — умерять свои потребности, другое — увеличивать доход. Первое само по себе всегда нравственно, второе само по себе всегда безнравственно: от трудов праведных не наживешь палат каменных.

«Я не делаю этого (напр., не избегаю прислуги), потому что это малость, не стоит того». Все хорошее—малость. Большую можно сделать мерзость, а доброе дело всегда мало, незаметно. Добро совершается не по вулканической, а по нептунической теории.

«Я не сделаю этого, потому что это не натурально». Натурально? Да если мы живем в среде развращенной, то, живя в ней натурально и ничего не шокируя, ты, наверно, не выступишь из нее. Живя в такой среде, все добро, которое мы сделаем, непременно будет ненатурально. Можно сделать натуральное и недоброе; но живя в развращенной среде, нельзя ничего сделать доброго, чтобы оно не было не натурально.

«Главная забота людей и главное занятие людей, это не кормиться, — кормиться не требует лишнего труда,—а обжорство. Люди говорят о своих интересах, возвышенных целях, женщины о высоких чувствах, а об еде не говорят: но главная деятельность их направлена на еду. У богатых устроено так, чтобы это имело вид, что мы не заботимся, а это делается само собой.

«Все вообще в среднем едят, я думаю, по количеству втрое того, что нужно, и по ценности, по труду приобретения в 10 раз больше того, что нужно.

«Это одна из главных перемен, которые предстоят людям.

«Быть в нужде по отношению к пище и одежде и помещению есть наивыгоднейшее положение человека: не переест, не перепьет, не перепокоится.

«Особенно первое: есть надо так, как будто недостает на всех и оставлять другим».

В июле в Ясной было много гостей.

Вновь посетила и недели две провела со своим старым другом графиня Александра Андреевна Толстая. Их нежные, деликатные, основанные на взаимном уважении и дружбе отношения ясно выступают из описания этого свидания, которое делает Александра Андреевна в своих воспоминаниях о Л. Н—че. Приводим из них одну характерную страничку, относящуюся именно ко времени пребывания ее в Ясной в 1891 году.

«Разговор наш затянулся довольно долго и в новой форме. Этот раз казалось, что Лев вызывает меня на откровенность; но, видя его в удрученном расположении духа, мне не хотелось смущать его, так что я высказала только самую малую долю того, что у меня накопилось на душе.

«Однако, оставалось самое важное, и я решилась заключить этим нашу беседу.

«Encore un mot, mon cher Léon; au lieu de regretter le fantastique l'impossible, je dirai même l'inutile, avez vous jamais pensé serieusement à votre responsabilité vis-à-vis de vos enfants? Ils me font tous l'effet d'errer dans le vague. Que leurs donnerez-vous en place des croyances que vous leur avez probablement ôtées?—car ils vous aiment trop, pour ne pas chercher à vous suivre» [1]).

«Я никогда не придавала много власти своим словам, но на этот раз я почувствовала, что стрела попала в цель и задела что-то больное или давно заснувшее.

«Вся физиономия Льва изменилась и омрачилась. Я поспешила выйти из комнаты. Он мне прежде как-то признался, что примирился с молитвой и сам ежедневно молится. Хочу верить, что в этот вечер он с особенным жаром прибегал к помощи Божией.

«За чаем я старалась его рассеять, подшучивала над какими-то вновь поднесенными ему хвалебными песнями и заставила его сознаться, что пропорция между его порицателями и обожателями та же самая, что между слоном и комаром. Для довершения я даже подпустила ему маленький комплимент:

«Depuis que je vois ce que je vois, jes suis vraiment fort étonnée, mon cher ami, de ce que vous ayez conservé un certain équilibre dans votre esprit, car j'avoue franchement, que si j'avais été l'objet de la millionième partie des ovations et des adorations qui vous entourent, mon cerveau eût culbité sur le champs» [2]).

---

[1]) Еще одно слово, дорогой Лев; вместо того, чтобы оплакивать фантастическое, невозможное и даже бесполезное, подумали ли вы когда-нибудь серьезно об ответственности перед вашими детьми? Все они производят на меня впечатление блуждающих среди сомнений. Что вы дадите им взамен верований, вероятно, отнятых у них вами? Они вас слишком любят, чтобы не стараться итти по вашим следам.

[2]) С тех пор, как я вижу то, что предо мною, я право очень удивляюсь, что вы еще сохранили равновесие в вашей душе. Признаюсь откровенно, если бы мне досталась хоть миллионная часть тех оваций и обожаний, которыми вас окружают, моя голова немедленно бы вскружилась.

«При этом случае я вспомнила про себя прелестное слово Тургенева:

«Tolstoy,—a-t-il dit un jour, comme un éléphant, qu'on aurait laissé courir dans un parterre et qui écraserait à chaque pas les belles fleurs du monde sans s'en douter» [2]).

«Как я уже сказала, после обеда мы обыкновенно собирались в стеклянной галлерее, где Репин и Гинцбург лепили бюст Л. Н—ча, каждый с своей стороны.

«Чтобы сократить скуку сеансов, дети обыкновенно читали что-нибудь отцу вслух, но из излишней скромности отказались читать при мне, уверяя, что читают недостаточно хорошо. Я охотно взялась за это дело, тем более, что чувствовала себя в веселом расположении духа, и просила Льва указать мне, какую именно книгу он желает слышать. На счастье или на беду, он выбрал ту, которая была всего способнее вызвать mes esprits moqueurs [2]). Присланная недавно из Парижа, dedié au Maître [3]), она отличалась плоским поклонением и напыщенными афоризмами, пустыми, как медь звенящая. Не знаю, что со мной случилось в этот день, но почти на каждое слово незнакомого мне автора у меня сыпались сатиры и едкий юмористический ответ. Дети хохотали, художники смеялись, и, наконец, сам изволил потешаться, что безмерно польстило моему самолюбию.

«После чаю Лев в свою очередь читал нам вслух норвежские повести в русском переводе, которыми он очень восхищался и читал прекрасно, хотя слегка конфузился, когда попадались опасные, т.-е. не совсем приличные места» [4]).

В это же время, как видно из рассказа Александры Андреевны, гостили в Ясной Поляне И. Е. Репин и скульптор Илья Яковлевич Гинцбург.

Илья Ефимович Репин в этот приезд свой написал одно из наиболее выдающихся своих произведений,—Л. Н—ча в его рабочем кабинете. Картина эта хорошо известна по своим многочисленным копиям и фотографиям. Оригинал ее принадлежит М. А. Стаховичу и выставлен им для обозрения публики в Толстовском музее в Петербурге.

В этот же приезд И. Еф. сделал несколько рисунков, между прочим изобразил Л. Н—ча читающим, лежащим под деревом, сидящим в кресле и, наконец, вылепил превосходный бюст в натуральную величину.

В то время как Репин писал картину в рабочем кабинете, Гинцбург лепил свою замечательную статуэтку, одно из лучших изображений Л. Н—ча, в котором необыкновенно верно схвачена его характерная поза за письменной работой.

В то время как Репин лепил свой бюст, Гинцбург делал тоже, только в увеличенном размере, бюст, напоминающий Зевеса Олимпийского. И. Я. Гинцбург рассказал о своем посещении Л. Н—ча в печати, и мы заимствуем из его рассказа несколько характерных строк.

Усталый с дороги, в волнении от встречи со Л. Н—чем, Гинцбург чувствовал себя первое время очень стесненным. Из этого неловкого положения его вывел пришедший Репин.

«Пришел И. Е. Репин, и я очень обрадовался,—рассказывает Гинцбург,—увидав здесь старого хорошего знакомого. Он показал мне начатый бюст Л. Н—ча, который он работает по вечерам. «А вот сейчас я пойду писать Л. Н—ча в его рабочей комнате; пойдемте вместе. Вы начнете статуэтку его, хотите?» — «Я устал с дороги и голова болит»,—попробовал я отказаться. «Смотрите, не откладывайте,—настаивает И. Е. Репин,—вы знаете, где мы теперь находимся, ведь мы на четвертом бастионе». Я послушался И. Е. и пошел за ним.

«Л. Н—ч сидел в своей рабочей комнате и писал. Меня поразила обстановка, среди которой работал Л. Н. Старинный подземный подвал напоминал средневековую келью схимника. Сводчатый потолок, железные решетки на окнах, кольца на потол-

---

[1]) Толстой,—сказал он однажды,—похож на слона, который, если бы его впустили в цветник, не думая об этом, давил бы лучшие цветы.

[2]) Мою наклонность к насмешке.

[3]) Посвященная учителю.

[4]) Толстовский музей. Т. I. Стр. 67.

ке, коса, пила, — все это имело какой-то таинственный вид. Сам Л. Н—ч в белой блузе сидит, поджав ногу, на низеньком ящике, покрытом ковриком, — напоминая какого-то сказочного волшебника. Он удивленно на нас посмотрел и сказал: «Работать пришли? — прекрасно. Так ли я сижу?»

«Стали устраиваться; я уселся возле И. Е., который уже кончал свою работу; меня восхитила эта работа: обстановка комнаты, свет, падающий из окна, да и сама фигура Л. Н—ча написаны с удивительной правдивостью и художественностью.

«Признаться, мне очень трудно было работать; боязнь сделать шум заставляла меня сидеть на одном месте и не шевелиться, а между тем для круглой статуэтки необходимо двигаться и наблюдать натуру с разных сторон. Мне казалось, что наше присутствие стесняет Л. Н—ча; временами бывало Л. Н—ч отрывался от работы: он вопросительно на нас смотрел, вероятно, забывая, почему мы возле него сидим. «Я вам мешаю»,—говорит он, увидев наши работы.—«Ох, нет,—отвечает И. Е.,—это мы вам мешаем».—«Нет не мешаете, отвечает Л. Н—ч., только я забываю, что вы меня пишете, и оттого, кажется, меняю позу; у меня такое чувство, точно меня стригут».

На прогулке они вели со Л. Н—чем беседу об искусстве, об академии. Применяясь к интересу своего слушателя, Л. Н—ч высказал ему несколько интересных мыслей о скульптуре:

«Вы меня извините,—сказал Л. Н—ч,—я скульпторов не люблю и не люблю их потому, что они принесли много вреда искусству и людям; они занимаются тем, что вредно. Они наставили по всей Европе памятники, хвалебные монументы людям, которые были недостойны и вредны человечеству. Все эти полководцы, военачальники, правители и др. только одно зло делали народу, а скульпторы их воспевали, как благодетелей, и потомству оставили для поклонения тех, кого следовало бы позорить. Но главная неправда та, что, увековечивая этих насильников и деспотов, они представляли их не в том виде, в каком они в действительности были. Людей слабых, выродившихся и трусливых, они представляли всегда героями, сильными и великими, что несогласно с самой действительностью; человека малого роста, рахитичного они представляли великаном с выпяченной грудью и быстрыми глазами, все это—ложь и неправда. Скульпторы находились на жалованьи у сильных мира сего и угождали им. Такого позора в такой степени мы не видим ни в одном искусстве».

В августе снова гости. Профессор Н. Грот с французским ученым Charles Richet.

Эта панорама все новых и новых лиц, проходящих перед Л. Н—чем с очень малым процентом таких, на которых могла бы отдохнуть его душа, заставляет Л. Н—ча сделать такую отметку в своем дневнике:

«Еще человек, и еще, и еще. И все новые, особенные; и все кажется что этот-то вот и будет новый, особенный, знающий то, что не знают другие, живущий лучше, чем другие... И все то же, все те же слабости, все тот же низший уровень мысли».

«Неужели люди, теперь живущие на шее других, не поймут сами, что этого не должно и не следует — добровольно, а дождутся того, что их скинут и раздавят».

В это же время он записывает:

«Говорил с N. Он стал хвалить Иоанна Кронштадтского. Я возражал. Потом вспомнил: «благословляйте ненавидящих вас», и стал искать доброе в нем, и стал хвалить его. И мне так весело и радостно стало.

«Да, благословлять, творить добро врагам, любить их есть великое наслаждение, именно наслаждение, захватывающее, как любовь, влюбление. Любить врагов. Ведь только на врагах-то и можно познать истинную любовь. Это наслаждение любви».

В письмах Л. Н—ча к его друзьям и единомышленникам 1891 года попадаются интересные мысли о том, что в кругу большею частью молодых друзей своих он замечает некоторый кризис, поворот, переход к новой стадии жизнепонимания и

практики жизни. Этот переход совпал с прекращением деятельности земледельческих общин и отчасти был в связи с ним. Неудача этого скороспелого опыта заставила многих участников его поглубже загляпуть в свою душу, увидать многие недочеты и заняться исправлением и приготовлением тех орудий, которыми они собирались строить новое здание. Вот этот обновительный процесс и отразился на переписке Л. Н—ча со своими друзьями.

Он писал между прочим Е. И. Попову:

«Знаете ли, что я замечаю в последнее время то, что путь наш (всех нас, идущих по одному пути) становится или скорее начинает казаться особенно трудным. Восторг, увлечение новизны, радость просветления прошли. Возможность осуществления становится все труднее и труднее, разочарования в возможности осуществления все чаще и чаще. Недоброжелательство людей и радость при виде наших ошибок все сильнее и сильнее. Все больше и больше людей отпадающих.

«Мне кажется теперь такое время. И я рад, что знаю это. Все эти явления меня не огорчают. Главное же я рад тому, что внутреннее чувство — сознание пути и истины — ни на один волос не ослабевает. Напротив, крепнет.

«Одна слабость. Хочется испытания, жертвы. Знаю, что грех, но хочется»[1]).

В письме к Фейнерману того же времени (весна 1891) он высказывает подобные же мысли.

«Вы очень строги к своему прошедшему опыту, или не совсем точно определяете то, что оказалось ошибкой. Принципы, разумея под этим словом то, что должно руководить всею жизнью, не виноваты ни в чем, и без принципов жить дурно. Ошибка только в том, что в принцип возводится то, что не может быть принципом, как крепко париться в бане и т. п. Принципом даже не может быть то, чтобы работать хлебную работу, как говорит Бондарев.

«Принцип наш один, общий, основной — любовь не словом только и языком, а делом и истиною, т.-е. тратою, жертвою своей жизни для Бога и ближнего.

«Из этого общего принципа вытекает частный принцип смирения, кротости, непротивления злу.

«Последствием этого частного принципа, по всем вероятиям (я говорю, по всем вероятиям, а не всегда, потому что может же быть человек посажен в тюрьму и подобное этому), будет земельный, ремесленный или фабричный даже, но только во всяком случае тот труд, на который менее всего конкурентов и вознаграждение за который самое малое.

«Из всех сфер, где конкуренция велика, человек не на словах, а на деле держащий учение Христа, будет всегда выжат и невольно очутится среди рабочих. Так что рабочее положение христианина есть последствие приложения принципа, а не принцип, и если люди возьмут за основной принцип то, чтобы быть рабочим, не исполнив того, что приводит к этому, то очевидно, что выйдет путаница»[2]).

В письме ко мне Л. Н—ч комментирует первую часть письма Фейнермана по вопросу о деятельности рассудочной и непосредственного чувства.

«Получил письмо ваше, милый друг П., и очень рад был ему, хотя оно и показалось мне холодным что-то, строгим. Может быть, это происходило от моего настроения. Со мной — я думаю, и со всеми тоже — всегда бывает, что когда я думаю, больше, чем думаю, когда мысль какая овладевает мною, то со всех сторон я слышу отголоски той же мысли. Фейнерман писал мне предпоследнее письмо (в последнем на-днях он извещает только, что переезжает из Полтавы в Екатер. губ.) о пагубности жизни «по принципам», которые он противополагает вере; он очень верно говорит, что принципы говорят «дай-ка я сделаю», а вера говорит «нельзя не сделать», принципы цепляют, тянут, а вера сзади толкает, прет. Вы пишете о том же. И я в своем писании думаю о том же: о том, как движется вперед человек и че-

---

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Изд. И. Д. Сытина. Т. XXII. Стр. 107.

[2]) Там же. Стр. 89.

ловечество. И я понимаю отрицание рассудочной, программной деятельности, но не разделяю его. Рассудочная деятельность забирает, действительно, вперед стремления, но это не только не беда, но необходимое условие движения вперед: надо прежде занести одну ногу вперед, не перенося еще на нее тяжести всего тела. Без этого нет движения. И упрекать себя за то, что живешь или стараешься жить по вперед определенным правилам, все равно, что упрекать себя, что запосишь вперед ногу, а не прыгаешь все на одной» [1]).

Анализируя причины этого поворота в душевной жизни некоторых друзей Л. Н—ч пишет Черткову, соглашаясь с ним в неправильно употребленном им слове «отпадают», и поправляет и раз'ясняет, как ему представляется этот момент в духовном движении некоторых людей:

«Вы верно поправляете меня о слове «отпадают», а главное—особенно верно и хорошо пишете о М. Н—че и душевном процессе, происходящем в нем и в людях, очень хороших, — подобных ему.

«Труден переход из области плотской животной жизни в область жизни для славы людской, но особенно труден переход от жизни для славы людской к жизни для Бога. Или это оттого так кажется, что тот переход мы пережили, а этот нам предстоит. Действительно, как дикому кажется непонятным, невозможным пожертвовать своей не только жизнью, но аппетитами, для славы людской (а нам с нашим point d'honneur'ом кажется, что это и не может быть иначе), так и нам теперь часто кажется непонятным, невозможным пожертвовать славой людской для исполнения воли Бога, а святому человеку кажется, что это и не может быть иначе».

Н. Н. Ге-младшему он кратко сообщает о том же:

«Получаю хорошие письма, между прочим от Рахманова, от Фейнермана. Все переступили ту первую ступень, на которую вступили сначала и идут дальше, и это радостно».

Эта жизнь Л. Н—ча, проходившая в общении словесном и письменном со всякого рода людьми, осложнялась для него тем, что обстановка его семейной жизни дисгармонировала с высказанными им мыслями, и это чрезвычайно тяготило его.

Главный вопрос, из-за которого происходило в семье несогласие, был вопрос о собственности.

Вопрос о недвижимом имуществе был решен, Л. Н—ч подписал раздельный акт. Но у него оставалось еще огромное имущество, это—его сочинения. Они принадлежали ему, а распоряжалась ими его жена по данной им доверенности на издание их.

И вот у Л. Н—ча назрела мысль о необходимости отречения от прав литературной собственности. Он сказал об этом С. А., прося ее об'явить его отречение. Это было в июле. Произошла бурная семейная сцена. На С. А—ну эта сцена произвела такое сильное впечатление, что она решила покончить с собой. Она пошла одна на станцию железной дороги Козловку-Засеку, чтобы лечь под поезд. По ее рассказам, душевное состояние ее было такое, что она не остановилась бы перед исполнением этого намерения. Простая случайность спасла ее от гибели. Она шла по большой дороге мимо казенной посадки. Ал. М. Кузьминский, муж ее сестры, возвращался с прогулки на станцию. Но он шел лесом и они не должны были встретиться. Но Кузьминского в лесу закусали комары и он вышел на дорогу, спасаясь от них, и встретил С. А—ну. Вид ее поразил его, и он добился от нее признания в ее намерении и сумел отговорить от совершения безумного поступка.

Конечно, в этот раз дело не могло быть решено. Но Л. Н—ч не отступился от своего решения и продолжал настаивать. Он составил даже текст этого отречения и посылал С. А—не, когда она была в Москве, предлагая отдать это заявление в газеты, но С. А—на не соглашалась. Так дело тянулось до сентября. Наконец, 16 сентября

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

Л. Н—ч решил бесповоротно исполнить свое намерение; написал и послал в газеты свое отречение в такой форме:

«Милостивый государь,

«Вследствие часто получаемых мною запросов о разрешении издавать, переводить и ставить на сцену мои сочинения, прошу вас поместить в издаваемой вами газете следующее мое заявление:

«Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей по-русски и в переводах, а равно и ставить на сценах все те из моих сочинений, кот. напечатаны в XII томе, издания 1886 года и в вышедшем нынешнем 1891 году XIII томе, так равно и мои не напечатанные в России и могущие впоследствии, т.-е. после нынешнего дня, появиться сочинения».

Таким образом совершился великий акт, беспримерный в истории. Отречение автора от литературных прав на свои сочинения. Правда, это отречение было не полно, он предоставил своей семье право распоряжаться большими романами, повестями первого времени и педагогическими сочинениями; но написанное им после уже превышало по количеству написанное раньше, и это было для Л. Н—ча единственным выходом из тяготивших его обстоятельств жизни.

Лето 1891 года прошло в большой тревоге для многих миллионов русских рабочих людей, преимущественно крестьянского сословия. 20 губерний центральной и юго-восточной России постиг полный неурожай. Это надвигающее бедствие, конечно, не могло остаться незамеченным и Л. Н—чем.

И вот уже с июля месяца в Ясной начинаются разговоры о голоде. Сначала Л. Н—ч, всегда стоявший в оппозиции к массовым движениям, как будто высказывал несочувствие доходившим до него призывам к помощи.

Графиня Александра Андреевна Толстая, гостившая это лето у Л. Н—ча, в своих воспоминаниях упоминает об этой оппозиции:

«Один из этих приятных вечеров был прерван приездом тульского предводителя дворянства Раевского. Это была пора наступавшего в 1891 году голода; глубоко погруженный в мысли об этой напасти, Раевский не мог говорить ни о чем другом, и это раздражало Льва, не знаю почему; он противоречил каждому слову Раевского и бормотал про себя, что все это ужасный вздор и что если бы и настал голод, то нужно только покориться воле Божией и проч., и проч. Раевский, не слушая его, продолжал сообщать графине все свои опасения, а Лев не переставал вить a la sourdine свою капитель, что производило на слушателей самое странное действие».

И дневник Л. Н—ча отмечает мысли, явившиеся, вероятно, вследствие разговоров о голоде. Так, в конце июня он записывает.

«Дети иногда дают бедным хлеб, сахар, деньги и сами довольны собой, умиляются на себя, думая, что они делают нечто доброе. Дети не знают, не могут знать, откуда хлеб, деньги. Но большим надо бы знать это и понимать то, что не может быть ничего доброго в том, чтобы отнять у одного и дать другому. Но многие большие не понимают этого.

«Спасение жизни, материальное — спасение детей погибающих, излечение больных, поддержание жизни стариков и слабых не есть добро, а есть только один из признаков его, точно так же, как наложение красок на полотно не есть живопись, хотя всякая живопись есть наложение красок на полотно. Материальное спасение, поддержание жизней людских есть обычное последствие добра, но не есть добро. Поддержание жизни мучимого работой раба, прогоняемого сквозь строй, чтобы дать ему его 5.000, — не есть добро, хотя и есть поддержание жизни.

«Добро есть служение Богу, сопровождаемое всегда только жертвой, тратой своей животной жизни, как свет сопровождается всегда тратой горючего материала.

«Очень важно раз'яснить это. Так закоренело заблуждение — принимать последствие за сущность».

В июле эти заметки принимают еще более определенный характер:

«Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно. Люди, не думавшие о других, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие — выказаться, или страх; но добра нет.

«Голод всегда (нищих всегда имеете), т.-е. всегда есть, кому и для чего жертвовать, или в одно время не может быть больше нужна моя жертва или служба, чем в другое, потому что материальное самое большое дело будет $\frac{a}{\infty}$, т.-е. ничто, а духовно — всегда определенная величина.

«Нельзя начать по известному случаю делать добро нынче, если не делал его вчера. Добро делают не потому, что голод, а потому, что хорошо его делать».

Наконец, в сентябре, когда заговорили в печати и обществе более громко о предстоящем бедствии, ко Л. Н—чу обратился за советом Николай Семенович Лесков. И Л. Н—ч ответил ему нижеприводимым интересным письмом, все еще как бы уклоняясь от непосредственного участия в этом деле.

Л. Н—ч писал Лескову:

«...На вопрос, который вы делаете мне о голоде, очень бы хотелось суметь ясно выразить, что я по отношению этого думаю и чувствую. А думаю и чувствую я об этом предмете нечто очень определенное, именно: голод в некоторых местах (не у нас, но вблизи от нас — некоторых уездах: Епифановском, Ефремовском, Богородицком) есть и будет еще сильнее, но голод, т.-е. больший, чем обыкновенно недостаток хлеба у тех людей, которым он нужен, хотя он есть в изобилии у тех, которым он не нужен, — отвратить никак нельзя тем, чтобы собрать, занять деньги и купить хлеба и раздать его тем, кому он нужен, потому что дело все в разделении хлеба, который был у людей. Если этот хлеб, который был и есть теперь, если ту землю, если деньги, которые есть, разделили так, что остались голодные, то трудно думать, чтобы тот хлеб или деньги, которые дадут теперь, разделили бы лучше; только новый соблазн представят те деньги, которые вновь соберут и будут раздавать. Если, когда кормят кур и цыплят, старые куры и петухи обижают — быстрее подхватывают и отгоняют слабых, то мало вероятного в том, чтобы, давая больше корма, насытить голодных. При этом надо представить себе отбивающих кур и петухов ненасытными. Дело не в том, так как убивать отбивающих кур и петухов нельзя, а в том, чтобы научить их делиться с слабыми. А покуда этого не будет — голод всегда будет. Он всегда и был и не переставал: голод тела, голод ума, голод души. Я думаю, что все силы надо употреблять на то, чтобы противодействовать, разумеется, начиная с себя, тому, что производит этот голод. А взять у правительства или вызвать пожертвования, т.-е. собрать побольше мамоны неправды и, не изменяя подразделения, увеличить количество корма, — я думаю, не нужно и ничего, кроме греха не произведет. Делать этого рода дела есть тьма охотников, — людей, которые живут всегда не заботясь о народе, часто даже ненавидя и презирая его, которые вдруг возгораются заботами о меньшом брате, — и пускай их это делают. Мотивы их и тщеславие и честолюбие, и страх, как бы не ожесточить народ. Я же думаю, что добрых дел нельзя делать вдруг по случаю голода, а что если кто делает добро, тот сделал его и вчера, и третьего дня, и будет делать его и завтра, и после завтра, и во время голода, и не во время голода. И потому против голода одно нужно, чтобы люди делали как можно больше добрых дел, вот и давайте, так как мы люди, стараться это делать до конца и вчера, и нынче, и всегда. Доброе же дело не в том, чтобы накормить хлебом голодных, а в том, чтобы любить и голодных, и сытых. И любить важнее, чем кормить, потому что можно кормить и не любить, т.-е. делать зло людям, *но нельзя любить и не накормить.*

«Пишу это не столько вам, сколько тем людям, с которыми беспрестанно приходится говорить и которые утверждают, что собрать денег или достать и раздать— доброе дело, не понимая того, что доброе дело только дело любви, а дело любви всегда—дело жертвы. И потому, если вы спрашиваете: что именно вам делать? я отвечу: вызывать, если можете (а вы можете) в людях любовь друг к другу, и любовь не по случаю голода, а любовь всегда и везде; но, кажется, будет самым действительным средством против голода написать то, что тронуло бы сердце богатых. Как вам Бог положит на сердце—напишите, и я бы рад был, кабы и мне Бог велел написать такое».

Так писал Л. Н—ч в сентябре, а в октябре под влиянием сознания растущего рядом с ним народного бедствия и чувства сострадания к людям Л. Н—ч окунается в него с головой, и деятельность, проявленная им в это время, является одной из лучших страниц как его личной жизни, так и его семьи и всего русского общества.

Описание этой деятельности Л. Н—ча составит предмет отдельной главы; здесь же мы дадим еще образцы письменного общения Л. Н—ча с его друзьями за это время. Многие из писем его полны глубокого интереса. Весьма значительно письмо Л. Н—ча к доктору Рахманову. Он побывал в общинах, ушел оттуда, зажил одиночной жизнью и все-таки неудовлетворенной ею, всегда полный самых строгих нравственных требований к себе, он сообщает Л. Н—чу свои сомнения и просит совета. Л. Н—ч отвечает ему так:

«...мне не ясен ваш вопрос. Вы как-то связываете сознание того, что вы пользуетесь насилием с состраданием к мучающимся и мученным людям. Я связи этой не вижу. Это—первое, а второе—не согласен с тем, что вы живете насилием. Я сужу по себе: я живу в условиях гораздо худших, чем вы, и все-таки не считаю, что живу насилием. Да и вообще не понимаю хорошенько, что разуметь под этими словами. Я не живу насилием в том смысле, что знаю, что всякий раз, как мне представится вопрос, употребить ли насилие или нет, я не пожелаю насилия и не употреблю его сознательно. (Пример, который я всегда для себя употребляю: если скажут, что подходит Пугачев, убивающий и насилующий всех, не только не приготовлю порох и ружье, а утоплю их, чтобы избавиться от искушения.) Но сказать, что я никогда не употребляю насилия или незаметно для себя не воспользуюсь им — не могу, потому что сказать это, значит сказать, что я свят. И колебаться, и сомневаться о том, действительно ли я не участвую в насилии, я не могу, потому что знаю очень хорошо, что было, когда я участвовал в нем, знаю, что все мое миросозерцание и вся моя жизнь—другие, и что я не обманываю себя, когда думаю, что ненавижу насилие и всеми силами души стремлюсь жить без него, т.-е. жить по закону Бога — любовью.

«Теперь вопрос о страданиях людей, производимых насилием. Я знаю, что они есть. Я ненавижу насилие и отрекаюсь от него только потому, что знаю, что они есть, что есть эти страдания. Мое стремление от насилия, я знаю, не спасет от страдания людей. Я этого и не ждал. Спасет людей от страданий установление царства Божия, и оно устанавливается и мною. Средство установления есть любовь. Любовь и руководит теми поступками, которые надо совершать. А какие это поступки, которые по любви надо совершать, это знает тот, кому надо поступать. Итти ли в копи и вместе работать, увещевать ли хозяев изменить положение рабочих или свою жизнь, чтобы им не нужно было итти? Или еще что, это знает каждый в своем положении. И если он слушается голоса любви, а не эгоизма, то он сделает, что должно, и, сделав или делая, не то что будет спокоен, но не будет беспокоен. Учение же Христа покажет ему, чего не надо делать, — не злить, не злиться, не разделять людей.

«Главное же, главное то, что мне очень ясно теперь и что бы мне так хотелось с той же ясностью передать другим: это то, что как идеал внутреннего совер-

шенства бесконечен, не бесконечен, а достижим только бесконечным приближением (как многоугольник в круге), так и идеал внешнего совершенства Царствия Божия (льва с ягненком и дальше...) достижим только в бесконечности, и что потому поверку своих поступков человек должен искать не во внешнем сравнении себя, своих достоинств с идеалом внутреннего совершенства (будьте совершенны, как Отец), ни с внешним идеалом Царства Божия, а во внутреннем сознании наибольшего возможного в его положении исполнения воли пославшего. Вроде, как работник, которому от хозяина велено бить молотом и которому нечего заботиться о том, что от его ударов не разбивается сразу, что он разбивает; о том, что завод, на котором он работает, не кончит всю работу к празднику, а которому надо делать только в том, к чему он приставлен, все, что он может, твердо веруя, что то, что он делает, нужно и разумно» [1]).

Своему другу Н. Н. Ге он жалуется на временное ослабление своего участия в крестьянских работах:

«Я нынешний год очень слаб физически, занят своим писаньем, которое не кончено, но подвигается, и, сверх того, одолеваем гостями всяких сортов. И вы не можете себе представить, как теперь, во время уборки, мне скверно, совестно, грустно жить в тех подлых, мерзких условиях, в которых я живу. Особенно вспоминая прежние годы».

Вопрос о посетителях, видимо, сильно волновал Л. Н—ча в это лето. В следующем письме к Н. Н. Ге он снова возвращается к нему и говорит так:

«У нас очень много посетителей, и я относительно их всегда стараюсь держаться вашего правила, что «человек дороже полотна». И бывают за это тяжесть, скука, но бывают и награды. Избавиться от этого одно средство: работа, когда ею живешь и других кормишь, но нам не только нельзя отказываться, но надо радоваться, что мы на что-то пригодились. Но еще лучше, если и от работы можно оторвать время для человека, для болтовни с ним. Крайности всегда сходятся: болтовня — самое пустое и самое великое дело» [2]).

Часто Л. Н—ча беспокоили денежные просители, и он пишет одному из них так:

«Очень сожалею, что не могу исполнить ваших желаний, дорогой Александр — извините не знаю отчества.—Денег [3]) я уже очень давно не имею никаких и ни на что их не употребляю. Признаюсь, мне всегда даже обидно, когда у меня просят денег. Если я считаю деньги злом, то я или не имею их, или если имею, то я лгун и ко мне не следует обращаться» [4]).

Значительным событием этого года было появление на русском языке книги баронессы Сутнер, ее романа «Долой оружие». Л. Н—ч получил эту книгу от переводчика и отвечал автору таким письмом:

«Я прочел ваш роман «Долой оружие», присланный мне его переводчиком г-м Булгаковым. Я очень ценю ваше произведение и думаю, что появление вашего романа составляет счастливое предзнаменование. Отмене невольничества предшествовала знаменитая книга женщины — мистрисс Бичер-Стоу; дай Бог, чтобы ваша книга предшествовала отмене войны. Я не думаю, чтобы третейский суд был действительным средством к отмене войны. Я теперь как раз оканчиваю об этом предмете труд, в котором говорю об единственном средстве, которое, по моему мнению, могло бы сделать войны невозможными. Тем не менее все усилия, диктуемые искреннею любовью к человечеству, принесут плоды, и я убежден, что римский международный конгресс (парламентских сторонников мира), равно как и прошлогодний лондонский, очень много посодействуют популяризации идеи о резком противоречии между военным состо-

---

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. XXII. Изд. И. Д. Сытина. М. 1913. Стр. 93—94.
[2]) Там же, стр. 97.
[3]) А. Н. Я просил Л. Н—ча о денежной помощи на организацию общества трезвости.
[4]) Там же, стр. 88—89.

янием народов и исповедуемыми этими же народами основами христианства и гуманности» [1]).

Влияние Л. Н—ча в это время начало проникать в широкие массы. Признаком этому может служить появление статей о Л. Н—че в умеренной, даже консервативной прессе. Такой статьей, старавшейся примирить Л. Н—ча с умеренными, благожелательными людьми, надо считать появившуюся в этом году статью Н. Н. Страхова, смиренного и восторженного поклонника Л. Н—ча, и в то же время не порывавшего своей связи с такими консервативными органами, как «Русский Вестник». Статья его о Л. Н—че, под названием «Толки о Толстом», появилась на этот раз в умеренно-либеральном журнале «Вопросы психологии и философии».

Сущность этой статьи заключается в том, что Страхов доказывает, что распространение сочинений Л. Н—ча полезно, так как они полны истинного христианского духа. Конечно, это было очень смелое утверждение, и только благодаря прежней репутации Страхова статья эта увидела свет.

На Л. Н—ча статья эта произвела хорошее впечатление. Он писал Страхову по прочтении ее:

«Прочел вашу статью, дорогой Николай Николаевич, и признаюсь, не ожидал ее такою. Вы понимаете, что мне неудобно говорить про нее и не из ложной скромности говорю, — мне неприятно было читать про то преувеличенное значение, которое вы приписываете моей деятельности. Было бы несправедливо, если бы я сказал, что я сам в своих мыслях неясных, неопределенных, вырывающихся без моего на то согласия, не поднимаю себя иногда на ту же высоту, но зато в своих мыслях я и спускаю себя часто и всегда с удовольствием на самую низкую низость, так что это уравновешивается на нечто среднее. И потому читать это неприятно. Но оставив это в стороне, статья ваша поразила меня своей задушевностью, своей любовью и глубоким пониманием того христианского духа, который вы мне приписываете. Кроме того, когда примешь во внимание те условия цензурные, при которых вы писали, поражаешься мастерством изложения. Но все-таки, простите меня, я буду очень рад, если ее запретят.

Во всяком случае, эта ваша статья сблизила меня еще больше с вами самыми основами».

В то же время он писал своей жене, бывшей тогда в Петербурге:

«Вчера получил статью Страхова. Согласен с тобой, что она до неприличия преувеличивает мое значение, но, кажется, что независимо от того, что он так льстит мне, я не ошибусь, сказав, что она замечательно хороша, не только хорошо написана, но умна, задушевна, сердечна. Так понимать сущность христианства может только христианин, или лучше — ученик Христа. Скажи это Николаю Николаевичу. Я буду писать ему».

Замечательно то, что эта статья дошла и до государя Александра III. Вот как об этом пишет Страхов Л. Н—чу:

«...я должен вам рассказать о моем разговоре с графиней Александрой Андреевной. Я еще не успел подойти к ней, как она начала: «Надеюсь, что вы не будете на меня сердиться за то, что я сделала без вашего спроса: я представила вашу статью государю». Такой неожиданный приступ точно ударил меня. Она стала потом говорить, что моя статья заставила ее изменить свой взгляд на вашу деятельность. «Вы знаете, что я давно знаю Л. Н—ча, очень люблю его, очень с ним несогласна, много спорила с ним и думала о нем, но я не умела смотреть с той стороны, с которой вы взглянули. Теперь я стала гораздо терпимее. Когда зашла речь о Л. Н., я сказала государю: у меня есть знакомый писатель Страхов.—Знаю,—говорит он.— И он написал о Л. Н. статью, которая едва ли пройдет через нынешнюю цензуру,

---

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. XXII. Изд. И. Д. Сытина. М. 1913. Стр. 98.

а прекрасно об'ясняет его деятельность. И я передала вашу статью государю». Очень меня взволновала такая честь, и я благодарил графиню, но всего больше меня радовало, что она, кажется, действительно стала отказываться от своей нетерпимости. Она так умна и добра, что для нее это возможно. Но вообще, как это трудно! Из разговоров с разными людьми, напр., даже с Сувориным, я вижу, что ходячее понятие о религии необыкновенно крепко сидит в умах. Почти первое слово о вас: «Как он смеет проповедывать!» У вас отнимают самое неот'емлемое и самое простое и невинное право каждого человека» [1]).

И это значение Л. Н—ча только возросло, расширилось и углубилось под влиянием последующих событий.

---

[1]) Толстовский музей. Т. II. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПБ. 1914. Стр. 431.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1891—1895

ГОЛОД. ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ

ГЛАВА 13-я.

Начало деятельности среди голодающих.

Во второй половине сентября Л. Н—ч совершил поездку в некоторые, пострадавшие от неурожая уезды.

В его записной книжке того времени есть заметки, повидимому, относящиеся до этой поездки.

«Выехали в 7 часов. Заехали Богородицкого уезда в деревню Папарино к старосте. Молодой малый начал перечислять: 60 дворов, у каждого сколько ржи, овса, картофеля, сколько едоков. Все без остановки и запинки. Из 60 дворов 30 бедных: в среднем 5 мер ржи, 5 четвертей овса, около 18 четв. картофеля. Все вместе, главное картофель, дает возможность существовать полгода, т.-е. до марта. Хлеб с лебедой ужасен. Лебеда нынешнего года зеленая. Ее не ест ни собака, ни свинья, ни курица. Люди, если с'едят натощак, то заболевают рвотой».

По дороге Л. Н—ч заезжал к некоторым помещикам. Вот его впечатления:

«У Б. помещается семья. Барыня полногрудая, с проседью, в корсете, с бантиком в шиньоне, хозяйка, расплачивается с поденными, угощает и кофеем, и кремом, и котлетами и грустит о том, что дохода нет, только 100 четвертей овса в продажу, а на детей нужно 1.500 рублей. За мальчика в корпус 400, за мальчика в гимназию-пансион 500, за девочку... Когда говоришь, что этого не нужно, особенно для дочери, она согласна, но что же делать? За столом подали водку и паливку и предложили курить и об'едаться.

Приехали к С. Он на охоте. Великолепный дом, конный двор, винокуренный завод, голубятня... Интересы у Б., и здесь, и у NN: доход, охота, собаки, экзамены детей, лошади...

Не знаю, выйдет ли что из моей поездки. Хочу делать не для себя. Помоги Отец!».

«Толки об охоте вел. кн. Как дурно скачут собаки. Выросли ли молодые? Резвы ли? С. в чекмене, с наборным ремнем скачет...

«Каждый свою жизнь ведет»... [1]).

Эта поездка дала Л. Н—чу материал для его большой статьи «О голоде», известной под разными названиями: «О помощи голодным», «Письма о голоде» и др. Статью эту Л. Н—ч начал писать в сентябре, но она не могла появиться во время по цензурным условиям и появилась в печати только в январе 1892 г. Мы еще вернемся к ней, когда дойдем до описания этого времени.

Эта поездка, или вернее поездки, так как Л. Н—ч совершил две поездки в разные стороны, еще не решили вопроса о том, что делать Л. Н—чу, так как и после этого он еще сомневается.

В октябре Л. Н—ч писал мне так:

«Я могу сказать, что кончил мою статью (о воинской повинности). Буду поправлять еще, но если бы я и умер, то она и в теперешнем виде имела бы цельный смысл. Я задержался в этой работе теперь статьей о голоде, которую начал и которая очень заняла меня. Я ездил с Тапей и Машей порознь в самые голодные места

---

[1]) Арх. кн. Оболенской.

нашей губернии и хотел написать о том, что по этому случаю пришло мне в голову. Вы верно догадываетесь, что наш грех раз'единения с братьями—касты интеллигентов; и чем дальше пишу, тем больше кажется нужным то, что пишу, и тем менее цензурно. План был у нас с девочками тот, чтобы вместо Москвы поселиться в Епифановском уезде в самой середине голодающих и делать там, что Бог велит: кормить, раздавать, если будет что. И С. А. сначала соглашалась. Я рад был за девочек, но потом все расстроилось, и едва ли поедем. А я обещал приехать хоть на 2—3 месяца в Москву. «Не так, как я хочу, а так, как Он хочет» [1]).

Иван Иванович Раевский, старинный друг Л. Н—ча, помещик Рязанской губернии, который уже приезжал ко Л. Н—чу летом и с жаром рассказывал Л. Н—чу о предстоящем бедствии, узнав, что Л. Н—ч интересуется этим событием, поспешил пригласить его пожить к себе, в его имении при деревне Бегичевке в Данковском уезде, Рязанской губернии, близ границы с Епифановским уездом, Тульской губернии. Л. Н—ч охотно принял это предложение.

Но этому решению предшествовали большие колебания, которые ярко выражены в дневнике его дочери Т. Л—ны.

С ее разрешения приводим из него несколько выдержек:

«26 октября. 1891. Ясная Поляна. Мы накануне нашего от'езда на Дон. Меня не радует наша поездка и у меня никакой нет энергии. Это потому, что я нахожу действия папа непоследовательными и что ему непристойно распоряжаться деньгами, принимать пожертвования и брать деньги у мама, которой он только что их отдал. Я думаю, что он сам это увидит. Он говорит и пишет, и я это тоже думаю, что все бедствие народа происходит о ттого, что он ограблен и доведен до этого состояния нами, помещиками, и что все дело состоит в том, чтобы перестать грабить народ. Это, конечно, справедливо и папа сделал то, что он говорит, — он перестал грабить. По-моему, ему больше и нечего делать. А брать у других эти награбленные деньги и распоряжаться ими, по-моему, ему не следует. Тут, мне кажется, есть бессознательное чувство страха перед тем, что его будут бранить за равнодушие и нежелание сделать что-нибудь для голодных более положительное, чем отречение самому от собственности. Я его нисколько не осуждаю и возможно, что я переменю свое мнение, но мне пока грустно, потому что я вижу, что он делает то, в чем, мне кажется, что он раскается, и я в этом участница. Я понимаю, что он хочет жить среди голодающих, но мне кажется, что его дело было бы только то, которое он и делает — это увидать и узнать все, что он может, писать и говорить об этом, общаться с народом насколько можно.

«Еще мне грустно то, что мама в Москве очень беспокойна и первна и осталась одна с малышами, Лева в данную минуту здесь и в одно время с нами едет в Самару. Да еще, что меня огорчает — папа говорит, что если нужны будут деньги, то он что-нибудь напишет в журнал и возьмет деньги. Я ему не говорю, что я думаю, потому что, может быть, я неправа, а если он сам до этого не додумается, он со мной не согласится. Он слишком на виду,—все слишком строго его судят, чтобы ему можно было выбирать second best, особенно когда у него уже есть first best. Если бы я одна действовала, то с какой энергией я взялась бы за second best, не имея first best, а с ним вместе не хочется делать то, что с ним не гармонирует. Я рада, что у меня нет чувства осуждения и неприязни к нему за это, а только недоумение и страх за то, что он ошибается. А, может быть, и я? Это гораздо вероятнее».

Далее, в том же дневнике Татьяна Львовна описывает свое путешествие и приезд в Бегичевку:

«29 октября. Бегичевка. Третьего дня мы приехали на станцию Клекотки и так как была метель, то мы там переночевали на постоялом дворе. Вечером на меня напала ужасная тоска, — беспокойство за мама и жалость к ней и беспокойство за папа. Он кашлял, у него был насморк и от вагонной жары он совсем осовел и тоже

---

[1]) Архив П. И. Бирюкова.

14. Лев Николаевич в Бегичевке в 1893 году со своими сотрудниками.
Слева направо: Григорий Ив. Раевский, П. И. Бирюков, Петр Ив. Раевский, Алексей Митроф. Новиков
Лев Николаевич, Иван Ив. Раевский, Александр Васильевич Цингер, Татьяна Львовна Толстая

был уныл и мрачен. Я написала письмо мама, пошла на станцию его опускать, и темная ночь, ветер, который распахивал и рвал с плеч шубу, еще более навел на меня тоску. И обстановка угнетательно подействовала на меня — гадкие олеографии на стенах, безобразная мебель и обои, глупые книги. Я думала с замиранием сердца, что есть же на свете Репин, буду же я опять жить так, что все, что есть нового, интересного — все папа и мы будем видеть, пользоваться этим и еще тем, что все это будет нам об'яснено и как на подносе поднесено папа. Утром меня утешило то, что было тепло и тихо и папа приободрился. В 9 часов мы выехали: папа, Ив. Ив. и старуха, которую они подвозили в одних санях, а мы четыре: Маша, Вера и я и Мар. Кир. на другой, самарипской тройке. Снегу чуть-чуть и тот ветром весь сметен в лощины».

Все-таки они в этот же день благополучно добрались до гостеприимного дома Раевских. Татьяна Львовна продолжает в своем дневнике описание первого вечера и первого дня:

«Лошади наши измучились ужасно и мы устали от толчков, от жары, потому что оделись, как самоеды, так что мы в этот день ничего не сделали. Вечером пришел Мордвинов и говорили все вместе о том, что делать. Папа надоумил меня затеять работы для баб, о чем я сегодня с ними и говорила. У меня была эта мысль давно, без всякого голода, и, может быть, начавши это дело тут, я и в Ясной, и в окрестных деревнях сделаю то же самое. Потом Ив. Ив. поручил нам школу. Нынешнюю зиму мужики не в состоянии содержать учителя, поэтому, пока мы тут, мы поучим. Я на это не смотрю серьезно, — если время будет, то я займусь этим, — это будет средством ближе сойтись с народом и узнать правду о голоде. Ив. Ив. показывал нам записи тех столовых или «сиротских призрений», как они тут называются, которые он открыл. По ним видно, что прокормить человека,—кормя его два раза в день,— стоит от 95 к. до 1 р. 30 к. в месяц. Ходит в эти столовые от 15 до 30 человек».

Описание этой поездки хорошо дополняется письмом Л. Н—ча к Софье Андреевне того же числа:

«Выехали по хорошей погоде в катках больших все: Лева, Попов и мы пятеро с М. К. На станции, как и везде, народу черного, едущего на заработки и возвращающегося после тщетных поисков—бездна. Нас с билетами 3-го класса посадили во 2-й. Тут нашелся Керн, и потом Богоявленский. Жара страшная, и мы все осовели от нее. На Клекотках простились с Левой и Поповым и нашли две тройки в санях за нами. Ехать решили, что нельзя, потому что шел снег с ветром и ночевали недурно в бедненькой, но не очень грязной гостинице. Девочки так ухаживают за мной, так укладывали все, так старательны, что можно только желать уменьшения, а не увеличения забот. Все это твоя через них действует забота, и я ценю ее, хотя и не нуждаюсь в ней, или так мне кажется.

«Рано утром поднялись, но выехали в 10. Ехали хорошо, тепло. Я надел раз тулуп, и приехали в два. Дом теплый, топленный, — все прекрасно приготовлено. Мне Иван Иванович уступил свой великолепный кабинет. У девочек две комнаты с особым ходом. Общая большая комната для repas. Сам он поместился в маленькой комнатке Алексея Митр—а, рядом с своим Федотом. Нынче я настоял, чтобы он пошел в кабинет, а я на его место. И сейчас перешел, и мне прекрасно, и тепло, и уютно, и за перегородкой спит Федот. Обед простой, чистый, сытный; молока вволю.

«После обеда заснул. Приехали вещи, девочки разобрались; вечером приехал Мордвинов, зять Ивана Ивановича, земский начальник, весь поглощенный заботами о народе. Когда он уехал, в 9 часов разошлись, я сел писать статью о том, что страшно не знать, достанет или недостанет в России хлеба на прокормление, и до 11 часов написал. Потом спал прекрасно. Утром продолжал статью. Между прочим, побеседовал с Ив. Ив., и больше определилась деятельность девочек: Тане я очень советую взяться за дело пряжи и тканья, т.-е. устройства этого заработка. Маша будет при столовых и пекарне. Я сейчас был в трех деревнях, из которых в двух

приискал место для столовых, в обеих человек на 50. Описывать слегка нищету и забитость этих людей — нельзя. Но хорошо, здорово их видеть, если можно только хоть сколько-нибудь служить им, и я думаю, что можно» [1]).

Так началась деятельность Л. Н—ча и его дочерей по кормлению голодающих.

Начата была эта деятельность очень скромно. В начале ноября он писал мне:

«Неделю тому назад, нынче 3 ноября, мы—я, Таня, Маша, Вера Кузьм. уехали, с согласия трудно добытого С. А., с 500 р. в Данковск. уезд на границе Епифан.— местность очень голодную, и живем там у Раевского. Все заняты и хорошо. Столовые для самых бедных, у девочек еще школа и желание и попытки помощи во всех родах. Я очень рад за них. Время очень интересное, положение напряженное и опасное. Я написал одну статью — поспешную и потому нехорошую в журнале Грота. Ее арестовали и едва ли пропустят, и послал другую в «Рус. Ведом.»; не знаю, пропустят ли. Должно быть. Статья неважная, но нужная, ставящая вопрос о том, есть ли у нас достаточно хлеба» [2]).

Статью, о которой упоминает Л. Н—ч в письме ко мне и в письме к С. А., он назвал «Страшный вопрос». Статья эта хорошо известна читающей публике и мы приводим из нее только наиболее характерные выдержки, указывающие на ход мысли Л. Н—ча, при его заботе о помощи голодным.

«Есть ли в России достаточно хлеба, чтобы прокормиться до нового урожая? Одни говорят, что есть, другие говорят, что нету, но никто не знает этого наверное. А знать это надо и знать наверное, теперь же, перед началом зимы, — так же надо, как надо знать людям, пускающимся в дальнее плавание, есть ли или нет на корабле достаточное количество пресной воды и пищи.

«Страшно подумать о том, что будет с командой и пассажирами корабля, когда в середине океана окажется, что запасы все вышли. Еще более страшно подумать о том, что будет с нами, если мы поверим тем, которые утверждают, что хлеба у нас достанет на всех голодающих, и окажется перед весной, что утверждающие это ошиблись.

«Страшно подумать о последствиях такой ошибки. Последствиями такой ошибки ведь будет нечто ужасное: смерть голодных миллионов и худшее из всех бедствий — остервенение, озлобление людей. Ведь хорошо только пушечными выстрелами предуведомлять петербуржцев о том, что вода поднимается, потому что больше ведь ничего нельзя сделать. Никто не знает и не может знать степени подъема воды: остановится ли она на том, что было прошлого года, или дойдет до того, что было в 24-м году, или поднимется еще выше.

«Голод же нынешнего года кроме того, что есть беда без сравнения большая, чем беда наводнения, без сравнения более общая (она угрожает всей России), — есть беда, степень которой можно и должно не только предвидеть, но можно и должно предвидеть и предупредить».

Перечисляя затем различные признаки, указывающие на недостаток хлеба в России, Л. Н—ч говорил:

«Все эти признаки указывают на то, что есть большое вероятие того, что нужного для России хлеба нет в ней. Но кроме этих признаков есть еще явление, которое должно бы заставить нас принять все зависящие от нас меры для предупреждения угрожающего нам бедствия. Явление это есть охватившая общество паника, т.-е. неопределенный смутный страх ожидаемого бедствия, страх, которым люди заражаются друг от друга, страх, лишающий людей способности действовать целесообразно. Паника эта выражается и в запрете сначала вывоза ржи, потом

---

[1]) Письма Л. Н—ча Толстого к жене, стр. 361.

[2]) Архив П. И. Бирюкова.

других хлебов, кроме почему-то пшеницы, и в мерах, с одной стороны, ассигнования больших сумм для голодающих, а с другой стороны — собирания местными властями подати с тех, которые могут платить, как будто извлечение из деревни денег не есть прямое усиление нужды деревни. (У богатого мужика заложены посевы бедного. Он бы подождал,—с него тянут подати, он тянет и разоряет бедного.)

«Паника эта поразительно заметна еще в разгорающихся несогласиях между различными местными ведомствами. Повторяется то, что всегда бывает при паническом страхе: одни тянут в одну, другие в другую сторону.

«Паника эта выражается и в настроении и в деятельности народа. Приведу один пример: движение народа на заработки.

«Народ в конце октября нынешний год едет искать заработок в Москву, в Петербург. В то время, когда все работы на зиму установились, когда харчи в три раза дороже обыкновенного и всякий хозяин отпускает, сколько он может лишних людей, в то время, когда везде пропасть оставшихся за штатом рабочих, — люди, никогда не имевшие места в городах, едут искать этих мест. Разве не очевидно всякому, что при таких условиях более вероятия каждому владельцу выигрышного займа выиграть 200 тысяч, чем мужику, приехавшему из деревни в Москву, найти место, и что вся поездка, хотя бы самая дешевая, с сопряженными с поездкой расходами, где и выпивкой, есть только лишняя тяжесть, которая ляжет на голодного? Казалось бы, должно быть очевидно, — а все едут, едут назад, и опять едут. Разве это не признак совершенного безумия, охватывающего толпу при панике?».

Л. Н—ч требует этого знания запаса хлебов, потому что неуверенность в наличности его парализует деятельность. Нужно смотреть правде в глаза, только тогда можно помочь беде, когда ее видишь и сознаешь. И он заключает свою статью следующими словами:

«Если бы мы теперь узнали, что у нас нехватка хлеба, пускай бы она была в 50, в 100, даже в 200 милл. пудов хлеба, — все это было бы не страшно. Мы бы теперь же закупили этот хлеб в Америке и всегда бы расплатились с нею государственными, общественными или народными суммами.

«Люди, которые работают, должны знать, что работа их имеет смысл и не пропадет даром.

«Без этого сознания отпадают руки. А чтобы это знать, для той работы, которою занято теперь огромное большинство русских людей, надо знать теперь, сейчас же, через две—три недели знать: есть ли у нас достаточно хлеба на нынешний год, и если нет, то откуда мы можем получить то, чего нам недостает?».

Хлеба оказалось достаточно. Но горячее слово, сказанное Л. Н—чем, всколыхнуло все русское общество. Влияние этой статьи было громадно.

Один земский врач писал Л. Н—чу:

...«Ваше обращение к обществу должно ли рассматривать, как боевой призыв, за которым последует самое дело, или вы хотели предоставить инициативу этого дела другим людям? Но в России нет теперь духовного вождя, кроме вас. Есть представители разных воззрений, направлений мысли, но вождя, за которым бы шли, который действовал бы на толпу не только нравственно, но и практически, увлекая ее за собой, такого вождя, кроме вас, нет. За вами идут уже многие, и когда вы начнете большое дело, за вами пойдет большинство, поднимутся и отчаявшиеся в себе и ослабевшие. Для этого не нужно необходимо быть единомышленником ваших теорий, нравственная мощь чувствуется помимо ее, а теперь именно предстоит не теория, а дело, за которое равно могут приняться и христианин, и язычник, и ваш последователь, и ваш противник, но нужен вождь, и только вы им можете быть. Нужна организация и вы должны дать ее».

Илья Ефимович Репин писал из Петербурга дочери Толстого:

«Статью Л. Н—ча «Страшный вопрос» в «Русских Ведом.» читал сейчас же по

прибытии газеты сюда. Я приехал к П. в самый раз, читали вместе и удивлялись могучей постановке вопроса. В самом деле, сколько писалось и пишется по этому делу! Везде говорят об этой статье и много пишут. У NN целое литературное собрание было по этому поводу».

Татьяна Львовна писала Репину свои соображения и впечатления о начатом деле и сообщала краткие сведения о самом способе его ведения. Это письмо произвело также сильное впечатление на петербургскую публику. Вот что пишет по этому поводу Репин Татьяне Львовне:

«Письмо ваше так значительно, так животрепещуще-интересно, что мне даже жалко было читать его одному. Я бы сейчас снес его в любую газету; оно теперь прочиталось бы всеми. Вечером повезу его к Стасовым, будем наслаждаться, страшно сказать — людским несчастьем. Нет не этим, а тем, что свет не без добрых людей, что вера в Бога настоящего еще не оскудела; что сильные люди сильны до конца: дают пример слабым захирелым душонкам, шевелят их... Что молодежь, здоровая, прекрасная, полная жизни, не на словах, не на бумаге, у себя, в кабинете, а прямо на деле, засуча рукава, действует, спасает от смерти этих отдаленных, несчастных, забитых судьбою и пространством людей. Ведь теперь для них встреча с вами все равно, что в прежние времена, встреча приговоренной к смерной казни — с царицей — им даровалась жизнь... И теперь вы многих спасаете от верной гибели — велика ваша заслуга!»...

В личной жизни Л. Н—ча на первых же днях его деятельности постигло горе — смерть его друга и товарища юности, Дмитрия Алексеевича Дьякова. Когда-то этот человек был очень близок Л. Н—чу и черты этой дружбы и личного характера Дьякова отразились в художественном изображении типа Нехлюдова в повести «Юность». Лично нам приходилось слышать от Л. Н—ча, что Дьяков имел на него в юности очень хорошее влияние, и, хотя жизненные пути их разошлись, но встречи их были всегда очень сердечны.

Л. Н—ч упоминает об этой смерти в одном из писем к С. А—не:

«Жаль, что не пришлось видеться с Дьяковым перед смертью. Ничто так не напоминает о своей близости к смерти, как смерть таких близких, как он был мне. И напоминание это на меня всегда действует ободряюще» [1]).

Скоро так скромно начатая Л. Н—чем деятельность обратила на себя внимание всего мира.

Софья Андреевна, жившая с младшими детьми в Москве, не могла оставаться равнодушной к деятельности своего мужа и старших детей. Старшие дочери были со Л. Н—чем, старшие два сына действовали в Тульской губернии, а третий, Лев— в Самарской.

С. А—на хотела своим личным посильным участием присоединиться к этому делу и она напечатала в «Русских Ведомостях» 3 ноября сообщение о деятельности Л. Н—ча.

«Принужденная оставаться в Москве с четырьмя малолетними детьми,—заявляла С. А—на,—я могу содействовать деятельности семьи моей только материальными средствами. Но их нужно так много. Отдельные лица в такой большой нужде бессильны. А между тем каждый день, который проводишь в теплом доме, и каждый кусок, который с'едаешь, служит невольным упреком, что в эту минуту кто-нибудь умирает с голода. Мы все, живущие здесь в роскоши и не могущие даже выносить вида малейшего страдания собственных детей наших, — неужели мы спокойно вынесли бы ужасающий вид притупленных или измученных матерей, смотрящих на умирающих от голода и застывших от холода детей, на стариков без всякой пищи? Но все это видела теперь моя семья. Вот что, между прочим, пишет мне дочь моя из Данковского уезда об устройстве местными помещиками на пожертвованные ими средства столовых:

---

[1]) Письма Л. Н—ча Толстого к жене, стр. 364.

«Я была в двух. В одной, которая помещается в крошечной курной избе, вдова готовит на 25 человек. Когда я вошла, то за столом сидело пропасть детей и, чинно держа хлеб под ложкой, хлебали щи. Им дают щи, похлебку и иногда холодный свекольник. Тут же стояло несколько старух, которые дожидались своей очереди. Я с одной заговорила, и как только она стала рассказывать про свою жизнь, то заплакала, и все старухи заплакали. Они, бедные, только и живы этой столовой, — дома у них ничего нет, и до обеда они голодают. Дают им есть два раза в день, и это обходится вместе с топливом от 95 коп. до 1 р. 30 к. в месяц на человека»...

«Следовательно, за 13 рублей можно спасти от голода до нового хлеба человека. Но их много и средств помощи нужно бесконечно много. Но не будем останавливаться перед этим. Если мы, каждый из нас, прокормит одного, двух, десять, сто человек, сколько кто в силах, уже совесть наша будет спокойнее. И вот, решаюсь и я обратиться ко всем тем, кто хочет и может помочь, с просьбой способствовать материально деятельности моей семьи. Все пожертвования пойдут прямо, непосредственно на прокормление детей и стариков в устраиваемых мужем моим и детьми столовых».

Воззвание С. А—ны получило живой отклик. Оно было перепечатано во всех русских и многих иностранных газетах Европы и Америки. С 4 по 17 ноября, в течение только 2 недель, ею получено около 5 с половиною тысяч в самой Москве, около 3 тысяч пожертвовано неизвестными и около 4 с половиною тысяч прислано из провинции. Всего поступило 13.000 р. 82 к. и довольно много разных вещей— полотна, платья, сухарей и т. п. В числе приславших С. А—не пожертвования находился известный о. Иоанн Кронштадтский, препроводивший 200 рублей.

Не остались глухи к воззванию и за границей, особенно в Англии, где движение в пользу сбора пожертвований для голодающих в России, быстро приняло обширные размеры: кроме подписок, открытых для этой цели редакцией «Nineteenth Century», госпожей Новиковой, романисткой Гесбой Стретам и квакерами, которые послали своих представителей на места голода в России, основан фонд для оказания помощи России (Russian. Relief Fund), в котором принимали участие такие известные личности, как герцог Вестминстер, лорд Абердер, лорд Кольридж и др.

Печатая свое воззвание благотворителям, учредители этого фонда, лорд Максвель и Джильберт Кольридж, заявили, что часть собранных денег будет роздана на месте делегатами квакеров, а другая часть послана графу Льву Толстому, письмо которого к ним было напечатано во всех газетах.

Это письмо Л. Н—ча к англичанам вызвано было в свою очередь письмом англичан, прочитавших воззвание Софьи Андреевны и обратившихся к ней за советом, как и куда лучше направлять собираемые в Англии пожертвования. По просьбе С. А—ны Л. Н—ч так отвечал им:

«М. г., я премного тронут той симпатией, которую выражает английский народ к бедствию, постигшему ныне Россию. Для меня большая радость видеть, что братство людей не есть пустое слово, а факт. Мой ответ на практическую сторону вашего вопроса следующий: учреждения, которые всего лучше работают в борьбе с голодом нынешнего года, это, без сомнения земства, а потому всякая помощь, какая будет препровождена, им будет хорошо употреблена в дело и вполне целесообразно. Я теперь живу на границе двух губерний, Тульской и Рязанской, и всеми своими силами стараюсь помогать крестьянству этого округа и состою в ближайших сношениях с земствами обеих губерний. Один из моих сыновей трудится для этой же самой цели в восточных губерниях, из которых Самарская находится в самом худшем положении. Если деньги, которые будут собраны в Англии, не превзойдут той суммы, которая необходима для губерний, в которых теперь работаем я и мой сын, то я могу взяться, с помощью земств, употребить их наилучшим возможным для меня образом. Если же собранная в Англии сумма превзойдет эти размеры, то я буду очень рад направить вашу помощь к таким руководителям земств других

губерний, которые окажутся лицами, заслуживающими полного доверия, и которые будут вполне готовы дать публичный отчет о таких деньгах. Способ помощи, который я избрал, хотя он вовсе не исключает других способов, это организация обедов для крестьянского населения. Я надеюсь написать статью относительно подробностей нашей работы,—статью, которая, будучи переведена на английский язык, даст вашему обществу понятие о положении дел и о средствах, употребляемых для борьбы с бедствием настоящего года. Преданный вам Лев Толстой».

Сомнения в том, хорошо ли сделал Л. Н—ч, взяв деньги и поехав кормить голодных, высказанные в дневнике Татьяны Львовны, скоро не замедлили оправдаться и нашли отклик в самом Льве Николаевиче.

Так, уже 9 ноября он пишет между прочим своим друзьям Ге, справляясь у них (в Черниговской губернии) о цене на горох:

«Мы живем здесь и устраиваем столовые, в которых кормятся голодные. Не упрекайте меня, друг. Тут много не того, что должно быть, тут деньги от С. А. и жертвованные, тут отношение кормящих к кормимым, тут греха конца нет, но не могу жить дома, писать. И знаю, что делаю не то, но не могу делать то, а не могу ничего не делать. Славы людской боюсь и каждый час спрашиваю себя, не грешу ли я этим, и стараюсь строго судить себя и делать перед Богом и для Бога. Написал одну статью в «Вопр. Филос.», не знаю, пропустят ли. Другую в «Русск. Вед.». Эту, вероятно, прочтете. Теперь еще пишу. А не хочется писать об этом, хочется кончать большую статью, которая уже близится к концу. Мне кажется, что с этим голодом что-то важное совершается, кончается или начинается» [1]).

В таком же духе он пишет на другой день Черткову.

«Мы живем здесь хорошо. Устраиваем здесь столовые. Много трогательного и страшного. Страшно одно, что всегда мне страшно, — это пучина, разделяющая нас от наших братьев. Пожертвования вызваны письмом С. А. и денег у нас около 2 тысячи и, кажется сбор, с «Плодов просвещения» поступит нам. Я боюсь обилия денег. И так с маленькими деньгами много греха. И теперь еще не установилось дело. Путает помощь, выдаваемая земством, и желание, требование крестьян, чтобы выдаваемо было всем поровну. Делаем мало, дурно, но делаем и как бы чувствуем, что нельзя не делать» [2]).

А между тем дело разрасталось и осложнялось. Предстоящая огромность его часто смущала деятелей и сознание недостаточности его для действительной помощи парализовало энергию. Мы приводим здесь страничку из дневника Татьяны Львовны, хорошо изображающую настроение их работающей семьи и, несомненно, отражающей на себе и мысли Л. Н—ча.

«Дела тут так много, что начинаю приходить в уныние, — все нуждаются, все несчастны, а помочь невозможно. Чтобы поставить на ноги всех, надо на каждый двор сотни рублей и то многие от лени и пьянства опять дойдут до того же. Тут много нужды не от урожая этого года, а оттого же, отчего наш Костюшка беден, от нелюбви к физической работе, какой-то беспечности и лени. Тут деньгами помогать совершенно бессмысленно. Все это так сложно. Может быть, Костюшка был бы писателем, поэтом, может быть, актером, каким-нибудь чиновником или ученым, а потому что он поставлен в те условия, в которых иначе, как физическим трудом, он не может добывать себе хлеба, а физический труд он ненавидит, то он и лежит с книжкой на печи, философствует с прохожим странником, а двор его тем временем разваливается, нива не вспахана и бабы его, видя его беспечность, тоже ничего не делают и жиреют на хлебе, который они выпрашивают, занимают и даже воруют у соседей. Таким людям дать денег—это только поощрить их к такой жизни. Дело все в том, как папа говорит, что существует такое огромное разделение между мужиками и господами, и что господа держат мужиков в таком рабстве, что

---

[1]) Архив Черткова.
[2]) Там же.

им совсем нет простора в их действиях. Я думаю, что такое положение дел, как теперь, недолго останется таким, и как бы нынешний год не повернул дело круто.

«Тут часто слышится ропот на господ, на земство и даже на «императора», как вчера сказал один мужик, говоря, что ему до нас дела нет, хоть мы все поиздыхай с голода. Еще известие в этом роде привез Ив. Ив. Ему рассказывали, что несколько мужиков из соседней деревни к Писареву собрали 20 рублей и поехали в Москву жаловаться Серг. Алекс. Говорят, их за это засадили. А тут еще вышел этот идиотский циркуляр министра, который губернатор всем рассылает, о том, чтобы земство помогало только тем мужикам, которые этого заслуживают, и лишало помощи тех, которые откажутся от каких бы то ни было предлагаемых работ. Так что, если мужика будут нанимать ехать отсюда до Клекоток (30 верст) за двугривенный, и он сочтет это невыгодным, то его надо лишить всякой помощи и оставить умереть с голода. Это ужасно, что эти люди, сидя в своих кабинетах, измышляют. И ведь эти меры применяются к мужикам, которые во сто раз умнее всех NN и MM и с которыми обращаются, как с маленькими детьми, рассуждая, заслуживают ли они карамельки или нет.

«Сегодня метель, но все-таки придется итти в Екатерининскую открывать столовую. Как много жалких людей! Редкий день Маша или Вера не ревут и меня, хоть я и потверже, иногда пробирает. На-днях зашла к мужику в избу — пропасть детей, есть совсем нечего. В этот день с утра не ели. Протопили стены избы, вместо которой мужик подвел мазанную, каменную. Сколько детей у тебя? — Шестеро. — Что же нынче ели? — Ничего с утра не ели, пошел мальчик побираться, вот его ждем. — Как это детей не жалко? — Об них-то и тоска, касатка. — Мужик отвернулся и заплакал» [1]).

Между Софьей Андреевной, жившей в Москве и собиравшей пожертвования, и Львом Николаевичем, жившим с дочерьми в Бегичевке, шла деятельная переписка. Письма Л. Н—ча и его дочерей к Софье Андреевне прекрасно изображают первые шаги их деятельности. Мы приводим здесь несколько отрывков из этих писем.

Из письма Т. Л. 2 ноября:

...«Ходим по деревням и кое-как открываем столовые. Особенно жалки везде дети, почти у всех у них то серьезное выражение лиц, какое бывает у детей, видевших много нужды. И одеты они все ужасно: у некоторых от самого локтя лохмотья и вся юбка такая же. Бабы рассказывают, что дети прежде не верили, когда им давали лебедовый хлеб, что это хлеб, и плакали, говорили, что это земля и кидали его».

4 ноября.

...«Устроили пекарни, в которых пробуют печь хлебы с разными суррогатами. По совету профессора Эрисмана, пробовали печь хлеб с отбросами свеклы, которые на сахарных заводах продаются по 2 коп. за пуд и в которых, по словам профессора Эрисмана, очень много питательного. Первая проба не удалась, хлеб сел и вышел какой-то мокрый, но сегодня приехал пекарь, который опять сделает этот опыт. Пока лучше всего выходит хлеб с картофелем, он очень вкусен и обходится 78 коп. за пуд.

Тут же пробуют печь хлеб со жмыхами, но не с подсолнечными, а с льняными и разными другими. Беда вся в том, что хлеба нет».

Из письма Л. Н—ча 9 ноября.

«Вчера я с М. ездил на одной лошадке в наши столовые в Т., за пять верст, а Таня ходила в свою ближайшую столовую. У нас теперь идет пертурбация с тех пор, как деревни стали получать муку от земства. Прежде были определенно и несомненно нуждающиеся, а теперь, с выдачей, является сомнение, и, казалось бы, должно уменьшиться количество посещающих столовые, а оно увеличилось. Время идет, запасы истощаются, те, которые не были нуждающимися, становятся ими...

---

[1]) Арх. Т. Л. Сухотиной.

...«На деньги твои, 1.100 руб., мы решили купить дров, которые нашлись в околотке. Это было самое нужное и трудное достать. Хлеба в нашей местности, судя по тому, что закуплено теперь земством, должно достать хотя наполовину, но топлива совсем нет. Эти же дрова близко и дешево, по 18 рублей за сажень. Они пойдут по столовым и прямо на помощь нуждающимся».

Из письма Т. Л. 11 ноября.

«Положение народа с каждым днем все ухудшается и приходится в каждой деревне открывать вторую столовую. Я думаю, что и по три открыть будет не слишком много. Вчера ходили на ужин в свою столовую. Хозяйка очень проворная, отлично готовит и ласкова с детьми. Сидят крошки, матери их приводят и кормят, сами не едят, все и веселые и довольные. Весело смотреть на эти обеды и ужины, те, которые жертвуют на это деньги, были бы вознаграждены за это, если бы видели, как жертвованные деньги идут прямо на то, чтобы утолять голод людей. Это была бы хоть маленькая награда тем, которые хоть иногда и от излишков жертвуют для других».

Из письма Л. Н—ча 19 ноября.

«Положение становится все напряженнее и напряженнее: проедают последние средства, и количество совсем неимущих все увеличивается. Главное—топливо и праздность мужчин и женщин. Нынче пишу В. о высылке нам лык для работы лаптей. Лен на-днях получится.

«В последнюю почту получено нами повесток на 3300 рублей. Твои, т.-е. тобою полученные пожертвования, очень хороши. Поразительны 1500 аршин материи и количество вермишели. Ее надо будет раздавать в большие праздники. Материя же тоже поразительно нужна. Нынче я видел вдову с детьми положительно голых. Только один мальчик может выходить. Я еще не видал такой бедности».

Из письма Л. Н—ча 25 ноября.

...«Столовые расползаются, как сыпь. Теперь уже более 30 и идут хорошо. Я вчера вечером посетил две. Трогательно видеть, как ребята с ложками бегут толпой. Попался нищенка-мальчик из чужой деревни. Его пригласили и накормили и спать положили в столовой».

Видя успех столовых, Л. Н—ч решился поделиться своим опытом с русскими людьми, хотевшими помогать голодающему народу и написал статью: «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», эта статья была окончена 26 ноября и тотчас же напечатана и в периодических изданиях, и в сборниках, и отдельными брошюрами.

Несколько длинное заглавие этой статьи об'ясняется требованиями цензуры. Государь Александр III в одном обществе на вопрос, обращенный к нему о голоде в России, ответил: «В России нет голода, а есть местности, пострадавшие от неурожая». Эти слова были подхвачены сановниками и вышло распоряжение не допускать в печати слова «голод» и «голодные», а заменять его выражением «пострадавшие от неурожая».

В этой статье Л. Н—ч так ставит вопрос о помощи:

«Помощь населению, пострадавшему от неурожая, может иметь две цели: поддержание крестьянского хозяйства и избавление людей от опасности заболевания и даже смерти от недостатка и недоброкачественности пищи».

И далее Л. Н—ч подвергает строгой критике практиковавшуюся тогда земскую «выдачу» хлебом, находя ее неудовлетворяющей своему назначению. И тут же задает себе вопрос:

«Но если то, что делается теперь, не хорошо, то что же хорошо? Что же нужно делать?».

И отвечает так:

«Нужны, по моему мнению, две вещи: для хоть не поддержания крестьянского хозяйства, а противодействия его окончательному разорению, учреждение работ для всего, могущего работать населения и устройство во всех деревнях голодающих мест даровых столовых для малых, старых, слабых и больных.

«Учреждение работ должно быть такое, чтобы работы эти были доступны, знакомы и привычны населению, а не такие, которыми никогда не занимался или даже не видывал народ, или такие, при которых, тем членам семей, которые никогда не уходили, надо уходить из дома, что по семейным и еще другим условиям (как отсутствие одежды) часто невозможно сделать. Работы должны быть такие, чтобы, кроме внедомашних работ, на которые пойдут все, привыкшие и могущие ходить на заработки работники, могло быть занято все население голодающих местностей — мужчины, женщины, свежие старики, подростки-дети».

«Для достижения же второй цели — спасения людей от заболевания и смерти вследствие дурной пищи и недостатка ее—по моему мнению, единственное несомненное средство есть устройство в каждой деревне даровой столовой, в которой каждый человек мог бы насытиться, если он голоден.

«Устройство таких столовых начато нами уже более месяца тому назад и до сих пор ведется с успехом, превзошедшим наши ожидания».

И затем Л. Н—ч дает самые подробные указания, как осуществить этот способ помощи, дает даже образец заборной книжки для заведующих столовыми, по которым они получают провизию.

В конце статьи Л. Н—ч говорит еще об одном роде существенной помощи, которая была предложена и осуществлена одним калужским общественным деятелем. Он предложил взять 80 лошадей из голодной местности для прокормления их в течение пяти зимних месяцев. В этом предложении участвовали как помещики, так и крестьяне Калужской губернии.

Обращая внимание на эту братскую помощь, Л. Н—ч так заканчивает свою статью:

«Если бы хотя сотая доля такого живого братского сознания, такого единения людей во имя Бога любви была во всех людях, как легко, да не только легко, но радостно перенесли бы мы этот голод, да и все возможные материальные беды!».

Дело помощи все разросталось. Являлись новые сотрудники и новые виды помощи.

Интересны были разговоры в Бегичевке по вечерам, когда все, Л. Н—ч и его сотрудники возвращались с работы, являлись вновь приезжие, завязывался обмен мнений и все присутствовавшие жадно ловили слова Л. Н—ча о том, что он думает о дальнейшей судьбе многострадального русского народа.

Отражение этих бесед мы находим в дневнике Татьяны Львовны, откуда и заимствуем новую страничку:

«17 ноября. Вчера вечером папа, Вл—ов, Богоявленский, Чистяков и я много говорили, о том, что ждет Россию и хотя папа говорит, что сколько мы ни старайся, а впереди крушение, — меня это не приводит в уныние и хотя, слушая других и сама соображая, я не могу с этим согласиться, а все-таки есть какая-то надежда на то, что если побольше людей будет выбиваться из сил, чтобы сделать что-нибудь, то найдутся еще люди, которые последуют их примеру и, может быть, крушение минует. Меня пугает то, что эта бедность и голод есть способ для очень многих поработить себе людей и кончится это тем, что или опять будут рабы хуже крепостных, или будет восстание, что, по-моему, по духу времени, вероятнее. Вл—ов говорит, что если бы он знал, что оттого, что 100 тысяч умрут с голода, миллион восстанет и ему будет лучше, то он согласился бы на это, но он думает, что если будет восстание, то будет еще хуже. Я же думаю, что никто из нас не может предвидеть того, что будет, и не имеет права дать 100 тысячам умереть с голода, если есть возможность предотвратить это, и не должен заботиться об общих вопросах, а каждый должен класть все свои силы, чтобы вокруг себя сделать, что он может. После таких разговоров об общих вопросах мне иногда кажутся мелкими нужды разных Кабановых, Мироновых и так далее и мне думается, стоит ли хлопотать о том, нужна или не нужна им лишняя выдача, почему в столовой вы-

шло слишком много дров и т. д., но потом я себе говорю, что только это и надо делать, потому что только это я и могу.

...«Папа стал часто говорить и пишет в своих письмах, что дело, которое он делает, не то, а что это уступка. Я рада этому, значит, я не ошиблась»...

«19 ноября 1891 года. Бегичевка. Сегодня утром был у папа с Чистяковым разговор, к концу которого я пришла. Но по этому концу я поняла, о чем они говорили. Чистяков спрашивал папа, как он об'ясняет то, что он теперь принимает пожертвования и распоряжается деньгами и считает ли это он последовательным с его взглядами? Чистяков говорил слишком резко и хотя без малейшего оттенка досады и с большой любвью к папа, но я видела, что папа это было больно до слез. Он говорил: «Спасибо, что вы мне это сказали, как это хорошо, как хорошо!», но ему было больно. Он сам прекрасно чувствовал и доходил до того, что это не то и незачем было ему это говорить. Чистяков говорит, что от теперешней деятельности папа до благотворительных спектаклей и до деятельности отца Иоанна совсем не далеко; что он не имеет права вводить людей в заблуждение, так как многие идут за ним и ждут от него указаний и что за теперешнее его дело все будут хвалить его, тогда как оно не хорошее. Папа сказал: «Да, это как тот мудрец, который, когда ему стали рукоплескать во время его речи, остановился и спросил себя: не сказал ли я какой нибудь глупости?».

И далее в дневнике своем Т. Л—на прекрасно изображает всю сложность дела, которым занимался Л. Н—ч. Сколько нужно было духовной силы, чтобы бодро, не опуская рук, продолжать его.

«20 ноября 1891 года. Бегичевка. 3 часа дня. Случайно выдалось свободное время, и я хочу записать все, что мы переживаем за это время. Во-первых, дела у нас стало так много, что нет времени ни думать, ни читать, ни разговаривать (до чего я, впрочем, не охотница) и даже нет времени хорошенько соображать то, что нужно для дела. Папа тоже очень утомляется и мне жалко и страшно на него смотреть. Я замечаю это за ним и за собою: мы начинаем отвечать на что-нибудь, что нас спрашивают, и вдруг вспоминаем что-нибудь другое и отвечаем не то, что следует, и с большим усилием возвращаемся к первой мысли. Это оттого, что надо вспомнить слишком много разных вещей. То приходят просить вписать в столовую; то в столовой нехватило хлеба; то у нас вышла свекла, надо послать к Лебедеву; то надо ввести новые перемены в столовые, вроде пшена, гороха и т. п.; то пришел побирушка; то «пожалуйте книжечку»; то надо рассортировать лен; то едут в Клекотки, надо мама написать; то вышли свечи и мыло—надо откуда-нибудь их добыть; то надо послать свидетельство Кр. Кр. для дарового провоза; то надо послать за лыками, а то их таскают; то надо заказать обед, послать за капустой, и так без конца, без конца,—одно кончишь, другое требование является, да еще вписывать полученные пожертвования, отвечать на многие из них, пересчитывать деньги (что для меня всегда представляет трудность). Вчера я до 1 часа сидела и сличала расход с приходом, и то у меня 10 тысяч нехватало, то 500 рублей лишних, и оттого я так плохо стала считать, что вдруг посреди расчета вспомню, что надо завтра послать Писареву письма или что-нибудь подобное, и все у меня запутается, и сверх того надо постоянно помнить, чтобы папа не подвернулась под руку постная похлебка, кислая капуста и что-нибудь подобное, и беспокойство о том, что он простудится или провалится в Дон. Теперь 4 часа, сильная метель и градусов 15 мороза. Маша поехала в Татищево постараться водворить там порядок, а то, говорят, что хозяйка столовой с своих питомцев берет на водку, овчины и всякие взятки, Коншин с Черняевой поехали в Екатериновку открывать там столовую, Гастев за тем же поехал в Прудки, Новоселов лежит с больными зубами, а еще Леонтьев, который сегодня пришел сюда, пошел с папа в Екатерининское посмотреть на столовые».

Странная судьба отняла у Л. Н—ча его лучшего друга и помощника в деле кормления голодающих и хозяина того дома, где он жил, Ивана Ивановича Раевского. В одну из своих деловых поездок он простудился, заболел и через несколько дней, 26 ноября, скончался. Смерть эта произвела на Льва Николаевича сильное, глубокое впечатление и сблизила его еще более с семьей покойного и заставила пережить много трогательных моментов духовного единения как с отходящим в вечность, так и с остающимися окружавшими его людьми. Это впечатление от смерти Раевского Л. Н—ч неоднократно выражает в своих письмах того времени.

В письме к В. Г. Ч—ву он так пишет о болезни Раевского:

«Кроме всего этого, занимающего время, вот уже пятый день, как заболел наш хозяин и мой приятель, которого я и всегда любил, и теперь особенно оценил и полюбил, Ив. Ив. Раевский. Это человек 56 лет, необыкновенно чистой жизни и бессознательный христианин с некоторой «pudeur» к выражению и проявлению своих христианских чувств. Он всегда бывал занят народными делами и теперь последнее время особенно горячо, страстно был занят продовольствием. Ему обязаны столовые своей формой и он—главная точка опоры. Он и практичен, и опытен, и замечательно прост в приемах, и добр. И вот он заболел. Доктор говорит инфлуэнцей, а мне кажется, что он умирает. Его жена, тоже прекрасная женщина, здесь, вчера приехала из Тулы. И мы сидим дни и ночи отчасти в комнате больного, ожидая конца, как всегда обманывая себя и надеясь против всякой надежды».

«У меня большое горе,—пишет Л. Н—ч через несколько дней после смерти Раевского Александре Андр. Толстой,—умер мой друг, один из лучших людей, которых я знал, умер на моих руках в неделю от инфлуэнции. Мы с ним вместе работали и полюбили друг друга больше, чем прежде».

А в письме к Софье Андреевне он так выражает свои чувства:

«Мне ужасно жалко его. Я очень, очень его полюбил. И не могу простить себе, что я так не понимал его прежде. Но зато как нам радостно, молодо, восторженно было часто последнее время вместе быть и работать».

Понятны тревоги Софьи Андреевны, переживавшей в Москве, в редкой по своей продолжительности разлуке со Львом Николаевичем, все эти волнения, и она усиленно звала его в Москву.

Л. Н—ч кротко и нежно отвечал на этот зов:

«Мы все совершенно здоровы и желали бы пробыть несколько дней после похорон, чтобы не было того впечатления людям, что все дело оборвалось и кончилось со смертью Ив. Ив—ча. Я говорю: желал бы, но все будет зависеть от твоего мужества. Я понимаю, что тебе страшно жутко, но вместе с тем не могу не видеть, что нет никаких оснований для беспокойства. Все решится само собой. Одно знаю, что люблю тебя всей душой и стремлюсь тебя увидать и успокоить».

После этого письма Л. Н—ч действительно поехал в Москву и пробыл там неделю. Из Москвы он пишет своему другу Александре Андреевне Толстой:

«Дело наше идет так хорошо, как я и не мечтал, и все дальше и дальше затягивает. Бедствие велико, но радостно видеть, что и сочувствие велико. Я это теперь увидал в Москве, не по московским жителям, но по тем жителям губернии, которые имеют связи с Москвою. Страшно подумать, что было бы, если бы вдруг прекратилась деятельность общества. Говорят, что в Петербурге не верят серьезности положения. Это грех. Я встретил у Раевского моряка Протопопова, с которым мы вместе были 35 лет тому назад на Язоповском редуте в Севастополе. Он очень милый человек, теперь председатель управы, хлопочет, покупает хлеб. Он очень верно сказал мне, что испытывает чувство, подобное тому, как бывало в Севастополе. «Спокоен, т.-е. перестаешь быть беспокоен, только тогда, когда что-нибудь делаешь для борьбы с бедой». Будет ли успех,—не знаешь, а надо работать, иначе нельзя жить. Отчего не сделают перепись всему хлебу в России?» [1]).

---

1) Толстовский музей. Т. I, стр. 371.

Но вот он снова в Бегичевке и снова весь погружен в практику своего сложного, огромного дела.

14 декабря он между прочим пишет Черткову:

«Пишу второпях, как, к сожалению, я всегда второпях теперь. Знаю, что это нехорошо, да нельзя иначе. Тороплюсь же больше внешней стороной. В душе, слава Богу, чувствую спокойствие. Даже нынче ночью много думал о себе и нашем деле. Удивительно премудро устроено все. Сколько раз приходилось думать о том, как невыгодна для души та деятельность, которою мы заняты, тем, что нас хвалят. Я даже серьезно сомневался в ее достоинстве именно поэтому; но теперь оказывается, что нас ругают и называют и считают меня антихристом. «А если меня называли Вельзевулом, то и вас также», сказано. И то, что было в первую минуту огорчительно, стало радостно».

Самая сущность того дела, которым он был занят, не переставала беспокоить его и он то оправдывает его, то кается в нем. Характерно в этом отношении его письмо к Ник. Ник. Ге. В декабре он между прочим пишет ему:

«Мы были в Москве, вернулись опять сюда. Порадуйтесь за меня: на этом деле, которое само по себе нехорошо, исполнено греха, я сошелся, как никогда не сходился, с женой. Да, бережно надо обходиться с людьми.

«У нас Новоселов и Гастев живут. Очень много тут и худого и хорошего. Но жить, как я жил, спокойно дома, не мог бы» [1]).

Беспокойство о том, что он участвует в большом денежном деле, противном его совести, особенно резко выразилось в его письме к Фейнерману. Вот что он пишет ему в декабре этого года:

«Я живу скверно. Сам не знаю, как меня затянуло в эту тягостную для меня работу по кормлению голодных. Не мне, кормящемуся ими, кормить их. Но затянуло так, что я оказался распределителем той блевотины, которой рвет богачей.

«Чувствую, что это скверно и противно, но не могу устраниться; не то, что не считаю это нужным,—считаю, что должно мне устраниться, но недостает сил. Я начал с того, что написал статью по случаю голода, в которой высказал главную мысль,—ту, что все произошло от нашего греха—отделения себя от братьев, и что спасение и поправка делу одна: покаяние, т.-е. изменение жизни, разрушение стены между нами и народом и сближение, слияние с ним, невольное, вследствие отречения от преимуществ. С статьей этой, которую я отдал в «Вопросы Психологии», Грот возился месяц и теперь возится. Ее и смягчали, и пропускали, и не пропускали, и кончилось тем, что ее до сих пор нет. Мысли же, вызванные статьей, заставили меня поселиться среди голодающих; а тут жена напечатала письмо, вызвавшее пожертвования, и я сам не заметил, как я очутился в положении распределителя чужой блевотины и вместе с тем стал в известные обязательные отношения к здешнему народу. Бедствие здесь большое и все растет, а помощь увеличивается в меньшей прогрессии, чем бедствие. И потому, раз попавши в это положение, уже невозможно, прямо не могу отстраниться» [2]).

Наконец, Л. Н—ч снова собирается в Москву на более продолжительное время и начинает подготовлять дела свои к от'езду. 25 декабря он между прочим пишет Софье Андреевне:

«Я нынче верхом ездил далеко по столовым. Надо все об'ездить перед от'ездом. Все идет хорошо; все независимо от нашей воли расширяется. Третьего дня был в деревне, где на 9 дворов одна корова; нынче был в деревне, где почти все нищие. Я говорю нищие в том смысле, что это все люди, не могущие уже жить своими средствами и требующие помощи, не держащиеся уже на воде, а хватающиеся за других. Таких все больше и больше».

30 декабря он выезжает в Москву и по дороге со станции пишет Черткову:

«Я очень собою недоволен и от этого мне грустно. Соблазн славы людской не

---

[1]) Архив Черткова.

[2]) Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого. Т. XXII.

одолевает, а подковыривается, да и одолевает. И потому, сведения, вами сообщенные, мне очень полезны. Сначала больно, а потом чувствуешь, что на пользу».

Сведения, сообщенные Л. Н—чу Чертковым, касались, очевидно, неодобрения его деятельности одной частью русского общества. Эти неодобрительные слухи, хотя Л. Н—ч принимал их с благодарностью и смирением, много мешали правильному течению дела и раз даже угрожали полным прекращением его. Особенно ярко эта враждебность темных сил выразилась в начале 1892 года.

ГЛАВА 14-я.

1892 год.

Продолжение деятельности Л. Н—ча среди голодающих.

30-го декабря Л. Н—ч приехал в Москву отдохнуть от трудной продовольственной жизни и побыть с семьей, с которой был необычно долго в разлуке. В Москве он пробыл весь январь месяц. Но уже с 15 января его потянуло на прежнюю работу.

В это время он писал Черткову:

«Я еще в Москве и очень каюсь и тягочусь здешней жизнью. Здесь все идут пожертвования, есть еще деньги столовых на 30 и все прибывают, а когда я уехал оттуда, там было 70 столовых и были просьбы от деревень 20, очень нуждающихся, которых, я думал, что нельзя удовлетворить. А теперь можно, а я сижу здесь. А 30° мороза, а там нет во многих близких местах ни пищи, ни топлива. Жена обещается ехать со мной туда на неделю, она на неделю, а я останусь после 20-го, но пока тяжело. Были Раевские молодые, а теперь Илья; но не говоря о том, что все-таки я там нужен, моя-то жизнь здесь не нужная. Одно, чем могу немного утешаться, это то, что написал здесь и, кажется, что кончил 8 главу (Царства Божия). Все это вышло не так, как я думал. То воззвание, которое я думал и вы советовали поместить в конце, не подошло. Но, кажется, вышло так, как должно быть. Завтра, если буду жив, поправлю по переписанному и надеюсь, что исправлю, вычеркну, прибавлю, переставлю, но не изменю. Нужно это—нужно. Может быть, я заблуждаюсь, но мне кажется, что, пиша это, я делаю то, что велит Бог».

Л. Н—чу пришлось прожить в Москве до начала февраля. Софья Андреевна проводила его в Бегичевку, пробыла там день и вернулась в Москву.

В это время над Л. Н—чем собралась гроза, не посмевшая разразиться, ушедшая туда, откуда пришла, но все-таки наделавшая ему немало хлопот и волнений, а особенно С. А—не. Гром грянул из редакции «Московских Ведомостей».

Поводом к этому нападению послужило следующее. В январской 1892 г. «Книжке Недели» появилась статья Л. Н—ча под названием «Помощь голодным». Она представляла весьма сокращенный и урезанный цензурой вариант его большой статьи, которую Л. Н—ч написал еще осенью 1891 года, основываясь на впечатлениях из своей поездки по неурожайным местностям. Л. Н—ч дал тогда этой статье название «Письма о голоде» и хотел поместить ее в журнале Н. Я. Грота «Вопросы психологии и философии». Но, несмотря на все хлопоты Грота, цензура не позволила напечатать ее в полном виде, а в урезанном печатать не хотел Грот из уважения к автору. Тогда Л. Н—ч распорядился, чтобы в корректурных оттисках, без всяких урезок, статья эта была передана в распоряжение переводчиков французского, датского и английского, Диллона. Первые два перевода прошли незамеченными, а на английский обратили внимание в Москве.

21 января в передовой статье редакция «Московских Ведомостей» перепечатывает большой кусок этой статьи, при чем комбинирует несколько фраз с более резким осуждением современного порядка вещей и с комментариями такого рода:

«Письмо это столь характерно, что мы приводим его целиком для того, чтобы

всем открыть глаза на истинный смысл той пропаганды, которую ведет граф Толстой и которую многие у нас (надеемся, что по неведению) считают вполне невинною и даже благотворною. Читайте и судите».

Рецензент заключает так:

«В другом письме граф Толстой задается «самоважнейшим вопросом, понимают ли сами крестьяне серьезность своего положения и необходимость во-время проснуться и самим предпринять что-нибудь ввиду того, что никто другой им помочь не может, ибо если они сами ничего не предпримут, «они передохнут к весне, как пчелы без меду».

«Письма графа Толстого не нуждаются в комментариях: они являются открытой пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя, который, с весьма понятною целью, приписывается графом одной только России. Пропаганда графа есть пропаганда самого разнузданного социализма, пред которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда».

«На-днях нам прислали по почте один из подпольных печатных мерзких листков, в котором так же, как у графа Толстого, говорится, что «спасение русской земли в ней самой, а не в министрах, генерал-губернаторах и губернаторах, которые привели Россию к самому краю пропасти». В этом листке высказывается та же нелепая мысль, будто «правительство довело Россию до голода», как и у графа Толстого, который, хотя и не имеет ничего общего с подпольными агитаторами, тем не менее тоже твердит, что правительство является «паразитом народа», высасывающим его соки ради собственного удовольствия!

«Но подпольные агитаторы стремятся к мятежу, выставляя в виде приманки «конституцию», как средство к тому хаосу, о котором они мечтают, а граф открыто проповедует программу социальной революции, повторяя за западными социалистами избитые, нелепые, но всегда действующие на невежественную массу фразы о том, «как богачи пьют пот от народа, пожирая все, что народ имеет и производит!».

«Можем ли мы оставаться равнодушными при подобной пропаганде, которую могут не замечать разве только люди совершенно слепые или не желающие видеть?».

Авторитетный еще тогда голос «Московских Ведомостей», пославший упрек в преступном равнодушии власть имущим, возымел свое действие.

«Сферы» заволновались.

О том, как отразилась эта выходка «Моск. Вед.» на высших сферах, хорошо рассказывает родственница Л. Н—ча, графиня Александра Андреевна в своих воспоминаниях:

«Когда солнце блещет слишком ярко — тучи недалеко», — так начинает свой рассказ Александра Андреевна; это не всем известная поговорка оправдалась как раз над нашим героем. И в его истории настали тоже смутные времена. С одной стороны, преклонение и курение фимиамом шло своим чередом, а с другой — явились вражда и зависть».

«По-моему, — писала графиня, — нет ничего гаже и печальнее, как журнальная война. В Москве вдруг зашевелилось целое полчище этих подпольных крыс, которые силились, во что бы то ни стало, очернить Льва Николаевича не только в настоящем, но и в прошедшем, выбразывая на свет из своей крысиной норы давно забытые литературные его грехи, ими же когда-то обглоданные, т.-е. то, что всякий автор и поэт позволяет себе тайком, в своей молодости, en guise d'airs de bravoure [1]). Затем самое худшее разразилось из чистой неосторожности Льва Николаевича, который, пренебрегая мнением общим, и главное—цензурным, допустил одного английского журналиста унести с собою, — конечно не для печати, — статью антиправительственную; этот же сын de la perfide Albion немедленно же напечатал ее в газете, с заявлением, что Лев Николаевич дал ему на то разрешение».

Возмущения графини Александры Андреевны коварством сына Альбиона здесь

---

[1]) На духа смелости.

совершенно были напрасны, так как Л. Н—ч лично распорядился передать переводчикам для печати свою статью, хотя перевод и не был сделан с должной корректностью.

«Можно себе представить, — продолжает графиня Александра Андреевна, — с какой демонской радостью московские крысы ухватились за эту статью, цитируя ее в своих «Ведомостях» со своими, конечно, комментариями и придавая мыслям автора совершенно другой и, разумеется, еще более худший смысл... Не берусь описывать, какой переполох последовал по всей Европе из-за этой статьи и сколько было придумано московскими журналистами наказаний бедному Льву Николаевичу: ему предсказывали Сибирь, крепость, изгнание из России, чуть ли даже не виселицу...

«Иностранные газеты, по обыкновению, переполнились подробностями этого инцидента, и в продолжении двух—трех месяцев я беспрестанно получала отовсюду, не исключая Америки, письма с просьбою уведомить их, к чему именно приговорен известный писатель, мой родственник... В это время до меня стали доходить петербургские слухи, что министр внутренних дел, граф Дмитрий Андреевич Толстой, по наущению московских публицистов, проектирует для Льва Николаевича заточение в Суздальский монастырь без права писать, то-есть ему стали бы отпускать бумагу в ограниченном размере, при том непременном условии, что новое количество он будет получать лишь по возвращении (исписанным) того, что было отпущено ему ранее».

Пораженная, потрясенная подобными зловещими слухами и толками, графиня Александра Андреевна решает ехать сама к министру, чтобы лично от него узнать все.

«Я застала его дома,—рассказывает графиня,—и в большом, повидимому, недоумении. Таким по крайней мере недоумевающим он мне представился.

— Право, не знаю, на что решиться, — сказал граф Д. А. Толстой Александре Андреевне. — Прочтите вот все эти доносы на Льва Толстого... Первые, полученные мною, я положил под сукно: но не могу же я всю эту историю скрывать от государя...

— Разумеется, нет, — отвечала графиня, — но вы должны знать, что государь очень любит Льва, et probablement que cela adoucira ses impressions... [2]).

«И вот,—говорит графиня,—когда я узнала и увидела, какой опасности может подвергнуться Лев Николаевич от доклада Дмитрия Андреевича государю, и что этот доклад будет сделан на-днях, я решилась употребить все свое влияние, чтобы его спасти. Я написала государю, что мне очень нужно его видеть, и просила назначить мне для этого время. Представьте мою радость, когда я вдруг получила ответ, что в тот же день государь зайдет ко мне сам.

«Я была сильно взволнована, ожидая его посещения, и мысленно просила Бога помочь мне. Наконец, государь вошел. Я заметила, что лицо его утомлено и он был чем-то расстроен. Но это не изменило моего намерения и лишь придало мне бо́льшую решимость. На вопрос государя, что я имею сказать ему, я отвечал прямо:

— На-днях вам будет сделан доклад о заточении в монастырь самого гениального человека в России.

Лицо государя мгновенно изменилось: оно стало строгим и глубоко опечаленным.

— Толстого? — коротко спросил он.

— Вы угадали, государь, — ответила я.

— Значит, он злоумышляет на мою жизнь? — спросил государь.

Я изумилась, но внутренно была обрадована: я подумала, что только одно это (преступление) могло бы склонить государя к утверждению доклада Дмитрия Андреевича»...

И действительно, как оказалось, прослушав доклад Дмитрия Андреевича о случившемся и о сильном будто бы возбуждении публики, государь, отклоняя от себя доклад, ответил буквально следующее:

«Прошу вас Толстого не трогать. Я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить на себя всеобщее негодование. Если он виноват, тем хуже для него».

---

[1]) И, вероятно, это смягчит его впечатления.

Я узнала тогда же, что Дмитрий Андреевич вернулся из Гатчины, изображая из себя, по его словам, «вполне счастливого человека», так как, в случае утверждения его доклада, и на него, конечно, пало бы немало нареканий. Он это хорошо понимал и довольно искусно входил в роль «счастливого»... [1]).

В этом рассказе, подкупающем своей искренностью и доброжелательностью ко Л. Н—чу, есть крупное противоречие. Упоминание о кознях «Московских Ведомостей», несомненно, указывает на то, что описанный случай относится к январю 1892 года. На это же указывает и упоминание А. А—ны о коварности английского переводчика, так как «разоблачения» «Московских Ведомостей» были извлечены именно из перевода английского переводчика Диллона. Но в это время министра Толстого уже не было в живых. Он, как известно, умер в 1889 году. И, стало быть, графиня Александра Андреевна не могла ездить к нему и доклад государю делал не он. Весьма вероятно, что графиня, с ослабевшей под старость памятью (записки ее помечены 1899 годом, т.-е. она их писала 82 лет, за 4 года до своей смерти), слила два происшествия в одно, так как еще в 1886 году Л. Н—чу угрожали какими-то репрессиями за распространение его статьи «Николай Палкин». Но тогда это не было так серьезно и встречу ее и разговор с государем следует отнести именно к 1892 году.

Передавались в обществе и в семье Толстых и другие варианты разговора государя Александра III с гр. Ал. Андр. Толстой. Рассказывали, что государь, встретив А. А., показал ей номер «Московских Ведомостей» со словами: «Посмотрите, как пишет наш с вами протеже!». И выслушав успокоительное замечание гр. А. А—ны, все-таки с огорчением прибавил: «Предал меня врагам моим».

Волновалась и семья Л. Н—ча, особенно Софья Андреевна. И под влиянием ее страха Л. Н—ч решился написать опровержение пеленых слухов. Он сделал это в такой форме:

В середине февраля гр. С. А—на разослала по многим редакциям следующее письмо:

«Милостивый государь!

Получив из Бегичевки, Данковского уезда, нижеследующее письмо моего мужа, предназначенное для напечатания, покорнейше прошу поместить его в вашем издании.

Гр. Софья Толстая».

Письмо Л. Н—ча:

«Милостивый государь, господин редактор!

«В ответ на получаемые мною от разных лиц письма с просьбами о том, действительно ли написаны и посланы мною в английские газеты письма, из которых сделаны выписки в номере 22 «Московских Ведомостей», покорно прошу поместить следующее мое заявление.

«Писем никаких я в английские газеты не писал. Выписка же, напечатанная мелким шрифтом и приписываемая мне, есть очень измененное (вследствие двукратного — сначала на английский, потом на русский язык — слишком вольного перевода) место из моей статьи, еще в октябре отданной в московский журнал и не напечатанной, и после того отданной по обыкновению моему в полное распоряжение иностранных переводчиков.

«Место же в статье «Московских Ведомостей», напечатанное, вслед за выпиской из перевода моей статьи, крупным шрифтом и выдаваемое за выраженную мною будто бы во втором письме мысль о том, как должен поступать народ для избавления себя от голода, есть сплошной вымысел.

«В этом месте составитель статьи пользуется моими словами, употребленными совершенно в другом смысле, для выражения совершенно чуждой и противной моим убеждениям мысли. С совершенным уважением Лев Толстой».

12 февраля 1892 г., Бегичевка.

---

[1]) Мы цитируем рассказ А. А—ны по воспоминаниям Захарьина-Якунина («В. Е.», 1904).

Опровержение это было вызвано отчасти поездкой С. А—ны к великому князю Сергею Александровичу, тогдашнему генерал-губернатору Москвы, с просьбой заступничества. С. А. уехала от него, конечно, успокоенная, при чем великий князь сказал ей, что было бы хорошо, если бы граф поместил опровержение в «Правительственном Вестнике».

«Правительственный же Вестник» отказался напечатать это письмо на том основании, что полемика не допускается на страницах официального органа.

В это время за границей в газетах уже печатались статьи под названием: «Заточение Льва Толстого», в которых приводились разные слухи об угрожающей Л. Н—чу опасности, перепечатывались заметки «Московских Ведомостей» и «Гражданина», при чем либеральная пресса возмущалась против посягательства «на славнейшую литературную карьеру XIX века».

Все это сильно беспокоило Софью Андреевну и она обратилась в иностранные газеты с следующим письмом:

«Милостивый государь господин редактор! Ежедневно получаю я письма и вырезки из иностранных газет, где говорится об арестовании моего мужа, графа Толстого. Считаю своей обязанностью сообщить всю правду о муже тем, кто интересуется его судьбой. Графа Толстого правительство не только не тревожит, но администрация, напротив, деятельно помогает ему в его работе на пользу пострадавших от неурожая. Враждебные ему элементы, небольшая горсть, впрочем, с «Московскими Ведомостями» во главе, постарались было извратить его статью, написанную для русского журнала и далеко неверно переданную в переводе, в таком смысле, что статья противоречила всем взглядам графа. Случай этот и вызвал все разговоры и толки. В особенности тяжело мне читать в иностранных газетах, что заточение моего мужа произошло по приказанию высшей власти. Высшая власть была всегда особенно благосклонна к нашей семье».

Это письмо в заграничную печать было написано и разослано уже без ведома Льва Николаевича.

Л. Н—ч стал замечать, что написанное им опровержение уже начинает быть эксплоатируемо в том смысле, что он оправдывается во взводимых на него обвинениях, и это побудило его написать Софье Андреевне следующее письмо:

«Я по письму милой Александры Андреевны вижу, что у них тон такой, что я в чем-то провинился, и мне надо перед кем-то оправдываться. Этот тон надо не допускать. Я пишу то, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительствам, ни богатым классам, уж 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я, а вся жизнь их обвиняет. В частном же этом случае происходит следующее: правительство устраивает цензуру, нелепую и беззаконную, мешающую проявляться мыслям людей в их настоящем свете. Невольно происходит то, что вещи эти в искаженном виде являются за границей. Правительство приходит в волнение, и вместо того, чтобы открыто, честно разобрать дело, опять прячется за цензуру, и вместе чем-то обижается, позволяет себе обвинять еще других, а не себя. То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю, и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной все, что есть просвещенного и честного во всем мире, что говорит сердце каждого неиспорченного человека, и что говорит христианство, которое исповедуют те, которые ужасаются.

«Пожалуйста, не принимай тона обвиненной. Это совершенная перестановка ролей. Можно молчать. Если же не молчать, то можно только обвинять—не «Московские Ведомости», которые вовсе не интересны, и не людей, а те условия жизни, при которых возможно то, что возможно у нас. Я давно хотел тебе написать это. И нынче рано утром, с свежей головой, высказываю то, что думал об этом. Заметь при этом, что есть мои писания в десятках тысяч экземплярах на разных языках, в которых изложены мои взгляды. И вдруг, по каким-то таинственным письмам, появившимся в английских газетах, все вдруг поняли, что я за птица. Ведь это смешно.

Только те невежественные лица, из которых самые невежественные те, что составляют Двор, могут не знать того, что я писал, и думать, что такие взгляды, как мои, могут в один день вдруг перемениться и сделаться революционными. Все это смешно и рассуждать с такими людьми для меня и унизительно и оскорбительно.

«Боюсь, что ты будешь бранить меня за эти речи, милый друг, и обвинять в гордости. Но это будет несправедливо. Не гордость, а те основы христианства, которыми я живу, не могут подгибаться под требованиями нехристианских людей, и я отстаиваю не себя и оскорбляюсь не за себя, а за те основы, которыми живу. Пишу же заявления и подписал потому, что, как справедливо пишет милый Грот, истину всегда надо восстанавливать, если это нужно. Те же, которые рвут портреты, совершенно напрасно их имели».

Эта последняя фраза вызвана была тем, что до Л. Н—ча дошли слухи, что грубая реакционная часть русского общества, возмущенная революционными выходками Л. Н—ча, стала уничтожать имевшиеся у них портреты Толстого, как гениального писателя.

Лев Н—ч считал инцидент исчерпанным, но в обществе еще долго волновались этим событием, которое, как камень, брошенный в воду, расходящимися кругами захватывало все большее и большее пространство.

Особенно был задет этим делом переводчик Диллон. Опровержение Льва Н—ча бросало тень на добросовестность его работы; вероятно, этим воспользовались его конкуренты, чтобы подставить ему ножку и он, расстроенный, приехал в Бегичевку, умоляя спасти его, так как ему угрожают увольнением от должности корреспондента, если он не доставит вновь удостоверения в правильности перевода. Лев Н—ч, пожалев его, дал ему такое удостоверение, но в это дело вмешалась бывшая тогда в Бегичевке С. А—на, и уничтожила удостоверение.

Задет был этим происшествием и писатель Н. С. Лесков, всегда с особенным интересом следивший за всем, что окружало Л. Н—ча, и в то же время протежировавший корреспонденту Диллону.

Вот его письмо ко мне, полное возмущения и жалобы, но, как всегда, приправленное остроумием, иронией и шуткой:

«Милый друг Павел Иванович!

«Письмо ваше, написанное перед выездом из Бегичевки, получил и благодарю за него и за приложенную при нем копию с письма о Карме. Это прекрасно, но что произошло с тех пор по «инциденту об искажениях»,—все не прекрасно, и это было причиною, что я долго не мог отвечать вам. Я был глубоко потрясен и взволнован этим «инцидентом», в котором не было никакой надобности. Затвердили, что есть будто «искажения», и как стали на этом, так и перли, несмотря на все доводы друзей, что «искажений» нет, и на то, что прекратить говор об этом во всех отношениях достойнее, чем продолжать его ввиду очевидной невозможности доказать то, чего нет... Говорят, будто даже и вы были за продолжение этой несчастной полемики, положившей смутительную тень на правдивость и прямоту характера Л. Н—ча, и тем исполнившую мучительными ощущениями души превосходных людей, которые его любят и которые теперь ходят постыженные и молчат, чувствуя подавляющую скорбь... Могу по примеру известного американца изречь «проклятие тому гусю, который дал перо, которым графиня имела возможность написать свой протест». Где была хоть какая-нибудь расчетливость, когда она за это бралась и преследовала это с настойчивостью, достойною совсем иного дела?.. И что за муки созданы бедному Диллону, который сам бы *на себе* все перенес в молчании, но он не *имел права* отказаться от исполнения требования «Daily Telegr.»—*компанейской* газеты, рисковавшей сразу потерять всю свою ренутацию в глазах всего мира, и разорить свое дело, поглотив средства всех своих капиталистов... Что было делать бедному Диллону, когда от него потребовали, чтобы «протест графини» *был опровергнут здесь, в России?* Несчастный человек был вынужден писать против того, кого он любит и уважает, и искать средств обличить его при посредстве таких органов, куда он не хотел бы и заглянуть... Какое терзание создано этому человеку, всегда обнаруживавшему самую благородную и по-

лезную преданность Л. Н—чу!.. И, однако, мы видим, что в непостижимом решении стоять за наличность «искажений» участвует и сам Л. Н—ч!.. Что же это такое? Как это понимать? Где же, наконец, искажения?.. Где их видели Л. Н., графиня, Ч—ков и вы? Пожалуйста, покажите их! Нас ведь со всех сторон выпучивают и выспрашивают и мы должны бы знать, что отвечать,—где искажения, когда нет искажений! Вы не знаете и не можете знать, как это тяжело и больно, потому-что вы стоите среди своих, а мы вертимся среди чужих и видим смятения превосходных душ и их отпадения, по сомнению в искренности того человека, который нам дороже всех живущих под солнцем!.. Ч—в нам разорил центр, а теперь он же помогает поражать и «рассеянные»... Вы говорите, что «он ведет свою линию»... Я это знаю, но я думаю, что ему бы и довольно было «только вести свою линию». Живучи в деревнях, люди теряют масштаб измерений, при которых идут возведения в городах. Это давно известно, и на наших дельцах это еще раз доказано с такою чертовской убедительностью, что я еще раз хотел бы послать «проклятие гусю, давшему перо», которым графиня пишет свои «артиклы». Что же будет еще? Неужели *еще* будут от нее новые артиклы?! Неужто вы все не видите, к чему это ведет и кому вы играете в руку! *Ему* лучше бы быть немножко оболганным, чем смутить людей, его любящих. Целую вас. Н. Лесков».

Как пишет Лесков, Диллону ничего не осталось делать, как доказывать, что искажений не было. Так как в том же самом были заинтересованы и «Московские Ведомости», то он обратился к ним с просьбой напечатать доказательство того, что искажений не было.

В одном из современных журналов так говорится об этом новом выступлении «Московских Ведомостей»:

«Заявлением Л. Н—ча инцидент мог бы считаться исчерпанным, если бы не те же «Московские Ведомости», которые, желая продолжать сенсацию, обрушились на Толстого новым потоком ругательств и обвинений. Для доказательства верности своего перевода они ссылаются на перевод г. Диллона и печатают отзывы об этом последнем переводе самого графа, хотя верность перевода, сделанного с русского языка на английский, еще не гарантирует верности перевода, сделанного обратно в редакции московской газеты с английского языка на русский».

Достаточно легкого поверхностного сравнения, напечатанного в «Московских Ведомостях» с тем, что было написано Л. Н—чем, чтобы увидать, что если нет больших искажений, то есть весьма неточный перевод, перестановки, подбор и сопоставления более резких фраз, от кого бы это ни исходило, от «Московских Ведомостей» или от Диллона, или от обоих вместе, чтобы согласиться вполне с Л. Н—чем, что он не мог признать себя автором приведенных отрывков.

Эта канитель утомила, наконец, и Л. Н—ча и он выражает свое полное равнодушие к происходящему и высказывает свое примиряющее мнение в письме к Черткову от 21 марта 1892 года.

«Статьи «Московских Ведомостей» и «Гражданина» и письма Диллона были мне неприятны, в особенности Диллона тем, что никак не можешь догадаться, чем вызвал враждебное чувство в людях. В особенности Диллона. Мотивы его я совершенно не понимаю. И, не притворяясь, могу сказать, что он мне прямо жалок теми тяжелыми чувствами, которые он испытывает, и которые побуждают его писать то, что он пишет. Тут все полуправда, полуложь, и разобраться в этом, когда нет доброжелательства людей друг к другу, нет никакой возможности. И потому самое лучшее ничего не говорить. Впрочем, делайте, как знаете. Я знаю, что так как мне действительно во всем этом ничего не было нужно или тем менее страшно, что я и не мог ничего желать выказать или скрыть, а возражать на все, что могут вам приписать, не любя вас, никак невозможно».

А между тем статья, из-за которой загорелся весь этот сыр-бор, представляла замечательное литературное явление.

Мы передадим здесь вкратце содержание этой статьи и приведем некоторые отрывки, цитируя их по полному экземпляру.

В этой статье Л. Н—ч старался разъяснить людям их нравственные и общественные обязанности перед лицом об'явшего Россию бедствия.

В начале этой статьи, которая называлась «Письма о голоде», Л. Н—ч говорит, что в то время в газетах как бы вошло в обычай порицать администрацию и земство за их бездеятельность, но это неправда, на его глазах происходила напряженная деятельность и администрации и земства, но и та и другая были неудачны и не достигали цели. Причины этой неудачи Л. Н—ч видел в отдалении от народа тех деятелей, которым было поручено спасение народа от бедствий голода.

Неудача помощи и взаимная критика обострили отношения между администрацией и земством и от этого страдало самое дело. Земство и администрация были несогласны даже в определении размеров бедствия, администрация была склонна уменьшать его значение, земство — преувеличивать. Оба ведомства были согласны лишь в том, что бедствие надвигается. Л. Н—ч образно так выражал их отношение к народной беде:

«Для того, чтобы наложить заплату, вырезать и приготовить ее, надо знать размер дыры. Одни говорят, что дыра невелика и как бы заплата не разодрала дальше; другие говорят, что недостанет и материи на заплату».

Для того, чтобы определить действительные размеры бедствия, Л. Н—ч лично обследовал несколько уездов Тульской и Рязанской губерний. И чем больше он подвигался на восток, тем бедствие усиливалось. Так, в Крапивенском уезде, Тульской губернии, при исследовании крестьянских хозяйств оказывалось 50 среднего достатка и 20 очень плохих, в Богородицком уезде средних оказывалось только 25, а плохих 50, в Ефремовском уезде цифры оказались еще более неблагоприятными, а в соседнем Данковском уезде, Рязанской губ., предстоящее бедствие принимало уже угрожающие размеры. Таким образом Л. Н—ч сам лично убедился в наличности бедствия не только этого года, но бедствия продолжающегося уже много лет, постепенного обеднения крестьянства в самой богатой, центральной, черноземной части России.

Недостаточность, несвоевременность и неудовлетворительность помощи, оказываемой администрацией и земством, происходили, по мнению Л. Н—ча, оттого, что и то и другое ведомство слишком материально смотрели на вопрос помощи. Они видели наступивший дефицит крестьянского хозяйства и, определив его размеры, решили пополнить ссудой или даровой раздачей. Но такое отношение, по мнению Л. Н—ча, годилось бы по отношению голодающих животных, которых легко удовлетворить определенным количеством пищи; не то выходит с удовлетворением нужды крестьян, если принять во внимание всю сложность их взаимных отношений, всю напряженность их труда, все разнообразие их потребностей, прихода и расхода в их крестьянском бюджете. Л. Н—ч так поясняет свою мысль:

«Кормить мужика это—все равно, что во время весны, когда пробилась трава, которую может набрать скотина, держать скотину в стойле и самому щипать для нее эту траву, т.-е. лишить стадо той огромной силы собирания, которая есть в нем, и тем погубить его.

«Нечто подобное совершилось бы и с мужиком, если бы стали точно так кормить его и он поверил бы этому.

«Бюджет мужика не сходится, — дефицит, — ему нечем кормиться, — надо его кормить.

«Да учтите всякого среднего мужика не в неурожайный год, когда, как у нас, сплошь и рядом хлеба только до Рождества, и вы увидите, что ему в обыкновенные года, по спискам урожая, кормиться нечем и дефицит такой, что ему непременно надо перевести скотину и самому раз в день есть.

«Таков бюджет среднего мужика, — про бедного и говорить нечего, — а смотришь, он не только не перевел скотину, но женил сына или выдал дочь, справил праздник и прокурил 5 рублей на табак. Кто не видал пожаров, очищавших все? Казалось бы, надо погибнуть погорельцам. Смотришь, кому пособил сват, дядя, кто достал ку-

бышку, кто задался в работники, а кто поехал побираться; энергия напряглась и смотришь — через два года справились не хуже прежнего».

С одной стороны, нельзя оставить без помощи, так как крестьянство разорено и погибает, с другой стороны, даровая помощь ослабляет энергию сопротивления бедствию и в конце концов ведет к тому же разорению. И Л. Н—ч заключает так:

«В этом cercle vicieux бьются и правительственные лица и земство. От этого-то и вся та неурядица мер, которые предпринимаются против того голода, про который мы не знаем, есть он или нет, — неурядица оттого, что мы взялись за дело, которое нельзя нам делать.

«Дело, за которое мы взялись, ведь состоит не больше ни меньше, как в том, чтобы прокормить народ, т.-е. мы взялись за то, чтобы прокормить кормильца, — того, кто кормил и кормит нас.

«Мы так занятались и завраліись, что совсем забыли, кто мы! Мы, господа, хотим прокормить народ!».

И Л. Н—ч ставит вопрос о помощи голодным не на экономическую, а нравственную почву:

«Народ голоден оттого, что мы слишком сыты.

«Разве может быть не голоден народ, который, в тех условиях, в которых он живет, то-есть при тех податях, при том малоземелии, при той заброшенности и одичании, в котором его держат, должен производить всю страшную работу, результаты которой поглощают столицы, города и деревенские центры богатых людей?

«Таково его положение всегда.

«Нынешний год только вследствие неурожая показал, что струна слишком натянута».

И Л. Н—ч обращается с упреком к современному обществу за его равнодушие к народному бедствию, выразившееся в том, что жизнь этого общества не изменилась при наличности бедствия в народе. Это равнодушие происходит от нашего удаления от народа, раз'единения с ним. И он вспоминает слова Вольтера:

«Вольтер говорит, что если бы можно было, пожав шишечку в Париже, этим пожатием убить мандарина в Китае, то редкий парижанин лишил бы себя этого удовольствия».

И это ужасное нажимание шишечки совершается у нас на глазах.

«Все богатые русские люди, не переставая, пожимают шишечку и даже не для удовольствия интересного эксперимента, а для самых ничтожных целей. Не говоря о фабричных поколениях, гибнущих на нелепой, мучительной, развращающей работе фабрик для удовольствия богатых, все земледельческое население или огромная часть его, не имея земли, чтобы кормиться, вынуждено к страшному напряжению работы, губящей их физические и духовные силы только для того, чтобы господа могли увеличивать свою роскошь. Все население спаивается, эксплоатируется торговцами для этой же цели. Народонаселение вырождается, дети преждевременно умирают, все для того, чтобы богачи—господа и купцы—жили своей отдельной городской жизнью, со своими дворцами, обедами, концертами, лошадьми, экипажами, лекциями и т. п.

«Разве теперь, когда люди, как говорят, мрут с голода, помещики, купцы, вообще богачи не сидят с запасами хлеба, ожидая еще больших повышений цен? Разве не сбивают цен с работы? Разве чиновники перестают получать жалованье, собираемое с голодных? Разве все интеллигентные люди не продолжают жить по городам для своих, послушаешь их самих, возвышенных целей, — пожирая там, в городах, эти, свозимые для них туда, средства жизни, от отсутствия которых мрет народ?

«Все инстинкты каждого из господ: ученые, служебные, художественные, семейные — такие, которые не имеют ничего общего с жизнью народа. Народ не понимает господ, а господа, хотя и думают, что понимают народ, не понимают его, потому что интересы его не только не одинаковы с господскими, но всегда прямо противоположны им.

«Народ нужен нам только, как орудие, и орудием этим господа пользуются не по жестокосердию своему, а потому что жизнь их так поставлена, что они не могут не

пользоваться им, и их выгоды (сколько бы ни говорили, утешая себя, противное) всегда диаметрально противоположны выгодам народа.

«Чем больше мне дадут жалованья и пенсии, говорит чиновник, т.-е. чем больше возьмут с народа, тем мне лучше.

«Чем дороже продадут хлеб и все нужные предметы народу и чем ему будет труднее, тем мне будет лучше, — говорит и купец и землевладелец.

«Чем дешевле будет работа, т.-е. чем беднее будет народ, тем нам лучше, — говорят все люди богатых классов.

«Какое же у нас может быть сочувствие к народу?».

Помощь народу, находящемуся в бедственном положении, может быть только личная.

Это та деятельность, которая заставляет в нынешнем голодном году в одной местности (это я видел не раз) хозяйку дома при словах: «Христа ради», слышанных под окном, пожаться, поморщиться и потом все-таки достать с полки последнюю начатую ковригу и отрезать от нее крошечный, в полладони, кусочек, и, перекрестившись, подать его. И она-то устраняет все препятствия, мешавшие деятельности правительственной с внешней целью.

И если привилегированный класс действительно искренно желает оказать помощь бедствующему народу, он прежде всего должен разрушить ту стену, которая воздвигнута между ними, должен пойти в среду народа с сознанием своей вины перед ним и тогда только он может найти истинный способ помощи.

«Основой всякой деятельности, имеющей целью помочь ближнему, должно быть самоотвержение и любовь. Вопрос о том, на какого рода жертву способен человек, и тут возможны все ступени, они полны разнообразия — до отдачи жизни своей за други своя. И будет много Закхеев, отдающих часть того, что имеют. Но чтобы быть и Закхеем, нужно стремиться к самоотверженной любви, ясно сознавать высокий нравственный идеал.

«Только при самоотвержении и любви может совершиться чудо насыщения пятью хлебами пяти тысяч так, что еще останутся целые корзины хлеба. «Все насытятся и еще останется», говорит в заключении Л. Н—ч.

«Но чтобы сделать это, чтобы появилась любовь, необходимо, чтобы деятельность вытекала не из желания, оставаясь в прежних отношениях к народу, поддержать в нем нужные рабочие силы, а из сознания своей вины перед народом, угнетения его и отделения себя от него, из покаяния и смирения.

«Не на гордом сознании своей необходимости народу, а на смирении только может вырасти деятельность, которая может спасти народ».

Так заключает Л. Н—ч свою статью.

Весь описанный эпизод с «Московскими Ведомостями» был только одним из проявлений той глухой ненависти, которую питала ко Л. Н—чу среда тьмы и насилия, обличаемая светом провозглашенной им истины. Не довольствуясь подобными, более или менее открытыми доносами, эта среда прибегала ко всевозможным средствам, вплоть до возбуждения фанатизма крестьянской массы. Но здесь она столкнулась со здравым смыслом малокультурного, т.-е. малоиспорченного человека и не имела успеха; однако, некоторые из проявлений этой агитации получали интересный, комический характер.

Татьяна Львовна записывает в своем дневнике такой рассказ:

«Смешно рассказывал Чистяков о разговоре, который он слышал в Горках. Заговорили о нана и один мужик говорит другому, что он слышал, что «*этого графа надо потребить*». А другой говорит: «Дурак ты, говоришь, такого человека потребить. Он умнеющий человек. Коли сам царь, бросивши дела, мог с его супругой осьмадцать минут руководствоваться... а ты говоришь «потребить».

Местная администрация зорко следила за деятельностью Л. Н—ча и его друзей, и, надо ей отдать справедливость, не мешала. Конечно, это доброжелательное от-

ношение было внушено свыше, в виде высочайшего указа: «не стеснять частной благотворительности». Вот интересный документ, сохранившийся в одном из местных архивов; это донесение, в виде частного письма исправника правителю канцелярии рязанского губернатора.

«Многоуважаемый Василий Иванович. Посылаю вам еще 5 книжек, розданных гр. Толстым. Дознано: Толстой приезжает с письмоводителем, а в с. Руденку, Горновской волости, приезжал его доверенный, житель с. Клекоток, Страхов, около 30 лет, высокого роста, борода рыжая, а волосы на голове белые. Как Толстой, так и его письмоводитель и Страхов не едят мясного и когда садятся за стол, не молятся Богу. Это последнее обстоятельство породило в крестьянах подозрение, что Толстой делает это не от Бога, а от антихриста. Но такого мнения не все, а большинство, не мудрствуя, пользуется столовой и заочно благодарят. Надзор, самый тщательный, учрежден, и мне будет известен каждый шаг. С истинным почтением имею честь быть готовый к услугам. Д. Г.».

В иных местах эти слухи волновали население сильнее, хотя оно и успокаивалось при разумном опровержении этих слухов.

Вера Михайловна Величкина, много поработавшая около Л. Н—ча, рассказывает в своих записках следующее:

«Раз прихожу я в соседнее село Круглое и, не доходя еще до столовой, зашла отдохнуть в одну знакомую хату. Кругом меня, как всегда, мало-по-малу собрался народ, и мы мирно разговаривали. Вдруг через собравшуюся толпу пробирается ко мне какой-то мужик в очень возбужденном настроении, здоровается со мной, садится рядом и говорит:

— Расскажи мне все по правде, Вера Михайловна, кто нас кормит, от кого эти столовые и хлеб и кто вас к нам послал? Скажи сама все откровенно.

Я очень охотно исполнила его желание, потому что мы всегда искали случая познакомить население с истинным положением дел, рассказать им о том, что рабочие других стран, — и немцы, и англичане, и американцы, — собирают средства для голодающих русских братьев, а в самой России средства идут не из какой-нибудь правительственной кассы, а помогает само население: собирают извозчики, посылают дети, жертвуя своими игрушками и подарками, собирают рабочие из своих трудовых грошей и т. п.

Рассказала и о нас, как и почему мы надумали ехать к ним на помощь.

Я была очень довольна, что мне представился случай рассказать все, что есть на самом деле, и рассеять разные нелепые, ходившие про нас, слухи. Говорили между прочим про нас также и то, что мы питомники воспитательного дома, которым царь дал денег и разослал кормить свой народ.

Толпа делалась вокруг меня все гуще, все внимательно слушали. Когда я кончила, спрашивавший меня встал и сказал:

— Ну, теперь я от тебя самой все слышал, кто вы и на какие деньги кормите. И пусть мне теперь кто хочет говорит про тебя, я везде буду тебя защищать и всем буду рассказывать то, что ты мне сказала. Ходи теперь промеж нас спокойно, не бойся, никто обидеть тебя не посмеет.

Я удивилась.

— Да ведь я и так всегда спокойно ходила одна по всем селениям и никогда никого из вас не боялась.

— Да, это точно, мы и то на тебя дивились, что ты одна ходишь. Опасность для тебя была немалая...

Оказалось, что в селе Круглом, в двух верстах от Рожни, местный священник сказал с амвона проповедь, в которой говорил народу, что мы антихристовы дети, явились сюда соблазнять народ, и что нас нужно избивать. Это говорилось там, где на протяжении 15—20 верст работали только две молоденькие девицы.

У Ал. Ал. тоже был аналогичный случай. Она лечила одного зажиточного старика, и, кажется, помогла ему. И вот он как-то заявил пришедшим к нему посетителям: «Какие же это антихристовы дети, это ангелы Божии, которых нам послал Господь!».

Когда я, по приезде в Бегичевку, рассказал Л. Н—чу о том, что со мной произошло в Круглом, он пришел положительно в ужас и взволнованно повторял: «Какой ужас, какой ужас, до чего они, наконец, дойдут!».

Так как эти и им подобные слухи стали проходить в печать, то это вызвало нечатное возражение местных общественных деятелей, относившихся с глубоким уважением к деятельности Л. Н—ча и возмущавшихся агитацией темных людей. И вот в «Московских Ведомостях» появился следующий протест:

«Письмо к издателю.

М. г. Надеемся, что, желая восстановить правду, вы не откажете поместить несколько слов этих от нашего имени в ближайшем номере вашей газеты.

В нумере газеты вашей от 10 января, помещена статья, подписанная Г. Шатохиным, озаглавленная «*Молва и притча о графе Л. Н. Толстом*». Правда требует и мы считаем своим долгом для восстановления истины засвидетельствовать, что деятельность графа по оказанию помощи нуждающемуся населению, не ограничившаяся одним Данковским уездом, а перешедшая теперь в Епифановский, Тульской губернии, где им открыто более 30 столовых, не возбуждая никаких ложных толков, вызывает в населении одни только чувства глубокой благодарности и признательности, а со стороны нас и всех стоящих близко к делу, кроме этого и чувства глубокого уважения.

Предводитель дворянства Епифановского уезда

Н. Протопопов.

Председатель епифанского попечительства Красного Креста

Р. Писарев».

16 января 1892 года,
город Епифань.

Все эти эпизоды не могли нарушить систематически развивавшейся деятельности Л. Н—ча и его сотрудников, захватывавших все больший район. Несколько выписок из писем Л. Н—ча того времени дают понятие об общем характере его деятельности в это время, т.-е. в конце зимы или в начале весны 1892 года. 20 февраля он пишет между прочим Софье Андреевне:

«Вчера мы были очень деятельны: все вечером писали письма, так что всех было готово к отправке 32 письма, из коих моих 20, да еще большинство иностранных».

Через несколько дней Л. Н—ч, заботясь о составлении отчета, пишет С. А—не: «Нужно опять написать отчет о пожертвованиях и о том, что сделано. А сделано, как оглянешься назад с того времени, как писал последний отчет, немало. Столовых более 120 разных типов: устраиваются детские; с завтрашнего дня вступают на корм лошади и многое сделано разными способами в помощи дровами. Часто странное испытываешь чувство: люди вокруг не бедствуют, и спрашиваешь себя: зачем же я здесь, если они не бедствуют? Да они не бедствуют-то оттого, что мы здесь, и через нас прошло, — как мы успели пропустить — тысяч 50».

Еще через несколько дней, уже в начале марта, когда Л. Н—ч собирался на время ехать в Москву, чтобы отдохнуть, он пишет С. А—не:

«Доживаем последнее время и дела все делается больше и больше; но вместе с тем видится, хотя не конец ему, но то, что оно придет в большую правильность. Нынче я для опыта затеял записывать всех приходящих с просьбами, и оказалось в обыкновенный день, *не* выдачи — 125 человек, не считая мелких просителей лаптей, одежи и т. п.».

В конце апреля, снова вернувшись в Бегичевку, Л. Н—ч писал своему другу Н. Н. Страхову:

«Мы теперь с Машей здесь одни. Очень много дела. Но в последнее время мне стало нравственно легче. Чувствуется, что нечто делается и что твое участие хоть немного но нужно. Бывают хорошие минуты, но большей частью копаюсь в этих

внутренностях в утробе народа; мучительно видеть то унижение и развращение, до которого он доведен. И они все его хотят спекать и научать. Взять человека напоить пьяным, обобрать, да еще связать его и бросить в помойную яму, а потом, указывая на его положение, говорить, что он ничего не может сам и вот до чего дойдет предоставленный самому себе, и, пользуясь этим, продолжать держать его в рабстве. Да только перестаньте хоть на один год спаивать его, одурять его, грабить и связывать его и посмотрите, что он сделает и как он достигнет того благосостояния, о котором вы и мечтать не смете. Уничтожьте выкупные платежи, уничтожьте земских начальников и розги, уничтожьте веру государственную, т.-е. дайте полную свободу веры, уничтожьте обязательную воинскую повинность, а набирайте вольных, если вам нужно, уничтожьте, если вы правительство и заботитесь о народе, водку, запретите, и посмотрите, что будет с русским народом через 10 лет» [1]).

Эта деятельность Л. Н—ча, конечно, привлекала к нему много людей. К этому времени как раз понемногу, одна за другой, прекратили свое существование земледельческие общины. И вот целая группа молодых сил, ищущих приложения, явилась в распоряжение Л. Н—ча. Братья Алехины, Новоселов, Скороходов, Гастев, Леонтьев, Рахманов занялись распределением пожертвований под руководством Л. Н—ча. Другие помогали собиранием хлеба на месте жительства и отсылкой его к центру помощи.

Первые месяцы этой помощи я был за границей, занятый изданием некоторых запрещенных в России сочинений Л. Н—ча. В январе 1892 года я вернулся в Россию, и, устроив свои личные дела, прикомандировался, как тогда шутя называли, к министерству Л. Н—ча Толстого. Так как вокруг Л. Н—ча уже было много народа, то я, проработав в Бегичевке недели две, по предложению Л. Н—ча, поехал с его сыном Львом и корреспондентом шведом Стадлингом 4 марта в Самарскую губ., где бедствие было едва ли не сильнейшее, а помощи не было почти никакой. Мы проработали там с Львом Львовичем и с несколькими помощниками всю весну и лето, до нового урожая. Л. Н—ч посылал нам часть получаемых пожертвований и нам удалось распространить нашу деятельность довольно широко на два уезда Самарской губернии—Бузулукский и Николаевский.

Вместе с этим распространением дела, шире и дальше распространялась молва о Л. Н—че, и эта молва, уже облеченная легендой, привлекала к нему самых разнообразных людей, видевших яркую точку среди густых сумерек и шедших на огонек, часто не отдавая себе отчета, куда приведет их этот луч света, и что они скажут, встретясь лицом к лицу с носителем его.

Из таких дальних посетителей особенно типичным является швед, о котором сохранилось несколько воспоминаний.

Вот как характеризует его сам Л. Н—ч в письме к Черткову:

«Вчера приехал к нам один старик 70 лет, швед, живший в Индии и Америке, говорящий по-английски и немецки, практический философ, как он сам себя называет, живущий и желающий научить людей жить по закону природы, оборванный, грязный, босой и ни в чем не нуждающийся. Самому нужно работать, чтобы кормиться от земли без рабочего скота, не иметь денег, ничего не продавать, не иметь лишнего, всем делиться. Он, разумеется, строгий вегетарианец, говорит хорошо, а главное—более, чем искренен, фанатик своей идеи. Он говорит, что не религиозен, но он понимает под религией суеверие, а весь проникнут духом христианства. Он желает иметь кусок земли и показать, как можно и должно себя кормить без рабочего скота. Не направить ли его к вам? Я не сваливаю его с себя, а думаю, что он вам и нам и людям через вас может быть полезен. Напишите скорее ответ. Я бы не отпустил его, но здесь при наших занятиях он излишен, и даже я не могу поговорить с ним, как хотелось бы, а главное—ему делать нечего».

[1]) Толстовский музей. Т. II, стр. 441.

В таких же почти словах описывал Л. Н—ч этого шведа и в письме к С. А—не, прибавляя: «немного на меня похож».

Я приведу еще свидетельства об этом замечательном человеке двух сотрудников Л. Н—ча того времени.

Вот что пишет В. И. Скороходов в своих воспоминаниях:

«Вскоре по возвращении Льва Николаевича приехал к нему швед, старик лет 70. На нем был надет какой-то серый плащ, соломенная шляпа, опорки на босу ногу, длинная рубаха и подштанники; длинные седые волосы ложились по плечам, и лицо обрамлено большой седой бородой; из-под нависших бровей смотрели ясные вдохновенные глаза. С собой у него был джутовый мешок, служивший ему постелью, и пустая бутылка вместо подушки и для воды. Так он пришел со станции верст за 30, по морозу, пешком. Он рассказал, что давно уже посвятил свою жизнь исканию истины и с этой целью путешествовал по всему миру. Познакомившись по книгам с мировоззрением Толстого, он почувствовал свою духовную близость к нему и теперь приехал для того, чтобы прожить остаток дней в братском труде со Львом Николаевичем и осуществить свою заветную мечту добывать себе хлеб собственными руками, не насилуя никого, даже животных, при помощи лопатной культуры. Швед этот, когда говорил, напоминал собою вдохновенного пророка. Он произвел огромное впечатление на Льва Николаевича, который почувствовал как бы укор совести за то, что он не вполне проводит в жизнь то, что ему уяснилось. С юношеским увлечением Лев Николаевич стал хлопотать о том, чтобы с открытием весны начать проводить на деле то, что предлагал ему брат по духу. Швед этот оказался строгим вегетарианцем, питался только фруктами, овощами и лепешками из толченого, а не молотого зерна, и пил только воду. Когда за завтраком подали большой самовар, швед поднялся и, как пророк, с укоризной произнес, указывая на самовар: «И вы поклоняетесь этому идолу! Я имею миссию от китайцев, которые страдают оттого, что лучшие их земли заняты чайными плантациями и негде им сеять хлеба насущного. Это происходит от спроса на чай. Вы должны отказаться от употребления чая, если вы знаете, что, употребляя чай, вы этим участвуете в отнятии насущного хлеба у наших братьев китайцев». Лев Николаевич со смущением перевел нам это с английского и предложил последовать этому призыву.

«Перестал сам пить чай, его заменили ячменным кофе, и самовар был убран. Когда Лев Николаевич предложил ему чашку кофе, об'яснив, что это местный продукт, то швед, остудив предварительно, попробовал и сказал: «Грешно портить так хлеб!» и не стал пить.

«Лев Николаевич окончательно смутился и постепенно довел свою скромную вегетарианскую пищу почти до того же, как и швед. Его организм не мог перенести такой грубой пищи. В то время Лев Николаевич страдал от камней в печени, болезнь усилилась, и, после мучительных припадков, он с большим прискорбием должен был снова вернуться к менее строгому вегетарианству, допуская молоко и яйца. Весной они таки устроили хлебный огород, но шведа этого выслали из России, так как он не признавал паспорта».

С другой стороны освещает эту личность В. М. Величкина.

«Один раз, вернувшись откуда-то, я увидела в столовой на столе рваную войлочную шляпу.

— А у нас интересный гость, Вера Михайловна,—сказал мне, улыбаясь, Лев Николаевич.

— Кто такой?

— А вот увидите.

И, войдя в комнату, где у нас лежали разные журналы и бумаги, я действительно увидела на полу в углу чьи-то торчащие голые ноги. Эти ноги принадлежали «интересному гостю». Гостем оказался старик лет 70-ти, маленький, заморенный, одетый в какую-то совсем вытертую куртку, босой, растрепанный, но с живым и каким-то ненормальным блеском глаз. Выражение его лица не привлекало к себе, и,

правду сказать, несмотря на всю свою оригинальность, сначала и до конца он мне не был интересен.

Что же касается до Льва Никол. и до большинства остальных товарищей, то они почти все в высшей степени заинтересовались этим философом-натуралистом. Самое появление его у нас было необыкновенно. Когда его спросили, откуда он явился, он ответил: «Из пространства». На вопрос, куда он направляется, последовал ответ: «В пространство». А настоящее его местожительство? «Здесь». Пришлось помириться пока на этом. Потом он дал некоторые сведения о себе.

При нем оказался даже какой-то билет на жительство, который требовался нашей полицией, не признававшей неопределенного «пространства».

По национальности наш гость оказался шведом. Он рассказал нам, что был когда-то богатым коммерсантом, но потом понял всю несправедливость своего богатства, роздал его до копейки бедным и вот уже тридцать лет странствует по всему свету, был и в Индии, и в Китае и сейчас явился к нам откуда-то с Востока.

Он решил сажать картошку на каком-то клочке земли, который ему предоставили для этого занятия. Слабый истощенный старик работал, разумеется, очень плохо.

Раз он как-то увидел, как быстро и ловко вскапывал лопатой поле М. Ал. и залюбовался им.—Он может прокормить трех жен и десять человек детей,—заявил он. И его натуральной философии нисколько не противоречило иметь этих трех жен и десять человек детей, раз он их может прокормить. Эта сторона его философии, как мне казалось, стала немножко отталкивать Льва Ник. Но его остроумная и беспощадная критика богатых людей и несправедливого экономического строя жизни могла действительно серьезно заинтересовать его собеседников.

Философ наш не только не признавал мебели, но почти не признавал и костюма, и его собственный нищенский костюм был, до некоторой степени, только уступкой полиции. Но случалось, что он сидел завернутый только в одно одеяло, но, к счастью, не выходил в таком виде в залу. Обуви он никогда не носил, и в холодные дни нам было очень жалко старика. Вместо подушки он спал на бутылке, находя, что подушка портит слух.

Однажды он захотел приготовить хлеб по своему методу.

— Лучше всего, разумеется, есть зерна сырыми, — говорил он, но как уступку человеческой слабости разрешал и печение хлеба. Муку же он толок сам из зерен. Принесли ему зерна, ступку, и он принялся за дело. Но бедный старик был так слаб, что и здесь пришлось ему помогать. Смешав приготовленную муку с водой, — молока старик тоже не употреблял, говоря, что его собственная мать уже умерла, — он приготовил какую-то лепешку и испек ее. Лепешку подали к обеду, и Лев Ник., которому вреден был и хороший черный хлеб, увлекся и поел этой знаменитой, непропеченной, непромешанной лепешки.

На другой день, с утра ему сделалось очень дурно. Поднялись боли, в печени стали проходить камни. Марья Львовна страшно взволновалась, и когда я хотела итти куда-то по делу, она не пустила меня.

— Не оставляй меня сегодня, пожалуйста, одну, — попросила она.

Я осталась.

Ужасный день провели мы. Боли у Льва Николаевича все усиливались и сделались совершенно невыносимыми. Он начал страшно стонать. Марья Львовна клала ему припарки из льняного семени; я изготовляла их; но, очевидно, помогали они плохо. Стоны все раздавались, и эти ужасные стоны просто терзали душу, а мы были, конечно, бессильны.

Так продолжалось несколько часов. Только к вечеру боли мало-по-малу стали уменьшаться, стоны стихли, и, измученный страданиями, Лев Ник., наконец, заснул.

Марья Львовна послала телеграмму Софье Андреевне, и когда я ее спросила, зачем, то она сказала мне, что во время такого припадка Лев Ник. может внезапно умереть.

Когда на другое утро Лев Николаевич вышел в столовую, его нельзя было про-

сто узнать, — так страшно изменился он за эти сутки. Тяжело было смотреть на его сразу похудевшее, смертельно бледное лицо, и мы невольно ходили и говорили тихо. Но к вечеру он немного повеселел, и у нас поднялся снова один из самых задушевных разговоров.

Вдруг у крыльца послышался звон колокольчика, затем какое-то движение, и с балкона в залу вошла Софья Андреевна. Все сразу стихли и как-то смутились.

Софья Андреевна приехала взволнованная, сердитая и стала расспрашивать, что случилось. Философ в это время мирно спал на полу, выставив как-то свои ноги. Софья Андреевна скоро заметила его.

— А это еще что за голые ноги?

Пришлось рассказать ей всю историю и познакомить с обладателем голых ног. Она просто возненавидела «грязного старика». Софья Андреевна осталась у нас на несколько дней и с своим хозяйственным уменьем стала приводить в порядок нашу довольно таки беспорядочную жизнь. На столе снова появились чистые скатерти, обед сделался более обильным» [1]).

Были посетители и посетительницы и совсем иного рода. Раз приехали к нему две американки, одна из них ехала через Европу, другая через Азию. Они поехали разными дорогами и решили с'ехаться у Л. Н. Это и была единственная цель их путешествия. На вопрос Л. Н—ча, зачем они предприняли такое сложное путешествие, они обе радостно засмеялись и сказали: «Мы так и думали, что Leo Tolstoy скажет именно это». Лев Ник. пробовал наводить разговор на более серьезные темы, но он ясно видел, что их совсем не интересовало содержание того, что он говорил; они выслушивали и кивали головами. Л. Н—ч не выдержал этого разговора и уехал верхом ревизовать дальний участок. Но американки все-таки достигли своей цели.

Наконец, явились и посетители официальные.

4-го мая приехал ко Льву Н—чу в Бегичевку со свитой генерал Анненков, заведывавший правительственною помощью. Это посещение наделало много шума, но принесло мало плода.

Л. Н—ч так сообщает о нем С. А—не:

«Сейчас только мы проводили от себя заезжавшего к нам Анненкова со своей свитой—человек 20: Глебов, Кристи, Трубецкой и Костычев (друг Ге) и разные профессора, инженеры... не хочется осуждать, но нельзя не сказать, что страшно».

Приезжали ко Л. Н. и английские квакеры, Bellows и Brooks, оказавшие большую помощь бедствующему населению в России. Кроме материальной помощи голодным, миссия их состояла в том, чтобы поддержать гонимых за веру. Они об'езжали места ссылки русских сектантов и направлялись между прочим на Кавказ. Л. Н—ч дал им поручение посетить недавно сосланного туда князя Дм. Алек. Хилкова, что они с удовольствием и исполнили.

Это обилие посетителей из самых далеких стран заставляет Л. Н—ча записать в дневнике такую замечательную мысль:

«Когда видишь людей новых, таких, которых никогда не видал, хоть где-нибудь в Африке, в Японии: человек, другой, третий, еще и еще, и конца нет, все новые, новые, такие, каких я никогда могу не видать и никогда не увижу; а они живут такой же эгоистической, своей отдельной жизнью, как и я, — то приходишь в ужас, недоумение.

«Что это значит? Зачем столько? Какое мое отношение к ним? Неужели я не видал их, и они мне чужие? Не может быть.

«И один ответ: они и я—одно. Одно и те, которые живут, и жили, и будут жить, —одно со мною, и я живу ими, и они живут мною».

---

[1]) В. М. Величкина. У Л. Н—ча Толстого в голодный 1899 год. Воспоминания. «Совр. Мир», кн. V и VI. 1912.

Наконец, появился весенний отчет Л. Н—ча о его зимней деятельности.

В нем, кроме цифр, было литературное приложение, которое давало яркую картину деятельности Л. Н—ча за первые шесть месяцев.

Мы заимствуем из этого отчета несколько характерных черт. Л. Н—ч перечисляет несколько родов помощи, оказанной им голодающим крестьянам. Таких родов помощи он насчитывает восемь:

«Первый, самый обширный род помощи был столовые. Их устройство уже описано на предыдущих страницах. Их ко времени отчета (март) было 187 и в них кормилось около 10,000 человек. Другое дело наше,—говорит в своем отчете Л. Н—ч, —в последние зимние месяцы состояло в доставлении дров нуждающемуся населению. Третье дело наше было кормление крестьянских лошадей. В продолжение последних двух месяцев было прокормлено 276 лошадей. Четвертое дело наше составляла раздача льна и лык для работ и бесплатно — нуждающимся в обуве и холсте. Льна было роздано около 300 пудов. Лыка около 200 пудов.

«Пятое дело наше, начавшееся в феврале, состояло в устройстве столовых для самых маленьких детей, от нескольких месяцев, грудных и до 3-летних. Шестое дело, которое теперь начинается и которое, вероятно, так или иначе будет окончено, когда этот отчет появится в печати, состоит в выдаче нуждающимся крестьянам на посев семян овса, картофеля, конопли, проса.

«Покупка лошадей и раздача их составляет седьмое дело. Восьмое дело наше было продажа ржи, муки и печеного хлеба по дешевым ценам.

«Кроме этих определенных отделов, на которые употреблялись и употребляются пожертвованные деньги, небольшие суммы употреблены нами прямою выдачею нуждающимся на неотлагаемые нужды: похороны, уплаты долгов, на поддержание маленьких школ, покупку книг, постройки и т. п.; таких расходов было очень мало, как это можно видеть из денежного отчета.

«Таковы в общих чертах были наши дела за прошедшие шесть месяцев. Главным делом нашим за это время было кормление нуждающихся посредством столовых. В продолжение зимних месяцев эта форма помощи, несмотря на злоупотребления, встречающиеся при этом, в самом главном, в том, что она обеспечивала все беднейшее и слабейшее население — детей, стариков, больных, выздоравливающих — от голодания и дурной пищи, вполне достигала своей цели».

Денежная отчетность в круглых цифрах выразилась так: было получено 141 тысяча, истрачено 108 тысяч. Осталось к апрелю месяцу 33 тысячи.

Настроение Л. Н—ча не всегда было бодрое и радостное. Нередко, утомившись более нравственно, чем физически, он, видимо, страдал, и как ни терпелив он был, но иногда это чувство боли выражалось ярко в письмах к друзьям. Так, он писал в конце февраля Н. Н. Ге-молодому:

«Измучился я, голубчик, от этой деятельности, не физически, но нравственно. Если было сомнение в возможности делать добро деньгами, то теперь его уж нет— нельзя.

«Нельзя тоже и не делать того, что я делаю, т.-е. мне нельзя. Я не умею не делать. Утешаюсь тем, что это я расплачиваюсь за грехи свои и своих братьев и отцов. Тяжесть в том, что не веришь в добро материальной помощи и что главный труд есть не доброе отношение к людям, а напротив — злое, не доброе, по крайней мере: удерживаешь их в их требованиях, попрошайничестве, уличаешь в неправде и вызываешь в них недобрые чувства; не только в них, но и сплошь и рядом и в себе» [1]).

Лев Николаевич, кроме этой, утомлявшей его своей суетой, внешней деятельности, был полон еще и внутренним содержанием. Эта сторона его жизни яр-

[1]) Архив Черткова.

ко отразилась в записках его дневника и его записной книжки того времени. Приведем здесь несколько, наиболее ярких и ясных выражений его внутреннего переживания:

Вот мысли из дневника, записанные весной 1892 года:

«Я стал торопиться молиться, сделал из этого такую привычку, что стал говорить себе: надо поскорее помолиться, чтобы потом пить кофе и разговаривать с NN...

«Поспешить отделаться от Бога, чтобы заняться Иван Иванычем.

«Если молитва не есть важнейшее в мире дело, — такое, после которого нет ничего, то это не молитва, а повторение слов».

«От сна пробуждаешься в то, что мы называем жизнью, в то, что предшествовало и следует за сном. Но и эта жизнь не есть ли сон? А от нее смертью не пробуждаешься ли в то, что мы называем будущей жизнью, в то, что предшествовало и следует за сновидением этой жизни?

«В сновидении, во сне, мы живем теми впечатлениями, теми чувствами, которые даны нам предшествующей жизнью, той самой, в которую мы возвращаемся, просыпаясь. Также и в том, что мы называем настоящей жизнью, мы живем теми данными и той «кармой», которые мы занесли из предшествующей жизни, той самой, в которую мы возвращаемся.

«Как сон настоящий есть период, во время которого мы набираемся новых сил, для движения вперед в той жизни, в которую возвращаемся пробуждением, так и эта жизнь есть период, в который мы набираемся новых сил для движения вперед в той жизни, из которой мы вышли и в которую возвращаемся.

«(Бывает во сне кошмар, от которого мы пробуждаемся особым усилием воли. Не то ли и отчаяние, от которого спасаются самоубийством?)

«Но и вся предшествующая этой жизни жизнь и последующая, в которую мы переходим смертью, с своим срединным сновидением того, что мы теперь называем жизнью, не есть ли в свою очередь только одно сноведение, точно также предшествуемое другой, еще более реальной жизнью, в которую мы и возвращаемся? И так далее, до последней степени бесконечной реальности жизни—Бога».

«Враги всегда будут. Жить так, чтобы не было врагов, нельзя. Напротив, чем лучше живешь, тем больше врагов.

«Враги будут; но надо сделать так, чтобы не страдать от них. И можно сделать. Делать так, что враги не только не будут страданием, но будут радостью.

«Надо любить их и это легко.

«Я один, а людей так ужасно бесконечно много, так разнообразны все эти люди, так невозможно мне узнать всех их,—всех этих индейцев, малайцев, японцев, даже тех людей, которые со мной всегда, — моих детей, жену... Среди всех этих людей я один, совсем одинок и один. И сознание этого одиночества и потребности общения со всеми людьми и невозможности этого общения достаточно для того, чтобы сойти с ума.

«Одно спасение — сознание внутреннего, через Бога общения со всеми ими. Когда найдешь это общение, перестает потребность внешнего общения».

«Когда проживешь долго, как я 45 лет сознательной жизни, — то понимаешь, как ложны, невозможны всякие приспособления себя к жизни. Нет ничего «stable» в жизни. Все равно, как приспособляться к текущей воде.

«Все — личности, семьи, общества, все изменяется, тает и переформировывается, как облака. И не успеешь привыкнуть к одному состоянию общества, как его уже нет и оно перешло в другое».

«Как религия, которая считает себя абсолютной непогрешимой истиной, есть ложь, так и наука.

«Говорят о соединении науки и религии. Только бы и та, и другая не держались бы внешнего авторитета, и не будет разделения; а религия будет наука, наука будет религия».

А вот записи из его карманной записной книжки:

«Государственная форма отжита — все три функции — осталась последняя и держится, как и может держаться, насилием. И насилие кажется непреоборимо насилием, но есть другое — есть внутренний рост.

«Думаю часто — спасение произойдет ужасами, революцией, постепенно — нет. И не было бы спасения, если бы правительства могли остановить рост сознания—нового жизнепонимания. Правительства могут всех обобрать, всех убить, всех слабых подвергнуть гипнотизации, но не могут остановить роста. Чем больше они гипнотизируют, тем энергичнее рост — контраст, чем больше накладывать дров, тем ярче горит и тем труднее погасить. Спасенье не извне, а изнутри. Царство Божие внутрь вас есть. И спасенье наступило.

«Когда видите, ветки смоковницы стали мягки, значит близко при дверях. И лето близко. Правительство существует, как атавизм,—отжило—как оболочка семени, сдерживающая лепестки. Насилие не нужно. Нужно только рост и жизнь изменится. Насилия ведь нет. Это сон. Нужно очнуться.

«Не делайте вида, что вы меня судите. Вы разбойники. Я вас судил и осудил. Я живу для распространения (истины). Все, что вы мне сделаете, польза этому делу, а, следовательно, и мне».

«Часто говорят: дело рассудка. Да, несогласие окружающего с требованиями совести — дело рассудка. Несогласие своей жизни с требованиями разума — дело любви.

«Я долго не верил сам себе, что религия официальная есть антирелигия. Но пришлось поверить. То же теперь относительно образования.

«Остроги, войска, полиция нужны, чтобы поддерживать существующий порядок. А порядок этот дурен, мы сами сознаем это.

«Религия не есть то, во что верят люди и наука, не то, что изучают люди; а религия есть то, что дает смысл жизни, а наука то, что нужно знать.

«Красота вытекала из языческого миросозерцания. Христос не сказал: есмь жизнь, путь и красота.

«Всего меньше мы понимаем поступки друг друга, те, которые вытекают из тщеславия: не угадаешь, чем и перед кем он тщеславится.

«Если кто сомневается в нераздельности мудрости и самоотвержения, тот пусть посмотрит, как сходятся с другого конца глупость и эгоизм.

«Есть две улыбки. Одна—радости, другая насмешливости а) над другими, б) над собой, почти стыда.

«Бывает, что защищает с раздражением истину, кажущуюся неважной. Тебе кажется только кирпич, а для него это замок свода, на котором построен его дом».

Летом, в июле, завершился один важный акт семейной жизни Л. Н—ча. Был окончен раздел имущества. Как все вопросы, связанные с собственностью и деньгами, и этот вопрос о разделе явно тяготил Л. Н—ча. Мы уже упоминали о том, как он относился к нему. Новые, хотя окончательные уже формальности опять всколыхнули в нем эти тяжелые чувства и он жалуется друзьям своим в письмах, что ему это время было тяжело и мучительно. Но так как это было уже общее заключение дела, то оно вместе и дало ему некоторое удовлетворение.

В июле же был закончен Л. Н—чем и сдан в печать отчет о ведении всего дела. В этом отчете Л. Н—ч дает уже общий обзор деятельности всего года, из которого

мы видим, что под руководством Л. Н—ча в 4-х уездах (Епифановском, Ефремовском, Данковском и Скопинском) действовало 246 столовых для взрослых и 124 для детей; в них кормилось 13.000 взрослых и до 3.000 детей.

В этом же осеннем отчете Л. Н—ч так определяет положение народа:

«На вопрос об экономическом положении народа в нынешнем году я не мог бы с точностью ответить. Не мог бы ответить потому, во-первых, что мы все, занимавшиеся в прошлом году кормлением народа, находимся в положении доктора, который бы, быв призван к человеку, вывихнувшему ногу, увидал бы, что этот человек весь больной. Что ответит доктор, когда у него спросят о состоянии больного? О чем хотите вы узнать? — переспросит доктор. — Спрашиваете про ногу или про все состояние больного? Нога ничего, нога простой вывих—случайность, но общее состояние нехорошо».

«Но и кроме того я не мог бы ответить на вопрос о том, каково положение народа: тяжело, очень тяжело или ничего? потому что мы все, близко жившие с народом, слишком пригляделись к его понемножку все ухудшавшемуся и ухудшавшемуся состоянию.

«Если бы кто-нибудь из городских жителей пришел в сильные морозы в избу, топленную слегка только накануне, и увидал бы обитателей избы, вылезающих не с печки, а из печки, в которой они, чередуясь, проводят дни, так как это единственное средство согреться, или то, что люди сжигают крыши домов и сени на топливо, питаются одним хлебом, испеченным из равных частей муки и последнего сорта отрубей, и что взрослые люди спорят и ссорятся о том, что отрезанный кусок хлеба не доходит до определенного веса на восьмушку фунта, или то, что люди не выходят из избы, потому что им не во что одеться и обуться, то они были бы поражены виденным. Мы же смотрим на такие явления, как на самые обыкновенные. И потому на вопрос о том, в каком положении народ нашей местности, ответит скорее тот, кто приедет в наши места в первый раз, а не мы. Мы притерпелись и уже ничего не видим».

И, наконец, Л. Н—ч делает ко всему отчету такое заключение:

«Так что же? Неужели опять голодающие? Голодающие! Столовые! Столовые! Голодающие! Ведь это уже старо и так страшно надоело.

«Надоело вам в Москве, в Петербурге, а здесь, когда с утра до вечера стоят под окнами или в дверях, и нельзя по улице пройти, чтобы не слышать одних и тех же фраз: «Два дня не ели, последнюю овцу проели. Что делать будешь? Последний конец пришел. Помирать значит?» и т. д.,—здесь, как ни стыдно в этом признаться, это уже так наскучило, что как на врагов своих, смотришь на них.

«Встаю очень рано; ясное морозное утро и с красным восходом; снег скрипит на ступенях; выхожу на двор, надеюсь, что еще никого нет, что я успею пройтись. Но нет; только отворил дверь, уже стоят двое: один высокий, широкий мужик в коротком оборванном полушубке, в разбитых лаптях, с истощенным лицом, с сумкой через плечо (все они с истощенными лицами, так что эти лица стали специально мужицкие лица). С ним мальчик лет 14, без шубы, в оборванном зипунишке, тоже в лаптях и тоже с сумой и палкой. Хочу пройти мимо, начинаются поклоны и обычные речи. Нечего делать, возвращаюсь в сени. Они входят за мною.—«Что ты?— К вашей милости — Что? — К вашей милости. — Что нужно? — Насчет пособия. — Какого пособия? — Да насчет своей жизни! — Да что нужно? — С голода помираем. Помогите сколько-нибудь. — Откуда? — Из Затворного». Знаю, что это скопинская нищенская деревня, в которой мы еще не успели открыть столовой. Оттуда десятками ходят нищие, и я тотчас же в своем представлении причисляю этого человека к нищим профессиональным и мне досадно, что и детей они водят с собой и развращают. «Чего же ты просишь? — Да как-нибудь обдумай нас. — Да как же я обдумаю? Мы здесь не можем ничего сделать. Вот мы приедем». Но он не слушает меня. И начинаются опять сотни раз уже слышанные одни и те же, кажущиеся мне притворными речи: — «Ничего не родилось, семья 8 душ, работник я один, старуха померла, летось корову проели, на Рождество последняя лошадь околела, уж я, куда ни шло, ребята есть просят, отойти некуда, три дня не ели!». Все это обыч-

16. Лев Николаевич с двумя дочерьми в Хамовническом доме в 1895 году (с фотографии П. И. Бирюкова).

ное, одно и то же. Жду, скоро ли кончит. Но он все говорит: «Думал, как-нибудь пробьюсь, да выбился из сил. Век не побирался, да вот Бог привел».—Ну, хорошо, мы приедем, тогда увидим», говорю я и хочу пройти, и взглядываю нечаянно на мальчика. Мальчик смотрит на меня жалостными, полными слез и надежды, прелестными карими глазами, и одна светлая капля слезы уже висит на носу и в это самое мгновение отрывается и падает на натоптанный снегом досчатый пол. И милое измученное лицо мальчика с его вьющимися венчиком кругом головы русыми волосами дергается все от сдерживаемых рыданий. Для меня слова отца — старая избитая канитель. А ему — это повторение той ужасной годины, которую он переживал вместе с отцом, и повторение всего этого в торжественную минуту, когда они, наконец, добрались до меня, до помощи, умиляют его, потрясают его расслабленные от голода нервы. А мне все это надоело, надоело; я думаю только, как пройти поскорее погулять!

«Мне старо, а ему это ужасно ново.

«Да, нам надоело. А им все так же хочется есть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви, как я видел это по его прелестным, устремленным на меня, полным слез глазам, — хочется этому измученному нуждой и полному наивной жалости к себе доброму жалкому мальчику».

И на этот раз, конечно, Л. Н—ч не мог прекратить этого дела. Посетив Л. Н—ча летом, я заметил, что дело это сильно, и физически, и нравственно, утомило Л. Н—ча. Так как в эту зиму предполагалось вести дело в значительно меньших размерах, то я и предложил Л. Н—чу свои услуги по ведению дела, конечно, под его руководством. Л. Н—ч с радостью принял это мое предложение и я уехал к себе на хутор ждать этого «назначения».

27 июля Л. Н—ч написал мне письмо, приглашая приехать и принять в свое заведывание продолжение помощи. Я не замедлил приехать и прожил в Бегичевке всю зиму 1892—1893 годов, с небольшими перерывами. Л. Н—ч с дочерьми нередко навещал меня, давая советы, исправляя и направляя мою работу и моих помощников. Насколько это время и это дело отразилось на Л. Н—че, я расскажу в следующей главе.

ГЛАВА 15-я.

Вторая голодная зима. Царство Божие.

Наступила вторая голодная зима 1892—1893 годов. Пространство России, постигнутое на этот раз неурожаем, было значительно меньше, но зато там, где пришлось второй раз пережить это тяжелое время, было во много раз труднее. Истощенные предыдущими плохими годами и сошедшие на-нет в прошлую, голодную зиму, они уже не могли сопротивляться стихийному бедствию. И в тех местах, где прежде кормили, теперь лечили и часто хоронили истощенных до смерти могучих работников-пахарей. Они покорно подставляли свои согбенные спины и безропотно умирали от голодного, сыпного тифа.

Одна из характерных особенностей сыпного тифа это его заразительность, которая распространяется не только на само население, но и на медицинский персонал. Заболевают доктора, фельдшера, сиделки. На моих глазах таких случаев было много и в прошлую зиму в Самарской губернии и с этим пришлось столкнуться в эту следующую зиму в Рязанской губернии. Как только появилась эпидемия сыпного тифа близ Бегичевки, осенью 1892 года, пришлось организовать медицинскую, а главное—санитарную помощь.

Пришлось приискивать помещения, куда отделять больных, улучшая, облегчая

обстановку их жизни, усиливая питание. А главное—найти людей, готовых самоотверженно итти на борьбу с эпидемией, с явной опасностью болезни и смерти. Это было не так-то легко.

Вследствие уменьшения размеров бедствия, вследствие охлаждения прежнего пыла пожертвований в русском и заграничном обществе, вследствие стремления руководящих классов поскорее заявить о том, что теперь «все благополучно», приток пожертвований и предложение личных услуг значительно ослабели.

Льву Николаевичу, утомленному прошлой зимой, нужен был отдых, да его присутствие при уменьшенных размерах помощи и не было необходимо. Поручив мне руководить делом помощи, он, конечно, продолжал стоять во главе дела, приезжал в Бегичевку, давал дальнейшие указания и печатал отчеты о нашей деятельности.

Кроме земской медицинской помощи на эпидемии тифа, была организована помощь и при участии Л. Н—ча. Ходить за больными под руководством земского врача приехала родственница Л. Н—ча, жена брата Софьи Андреевны, Марья Петровна Берс. Несчастливая в своей семейной жизни, она с радостью пошла на это дело, готовая отдать свою жизнь, которою она мало дорожила.

Она поселилась в избе, ухаживала за больными и вскоре заразилась сыпным тифом. Тогда ее перевезли в Бегичевку, в дом Раевских, и делали все, что можно было делать в борьбе с этой болезнью. Она не выдержала и умерла спокойно, сознательно, с чувством исполненного долга 20-го октября 1892 года.

Л. Н—чу в это время нельзя было приехать в Бегичевку и мы обменивались письмами. В них ясно отражается то волнение, которое испытывал он, следя за этой болезнью, за всеми ее колебаниями и роковым исходом. Я приведу из этих писем несколько характерных выдержек.

По получении первого известия о болезни Марьи Петровны, Л. Н—ч, между прочим, писал мне:

«Дорогой друг П., сейчас получил ваше письмо Тане. Все мы страшно взволнованы болезнью М. П. и стремимся к вам, но нас не пускают. Тани нет; она в Москве. Маша, однако, не отчаивается поехать сменить вас у больной. Пожалуйста, извещайте о М. П. Вы все не велите беспокоиться о вас, а я не могу думать о вас без укоров совести и чувства виновности перед вами и главное—любви. Передайте М. П., что мы все душою с нею и будем в теле с нею, как только это будет нужно. Не нужно ли ей чего? Да вы, верно, все доставите ей, начиная с сиделки».

Л. Н—ч по обыкновению встретил в семье своей сопротивление, когда собрался ехать. Такое сопротивление возникало при всех вопросах, когда от осуществления желания Л. Н—ча мог угрожать вред его животной личности и когда осуществление этого желания могло приблизить его к тому идеалу личной жизни, который всегда носил в своей душе Л. Н—ч.

Как всегда, так и на этот раз Л. Н—чу пришлось перенести душевные муки. Вот что он между прочим пишет мне в следующем письме, в ответ на мое извещение, что болезнь приняла угрожающее течение:

«Ужасно тяжело, дорогой друг Павел Иванович, что никто из нас не может приехать, чтобы сменить вас в уходе за М. П. Маша хотела ехать, встретила страшное сопротивление, и не знаю, как решит. Кажется, не едет. Я по чувству знаю, и она тоже знает, что должно. Может быть, надо бы ехать, и покориться это слабость, но я не могу. Должно быть, и она также. Деньги вы уже знаете, что вам посланы. Я писал вам в Клекотки. Вы нас, милый друг, не упрекайте; мы душою с вами. Для меня... Мне часто бывает тяжело. И из того, что тяжело, я заключаю, что делаю не то, что надо.

Получив известие о кончине Марьи Петровны, Л. Н—ч писал С. А., которая тогда была в Москве:

«Смерть Марьи Петровны очень трогательна. Древние говорили, что кого Бог любит, те умирают молодыми. И смерть ее хороша. У всех останется чувство к ней, а со всех сторон, кроме горя, ее ничего не ожидало».

В одном из следующих писем к С. А. он возвращается к этой смерти и передает слова сиделки:

«Она вдруг ослабела и почувствовала, что умирает; кое-какие распоряжения делала, маленькие долги заплатить и сказала: «Господи, прости мне грехи мои!». И скоро потеряла сознание. И в таком положении была около суток. Похоронили ее в Никитском».

Сознание близости смерти не покидало ее и во время болезни. Мне нередко приходилось подходить к ее кровати, оказывать ей небольшие услуги. Она всегда старалась поскорее выпроводить меня, боясь, что я заражусь и при этом говорила: «Ведь мне-то легко умереть, а ваша жизнь еще многим нужна».

Вероятно, людям нужна была ее смерть.

Внутренняя жизнь Л. Н—ча того времени, как всегда, шла с особым напряжением.

В общении со своими сотрудниками по кормлению голодающих Л. Н—ч старался, кроме практических советов их деятельности, давать им и раз'яснения по самым существенным вопросам жизни. А те, конечно, забрасывали его всяческими вопросами, из которых Л. Н—чу приходилось выбирать наиболее важные.

Вместе с тем среди сотрудников, назвавшихся единомышленниками Л. Н—ча, стало заметно неудовлетворение тем внутренним, основанном на высшем разуме, понимании религиозных вопросов и учения Христа, которое свойственно было Льву Николаевичу и которое он выражал в своих писаниях. Л. Н—ч стал получать от этих людей большие письма с вопросами и о «живой вере» и о «живом Христе», сущность которых заключалась в том, что они выражали потребность внешнего, мистического богопочитания.

Л. Н—ч отвечал на эти письма подробно, излагая и раз'ясняя свои взгляды, и вот после одного из таких писем он записывает в своем дневнике:

«21 августа 1892 года. За это время получил и написал длинное письмо N в ответ на его — о живом Христе. В письме этом надо поправить следующее:

«Я написал сначала, что пылкие, славолюбивые люди, потом написал: некоторые; но надо было написать ни то, ни другое, а — люди, поверхностно понявшие учение Христа, понявшие только последствия его, а не самый способ его, состоящий в установлении каждым человеком своего отношения к Богу. Для достижения этих последствий устраивают сообщество людей, требующих друг от друга исполнения известных поступков, и кроме того стараются сами или напугать, и расчувствовать себя различными представлениями так, чтобы желательные последствия были исполнены».

Разговор по поводу его книги «О жизни» наводит его на следующие размышления:

«Говорил с N. Он говорит: «У вас в «О жизни» сказано, что если человек умирает, то так надо. Это неправда».

«Он прав. Это неправда. Это нельзя сказать. На вопрос: зачем этот умер, а тот жив? нельзя ответить так же, как нельзя ответить на вопрос: где я буду после смерти?

«Это два вопроса: «где» и «буду», спрашивающие о том, в каком я буду отношении к пространству и времени тогда, когда я выйду из теперешнего моего состояния, в котором я не могу мыслить, вне пространства и времени, — когда я перейду в то состояние, в котором не может быть ни пространства ни времени.

«Вопрос же о том, зачем, почему этот умер, а этот жив, есть такой же вопрос, спрашивающий о том, в каком отношении причинности находится человек, вышедший из мира причинности?».

А вот несколько строгих мыслей о музыке, как о наслаждении.

«Говорили о музыке.

«Я опять говорю, что это наслаждение только немного выше сортом кушанья.

«Я не обидеть хочу музыку, а хочу ясности. И не могу признать того, что с такой неясностью и неопределенностью толкуют люди, — что музыка как-то возвышает душу.

«Дело в том, что она не нравственное дело. Не безнравственное, как и еда. Безразличное, но не нравственное. Я за это стою. А если она не нравственное дело, то и совсем другое к ней отношение.

«Это наслаждение чувства, как чувство (sens) вкуса, зрения, слуха. Я согласен, что оно выше, т.-е. менее похотливо, чем вкус, еда; но я стою на том, что в нем нет ничего нравственного, как стараются нас уверить».

Замечательно, что подобная же мысль о музыке записана Л. Н—чем 30 лет тому назад, в его дневнике 1861 года, во время его второго заграничного путешествия, когда он знакомился с постановкой школьного дела в Западной Европе. Он тогда посещал многих выдающихся людей и, между прочим посетил немецкого писателя Ауербаха, сочинения которого он очень ценил. После свидания с ним он записал в дневнике:

«Христианство — как дух человечества, выше которого нет ничего. Читает стихи восхитительно. О музыке, как «Pflichtloser Genuss». Поворот, по его мнению, к развращению... Ему 49 лет. Он прям, молод, верующ, не поет отрицание».

Такова устойчивость мнения Л. Н—ча о музыке. Этот взгляд его, разумеется, отразился и в его критике «Об искусстве», которую он тогда начал писать.

И в связи с этим у него является новый вопрос о смысле жизни, о красоте и о добре.

Он с робостью, как бы пред открытием нового неожиданного сокровища, записывает в своем дневнике:

«Думал в первый раз, как ни страшно это думать и сказать:

«Цель жизни есть так же мало воспроизведение себе подобных, продолжение рода, как и служение людям, так же мало и служение Богу.

«Воспроизводить себе подобных — зачем? Служить людям? А затем, кому мы будем служить, тем что делать? Служить Богу? Разве он не может без нас сделать то, что ему нужно? Да ему не может быть ничего нужно.

«Если он велит нам служить себе, то только для нашего блага. Жизнь не может иметь другой цели, как благо, как радость. Только эта цель — радость — вполне достойна жизни.

«Отречение, крест, отдать жизнь, все это для радости. И радость есть и может быть ничем не нарушена и постоянная.

«И смерть — переход к новой неизведанной, совсем новой другой большой радости.

«И есть источники радости, никогда неиссякающие: красота природы, животных, людей, — никогда не отсутствующие. В тюрьме — красота луча, мухи, звуков. И главный источник: любовь, — моя к людям и людей ко мне.

«Как бы хорошо было, если бы это была правда. Неужели мне открывать новое?

«Красота, радость, только как радость, независимо от добра, отвратительна. Я уяснил это и бросил. Добро без красоты мучительно. Только соединение двух, и не соединение, а красота, как венец добра».

И записав эту глубокую мысль, он скромно прибавляет:

«Кажется, что это похоже на правду».

В это время Лев Николаевич читал и переводил сочинение женевского писателя Amiel'я: «Le joural intime» (Дневник Амьеля). Думая о предисловии к этому переводу, он записывает в дневнике такую мысль:

«К Amiel'ю хотел бы написать предисловие, в котором бы высказать то, что он во многих местах говорит о том, что должно сложиться новое христианство, что в будущем должна быть религия. А между тем сам, частью стоицизмом, частью буддизмом, частью, главное, христианством, как он понимает его, он живет и с этим уми-

рает. Он, как bourgeois gentilhome fait de la religion, sans le savoir [1]). Едва ли это не самая лучшая. Она не имеет соблазна любоваться на нее».

Предисловие это было написано им и напечатано и мысль, записанная в дневнике, отчасти выражена в нем, хотя и в иной форме.

И в тоже время он записывает такую мысль:

«Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только чтобы не было детей; или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими свежими от Бога детьми,—я бы выбрал последнее».

Не менее замечательны мысли, набросанные им в записной книжке того времени.

В это время начались преследования некоторых друзей Л. Н—ча; вероятно, он ожидал каких-нибудь репрессивных мер и против себя. Поэтому в его записной книжечке попадаются такие записи:

«У меня есть высочайшее повеление». А у меня есть самое высочайшее заступаться за братьев, обличать гонителей.

«Для того, чтобы заставить меня замолчать, есть два средства: одно—покаяться, другое—убить, или заточить, не выпускать.

«И действительно, может быть только первое и потому скажите тому человеку, которого вы называете царем, чтобы он, вместо меня, занялся Шлиссельбургом, каторгой, розгами».

В это время Л. Н—ч работал над своей книгой: «Царствие Божие внутри вас». Подвергая в этой книге строгой критике существующее государственное устройство, Л. Н—ч естественно думал о разрушении старых и созидании новых форм. И вот он набрасывает такие мысли:

«Посмотрите, как хорошо мы подкрасили дом, убрали его флагами, ветками, а у вас что? — Канавы, камни». — Это фундамент нового строения.

После посещения Н. Н. Страхова, мягкого, созерцательно настроенного его друга, Л. Н—ч записывает:

«С Страховым разговор. Он хочет находить во всем хорошее. Это прекрасно. Но как бы не находить хорошим то, что мы призваны уничтожить!»

Освободившись от непосредственного руководства делом кормления голодающих, очень тяготившего его, Л. Н—ч стал чувствовать некоторую пустоту жизни, которая была временно заполнена этим сложным делом. Об этом он между прочим писал мне, возвратившись в Ясную Поляну из Бегичевки:

«У нас все по-старому. Живем одни хорошо, но девочкам бедным пусто. Как справедливо то, что Он сказал: «А кто хочет узнать, правду ли я говорю, пусть попробует». Стоит только испытать — как ни плохо, ни нескладно, ни нечисто смешана со славой людской жизнь служения — для того, чтобы потом уже жизнь потеряла для себя весь — как говорят англичане — букет, прелесть. — И это я с радостью испытываю сам и вижу на девочках. У меня есть мое писанье, которое немного в той мере, в которой я верю в его пользу, помогает жить, и есть слабость старости, но молодым и вкусившим от ключа воды живой уж нельзя вернуться к подобию жизни. И это-то дорого и на это радуюсь. Получил я письмо от революционера, должно быть, из Петербурга, хорошее. Он пишет, что за саратовский бунт будут казнить и что я должен написать воззвание. Разумеется, я не напишу; но все такие напоминания помогают мне верить, что я могу быть нужен. В писаньи подвигаюсь, но все не кончил».

«Писанье», которое заполняло тогда жизнь Льва Николаевича, было: «Царство Божие внутри вас», книга, над которой он работал два года; у ней своя история и она имеет большое значение в жизни Льва Н—ча, поэтому мы остановимся на ней несколько долее.

---

[1]) «Благородный мещанин говорит о религии, сам не замечая этого».

Прошло уже несколько лет со времени опубликования книги Л. Н—ча «В чем моя вера», бросившей в мир новое понимание христианства, показавшей миру необходимость решения дилеммы: или отказаться от имени христиан или признать, что насилие несовместимо с христианством. Прошло много лет и со времени опубликования второй книги и мир все еще не решил этой дилеммы. Но семена нового жизнепонимания были брошены в мир и они должны дать всходы. И первые ростки уже взошли и произвели замешательство среди запутавшегося человечества в дебрях полурелигиозного, полунаучного, полуэгоистически-животного миропонимания, выражавшегося общей борьбой за сладкий кусок пирога.

Как только «В чем моя вера» стала распространяться в старом и новом свете, так ко Л. Н—чу стали стекаться со всех концов мира положительные и отрицательные отзывы о ней.

«Один из первых откликов на мою книгу,—говорит Л. Н—ч в своем новом произведении,—были письма от американских квакеров. В письмах этих, выражая свое сочувствие моим взглядам о незаконности для христианина всякого насилия и войны, квакеры сообщили мне подробности о своей так называемой секте, более 200 лет исповедующей на деле учение Христа о непротивлении злу насилием и не употреблявшей и теперь не употребляющей для защиты себя оружия».

Большою радостью было для Л. Н—ча и его единомышленников получение двух замечательных документов, присланных из Америки; оба документа были написаны 50 лет тому назад, лежали забытые и вызваны были к жизни появлением сочинения Л. Н—ча «В чем моя вера».

Первый документ был «Провозглашение основ, принятых членами общества, основанного для установления между людьми всеобщего мира».

Это провозглашение было составлено и опубликовано Гаррисоном и его друзьями в Бостоне в 1838 году. Основой этого провозглашения была та мысль, что всякое насилие как личное, так и государственное противно учению Христа и что мир может водвориться путем только отказа от употребления какого бы то ни было насилия.

Другой документ, приблизительно той же эпохи, был «Катехизис непротивления», составленный уже престарелым тогда Адином Балу, с которым Л. Н—ч еще успел вступить в письменное общение. В этом катехизисе, в форме вопросов и ответов, утверждались те же основы несовместимости насилия в какой бы то ни было форме с христианским учением.

Замечательны последние вопрос и ответ этого катехизиса; мы приведем их здесь целиком:

«Вопр. — Но когда лишь немногие будут так поступать, что станется с ними?

«Отв. — Если бы так поступал даже только один человек, а все остальные согласились распять его, то не более ли славно было бы ему умереть в торжестве непротивляющейся любви, молясь за врагов своих, чем жить, неся корону цезаря, обрызганную кровью убитых? Но один ли или тысячи людей, твердо решивших не противиться злу злом, все равно среди просвещенных ли или среди диких ближних, гораздо больше безопасны от насилия, чем те, которые полагаются на насилие. Разбойник-убийца, обманщик скорее оставит их в покое, чем тех, кто сопротивляется оружием. Взявшие меч, от меча погибнут, а ищущие мира, поступающие дружественно, безобидно, забывающие и прощающие обиды, большею частью наслаждаются миром или, если умирают, то умирают благословляемыми.

«Таким образом, если бы все соблюдали заповедь непротивления, то, очевидно, не было бы ни обиды, ни злодейства. Если бы таких было большинство, то они установили бы управление любви и доброжелательства даже над обижающими, никогда не противясь злу злом, никогда не употребляя насилия. Если бы таких людей было довольно многочисленное меньшинство, то они произвели бы такое исправительное нравственное действие на общество, что всякое жестокое наказание было бы отменено, а насилие и вражда заменились бы миром и любовью. Если бы их было только малое меньшинство, то оно редко испытывало бы что-нибудь худшее, чем презрение

мира, а мир между тем, сам того не чувствуя и не будучи за то благодарен, постоянно становился бы мудрее и лучше от этого тайного воздействия. И если бы в самом худшем случае некоторые из членов меньшинства были бы гонимы до смерти, то эти погибшие за правду оставили бы по себе свое учение, уже освященное их мученическою кровью.

«Да будет мир со всеми, кто ищет мира, и всепобеждающая любовь да будет негибнущим наследием всякой души, добровольно подчиняющейся закону Христа»:

«Не противься злу насилием».

Эти два документа и были положены Л. Н—чем в основу своего нового сочинения.

Сначала Л. Н—ч предполагал посвятить его двум вопросам, одинаково определяющим его новое миросозерцание: церковному обману и государственному насилию. Но с течением его работы его внимание всецело было поглощено вторым вопросом, чему способствовало и обилие стекавшегося материала.

Вскоре ему сообщили факты отказа от государственного насилия, происходившие среди русских сектантов, молокан, духоборов и других. Среди меннонитов, поселившихся в России, среди секты назареи, живущих в Австрии; он получил замечательное сочинение чеха Петра Хельчицкого и т. д.

Так как основным орудием государственного насилия являлось войско с введенной во всех государствах континентальной Европы общей воинской повинностью, то Л. Н—ч и сосредоточил свое внимание на этом вопросе. И первое время он говорил про свое новое писание: «Я пишу об общей воинской повинности». Но работа расширялась, а события жизни давали новый материал его критическому анализу и писание его разрослось в обширный трактат, представляющий собою могущественную критику существующего порядка жизни и дающий обширные далекие перспективы новых человеческих отношений.

Сначала Л. Н—ч отвечает своим критикам, разделяя их на светских и духовных, а затем переходит к изображению бедственности жизни современного человечества, преисполненной неразрешимых противоречий. Едва ли это не самая сильная, неотразимая часть книги. Приведем из этого описания несколько выдержек, чтобы дать понятие о его характере и силе.

«Каковы бы ни были образ мыслей и степень образования человека нашего времени, будь он образованный либерал какого бы то ни было оттенка, будь он философ какого бы то ни было толка, будь он научный человек, экономист какой бы то ни было школы, будь он необразованный, даже религиозный человек какого бы то ни было исповедания, — всякий человек нашего времени знает, что люди все имеют одинаковые права на жизнь и блага мира, что одни люди не лучше и не хуже других, что все люди равны. Всякий знает это несомненно твердо всем существом своим и вместе с тем не только видит вокруг себя деление всех людей на две касты: одну — трудящуюся, угнетенную, нуждающуся, страдающую, а другую — праздную, угнетающую и роскошествующую и веселящуюся, — не только видит, но волей или неволей с той или другой стороны принимает участие в этом отвергаемом его сознанием разделении людей и не может не страдать от сознания такого противоречия и участия в нем».

«Древний раб знал, что он раб от природы, а наш рабочий, чувствуя себя рабом, знает, что ему не надо быть рабом, и потому испытывает мучения Тантала, вечно желая и не получая того, что не только могло, но должно бы быть. Страдания для рабочих классов, происходящие от противоречия между тем, что есть и что должно бы быть, удесятеряются вытекающими из этого сознания завистью и ненавистью.

«Рабочий нашего времени, если бы даже работа его и была много легче работы древнего раба, если бы даже он добился восьмичасового дня и платы трех долларов за день, не перестанет страдать, потому что, работая вещи, которыми он не будет пользоваться, работая не для себя по своей охоте, а по нужде, для прихоти вообще роскошествующих и праздных людей и, в частности, для наживы одного богача, владетеля фабрики или завода, он знает, что все это происходит в мире, в котором

признается не только научное положение о том, что только работа есть богатство, что пользование чужими трудами есть несправедливость, незаконность, казнимая законами, но в мире, в котором исповедуется учение Христа, по которому мы все братья, и достоинство и заслуга человека только в служении ближнему, а не в пользовании им.

«Еще в большем противоречии и страдании живет человек так называемого образованного класса.

«Он знает, что все привычки, в которых он воспитан, лишение которых для него было бы мучением, все они могут удовлетворяться только мучительным, часто губительным трудом угнетенных рабочих, т.-е. самым очевидным грубым нарушением тех принципов христианства, гуманности, справедливости, даже научности (я разумею требования политической экономии), которые он исповедует. Он исповедует принципы братства, гуманности, справедливости, научности и не только живет так, что ему необходимо то угнетение рабочих, которое он отрицает, но так, что вся жизнь его есть пользование этим угнетением, и не только живет так, но и направляет свою деятельность на поддержание этого порядка вещей, прямо противоположного тому, во что он верит».

«Правящие классы по отношению рабочих находятся в положении подмявшего под себя противника и держащего его, не выпуская, не столько потому, что он не хочет выпустить его, сколько потому, что он знает, что стоит ему выпустить на мгновение подмятого, чтобы самому быть сейчас же зарезанным, потому что подмятый озлоблен и в руке его нож. И потому, будут ли они чутки или не чутки, наши богатые классы не могут наслаждаться теми благами, которые они похитили у бедных, как это делали древние, веровавшие в свое право. Вся жизнь и все наслаждения их отравлены укорами совести или страхов».

Л. Н—ч указывает далее на неопределенное, неискреннее отношение людей образованных к этим противоречиям.

Одни, менее чуткие, стараются скрыть их, другие, более чуткие, видят их, говорят о них, но придают им характер трагической, фатальной неизбежности.

Узлом всех этих противоречий служит общая воинская повинность, которая требует от человека во имя государства отречения от всего того, что дорого ему. И действительно, общая воинская повинность нужна для поддержания государства с его насилием; но нужно ли самое государство? Жертвы, приносимые человеком во имя его, так велики, что человеку, может быть, выгоднее не подчиняться ему. Но государство не выпускает свои жертвы и издавна подчиняет их себе: устрашением, подкупом, гипнотизацией и применением военной силы.

Выход из этого противоречия в принятии христианского учения:

«Стоит человеку понять свою жизнь так, как учит понимать ее христианство, т.-е. понять то, что жизнь его принадлежит не ему, его личности, не семье или государству, а Тому, Кто послал его в жизнь, понять то, что исполнять он должен поэтому не закон своей личности, семьи или государства, а ничем неограниченный закон Того, от Кого он исшел, чтобы не только почувствовать себя совершенно свободным от всякой человеческой власти, но даже перестать видеть эту власть, как нечто могущее стеснять кого-либо.

«Стоит человеку понять, что цель его жизни есть исполнение закона Бога, для того, чтобы этот закон, заменив для него все другие законы и подчинив его себе, этим самым подчинением лишил бы в его глазах все человеческие законы их обязательности и стеснительности.

«Христианин освобождается от всякой человеческой власти тем, что считает для своей жизни и жизни других божеский закон любви, вложенный в душу каждого человека и приведенный к сознанию Христом, единственным руководителем жизни своей и других людей.

«Христианин может подвергаться внешнему насилию, может быть лишен телесной свободы, может быть не свободен от своих страстей (делающий грех есть раб греха), но не может быть не свободен в том смысле, чтобы быть принужденным

какою-либо опасностью или какою-либо внешнею угрозою к совершению поступка, противного своему сознанию».

Исповедание христианства, отказ от исполнения государственного насилия есть самое страшное орудие разрушения государства, и люди, стоящие у власти, знают это и употребляют все силы на то, чтобы не давать проявляться этим, пока еще единичным вспышкам христианского неповиновения.

«Но дело зашло уже слишком далеко: правительства чувствуют уже свою беззащитность и слабость, и пробуждающиеся от усыпления люди христианского сознания уже начинают чувствовать свою силу.

«Огонь принес я на землю,—сказал Христос,—и как томлюсь, пока он не возгорится».

«И огонь этот начинает возгораться».

«Распространение христианских истин, отрицающих насилие, совершается не только одним внутренним постепенным путем познания истины пророческим чувством сознания тщеты власти и отречения отдельных людей от нее, но и другим внешним путем, при котором сразу большие массы людей низших по развитию, по одному доверию к первым принимают новую истину. Такова сила общественного сознания.

«И это всасывание людьми христианского миропонимания преобразует и самую власть, с которой, независимо от ее воли, и бессознательно от нее, происходит охристианение».

«С людьми совершается нечто подобное процессу кипения. Все люди большинства нехристианского жизнепонимания стремятся к власти и борются, достигая ее. В борьбе этой наиболее жестокие, грубые, наименее христианские элементы общества, насилуя наиболее кротких, чутких к добру, наиболее христианских людей, выступают посредством своего насилия в верхние слои общества. И тут над людьми, находящимися в этом положении, совершается то, что предсказывал Христос, говоря: «горе вам, богатым, пресыщенным, прославленным»; совершается то, что люди, находясь во власти и в обладании последствий власти — славы и богатства, доходя до известных, различных, поставленных ими самими себе в своих желаниях целей, познают тщету их и возвращаются к тому положению, из которого вышли».

Таким образом со всех сторон человечество толкается на путь спасения.

«Положение христианского человечества с его крепостями, пушками, динамитами, ружьями, тюрьмами, виселицами, церквами, фабриками, таможнями, дворцами действительно ужасно; но ведь ни крепости, ни пушки, ни ружья ни в кого сами не стреляют, тюрьмы никого сами не запирают, виселицы никого не вешают, церкви никого сами не обманывают, таможни не задерживают, дворцы и фабрики сами не строятся и себя не содержат, а все это делают люди. Если же люди поймут, что этого не надо делать, то этого ничего и не будет.

«А люди уже начинают понимать это. Если еще не все понимают это, то понимают это передовые люди, те, за которыми идут остальные. И перестать понимать то, что раз поняли передовые люди, они уже никак не могут. Понять же то, что поняли передовые, остальные люди не только не не могут, но неизбежно должны.

«Так что предсказание о том, что придет время, когда все люди будут научены Богом, разучатся воевать, перекуют мечи на орала и копья на серпы, т.-е., переводя на наш язык, все тюрьмы, крепости, казармы, дворцы, церкви останутся пустыми, и все виселицы, ружья, пушки останутся без употребления, — уже не мечта, а определенная новая форма жизни, к которой с все увеличивающейся быстротой приближается человечество.

«Но когда же это будет?

«1800 лет назад на вопрос этот Христос ответил, что конец нынешнего века, т.-е. языческого устройства мира, наступит тогда, когда (Мф. XXIV, 3—28) увеличатся до последней степени бедствия людей и вместе с тем благая весть Царства Божия, т.-е. возможность нового, не насильнического устройства жизни будет проповедана по всей земле.

«О дне же и о часе том никто не знает, только Отец мой один» (Мф. XXIV, 36), тут же говорит Христос. Ибо оно может наступить всегда, всякую минуту и тогда, когда мы не ожидаем его».

«Все, что мы можем знать, это то, что мы, составляющие человечество, должны делать и чего должны не делать для того, чтобы наступило это Царство Божие. А это мы все знаем. И стоит только каждому начать делать то, что мы должны делать, и перестать делать то, чего мы не должны делать, стоит только каждому из нас жить всем тем светом, который есть в нас, для того, чтобы тотчас же наступило то обещанное Царство Божие, к которому влечет сердце каждого человека».

На этом кончалась эта замечательная книга, когда со Л. Н—чем произошло одно из тех роковых событий, которые так много раз в его жизни открывали ему новые пути жизни или подтверждали, закрепляли раз принятое решение. Таковы были в его детстве смерть его отца и бабушки; столкновение с гувернером-французом, затем его внезапная поездка на Кавказ, перенесшая его из московских ресторанов с картами и цыганами на лоно дикой кавказской природы. Таковы были для него севастопольские ужасы, смертная казнь в Париже, смерть любимого брата и проч. Московская перепись и знакомство с городской нищетой. И такого же характера было событие, совершившееся 9 сентября 1892 года.

Я жил в это время в Бегичевке, заведуя столовыми Льва Николаевича. Мы ждали его приезда, для составления отчета за прошлый год, и в назначенный день, 9 сентября, он приехал. Я встретил его на крыльце дома, когда он выходил из экипажа. Радостная улыбка встречи остановилась на моих губах, когда я увидел взволнованное, расстроенное, мрачное лицо Л. Н—ча. Я понял, что что-нибудь случилось дорогой.

И только что Л. Н—ч взошел в дом, как, не садясь, с волнением и слезами в голосе начал рассказывать о том, что с ним произошло.

Так как он сам рассказал об этом в своей книге, то мы и приводим этот рассказ:

«На одной из железнодорожных станций поезд, на котором я ехал, съехался с экстренным поездом, везшим под предводительством губернатора войска с ружьями, боевыми патронами и розгами для истязания и убийства этих самых голодающих крестьян.

«Истязание людей розгами для приведения в исполнение решения власти, несмотря на то, что телесное наказание отменено законом 30 лет тому назад, в последнее время все чаще и чаще стало применяться в России.

«Я слыхал про это, читал даже в газетах про страшные истязания, которыми как будто хвастался нижегородский губернатор Баранов, про истязания, происходившие в Чернигове, Тамбове, Саратове, Астрахани, Орле, но ни разу мне не приходилось, как теперь, видеть людей в процессе исполнения этих дел.

«И вот я увидал воочию русских, добрых и проникнутых христианским духом людей с ружьями и розгами, едущих убивать и истязать своих голодных братьев.

«Повод, по которому они ехали, был следующий:

«В одном из имений богатого землевладельца крестьяне вырастили на общем с помещиком выгоне лес (вырастили, т.-е. оберегали во время его роста) и всегда пользовались им, и потому считали этот лес своим или, по крайней мере общим; владелец же, присвоив себе этот лес, начал рубить его. Крестьяне подали жалобу. Судья первой инстанции неправильно (я говорю неправильно со слов прокурора и губернатора, людей, которые должны знать дело) решил дело в пользу помещика. Все дальнейшие инстанции, в том числе и сенат, хотя и могли видеть, что дело решено неправильно, утвердили решение, и лес присужден помещику. Помещик начал рубить лес, но крестьяне, не могущие верить тому, чтобы такая очевидная несправедливость могла быть совершена над ними высшей властью, не покорились решению и прогнали присланных рубить лес работников, об'явив, что лес принадлежит им и они дойдут до царя, но не дадут рубить леса.

«О деле донесено в Петербург, откуда было предписано губернатору привести решение суда в исполнение. Губернатор потребовал войско. И вот солдаты, воору-

женные ружьями со штыками, боевыми патронами, кроме того с запасом розог, нарочно приготовленных для этого случая и везомых в одном из вагонов, едут приводить в исполнение это решение высшей власти».

Это самое, только с прибавлением личного непосредственного чувства только что испытанного ужасного впечатления, рассказал нам Л. Н—ч, приехав в Бегичевку. Этот случай заставил его снова переработать заключение своей книги и с новой силой утвердить то положение, что благополучие господствующего класса зиждется на насилии и страдании угнетенного, рабочего большинства. Выход из этого положения в признании истины. Только в этом человек свободен. А раз человек признал истину и сознал свое уклонение от нее, тогда он становится теми дрожжами, которые, хотя и в малом количестве, но преобразуют всю массу теста в совершенно иной вид. Только этим признанием истины устанавливается на земле Царствие Божие и внутри и вне человека.

Эта книга произвела сильное впечатление на всех, кто познакомился с ней.

Выражая собою антигосударственную сторону учения Христа, она вызвала большую тревогу в административных сферах. Печатать в России ее и не пытались. Ее стали переписывать и гектографировать. В это время вошли в употребление пишущие машины, которые облегчали как самую переписку, так и чтение рукописи.

И книга эта стала быстро распространяться, а по ее следам шли жандармы с обысками, нередко кончавшимися арестами и ссылками хранителей и распространителей этой книги. Было сделано строгое распоряжение о непропуске заграничных изданий этой книги как на русском, так и на иностранных языках.

Так как в этой книге Л. Н—ч касается современного государственного строя и относится к нему весьма отрицательно, то именно эта книга и послужила первым поводом к причислению Л. Н—ча к анархистам, что с известными оговорками должно признать справедливым. Но дело в том, что анархизм Л. Н—ч, т.-е. отрицание насильственного устройства и власти, основано на том положении, что человек, духовно возродившийся, усвоивший себе христианское учение, носит в себе самом непарушимый божественный закон любви и правды, который уже не нуждается в подкреплении человеческими законами. И потому анархизм Л. Н—ча ведет не к беспорядку и распущенности, а к высшему нравственному порядку и праведной жизни.

Преследования единомышленников Л. Н—ча начались еще до появления этой книги, как только взгляды Л. Н—ча стали проникать в народ. Это отчасти совпало с голодными годами. Во-первых, шум, поднятый «Московскими Ведомостями» вокруг имени Л. Н—ча, по поводу выдержек из его статей о голоде, в которых «Московские Ведомости» усмотрели призыв к бунту, заставил администрацию быть настороже. До Льва Николаевича дошли слухи из придворных сфер, что когда император Александр III велел прекратить дело о Льве Николаевиче словами: «je ne veux pas ajouter à sa gloire la souronne d'un martyre» [1]), то Победоносцев заявил, что так как государь не велел трогать самого Толстого, то мерой борьбы с ним будет преследование его единомышленников и друзей.

И действительно, эти преследования начались. Во время голодных годов авторитет Л. Н—ча в народе сильно возрос, к его словам стали прислушиваться сектанты и очень легко усваивать его антицерковные и антигосударственные взгляды.

Несмотря на то, что издания «Посредника» проходили строгую правительственную цензуру, уже одним отрицательным своим качеством, игнорированием церковного авторитета, они приобретали в глазах сектантов значительное влияние, а своей проповедью любви и взаимопомощи, трезвости и трудолюбия, изложением древнегреческой мудрости, они приобрели среди сектантов разных толков значительный авторитет и в некоторых уже установившихся сектах вызвали новое, рационалистическое нравственно-общественное течение. Таково было движение мадо-штундистов и духоборцев-постников; к этому последнему движению мы еще вернемся, когда будем излагать события, связанные с духоборческим движением.

---

[1]) Я не хочу прибавлять к его славе «мученический венец».

Одним из центров младо-штундистского движения была Харьковская губерния, преимущественно Сумский уезд. Одним из деятелей этого движения был князь Дмитрий Александрович Хилков.

Воспитанник пажеского корпуса лейб-гусарский, а потом казачий офицер, богатый помещик, он геройски участвовал в русско-турецкой войне, в Закавказье. Отчасти знакомство с духоборцами, отчасти личное столкновение с лицом смерти заставило Хилкова задуматься над иным решением нравственно-общественных вопросов жизни; он оставил службу и поселился на своем хуторе Харьковской губернии. Большое количество земли, доставшееся ему от матери, он передал безземельным крестьянам, оставшись с одним крестьянским наделом в семь десятин, на которых он хозяйничал в течение нескольких лет. Авторитет его среди местных крестьян был, конечно, необыкновенно велик. Получив из-за границы сочинения Л. Н—ча «В чем моя вера?» на французском языке и увидав из этой книги сходство своих взглядов со Л. Н—чем Толстым, он стал деятельным распространителем их в народе. Отпадения от церкви стали учащаться вокруг него, и он был вскоре обвинен в распространении штунды, т.-е. секты, признанной синодом особенно вредной.

Его сослали на Кавказ и поселили сначала в Башкичете, Тифлисской губернии. Там он, конечно, тотчас же обратил на себя внимание местных сектантов-духоборцев и молокан и, обвиненный в пропаганде среди них толстовства, был передвинут в глухой армяно-татарский город Нуху, Елизаветпольской губернии.

Ссылка Хилкова на Кавказ из его имения Харьковской губернии состоялась в январе 1892 года.

Конечно, администрация не ограничилась ссылкой одного Хилкова. В октябре того же года Л. Н—ч между прочим писал мне:

«Получены письма от Мит. Алехина и Бодянского. Они оба были взяты и посажены в тюрьму и по этапу препровождены Митр. в Полтаву, кажется, а Бодянский еще сидит в Белгороде, кажется, и его ссылают на 5 лет в Закавказье. За что, я не знаю. Я отвечал им в Полтаву».

Потом последовали высылки Дудченко, Прокопенки и других.

Конечно, этими передвижениями людей, искренно преданных своей идее, немудрое правительство только сеяло те самые идеи, с которыми боролось и усиливало авторитет их носителей. Таков непреложный закон борьбы с тем, что «от Бога», как говорил когда-то евангельский Никодим.

И это рассеивание правительством новых идей привело к важным событиям в жизни русского народа.

ГЛАВА 16-я.

Окончание кормления голодающих. «Посредник» в Москве.

В 1893 году помощь голодающим продолжалась. К весне у нас было уже около 100 столовых.

Л. Н—ч приезжал в Бегичевку навестить нас, работавших там, и, конечно, его приезд ободрял нас и вливал новую энергию для продолжения этого далеко не легкого дела.

В первый раз в этом году он приехал в феврале. Он приехал с дочерьми, Татьяной и Марьей Львовной и был необыкновенно ясен и бодр. Веселость его доходила до шалостей. Так в один вечер он стал прыгать в общей комнате, где собрались около него все тогдашние сотрудники. Вдруг он, подойдя к небольшому, круглому, старому столу, предложил на пари, кто может прыгнуть с места на стол обеими ногами и встать, удержавшись, на ноги. Кто-то из присутствовавших молодых людей принял пари. Лев Ник. решил начать первый, подошел к столу вплотную, присел, оттолкнулся и вспрыгнул на стол. Но ножки у стола были уже, вероятно, гни-

лые, не выдержали и подломились и Л. Н—чу не удалось встать, он вместе со столом свалился на пол. Его добродушный хохот, с которым он поднялся, скоро успокоил бросившихся к нему на помощь, и его веселье заразило всех. Л. Н—ч только очень пожалел, что причинил убыток хозяевам и очень извинялся перед ними.

Вот два отзыва из его писем к Софье Андреевне, указывающих на его бодрое настроение и дающих некоторое понятие о его тогдашней деятельности:

«Отчет напишу здесь, и если успею, рассказ, который я обещал в сборник для переселенцев. Вчера написал много писем. Читал хорошую, и мне интересную, русскую, о Руссо. Теперь читаю скверную повесть Потапенки. Очень хочется хорошей погоды и дороги. Тогда скоро все об'ездим и вернемся.

«Петр Васил. почует около меня и почью хранит. А я, чтобы прекратить его храп — свищу. Нынче Марья Кирилловна слышала свист и верно думала, что домовой. Живем мы все так же: обедаем в час, ужинаем в 8. Пища прекрасная» [1]).

«Очень досадно, что нельзя помогать дровами, которые ужасно нужны. Нынче напишу к Писареву, прося его уступить нам из его излишних запасов. К Сопоцько приехали два помощника. К Философовым приехала их помощница, кажется, деловитая девица. Вчера приехал Цингер, Иван, и предлагает свои услуги. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался на весну (на место Поши), главное, потому, что он Раевским свой человек, но боюсь, что он слишком молод.

«Вчера читал «Прощение» — «Pater» Coppée, и Таня стала подбивать всех сыграть это для крестьян, и они читали это вслух, разобрав роли: Шарапова, ее приятельница, Таня, Поша, Цингер. Но, кажется, ничего из этого не выйдет.

«Я встаю рано, в 7, в 8 пью кофе и с ½9-го до 1 и более — усердно работаю, потом обедаю, потом еду, куда нужно, возвращаюсь к 6. В 8 ужинаем, часто девочки затевают экстренный чай. Таня рисует, читаем, пишем письма, беседуем. Я чувствую себя очень хорошо» [2]).

Спектакль наш действительно не состоялся. Но мы рады были слышать отзыв Л. Н—ча о произведении Коппэ «Отче наш», в прекрасном переводе Барыковой. Смысл ее — прощение врага. Л. Н—ч очень ценил эту вещь.

Но сквозь эту веселость и бодрость Л. Н—ча в нем проглядывало часто сознание того ужасного положения, в котором находился окружающий его рабочий, крестьянский люд. Тяжелое сознание это часто проявлялось в письмах Л. Н—ча к друзьям. Так, он писал из Бегичевки молодому Ге:

«Положение очень тяжелое в народе, но как чахоточный, на которого страшно взглянуть со стороны, сам не видит своей исчахлости, так и народ. То же я испытывал в Севастополе на войне. Все говорили: ужасы, ужасы. А приехали, никаких ужасов нет, а живут люди, ходят, говорят, смеются, едят. Только и разница, что их убивают. То же и здесь. Только разница, что чаще мрут. А этого не видно».

Конечно, он в то же время поддерживал сношения со своими многочисленными корреспондентами, ободряя и направляя их жизнь своими советами.

Было около него тогда много молодых сил, одушевленных желанием деятельности, и многие из них оставались без приложения. Вот одному из таких друзей, жаждавших приложения сил, Л. Н—ч писал между прочим следующее:

«Вопрос ваш о том, как и куда лучше употребить свои силы, был бы очень труден, если бы требовалось дать на него одно безошибочное решение; но решений его может быть столько же, сколько предположений, и все могут быть, и даже наверное будут ошибочны, как и все, что делают люди.

«Да! обрывать одну путу и затягивать другую, и так до гроба, и с тем умереть. И скажу вам, что думаю, вкупе: такова жизнь, — прекрасная, дарованная нам одним жизнь. И так точно жили и живут все лучшие люди, и так жил Христос, и так завещал жить нам.

---

[1]) Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910 г.г. Под ред. А. Е. Грузинского. Стр. 442—443.

[2]) Там же, стр. 444.

«Прекрасна жизнь эта тем, что, во-первых, обрывая одну путу, более связывающую и более крепкую, тем идешь вперед к освобождению, — и в этом радость.

«Но не в этом все дело, и оглядываться на это нехорошо и не должно. Главное в том, что за одно с этим обрыванием пут и медленным задерживанием движения, чувствуешь, что этим самым, своим личным умом делаешь другое дело, — дело установления Царства Божия на земле. И лучше такой жизни я ничего не желаю и не придумаю желать» [1]).

Л. Н—ч пробыл в Бегичевке дней 10. Видно по письмам, что часто его намерению поехать куда-нибудь для осмотра столовых мешали метели, эту зиму необыкновенно сильные. Были рассказы о замерзших, занесенных снегом. Эти метели и эти рассказы навели Л. Н—ча на мысль написать рассказ «Хозяин и работник», который он и закончил в следующем году.

Он проехал на неделю в Ясную и в начале марта был уже в Москве.

Оттуда он пишет Черткову письмо, в котором дает новое интересное резюме христианства, о чем его просил его друг.

«В кратчайшей форме смысл учения Христа:

«Жизнь моя — не моя — не может иметь целью мое благо, а Того, Кто послал меня; и цель ее — исполнение Его дела. И только через исполнение Его дела я могу получить благо.

«Вы это знаете; но для меня это так важно, так радостно, что я рад всякому случаю повторять это» [2]).

Весь март и апрель Л. Н—ч прожил в Москве, занятый, главным образом, окончанием своей книги «Царство Божие внутри вас». Он так был погружен в это дело, что за это время имеется очень мало его писем. Он писал свою книгу с таким увлечением и страстностью, что за это время запустил работу в других областях своей жизни, особенно в области семейных обязанностей и в области нравственной работы над самим собой. И вот, когда он отослал последние листы этой книги переводчикам, когда вместо этого всепоглощающего литературного труда осталось пустое место, сознание упущений в других областях его жизни предстало ему во всей своей силе, и он ужаснулся. Этот ужас перед тем, что он по своей жизни так далек от того идеала, который он так ярко освещает в своих произведениях, и мысль о том, что самое писание мешает его движению к идеалу, прекрасно выражается в письме к его молодому другу, Николаю Николаевичу Ге, сыну художника, откуда мы и делаем несколько значительную выписку. Письмо это написано в половине мая 1893 года. Л. Н—ч был тогда в Москве, а молодой Ге жил тогда вблизи своего отца, на хуторе в Черниговской губернии и занимался крестьянскими работами.

«...Заключение свое кончил и послал и, как человек, уткнувшийся в одну точку и не видевший ничего кругом, оглянулся и возмутился и унывал. Сколько ошибок сделано мною и непоправимых и вредных для детей, соблазняющих их. И как я был и продолжаю быть плох—слаб. Дорожите, милый друг, своим положением, цените его. Если вам кажется иногда, что вы стоите, то это оттого, что вы слишком ровно течете туда, куда надо. Какой след оставит ваша жизнь, когда, где? не знаю. Но добрая жизнь оставит большой добрый след, и чем наземетнее он вам, тем вернее то, что он есть. А я так знаю, что жизнь моя дурная, вижу вредный след, который она оставит, и не переставая страдаю. Может быть, страдание оставит след. Дай Бог, от этого я не плачусь на него. Очень уже многого от меня требуется теперь после всех сделанных мною ошибок: требуется, чтобы я жил постоянно противно своей совести, подавал примеры дурной жизни, лжи и слышал бы и читал

---

[1]) Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого. Том XXII. Под ред и с примечаниями П. И. Бирюкова. Стр. 123.

[2]) Архив В. Г. Черткова.

восхваления за свою добрую жизнь. Единственное утешение, единственная радость жизни для меня теперь только в том, чтобы знать, что, живя так, как я живу, я исполняю волю пославшего меня. Но это говорить легко, а делать трудно» [1]).

В мае Л. Н—ч опять посетил Бегичевку. Вот как он мотивирует свое посещение в письме к Черткову, накануне от'езда:

«Вы знаете, вероятно, что Миша и Лева уехали в Самару. Мы же с Таней едем завтра, 21, в Бегичевку, где пробудем около недели. Там все раз'ехались, а помощь продолжается, и я боюсь, что там путаница. Надо быть там и постараться довести до конца это мучительное и соблазнительное дело».

Меня и некоторых сотрудников тогда действительно не было в Бегичевке. Я уехал оттуда на время отчасти по своим личным делам, отчасти для того, чтобы проводить в больницу заболевшую сыпным тифом Павлу Николаевну Шарапову, впоследствии ставшую моей женой, а тогда ухаживавшую за больными сыпным тифом в Бегичевке. Во вторую голодную зиму эпидемия приняла угрожающие размеры. П. Н. Шарапова вскоре выздоровела и в течение лета снова заведывала тифозным бараком.

Л. Н—ч пробыл в Бегичевке недолго и вернулся в Ясную. Оттуда он пишет интересное письмо своему другу Евг. Ив. Попову, помогавшему ему в переписке его последнего сочинения. В письме к нему Л. Н—ч высказывает свое отношение к нелегальной пропаганде его произведений, запрещенных русской цензурой. Он высказывает это по поводу того, что некий Д. Р. Кудрявцев издавал на свой счет гектографическим способом эти сочинения и распространял бесплатно между своими друзьями. Узнав, что Л. Н—ч окончил новое произведение, он тотчас же обратился к нему, прося прислать ему копию для издания. Ответ свой Л. Н—ч изложил в письме к Е. И. Попову в следующих выражениях:

«...Распечатываю письмо, чтобы дополнить ответ мой на ваш вопрос: можно ли передать статью Кудрявцеву? Я как будто уклоняюсь от прямого ответа, говоря, что я не имею ничего против распространения этого писания. Сущность моей мысли та, что я писал и пишу для того, чтобы сообщать мои мысли людям, и потому желаю наибольшего распространения их, и потому никогда и никому не отказываю в сообщении того, что мною написано (я даже не знаю, хорошо ли делали мы, не сообщая всем желающим знать во время писания), но желаю в этом отношении поступать открыто, т.-е. читать, говорить, давать переписывать, печатать открыто в русских типографиях, как я это сделал с «В. Ч. М. В.» (если я это не делаю теперь, то только потому, что это, очевидно, совершенно непроизводительная трата труда) и печатать за границей в подлиннике и в переводах, но не желаю ничего делать скрывая, так, чтобы быть вынужденным говорить неправду. Так что если бы меня допрашивали и я счел бы нужным отвечать, чтобы я мог сказать вполне правду, именно то, что я писал для того, чтобы сообщать мои мысли людям и потому, как никогда не скрывал своих мыслей в разговоре, так не препятствовал и не препятствую распространению их в списках или в книгах, а напротив, содействую этому, когда имею возможность. И считаю себя обязанным так поступать и так всегда и буду поступать».

В тот же день он делает замечательную запись в своем дневнике, которую мы и приводим в извлечении наиболее значительных мыслей:

«Говорят: существующее разумно. Напротив, все, что есть, то всегда неразумно. Разумно только то, чего нет, — что рассудители называют фантазией.

«Если бы то, что есть, было бы разумно, не было бы жизни; и точно так же ее не было бы, если бы не было бы разумно то, чего нет (т.-е. идеала).

«Жизнь есть только вечное движение от неразумного к разумному».

---

[1]) Архив Черткова.

«Говорят: все существующее разумно.

«Неправда. Напротив: все существующее, если под существующим разуметь видимый и осязаемый мир, — не разумно.

«Если бы существующее было разумно, мы бы не признавали его существующим: мы бы не сознавали своей жизни, если бы не сознавали несоответствия ее с идеалом разума и не работали для уничтожения этого несоответствия. Мы и не сознавали жизни в утробе матери, во сне, в обмороке.

«Проявление сознания, совпадающее с проявлением жизни, есть признак поставленной нам задачи для произведения работы. Если канал прокопан, то не может быть работы и работников для прорытия канала. Если есть работники, т.-е. работающие люди, то, очевидно, есть дело, которое нужно делать. Точно так же, если есть жизнь, то есть дело жизни, которое должно быть сделано. И живущие делают это дело. И если в мире есть дело, которое нужно делать, то, очевидно, мир несовершенен, а есть представление о возможности его большего совершенства.

«Можно сказать, что разумно копать колодезь или пруд там, где нет воды, или сажать лес или убирать нечистоты, или удобрять поле, или учить детей и т. п., но нельзя сказать, что разумно жить без воды, без леса, среди нечистоты и невежественных детей. Точно также можно сказать, что разумно совершенствовать себя и мир, но нельзя сказать, что мы и мир разумны».

«Человек вносит разумность в мир природы, уничтожая неразумную борьбу и трату. Но деятельность эта вне себя, далекая, только отраженная. Человек только рассудком видит это неразумие.

«Неразумие же своей жизни он не только видит рассудком, но чувствует сердцем, как противное любви, и всем существом. И в этом приведении неразумного в своей жизни к разумному состоит его жизнь.

«Очень важно тут то, что неразумие в природе познается рассудком, неразумие в самой жизни человеческой—сердцем (любовью) и рассудком.

«Жизнь человека в том, чтобы приводить неразумное в своей жизни к разумному. И потому для этого нужны два дела:

«1) видеть во всем ее значении неразумность жизни и не отвращать от нее внимания;

«2) сознавать во всей чистоте разумность возможной жизни.

«Сознавая всю неразумность и всегда вытекающую от нее бедственность жизни, человек невольно отвращается от нее; и с другой стороны, ясно сознавая разумность возможной жизни, человек невольно стремится к ней. Не скрывать поэтому зла неразумия и выставлять во всей ясности благо разумной жизни должно бы составлять задачу всех учителей человечества.

«Но тут-то на седалище Моисеево всегда садятся те, которые не идут к свету, потому что дела их злы; и потому всегда люди, выставляющие себя учителями, не только не стараются уяснить неразумие жизни и разумность идеала, а, напротив, скрывают неразумие жизни и подрывают доверие к разумности идеала».

Июнь месяц Л. Н—ч спокойно проводил в Ясной, за писанием статьи о Золя и Дюма. Он сообщает об этом художнику Н. Н. Ге:

«Я кончил свое, теперь бросаюсь то на то, то на другое: статью об искусстве не кончил и еще написал статью о письмах Золя и Дюма, о современном настроении умов. Мне показалось очень интересной: глупость Золя и пророческий художественный поэтический голос Дюма. Пошлю в «Северный Вестник» и в парижский журнал Жюля Симона «Revue de famille».

Вероятно, в связи с этой статьей у Л. Н—ча появляются интересные записи в дневнике. Вот некоторые из них:

17. После лаутенниса в Яснополянском саду.

Сидят слева направо: Софья Андреевна, Александра Львовна и Марья Александровна Шмидт.
Стоят: Лев Николаевич, Николай Леонидович Оболенский и Марья Львовна Толстая.

«5 июня. Только христианин ставит свою жизнь в познании и исполнении истины, и потому только один христианин свободен, потому что ничто не может помешать исповеданию истины.

«10 июня. Религия не есть то, во что верят люди, и наука не есть то, что изучают люди; а религия то, что дает смысл жизни, а наука то, что нужно знать людям».

Но самая замечательная запись этого времени сделана им 24 июня. Эта запись была, с разрешения Л. Н—ча, переписана Чертковым и издана им в виде статьи, озаглавленной им «Требования любви». Я нахожу это заглавие не совсем точным. Я бы назвал так: «Беспредельность любви». Запись эта выражает именно эту мысль. Л. Н—ч предполагает, что: «мужчина и женщина, муж и жена, брат и сестра и т. д. переселились из города в деревню, сбросив с себя все городские привилегии и с самыми скромными средствами, ими самими зарабатываемыми, решили помогать окружающим людям всем, чем можно, признав в них своих братьев и сестер. Втягиваясь в эту помощь, они, не видя предела жертвы, сами становятся этой жертвой и им предстоит гибель от нужды, нечистоты, заразы, которых они не в силах были отогнать от себя. Пойти на эту жизнь их побудила искренняя любовь к людям-братьям. И вот эта любовь приводит их к гибели. Такие случаи нередки. И многие люди пугаются этого и идут назад, заменяя деятельную любовь любовью рассудочной, деятельностью просвещения, борьбой с насилием, производящим неравенство, и иногда до того удаляются от первоначально избранного пути, что нарушают самый принцип любви и с насилием начинают бороться тоже насилием, заменяя таким образом одно зло другим, ему подобным. Имея в виду просвещение, они сеют тьму. На самом деле деятельность любви не так страшна, и если на пути ее встречается смерть, то не чаще, чем на всяком ином пути человека, подверженного всевозможным внешним влияниям. Но деятельность любви может быть только тогда плодотворна, когда она бесстрашна.

«Только та любовь — любовь, для которой нет конца жертвам до самой смерти», так заключает Л. Н—ч свою запись.

В начале июля Л. Н—ч снова приезжает в Бегичевку, на этот раз уже для окончательной ликвидации дела. Урожай ожидался средний, была надежда на поправку крестьянского хозяйства, на заработки. С другой стороны, истощались последние средства и притока их более не предвиделось.

Приехал Л. Н—ч 11 июля в Бегичевку вечером. Со следующего же дня он начинает об'езд всех столовых, распределяя оставшиеся средства.

Пробыв в Бегичевке дней 8, он пишет Софье Андреевне:

«Вот и прошли наши 10 дней. Остается 2 дня; и я не видал, как прошли: утром пишу, поправляю по-русски и по-французски статью о Золя и Дюма, а вечером езжу. Вчера только не успел, помешали гости. Самарин снимал фотографии, а я прочел ему статью. Потом приехали: Писарева, Долгорукова Лидия и Бобринская. Я поехал, было, на Осиновую гору, это 13 верст, но не доехал, вернулся. Нынче тоже. Очень жарко; я даже не купаюсь, а то прилив к голове. Вечером ездил верхом на Осиновую гору и Прудки Осни. Везде нужно и для народа, пасилу доживающего до нови, и для жалких заморышей-детей. Денег казалось много, а не только все разместятся — чуть достанет» [1]).

Статья о Золя и Дюма, о которой мы уже упомянули и которую он назвал «Неделанне», была замечательна тем, что Л. Н—ч писал ее сразу на двух языках, по-русски и по-французски.

[1]) Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910 г.г. Под редакцией А. Е. Грузинского. Стр. 449—450.

Статья «Неделание» написана была по поводу речи Золя, проповедывавшего «труд», не давая смысла жизни и цели труда, и письма Дюма, в котором он утверждает о необходимости религиозного сознания братства и любви между всеми людьми. В этой статье Л. Н—ч указывает на то, что труд не может быть целью, что он есть только неизбежное условие жизни. Если же человек не знает истинного смысла жизни, не знает, куда ему итти и что делать, то ему лучше, находясь в «неделании», обдумать свою жизнь, отыскать смысл ее, и тогда всякий труд его будет производителен и свят.

В это же время Л. Н—ч обдумывал новое художественное произведение. В начале июля он пишет Черткову:

«Писать ни за что не взялся. В статье об искусстве написал и запутался. И теперь в мыслях больше занятия художественные, именно: «Кто прав?». Дети богатых среди голодающих. Очень мне нравится. Но не пишу. Третий день кошу и с большим удовольствием».

В свой последний приезд в Бегичевку Л. Н—ч много интересного записал в своем дневнике. Приводим здесь наиболее значительное:

«Есть четыре (кажется, 4) разные миросозерцания.

«1) То, что человек приходит в мир, как бы человек пришел на завод, в котором он, не обращая внимания, что и зачем делается на заводе, останавливая, портя и ломая все, устроенное на заводе, устраивает себе наиприятнейшую жизнь на этом заводе.

«Это делают всегда все дети и наивные, эгоистичные люди. Таких людей много: они ищут счастья в ущерб заводу и, переломав и перепортив многое, очень скоро видят, что счастья нет. Это самые обыкновенные люди, и почти все люди проходят через это миросозерцание.

«2) То, что человек начинает видеть, что завод есть завод, на котором нечто определенное делается, — что все на этом заводе хорошо устроено, но только ему на заводе нет места. Блестящие колеса вертятся, ремни ходят, что-то лезет, соединяется. Но все это только мешает ему. И он начинает думать, что, если хозяин, который его сюда послал, так хорошо все устроил и не дал ему тут места (как ему кажется), то, вероятно, это сделано потому, что его назначение в другом месте и в другом учреждении.

«Это люди, признающие здешнюю жизнь приготовлением, испытанием для другой жизни, или испорченною жизнью падением, грехом, как это понимают церковные люди. Все тут хорошо. «И равнодушная природа красою вечною спять»; но назначение человека не здесь, а там, в «au delà».

«3) Миросозерцание то, по которому люди, видя эту неустанную работу, и не нужную для них, не дающую им счастья, признают эту жизнь всю злом и считают самым разумным и желательным для себя делом освобождение от нее, уничтожение своей всякой жизни (пессимизм, буддизм).

«4) То, при котором человек, увидав себя в середине этой творящейся со всех сторон работы, понимает, что, если все и все работают, то и он должен принимать в ней участие и найти себе свое место для работы.

«И стоит человеку понять это, как тотчас же ему станет ясно, что и как ему делать. И, начав это делать, он достигнет и того, чего искали первые, т.-е. наибольшего личного счастья, и то, что счастье это не там, «au delà», как думают вторые, а здесь, в исполнении предназначенного дела. И увидит, что жизнь не есть зло, как это думают третьи, а благо не только личное, т.-е. ограниченное пространством и временем, как то, которого ищут первые, а благо бесконечное и вечное. И это благо он будет чувствовать больше или меньше, смотря по тому, что он будет делать хозяйское неохотно, как раб, или охотно, как участник дела хозяина».

В августе Л. Н—ч получил письмо от своего друга Н. Н. Страхова, лечившегося за границей, в Эмсе. К сожалению, у нас нет письма Л. Н—ча, на которое оно слу-

жит ответом, но по этому ответному письму можно себе представить, в каком настроении написано то, и потому мы выписываем ту часть письма, которая относится прямо ко Л. Н—чу.

«Ваше письмо, бесценный Лев Николаевич, полученное мною в Эмсе, не дает мне покою. Беспрестанно о нем думаю (тут что же делать, как не думать?) и много раз собирался отвечать, вчера затеял длинное письмо, начал и бросил: слишком высокий тон, на который я, кажется, не имею права. Меня поразило то, что Вы в дурном духе, как Вы пишите. Человек, на которого обращено столько любви, со всех сторон! Почему Вы называете Ваше дело в Бегичевке *глупым?* Почему Вы не верите действию Вашей книги? Я верю, что она будет иметь большое действие. Рано или поздно люди перестанут считать честью приготовление к убийству. Государство старалось облагородить военную службу; оно обратило ее в гражданскую обязанность, которую все должны нести одинаково. Этого не должно быть и не будет!

«Но у меня толпится слишком много мыслей, которые все хотелось бы Вам высказать. И об Розанове, и об славянофилах, и о науках и искусствах, — обо всем хотелось бы поговорить. В Ваших мыслях всегда для меня есть поучение, и особенно, когда они идут против моих мыслей. В Эмсе я много занимался Вами. Там я купил и даже переплел две Ваших книжки: *Крейцерову сонату* и *Критику догматического богословия*. Я их читал и перечитывал; в *Критике*, которую я едва помнил, я нашел удивительные вещи. Во-первых, я понял направление, — истинно философские требования, обращенные к Макарию, жалкому и типическому представителю нашей богословской премудрости. Во-вторых, есть отдельные места и выражения — несравненные. Одно из них прямо из моего сердца: «Я залез,—пишете Вы,—в какое-то смрадное болото, вызывающее во мне только те самые чувства, *которых я боюсь более всего: отвращения, злобы и негодования*» (стр. 103). Как сильно и ясно сказано! Да, я истинно боюсь этих чувств, и потому, как Ваш Платон Каратаев, стараюсь везде отыскивать *благообразие;* я стараюсь всеми силами найти хоть каплю благообразия в том, что около меня делается и существует. Стараюсь понять, простить, а главное — стараюсь не пропустить того добра, которое смешано со злом» [1]).

Запись дневника того времени дает нам чудную картину осени:

«14 августа. Голубая дымка, роса, как пролита (?) на траве, на кустах и деревьях на сажень высоты. Яблони развисли от тяжести. Из шалаша пахучий дымок свежего хвороста. А там, в ярко-желтом поле уже высыхает роса на желтой овсяной жатве, и работа — вяжут, возят, косят, и на лиловой полоске пашут. Везде по дорогам и на суках деревьев зацепившиеся, выдернутые, сломанные колосья. В росистом цветнике пестрые девочки, тихо напевая, полят. Лакеи хлопочат в фартуках. Комнатая собака греется на солнце.

«Господа еще не вставали».

Около того же времени Л. Н—ч получил от немецкого философа Гижицкого, редактора журнала «Etische Kultur», запрос, на который Л. Н—ч ответил статьей «О религии и нравственности». В начале сентября он пишет жене Черткова:

«Начал было я отвечать на письмо редактора и члена общества немецкого этической культуры на присланные мне и очень хорошо поставленные вопросы: 1) что есть религия? и 2) возможна ли нравственность, независимая от религии, как я понимаю ее? И ответ мне казался важен и ясен; но не могу писать».

В этом же письме Л. Н—ч сообщает жене Черткова, что он занят обычной осенней работой: пилкой дров. Весь сентябрь и октябрь Л. Н—ч прожил в Ясной Поляне и был занят статьей «О религии и нравственности» и статьей о тульских празд-

---

[1]) Толстовский музей. Том II. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894 г.г. Стр. 446.

нествах по поводу заключения франко-русского союза. Писал много писем и 11 ноября переехали в Москву.

Из переписки его за это время чрезвычайно интересен обмен несколькими письмами со Страховым по поводу отзыва известного немецкого историка-философии, Куно-Фишера, о Л. Н—че.

Вот письмо Страхова:

«...пишу Вам по поводу замечательных отзывов об Вас Куно Фишера в его новой книге Artur Schopenhayer. Посудите сами, что он пишет:

Стр. 110. «Es ist eine sehr bemerkenswerthe Thatsache, dass zwei anerkannte und unwiderrufliche Grössen aus dem letzten Drittel unseres Jahrhunderts die Sache Schopenhauers zu der ihrigen gemacht und unter dem Bann seiner Werke gestanden haben: der berühmteste Musiker des Zeitalters (дело идет о Рихарде Вагнере) und der berühmteste Schriftsteller Russlands, der durch seine religiöse Gesinnung-und Handlungweise noch interressanter und merkwüdiger ist, als durch seine Dichtungen. Graf Leo Tolstoi, nach der Vollendung seiner militärischen und in Anfängen seiner litterarischen Laufbahn, schrieb an seinen Freund Fet-Schenschin den nachmaligen Uebersetzer des Philosophen: «Ein unwandelbares Entzücken an Schopenhauer und seine Reihe geistiger Genüsse durch ihn haben mich erfasst, wie ich sie nie bisher empfunden. Ich weiss nicht, ob ich die Meinung je ändern werde, aber gegenwärtig finde ich, dass Schopenhauer der genialste der Menschen ist. Es ist eine ganze Welt in einem unglaublich kleinen und schönen Spiegelgebilde». Noch im Jahre 1890 sei Schopenhauers Bildniss das einzige Porträt in seinem Studirzimmer gewesen» [1]).

Но еще важнее следующее место:

Стр. 123. (Показавши, что Шопенгауэр ничуть не исполнял тех учений, которые сам проповедывал, Куно Фишер говорит):

«Moral predigen ist leicht. Moral begründen ist schwer». Weit schwerer als beides ist sie verkörpern! Daher sind die ächten Werke der Religion, insbesondere Religions-Stiftungen so selten, dass selbst die Werke des Genies dagegen häufig sind. Ohne seine Heilslehre in dem eigenen Leben und Leibe zu personifiziren und dadurch in der anschaulichsten Form zu offenbaren, ist alle Moral und Religion, die man lehrt, mag man sie nun predigen oder begründen, doch am Ende nur «Wortkram». Dies ist es, was heutzutage einen Mann, wie Leo Tolstoi, vermocht hat, aus der pessimistischen Heilslehre sich zum wirklichen Heiland zu pflüchten und zu t h u n, was die Bergpredigt fordert» [2]).

---

[1]) Vgl. Grisebach VI, Seite 212, Anmrk. (Это ссылка на новое образцовое издание сочинений Шопенгауэра). Русский текст: «Замечательно, что два известные и непререкаемо великие, последней трети нашего столетия, приняли к сердцу дело Шопенгауэра и из-под проклятия возвысили его творения; это были: знаменитый музыкант нашего времени (Рихард Вагнер) и знаменитейший русский писатель, который в своем религиозном характере и деятельности еще интереснее и удивительнее, чем в своих художественных произведениях. Граф Лев Толстой, покончив со своей военной карьерой и в начале своей литературной деятельности, писал своему другу, Фету, переводчику нашего философа: «Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр—гениальнейший из людей. Это весь мир в невероятно-ясном и красивом отражении». Еще в 1890 году портрет Шопенгауэра был единственным портретом, висевшим в его рабочем кабинете».

[2]) Проповедывать мораль—легко. Обосновать ее трудно. Но еще гораздо труднее ее воплотить. Оттого-то так редки истинно-религиозные сочинения, особенно сочинения по установлению религии, даже сочинения гениев в этой области не часты. Всякая мораль и религия, которой учат, будь то проповедь или обоснование, без олицетворения ее в своей жизни и своем теле, чтобы показать ее людям в ясном образе, в конце концов обращается в пустословие. И вот это то самое, ныне живущий человек Лев Толстой, осуществил. От пессимистического учения он пришел к истинному Спасителю и стал поступать так, как того требует нагорная проповедь».

«Тут меня восхищает и Ваша слава (К. Фишер—классический и очень обдуманный писатель), и то верное направление, которое она получила. Вы поставлены образцом, и Вы действительно образец правильного отношения к нравственности и религии. Что всего удивительнее — Куно Фишер, чтобы об'яснить противоречие жизни и учения Шопенгауэра, подробно излагает мысль, что это был человек с *художественною* натурой, имевший в себе много *актерского*. Странно, что К. Ф. не вспомнил, что Вы тоже великий мастер в художестве, и что, следовательно, его об'яснение никуда не годится. У немцев сплошь и рядом встречается, что по мыслям человек очень возвышен, а по (натуре) жизни — жалкий филистер. У русских это не так, что Вы и доказываете собою.

«Ну, извините меня. Я знаю, что Вы не очень любите такие известия. Я вспоминаю, как раз я привез Вам целую пачку вырезок из газет, где упоминалось и прославлялось Ваше имя, а Вы, не читавши, бросили всю пачку в огонь. Между тем Шопенгауэр до последнего дня жизни с жадностью читал все, что о нем писалось, и все плакался, что приятели не все ему присылают, где упоминается его имя. Куно Фишер по этому случаю говорит: «Die Ruhmbegierde, soll Plato gesagt haben, ist das letzte Kleid, das man ablegt. Dieses Kleid hat Schopenhauer nie abgelegt, in und mit ihm ist er gestorben» (стр. 119) [1]).

«Разумеется, слова Куно Фишера о Вас требуют разных поправок, но я смотрю на главное. Да, может быть, и с этими известиями я тоже запоздал?

«Есть у меня еще просьба к Вам. Не пришлете ли мне Вашего *Отчета*, как он напечатан в «Русских Ведомостях»? Странно раздался Ваш голос о страданиях и горе и о любви к ближнему, когда все ликовали о приеме наших моряков во Франции. Меня очень тронули десять Ваших строк, перепечатанных из *Отчета*; вероятно, они тронули и многих других. Ваша книга *Царствие Божие* встречена тихо, но очень враждебно, как и следовало ожидать. Цензура об'явила, что это самая вредная книга из всех, которые ей когда-нибудь пришлось запрещать. О, Вы делаете чудеса, бесценный Лев Николаевич! Вы будите спящий дух, Вы один говорите *живые* слова и они неотразимо действуют. По поводу *Неделания* все встрепенулись и отозвались. На половину отзывы мне понравились, — не содержанием, а своим очень почтительным тоном; этот тон—все еще непривычная новость.

«Сам я продолжаю быть здоровым и теперь как-то растормошился, или оживился. Пишу усердно об *Истории философии* и готовлюсь писать об Шопенгауэре. (Видите, я Вас слушался!) Дай Бог Вам здоровья и сил, и светлого духа!» [2]).

Л. Н—ч отвечал ему так:

«Благодарю Вас за Ваши всегдашние добрые чувства ко мне, дорогой Николай Николаевич. Разумеется, это мне приятно, но вредно, и я знаю, как вредно. Верно говорит Куно Фишер, что это—последнее снимаемое платье. Ужасно трудно его снять. А тяготит оно ужасно. Страшно мешает свободным духовным движениям, свободному служению Богу. Как раз вместе с Вашим письмом я получил от Стасова с его обычными преувеличениями описание юбилея Григоровича, на котором будто бы чтение моего к нему письма произвело какой-то особенный эффект. И каюсь, даже это его письмо совсем расслабило меня. Хорошо то, что тут же третье письмо было анонимное, наполненное самыми жестокими обличениями моего фарисейства, и т. п.

«Сегодня читал описание брата Чайковского о болезни и смерти его знаменитого брата. Вот это чтение полезно нам: страдания, жестокие физические страдания, страх: «не смерть ли?», сомнения, надежды, внутреннее убеждение, что *она* и все-таки и при этом неперестающие страдания и истощение, притупление чувствующей способности и почти примиренье и забытье, и перед самым концом какое-то внутреннее видение, уяснение всего «так вот что» и... конец. Вот это для нас нужное, хоро-

---

[1]) «Желание славы, сказал Платон, это последняя одежда, которую скидает человек. Эту одежду Шопенгауэр не снял, в ней и с нею он умер».

[2]) Толстовский музей. Том II. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894 г.г. Стр. 451—453.

шее чтение. Не то, чтобы только об этом думать и не жить, а жить и работать, но постоянно одним глазом видя и помня ее, поощрительницу всего твердого истинного и доброго.

«Мы живем в Ясной одни с Машей и мне так хорошо, так тихо, так радостно-скучно, что не хотелось бы изменять, а, вероятно, скоро поеду в Москву. Я написал ответ немцу на вопросы о религии и нравственности и постоянно думал о Вас, желая прочесть Вам и спросить Вашего мнения».

Получив это письмо, Страхов писал между прочим Л. Н—чу:

«Ваши слова о славе и смерти очень меня тронули, и, кажется, я вполне их понимаю. Ваша слава всегда меня восхищает, как победа тех начал, которые считаю лучшими и высшими. На юбилее Григоровича чтение Вашего письма действительно было одною живою минутою восторга среди всяких формальных и искусственных чествований».

Письмо Л. Н—ча на юбилее Григоровича и, по словам Вл. Вас. Стасова, действительно произведшее необыкновенно сильное впечатление, таково:

«От всей души поздравляю Вас, дорогой Дмитрий Васильевич, Вы мне дороги и по воспоминаниям почти сорокалетних дружеских сношений, на которые за все это время ничто не бросило на малейшей тени, и в особенности по тем незабвенным впечатлениям, которые произвели на меня вместе с «Записками охотника» Тургенева Ваши первые повести.

«Помню умиление и восторг, произведенные на меня, шестнадцатилетнего мальчика, не смевшего верить себе, «Антоном-Горемыкой», бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика, нашего кормильца и—хочется сказать—учителя можно и должно описывать, не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом.

«Вот за это-то благотворное на меня влияние Ваших сочинений Вы особенно дороги мне, и — через сорок лет — от всего сердца благодарю Вас за него.

«От всей души желаю Вам того, что всегда нужно всем, но что нам, старикам, нужнее всего в мире: побольше любви от людей и к людям, без которой еще кое-как можно обойтись в молодости, но без которой жизнь в старости — одно мучение.

«Надеюсь, что празднование Вашего юбилея будет содействовать исполнению моего желания. Искренно Вас любящий Лев Толстой» [1]).

В это же время у Л. Н—ча завязываются интересные сношения с американскими сектантами — шекерами. Л. Н—ч в письме к И. Б. Фейнерману так характеризует этих людей:

«Радостны очень все более и более завязывавшиеся отношения мои с шекерами. Сегодня буду отвечать 82-летнему старцу Ивенсу, который на-днях прислал мне свою автобиографию и другие сочинения. Если бы не спиритизм и духовидство, это было бы наивысшее проявившееся осуществление учения Христа. 1) Непротивление насилием. 2) Отсутствие частной собственности. 3) Отрицание священства. 4) Равенство полов. 5) Стремление к чистоте в половом отношении.

«На вопрос мой, как они удерживают от внешних свою общую собственность, он отвечал, что они в этом отношении далеки от идеала, но стараются как можно ближе быть к нему. Я непременно переведу некоторые из его писаний. Они смешаны с суеверием спиритизма, но самого высокого духа» [2]).

Из Америки же он узнает о новом интересном движении и пишет об этом Черткову:

«На-днях я получил книгу Stockham «Koradine Letters». Это мысли о назначении женщины и духовном лечении, и в книге есть supplement, которое мне очень понравилось. «Creative Life». Мысль этой брошюры, обращенной к женщи-

---

[1]) Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого. Под редакцией и с примечаниями П. И. Бирюкова. Т. XXII. Стр. 129—130.

[2]) Там же, стр. 130.

нам, к девушкам, — но она также относится и к мужчинам, — та, что в известный период в человеке проявляется как бы сверх-обыкновенная энергия. Она называет это «creative power», — творческая сила, и человек стремится приложить ее. Половое приложение низшее. Человек, почувствовав эту силу, должен знать, что ему нужно, и он может творить, и должен тотчас же прикладывать к делу эту творческую силу: строить дом, садить сад, лес, учить, писать, делать что-нибудь новое, чего не было. Я думаю, что это правда, даже отчасти испытал это. Трудность тут для нас только в том, чтобы сбить эту творческую силу с того пути, к которому она привыкла, и наладить на новый».

Вообще за это время, отчасти от популярности деятельности Л. Н—ча во время голода, отчасти от влияния его последней книги «Царство Божие внутри вас», переводы которой стали уже распространяться, известность Л. Н—ча необыкновенно возросла за пределами России.

В это же время Л. Н—ч был избран почетным членом Русско-английского литературного общества. Получив уведомление об этом, Л. Н—ч отвечал им так:

«М. Г. Очень благодарю вас за выраженное вами желание избрать меня членом вашего общества. Я всей душой сочувствую всякому способу единения людей, независимо от политических партий, и в особенности сознательному единению духовному людей разных национальностей и государств, которое с такой быстротой и энергией совершается теперь во всем мире. Ваше общество имеет такую идею, и потому желаю ему наибольшего успеха. Очень рад буду получить более подробные сведения о его деятельности».

Эти радости или извне, своя же, русская жизнь давала мало отрадного и много горя.

В Воронежском дисциплинарном батальоне страдал и умирал Дрожжин, молодой сельский учитель, отказавшийся отбывать воинскую повинность. Этот случай дал возможность Л. Н—чу заглянуть в эти ужасные учреждения, дисциплинарные батальоны, цель которых, кажется, одна—издевательство над человеческой личностью. Мы еще вернемся к Дрожжину и к отношению к нему Л. Н—ча.

23 октября этого года русскими церковными и светскими властями было совершено необычайное злодеяние: на жившего в ссылке на Кавказе князя Дмитрия Александровича Хилкова с женой и детьми было совершено нападение и были отняты по высочайшему повелению их дети, девочка и мальчик, увезены их бабушкой в Петербург, насильно, против воли родителей, окрещены в православную веру, при содействии Ивана Кронштадтского и сделаны князьями Хилковыми.

На сообщение Л. Н—чу об этом ужасном деле он отвечал Хилкову таким письмом:

«Сейчас получил Ваше письмо, Дмитрий Александрович, и не могу притти в себя от удивления. Поступок Вашей матери для меня непостижим, особенно после тех сведений, которые я имел об ее будто бы смягчившихся чувствах к Вам и Вашей жене. Я решительно не могу понять, чем она руководится, поступая так, на основании чего она так действует и чего ожидает от своих поступков. Я пишу это для того, чтобы выразить Вам, как мне трудно, почти невозможно писать ей, решительно не зная, на что опереться. Я попытаюсь все-таки исполнить Ваше желание, но очень сомневаюсь, удастся ли мне это.

«Меня гнали и вас будут гнать». Я не могу не повторять этого сам себе и хотя мне больно, что я повторяю это о других, я все-таки не могу не видеть истинности и неизбежности этого. Ведь положение Ваше, исповедующего словом и делом учение Христа в мире, ненавидящем это учение в его настоящем значении, все равно, что положение человека, который хотел бы итти навстречу бегущей на него толпы. Он не может не быть смят. Это признак того, что он идет, куда должно. Но ужасно жалко и больно в особенности за мать, за Цецилию Владимировну. Утешаюсь тем, что Бог по силам дает испытание и что это не сломит, а укрепит ее. Кроме того я уверен, что это не может продолжиться, что они опомнятся и отдадут детей. Каких они лет? Старшему, я думаю, лет 5—6.

«Что же это значит? Хочет она, чтобы их признали кн. Хилковыми и чтобы было кому отдать состояние? Или просто желание сделать больно? Пишите, пожалуйста. Мне очень, очень близко к сердцу Ваше положение, особенно положение Ц. В.

«Одно думаю, что чем тяжелее и труднее положение, в которое Вы поставлены, тем необходимее не торопиться, не горячиться, не отдаваться чувству, а поступить по тем самым основам любви, прощения, подставления другой щеки, во имя которых изменилась Ваша жизнь и случилось с Вами все, что случилось.

«Претерпевый до конца спасен будет». Сколько раз мне случалось раскаиваться, что немного не выдержал и изменил тому, что начал. Вот тут-то нужна вера, — не вера в какую-либо метафизическую сущность, а вера в тот закон любви, который могущественнее всего и побеждает все. Помогай Вам Бог, Вам с Ц. В. иметь эту веру, и горе ее, наверно, обратится на радость. Как, я не знаю, но уверен, что так будет».

В это же время Л. Н—ч пишет матери Хилкова, бабушке этих детей, по просьбе которой эти дети были отняты от любимых ими и любивших их родителей и отданы ей:

«Княгиня Юлия Петровна! Сейчас получил письмо от вашего сына, который пишет мне о том, что вы, приехав к нему, взяли и увезли его детей, и просит меня написать вам. Я так люблю и уважаю вашего сына, что не могу оставить его просьбу без исполнения, а между тем боюсь, что этим письмом, что мне особенно тяжело, навлеку на себя ваши справедливые упреки за то, что позволяю себе писать вам о таком мучительном для него и его жены и одинаково, я уверен, мучительном и для вас деле. Было бы бессмысленно с моей стороны писать вам, матери, о страданиях матери, разлученной насильно с детьми, и о других тяжелых условиях всего этого дела, потому что я уверен, что вы все это знаете и взвесили лучше меня, и если поступили так, то имели на это какие-либо особые неизвестные причины и потому единственное, о чем я позволяю себе просить вас, это то, чтобы вы, если найдете это стоящим того, сообщили бы мне, зачем вы это сделали, чем вы были принуждены поступить так и какие вы предвидите от этого желательные последствия. Пожалуйста, не сердитесь на меня, княгиня, если я этим письмом неприятно подействовал на вас, и простите меня и или вовсе не отвечайте мне или отвечайте с тем же чувством уважения и доброжелательства, с которым я обращаюсь к вам. Между такими людьми, как вы и ваш сын и его жена, которая, сколько я знаю, вполне разделяет все мысли и чувства своего мужа, казалось бы, не может быть не только вражды, но и недоразумения, и как бы я был счастлив, если бы с вашего согласия я бы мог содействовать хотя бы сколько-нибудь раз'яснению этих недоразумений. В ожидании доброго ответа остаюсь с совершенным уважением и преданностью Л. Т.».

Много было потрачено сил на остановку этого злодеяния, на смягчение сердца княгини — ничто не помогло; дети остались у бабушки и погибли и физически и нравственно. Вся эта трагедия, вероятно, будет когда-нибудь подробно описана и тогда раскроется много темных сторон из жизни высшего петербургского общества.

Осенняя и окончательная ликвидация дела кормления голодающих вызвала во Л. Н—че желание написать отчет, в котором ему хотелось выразить несколько мыслей по поводу его деятельности за эти два года. Денежный отчет был составлен и заключением к нему должна была служить статья Л. Н—ча, но по тогдашним цензурным условиям поместить ее в газетах не оказалось возможным. Она была заменена несколькими скромными заключительными строками. Статья же разошлась в рукописи и была напечатана за границей. Только уже в посмертном издании сочинений Л. Н—ча, сделанном Софьей Андреевной, удалось напечатать эту статью.

Л. Н—ч старается показать в ней, что причины пережитого голода были не исключительные, временные, а постоянные — раз'единение привилегированного, эксплоатирующего класса и рабочего, эксплоатируемого. Помощь голодным временно сблизила и ясно открыла нам всю общественную язву нищеты и угнетения. Если

острота неурожая и миновала, но это раз'единение осталось, и нищета и угнетение тоже остались, хотя мы и удалились от них. Говоря о том, что нам, русским, легче видеть гибель наших братьев, так как у нас нет далеких колоний, поддерживающих тратой своей жизни роскошь богатых угнетателей, Л. Н—ч делает такое заключение:

«Перед правящими, нерабочими, богатыми классами только два выхода: один — не только отречься от христианства в его истинном значении, но и от всякого подобия его, — отречься от человечности, справедливости и сказать: я владею этими выгодами и преимуществами и во что бы то ни стало удержу их. Кто хочет их отнять у меня, тот будет иметь дело со мной. У меня сила в моих руках: солдаты, виселицы, тюрьмы, кнуты и казни.

«Другой выход — в том, чтобы признать свою неправду, перестать лгать, покаяться и не на словах, не грошами, теми самыми, которые с страданиями и болью отняты у народа, притти на помощь к нему, как это делалось два последние года, а в том, чтобы сломать ту искусственную преграду, которая стоит между нами и рабочими людьми, не на словах, а на деле признать их своими братьями и для этого изменить свою жизнь, отказаться от тех выгод и преимуществ, которые мы имеем, а, отказавшись от них, встать в равные условия с народом и с ним уже вместе достигнуть тех благ управления, науки, цивилизации, которые мы теперь извне, и не спрашиваясь его воли, будто бы хотим передать ему.

«Мы стоим на распутьи, и выбор неизбежен.

«Первый выход означает обречение себя на постоянную ложь, на постоянный страх того, что ложь эта будет открыта, и все-таки сознание того, что неминуемо рано или поздно мы лишимся того положения, которого мы так упорно держимся.

«Второй выход означает добровольное признание и проведение в жизнь того, что мы сами исповедуем, чего требует наше сердце и наш разум и что рано или поздно, если не нами, то другими будет исполнено, потому что только в этом отречении властвующих от своей власти — единственный возможный выход из тех мук, которыми болеет наше лжехристианское человечество. Выход только в отречении от ложного и в признании истинного христианства».

Дело преобразования и улучшения народной литературы, начатое Л. Н—чем, несмотря на целый ряд важных дел, отвлекавших его, продолжало интересовать его. Конечно, эти два пережитые голодные годы отняли много сил у Л. Н—ча и его друзей и издательское дело переживало время затишья. Центр редакционной деятельности был перенесен в имение Черткова, Ржевск, Воронежской губернии. В. Г. Черткову помогал в это время Ив. Ив. Горбунов. Целый ряд цензурных препятствий и других соображений заставил В. Г. отказаться от руководства этим делом. Когда я освободился от работы в Бегичевке, В. Г. Чертков предложил мне взять заведывание этим делом в свои руки. Так как вопрос был поставлен так, что если я не возьмусь за него, дело прекратится, то я, совершенно сознавая слабость своих сил, все-таки согласился продолжать его, и вот осенью 1893 года центр деятельности «Посредника» был перенесен в Москву. Главное руководство этим делом разделил со мною Ив. Ив. Горбунов. В. Г. Чертков, отстранившись от этого дела, посвятил свои силы специально собиранию, разработке и распространению сочинений Л. Н—ча.

Мы были счастливы тем, что участие Л. Н—ча в деле «Посредника» нисколько не уменьшилось. Напротив, техническое удобство, близость нашего местожительства, сначала к Ясной Поляне, а потом и к хамовническому дому, где Л. Н—ч проводил зиму, сделало сотрудничество Л. Н—ча почти непрерывным.

Кроме продолжения отдела народных изданий, за это время получил особое развитие начатый В. Г. Чертковым отдел «Посредника» «для интеллигентных читателей», и особенно его философская серия.

Под редакцией Л. Н—ча и при ближайшем участии его друга, профессора Н. Я. Грота, нами были изданы целый ряд книг философского содержания: «О Платоне» проф. Н. Грота; «Федон» Платона; «Основные моменты в развитии философии»

проф. Н. Я. Грота; «Декарт» Альфреда Фулье, пер. с франц.; «О компромиссе» Джон. Морлея, перевод с английского; «Из дневника Амьеля», перевод с французского («Fragments d'un journal intime») Марьи Львовны Толстой. Л. Н—ч очень много работал над этим последним переводом и написал к нему предисловие. Этот перевод и предисловие были напечатаны в журнале «Северный Вестник» и в то же время изданы отдельно «Посредником».

В дневнике того времени заметны следы этой работы. Вот что он между прочим записал:

«Главное бедствие очень культурных людей, как Амиель, это—их балласт разностороннего и особенно эстетического образования. Это больше всего мешает им знать, что они знают, как говорит Лаодзе (их болезнь). Им жалко выкинуть этот балласт, а с этим балластом они не могут уместиться на лодке христианского сознания. И им не верится, чтобы для такого простого дела, как христианское спасение, можно бы было пожертвовать таким сложным и утонченным».

Интересна также серия биографий замечательных людей, начатая «Посредником» под руководством Л. Н—ча. Одной из первых была издана «Жизнь Франциска Ассизского». Вот что говорит об этой книге Л. Н—ч в письме к Черткову:

«Еще получил прелестную книгу о Франциске Ассизском, Paul Sabbatier. Только что вышедшая книга, большая, прекрасно написанная. Это будет прелестная книга для «Посредника», только бы цензура не помешала. Я три дня ее читал и ужаснулся на свою мерзость и слабость, и хоть этим стал лучше».

Кроме того Л. Н—ч пишет целый ряд предисловий, оттеняя в них особо важное значение издаваемых книг. Таковы его предисловия к сочинениям Мопассана, к рассказам С. Т. Семенова, к книге д-ра Алексеева «О пьянстве» и пр. Все это печаталось «Посредником», который был издательским органом Л. Н—ча.

Как ни ценно было литературное сотрудничество Л. Н—ча в «Посреднике», еще большей теплотой и сердечностью веяло от него в его личных отношениях к кружку людей, собравшихся около редакции «Посредника». Как и во времена нашей петербургской деятельности, мы не закрывали дверей нашей редакции для людей, шедших к нам на огонек правды и любви, лучи которого мы, по силе возможности, старались отражать и распространять вокруг нас.

Был опять назначен тот же день, как и в Петербурге,—четверг, для собрания друзей.

Если эти собрания не горели таким жаром молодости, как собрания в Петербурге, в половине 80-х годов, то ценность их была высока тем, что на них иногда присутствовал сам Л. Н—ч.

Конечно, тогда ряды смыкались вокруг него и более смелые задавали ему вопросы. Лев Николаевич отвечал на них, а мы жадно внимали его словам.

Непростительное легкомыслие молодости помешало нам записать все эти дорогие беседы, иногда в более тесном, интимном кругу, переносившиеся и в хамовнический дом.

Но, несмотря на это легкомыслие, все-таки кое-что сохранилось. Так, забегая немного вперед, так как я говорю теперь о целом 2-х-, 3-хлетнем периоде московской деятельности «Посредника», я вспоминаю один такой четверг. Народа было тогда не особенно много. Мы сидели за чаем и беседовали. Вдруг звонок, и в открытую дверь входит Л. Н—ч, в своем старом полушубке, с запачкавшей бородой, с палочкой, и добродушно улыбается и пожимает руку бросившимся к нему навстречу друзьям.

Он входит не раздеваясь (зашел мимоходом, ненадолго) и садится в подставленное ему кресло. Мы садимся вокруг и обмениваемся с ним разного рода приветствиями. После нескольких мелких вопросов, один из присутствовавших, Михаил Аркадьевич Сопоцько, впоследствии прославившийся различными черносотенными поступками, бывший прежде революционером и на перепутьи между революцией и черной сотней приставший к «Посреднику», всегда более чем смелый в разговорах,

задает вопрос Л. Н—чу о его отношении к террористам—мученикам за свою, хотя бы и ложную идею.

Я записал в тот же вечер ответ Л. Н—ча и передаю теперь эту запись в том первоначальном виде, который носит следы непосредственного впечатления, боясь исправить теперь по ослабевшей памяти, через 20 лет.

«Мы говорим о деятельной любви, об отдании души своей за друзей своих. И вот являются такие люди, как Желябов, Кибальчич и др., проповедующие общее благо и умирающие мученической смертью за то, что они всеми доступными им средствами стремились осуществить это благо. Как относиться к таким людям, считать ли их идеальным воплощением заветов Христа, подражать ли их действиям и поступкам? К сожалению, нет, нельзя.

«Поступок человека и даже вся жизнь его должны одновременно удовлетворять двум условиям: 1) устроению царства Божия в людях или общему благу и 2) спасению души своей или требованию личного совершенства или праведной жизни. Это можно выразить таким математическим сравнением. Точка на плоскости определяется двумя координатами. Эти координаты и суть условия, которым должны удовлетворять поступки человека.

«Достоинство поступка зависит от гармонии, согласия этих координат. Идеальный поступок будет при их равенстве. Величина же их определяет и величину по-

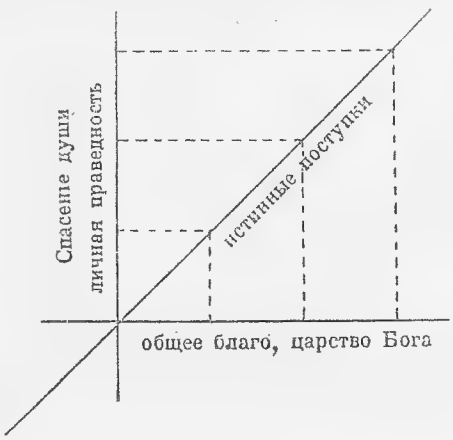


Рис. 1.

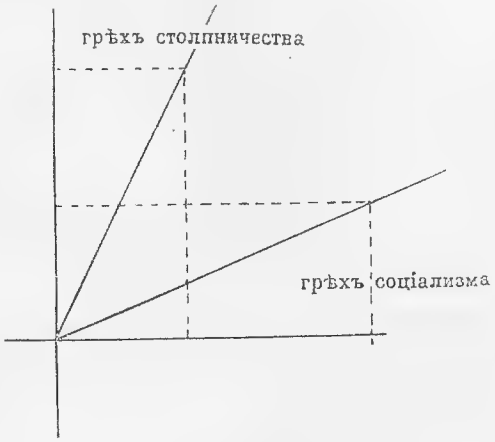


Рис. 2.

ступков, так что истинные поступки лежат на средней линии, делящей пополам угол, образуемый осями координат.

«Если же одно из этих условий или координат преобладает над другим, выходит поступок или жизнь ложные.

«Поступки, уклоняющиеся от средней линии в сторону личной праведности, могут привести человека, при полном отсутствии требования общего блага, — к столпничеству. Человек будет спасать свою душу и будет никому не нужен и жизнь его будет ложная. Человек, стремящийся к общему благу и пренебрегающий личной нравственностью, будет личными безнравственными поступками разрушать созидаемое им общее благо, и жизнь его, при этом пренебрежении нравственными основами, тем более будет удаляться, расходиться с истинною жизнью, чем сильнее будет стремление к общему благу.

«Это уклонение можно назвать грехом социализма (революции).

«Итак, поступки Желябова, Кибальчича и др. нельзя назвать истинными, потому что они пренебрегали в своем стремлении к общему благу требованиями личной нравственности, требованием своей совести, потому что совершили или готовились совер-

шить убийство, поступок, который не может быть оправдан совестью или сознанием, стремящимся к общему благу.

«Если же судить о них с общей точки зрения сочувствия или несочувствия к ним, то, разумеется, эти государственные преступники и цареубийцы, самые имена которых хотелось бы уничтожить правительству, эти люди заслуживают гораздо больше сочувствия, чем благодетельный помещик, построивший больницы на отобранные у крестьян, забитых нуждою, деньги и продолжающий отбирать их для насыщения утробы своей и своей семьи, или редактор либеральной газеты, отбирающий деньги от своих подписчиков и обманывающий их высокими словами и живущий сам низкою животною жизнью».

Видимо, этот разговор заинтересовал и Л. Н—ча, так как мы находим в его дневнике (декабрь 1894 г.) подобную запись, сделанную, быть может, с меньшею математическою точностью, но с большей художественной ясностью.

«Зашел в «Посредник», там говорили о том, что можно ли Желябова, Кибальчича признать высоко нравственными, самоотверженными людьми.

«Я сказал, что нет.

«Почему?

«Потому что поступок, обдуманно совершенный ими, был безнравственен.

«Почему?

«Потому что для того, чтобы поступок был нравственен, нужно, чтобы он удовлетворял двум условиям: чтобы он был направлен к благу людей и к личному совершенствованию.

«Поступок, чтобы быть нравственным, должен быть определен двумя положительными координатами, — быть всегда на диагонали этих координат.

«Выходит такой чертеж:

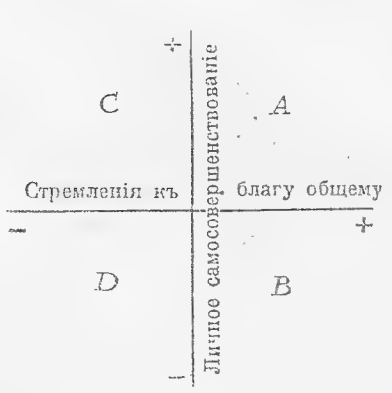


Рис. 3.

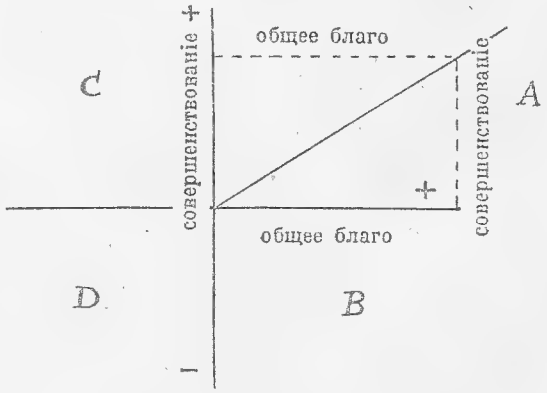


Рис. 4.

«Так что, если поступок определяется стремлением к общественному благу и личным совершенствованием, то он будет всегда в поле *a* на диагонали:

«Если же обратное, то будет в поле *d* и будет совсем дурной.

«Если же в поле *b*, то, хотя будет стремиться к общественному благу, будет лишен личного совершенствования. Таковы все поступки организаций правительственных, религиозных, 1-го марта, инквизиции.

«Если же поступок будет в поле *c*, то, хотя он будет стремиться к совершенствованию, он будет лишен стремления к общественному благу. Таковы все аскетические поступки, — стояние на столбу и т. д.».

В другой раз, не помню, раньше или после этого, говорили со Л. Н—чем о разрушительной и созидательной деятельности человека, и он высказал мысль-притчу, которую мне тогда же удалось записать.

«Жизнь состоит из двух постоянно сменяющихся и даже одновременно идущих деятельностей: творческой, созидательной и, как следствия ее деятельности,—разрушительной. Эта разрушительная деятельность только тогда законна, когда она есть неизбежное следствие первой, как в прорастающем зерне: росток просыпается к новой жизни, начинает расти, разламывает, разрывает окружающую оболочку, она сваливается и сгнивает, а росток продолжает жить новой жизнью. Разрыв скорлупы ростком не есть насилие, а только следствие творческой силы, и потому есть благо и для самого растения и для всего мира.

«Если же мы сами разорвем шелуху зерна, то мы совершим насилие, погубим растение и нарушим гармонию мира.

«И положительная борьба, дающая благо человеку, ведущему ее и всему миру— есть не что иное, как непрестанное, никем неслышимое развитие этой творческой силы.

«К сожалению, люди часто, заметив более понятное для них разрушительное следствие творческой силы, ошибочно принимают это за самую сущность борьбы и начинают усиленно и с ожесточением разрушать, разрывать оболочку зерна и всю жизнь отдают на такого рода борьбу, и последствия такой борьбы бывают ужасны».

Мне вспоминается еще мысль, выраженная Л. Н—чем в одну из наших бесед по поводу отношения умственного уровня и нравственного состояния человека. Л. Н—ч, не отрицая значения умственного уровня развития человека, придавал наибольшую важность нравственному состоянию его. И для об'яснения их взаимоотношения употребил такой геометрический образ. Нравственный человек занимает центральное положение в круге жизни, смотрит на все по радиусам и ему все представляется под правильным углом зрения. Человек безнравственный, наоборот, не находится в центре и углы зрения явлений в круге жизни у него неправильны и потому суждения его неверны. Умственное развитие на эту правильность и неправильность не имеет влияния. Его можно сравнить с высотой, на которой находится человек. Если положение его центрально, т.-е. нравственно, то человек с большим умственным развитием обладает большим кругозором, больший круг жизни доступен его наблюдению. Если его умственное развитие меньше, то и кругозор ограниченнее. Наоборот, безнравственный человек, т.-е. не находящийся в центре, как бы он ни возвышался умственно, никогда не будет иметь правильного угла зрения и суждения его будут всегда неверны.

Еще припоминается мне такая притча, рассказанная Л. Н—чем в одну из наших бесед.

Куда девать деньги, если они есть и я хочу жить, избавляясь от них? Деньги — это мякина, жизнь человека, его поведение, поступки—это чистое зерно. Когда крестьянин веет лопатой рожь, он заботится только о том, чтобы чистое зерно упадало куда надо, а мякина сама отвевается ветром и ложится в свое место. Если бы крестьянин заботился о том, куда ляжет мякина, то он разбросал бы во все стороны и мякину и зерно и все-таки зерна не очистил бы. Так и в жизни. Надо заботиться об истинных делах добра, и тогда деньги и остальное имущество займут должное место и получат настоящее употребление. Если же заботиться о том, что делать с деньгами, то и деньги пропадут, и дел добра не будет.

Наконец, третий род отношений Л. Н—ча к «Посреднику» было общение через его многочисленных посетителей, из которых некоторых, нуждавшихся, по его мнению, в поддержке, он направлял к нам. Посетители эти были самые разнообразные.

Ко Л. Н—чу являлись и молодые люди, оторванные от жизни, безнадежно искавшие смысла жизни, и, не находя его нигде, жадно прислушивались к его словам. Одни из них находили покой и радость души, а другие, неудовлетворенные, разражались

истерическими рыданиями. Некоторых из них Л. Н—ч отсылал к нам, в «Посредник» и у нас они то выражали восторг новой жизни, то выплакивали свое горе.

Приходили и старики. Помню замечательного старца, лет 70-ти, пришедшего из сибирской тайги, где он жил в тайном скиту старообрядцев странического толка. Не помню уже, каким путем он узнал о деятельности Л. Н—ча. Но очевидно было, что слух дошел и до этого тайного скита о появлении «новой веры», и старец с пытливым умом пошел пешком из Сибири искать «Толстова». Трогательно нежны были беседы двух старцев, умудренных жизнью. Л. Н—ч привел его к нам и он прожил у нас несколько дней, читая те сочинения Л. Н—ча, которые тогда нельзя было еще печатать. Узнав «новую веру» и отнесясь к ней сочувственно, старец пошел в обратный путь, в сибирскую тайгу, в тишине уединения обдумывать все, им переслушанное и перечувствованное.

Раз я вечером сидел у Л. Н—ча в хамовническом кабинете и беседовал с ним о наших общих делах. Пришел домашний слуга и доложил, что какой-то солдат желает видеть графа. Л. Н—ч просил его войти. Вскоре вошел солдат, со всей солдатской выправкой, с умным симпатичным лицом, в шинели, с башлыком, крестом перекинутым на груди, и концами, заправленными за пояс, на котором болталось какое-то оружие. Он с волнением отрекомендовался на приветствие Л. Н—ча. Это был Михаил Петрович Новиков. Он был писарем в окружном штабе. Он прочитал несколько заграничных изданий Л. Н—ча и не в силах был удержаться, чтобы не пойти, не выразить Л. Н—чу своего сочувствия; ему нужны были кроме того дальнейшие раз'яснения и советы, что делать дальше, так не соответствовала внешняя обстановка его жизни с тем внутренним, просветленным сознанием, которое зародилось в нем. Мы побеседовали втроем немного, потом, по просьбе Л. Н—ча, я повел с собою этого солдата-писаря в «Посредник», чтобы снабдить его тем материалом, которого ему недоставало. Много пришлось потом претерпеть этому человеку за свои убеждения. Он остался верен им и верен своему великому другу. Теперь он крестьянствует, содержа упорным трудом большую семью.

Характерны подробности о том, как этот солдат достал сочинения Л. Н—ча. Его брат служил лакеем у важного барина, какого-то князя, и с ним путешествовал за границей. Князь приобрел за границей запрещенные сочинения Толстого и перед от'ездом в Россию велел своему слуге все их сжечь. Но слуга уже прочел их и сжечь не решился. Он упросил горничную княгини упаковать эти книги на дне сундука с княгининым гардеробом, и так они проехали в Россию и дошли до другого брата.

Приезжали сектанты, молокане, целыми семьями, выражая свое полное сочувствие Л. Н—чу и унося с собою расширенные и укрепленные христианские религиозные взгляды. И они заходили в «Посредник», забирали книг и уносили с собою, в народ, семена нового учения.

Такова была связь Л. Н—ча с кружком его московских друзей.

Мы закончим эту главу отрывками из двух писем, написанных Л. Н—чем в конце 1893 года.

10-го декабря он написал Неплюеву, известному организатору православно-христианской школы-общины в своем имении в Черниговской губернии; получив от него письмо с выражением сочувствия, Л. Н—ч отвечал ему:

«Многоуважаемый Николай Николаевич. Я очень рад был вашему письму и тому доброму расположению, которое вы в нем выражаете мне. Поверьте, что хотя я один только раз видел вас, я знаю про вас столько хорошего, что это чувство совершенно взаимно! Но старому лгать, что богатому красть. Я очень люблю эту пословицу: она так ясно выражает часто испытываемое мною в старости чувство. Жить остается недолго, как же скрыть то, что перед Богом считаешь правдой, такой правдой, которой живешь и с которой предстанешь на суд Тому, Кто послал нас сюда. Я бы не стал вам говорить того, что считаю правдой, если бы, за что я вам очень благодарен, вы не сочли нужным высказать мне то, в чем вы несогласны со мной. Но раз

вы высказали это, с моей стороны была бы ложь промолчать. Я думаю, что учение Христа есть прежде всего учение истины, как он сам сказал это, и что поэтому все, что отдаляет нас от истины, усложняет, путает понимание ее, все это мешает нам соединиться с Христом, с Богом, а поэтому и друг с другом. В вашем же исповедании есть много лишнего, мешающего вам самим, такого, что вы с трудом можете облечь в понятную удобовоспринимаемую разумную форму. А это опасно. Я знаю и перестрадал ту страшную дилемму, которая становится перед каждым человеком, проснувшимся к религиозному чувству и начинающим устанавливать свое отношение к Богу: отделиться от людей, но не принять ничего лишнего, или остаться с людьми, но загромоздить свое понимание Бога сложными, ненужными, застилающими Бога верованиями, стараясь придать им искусственный смысл. Выбор второго выхода опасен. В деле веры нельзя удовлетвориться à peu près. Истина всегда ясна и проста. И я избрал первый выход; сначала остался один, но, как я верю, с Богом, но потом оказалось, что я не только не один, но со всеми теми людьми и прошедшего и настоящего, с которыми более всего желал единения. Боюсь же за вас того, что вы, желая остаться с людьми и для них сделав уступки, почувствуете себя одинокими, потому что сближение, единение людей только в истине, в одной любви, в одном Боге, ни в Христе, ни в Магомете, ни в Будде, а в Боге. Пожалуйста, кротко и сердечно отнеситесь к моим словам, главное, не забывайте того, что я не себя защищаю, не на вас нападаю, не имею никакого при этом личного чувства, а одну мысль, что, войдя в общение и любовное общение с искренним человеком, как вы, я поступил бы дурно, если бы не сказал того, что думаю и чувствую. Если вам покажется несправедливым все, что я сказал, простите меня, если же что-нибудь из этого пригодится вам, буду очень рад.

«Поклонитесь от меня милым технологам, которых я истинно полюбил.

«Делу вашему я сочувствую всей душой и желаю ему продолжения и успеха».

Один из технологов, о которых упоминает Л. Н—ч, посетивших его в эту осень, был Иван Степанович Проханов, в настоящее время глава и руководитель петербургской общины баптистов, другой был его товарищ.

Наконец, приведем письмо, написанное Л. Н—чем его другу художнику Н. Н. Ге. Он писал ему между прочим следующее:

«Жду вас с картиной. Бьюсь над статьей о Тулоне, т.-е. о жестокости, безбожности патриотизма и наглости обмана народа патриотизмом, которого давно уже нет и не может быть. Мне все кажется, что время конца века сего близится и наступает новый; в связи с тем, что и мой век здесь кончается и наступает новый, все хочется поторопить это наступление, сделать по крайней мере все от себя зависящее для этого наступления. И всем нам, всем людям на земле только это и есть настоящее дело. И утешительно и бодрительно то делать, делаешь что можешь, и никто не знает, ты ли или кто другой делает то, что движется. И себе никто ничего приписать не может, и всякий может думать, что от его-то усилий и движется все».

В конце этого года, на рождественских праздниках состоялся в Москве первый с'езд естествоиспытателей. На него попал и Л. Н—ч и произвел большой переполох. Вот как об этом рассказывает П. А. Сергеенко в своей книге: «Как живет и работает Л. Н. Толстой».

«Л. Н. Толстой был на докладе своего старого знакомого профессора Ц. Кто-то из присутствующих, заметив Льва Николаевича, произнес призывным шопотом: «Лев Николаевич здесь!». Слова эти молнией пронеслись по залу. Все начали оглядываться, чтобы увидеть знаменитого писателя. Лев Николаевич почувствовал, что начинается одна из тех гипнотизирующих сцен, которых он всегда избегал, и хотел незаметно ускользнуть, но было поздно.

«Огромная толпа, наполнявшая университетский зал, пришла в движение и заревела: «Лев Николаевич! Лев Николаевич!». В конце концов распорядители при-

нуждены были просить Льва Николаевича занять на эстраде почетное место. Стены дрогнули от рукоплесканий, которыми встретили естествоиспытатели великого русского писателя. Сцена эта очень расстроила Л. Н—ча, и он неохотно вспоминает о ней. Но всякое простое, безыскусственное выражение симпатий очень трогает его».

ГЛАВА 17-я.

Хилков. Дрожжин. Распятие.

Лев Николаевич проводил зиму в Москве и, как всегда, боролся и душою и телом с заливавшим его потоком городской, светской жизни. Большая, молодая, в то время вполне благополучная семья его жила веселой суетливой жизнью, по временам втягивая его в свою компанию.

Если затем не представляли какой-нибудь безумной траты денег и роскоши, то Л. Н—ч сам увлекался и радовался общему добродушному веселью.

Таков был вечер 1-го января 1894 года. Во время вечернего чая, на котором присутствовал и Лев Николаевич, разговаривая с гостями, послышался звонок, и вскоре дети с радостью об'явили, что приехали ряженые. На лице Л. Н—ча пробежала улыбка недовольства. Но двери отворились, и в залу вошло несколько почтенных, хорошо известных Москве лиц, художников, литераторов и ученых. Все были несколько удивлены и встали со своих мест, чтобы поздороваться с вошедшими. Но удивление достигло высших пределов, когда среди вошедших заметили самого Л. Н—ча в темно-серой блузе, подпоясанной ремнем, с заложенными за него пальцами, который подошел к настоящему Л. Н—чу и, протягивая ему руку, сказал: «Здравствуйте, Л. Н—ч». Два Л. Н—ча поздоровались и настоящий Л. Н—ч с недоумением рассматривал своими близорукими глазами своего двойника. Это оказался искусно загримированный его друг Лопатин. Помню, что такой же эффект произвели загримированные И. Е. Репиным, Вл. Серг. Соловьевым, А. Г. Рубинштейном и другими. Напряженное недоумение сменилось вскоре бурным весельем, среди которого слышался и громкий хохот Л. Н—ча.

Но так весело начатый новый год вскоре потребовал сильного и серьезного душевного напряжения Л. Н—ча и его друзей, чтобы перенести все волнения, выпавшие на нашу долю.

Ярко и искренно высказанный Л. Н—чем критический взгляд на государственное насилие многим открыл глаза, вызвал неповиновение и репрессии. Антицерковные взгляды Л. Н—ча и его друзей, с другой стороны, подымали тревогу среди тех, кто взял ключи царства небесного, сам не входил и других не впускал в него.

Мы уже видели, какое ужасное злодеяние было совершено с благословения этих людей: отнятие детей Хилковых. Л. Н—ч испытал последнее средство, к которому прибегал в крайних случаях. Он написал письмо государю Александру III, убеждая его отменить эту ужасную меру и возвратить детей.

Вот это письмо:

«Государь!

«Простите меня, если тон этого письма и самое обращение к Вам будут не такие, к каким Вы привыкли; простите меня и, ради Бога, прочтите это письмо без чувства предупреждения и, если возможно, с тем чувством братской любви, которое свойственно всем людям и которое одно побудило меня написать Вам.

«Над князем Дмитрием Александровичем Хилковым, отставным полковником, живущим теперь в Закавказском крае, куда он сослан за свои религиозные убеждения, и в особенности над его женой, совершено было в октябре нынешнего (теперь уже прошлого, 93-го, года) именем Вашим одно из самых жестоких и возмутительных преступлений, противных всем законам Божеским и человеческим. Из прилагае-

18. Купальня на речке Воронке близ Ясной Поляны.

мого письма, писанного не для Вас и потому не подготовленного (в котором я нарочно не изменил и не прибавил ни одного слова), Вы узнаете, в чем заключается это неслыханное в наше время по своей жестокости дело, совершавшееся, как все совершавшие его говорили, по Вашему, т.-е. высочайшему повелению. К прилагаемому письму считаю нужным прибавить только некоторые подробности о положении, характере и жизни самого Хилкова.

«Хилков единственный сын богатой семьи, служил сначала в лейб-гусарах, потом во время турецкой кампании, кажется, командовал казачьим полком. Во время этой войны ему случилось в рукопашной схватке своими руками убить турецкого офицера. Случай этот имел на него такое влияние, что он тогда же об'явил начальству, что не может продолжать более военной службы, и тотчас же после кампании вышел в отставку, убедившись в том, что христианство, которое он исповедывал, требует совсем другой жизни, чем ту, которую он вел, и поселился в деревне. В деревне он старался вести жизнь сообразную с тем представлением, которое, справедливо или нет, он составил себе от христианской жизни. Он отдал все свое, переданное ему матерью, довольно большое имение крестьянам, не оставив себе ничего, и на наемной земле своим трудом стал зарабатывать свой хлеб, и так жил около десяти лет.

«Все это я говорю для того, чтобы обратить Ваше внимание на искренность этого человека, не задумавшегося бросить ожидавшее его блестящее служебное положение и большое ожидавшее его состояние, только чтобы не лгать перед своей совестью. Лет десять тому назад он сошелся с девушкой Винер, дочерью оставного полковника и крымского помещика, женился на ней, и у него родилось от нее двое детей. Главное обвинение против него состоит в том, что он не венчался церковным браком с своей женой и не крестил своих детей, но он не сделал этого, как не делают это(го) все миллионы христиан, не признающих крещения и брака за таинство, не потому, чтобы он хотел разрушать верований православной церкви, а потому, что, как правдивый человек, он не мог исполнять обряда, в который он не верил. «Я не могу этого сделать, — говорил он при мне тем, которые убеждали его венчаться с женой и крестить детей, — не могу сделать этого, потому что если бы я пришел к священнику, прося его обвенчать меня или окрестить моих детей, и он спросил бы меня, верю ли я в то таинство, которое прошу совершить надо мной и моими детьми, я должен бы был или солгать, чего я не могу сделать, или сказать священнику правду, что я не верю в эти обряды и только для приличия требую совершения их, и тогда всякий честный священник должен бы был прогнать меня».

«Живя в деревне тяжелым земледельческим трудом, зарабатывая себе и своей семье скудное пропитание, он, бывший богатый и знатный человек, отдавший все состояние, не мог не обратить на себя внимания окружных крестьян, и они ходили к нему, прося его заступничества в своих обидах, совета в своих затруднениях и раз'яснения в своих религиозных сомнениях; и он помогал им словом, делом, советом и раз'яснением их недоумений, не скрывая от них то, что он считает открытой для блага людей божеской истиной.

«Жизнь его признана была вредной и с ним поступили так же, как, к сожалению, поступают последнее время Вашим же именем со всеми так называемыми сектантами, штундистами, т.-е. без суда приговорили его к шестилетней ссылке, и увезли его на Кавказ, где и поселили в одной из худших тамошних местностей. Как ни жестока была эта ссылка для него, семейного человека, эта ссылка, лишившая его всего того, что было устроено им годами тяжелого личного труда на прежнем месте его жительства, и переносившая его в чужую, тяжелую обстановку ссыльного, он нес спокойно свое положение, продолжая на Кавказе ту же жизнь, которую он вел и в Харьковской губернии, т.-е. зарабатывая своим трудом средства для самой воздержной жизни и помогая в его нуждах окрестному населению, которому он оказался нужен, ухаживая в прошлом году за холерными. Но гонителям его показалось этого мало, и они придумали самое ухищренное, жестокое насилие, которое только можно произвести над семейным человеком. Они, как это описывается в письме, вошли в его дом, вырвали из его рук и рук его жены ее детей в том возрасте, когда нежнее

всего бывает взаимная привязанность детей и родителей, и увезли их, зная, что он, связанный ссылкой, из которой его не выпускают, и отсутствием денег, которые он отдал, не может ни сам ехать за детьми, ни дать жене средства ехать за ними.

«И все это сделано, Государь, Вашим именем.

«Может быть, что письмо это прогневит Вас, и Вы скажете: по какому праву позволяет себе этот человек писать мне про это?

«Государь! У меня есть на это неотъемлемое право, — право, которое мы слишком часто забываем, и упоминание о котором, может быть, удивит Вас,—право это есть право моей братской любви ко всем людям и поэтому и к Вам, несмотря на те мнимые перегородки, которые разделяют Вас, Императора величайшей империи, и меня, ничтожного частного человека. Я считаю, что Вы согрешили, допустив возможность совершить такое злодейское дело Вашим именем. В Евангелии же сказано, как должны поступать люди относительно согрешивших братьев. И я поступаю так: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата своего» (Мф. 18, 15).

«Получив последнее письмо Хилкова и его жены, очевидно вызывающее меня на то, чтобы как-нибудь помог им, я был так возмущен тем, что узнал, что хотел тотчас послать описание всего этого дела в иностранные газеты. Но, перед Богом спросив себя, хорошо ли бы я сделал, поступив так, я увидал, что поступить так было бы, во-первых, неразумно, потому что никакие статьи в газетах не могут изменить решения власти, если она захочет поставить на своем; а во-вторых, и главное, то, что сделав это, я поступил бы не по-евангельски относительно Вас, и потому я решил, будет что будет, по слову евангельскому, один-на-один писать Вам, надеясь не прогневить Вас, а приобрести в Вас брата.

«(Про письмо это никто не знает, кроме одного переписчика, скромного человека, содействия которого я не мог избежать).

«Боюсь, что письмо это мое покажется Вам дерзким, в первую минуту оскорбит Вас и вызовет в Вас, что бы мне было очень больно, недоброжелательное ко мне чувство.

«Но что же мне было другого делать? Молчать мне нельзя было, совесть моя замучила бы меня. А писать Вам со всеми теми околичностями и льстивыми словами, с которыми принято обращаться к Государям, я не мог, да это было бы дурно, потому что в этих условных искусственных формах нельзя сказать всего, что нужно и добраться до сердца человека, к которому пишешь. А мне этого только и нужно, потому что я знаю, что если слова мои дойдут до Вашего сердца, то дело мое будет выиграно. И потому умоляю Вас, Государь, победите в себе чувство недоброжелательства, которое вызовет, может быть, в Вас непривычная Вам откровенность этого письма, и верьте, что руководит мной только любовь к Вам — братская, христианская любовь, которая не знает различия положений, а знает только желание добра тому, к кому она обращена.

«Вы, я думаю, так привыкли к тому, что все обращения к Вам имеют корыстную или вообще личную цель, что, получая письмо или прошение, всегда думаете: чего собственно для себя хочет этот проситель? Но мне ведь для себя ничего не нужно. Вы ничего и не можете дать мне и ничего не можете лишить меня; и то, о чем я позволяю себе просить Вас, не только для меня, но даже и для Хилкова и его семьи меньше нужно, чем для Вас. Они перенесут свои страдания и лишения легко, потому что они несут их во имя Христа, и на их стороне будут и теперь уже все лучшие люди, от немца-колониста, который готов был загнать лошадей, только бы помочь невинно страдающим людям, и полицейского, нарушающего приказ, только бы облегчить участь обиженных; все будут на их стороне, от этих малообразованных людей до всех самых высокообразованных людей мира теперешнего и будущего, которые когда-либо узнают про это дело. Вам же, Государь, не может не быть мучительно тяжело знать, какое ужасное дело сделалось Вашим именем, и на Вашей стороне никто не будет, кроме худших людей, — тех льстецов, ко-

торые готовы оправдать и даже восхвалять все, что делается не только Вами, но и Вашим именем.

«И не слушайте, ради Бога, все, что будут говорить Вам о том, будто бы есть какие-то соображения государственные и, — что особенно лживо, — соображения церковные, т.-е. христианские, по которым нужно совершать такие антихристианские поступки, как отнятие детей у матери.

«Не слушайте и не верьте тем, которые будут говорить Вам это, потому что не могут быть для человека, в каком бы положении он ни находился, — Царя, как Вы, или полицейского, как тот пристав, который вырывал у матери детей, — по которым бы мог быть принужден человек совершать поступки, противные божескому закону любви, открытому нам в писании и в нашей совести. Не может этого быть, во-первых, потому, что всякие гонения за веру, как те, которые с особенной жестокостью производят у нас последнее время, не только не достигают своей цели, но, напротив, роняют в глазах людей ту церковь, для поддержания которой совершаются нехристианские дела. Не может быть этого еще и потому, — и это главное, — что все общие государственные и церковные соображения, как бы мы ни были уверены в них, могут оказаться несправедливыми, как это постоянно и оказывается; то же, что каждый из нас всякую минуту может умереть, т.-е. вернуться к Тому, Кто, послав нас в этот мир, дал нам для исполнения один вечный и несомненный закон любви, по которому никто из нас не может и не должен быть не только совершителем, но хотя бы и самым далеким участником жестоких, недобрых, немилостивых дел, — в этом-то уже не может быть ни для кого ни малейшего сомнения.

Верьте, Государь, что все, что я написал здесь, я писал в виду того же смертного часа, который ожидает всех нас и тем более меня, стоящего уже по своим годам одной ногой в гробу,—писал перед Богом и писал с искренним уважением и с состраданием любящего брата к Вам, человеку, поставленному в одно из самых неполненных соблазнов и потому тяжелых и мучительных положений, которые только выпадают на долю человека.

Любящий Вас *Лев Толстой*».

Январь, 1894 года, Москва.

Мне пришлось участвовать в доставлении этого письма адресату.

Желая как можно меньше огласки этому письму, Л. Н—ч просил меня переписать его своей рукой и отвезти в Петербург. Передать это письмо государю Л. Н—ч решил просить графа Воронцова-Дашкова, тогдашнего министра двора. С рекомендательным письмом Л. Н—ча я добился свидания с Воронцовым, передал ему письмо Л. Н—ча, прося его исполнить его просьбу. Это было 5 января. Воронцов обещал сделать это на другой день на крещенском выходе во дворце, 6 января. Я попросил позволения зайти еще раз, чтобы узнать, исполнено ли поручение. Воронцов разрешил и когда я через два дня вновь зашел к нему, он меня позвал в кабинет и сказал: «Скажите графу Льву Николаевичу Толстому, что его письмо лично мною передано государю». Я, конечно, писал Льву Николаевичу и о ходе дела и об окончании его; на это я получил от него следующий ответ:

«Спасибо, милый друг П..., за то, что извещали меня. Все, что от вас зависело, сделано прекрасно, а что выйдет, будет зависеть от читающего письмо и от написавшего. У нас все по-старому. Только я нездоров, то была боль в груди, а теперь сильный кашель и насморк. Жена хочет ехать в пятницу дня на три в Ясную, а как скоро она вернется, уедем мы в Ясную или к Илюше. Уж очень суетно. Тратится даром остаток жизни. Что Ц. В.? Переделали ли ей прошение? Нехорошо, что она допускает возможность отнять детей и мирится на том, чтобы их отдали тетке».

Жена Хилкова, Цецилия Владимировна, мать отнятых детей, томилась в это время в Петербурге, употребляя все доступные ей средства, чтобы возвратить детей, но все было напрасно; какая-то упорная злоба вцепилась в них и не выпускала из рук.

Письмо Л. Н—ча к государю осталось без ответа. Л. Н—ч так писал об этом Черткову:

«Вы знаете, может быть, что я писал государю письмо о Хилковой и ее детях. Письмо нехорошее, из него ничего не вышло. Я не говорил про него, потому что в письме же говорил, что никто не будет знать про это письмо. Теперь Государь показал письмо Рихтеру, Рихтер рассказал другим и про это стало известно. Я жалел, что вас не было посоветоваться с вами. В тайне был только И., и он отдал письмо через Воронцова».

Так и пришлось матери уехать ни с чем, перетерпеть ужасную муку потери детей, отнятых не стихийною силою смерти, к которой сквозь горе всегда чувствуешь какое-то трепетное уважение, а грубой силой озлобленных, заблудших людей.

Конец января Л. Н—ч провел в имении своего второго сына Ильи, куда поехал погостить с своей старшей дочерью Татьяной Львовной, и в первых числах февраля переехал в Ясную Поляну.

Он уехал в деревню из Москвы, как всегда спасаясь от суеты, от множества посетителей. Эта усталость от «людей» и некоторая разочарованность в них отразились в его дневнике, где, 24-го января, он записывает такую мысль:

«Никак не отделаешься от иллюзии, что знакомство с новыми людьми даст новые знания, — что чем больше людей, тем больше ума, доброты, как чем больше вместе углей горящих, тем больше тепла. С людьми ничего подобного: все те же, всегда те же. И прежние, и теперешние, и в городе, и свои, и чужие, русские, и ирландцы и китайцы. А чем больше их вместе, тем скорее тухнут эти уголья, тем меньше в них ума, доброты».

В конце января произошло событие, новым ударом поразившее Л. Н—ча. 27 января в воронежской тюрьме скончался от чахотки, осложненной воспалением легких, Евдоким Никитич Дрожжин, бывший сельский учитель, около трех лет проведший в заключении за отказ от воинской повинности.

Событие это глубоко взволновало Л. Н—ча. Вскоре после этого Л. Н—ч писал одному из своих друзей:

«Смерть Дрожжина и отнятие детей у Хилкова суть два важнейшие события, которые призывают всех нас к большей нравственной требовательности к самим себе».

И долго еще во всех письмах к друзьям он с волнением говорит об этом.

Конечно, среди таких событий для него да и для друзей его совершенно незаметно проходят другие события, которые при иных условиях могли показаться значительными. Так, 24 января, на заседании Московского Психологического общества Л. Н—ч был избран почетным членом.

Но вот и новое большое событие, также захватившее Л. Н—ча и потрясшее его до глубины души. Событие это было—новая картина его друга-художника, Николая Николаевича Ге.

По своему обыкновению Н. Н. приготовил картину к передвижной выставке, которая открывалась в Петербурге в конце зимы. Он послал картину прямо в Москву, а сам заехал в Ясную, где Л. Н—ч жил тогда с своими дочерьми. Мне посчастливилось тоже быть тогда в Ясной, там же жила тогда Марья Александровна Шмидт, и я забыть не могу той чудной духовной атмосферы, которая связывала наш интимный кружок. Н. Н. Ге горел нетерпением «сдать свой экзамен», показать своему другу свое новое произведение. Он был весь полон им, полон огня вдохновения и поток его речи лился неудержимо, блистая чудными художественными и психологическими красотами.

Л. Н—ч был также чрезвычайно оживлен, бодр и полон всякого рода литературными проектами. Он кончил «Тулон», т.-е. статью, названную им «Христианство и патриотизм» и посвященную описанию тулонских празднеств, закрепивших основанный тогда франко-русский союз. Все ораторы, царственные особы и дипломаты,

участвовавшие в торжествах, старались доказать, что союз этот даст мир Европе. Л. Н—ч, разоблачая их тайные мысли, доказывал, что этот союз даст войну и пророчески изображал то самое, к чему этот союз привел ровно через 20 лет, т.-е. к всемирной бойне. Эти же 20 лет человечество потратило неисчислимое количество своих сил на вооружения, т.-е. на приготовление к самоуничтожению.

Разделавшись с этой статьей и отослав ее переводчикам, Л. Н—ч почувствовал непреодолимое желание художественного писания. В голове его было много проектов. Между прочим, в эти дни пребывания в Ясной Поляне Л. Н—ч в первый раз рассказывал нам легенду о старце Федоре Кузьмиче, еще долго потом занимавшую его мысли и воображение. Мне удалось записать с его слов этот первый набросок его рассказа.

Настроение Л. Н—ча в это время характеризуется записью дневника, сделанной 2 февраля. Вот что он пишет:

«Смысл жизни для меня стал уже заключаться в том, чтобы служить Богу, спасая людей от греха и страданий.

«Страшно только то, что захочешь угадать тот путь, которым хочет это сделать Бог, и ошибешься и поспешишь, и вместо того, чтобы содействовать,—помешаешь, задержишь.

«Одно средство не ошибиться, — не предпринимать, а ждать призыва Бога, такого положения, в котором нельзя не поступать так или иначе: для Бога, а не против него — и в этих случаях все силы души напрягать на то, чтобы делать первое».

Наконец, 11 февраля мы всей компанией двинулись в Москву.

Там нас ожидала новая картина Ге. Так как она предназначалась для публичной выставки в Петербурге, то ее нельзя было выставить публично в Москве, и Н. Н. поместил ее в одной частной мастерской, на Долгоруковской улице. Выставив картину надлежащим образом с хорошим верхним светом, Н. Н. Ге пригласил посмотреть ее Л. Н—ча. Мне пришлось быть свидетелем торжественной и умилительной сцены. Два друга, два великих художника, поставивших целью своей жизни воплотить в искусстве новый христианский идеал, были в этот момент соединены одним созданием, через которое, как через хороший проводник, передавался таинственный ток художественного созерцания. Волнение их достигло высшего предела, когда Л. Н—ч вошел в мастерскую и остановился перед картиной, устремив на нее свой проницательный взгляд. Н. Н. Ге не выдержал этого испытания и убежал из мастерской в прихожую. Через несколько минут Л. Н—ч пошел к нему, увидал его, смиренно ждущего суда, он протянул к нему руки и они бросились друг другу в об'ятия. Послышались тихие сдержанные рыдания. Оба они плакали, как дети, и мне слышались сквозь слезы произнесенные Л. Н—чем слова: «Как это вы могли так сделать!».

Н. Н. Ге был счастлив. Экзамен был выдержан. Но в этом триумфе уже чувствовалась новая трагедия. Картина так сильна, что власти не допустят ее до публичной выставки. Так и случилось.

Много народа перебывало в этой маленькой мастерской. По просьбе Н. Н. Ге, я оставался в ней дежурить для приема посетителей. Когда посетители уходили, и я оставался один, меня охватывало какое-то жуткое благоговейное чувство, как будто я сторожил тело дорогого покойника.

Н. Н. вскоре увез картину в Петербург и представил ее на выставку. Президент Академии художеств великий князь Владимир Александрович, посмотрел на картину, отвернулся и произнес: «Это бойня!». Этого слова было достаточно, чтобы картину сняли. Новое волнение для Н. Н. Хотя он и ожидал этого, но надежда не покидала — надежда показать большой публике, массе среднего люда, тысячами посещающего выставку в Петербурге и других городах, куда ее перевозят — показать, как он понимает распятие, с его беспощадным реализмом и с его идеальным представлением о миссии Христа.

Ему удалось после снятия картины с выставки выставить ее в квартире его

друга Алекс. Ник. Странполюбского. Тысячи людей видели ее там, но это была избранная публика, а не та, с которой хотел говорить художник.

Все эти волнения глубоко потрясли старика и ускорили роковой исход.

Л. Н—ч, конечно, спешил утешить своего друга, видя в запрещении картины доказательство ее значительности. Он так отвечал Н. Н—чу на его извещение о снятии картины:

«Давно уже надобно бы отвечать вам, дорогой друг, да письмо ваше не осталось у меня на столе и я ответил на другие письма, но не на ваше, одно из самых близких моему сердцу.

«То, что картину сняли, и то, что про нее говорили, очень хорошо и поучительно. В особенности слова: «Это бойня!». Слова эти все говорят: надо, чтобы была представлена казнь, та самая казнь, которая теперь производится, так, чтобы на нее также приятно было смотреть, как на цветочки. Удивительная судьба христианства! Его сделали домашним, карманным, обезвредили его и в таком виде люди приняли его. И мало того что приняли его, привыкли к нему, на нем устроились и успокоились. И вдруг оно начинает развертываться во всем своем громадном, ужасающем для них, разрушающем все их устройство, значении.

«Не только учение (об этом и говорить нечего), но самая история жизни, смерти, вдруг получает свое настоящее обличающее людей значение, и они ужасаются и чураются. Снятие с выставки ваше торжество. Когда я в первый раз увидал, я был уверен, что ее снимут, и теперь, когда живо представил себе обычную выставку с их величествами и высочествами, с дамами и пейзажами и nature morte'ами, мне даже смешно подумать, чтобы она стояла. Я не понял хорошо слова Гос., кажется о том, что религия религией, а зачем писать неприятно.

«Что говорят художники, и кто что говорит? Что вы делаете? Скоро ли будете к нам?»

В это время Л. Н—ча постигает еще новое испытание. Третий сын его, Лев Львович, заболевает какой-то странной, длительной, изнуряющей желудочной болезнью, не поддававшейся никакому лечению.

Он уезжает со своей старшей сестрой Татьяной Львовной в Париж и между ними и Л. Н—чем завязывается интересная переписка. Вот некоторые, выдающиеся места из нее.

Первое письмо он пишет еще из Гриневки, имения 2-го сына Ильи, где он гостил в конце января; в этом письме он между прочим говорит:

«Соблазнитель только великий Париж. Не в грубом смысле соблазна всякой похоти, это само собой, но я не про то говорю, но в смысле прикрытия жестокости жизни и нравов.

«Здесь, приехавши в Гриневку и увидав заморышей мужичков, ростом с 12-тилетнего мальчика, работающих целый день за 20 коп. у Илюши, мне стало так ясно то учреждение рабства, которым пользуются люди нашего класса, особенно ясно видя этих рабов во власти Илюши, который недавно был ребенком, мальчиком, что рабство это, вследствие которого вырождаются поколения людей, возмущает меня, и я, старик, ищу, как бы мне те последние годы или месяцы, которые осталось мне жить, употребить на то, чтобы разрушить это ужасное рабство; но в Париже то же рабство, которым ты будешь пользоваться, получив 500 р. из России, то же самое, только оно закрытое».

В этом же письме он рассказывает такой комический эпизод:

«...Ехав сюда, я разговорился с господином. Он стал говорить про с'езд естествоиспытателей. Я сказал, что мне особенно не понравилась речь Данилевского. Оказалось, что это сам Данилевской, очень умный и симпатичный человек. Речь его получила такой резкий смысл, потому что она урезана. Мы приятно поговорили. И я вновь подтвердил себе, как не надо осуждать».

В конце февраля он между прочим писал:

«...Я ничего еще толком не начал. Тулон кончил, но хочется многого и ду-

мается, что не надо ничего писать, а надо больше заниматься тем художественным произведением, которое составляет жизнь каждого из нас, прикладывая все внимание и усилие на то, чтобы не было с ней никаких ошибок, ни колорита, ни перспективы, ни, главное, отсутствия содержания. Этого же и вам желаю, милые друзья-дети».

В марте он писал им о себе:

...В последнее время очень распустился. Городская суета и с ней пропикающее тщеславие, никогда не отстающий от меня бес, хотя и никогда не овладевающий мною, стал беспокоить меня, и я вчера еще решил исправиться. Не в одном этом, а в других грехах».

Как увидим ниже, этот бес не оставлял его до последних лет его жизни. Тем ценнее та искренность, с которой он сознавался в этом перед близкими ему людьми.

Из писем того времени отметим письмо к одной особе по вопросу о воспитании. Оно выдается как по серьезности и искренности в постановке вопроса, так и по новости его решения, в первый раз высказанного Л. Н—чем в этом письме:

«Вы пишите, что, несмотря на то, что ваш идеал юношеский служения народу был вполне искренен, вы, отдавшись семье, детям, служение которым было и продолжает быть для вас и радостно и естественно, вы отступили от прежнего идеала служения народу, тем более, что при попытках такого служения вы всегда испытывали неестественность и теперь сомневаетесь, правильно ли поступаете, отдавшись одной семье и начинаете чувствовать неудовлетворение. Я думаю, что это неудовлетворение не может не быть и с годами все будет усиливаться, и что для того, чтобы избавиться от этого чувства, вам не нужно бросать семью или ослаблять свою заботу о ней, но нужно внести в семейную жизнь и заботу тот идеал, к которому вы стремились и который не осуществили, но который был несомненно истинен. Нужно соединить служение людям и служение семье — не механически распределяя время на то и другое, а химически, придав заботе о семье, воспитанию детей идеальное служебное людям значение. Брак, настоящий брак, проявляющийся в рождении детей, есть в своем истинном значении только посредственное служение Богу, служение Богу через детей. От этого брак, супружеская любовь всегда испытывается нами, как некоторое облегчение, успокоение. Это есть момент передачи своего дела другому. «Если, мол, я не сделал того, что мог и должен был сделать, так вот на мою смену — мои дети, они будут делать».

«Но в том-то и дело, чтобы они делали, чтобы их воспитать так, чтобы они были не помеха дела Божия, а работниками его; чтобы если я не мог или не могла служить идеалу, который стоял передо мною, то сделать все возможное для того, чтобы дети служили ему. И это даст целую программу и весь характер воспитания, даст воспитанию религиозный смысл, и это-то химически соединяет в одно лучшие самоотверженные стремления юности и заботу о семье.

«Вот это-то я вам советую и этого от всей души желаю вам. Я думаю, что такое направление воспитания довольно определенно и легко на примерах показать, что сообразно и несообразно с ним. Желаю вам радостного успеха в этом деле».

В это же время он пишет одному американцу краткое, но сильное и содержательное слово:

«Dear Sir, I think, trat the churches are the greatest ennemies of good christian life».

(Милостивый государь, я думаю, что церкви — это самые большие враги доброй христианской жизни).

В это время в семье друга Л. Н—ча Черткова происходило тяжелое событие: сильная болезнь его жены Анны Константиновны, страдавшей острой неврастенией с какими-то осложнениями и слабевшей с каждым днем.

Уже несколько раз Л. Н—ч получал от Черткова усиленные просьбы навестить их в их хуторе Ржевске, Воронежской губернии. Л. Н—ч отвечал полным желанием

исполнить просьбу и вместе с тем об'яснял невозможность исполнить ее тотчас же. Он ждал возвращения дочери и сына из заграничной поездки.

О здоровьи сына вести были неутешительные, и ему нужно было повидать его и побыть с ним первое время по его возвращении, чтобы отдать себе отчет в действительной опасности его состояния.

Наконец, настало время, более свободное для Л. Н—ча, и он решил ехать к Черткову. Это было в конце марта. В виду того, что от Черткова получались вести все тревожнее и тревожнее, я поехал к нему раньше Л. Н—ча, чтобы помочь ему в его делах, запущенных им вследствие болезни жены.

27 марта я поехал из хутора на лошадях Черткова встретить Л. Н—ча на станцию Ольгинскую и привез их на хутор. Из Москвы путь лежал через Воронеж, и Л. Н—ч остался там на один день, чтобы навестить другого больного, разбитого параличом лучшего друга своего Гаврила Андреевича Русанова.

В Ржевске у Черткова Л. Н—ч провел целую неделю. Нечего и говорить, сколько радости доставило его посещение обитателям хутора. В больную Анну Константиновну он влил энергию жизни, и она стала поправляться.

Вот как Л. Н—ч изображает впечатление от этого посещения в письме к Софье Андреевне:

«Я очень рад, что приехал; и он, и, главное, они так искренно рады, и так мы с ними душевно близки, столько у нас общих интересов, и так редко мы видимся, что обоим нам хорошо. Она очень жалка и мила, и тверда духом. Я сейчас же с ней поговорил с полчаса и вижу, что она уже устала. Приподняться на постели она даже не может сама. Сейчас приехала Лизавета Ивановна, я еще не видал ее. Я смущался сначала мыслью, что нас слишком много вдруг наехало, но тут столько домиков, что все разместились, и всем, кажется, удобно, а нам слишком хорошо. Место здесь очень красивое, постройка на полугоре, вниз идет крутой овраг и поднимается на другой стороне, поросший крупным лесом. Я сейчас ходил один гулять и набрал подснежников».

Одною из литературных работ Л. Н—ча в то время была статья об искусстве, над которой он много работал, ища новых ясных форм выражения своего нового взгляда на искусство. Мысли об этом постоянно роились в голове Л. Н—ча и это состояние отражалось в записях его дневника. Вот некоторые из них:

23 марта.

«Искусство — истинное только тогда, когда совпадает внутреннее стремление с сознанием исполнения дела Божия.

«Можно стремиться выразить то, что занимает, но что не нужно Богу, и можно стремиться содействовать произведением искусства делу Божию, но не иметь к нему внутреннего стремления, и будет не искусство».

«Художественное произведение есть то, которое заражает людей, приводит их всех к одному настроению.

«Нет равного по силе воздействия и подчинению всех людей к одному и тому же настроению, как дело жизни и под конец целая жизнь человеческая.

«Если бы только люди понимали все значение и всю силу этого художественного произведения своей жизни! Если бы только они так же заботливо исполняли его, прилагали все силы на то, чтобы не испортить его чем-нибудь и произвести его во всей возможной красоте!

«А то мы лелеем отражение жизни, а самой жизнью пренебрегаем. А хотим ли мы или не хотим того, она есть художественное произведение, потому что действует на других людей, созерцается ими».

Видимо, эта мысль о жизни, как о художественном произведении, сильно занимала его, так как он здесь вновь развивает ту же мысль, которую он уже выразил в письме ко Л. Л—чу в Париж и которое мы привели в своем месте.

В это время, сначала в России, а потом и в других странах стало нарождаться новое общественное явление. В конце 80-х годов доктор Заменгоф из Вильны основал новый, весьма облегченный международный язык «Эсперанто». Через несколько лет, когда число эсперантистов в разных странах значительно возросло, они решили организоваться и издать свой орган. Они обратились к нескольким всемирным авторитетам с просьбой выразить свое мнение об языке эсперанто. В том числе эсперантисты обратились и ко Л. Н—чу. Он ответил им следующим письмом.

27 августа 1894 года.

«Милостивые государи!

«Я получил ваши письма и постараюсь, как сумею, исполнить ваше желание, т.-е. высказать свое мнение о мысли вообще всенародного языка и о том, насколько язык эсперанто соответствует этой мысли.

«В том, что люди идут к тому, чтобы составить одно стадо, с одним пастырем разума и любви, и что одной из ближайших предшествующих ступеней должно быть взаимное понимание людьми друг друга, в этом не может быть никакого сомнения. Для того же, чтобы люди понимали друг друга, нужно или то, чтобы все языки сами собой слились в один (что если и случится когда-либо, то только через большое время), или то, чтобы знание всех языков так распространилось, чтобы не только все сочинения были переведены на все языки, но и все бы люди знали так много языков, чтобы все имели возможность на том или другом языке сообщаться друг с другом, или то, чтобы был избран всеми один язык, которому обязательно обучались бы все народы или, наконец, то (как это предполагается волянюкистами и эсперантистами), чтобы все люди разных народностей составили бы себе один международный, облегченный язык, и все обучались ему. В этом состоит мысль эсперантистов. Мне кажется, что это последнее предположение самое разумное и, главное, скорее всего осуществимое.

«Так я отвечаю на первый вопрос. На второй вопрос — насколько язык эсперанто удовлетворяет требованиям международного языка, — я не могу ответить решительно. Я не компетентный судья в этом. Одно, что я знаю, это то, что волянюк показался мне очень сложным, эсперанто же, напротив, очень легким, каким он должен показаться всякому европейскому человеку. (Я думаю, что для всемирности, в настоящем смысле этого слова, т.-е. для того, чтобы соединить китайцев, африканских народов и пр., понадобится другой язык, но для европейского человечества эсперанто чрезвычайно легок). Легкость обучения его такова, что, получив шесть лет тому назад эсперантскую грамматику, словарь и статьи, написанные на этом языке, я, после не более двух часов занятий, был в состоянии, если не писать, то свободно читать на этом языке.

«Во всяком случае, жертвы, которые принесет человек нашего европейского мира, посвятив несколько времени на изучение этого языка, так незначительны, а последствия, которые могут произойти от усвоения всеми, — хотя бы только европейцами и американцами — всеми христианами, — этого языка, так огромны, что нельзя не сделать этой попытки. Я всегда думал, что нет более христианской науки, как знание языков, то знание, которое дает возможность общения и об'единения с наибольшим количеством людей.

«Я не раз видал, как люди становились во враждебные отношения друг к другу только от механического препятствия ко взаимному пониманию. И потому изучение эсперанто и распространение его есть несомненно христианское дело, способствующее установления Царства Божия, того дела, которое составляет главное и единственное назначение человечества».

Этот отзыв Л. Н—ча дал сильный толчок распространению «эсперанто». И можно сказать, что широкое развитие его в настоящее время многим обязано Л. Н—чу.

В конце апреля Л. Н—ч с Марьей Львовной уехали снова в Ясную уже на летнее житье. Одному из друзей своих он так писал об этом отъезде: «Уехал отдохнуть от мучительной суеты Москвы».

Вскоре он пишет оттуда жене, наслаждаясь деревенской весной:

«Я сейчас после обеда, в 5 часов, поехал в Судаково и оттуда Засекой на пчельник, купальню и через Заказ домой. Больше шел пешком, радуясь на красоту Божьего мира. Трава уже с четверть, рожь идет в трубку, овсы зеленые кое-где; на черемухе готов цвет и побеги в два вершка; осина и ранний дуб одеваются. Тепло, влажно, соловьи, кукушки».

Из литературных работ он занят был в это время обработкой статьи о Мопассане, которая напечатана была вскоре в издании «Посредника» в виде предисловия к сочинениям Мопассана, переведенным Л. П. Никифоровым по выбору самого Л. Н—ча.

В мае же посетил Л. Н—ча его американский единомышленник Эрнест Кросби. В этот первый визит он не произвел особо выгодного впечатления на Л. Н—ча. Напротив, он писал жене: «Crosby, как все американцы, приличный, неглупый, но внешний».

Об этой встрече Л. Н—ч со свойственным ему искренним самоосуждением рассказывает в письме к редактору «Посредника», уже после преждевременной смерти Кросби; письмо это было напечатано в виде предисловия к сочинению Кросби, изданному по-русски «Посредником» под заглавием: «Толстой и его жизнепонимание». Вот что он писал тогда:

«Первое мое знакомство с ним было письменное. Он прислал мне из Египта, где он был судьею, довольно большую сумму денег для пострадавших от неурожая. Я отвечал на его письмо, и скоро после этого он сам приехал.

«К стыду моему, помню, что, несмотря на привлекательную личность Кросби, я в своем суждении не выделил его из обычных американских посетителей, руководящихся в своих посещениях только моею известностью. Помню, однако, что его вопрос, прямо обращенный ко мне, удивил меня.

«Мы шли, как теперь помню, на выход из старого дубового леса. Это было летним вечером. Он сказал: «Что вы мне посоветуете делать теперь, вернувшись в Америку?» Это был вопрос, до такой степени выходящий из обычных приемов посетителей, что я удивился и все-таки не понял и тогда его совершенную искренность и то, что в нем в это время совершался тот великий для жизни человека переворот, который пережил и я и которого желаю всем людям, переворот, состоящий в том, что все многообразные цели жизни вдруг заменяются одним: делать то, что свойственно человеку, и то, чего хочет от меня воля, руководящая тем миром, в котором я живу.

«Я никак не думал, что этот образованный, красивый, богатый, пользующийся хорошим общественным положением человек мог серьезно думать о том, чтобы, пренебрегши всем прошедшим, посвятить свою жизнь служению Богу.

«Помню, мы остановились, и я, хотя и не доверяя вполне его искренности, сказал ему, что есть у них в Америке замечательный человек Джорж, и послужить его делу есть дело, на которое стоит направить все свои силы.

«И, к удивлению и радости моей, я скоро узнал и по письмам Кросби и по другим сведениям, что он не только исполнил мой совет и стал энергичным борцом за дело Джоржа, но стал человеком, во всей своей жизни и деятельности преследующим одну и ту же со мной цель. Это я видел из его писем и из его прекрасной книги, в которой он с разных сторон, хотя и, к сожалению, в стихах, высказывал с большой силой свое религиозное, вполне согласное со мной миросозерцание».

К этому же времени следует отнести попытку Л. Н—ча обходиться в письмах без обычных эпитетов. Вот что он пишет между прочим Е. И. Попову в письме, которое начиналось так, против обыкновения:

«Сейчас получил ваше письмо, переполненное интересными сведениями»... без всякого обращения. В конце письма он об'ясняет это нововведение, боясь этой внешней холодностью обидеть друга:

«Если я не пишу условленного эпитета: «дорогой», то это не потому, что я насколько-нибудь изменился к вам. Я также люблю и ценю вас, а я решил бросить эти условные эпитеты, всегда неприятные».

Такое же об'яснение встречается и в других письмах того времени. Но это нововведение продержалось недолго, всего месяца два. В августовских письмах мы уже снова встречам эпитет «дорогой», и в одном из писем того времени он говорит, что без этих эпитетов ему как-то неловко, холодно.

В это время, т.-е. в конце мая Николай Николаевич Ге возвращался к себе в Черниговскую губернию, на свой хутор, близ станции Плиски, Курско-Киевской железной дороги.

Перенесенные им волнения давали себя знать, и он чувствовал себя слабым, усталым. 1 июня он приехал на хутор, и когда повозка остановилась у под'езда его дома, он почувствовал себя дурно, захрипел и через несколько часов скончался.

Вскоре весть о его кончине достигла Л. Н—ча и глубоко потрясла его душу. В целом ряде писем этого времени к своим друзьям и в дневнике его отражается то впечатление, которое произвела на него эта смерть. Приводим здесь наиболее интересные выдержки.

14 июня он писал Ив. Ив. Горбунову:

«От смерти нашего друга не могу опомниться, не могу привыкнуть. Какая удивительная таинственная связь между смертью и любовью. Смерть как будто обнажает любовь, снимая то, что скрывало ее, и всегда огорчаешься, жалеешь, удивляешься, как мог так мало любить или скорее проявить ту любовь, которая связывала меня с умершим. И когда его нет, того, кто умер, чувствуешь всю силу связывающей тебя с ним любви. Усиливается, удесятеряется проницательность любви, чего не видал прежде или и видел, но как-то совестился высказывать, как будто это хорошее было уже что-то излишнее. Это был удивительный, чистый, нежный, гениальный старик-ребенок, весь по края полный любовью ко всем и ко всему, как те дети, подобными которым надо быть, чтобы вступить в царство небесное.

«Детская у него была и досада и обида на людей, не любивших его и его дело. Он, которому должен бы поклоняться весь христианский мир, был вполне счастлив и снял, если его труды оценивались гимназистом и курсисткой.

«Как много было людей, которые прямо не верили ему только потому, что он был слишком ясен, прост и любовен со всеми. Люди так испорчены, что им казалось, что за его добротой и лаской было что-то, а за ней ничего не было, кроме Бога любви, который жил в его сердце.

А мы так плохи часто, что нам совестно, неловко видеть этого Бога любви: он обвиняет нас, и мы отворачиваемся от него. Я говорю не про кого-нибудь, а про себя. Не раз я отворачивался от него. Просто мало любил. Ну, зато теперь больше люблю. И он не ушел от меня. Знаю, где найти его — в Боге. Поднимает такая смерть, такая жизнь.

От Петруши, его сына, было длинное письмо, описывающее его последние дни и смерть. Он только что готовился работать, был в полном обладании духовных сил. Был весел, приехал домой, вышел из экипажа, ахнул несколько раз и помер».

Подобное же впечатление Л. Н—ч выражает в письме к Хилкову:

«...не могу привыкнуть к смерти Ге старшего Н. Н. (вы верно знаете). Подробностей почти никаких не знаю. Только было письмо Колички, что он вернулся домой, сказал, что ему дурно, слез с извозчика, стал задыхаться и умер. Редкая смерть так поражает меня. Уж очень он жив был и очень был хорош, просто хорош, так что доброта его не замечалась, а принималась, как что-то самое естественное. И потом мне казалось, что он так много еще может и должен сделать. Очевидно, мы никак не поймем, что человеку нужно и должно сделать, и полагаем, что нужно, чего вовсе не нужно и, главное, не видим, зачем и когда нужно умереть. Вы верно также очень любили и любите его. Он очень любил и любит вас. От Колички нынче получено

письмо, что он присылает к нам все его картины. Были вы у него? Нет, кажется. Картины на меня мало действуют, но его распятие нынешнего года—удивительная картина. В первый раз все увидали, что распятие—казнь и ужасная казнь».

Тогда же он писал Леониле Фоминишне Апиенковой:

«Не помню, чтобы какая-нибудь смерть так сильно действовала на меня. Как всегда при близости смерти дорогого человека стала очень серьезна жизнь, яснее стали мои слабости, грехи, легкомыслие, недостаток любви, одного того, что не умирает, и просто жалко стало, что в этом мире одним другом, помощником, работником меньше».

Позднее, уже в августе, он писал Николаю Семеновичу Лескову:

«О Ге я не переставая думаю, не переставая чувствую его, чему содействует то, что его две картины Суд и Распятие стоят у нас, и я часто смотрю на них, и что больше смотрю, то больше понимаю и люблю.

«Хорошо бы было, если бы вы написали о нем. Должно быть, и я напишу. Это был такой большой человек, что мы все, если будем писать о нем с разных сторон, — мы едва ли сойдемся, т.-е. будем повторять друг друга».

То же отражение впечатления смерти друга мы находим и в дневнике того времени. Сначала он выражает мысль подобную той, которую он выразил в письме к Горбунову.

13 июня он записывает:

«Какая-то связь между смертью и любовью.

«Любовь есть сущность жизни, и смерть, снимая покров жизни, оголяет, как сущность, любовь.

«Когда человек умер, только тогда узнаешь, насколько любил его.

И, заговорив о любви, он продолжает развивать свою мысль:

«Все, что вижу: цветы, деревья, небо, земля, все это—мои ощущения. Ощущения же мои суть не что иное, как сознание пределов моего «я». «Я» стремится расшириться и в стремлении сталкивается с своими пределами в пространстве, и сознание этих пределов дает ему ощущения, а ощущения оно об'ективирует в цвет, деревья, землю, небо.

«Потом подумал: Что же такое любовь? Зачем любовь, когда жизнь состоит в этих столкновениях с своими пределами? Столкновение с этими пределами необходимо, и в этих столкновениях игра жизни. При чем тут любовь? Не помню как, но это представление жизни упраздняло любовь, делало ее ненужной. И на меня нашло сомнение и уныние. Не выдумано ли все то, что я думаю и говорю о любви? Правда, что не один говорю про нее, не я выдумал это. А давно и все. И хотя это и дает вероятие, что есть что-то, все-таки не самообман ли это?

«Пошел дальше и подумал: да почем же я знаю, что я — я, а что все то, что я вижу, есть только предел меня? Кроме сознания предела есть еще сознание себя — того, что сознает пределы. Что же это сознание? Если оно чувствует пределы, то оно по существу своему беспредельно и стремится выйти из этих пределов. Чем же я могу выйти из этих пределов? Чем могу проникнуть за них?

«Только тем, чтобы любить то, что за пределами. Так что любовь уничтожает пределы, соединения того, кто любит, с тем, что за пределами, с Богом, с любовью.

«Посредством любви человек разрушает ограничивающие его пределы, может делаться беспредельным, Богом. Сначала человек уничтожает эти пределы между ближайшими к нему, понятнейшими существами, потом между более отдаленными, труднее постигаемыми.

«Но как же питаться, не убивая растений, не давя траву, насекомых, т.-е. не разрушая любви? Стало быть, как ни увеличивай пределы в этом мире, немыслимо осуществление полной любви, т.-е. уничтожение пределов между собой и миром.

«Невозможно полное осуществление, но возможно приближение бесконечное.

«Но мир этот не один, есть другие миры, в которых осуществление это, вероятно, возможно. Человек с одной стороны приближает в этом мире осуществление

царства Божия, т.-е. любви; с другой — сам готовится к той жизни, в которой это возможно».

Эта кратко записанная мысль при соответственной обработке могла бы создать целую систему философии. Но «система» не была свойственна его душе. По всем многочисленным его писаниям разбросаны эти перлы мудрости. Он предоставил последующему поколению собрать эти драгоценные жемчужины и, нанизав на одну нить, создать единое, стройное целое. В этом задача тех, кому дорого дело жизни, дело служения миру Льва Николаевича.

В начале июня Л. Н—ч писал И. Б. Фейнерману:

«Помешают или не помешают вам, хорошо то, что вы успели сделать. Так и в наше время, только в более расширенном смысле верно то, что ученикам Христа надо итти в другое место, когда их выгоняют в одном. Так делается и делалось. И не может не делаться, потому что другого делать нечего. Третьего дня мы были с Чертковым в Крапивне у Булыгина, который там сидит в тюрьме за отказ представить лошадей на воинскую повинность. Он в самом твердом и радостном духе и спокойно и невольно проповедует в тюрьме. Завтра хочу еще с'ездить к нему.

«Слышали вы, что Кудрявцев взят жандармами и где-то сидит. «Мне тяжело быть на воле...»

А в половине июня жандармы нагрянули с обыском ко мне на хутор в Костромской губернии, где я проводил лето, и в мою московскую квартиру, где в это время жил мой друг, Е. И. Попов. Искали у него и у меня, повидимому, документов о жизни недавно умершего Дрожжина, жизнь которого в то время описывал Евг. Ив. Попов.

Не вдаваясь в подробности этого дела, касающегося лично нас, я приведу письма Л. Н—ча, свидетельствующие об его отношении к этому событию. После моего извещения об обыске, я получил от него такое письмо:

«Получил ваше письмо к Леве, милый П..., и порадовался и пострадал за вас. Порадовался, потому что вы поступили так, как следует, как нельзя иначе поступить христианину, если он свободен от соблазнов, а страдал за вас, потому что за других всегда страшно, особенно, когда есть близкие: жены, матери, дети, не разделяющие того же жизнепонимания. На-днях Булыгин сидел в тюрьме по решению земского начальника за отказ поставки лошадей для воинской повинности, и я был у него и застал его оба раза в самом радостном состоянии духа, в которое, как он говорил, приводило его преимущественно то, что жена его не только не упрекала, но сочувствовала ему. Для того экзамена, как вы говорите, который производится этими нападками, нужно некоторое сосредоточение и напряжение, и потому, если в эту минуту недовольство, раздражение, упреки, даже горе близких вам развлекают вас, то становится очень мучительно, вроде того, как когда человек готовится сделать решительный прыжок, его хоть слегка дернут за рукав. Обратно же: выражение сочувствия окрыляет, как я это видел на Булыгине. Так вот об этом я страдал за вас и о том, что и вам, может быть, тяжело, что вас посадят. У меня нет теперь вашего письма, оно у Черткова, который взял его вчера; но мне помнится, там что-то есть лишнее, что вы сказали им о насилии, или что-то, что мне показалось лишним. Радовался же я преимущественно на то, что вы и Ж. поступили совершенно одинаково и совершенно так же, как каждый из нас считает лучшим поступить, т.-е. не только не обидеть этих людей, но быть полезным им, и вместе с тем своим содействием, участием, согласием, повиновением им не усилить их заблуждение о том, что они делают что-то хорошее и должное; напротив, своим несодействием, несогласием, неодобрением их дела заставить их увидать или хоть почувствовать всю гнусность его».

Евг. Ив. тоже, конечно, не замедлил сообщить о совершенном над ним насилии и получил от Л. Н—ча такой ответ:

«Всей душой был с вами, Евгений Иванович, в обоих делах, в испытании, которое вам довелось пережить. Ив. Ив. так хорошо рассказывал мне про ваше отношение к обыску, что я как будто присутствовал при этом. Зная вас, я живо представляю ваше душевное состояние и отношение к людям, и как понимаю и то, что вы гово-

рили, что все, что вы говорили приготовленное (я тоже иногда приготавливаю) выходило «не то», и наоборот. Хорошо сделали, что отказались участвовать в обыске. Ничто так не укрепляет заблуждение и заблудших, как содействие им. Дай Бог вам силы, хотел сказать, перенести то гонение, если бы даже и заключение, которое придется нести, а потому подумал, что силы надо просить у Бога не меньше для того, чтобы нести те условия свободной жизни, которые мы несем все всегда».

Часто слышится и в письмах и в дневниках Л. Н—ча эта грустная нотка сожаления о своей свободе и как легкая жалоба на то, что его не удостаивают гонения.

Но мы, друзья его, не грустили об этой его свободе и не жаловались на нее. Слишком она была дорога нам и я не знаю, какой бы ценой готов был я заплатить за то, чтобы эту свободу не отняли у него. У него самого эта грусть сменялась восторженным созерцанием вечного мира, который уже тогда открывался ему. 14 июня он записывает в своем дневнике:

«Подходя к Овсянникову, смотрел на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, а там, как красный неправильный уголь солнце. Все это над лесом. Рожь. Радостно.

«И подумал: Нет, этот мир—не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен, и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, которые после нас будут жить в нем».

---

17 июня Л. Н—ч диктовал Марье Львовне новую пьесу в пяти действиях. Это был набросок драматического произведения: «Петр Хлебник».

У Л. Н—ча продолжают завязываться сношения с заграничными единомышленниками. Около этого времени у него завязалась переписка с одним бывшим английским пастором рационалистического толка Джоном Кенворти, который основал новую христианскую религиозную общину. Он спрашивал совета у Л. Н—ча, и Л. Н—ч отвечал ему. В дневнике Л. Н—ча в это время, т.-е. в половине июля, записана такая мысль:

«Прибавить к письму Кенворти:

«Один из признаков исполнения закона христианского — единение. А мы все разбиты на партии, сословия, народы, веры, секты; партии политические, экономические, литературные; сословия богатых, бедных, интеллигентных, народных, аристократов, vulgo, народы, племена разных цветов, белых, черных, желтых... разные правительства, — веры, секты: христианская, магометанская, еврейская, буддистская и куча других и еще в каждой секты.

«Как же тут основывать секты «communion», не бояться этого, не бояться увеличивать раз'единение?

«Напротив, главное наше дело: ломать все преграды, отделяющие нас, держаться только того, что единит не только с христианами, но с буддистами, магометанами, дикими. В этом христианство».

В августе Л. Н—ча навестил новый единомышленник из славян доктор Душан Петрович Маковицкий, ставший потом одним из самых близких ко Л. Н—чу людей.

Л. Н—ч так сообщает об этом посещении Черткову:

«Маковицкий очень мне был интересен. Они, славяне, угнетены, и всю духовную энергию употребляют на борьбу с этим угнетением; но борются они оружием угнетения, отстаивают свою национальность против чужой национальности, свое исповедание, свой язык, свои выводы. И все это делают они через споры, журналистику, через интриги, кружки, общества, выборы в сейме и т. п. А тут же у них рядом с ними в их стране в народе все более и более распространяется секта «назаренов» (их в 1876 г. было пять тысяч, теперь 30 тысяч), которые не признают власти выше закона Христа, не судятся, не присягают, не берут оружия. Их засаживают в

тюрьмы сотнями, некоторые сидят 10 лет. И интеллигентные не видят, что освобождение от всех уз и всех угнетений—в этой вере, и смотрят через них, отыскивая себе спасение в том, что губит их. Мы много говорили с ним про это. И он понимает».

К осени все стали с'езжаться в Москву, приниматься за свои обычные занятия. Л. Н—ч оставался в Ясной до ноября и при нем всегда была часть семьи.

Он был в то время усиленно занят писанием изложения своего христианского миропонимания. Сначала это было задумано им в катехизической форме вопросов и ответов, но потом он эту форму оставил и стал писать просто в форме систематического изложения.

Интересным событием в это время было начало нового периодического органа под редакцией Л. Н—ча, так называемого «Архива Л. Н. Толстого».

Он был начат по инициативе Ив. Ив. Горбунова и долго назывался просто журналом Ив. Ив-ча. Но потом из предосторожности его стали называть «Архивом Л. Н. Толстого». Содержание его составляли те лучшие из присылаемых Л. Н—чу статей и писем, которые, по его мнению, могли бы быть с пользою распространены, но которых, по цензурным условиям, нельзя было печатать в России. Журнал этот издавался в рукописи, переписанной в нескольких копиях на машине ремингтона.

Он расходился в количестве около 25 экземпляров между друзьями Л. Н—ча. Всего вышло около 15 номеров. Вот содержание первого номера:

I. Реформация, долженствующая начаться с изменения сердца.
II. Чего требует теперь Христос? Дж. Кенворти.
III. Полемика, вызванная этой статьей на страницах журнала «Юный Методист».
IV. Новая эра.
V. Торо (из журнала «Рабочий пророк»).

Подобным образом составлялись и другие номера. Полный экземпляр этого журнала можно с трудом достать. Наиболее полный, повидимому, находится в Толстовских музеях.

Л. Н—ч пишет об этом предприятии Софье Андреевне 12 сентября:

«С Ив. Ив. хорошо придумал, т.-е. придумал он, собирать все те прекрасные статьи, книги и даже письма, которые я и мы получаем, и составлять как бы журнал рукописный, исключая все задорное, осудительное. Не знаю, удастся ли, но мне всегда жалко, что пропадают неизвестные многим, прекрасные и интересные и поучительные и для души полезные вещи, которые я получаю».

Этот «Архив» просуществовал два года до нашей ссылки по духоборческому делу.

В октябре произошло событие, отразившееся на судьбах России и, вероятно, всего мира. 20 октября скончался император Александр III. Он долго мучительно умирал от неизлечимой болезни, и по мере ухудшения болезни во многих людях, даже очень отрицательно относившихся к его царствованию, поднималась к нему непритворная жалость.

Помню то жуткое чувство, которое я испытывал случайно, будучи в это время в Петербурге, когда по улицам расклеивались бюллетени о состоянии здоровья царя. И, наконец, появилось в черной рамке известие: «Государь Император в Бозе почил»; группы гуляющих собирались на Невском, разговаривая вполголосе, иные крестились, иные плакали, но на всех лежала печать пережитого волнения и чего-то страшно серьезного, совершившегося в этот момент. Помню, как я, приехав в Ясную, рассказывал свои впечатления от этого события Л. Н—чу и встретил в нем полный душевный отклик и подобное же переживание. Мне невольно вспоминалась теперь тогда еще недавно записанная им в дневнике фраза: «Смерть оголяет любовь». Такая любовь оголилась у многих искренних людей и к почившему монарху.

Еще раньше, во время болезни государя, Л. Н—ч писал Черткову:

«Болезнь Государя очень меня трогает. Очень жаль мне его. Боюсь, что тяжело ему умирать, и надеюсь, что Бог найдет его, а он найдет путь к Богу, несмотря на все те преграды, которые условия его жизни поставили между ним и Богом».

Вот три смерти за этот 1894 год. Дрожжин, бедный учитель, замученный властями за то, что не мог поступить против своей совести, свободный, независимый художник Николай Николаевич Ге, сгоревший огнем великого гения, и глава русского государства, повелитель народов. Смерть уравняла их.

И отношение Л. Н—ча было к ним если не одинаково, то однородно. Смерть их возбуждала в нем чувство любви и вызывала напоминание людям о их вечной, духовной природе.

О литературных занятиях конца октября Л. Н—ч коротко и выразительно сообщает в письме к Софье Андреевне:

«Я в эти дни писал одно письмо в английские газеты о том, что христианство не имеет целью разрушать существующего порядка и заменять его другим, а только личное спасение людей, — и письмо баронессе Розен о том, нужно ли приводить в ясное сознание и выражать словами свои религиозные убеждения, или не нужно. Оба кончил. Свое изложение, верно, отложу еще. Все хочется начать сначала, и иначе. Писем никаких дня три не получал, вероятно, читают».

Последняя фраза относится к предположению, весьма вероятному, что за Л. Н—чем в то время был учинен надзор и письма его вскрывались.

Дочери своей Марьи Львовне он пишет приблизительно в то же время:

«Я хорошо занимался вчера, но нынче плохо, за то кое-что мне интересное записал в свой дневник, и нынче вечером решил, придумал нечто очень для меня интересное, а именно то, что не могу писать с увлечением для господ — их ничем не проберешь: у них и философия, и богословие и эстетика, которыми они, как латами, защищены от всякой истины, требующей следования ей. Я это инстинктивно чувствую, когда пишу вещи, как «Хозяин и работник» и теперь «Воскресенье». А если подумаю, что пишу для Афанасьев и даже для Данил и Игнатов и их детей, то делается бодрость и хочется писать».

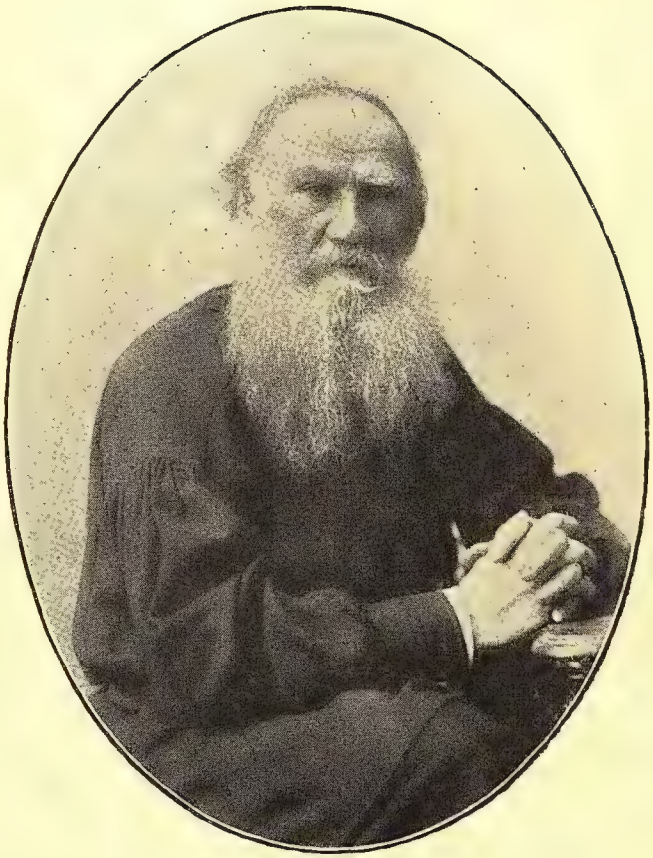
В это же время под руководством Л. Н—ча была переведена буддийская сказка Карма; отсылая ее редактору «Северного Вестника» для напечатания (она появилась в декабре того же года), Л. Н—ч писал:

«Посылаю вам переведенную мною из американского журнала «Open Court» буддийскую сказочку под заглавием «Карма». Сказочка эта очень понравилась мне и своей наивностью и своей глубиной. Особенно хорошо в ней раз'яснение той, часто с разных сторон в последнее время затемняемой истины, что избавление от зла и приобретение блага добывается только своим усилием, что нет и не может быть такого приспособления, посредством которого, помимо своего личного участия, достигалось бы свое или общее благо. Раз'яснение это в особенности хорошо тем, что тут же показывается и то, что благо отдельного человека только тогда истинное благо, когда оно благо общее. Как только разбойник, вылезавший из ада, пожелал блага себе одному, так его благо перестало быть благом и он оборвался. Сказочка эта как бы с новой стороны освещает две основные, открытые христианством истины: о том, что жизнь—только в отречении от личности—кто погубит душу, тот обретет ее, и что благо людей только в единении с Богом и через Бога между собою: «Как Ты во мне и я в Тебе, так и они да будут в нас едино» (Иоанн, XVII, 21).

«Я читал эту сказочку детям, и она нравилась им. Среди больших же после чтения ее всегда возникали разговоры о самых важных вопросах жизни. И мне кажется, что это очень хорошая рекомендация».

В письме к своей дочери Марье Львовне Л. Н—ч дает такую картинку осени 1894 года:

«...Нынче после холодной ночи заволоченное легкими тучками небо, тихо, тепло, но чувствуется свежесть ночи, трава ярко-зеленая и лист. В лесу тишина, только ястреба визжат. На полях пусто. Озими высыпали на чистых от травы пашнях ча-



19. Лев Николаевич в 1896 году в Москве
(с фотографии Шерер и Набгольц).

стой зеленой щеткой, где с краской, где совсем зеленой. Паутины начинаются. Под ногами лист, грибы и тишина такая, что всякий звук пугает. Ходил я за рыжиками, ничего не нашел, но все время радовался. И то наплывут мысли ясные, связные, добрые (одно время весь, — теперешняя работа, — катехизис показался), то нет никаких, а только радостная благодарность».

В середине ноября Л. Н—ч возвратился в Москву.

Мы уже упоминали в этой главе о том беспокойстве, которое обнаруживала администрация по отношению ко Л. Н—чу и его единомышленникам. Конечно, к тому были основательные причины. Взгляды Л. Н—ча начали проникать в народ. Путей проникновения этих взглядов было, главным образом, два: первый, это—личная пропаганда жизнью единомышленников Л. Н—ча, огромное большинство которых жило в деревне, в живом общении с народом; другой путь были издания «Посредника», руководимого Л. Н—чем. Книжки «Посредника», несмотря на строгость тогдашней цензуры, давали столько живого материала уму и сердцу русского крестьянина, и притом в столь доступной форме, что там, где они появлялись, начиналось и сознательное, критическое отношение к существующему строю и попытки его изменения, всегда начиная с самого себя.

И вот в начале 90-х годов книжечки «Посредника» проникают на Кавказ, в среду духоборческой секты. Семена попадают на добрую почву и приносят плод. Духоборческая секта, сама по себе живая, в лице своих лучших представителей, пользуется книжками «Посредника» для обновления своего мировоззрения, и на Кавказе начинается новое религиозное движение среди духоборов. Первая стадия этого движения заканчивается ссылкой духоборческого руководителя П. В. Веригина сначала в Архангельскую губернию, а потом в Березов, Тобольской губернии. При переводе его этапным порядком из Архангельской губернии в Тобольскую, он попадает на несколько дней в Московскую Бутырскую пересыльную тюрьму, где знакомится с одним уголовным арестантом Д., которого мы, участники «Посредника», посещали в приемные дни, поддерживая через него сношения с одним нашим другом, заключенным в той же тюрьме за отказ от воинской повинности и содержавшимся в Башне с политическими. Таким образом нам удалось установить связь и с Веригиным, о котором мы знали до сих пор только по газетам.

Конечно, этим приездом Веригина в Москву заинтересовался и Л. Н—ч.

Привожу выдержку из записанных мною уже давно воспоминаний о нашем свидании с духоборами, бывшими тогда в Москве и приехавшими на свидание и проводы своего руководителя:

«В один из приемных дней в тюрьму пошел на свидание Е. И. Попов. Придя домой, он рассказал, что видел в тюрьме П. В. Веригина за решоткой с арестантами, а перед решеткой в числе пришедших на свидание видел трех духоборцев, с которыми и познакомился.

«Конечно, мы все решили в следующий приемный день итти в тюрьму на свидание, но Евг. Ив. об'явил, что духоборцы, приехавшие на свидание с Веригиным, сказали ему, что Веригина на другой же день вечером отправляют особым этапом в Сибирь, так что видеть его больше нельзя. Оставалось только возможным повидать друзей Веригина, что мы и исполнили. Вечером того же дня, часа в три—четыре, мы отправились в гостиницу к Красным воротам. С нами пошел и Л. Н. Толстой, который также мало знал о духоборцах, но интересовался ими, потому что слыхал о новом религиозном движении, начавшемся в их среде.

«Мы вошли в большей просторный номер гостиницы и увидали трех взрослых мужчин в особых красивых полукрестьянских, полуказацких одеждах, приветливо, с некоторой торжественностью поздоровавшихся с нами. Это были духоборцы: брат Петра Веригина, Василий Васильевич Веригин, Василий Гаврилович Верещагин, умерший на пути в Сибирь, и Василий Иванович Об'едков. Всех нас поразил скромный, но достойный вид этих людей, представлявший не только местную, но как будто

расовую или, по крайней мере, национальную особенность; никому из нас ни раньше, ни после не приходилось встречать подобных людей вне духоборческой среды.

«Мы, а по преимуществу Л. Н. Толстой, стали расспрашивать их о их жизни и взглядах. Короткое время свидания и малое знакомство с их прошлым не позволило нам вдаться в подробности и мы могли обменяться только общими положениями. На большую часть вопросов Льва Николаевича по поводу насилия, собственности, церкви, вегетарианства они отвечали согласием с его взглядами, а на вопрос о том, как же они прилагают это к жизни, они отвечали с какою-то таинственностью, что все это у них только начинается, что теперь кое-кто так думает и живет, а скоро все открыто присоединятся к ним.

«От них мы получили некоторые сведения о П. В. Веригине; узнали, что он уже седьмой год в ссылке, что пребывание его в Шенкурске нашли опасным и теперь пересылают на житье в Сибирь. Один из трех духоборцев, именно Василий Об'едков, ехал с ним в Сибирь в качестве провожатого, а другие два, Веригин и Верещагин, отправлялись на Кавказ, везя своим духовным братьям заветы их руководителя о христианской жизни.

«Побеседовав с ними около часа и передав им некоторые книги и рукописи, которые, как нам казалось, могли интересовать их, мы стали собираться домой. Прощаясь с ними, Лев Николаевич попросил их писать о ходе дел. Веригин вынул записную книжку и, обращаясь к Льву Никелаевичу, сказал: «Пожалуйста напишите кто вы такой и как вам писать». Лев Николаевич записал свой адрес и мне, часто наблюдавшему встречу Льва Николаевича с другими людьми и замечавшему то волнение, которое производит на людей его имя, — показалось странным, что на духоборца оно не произвело видимого впечатления. Очевидно, он, если и слыхал раньше о Толстом, тут отнесся к нему, как к совершенно обыкновенному человеку, как и к каждому из нас, то-есть как к человеку, выразившему им участие.

«Больше мы их не видали».

Но, конечно, этим свиданием были проведены крепкие нити общения с духоборами, которое с тех пор не прерывалось и дало непредвиденные результаты в будущем.

Мы закончим описание этого года жизни Л. Н—ча, преисполненного волнений, выпиской из его дневника от 25 декабря:

«Я прежде видел явления жизни, не думая о том, откуда эти явления и почему я их вижу.

«Потом я понял, что все, что я вижу, происходит от света, который есть разумение. И я так радовался, что свел все к одному, что совершенно удовлетворился признанием одного разумения началом всего.

«Но потом я увидал, что разумение есть свет, доходящий до меня через какое-то матовое стекло. Свет я вижу, но то, что дает этот свет, я не знаю. Но я знаю, что оно есть.

«Это то, что есть источник света, освещающего меня, которое я не знаю, но существование которого знаю, есть Бог».

«Бога знаешь не столько разумом, даже не сердцем, но по чувствуемой полной зависимости от Него, вроде того чувства, которое испытывает грудной ребенок на руках матери. Он не знает, кто его держит, кто греет, кто кормит, но знает, что есть этот кто-то, и мало того, что знает, — любит его.

«В первый раз почувствовал возможность любить Бога».

«Для того, чтобы спастись, т.-е. не быть несчастным, не страдать, надо забыть себя.

«Единственное забвение себя есть забвение любви, но большинство людей, подчиняясь соблазнам, не любят и не хотят забыться любовью и изощряются забываться табаком, вином, опиумом, искусствами».

Около этого времени он между прочим писал своей дочери Марье Львовне:

«Главное то, что истинное дело, истинная жизнь так не блестящи, не громки, не торжественны, а соблазны все, — как тот полк гусар, который сейчас прошел с музыкой мимо окон, — блестящи, громки, примечательны; но не надо попадаться на это, по крайней мере в своем сознании. На то соблазны и окружены блеском, что они пусты, а то бы никто и не взглянул на них. И на то и лишена истинная жизнь блеска, что она и без него радостна и содержательна, или, скорее, содержательна и потому тихо притягательна».

Мы можем считать этот момент жизни Л. Н—ча некоторым этапом его духовного развития и на этом заканчиваем 3-х часть III тома жизнеописания Л. Н—ча Толстого.

Конец 3-й части III тома.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1896—1899 г.г.

ДУХОБОРЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ

ГЛАВА 18-я.

Смерть Вани. Хозяин и работник. Начало духоборческого движения.

Бо́льшую часть января Л. Н—ч провел в имении своего старого друга графа Олсуфьева, Никольском, куда он поехал с своею дочерью Татьяной Львовной 1 января на санях из Москвы. Путешествие было настолько приятно, что Л. Н—чу хотелось его продолжать. Он пишет своей жене: «Вот мы уже вторые сутки здесь, милый друг Соня. Доехали мы так хорошо, что жалко было приехать». И в конце письма добавляет:

«Мне очень хочется здесь написать нечто давно задуманное, но, видно, это не в нашей власти, и нынче я был дальше от возможности писать, чем когда-нибудь» [1]).

Но потом, как видно, писанье у него наладилось, и Л. Н—ч, живя у Олсуфьевых, докончил давно, еще в Бегичевке, начатый рассказ «Хозяин и работник»; он отослал его перед самым от'ездом от Олсуфьева в редакцию «Северного Вестника», где он и был напечатан в мартовской книжке; к нему мы еще вернемся.

Там же, в Никольском, Л. Н—ч делает интересную запись в дневнике 4-го января:

«Служба, торговля, хозяйство, даже филантропия — не совпадает с делом жизни: служения Царству Божию, т.-е. содействия вечному прогрессу» [2]).

В конце января Л. Н—ч возвращается в Москву.

Дневник Л. Н—ча этого времени особенно обилен глубокими, значительными мыслями. Мы приведем здесь несколько ярких выдержек. Вот как он определяет «сумасшествие эгоизма». Запись эта относится к началу февраля:

«Сумашествие — это эгоизм, или. наоборот, эгоизм, т.-е. жизнь для себя одного, своей личности, есть сумасшествие.

(Хочется сказать, что другого сумасшествия нет, но не знаю, правда ли.)

«Человек так сотворен, что не может жить один так же, как не могут жить одни пчелы; в него вложена потребность служения другим. Если вложена, т.-е. свойственна ему потребность служения, то вложена и естественна потребность быть услуживаемым, être servi.

«Если человек лишится второго, т.-е. потребности пользоваться услугами людей, он сумасшедший, — паралич мозга, меланхолия; если он лишится первой потребности, — служить другим, — он сумасшедший всех самых разнообразных сортов сумасшествия, из которых самый характерный — мания величия.

«Самое большое количество сумасшедших, — это сумасшедшие второго рода,— те, которые лишились потребности служить другим, — сумасшедшие эгоизма, как я это и сказал сначала. Сумасшедших этого рода огромное количество; большинство людей мирских одержимо этим сумашествием. Оно не бросается нам в глаза только потому, что сумасшествие это общее большим массам, а сумасшедшие этого рода соединяются вместе.

---

[1]) Письма к жене, стр. 484.

[2]) Архив Черткова.

«Они мало страдают от своего сумасшествия, потому что не встречают ему отпора, а, напротив, сочувствие. И потому все люди, одержимые этим сумасшествием, с страшным упорством держатся битых колей, преданий внешних, светских условий. Это одно спасает их от мучительной стороны их эгоистического сумасшествия.

«Как только такой человек почему бы то ни было выходит из сообщества одинаковых с собой людей, так он сейчас же делается несчастным и, очевидно, сумасшедшим. Такие сумасшедшие все составители богатств, честолюбцы гражданские и военные. Как только они вне таких же, как они, людей, — вне «voies communes», так они «fou à lier».

Как видно здесь, Л. Н—ч устанавливает принцип единения человека, обмена живых услуг с окружающими его людьми, невозможности отделиться от них. Интересно сопоставить эту мысль с почти противоположной, записанной в этот же день, несколько далее:

«Глядя на то, что делается во всех собраниях, на то, что делается в свете с условными приличиями и увеселениями, мне поразительно ясна стала, кажется, никогда еще не приходившая мне мысль, что кучей, толпой, собранием, делается только зло. Добро делается только каждым отдельным человеком порознь».

Конечно, тут нет противоречия. Добро человек делает в одиночку, за свой счет и за своей ответственностью, но этим добром он служит людям и должен быть готов принять услуги других. В этом заключаются здоровые условия общественной жизни человека.

Этот год ознаменовался особенно яркими протестами отдельных личностей и целых групп против государственного насилия, ввиде суда, войска, присяги, податей, как несовместимых с христианским жизнепониманием. Большая часть людей, заявивших этот протест, находились в сношениях со Л. Н—чем, выражая ему сочувствие, и можно думать, что их поступки носили на себе влияние его взглядов. Надо вспомнить, что год тому назад стало распространяться в России и за границей сочинение Л. Н—ча «Царствие Божие внутри вас», несомненно, сильно действовавшее на читателя.

Одним из таких протестов был отказ от военной службы австро-венгерского военного врача Альберта Шкарвана, друга и единомышленника Душана Петровича Маковицкого. От него Л. Н—ч и получил первое известие о поступке Шкарвана.

И Л. Н—ч так отвечал ему 10 февраля того же года:

«Получил вчера ваше письмо, дорогой Душан Петрович, и очень был тронут и поражен сообщаемым вами известием о поступке нашего общего друга Шкарвана. Когда я узнаю про такого рода поступки, то испытываю всегда очень сильное смешанное чувство страха, торжества, сострадания и радости. Во всех такого рода делах непременно одно из двух: или это проявление всемогущего Бога в человеке, и тогда это—торжество и радость и несомненная победа, хотя бы и сгорел тот человек, в котором проявляется Бог, или дело человеческого личного побуждения — славолюбия, раздражения, страсти, и тогда это проявление только служит источником страдания для того, кто проявляет его и не только не служит, но только вредит делу Божьему. Признак же того, что это дело Божье, а не человеческое, есть то, что, совершая его, человек делает не то, что ему хочется, а то, чего он не может не делать.

«Надеюсь и верю, что наш дорогой Шкарван поступил так, как он поступил, т.-е. не мог поступить иначе, и тогда это дело Божье творится через него, и что бы с ним ни делали, он не будет страдать, а будет радоваться вместе с нами. Пишите, пожалуйста, о нем все, что знаете. Не можем ли мы чем служить ему? Передайте ему мою любовь.

«Видно среди вашего духовенства также ужасная недобросовестность и выставление человеческих государственных интересов впереди Божеских. Поразителен

страх духовенства перед истиной, часть которой проявилась в учении назаренов, и сознание своего бессилия. Гнать нельзя — совестно, надо быть либеральным, а толкование учения только обличает правду назарен и ложь церквей. Что же делать? Надо вилять. Они это и делают, стараясь хоть на время, на свою жизнь отстоять свое положение».

Но рядом с этими, радостно волновавшими душу Л. Н—ча событиями, ему пришлось перенести и тяжелое испытание в его личной семейной жизни.

В конце февраля заболел скарлатиной и 23 в 11 часов ночи, проболев несколько дней, скончался его младший сын Ваничка.

Мне пришлось быть в эти тяжелые дни в доме Толстых и наблюдать ту серьезную борьбу, которую вел Л. Н—ч между безысходным горем и религиозной покорностью высшей воле. Степень этого горя легко понять из слов, высказанных Л. Н—чем Софье Андреевне после кончины этого сильно любимого всеми ребенка: «А я-то мечтал, что Ваничка будет продолжать после меня дело Божие! Что делать!» Слова эти были сказаны с едва сдерживаемыми слезами и рыданиями.

Помнится мне, когда, после совершения обычного погребального обряда, перед самым выносом маленького тела из хамовнического дома, мы со Л. Н—чем почему-то очутились вдвоем у маленького гробика, уже закрытого, но еще незаколоченного, а все остальные члены семьи ушли собираться в дорогу, на кладбище, Л. Н—ч подошел к гробику, поднял еще последний раз крышку, взглянул на восковое, милое личико, посмотрел на меня, как бы ища сочувствия и, всхлипывая, проговорил: «Какое хорошенькое личико» и по старческому, изнуренному лицу ручьем потекли слезы. Он закрыл крышку и вышел из комнаты.

Во многих письмах и в записях дневника того времени мы находим описание тех чувств и мыслей, которые вызвала во Л. Н—че и в окружающих его близких людях эта, хотелось бы сказать, преждевременная кончина. Но знаем ли мы время, когда должна кончаться земная жизнь человека?

Первое письмо об этом, на другой день после смерти Ванички, Л. Н—ч написал Черткову, вот оно:

«У нас тяжелое испытание, милый друг. Ваничка заболел скарлатиной и через два дня, вчера вечером, 23-го умер. Жена тяжело страдает, но, благодарю Бога, религиозно переносит все ужасное горе. У ней вся жизнь была в нем, он был последний и был исключительный по своим духовным свойствам мальчик. До сих пор все хорошо, прошу Бога, чтобы Он помог мне поступать в эти торжественные минуты так, как он хочет. Удивительно приближает к Нему, — а Он любовь, — смерть. Хочется и в вас обоих вызвать и чувствовать то божеское, что есть в вас, т.-е. любовь».

И в следующем письме он снова пишет об этом горе:

«Мне бывает минутами жаль, что нет больше здесь с нами этого милого существа, но я останавливаю это чувство и могу это сделать (знаю, что жена не может этого), но основное главное чувство мое — благодарность за то, что было и есть, и благоговейного страха перед тем, что приблизилось и уяснилось этой смертью.

«Жена, как я писал вам, переносит тяжело, но очень хорошо. В особенности первые дни я был ослеплен красотою ее души, открывшейся вследствие этого разрыва. Она первые дни не могла переносить никакого — кого-нибудь к кому-нибудь выражения нелюбви. Я как-то сказал при ней про лицо, написавшее мне безтактное письмо соболезнования: какой он глупый. Я видел, что это больно резнуло ее по сердцу, так же и в других случаях. Но иногда этот свет начинает слегка заслоняться, и я ужасно боюсь этого. Но все-таки жизнь этого ребенка, ставшая явной при его смерти, произвела на нее и, надеюсь, и на меня самое благотворное влияние. Увидав возможность любви, не хочется уже жить без нее».

12 марта он записывает в своем дневнике:

«Смерть Ванички была для меня, как смерть Николеньки (нет, в гораздо большей степени), проявление Бога, привлечение к Нему. И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это радостное, не радостное, — это дурное слово, но милосердное, от Бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к Нему событие».

Вот еще несколько мыслей о смерти, записанных в тот же день и, очевидно, вызванных тем же событием:

«Одно из двух: или смерть, висящая над всеми нами, властна над нами и может разлучать нас и лишать нас блага любви; или смерти нет, а есть ряд изменений, совершающихся со всеми нами, в числе которых одно из самых значительных есть смерть, и что изменения эти совершаются над всеми нами, различно сочетаясь, одни прежде, другие после, как волны.

«Смерть детей с обыкновенной точки зрения: природа пробует давать лучших и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но пробовать она должна, чтобы итти вперед. Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают. Но им все-таки надо прилетать. Так Ваничка.

«Но это об'ективное, дурацкое, рассуждение. Разумное же рассуждение то, что он сделал дело Божие: установление Царства Божия через увеличение любви, больше, чем многие, пожившие полвека и больше.

«Да, любовь есть Бог.

«Несколько дней после смерти Ванички, когда во мне стала ослабевать любовь (то, что дал мне через Ваничку жизнь и смерть Бог, никогда не уничтожится), я думал, что хорошо поддерживать в себе любовь тем, чтобы во всех людях видеть детей, представлять их себе такими, какими они были семи лет.

«Я могу делать это. И это хорошо».

Особенно замечательно письмо Л. Н—ча к его старому другу, графине Александре Андреевне Толстой:

«Соня третьего дня начала писать это письмо — не кончила и вчера заболела инфлуэнцией и нынче все еще нездорова и попросила меня дописать. А я очень рад этому, милый, дорогой старый друг. Телесная болезнь Сони, кажется, не опасна и не тяжела; но душевная боль ее очень тяжела, хотя, мне думается, не только не опасна, но благотворна и радостна, как роды, как рождение к духовной жизни. Горе ее огромно. Она от всего, что было для нее тяжелого, нераз'ясненного, смутно тревожащего ее в жизни, спасалась в этой любви, любви страстной и взаимной к действительно особенно духовно, любовно одаренному мальчику. (Он был один из тех детей, которых Бог посылает преждевременно в мир, еще не готовый для них, один из передовых, как ласточки, прилетающие слишком рано и замерзающие.) И вдруг он взят был у нее, и в жизни мирской, несмотря на ее материнство, у нее как будто ничего не осталось. И она невольно приведена к необходимости подняться в другой духовный мир, в котором она не жила до сих пор. И удивительно, как ее материнство сохранило ее чистой и способной к восприятию духовных истин. Она поражает меня своей духовной чистотой — смирением особенно. Она еще ищет, но так искренно, всем сердцем, что я уверен, что найдет. Хорошо в ней то, что она покорна воле Бога и просит только Его научить ее, как ей жить без существа, в которое вложена была вся сила любви. И до сих пор еще не знает как. Мне потеря эта больна, но я далеко не чувствую ее так, как Соня, во-первых, потому что у меня была и есть другая жизнь, духовная, во-вторых, потому что я из-за ее горя не вижу своего лишения и потому что вижу, что что-то великое совершается в ее душе, и жаль мне ее, и волнует меня ее состояние. Вообще могу сказать, что мне хорошо.

«Последние эти дни Соня говела с детьми и с Сашей, которая умилительно серьезно молится, говеет и читает Евангелие. Она, бедная, очень больно была поражена этой смертью. Но думаю — хорошо. Нынче она причащалась, а Соня не могла, потому что заболела. Вчера она исповедовалась у очень умного священника Вален-

тина (друг-наставник Машеньки, сестры), который сказал хорошо Соне, что матери, теряющие детей, всегда в первое время обращаются к Богу, но потом опять возвращаются к мирским заботам и опять удаляются от Бога, и предостерегал ее от этого. И, кажется, с ней не случится этого.

«Как я рад, что здоровье ваше поправилось или поправляется. Может быть, еще приведет Бог увидаться. Очень желаю этого.

«Сколько раз прежде я себя спрашивал, как спрашивают многие: для чего дети умирают? И никогда не находил ответа. В последнее же время, вовсе не думая о детях, а о своей и вообще человеческой жизни, я пришел к убеждению, что единственная задача жизни всякого человека — в том только, чтобы увеличить в себе любовь и, увеличивая в себе любовь, заражать этим других, увеличивая и в них любовь. И когда теперь сама жизнь поставила вопрос: зачем жил и умер этот мальчик, не дожив и десятой доли обычной человеческой жизни? Ответ общий для всех людей, к которому я пришел, вовсе не думая о детях, не только пришелся к этой смерти, но самым тем, что случилось со всеми нами, подтвердил справедливость этого ответа. Он жил для того, чтобы увеличивать в себе любовь, вырости в любви, так как это нужно было Тому, кто его послал, и для того, чтобы, уходя из жизни к Тому, кто есть любовь, оставить всю выросшую в нем любовь в нас, сплотить нас ею. Никогда мы все не были так близки друг к другу, как теперь, и никогда ни в Соне, ни в себе я не чувствовал такой потребности любви и такого отвращения ко всякому раз'единению и злу. Никогда я Соню так не любил, как теперь. И от этого мне хорошо».

Еще позднее, уже в апреле, видя все продолжающиеся страдания своей жены о потере ребенка, Л. Н—ч записывает в своем дневнике:

«Мать страдает о потере ребенка и не может утешиться. И не может она утешиться до тех пор, пока поймет, что жизнь ее не в сосуде, который разбит, а в содержимом, которое вылилось, потеряло форму, но не исчезло».

(«Это было как-то ново и ясно, когда записывал, а теперь потеряло значение».)

«Вся мудрость мира в том, чтобы перенести свою жизнь из формы в содержание и не направлять свои силы на сохранение формы, а на то, чтобы течь».

Но жизнь шла своим чередом, выдвигая новые требования, заслоняя новыми событиями прошлое, как бы значительно оно ни было.

В мартовской книжке «Северного Вестника» вышло в свет новое художественное произведение Л. Н—ча «Хозяин и работник». Одновременно он вышел и отдельным изданием в Москве в «Посреднике» (в двух видах, на хорошей и на простой бумаге) и в Петербурге, у одного из издателей.

Это появление нового художественного произведения Л. Н—ча, после большого промежутка времени, конечно, произвело сенсацию в обществе. Для многих почитателей, по преимуществу художественного дарования Л. Н—ча, это был настоящий праздник. Одна дама рассказывала мне, что она долгое время не могла отделаться от какого-то особенно радостного чувства, сопровождавшего все ее мысли и дела. Погруженная в обычную мирскую суету, она то и дело чувствовала, что за всем происходящим перед нею скрыто какое-то праздничное событие. И когда она начинала вспоминать, что же было такого праздничного, то ей представлялся «Хозяин и работник», новое художественное произведение Л. Н—ча. Она радовалась этому, потом опять забывала и снова навязчивое чувство приводило ее к воспоминанию этого радостного события.

Сам Л. Н—ч, как истинный художник, как всегда, был недоволен своим произведением и относился к нему с добродушной иронией. Вот что он записал об этом в своем дневнике:

«Так как я не слышу всех осуждений, а слышу одни похвалы за «Хозяина и работника», то мне представляется большой шум и вспоминается анекдот о пропо-

веднике, который на взрыв рукоплесканий, покрывших одну его фразу, остановился и спросил: «Или я сказал какую-нибудь глупость?». Я чувствую то же и знаю, что я сделал глупость, занявшись художественной обработкой пустого рассказа. Самая же мысль не ясна и вымучена, — не проста.

«Рассказ плохой. И мне хотелось бы написать на него анонимную критику, если бы был досуг, и это не было бы заботой о том, что не стоит того».

Как разнообразны были жизненные интересы Л. Н—ча в это время, доказывает ниже приводимое нами его письмо, написанное в это же время, т.-е. в конце марта, к одному его новому английскому другу, Джону Кенворти, начавшему в Англии распространение словом и делом идей Л. Н—ча. Мы еще вернемся к описанию его деятельности. В это же время он публиковал в Англии 2 тома английского перевода сочинения Л. Н—ча «Соединение и перевод 4-х Евангелий» и прислал Л. Н—чу экземпляр этого издания, а также свое сочинение, под названием: Анатомия нищеты». В ответном письме Л. Н—ч благодарит Кенворти за присланное и выражает следующие мысли:

«Дорогой друг!

«Получил ваше письмо и книгу и брошюру. Книга превосходно переведена и издана. Я перечел ее. В ней много недостатков, которых я не сделал бы, если бы писал ее теперь, но исправлять ее уже не могу. Главный недостаток в ней — излишние филологические тонкости, которые никого не убеждают, что такое-то слово именно так, а не иначе надо понимать, а, напротив, дают возможность, опровергая частности, подрывать доверие ко всему.

«А между тем истинность общего смысла так несомненна, что тот, кто не будет развлекаться подробностями, неизбежно согласится с ним.

«Брошюра ваша превосходна, особенно конец. Давно пора сказать народу то условие, при котором он достигает блага. Глядя на страдание народа, всегда страшно пред'являть к нему еще тяжелые требования. А это необходимо, и вы сделали это прекрасно.

«Теперь скажу вам о том проекте, который в последнее время занимает меня. В последнее время я с нескольких сторон получил предложение денег, с просьбой употребить их на полезное для людей дело. Вместе с этим у меня все больше и больше накопляется материал: статей, книг, брошюр: русских, немецких, английских (удивительна в этом отношении безжизненность французов) одного и того же направления и духа, указывающих на невозможность продолжения существующего порядка вещей и на необходимость изменения его, изменение не старыми, оказавшимися недействительными средствами: насильственным низвержением существующего порядка или попытками постепенного изменения его посредством участия в существующем правительстве, а религиозным, отдельных личностей, как это отлично выражено в вашем письме. Говорю не свою программу, а только выражаю один несомненный признак, общий всем тем статьям и книгам, которые я получаю. То и другое обстоятельство: предложение денег и накопление книг и статей одного и того же характера и часто очень сильных по мысли и по выражению побуждает меня вернуться к давно уже занимавшей меня мысли основать в Европе, в свободном государстве, в Швейцарии, например, международный не журнал, а издание под одним и тем же заглавием, в одной и той же форме книг и брошюр на 4-х языках: французском, английском, немецком и русском, в котором бы печатались самым дешевым образом все сочинения, 1-е: уясняющие истинный смысл человеческой жизни, 2-е: указывающие несогласия нашей жизни с этим смыслом и 3-е: средства согласования того и другого. Общее заглавие всему ряду изданий можно бы дать «Возрождение» или что-нибудь подобное. Если можете мне прислать еще несколько книг ваших как первых, так и последних брошюр, пришлите мне».

Мы уже упоминали о том, что В. Г. Чертков, живя в Англии, отчасти осуществил этот проект, но полного осуществления этого грандиозного замысла еще не было и проект ждет своего исполнителя.

Среди мыслей о международной просветительной деятельности Л. Н—ч не забывал и постоянную трудную работу согласования своей жизни со своим жизнепониманием. Одною из давних забот его было освобождение от прав литературной собственности на его сочинения.

Относительно написанного им после 1881 года он это уже сделал, печатно отказавшись от своих авторских прав и предоставив всем, кто желает издавать свои сочинения еще в 1892 году. Написанное же до 1881 года он не мог передавать в общее пользование, так как встречал в осуществлении этого намерения сильный отпор своих семейных. И вот он пишет в марте 1895 года свое первое завещание, в котором обращается к своим семейным с просьбою сделать это после его смерти. Весь этот документ чрезвычайно характерен и ярко выражает скромную твердость Л. Н—ча в осуществлении своих убеждений. Мы приводим его здесь целиком.

27 марта 1895 г.

«Мое завещание было бы приблизительно такое (пока я не написал другое, оно вполне такое):

«1) Похоронить меня там, где я умру, на самом дешевом кладбище, если это в городе, и в самом дешевом гробу, как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священников и отпевания. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай хоронят, как обыкновенно, с отпеванием, но как можно подешевле и попроще.

«2) В газетах о смерти не печатать и некрологов не писать.

«3) Бумаги мои все дать пересмотреть и разобрать моей жене, Черткову Владимиру Григ., Страхову и дочерям Тане и Мане (что замарано, то замарал я сам. Дочерям не надо этим заниматься). Тем из этих лиц, которые будут живы. Сыновей своих я исключаю из этого поручения, не потому, что я не любил их (я славу Богу, в последнее время все больше и больше любил их) и знаю, что они любят меня, но они не вполне знают мои мысли, не следили за их ходом и могут иметь свои особенные взгляды на вещи, вследствие которых они могут сохранить то, что не нужно сохранять и отбросить то, что нужно сохранить. Дневники моей прежней холостой жизни, выбрав из них то, что стоит того, я прошу уничтожить, точно также и в дневниках моей женатой жизни прошу уничтожить все то, обнародование чего могло быть неприятно кому-нибудь.

«Чертков обещал мне еще при жизни моей сделать это И при его, незаслуженной мною большой любви ко мне и большой нравственной чуткости, я уверен, что он сделает это прекрасно. Дневники моей холостой жизни я прошу уничтожить не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь, — жизнь моя была обычная дрянная жизнь беспринципных молодых людей, но потому, что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучило меня сознанием греха, — производят ложно одностороннее впечатление и представляют... А впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть. Из них видно по крайней мере то, что, несмотря на свою пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен Богом и хоть под старость стал, хоть немного, понимать и любить Его.

«Все это пишу я не потому, чтобы приписывал большую или какую-либо важность моим бумагам, но потому, что вперед знаю, что первое время после моей смерти будут печатать мои сочинения и рассуждать о них и приписывать им важность. Если уж это так сделалось, то пускай мои писания не будут служить во вред людям.

«Из остальных бумаг моих прошу тех, которые займутся разбором их, печатать не все и только то, что может быть полезно людям.

«4) Право издания моих сочинений прежних: десяти томов и азбуки прошу моих наследников передать обществу, т.-е. отказаться от авторского права. Но только прошу об этом, а никак не завещаю. Сделать это хорошо. Хорошо это будет и для вас — не сделаете, — это ваше дело, значит вы не готовы это сделать.

То, что мои сочинения продавались эти последние девять лет, было для меня самым тяжелым делом в жизни.

«5) Еще и главное, прошу всех и близких и дальних не хвалить меня (я знаю, что это будут делать, потому что делали и при жизни самым нехорошим образом), а если уж хотят заниматься моими писаниями, то — вникнуть в те места из них, в которых, я знаю, говорила через меня Божья сила, и воспользоваться ими для своей жизни. У меня были времена, когда я чувствовал себя проводником воли Божией. Часто я был так нечист, так исполнен страстями личными, что свет этой истины затемнялся моей темнотой, но все-таки иногда эта истина проходила через меня и это были счастливейшие минуты моей жизни. Дай Бог, чтобы прохождение их через меня не осквернило этих истин, чтобы люди, несмотря на тот мелкий нечистый характер, который они получили от меня, могли питаться ими. В этом только значение моих писаний. И потому меня можно только бранить за них и никак не хвалить.

«Вот и все.

Лев Толстой».

Лев Николаевич просит еще написать здесь, что Страхова он разумел Ник. Ник., теперь умершего.

Завещание это было в первый раз напечатано в «Толстовском Ежегоднике» 1912 г. Старший сын Л. Н—ча, Сергей Львович Толстой, давший рукопись этого завещания в «Ежегодник», сопроводил этот документ примечанием такого содержания:

«Помещаемая здесь выдержка из дневника Л. Н. Толстого есть первое его письменное завещательное распоряжение. Пожелания, выраженные в этом дневнике, изложены им еще раз в дневнике 1907 г.». Лишь в сентябре 1909 года, в Крекшине, Московской губернии, он впервые написал формальное завещание, за подписью свидетелей:

«Дневник 27-го марта 1895 года хранился в трех экземплярах: один — у покойной сестры моей, Марьи Львовны (Оболенской), один — у В. Г. Черткова и один — у меня. Копия, хранящаяся у меня, написана рукою кн. Н. Л. Оболенского (мужа моей сестры) и передана мне им по поручению отца. Не знаю, где хранится подлинник. Так как это завещание было доверено, между прочим, и мне, я считаю себя в праве опубликовать его. Перепечатывать его не запрещается».

Художественные проекты не переставали занимать душу и ум Л. Н—ча. В апреле он записывает в своем дневнике:

«Шел подле Александровского сада и вдруг с удивительной ясностью и восторгом представил себе роман, как наш брат, образованный, бежит с переселенцами от жены и увез с кормилицей сына. Жил чистой рабочей жизнью и там воспитал его. И как сын поехал к выписавшей его матери, живущей во всю роскошь развратной городской жизнью.

«Удивительно хорошо мог бы написать. По крайней мере так показалось».

Эту весну Л. Н—ч долго не уезжал в Ясную. Относясь с особенною заботою к здоровью своей жены, душевно страдавшей от смерти ребенка, он оставался с ней в Москве, где С. А—не нужны были советы врачей. Кроме того, ей тяжело было возвращение в Ясную Поляну, где все так напоминало жизнерадостного мальчика, и она, по возможности, оттягивала это возвращение. Л. Н—ч, пользуясь вынужденным бездействием в Москве, стал учиться ездить на велосипеде. Об этом он записывает в своем дневнике:

«За это время начал учиться в манеже ездить на велосипеде. Очень странно, зачем меня тянет делать это. N отговаривал меня и огорчался, что я сяжу, а мне не совестно. Напротив, чувствую, что тут есть естественное юродство: что мне все равно, что думают; да и просто безгрешно-ребячески веселит».

Слух об этом новом увлечении Л. Н—ча скоро проник в печать. Вероятно, В. Г. Чертков запросил об этом Л. Н—ча, потому что в одном из писем к нему Л. Н—ч пишет так:

«Велосипед же не смущает меня, несмотря на укоризны, очень полезные, Евгения Ивановича, во-первых, потому, что денег при этом не трачу, во-вторых, потому, что когда я вожу воду, мне всегда радостно, когда меня увидят, а когда увидят на велосипеде — стыдно».

Так как здоровье С. А. внушало серьезные опасения, то в семье серьезно обсуждался вопрос, не ехать ли с ней за границу. На эти слухи Л. Н—ч в том же письме отвечает Черткову:

«Что мы будем делать, где жить — не знаю. Знаю, что С. мучительно ехать в Ясную, и то мы собирались в Кисловодск, то за границу. Теперь оставили вопрос нерешенным. Я, к сожалению, не имею мнения, мне все равно, хоть в Москве. Только когда решили на Кавказ, я посоветовал Германию. И спокойнее там, и мальчикам польза» [1]).

Мы уже упоминали в предыдущей главе о том, что в эту зиму Л. Н—ча посетил странник-старовер из Сибири. Беседы с ним часто доставляли большое удовлетворение Л. Н—чу, и вот он записывает в своем дневнике впечатления от одной из таких бесед. Странника этого звали Кузьмич.

Кузьмич беседовал о спасении:

«Если ты не научишь людей, за это не ответишь, а если сам себя не научишь, за это ответишь» [2]).

«Это страшно сильно. И склоняюсь в светлые минуты думать, что все дело в проявлении в себе любви, для чего нужно только устранять соблазны. А устранишь соблазны, и проявится любовь, она потребует дела, будет ли это просвещение всего мира или приручение и смягчение паука. Все равно важно».

Интересны мысли, возбужденные в Л. Н—че его собственной фотографией.

«Вчера видел свой портрет, и он поразил меня своей старостью. Мало остается время. Отец, помоги мне употребить его на дело Твое.

«Страшно то, что чем старше становишься, тем чувствуешь, что драгоценнее становится (в смысле воздействия на мир), находящаяся в тебе сила жизни, и страшно не на то потратить ее, на что она предназначена. Как будто она (жизнь) все настаивается и настаивается (и в молодости можно расплескивать ее, она без настоя), а под конец жизни густа, вся один настой.

«Отец, помоги, помоги, помоги».

И рядом записана мысль, имеющая большое общественное значение:

«Человек считается опозоренным, если его били, если он обличен в воровстве, в драке, в неплатеже карточного долга и т. п.; но если он подписал смертный приговор, участвовал в исполнении казни, читал чужие письма, разлучал отцов и супругов с семьями, отбирал последние средства, сажал в тюрьму?

«А ведь это хуже. Когда же это будет?

«Скоро. А когда это будет, — конец насильственному строю».

Май месяц Л. Н—ч все еще проводит в Москве. Мысли кипят в голове его и часть их попадает в дневник. Многие из них имеют весьма важное практическое значение в жизни людей, так, напр., мысль о том, как должен держать себя по отношению к среде связанных с ним людей, принимая во внимание его внутренний духовный рост. Вот эта мысль:

«Нельзя, раз вступив в известные практические отношения с людьми, вдруг пренебречь этими условиями во имя христианского отречения от жизни.

«(Начал излагать эти мысли, и не вышло.)

---

[1]) Архив Черткова.
[2]) Там же.

«Верно одно то, что часто бывает, что человек вступит в жизненные мирские отношения, требующие только справедливости: не делать другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали, и, находя эти требования трудными, освобождается от них под предлогом (в который он иногда искренно верит), что он знает высшие требования христианские и хочет служить им. Женится, и решит тогда, когда познает тяжесть семейной жизни, что надо «оставить жену и детей и итти за ним». Или соберет артель, чтобы кормиться земельным трудом, и, увидав трудность, бросит и уйдет.

«Не надо обманывать себя, думать, что стоишь выше того положения, в которое стал. Если бы стоял выше, то и положение было бы выше.

«И это не значит, что оставайся всегда в том положении, в котором находишься; напротив, постоянно стремись выйти из него и стать выше. Но становись выше не отрицанием обязательств, а освобождением себя от них: 1) выполнением тех, которые взяты и 2) невступлением в новые» [1]).

Сколько напрасных страданий могли бы избегнуть люди, если бы они проникались значением этих мыслей.

Интересно определение «святости», которое Л. Н—ч дает в дневнике того времени.

«Не надо смешивать тщеславие с славолюбием, и еще менее с желанием любви, любвеобилием.

«Первое это желание отличиться перед другими и ничтожными, даже иногда дурными делами; второе—это желание быть восхваляемым за полезное или доброе; третье — это желание быть любимым.

«Первое: хорошо танцовать; второе—прослыть между людьми добрым, умным; третье: видеть выражение любви людей.

«Первое—дурное, второе—лучше, чтобы не было, третье—законно.

«Не поддаваться ни одному, дорожить только оценкой Бога — это святость».

В конце мая Л. Н—ч уехал отдохнуть от городской жизни к Олсуфьевым, в Никольское. Эта поездка не была удачна, Л. Н—ч чувствовал там себя нездоровым и потому не мог вполне насладиться отдыхом.

Между прочим там он делает следующую интересную запись в своем дневнике:

«Вчера получена газета с статьей о клеветах и глупостях книжки M-me Seron. Опровергать предлагает журналист.

«Да я ничего о себе не утверждал, поэтому нечего мне и опровергать. Я такой, какой есть. А какой я, это знаю я и Бог».

Книга эта, действительно, ужасна. Она была написана француженкой-гувернанткой, прожившей несколько лет в доме Л. Н—ча. Быть может, она не все понимала, что описывала. Это вызывает некоторое снисхождение к ее книге. Между прочим в ней Л. Н—ч обвиняется в том, что он, об'являя себя вегетарианцем, ночью, потихоньку от жены, доставал из буфета говядину и лакомился ею.

Конечно, лучшей критики, как молчание, нельзя было придумать для этой книги.

---

6 июня Л. Н—ч переезжает, наконец, в Ясную Поляну.

Я в это время работал у себя на хуторе, в Костромской губернии, и получил там нижеприводимое доброе письмо от Л. Н—ча от 8 июня. Да простит мне читатель мою нескромность, но мне жаль было сокращением нарушать его прекрасную цельность.

«Я очень соскучился по вас, милый друг П. Не то, чтобы я хотел, если бы это от меня зависело, вызвать вас из вашего гнезда и видеть вас около себя, этого, напротив, я не желал бы для вас, а соскучился тем, что давно нет с вами общения, нет вашей кроткой строгости и смиренной самостоятельности. Вероятно, это письмо

---

[1]) Архив Черткова.

20. Любимая скамейка Льва Николаевича в Яснополянском лесу.

встретиться с вашим, а если нет, то напишите. Последние сведения о вас были от Ив. Ив., что вам хорошо. Продолжает ли так быть? Мы, как вы видите, наконец, в Ясной Поляне. Слава Богу, никуда не поехали и живем опять по-старому. Впрочем, жизнь только по внешности по-старому, я чувствую, что многое изменилось и, как всегда, к лучшему. Говорю преимущественно о своем внутреннем мире. Я был болен все это последнее время и чувствую себя все более и более близким к смерти и потому часто чувствую себя более живым. Как-то все явления мира все более и более теряют свою реальность и не в мыслях, не вследствие философствования, а прямо непосредственно износилась, как будто декорация, и я вижу, что за ней. А за ней истинная реальность, такая же, как и та, которую я чувствую в себе.

«У нас в семье новость: С. женится на Мане Р. Свадьба 9 июля. Я и рад и страшно за них, а чаще всего прямо жаль. Люди, которые женятся так, мне представляются людьми, которые падают, не споткнувшись. Я сам женился так. Не женитесь так. Если упал, то что же делать. А если не споткнулся, то зачем же нарочно падать. Писать я ничего пристально не начинал, но многое обдумываю и записываю, хотелось бы поработать руками да до сих пор чувствую себя очень слабым. Передайте мой привет Павле Ник. и всем, кто меня знает. Видели ли вы статью в «Новостях» о странниках? Сказано, что это самая вредная секта и рассказано, как они живут в томских лесах. Как хорошо, что мы сошлись с Кузьмичем.

«Прощайте пока, целую вас».

Летом 1895 года началось массовое религиозное движение среди кавказских духоборцев. Первый протест против государственного насилия, отказ от военной службы был заявлен еще на Пасхе духоборцем Лебедевым и товарищами, уже служившими в полку. Их судили и приговорили на муку в дисциплинарный батальон. После этого, с совета их руководителя, Петра Васильевича Веригина, все духоборцы, находившиеся в единомыслии с ним, решили уничтожить все, находившееся в их распоряжении оружие (на Кавказе все население вооружено) и порвать с правительством, отказавшись выполнять какие бы то ни было повинности, налагаемые на них государственною властью. Уничтожение оружия, торжественное сожжение его, с пением духовных псалмов, было совершено в ночь с 28 на 29 июня 1895 года в трех местностях Кавказа, где находились поселения духоборцев, а именно, в Ахалкалакском уезде, по доносу враждебной партии, это сожжение оружия, для чего погубернии. В двух последних местах это сожжение прошло благополучно, а в Ахалкалакском уезде, по доносу враждебной партии, это сожжение оружия, для чего понадобилось духоборцам снести все оружие в определенное место, — было принято администрацией за подготовление к вооруженному восстанию. Были вызваны казаки и над непокорными духоборцами, державшими себя с особенным достоинством, была учинена дикая расправа, после чего все непокорные, в числе около 4.000 человек, были выгнаны из их жилищ и расселены по грузинским, горным деревням, а так называемые зачинщики посажены в тюрьмы.

Такое значительное проявление христианского религиозного чувства среди малограмотного, но одаренного высшим разумом русского народа, конечно, не могло не вызвать горячего сочувствия во Л. Н—че. Можно с уверенностью сказать, что этот религиозный под'ем среди духоборцев в эти годы совершился не без влияния сочинений Л. Н—ча. На допросе властей один из руководителей движения прямо заявил, что в течение последних лет среди духоборцев были распространены издания «Посредника» преимущественно духовного и философского содержания, которые сильно действовали на моральное чувство духоборцев.

Так или иначе, но слух об этом движении быстро достиг до Ясной Поляны.

В это время на Кавказе жил в ссылке князь Дмитрий Александрович Хилков, также, конечно, своим личным влиянием способствовавший этому движению.

От него-то и получил Л. Н—ч первое известие о сожжении духоборцами оружия и о жестокой расправе с ними кавказских властей. К сожалению, рассказ Хил-

кова был почерпнут из третьих рук и страдал неточностями. Вот что написал ему в ответ Л. Н—ч:

«Получил ваше письмо с описанием насилий над духоборцами и не знаю, что мне делать. Не знаю, что мне делать потому, что исполнить того, что вы хотите, не могу. Послать статью в русские газеты нельзя. Ни одна не напечатает ваш рассказ в том виде, в котором вы мне его прислали. (В «Бирж. Ведом» в № 201, 24 июля напечатано известие довольно подробное о начале раздора между духоборцами и о том, как выслали Веригина и как рядовые отказались от службы и о том, что теперь их выселяют в нагорные места Душетского, Тионетского и Сигнахского уездов.) Послать ваш рассказ в иностранные газеты считаю тоже излишним, главное потому, что рассказ этот написан очень дурно и дурно не потому, что в нем нет литературных достоинств, напротив в нем нет простоты, точности, определенности и правдивости, и тон всего рассказа какой-то иронический, шутливый, такой тон, которым нельзя говорить о таких ужасных делах. Не нужно писать о христолюбивых воинах белого царя, а нужно об'яснить, как убили 4-х человек, кто были эти люди, возраст, имя, как они умерли. Отчего, когда убили 4-х человек, командир убедился в бесплодности атаки. Все это и многое другое об изнасиловании так нехорошо, неясно, преувеличено, что вызывает полное недоверие ко всему. В таком виде статья или вовсе не будет напечатана, или если и будет напечатана в какой-нибудь маленькой газете, то не вызовет никакого впечатления. Я совершенно согласен с вами, что надо бы об этом напечатать в иностранных изданиях, в русских и думать нечего, если и напечатают, то с такими урезками, что пройдет незамечено, но для того, чтобы статья имела влияние на тех, на кого она должна иметь влияние, нужно, чтобы она была написана строго правдиво, обстоятельно, точно. И потому, если можно собрать такие сведения, то соберите и пришлите. Ваш же рассказ, рискуя сделать вам неприятное, я пока оставлю у себя. Если вы велите посылать, как есть, я пошлю. Одно, что я сделаю теперь, это то, что по вашему плану напишу в Англию нашему другу Kenworthy и другому еще о том, что на духоборов происходит жестокое гонение и что, если они хотят узнать подробности, то прислали бы корреспондента, направив его к вам с тем, чтобы вы уже направили его куда надо. Завтра посоветуюсь об этом с Черт. и напишу. Нынче вернулась от вашей матери дочь моя Таня. Она видела ваших детей и сказала им то, что вы насилием лишены возможности быть с ними, и любите их и жалеете. Она пускай сама напишет вам. Пока прощайте. Не сердитесь на меня и любите меня, как я вас».

В это время мне случилось быть в Ясной Поляне. Известие о духоборах сильно поразило меня и я предложил Льву Николаевичу свои услуги с'ездить на Кавказ и разузнать, в чем дело. Л. Н—ч одобрил мой проект и в начале августа я поехал туда, был у Хилкова, в Нухе, по его указанию разыскал ссыльных духоборов, расспросил лично участвовавших в сожжении оружия, в столкновениях с казаками и в других протестах и привез Л. Н—чу подробное описание всего виденного и слышанного.

Л. Н—ч, прочитав мое изложение и в принципе одобрив его, взялся его проредактировать. Сделав это, он написал к нему краткое предисловие, как бы рекомендацию и удостоверение правдивости описания, и кроме того написал ввиде послесловия особую статью, с эпиграфом: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». В этой статье он подчеркивает мировое значение движения среди духоборцев, выразившееся в отказе от исполнения государственных повинностей.

Свою статью я назвал «Гонение на христиан в России в 1895 году». Этим названием я хотел подчеркнуть грубое, жестокое отношение русских властей к чистым религиозным проявлениям, а также и то обстоятельство, что истинное христианство подлежит гонению от мира сего как в первые века нашей эры, так и в XIX веке, несмотря на огромный путь, пройденный человечеством по пути культурного развития.

Все эти статьи, по предложению Л. Н—ча, были напечатаны в газете «Times»

в Лондоне и, конечно, тотчас же были прочтены в России в высших сферах. Мне передавали лица весьма компетентные, что эти статьи произвели ошеломляющее действие на «сферы», особенно на Победоносцева, который, прочитав их, тотчас же поехал к государю с особым докладом. Произведенное мною следствие совершенно укрылось от местных властей и они, разослав в ссылку и рассадив по тюрьмам «бунтовавших» духоборцев, успокоились было на сознании, что временное возмущение подавлено. И в таком духе был составлен доклад высшему начальству. Из напечатанных же статей в «Times» они увидели, что дело только еще начинается, огонь разгорается и что во главе этого движения стоит уже не малограмотный мужик, а Лев Николаевич Толстой, вынесший эту борьбу на мировую арену.

Хотя за мной и был учинен надзор, я лично уцелел тогда, потому что Л. Н—ч, пожалев меня и не сказав мне этого, напечатал мою статью без моей подписи, так что она явилась анонимной и для преследования меня не было достаточных данных.

Правительством было назначено новое следствие, открывшее, конечно, новые преступления местных властей. С этих пор установились непосредственные и частые сношения наши и Л. Н—ча с духоборцами как ссыльными, так и заключенными, которым мы старались оказывать всестороннюю помощь.

О дальнейшем участии Л. Н—ча в духоборческом движении мы расскажем в следующих главах, при описании вновь совершившихся событий.

Средина 90-х годов прошлого столетия была временем быстрого распространения идей Л. Н—ча и возникновения в разных странах очагов этой пропаганды. Таковы были: кружок Евгения Шмидта в Буда-Пеште, кружок Шкарвана и Маковицкого среди словаков в Австро-Венгрии, «братская церковь» Кенворти близ Лондона; подобные же кружки основывались в Голландии, в Германии, в Америке и, конечно, во многих местах в России.

Этой же осенью Л. Н—ч познакомился с А. П. Чеховым. В письме к своему сыну Льву Львовичу от 9 сентября этого года он между прочим говорит:

«Чехов был у нас и очень понравился мне. Он очень даровит и сердце у него должно быть прекрасно, но до сих пор нет у него своей определенной точки зрения».

В письме к В. Г. Черткову от 10 октября Л. Н—ч между прочим пишет:

«Это время был занят письмами».

Действительно, за эту осень Л. Н—ч написал несколько больших писем, имеющих, по нашему мнению, большое общечеловеческое значение, и поэтому мы постараемся дать здесь хоть вкратце некоторое понятие о них.

Одним из таких больших писем было так называемое «письмо к поляку».

Профессор Мариан Эдмундович Здзеховский, прочитав статью Л. Н—ча «Христианство и патриотизм», написал Л. Н—чу письмо, в котором он, соглашаясь со Л. Н—чем в его осуждении патриотизма воинствующего, защищал патриотизм угнетенных народов, в том числе и польского, тот патриотизм, который служит им единственным орудием сохранения своей национальной самобытности. При этом Здзеховский послал Л. Н—чу свою статью о польском религиозном движении, во главе которого стояли Мицкевич и Товянский. Статья эта была очень интересна Л. Н—чу, но на его защиту патриотизма Л. Н—ч отвечал ему большим письмом, в котором он дает новое, еще более ясное определение патриотизму как господствующего, так и угнетенного народа:

«Под словом патриотизм подразумевается ведь не только непосредственная, невольная любовь к своему народу и предпочтение его перед другими, но еще и учение о том, что такая любовь и предпочтение хороши и полезны. И это учение особенно неразумно среди христианских народов.

«Неразумно оно не только потому, что оно противоречит и основному смыслу учения Христа, но еще и потому, что христианство, достигая своим путем всего того, к чему стремится патриотизм, делает патриотизм излишним, ненужным и мешающим, как лампа при дневном свете.

«Христианский идеал включает в себе любовь к своему народу. Если надо любить всех, то, конечно, и своих, близких.

«Напротив, патриотизм, т.-е. исключительная любовь к своему народу исключает христианский закон любви к своему врагу. И потому во имя его совершаются большие жестокости.

«Если бы не было учения о том, что патриотизм есть нечто хорошее, никогда не нашлось бы людей столь гнусных, которые в конце XIX века решились бы делать те мерзости, которые они делают теперь.

«Теперь же ученые, — у нас самый дикий гонитель веры бывший профессор, — имеют точку опоры в патриотизме. Они знают историю, знают все бесполезные ужасы гонений языка и веры; но благодаря учению патриотизма у них есть оправдание.

«Патриотизм дает им точку опоры, христианство же вынимает ее из-под ног. И потому народам покоренным, страдающим от угнетения, надо уничтожать патриотизм, разрушать теоретические основы его, а не восхвалять».

Дальше Л. Н—ч говорит:

«Заботиться нам надо не о патриотизме, а о том, чтобы, внося в жизнь тот свет, который есть в нас, изменять ее и приближать к тому идеалу, который стоит перед нами...

«Признание же патриотизма, какого бы то ни было, добрым свойством и возбуждение к нему народа есть одно из главных препятствий для достижения стоящих пред нами идеалов».

Издав отдельной брошюрой свою статью: «Об идеалах польского народа», Здзеховский, с разрешения Л. Н—ча, поместил его письмо ввиде предисловия.

Мне лично несколько раз приходилось слышать от Л. Н—ча выражение его симпатий к польскому народу. В этом его добром чувстве, как он сам говорил, была доля раскаяния, желание загладить те дурные чувства, которые, под влиянием патриотического воспитания, внушались ему с детства и которые он питал в своей юности и которые мешали ему видеть в истинном свете борьбу польского народа за свою независимость. Можно думать, что позднее написанная им повесть из польской жизни: «За что?» была выражением этих новых, искренних и сознательных чувств.

* * *

Большая переписка завязалась в это время у Л. Н—ча с известным публицистом Михаилом Осиповичем Меньшиковым, выражавшим тогда в своих талантливых статьях взгляды, весьма близкие Льву Николаевичу.

В очень интересных его статьях по поводу рассказа Л. Н—ча «Хозяин и работник» и последующих затем его частных письмах выяснилось первое разногласие его со Л. Н—чем.

Разница их взглядов заключалась, главным образом, в их отношении к роли разума, который для Л. Н—ча был главным двигателем на пути человека к его совершенствованию. Меньшиков, не отрицая значения разума в деле стремления человека к добру, придавал главное значение «практике добра», воспитанию, привычке. Л. Н—ч указывал ему, что это происходит, вероятно, оттого, что он смешивает два понятия—разума и ума. Для Л. Н—ча добро должно быть сознательно и разумно. И он определяет добро такими отрицательными утверждениями:

«Доброта голубя не есть добродетель. И голубь не добродетельнее волка, и кроткий славянин не добродетельнее мстительного черкеса. Добродетель и ее степени начинаются только тогда, когда начинается разумная деятельность».

На это письмо Меньшиков отвечал, что не знает, что такое разум, и Л. Н—ч в следующем письме к Меньшикову старается выяснить ему его ошибку и дает новое определение разума.

«Разум есть орудие, данное человеку для исполнения своего назначения или закона жизни, и так как закон жизни один для всех людей, то и разум один для всех, хотя и проявляется в различных степенях в различных людях. Все движение

жизни — что называют прогрессом — есть все большее и большее об'единение людей в уясненном разумом определении цели, назначения жизни и средств исполнения этого назначения. Разум есть сила, которая дана человеку для указания направления жизни.

«В наше время цель жизни, указанная разумом, состоит в единении людей и существ; средства же для достижения этой цели, указанные разумом, состоят в уничтожении суеверий, заблуждений и соблазнов, препятствующих проявлению в людях основного свойства их жизни — любви. Вот что такое разум, как я более или менее ясно старался выражать это во всех моих писаниях последних десяти лет».

После этих писем между Л. Н—чем и М. О. Меньшиковым последовало некоторое сближение, и Л. Н—ч с радостью читал его прекрасные статьи. Окончательный разрыв между ними последовал гораздо позднее, уже в первых годах XX столетия.

В высшей степени интересны письма, с которыми Л. Н—ч в эту осень обращался к своему младшему сыну, желая уберечь его от его юношеских соблазнов. Интимный характер этих писем не позволяет делать из них больших выдержек, мы ограничимся только самою общею их частью. Во втором большом письме к своему младшему сыну Л. Н—ч дает новое краткое резюмэ христианскому учению, как он понимает его и как он хотел бы, чтобы понимал его сын и его юные сверстники. Вот что он пишет ему:

«Сущность христианского учения состоит в том, что оно открывает человеку его истинное благо, состоящее в исполнении его назначения, и указывает все то, что под видом радости и удовольствия может нарушать это благо. Эти мнимые радости и удовольствия христианское учение называет ловушками — соблазнами...

«Главный и основной соблазн, против которого предостерегает учение Христа, состоит в том, чтобы верить, что счастье состоит в удовлетворении похотей своей личности. Личность, животная личность, всегда будет искать удовлетворения своих похотей, но соблазн состоит в том, чтобы верить, что это удовлетворение доставит благо. И потому огромная разница в том, чтобы, чувствуя стремление к похоти, верить, что удовлетворение ее доставит благо, и потому успливать похоть; или, напротив, знать, что это удовлетворение удалит от истинного блага, и потому ослаблять стремление.

«Соблазн этот, если только человек даст ход своему разуму, ясно виден ему, так что, кроме того, что удовлетворение всякой похоти совершается в ущерб другим людям и потому с борьбой, всякое удовлетворение похоти влечет за собой потребность новой похоти, труднее удовлетворяемой, и так до конца, и потому для того, чтобы разум не открывал тщеты этого соблазна, к соблазну присоединяется другой, самый ужасный, состоящий в том, чтобы ослаблять свой разум, одурманивать его: табак, вино, музыка.

«На этих двух главных соблазнах держатся все мелкие соблазны, которые улавливают людей и, лишая их истинного блага, мучают их...

«Таково то учение, которое я исповедую и проповедую и которое тебе и многим кажется чем-то фантастическим, туманным, странным и неприменимым. Учение это все состоит только в том, чтобы не делать глупостей и напрасно без всякой пользы себе и другим не губить в себе ту божественную силу, которая вложена в тебе, и не лишать себя того счастья, которое предназначено всем нам. Учение все состоит в том, чтобы верить своему разуму, блюсти его во всей чистоте, развивать его и, поступая так, получить благо истинное вечной истинной жизни и, сверх того, в гораздо большей степени те самые радости, которые теперь привлекают тебя».

Не менее интересна переписка Л. Н—ча с его новым кружком единомышленников в Голландии. Один из членов этого кружка обратился ко Л. Н—чу с вопросом, что ему делать с юношей, который обратился к нему за советом, совершить ли ему важный христианский поступок или отказаться от этой мысли из жалости к своей матери. Л. Н—ч отвечал ему, что, конечно, человек, задающий такие вопросы, далек еще от того, чтобы сознательно совершить христианский подвиг, который внушается ничем неотвратимым чувством неизбежности, и затем Л. Н—ч выражает следующую мысль, уже много раз выраженную в его писаниях, но здесь высказанную с особенной яркостью:

«Вот почему я нахожу бесполезным и часто даже вредным проповедывать известные поступки или воздержание от поступков, как отказ от военной службы и т. п. Нужно, чтобы все действия происходили не из желания следовать известным правилам, но из совершенной невозможности действовать иначе. И потому, когда я нахожусь в положении, в котором вы очутились перед этим молодым человеком, я всегда советую делать все то, что от них требуют, — поступать на службу, служить, присягать и т. д., — если только это им нравственно возможно; ни от чего не воздерживаться, пока это не станет столь же нравственно невозможным, как невозможно человеку поднять гору или подняться на воздух. Я всегда говорю им: если вы хотите отказаться от военной службы и перенести все последствия этого отказа, старайтесь дойти до той степени уверенности и ясности, чтобы вам стало столь же невозможно присягать и делать ружейные приемы, как невозможно для вас задушить ребенка или сделать что-нибудь подобное. Но если это для вас возможно, то делайте это, потому что лучше, чтобы стал лишний солдат, чем лишний лицемер или отступник учения, что случается с теми, кто предпринимает дела свыше своих сил. Вот почему я убежден, что христианская истина не может распространяться проповедью известных внешних поступков, как это делается в лже-христианских религиях, но только разрушением и развенчиванием соблазнов и особенно убеждением, что единое истинное благо человека заключается в исполнении воли Бога, в котором закон и назначение человека».

Наконец, упомянем о его письме к духоборческому руководителю Петру Васильевичу Веригину, находившемуся в то время в ссылке в Обдорске и переписывавшемуся с друзьями Л. Н—ча.

Письмо Л. Н—ча, написанное П. В. Веригину в ноябре 1895 года, было ответом на мысли, высказанные Веригиным в его письме к И. М. Трегубову и состоявшие в том, что книга и вообще печатное слово не нужно. «А то, что необходимо и законно, то непременно должно быть в каждом и получается непосредственно свыше, или от самого себя». В этом отрицании «печатной книги» проявилось у Веригина одно из основных положений духоборческого учения. У духоборцев, как известно, нет священного писания, его заменяет «Животная книга», состоящая из заученных наизусть и передаваемых устно псалмов, в которых излагается их религиозно-нравственное учение.

Замечательно, что в своем ответном письме Веригину, Л. Н—ч, этот известный всему миру «отрицатель науки, искусства и цивилизации», доказывает Веригину, что печатное слово необходимо и полезно для духовного развития человека и для единения многих людей в одной общей истине. Соглашаясь с Веригиным во многих преимуществах личного, устного общения, Л. Н—ч говорит:

«Но зато выгоды печати тоже очень велики и состоят, главное, в том, что круг слушателей раздвигается в сотни, тысячи раз против слушателей устной речи. И это увеличение круга читателей важно не потому, что их становится много, а потому, что среди миллионов людей разнообразных народов и положений, которым доступна книга, отбираются сами собой единомышленники, и благодаря книге, находясь за десятки тысяч верст друг от друга, не зная друг друга, соединяются в

одно и живут единой душой и получают духовную радость и бодрость сознания того, что они не одиноки. Такое общение я теперь имею с вами и многими людьми других наций, никогда не видавших меня, но которые мне близки больше моих сыновей и братьев по крови».

Интересно это письмо тем, что оно самым наглядным образом опровергает нелепые осуждения Л. Н—ча в узости и сектантстве и дает ясное представление о широте его взглядов и о его терпимости к взглядам другого лица, хоть и близкого ему по духу, но отстаивающего свое особое мнение.

Как мы уже упоминали выше, в этом году получила распространение книга, составленная Е. И. Поповым, «Жизнь и смерть Дрожжина», вышедшая сразу за границей на русском и немецком языках, с послесловием Л. Н—ча. Эта книга вызвала известного немецкого романиста Фридриха Шпильгагена на написание и на напечатание открытого письма Л. Н—чу, в котором он доказывает, что смерть Дрожжина не была полезна делу всеобщего мира, что она была бесполезной жестокостью, и что ответственность за нее падает на Л. Н—ча.

Явное непонимание того душевного процесса, который привел Дрожжина к совершению его подвига, конечно, не оставляло возможности ему возражать. Интересно это письмо только тем, что выражает общественное мнение того времени большой социал-демократической германской группы, к которой принадлежал покойный немецкий писатель, автор известного политического романа «Im Reih und Glied», до сего времени являющегося выражением немецкой массовой нравственности, или, вернее, рабства, которому всегда страшна была личная инициатива, та самая, которую Л. Н—ч полагал в основу человеческого прогресса.

Несмотря на эти частные возражения, взгляды Л. Н—ча, распространяясь по всему миру, приводили его в общение с самого разнообразного рода лицами. В конце 1895 года в Москву приехал английский единомышленник Л. Н—ча Джон Кенворти, с которым Л. Н—ч уже давно находился в близком общении путем писем и книг. Свидание их было, конечно, радостно, и единение их еще более укрепилось, и, вернувшись в Англию, Кенворти стал центром духовного движения, вызванного взглядами Л. Н—ча.

ГЛАВА 19-я.

Три смерти. Коронация. Наша ссылка.

Начало 1896 года застает Л. Н—ча в Москве, в обычной праздничной городской суете. В начале января он писал Черткову:

«Наша жизнь идет по-прежнему: также много гостей и, когда я в дурном, горделивом состоянии духа, я тягочусь этим, когда же опомнюсь, то не обижаюсь. Как хорошо, покойно, когда удается не соображать о том, что предстоит или хочется сделать и не приписывать никакого значения тому, что я могу или хочу сделать, а только думать о том, как бы не ошибиться и не сделать того, чего не хочет Пославший меня и не помешать не своему, а Его делу. Пожалуйста, не возражайте на это. Я так убежден в том, что для того, чтобы сделать хорошо какое бы то ни было человеческое дело, надо все силы свои напрячь на то, чтобы не мешать делу Божию, а то само выйдет. На велосипеде, чтобы ехать без руля, надо, главное, смотреть не на колесо, а вперед, и тогда колесо пойдет прямо. Сравнение не совсем подходит, но вы понимаете меня».

В это же время в середине января Л. Н—ч написал большое письмо своему новому американскому другу, Эрнесту Кросьби. Он получил от него письмо, в котором Кросьби с радостью сообщает ему, что его проповедь в Америке нового понимания христианства встречает сочувствие и во всяком случае его принимают с полной серьезностью, признавая, что смысл христианства действительно таков, и главная сущность возражений заключается лишь в утверждении того, что следование этому учению трудно и недостижимо в мирской жизни. Кросьби приводил в своем письме целый ряд отзывов американских писателей: Хиггисона, Ньютона, Херрона, Марписна, Ливермора и др., и Л. Н—ч с радостью видит, какой успех сделала проповедь истинного христианства со времени Гаррисона и Баллу, когда все умственные силы проходили ее молчанием и в лучшем случае удостоивали снисходительной усмешки.

В этом письме Л. Н—ч вкратце излагает свое учение о жизни, как посланничестве для исполнения воли Отца жизни. Он вкратце повторяет свое определение духовной сознательной жизни, как единственного спасительного выхода из противоречий, в которые становится человек, живущий эгоистической животной личностью с проснувшимся разумным сознанием.

Наконец, переходя к вопросам практической жизни, Л. Н—ч отвергает всякую возможность для нравственного поступка — руководство внешнею целесообразностью этого поступка, так как от нас скрыты его последствия. Единственным критерием нравственного поступка должно быть согласие его с сознаваемым нами законом Бога, с нашею просвещенною совестью. Это отношение хорошо выражается французскою поговоркою: «Fais ce, que doit, advienne, que pourra» (делай то, что должно, и будь, что будет), которую Л. Н—ч считает выражением глубокой мудрости.

Наконец, он приводит известное выражение защитников целесообразного насилия о разбойнике, убивающем ребенка. Это характерное рассуждение Л. Н—ча мы выписываем здесь целиком, так как оно часто приводится в спорах и часто неверно толкуется:

«Как поступать человеку, — всегда приводимый пример, когда на его глазах разбойник убивает, насилует ребенка, и спасти ребенка нельзя иначе, как убив разбойника?

«Обыкновенно предполагается, что, представив такой пример, ответ не может быть иной, как тот, что надо убить разбойника для того, чтобы спасти ребенка. Но ответ ведь этот дается так решительно и скоро только потому, что мы не только все привыкли поступать так в случае увеличения границ соседнего государства, в ущерб нашего, или в случае провоза через границу кружев или даже в случае защиты плодов нашего сада от похищения их прохожим.

«Предполагается, что необходимо убить разбойника, чтобы спасти ребенка, но стоит только подумать о том, на каком основании так должен поступать человек, будь он христианин или не-христианин, для того, чтобы убедиться, что поступок такой не может иметь никаких разумных оснований и считается необходимым только потому, что 2000 лет тому назад такой образ действий считался справедливым и люди привыкли поступать так. Для чего не-христианин, не признающий Бога, защищая ребенка, убьет разбойника? Не говоря уже о том, что, убивая разбойника, он убивает наверное, а не знает еще до последней минуты, убил ли бы разбойник ребенка или нет, не говоря уже об этой неправильности, кто решил, что жизнь ребенка нужнее, лучше жизни разбойника? Ведь если человек не христианин и не признает Бога и смысла жизни в исполнении Его воли, то руководить выбором его поступков может только расчет, т.-е. соображения о том, что выгоднее для него и для всех людей: продолжение жизни разбойника или ребенка? Для того же, чтобы решить это, он должен знать, что будет с ребенком, которого он спасет, и что было бы с разбойником, которого он убьет, если бы он не убил его? А этого он не может знать. И потому, если человек не христианин, он не имеет никакого разумного основания для того, чтобы смертью разбойника спасать ребенка. Если же человек хри-

стианин и потому признает Бога и смысл жизни в исполнении Его воли, то какой бы страшный разбойник ни нападал на какого бы то ни было невинного и прекрасного ребенка, он еще менее имеет основания, отступив от данного ему Богом закона, сделать над разбойником то, что разбойник хочет сделать над ребенком; он может умолять разбойника, может подставить свое тело между разбойником и его жертвой, но одного он не может: сознательно отступить от данного ему закона Бога, исполнение которого составляет смысл его жизни. Очень может быть, что по своему дурному воспитанию, по своей животности, человек, будучи ли язычником или христианином, убьет разбойника не только в защиту ребенка, но даже в защиту себя или даже своего кошелька, но это никак не будет значить, что это должно делать, что должно приучать себя и других думать, что это нужно делать.

«Это будет значить только то, что, несмотря на внешнее образование и христианство, привычки каменного периода так сильны еще в человеке, что он может делать поступки, уже давно отрицаемые его сознанием.

«Разбойник на моих глазах убивает ребенка, и я могу спасти его, убив разбойника; стало быть, в известных случаях надо противиться злу насилием.

«Человек находится в опасности жизни и может быть спасен только моей ложью; стало быть, в известных случаях надо лгать. Человек умирает от голода и я не могу спасти его иначе, как украв; стало быть, в известных случаях надо красть. Недавно я читал рассказ Коппе, где денщик убивает своего офицера, застраховавшего свою жизнь, и тем спасает честь и жизнь его семьи. Стало быть, в известных случаях надо убивать.

«Такие придуманные случаи и выводимые из них рассуждения доказывают только то, что есть люди, которые знают, что нехорошо красть, лгать, убивать, но которым так не хочется перестать это делать, что они все силы своего ума употребляют на то, чтобы оправдать эти поступки. Нет такого нравственного правила, против которого нельзя бы было придумать такого положения, при котором трудно решить, что нравственнее: отступить от правила или исполнить его. То же с вопросом непротивления злу насилием: люди знают, что это дурно; но им так хочется продолжать жить насилием, что они все силы своего ума употребляют не на уяснение всего того зла, которое произвело и производит признание за человеком права насилия над другим, а на то, чтобы защитить это право. Но такие придуманные случаи никак не доказывают того, что правила о том, что не надо лгать, красть, убивать были бы несправедливы» [1]).

Письмо это получило большое распространение в России и за границей и в первый раз целиком появилось в печати в России только в посмертном издании сочинений Л. Н—ча, сделанного Софьей Адреевной Толстой; в следующих изданиях оно уже уничтожено русской цензурой.

В это же время, т.-е. в январе этого года, Л. Н—ч снова сильно почувствовал веяние смерти, отнявшей нескольких друзей его. Почти в один день скончался Н. Н. Страхов, родственник Л. Н—ча, Н. Н. Нагорный и старушка Агафья Михайловна, бывшая горничная его бабушки, давно уже доживавшая свой век на покое в Ясной Поляне.

В дневнике своем от 26 января Л. Н—ч записывает:

«Страхов. Нынче узнал о его смерти. Нынче хоронили Нагорного и это известие.

«Я лег заснуть, но не мог заснуть, и так ясно, ярко представилось мне такое понимание жизни, при котором мы бы чувствовали себя путниками. Перед нами одна станция в знакомых, одних и тех же условиях. Как же можно пройти эту станцию иначе, как бодро, весело, дружелюбно, совокупно, деятельно, не огорчаясь тому, что сам уходишь или другие прежде тебя уходят туда, где опять будем все еще больше вместе».

---

[1]) Письма Л. Н. Толстого. Изд. т-ва Окто. М. 1912 г. Стр. 139.

Софья Андреевна была в это время в Твери у сына, служившего там. Л. Н—ч писал ей:

«У нас большое горе: Ник. Мих. Нагорнов умер. Маша, которая была при его смерти, вероятно, опишет тебе подробно все. Доктор Остроумов определил, что камнем прободение кишки и оттого — перитонит. Очень жаль и Вареньку и детей; в особенности Варю. У нас все хорошо, хотя и грустно. Таня осталась почевать с Варей, а мы, Маша, Миша и Коля, сейчас, отправив Сашу спать, сидели за чаем и задушевно и грустно говорили...

«...Как всегда, смерть пастаривает серьезно и добро, и жалеешь, что не всегда в этом настроении, хотя в слабой степени» [1]).

В этот же день он пишет А. К. Чертковой:

«...У нас нынче смерть. Умер Нагорнов, муж моей племянницы. Она его страстно любила. И они жили примерно хорошо. Его почему-то, по внешности его, все мало любили, но никто не знает про него ничего, кроме хорошего. Маша только что пришла оттуда, он при ней умер, а я не был».

О Н. Н. Страхове мне уже приходилось не раз говорить и я полагаю, что характер его близких отношений ко Л. Н—чу достаточно выяснен. Мне хочется сказать несколько слов о третьем умершем друге Л. Н—ча — Агафье Михайловне.

В «Анне Карениной» есть много драгоценных биографических черт об этом замечательном человеке, списанных с натуры. Прибавим к этому несколько строк из воспоминаний о ней сына Л. Н—ча, Ильи Львовича. Вот что он говорит о ней:

«Сначала в «этом доме», на кухне, а потом на дворне, жила старушка Агафья Михайловна. Высокая, худая, с большими породистыми глазами и прямыми, как у ведьмы, седеющими волосами, она была немножко страшная, но больше всего странная.

«Давно-давно она была горничной у моей прабабушки гр. Пелагеи Николаевны Толстой, бабки моего отца, рожденной княжны Горчаковой. Она любила рассказывать про свою молодость.

«Я красивая была. Бывало с'едутся в большом доме господа. Графиня позовет меня: «Гашет, фамбр де шамбр, аппортэ муа уп мушуар». А я: «Тутсвит, мадамеля контесс». А они на меня смотрят, глаз не сводят. Я иду во флигирь, а меня на дорожке караулят, перехватывают. Сколько раз я их обманывала. Возьму да побегу кругом, через канаву. Я этого и тогда не любила. Так девицей и осталась».

Агафья Михайловна очень любила животных, особенно собак, и прожила с ними последние годы своей жизни, лет двадцать, если не больше.

Илья Львович приводит интересные рассказы о ней самого Л. Н—ча.

«Он рассказывал, напр., как Агафья Михайловна как-то жаловалась на бессоницу. С тех пор, как я ее помню, она болела тем, что «растет во мне береза, от живота кверху и подпирает грудь, и дышать от этой березы нельзя».

Жалуется она на бессоницу, на березу: «Лежу я одна, тихо, только часы на стене тикают: кто ты, что ты, кто ты, что ты, — я и стала думать: кто я, что я? И так всю ночь об этом и продумала».

«Подумай, ведь это «гноти саутон», «познай самого себя», ведь это Сократ, — говорил Лев Николаевич, рассказывая об этом и восторгаясь.

«По летам приезжал к нам брат мама, Стена, учившийся в то время в училище правоведения. Осенью он с отцом и с нами ездил на охоту с борзыми, и за это Агафья Михайловна его любила».

«Весной у Стены были экзамены.

«Агафья Михайловна это знала и с волнением ждала известий, выдержит он или нет.

«Раз она зажгла перед образом свечку и стала молиться о Степиных экзаменах.

«В это время она вспомнила, что борзые у нее вырвались, и что их до сих пор

[1]) Письма Л. Н. Толстого к жене. Стр. 497.

нет дома. «Батюшки, забегут куда-нибудь, бросятся на скотину, беды наделают. Батюшка, Николай угодник, пускай моя свечка горит, чтобы собаки скорей вернулись, а за Степана Андреевича я другую куплю». Только я это подумала, слышу, в сенцах собаки ошейниками гремят; пришли, слава Богу. Вот что значит молитва».

Другой любимец Агафьи Михайловны был наш частый гость, молодой человек Миша Стахович.

«Вот, графинюшка, что вы со мной сделали, — укоряла она сестру Таню, — познакомили меня с М. А., а я в него и влюбилась на старости лет, вот грех-то».

5-го февраля, в свои именины, Агафья Михайловна получила от Стаховича поздравительную телеграмму.

Ее принес парочный с Козловки.

Когда об этом узнал папа, он шутя сказал Агафье Михайловне: «И не стыдно тебе, что из-за твоей телеграммы человек пёр ночью по морозу три версты?».

«Пёр, пёр! Его ангелы на крылышках несли, а не пёр... Вот о приезжей жидовке три телеграммы, да о Голохвастике каждый день телеграммы, это — не пёр? А мне поздравление, так пёр», — разворчалась она, и, действительно, нельзя было не почувствовать, что она была права.

Агафья Михайловна любила не одних только собак. У нее была мышь, которая приходила к ней, когда она пила чай, и подбирала со стола хлебные крошки.

Раз мы, дети, сами набрали земляники, собрали в складчину 16 коп. на фунт сахару и сварили Агафье Михайловне баночку варенья. Она была очень довольна и благодарила нас.

«Вдруг, — рассказывает она, — хочу я пить чай, берусь за варенье, а в банке мышь. Я его вынула, вымыла теплой водой, насилу отмыла, и пустила опять на стол».

«А варенье?»

«Варенье выкинула, ведь мышь — поганый, я после него есть не стану».

Это один из отошедших типов, которые уже не возвратятся [1]).

Из писем Л. Н—ча этого времени упомянем еще о письме его к японцу Иокаю, редактору журнала «Дидай-чоо-лю». С Японией у Л. Н—ча завязывались все бо́льшие и бо́льшие связи и влияние его все шире и глубже распространялось на японскую интеллигенцию, ищущую новых жизненных путей.

Вот это письмо:

«Благодарю вас за то, что вы мне прислали вашу статью. Я с радостью узнал, что вы глубоко уверены в возможности распространить учение Христа и намереваетесь проповедывать вашим соотчественникам христианство, вылившееся в нагорной проповеди. Это—великая цель, и я не знаю цели выше этой цели, ради которой человек мог бы пожертвовать жизнью. Но давайте говорить искренно. Как в вашей статье, так и в вашем письме, вы еще не решили, кому служить: богу или мамоне. Желаете ли вы приобрести благосостояние личное, семейное или государственное, или же только исполнить волю Божию, независимо от выгод человека, семьи или государства?

«Вы говорите, что стараетесь уничтожить стену деления племен, происходящую от различия религий и от крайнего развития патриотизма.

«Вы анализируете патриотизм и говорите, что существует два патриотизма: один умеренный, хороший и другой — чересчур сильный, плохой»

. . . . . .

«Мы, христиане, которые верим в учение Христа, вылившееся в нагорной проповеди, должны употреблять все наши силы, чтобы достигнуть этой цели и исполнить бескорыстно Его волю.

[1]) И. Л. Толстой. Воспоминания сына о Л. Н—че.

«Я желаю вам, чтобы вы и ваши собратья, разделяющие ваш взгляд, поступали так. Был бы очень рад, если бы мог вам быть чем-нибудь полезным» [1]).

Очевидно, что в строках, уничтоженных цензурою, Л. Н—ч говорил о том, что патриотизм, как исключительная любовь к *своему* народу и к *своему* государству, никогда не может быть хорошим.

Иокай, напечатав это письмо в своем журнале, снабдил его примечаниями, в которых говорит, что когда он писал Толстому, он был студентом в английском университете и написал статью «Этические мысли японского народа», которую и послал Л. Н—чу. Ответ Л. Н—ча не удовлетворил его. Вот как он выражает это неудовлетворение:

«Великий Толстой критикует мою статью, отрицает устои моего страстного патриотизма и убеждает меня, что пока не исчезнет вообще «патриотизм восточного мира», ожидать блага для человечества, в его целом—невозможно» [2]).

Если до Японии влияние Л. Н—ча доходило только ввиде легкого сдвига в область моральных идей, то в России оно уже пускало глубокие корни и чистое учение Христа было уже ясно и открыто поставлено против учения мира, поддерживаемого власть имущими всеми возможными для них средствами.

В это время, т.-е. в призыв 1895 года, отказался от воинской повинности крестьянин Ольховик, Харьковской губ., селения Речки. Зимой его судили и приговорили в Якутскую область на 18 лет. Это был удивительно чистый и твердый исповедник закона Христа. Отправленный морем из Одессы в Сибирь, он своею кроткою проповедью успел обратить в свою веру конвойного Середу, которого и сослали вместе с ним, по приезде их на место.

Л. Н—ч во многих письмах того времени упоминает об этих замечательных людях.

Продолжая изучать всемирную мудрость, Л. Н—ч с наслаждением читал в это время недавно вышедшее на английском языке сочинение индусского мудреца Свами Вивекананда, под названием «Философия Иоги», теперь уже изданную по-русски в различных переводах и изданиях.

Первую половину февраля Л. Н—ч продолжал жить в Москве. 5 февраля он слушал лекцию Преображенского о рентгеновских лучах, бывших тогда научной новостью.

В этот же день Л. Н—ч пишет письмо В. Г. Черткову, в котором высказывает несколько замечательных мыслей. Мы уже упоминали об участившихся случаях отказа от воинской повинности. Эти отказы не всегда кончались торжеством правды. Бывали случаи, что люди отказавшиеся под влиянием мучений соглашались служить, и поступок их, конечно, причинял им и близким к ним по духу большие страдания. Так произошло с одним молодым художником. Конечно, поступок слабости вызвал во многих столь же слабых людях осуждение. В. Г. Чертков не принадлежал к их числу, а напротив, в письме ко Л. Н—чу высказал мысль о том, что мы не имеем права осуждать ослабевшего, так как всей жизнью нашей отказываемся от того, что считаем правдой. Л. Н—ч отвечает Черткову именно на эту мысль и попутно говорит о смерти. Вот его слова:

«Как вы правы в том, что то, что случилось с С. в сгущенном, в заметном виде, происходит с нами всеми в разреженном и, что хуже всего, незаметном виде. Я это больно чувствую на себе, иногда проснешься и поднимется негодование на себя и окружающую жизнь; но с этим негодованием связывается желание освободиться, а с желанием освободиться связываются страшные, дурные мысли и тушишь в себе негодование и миришься, а мирясь, не знаешь, что делаешь для других, а что для себя, и не успеешь оглянуться, как уже сам делаешь то, за что негодуешь, т.-е. для себя, для своего удовольствия поглощаешь чужие труды. Одно

[1]) Письма Л. Н. Толстого. Изд. т-ва Окто. Стр. 150.
[2]) Там же.

спасение в этом — это смирение, признание своей негодности, слабости и расширение своего горизонта жизни — видеть свою жизнь дальше смерти. А для этого самое действительное: память смерти, смерть близких, и готовность к своей смерти. И это дает мне Бог. Последнее время со всех сторон уходят туда люди более или менее близкие. Нагорнов, муж племянницы, Страхов, Стороженко (жена профессора), в Ясной Поляне старушка Агафья Михайловна и кучер Родивоныч.

«Одно время я живо представил, понял свою, нашу жизнь, как непрестанное скатывание под гору, в середине которой завеса. И не в середине, а мы катимся вниз между двумя завесами, одна сзади, другая спереди внизу, и кто выкатывается из задней, кто скатывается внизу за завесу, и мы все перегоняясь, цепляясь, разъезжаясь, летим вниз. И неужели можно делать что-нибудь в этом скатываши, кроме того, чтобы любя помогать, услуживать, веселить друг друга? Весь ужас смерти только от того, что мы воображаем, что стоим на ровном, а не катимся по покатому. От этого только мы пугаемся, потому что нам кажется, что он оборвался и полетел в неизвестную нам пропасть. Я так живо это себе представил, что жизнь получила для меня новую прелесть. Желаю удержать это чувство».

Около 20 февраля Л. Н—ч уехал в имение Олсуфьевых — Никольское, отдохнуть от московской суеты. У Олсуфьевых он действительно отдыхал и физически и нравственно, благодаря дружеским заботам хозяев. Приехав туда, он писал Софье Андреевне:

«Я чувствую себя очень хорошо, совсем здоров, но не знаю отчего: реакция ли московского нервного возбуждения или просто старость, — слаб, вял, не хочется работать, ни умственно, ни физически двигаться. Правда, нынче, 22-го, я утро провел если не пиша, то с интересом обдумывал и записывал... Не хочется признаться, что состарелся и кончил, а должно быть надо. Стараюсь приучить себя к этому и не пересиливать себя и не портить. — Ну, довольно о себе. Мне все-таки очень хорошо. Наслаждаюсь тишиной и добротою хозяев» [1]).

Это чувство старости Л. Н—ч выражает в тот же день в записи дневника:

«Уже больше недели чувствую упадок духа. Нет жизни, ничего не могу работать. Отец моей и всякой жизни! Если дело мое кончено здесь, как я начинаю думать, и испытываемое мною прекращение духовной жизни означает совершающийся переход на ту, иную жизнь, — что я уже начинаю жить там, а здесь понемногу убирается этот остаток, — то укажи мне это явственнее, чтобы я не искал, не тужился; а то мне кажется, что у меня много задуманных хороших планов, а мне нет возможности не только исполнить все, — это я знаю, что не нужно думать, — но хоть делать что-нибудь доброе, угодное Тебе, пока я живу здесь. Или дай мне силы работать с сознанием служения Тебе. Впрочем, да будет Твоя воля. Если бы только я всегда чувствовал, что жизнь только в исполнении Твоей воли, я бы не сомневался. А то сомнение оттого, что я закусываю удила и не чувствую поводьев».

У Олсуфьевых он читает Корнеля и Расина и это чтение у него вызывает интересные мысли.

Там же, в дневнике своем, Л. Н—ч набрасывает несколько мыслей об искусстве, легших потом в основание его большого трактата «Что такое искусство?». По своему обыкновению, Л. Н—ч делал заметки сначала в своей записной книжке и потом по вечерам заносил то, что ему казалось более важным в свой большой дневник, при этом часто развивая и исправляя раньше записанное. Так было и в этом случае и эта черновая работа над совсем сырым материалом, особенно интересна. Вот что он записал под 27 февраля:

«Записано о том, что есть два искусства. Теперь обдумываю и не нахожу ясного выражения своей мысли.

«Тогда думал я то, что искусство, как верно определяют его, происшедшее из игры, от потребности всякого существа играть. Игра теленка: прыжки; игра чело-

[1]) Письма Л. Н. Толстого к жене. Стр. 498.

века: симфония, картинная поэма, роман. Это одно искусство и играть и придумывать новые игры, — исполнять старое и сочинять. Это дело хорошее, полезное и ценное, потому что развивает, увеличивает радости человека.

«Но понятно, что заниматься игрою можно только тогда, когда сыт. Так и общество может заниматься искусством только тогда, когда все члены его сыты. И пока все члены его сыты, не может быть настоящего искусства. А будет искусство пресыщенное, уродливое, и искусство голодных, грубое, жалкое, как оно и есть. И потому в этом первом роде искусства, — игры, — ценное только то искусство, которое доступно всем, увеличивает радости всех. Если оно таково, то оно не дурное дело, в особенности, если оно не требует увеличения труда угнетенных, как это происходит теперь.

«(Можно бы и нужно бы лучше выразить.)

«Но есть еще другое искусство, которое вызывает в людях лучшие и высшие чувства.

«Сейчас написал это, — то, что я говорил не раз, и думаю, что это неправда.

«Искусство только одно, и состоит в том, чтобы увеличивать радости безгрешные, общие, доступные всем, — благо человека. Хорошее здание, веселая картина, песня, сказка дает небольшое благо. Возбуждение религиозного чувства любви к добру, производимое драмой, картиной, пением, дает большое благо».

В марте Л. Н—ч снова переехал в Москву и прожил там до начала мая.

В Москве снова Л. Н—ч стал предметом общего внимания. В это время была, наконец, разрешена постановка «Власти тьмы» на сцене императорских театров, и драму Л. Н—ча давали в Москве.

«После первого представления «Власти тьмы» зимой 1896 года на сцене Малого театра в Москве,—рассказывает П. А. Сергеенко,—толпа студентов отправилась прямо из театра в Хамовнический переулок к Л. Н—чу Толстому, чтобы выразить ему свои чувства благодарности и любви.

Студенты столпились у ворот дома, где живет Л. Н—ч, и стали держать совет, как им приступить к выполнению задуманного плана. Удобно ли в этакую пору являться, хотя и с выражением добрых чувств! Ведь Л. Н—ч может уже и спать в данный момент. Но Лев Николаевич был в это время в гостях и возвращался домой с одним из своих приятелей. Как раз в ту минуту, когда у студентов шло совещание. Он был очень удивлен необычайным сборищем в Хамовническом переулке и, проскользнув между студентами, вошел во двор. Они тотчас же догадались, кто был старик, вошедший в дом, и осторожно позвонили.

— Мы пришли, чтобы выразить Льву Николаевичу нашу глубокую благодарность за «Власть тьмы», — сказали выборные.

Когда ему доложили о просьбе студентов, он пришел в крайнее замешательство.

— Зачем они это делают? Что я им скажу?

И когда через несколько минут толпа студентов вошла в переднюю и один из них, вставши на стул, взволнованным голосом обратился ко Льву Николаевичу с приветствием, а другие бросились целовать ему руки, он был потрясен и некоторое время не мог говорить» [1]).

Более серьезные тревоги доставляли Л. Н—чу известия о преследованиях, которые терпели некоторые из его друзей и знакомых за распространение его взглядов. Весьма понятно, что провести границу того, где кончается исповедание этих взглядов для себя, и где начинается их пропаганда — невозможно и потому старание администрации провести эту границу всегда терпели полную неудачу. Кроме того интерес к сочинениям Л. Н—ча, даже изучение их и даже передача из рук в руки не могла сама по себе доказывать принадлежность того или другого лица к этому «зловредному» учению и уличать это лицо в пропаганде.

---

[1]) П. А. Сергеенко. Как живет и работает граф Л. Н. Толстой.

А так как администрация и не старалась входить в суть дела, а ограничивалась тем, что черпала сведения из одних формальных, большею частью малограмотных доносов, то при этом получались самые изумительные результаты и, конечно, страдало много невинных.

Одним из таких случаев был арест в Туле женщины-врача Халевинской, друга дочерей Л. Н—ча, по какому-то доносу, за распространение запрещенных сочинений Толстого.

Л. Н—ч был вдвойне возмущен этим поступком администрации; ему было жаль слабую больную женщину Халевинскую, никогда не разделявшую его взглядов и не распространявшую их, и обидно за себя, главного виновника этих «зловредных» сочинений, которого администрация упорно не хотела знать. Эти чувства побудили Л. Н—ча написать в апреле этого года письмо министрам, которое он адресовал в тожественных копиях, одно — министру внутренних дел, другое — министру юстиции. В этом письме, возмущаясь поступками администрации, арестовывающих и ссылающих невинных людей и игнорирующих известного им, главного виновника преступной, по их мнению, пропаганды, Л. Н—ч указывает на себя и говорит:

«Такое лицо в данном случае я: я пишу те книги и письменным и словесным общением распространяю те мысли, которые правительство считает злом, и потому, если правительство хочет противодействовать распространению этого зла, то оно должно обратить на меня все употребляемые им теперь меры против случайно попадающихся под его действие лиц, виновных только в том, что они имеют интересующие их запрещенные книги и дают их для прочтения своим знакомым. Правительство должно поступить так еще и потому, что я не только не скрываю этой своей деятельности, но напротив, прямо этим самым письмом заявляю, что я писал и распространял те книги, которые считаются правительством вредными, и теперь продолжаю писать и распространять и в книгах, и в письмах, и в беседах такие же мысли, как и те, которые выражены в книгах. Сущность этих мыслей та, что людям открыт несомненный закон Бога, стоящий выше всех человеческих законов, по которому мы все должны не враждовать, не насиловать друг друга, а напротив, любить и помогать друг другу, должны поступать с другими так же, как хотели бы, чтобы другие поступали с нами.

«Эти-то мысли вместе с вытекающими из них практическими выводами я и выражал, как умел, в своих книгах, и стараюсь теперь еще яснее и доступнее выразить в книге, которую я пишу. Эти же мысли я высказываю в беседах и в письмах, которые я пишу знакомым и незнакомым людям. Эти самые мысли я выражаю теперь и вам, указывая на те, противные закону Бога жестокости и насилия, которые совершаются чинами вашего министерства».

В конце письма справедливо предполагая, что несмотря на его дерзкое письмо министры все-таки побоятся его взять, он со свойственной ему наивностью старается успокоить их, что им за это ничего не будет, он говорит так:

«И не думайте, пожалуйста, чтобы я, прося обратить против себя меры насилия, употребляемые против некоторых моих знакомых, предполагал, что употребление таких мер против меня предоставляет какое-либо затруднение для правительства, что моя популярность и мое общественное положение ограждают меня от обысков, допросов, высылок, заключения и других худших насилий. Я не только не думаю этого, но убежден, что если правительство поступит решительно против меня, сошлет, посадит в тюрьму, если приложит еще более сильные меры, то это не представит никаких особенных затруднений и общественное мнение не только не возмутится этим, но большинство людей вполне одобрит такой образ действия и скажет, что давно уже пора было это сделать» [1]).

Но и это не убедило министров; Л. Н—ча все-таки оставили в покое и про-

[1]) Посмертные сочинения Л. Н. Толстого. Т. XX. Стр. 146 и след.

должали беспокоить его друзей, следуя системе Победоносцева, именно этим самым и пожелавшего создать для Л. Н—ча казнь. Но друзья его знали это, и когда их действительно постигала какая-нибудь кара, они спешили приветствовать Л. Н—ча с еще большей любовью, прося его не беспокоиться об их участи, и козни врагов разлетались, как дым.

В половине мая Л. Н—ч переселяется на лето в Ясную Поляну.

В Ясной Поляне он совершает обычные прогулки верхом и на одной из этих прогулок, мимо чугуно-литейного завода Гиля, ему приходят в голову интересные мысли о капитализме и социализме. И он их записывает в свой дневник 5 мая в таком виде:

«Нынче ехал мимо Гиля, думал: с малым капиталом невыгодно никакое предприятие. Чем больше капитал, тем выгоднее, меньше расходов. Но из этого никак не следует, чтобы, по Марксу, капитализм привел к социализму. Пожалуй, он и приведет, но только к насильственному. Рабочие будут вынуждены работать вместе, и работать будут меньше, и плата будет больше, но будет то же рабство. Надо, чтобы люди свободно работали сообща, выучились работать друг для друга, а капитализм не научает их этому, напротив научает их зависти, жадности, эгоизму. И потому из насильственного общения через капитализм может улучшиться материальное положение рабочих, но никак не может установиться их довольство. Довольство может установиться только через свободное общение рабочих, а для этого нужно учиться общаться, нравственно совершенствоваться, охотно служить другим, не обижаясь на то, что не встречаешь возмездия».

До Л. Н—ча, жившего в Ясной Поляне, конечно, относительно не скоро дошли слухи об ужасах коронации, происходившей в то время в Москве, в мае этого года. Еще ничего не зная о «Ходынке», Л. Н—ч писал Черткову 10 мая:

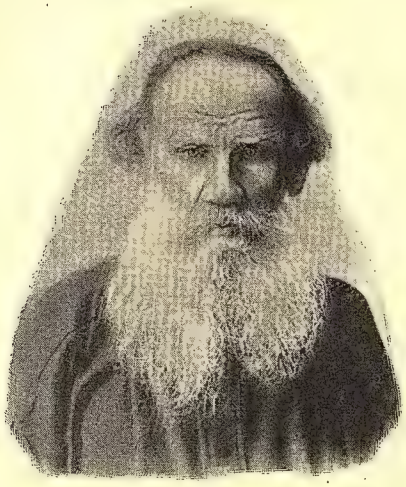
«С. А. с Мишей и Сашей уехали третьего дня на коронацию. Нынче ночью хотели вернуться. Мне рассказывали из верных источников, что с неделю или две тому назад в Москве найдены приготовления к взрыву и арестовано 15 человек. Как жалко обе стороны и как очевидно, что на этом пути, т.-е. при существующем складе мысли, не христианском, не может быть никакого улучшения, примирения, что всякое затишье только временное, внешнее, а что внутри кипит и разрастается злоба. Опять казни, страдание, раскаяние, заглушение раскаяния и все остальное. Слыша про это, только сильнее убеждаешься в необходимости непрестанной бдительности над собой, чтобы не содействовать как-нибудь своим раздражением этому злу, а чтобы противодействовать ему во всем и, главное, в себе. Вчера напакостила ночью собака Миши и я наступил и должен был чистить и потом с злостью гнал хлыстом и бил собаку. Я служил революции, взрывам, казням. И потом опомнился и постарался помириться с собакой. И служил делу единения, блага мира».

Самая Ходынка не могла, конечно, не вызвать ужаса и возмущения во Л. Н—че, но верный своему убеждению, что озлобление—самый худший из руководителей, он не поддался ему и в правдивой художественной картине, которой он запечатлел это событие, он сумел подчеркнуть чувство человечности, простой сердечной жалости рабочего к барышне-аристократке, которой он спас жизнь. Рабочий наградил ее еще неоценным воспоминанием. Рассказ кончается так:

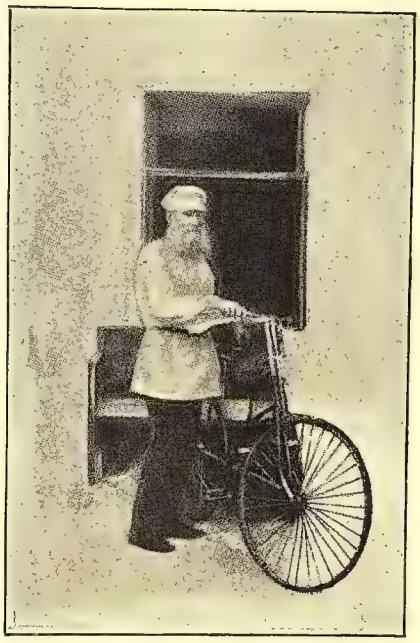
«Он улыбнулся такой белозубой, радостной улыбкой, которую Рина вспоминала, как утешение, в самые тяжелые минуты своей жизни» [1]).

Вероятно, вследствие увеличившейся популярности Л. Н—ча, за ним и за его

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. XIX. Стр. 371.



21. Л. Н-ч в 1897 году
(с фотографии Шерер и Набгольц).



22. С велосипедом.

посетителями был учрежден тайный полицейский надзор. Агент сыскной полиции поселился где-то вблизи Ясной Поляны. Но он не выдержал своей роли и пришел каяться ко Л. Н—чу, который записал в своем дневнике:

«Третьего дня был жандарм, шпион, который признался, что он подослан ко мне. Было и приятно и гадко».

Летние месяцы этого года Л. Н—ч был усиленно занят несколькими значительными литературными произведениями. Он значительно подвинул «Христианское учение» и с напряжением и интересом вырабатывал свое особое, новое отношение к вопросам искусства. Дневники его полны записями новых интересных мыслей. Мы уже приводили некоторые из них, приведем еще несколько, относящихся к летнему периоду. В конце мая он записывает мысли, вызванные чтением иностранных классиков:

«Стихотворение Маларме и др. Мы, не понимая их, смело говорим, что это вздор, что это поэзия, забредшая в тупой угол: почему же, слушая музыку непонятную и столь же бессмысленную, мы смело не говорим того же, а с робостью говорим: да, может быть, это надо понять, подготовиться и т. п.? Это вздор. Всякое произведение искусства — только тогда произведение искусства, когда оно понятно, не говорю: всем, но людям, стоящим на известном уровне образования, том самом, на котором стоит человек, читающий стихотворения и судящий о них. Это рассуждение привело меня к совершенно определенному выводу о том, что музыка раньше других искусств (декадентства в поэзии и символизма и пр. в живописи) сбилась с дороги и забрела в тупик. И свернувший ее с дороги был гениальный музыкант Бетховен. Главное — авторитеты и лишенные эстетического чувства люди, судящие об искусстве.

«Гете? Шекспир? Все, что под их именем, все должно быть хорошо и on se bat les flans, чтобы найти в глупом, неудачном прекрасное и извращают совсем вкус. А все эти большие таланты — Гете, Шекспиры, Бетховены, Микель-Анджело — рядом с прекрасными вещами производили не то что непосредственные, а отвратительные. Средние художники производят среднее по достоинству и никогда не очень скверное. Но признанные гении производят или точно великие произведения, или совсем дрянь. Шекспир, Гете, Бетховен, Бах и др.».

В июне он снова записывает мысли об искусстве в своем дневнике:

«Думал очень важное об искусстве: что такое красота? Красота то, что мы любим. Не по хорошу мил, а по милу хорош. Вот в том и вопрос: почему мил? почему мы любим? А говорить, что мы любим потому, что красиво, это все равно, что говорить, что мы дышим потому, что воздух приятен. Мы находим воздух приятным потому, что нам нужно дышать; и также находим красоту потому, что нам нужно любить. И кто не умеет видеть красоту духовную, видит хоть телесную и любит».

В июле встречаем в дневнике такие мысли:

«Вчера переглядел романы, повести и стихи Фета. Вспомнил нашу, в Ясной Поляне, неумолкаемую, в 4 фортепиано, музыку и так ясно стало, что все это — и романы, и стихи, и музыка — не искусство, как нечто нужное и важное людям вообще, а баловство... романы, повести о том, как накостно влюбляться, стихи о том же, или о том, как томятся от скуки. О том же и музыка. А жизнь, вся жизнь кипит своими вопросами о пище, размещении, труде, о вере, об отношениях людей... Стыдно, гадко. Помоги мне, Отец, раз'яснением этой лжи послужить Тебе».

И еще далее:

«Эстетическое наслаждение есть наслаждение низшего порядка. И потому высшее эстетическое наслаждение оставляет неудовлетворенность. Все хочется чего-то еще и еще. И без конца. Полное удовлетворение дает только нравственное благо. Тут полное удовлетворение, дальше ничего не хочется и не нужно».

Все эти мысли в разработанном виде легли в основание его трактата об искусстве. В приведенных выписках видно, как они зарождались.

Другое большое произведение, которым был занят Л. Н—ч, это было «Христианское учение». Оно было задумано давно. Сначала Л. Н—ч задумал изложить свое понимание учения Христа в самой простой форме, доступной рабочему народу и даже детям, и для этого он избрал катехизическую форму. Но дело не ладилось. Несколько раз в письмах к друзьям своим он жаловался на неожиданные трудности предпринятой работы, но всегда прибавлял, что все-таки эта работа очень привлекает его своей важностью и именно эта трудность указывает ему на то, как полезна для него эта работа, заставляющая его задуматься над многими пунктами своего мировоззрения, еще недостаточно уясненными, потому что они не поддаются простому изложению. Наконец, он увидал, что катехизическая форма вопросов и ответов стесняет его своей искусственностью, и он оставил ее, перейдя к простому изложению по главам, или параграфам, или пунктам. Работая все лето, он к осени довел это произведение до того вида, который, наконец, удовлетворил его настолько, что он дал его списать и позволил распространять в рукописи. Но полного удовлетворения работа эта ему не дала и он оставил ее.

В том виде, до какого он довел ее осенью 1896 года, работа представляет стройную систему изложения христианского учения.

I-я часть представляет нам мысли общего характера: о древних учениях, о духовном рождении, о Боге, об истинной жизни и т. д.

II-я часть есть учение о грехах, мешающих человеку жить истинною жизнью. Главных грехов Л. Н—ч насчитывает шесть: похоть, праздность, корысть, властолюбие, блуд и опьянение.

III-я часть есть учение о соблазнах, служащих оправданиями грехов. Этих соблазнов пять: личный, семейный, дела, товарищества, государственный.

IV-я. Существование этих соблазнов, затемняющих истину, обусловливается обманом веры. Это и есть главное зло. В этой же главе об'ясняется способ освобождения от обмана веры.

V-я. В этой главе излагается возможность для человека, освободившегося от обманов веры, избежать соблазнов, оправдывающих грехи.

VI-я. Глава посвящена борьбе и освобождению от грехов, что делается возможным после разрушения соблазнов.

VII-я. Глава излагает учение о молитве, дающей нам силу для борьбы с грехами.

VIII-я. Глава рассматривает вопрос о будущей жизни, при чем Л. Н—ч указывает на недостаточность всех известных до сих пор об'яснений о том, что ожидает человека после его смерти и заключает так:

«Одно достоверно и несомненно, это—то, что сказал Христос, умирая: «В руки Твои отдаю дух мой».

Именно то, что умирая, я иду туда, откуда исшел. И если я верю в то, что то, от чего я исшел есть разумная любовь (два эти свойства я знаю), я радостно возвращаюсь к Нему, зная, что мне будет хорошо. И не только не сокрушаюсь, но радуюсь тому переходу, который предстоит мне» [1]).

В этом виде произведение это было издано через год фирмой «Свободное Слово» под редакцией В. Г. Черткова, а в настоящее время оно свободно издается и продается в России.

Упомянем здесь об одном случайном произведении, относящемся к этому году, о статье: «Как читать Евенгелие?».

Статья эта была вызвана желанием Л. Н—ча дать руководство к чтению евангелия канонического, синодского издания, как более знакомого и распространенного, дать возможность из этой книги извлечь все, что есть в ней драгоценного и отнести на второй план менее важное. Л. Н—ч сам разметил все четверо-евангелие, и мы, руководствуясь его отметками, вырезали из синодского издания отмеченные им ме-

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. XV. Стр. 366.

ста и наклеивали их последовательно в особые тетрадки, так что получалось связное и сильное изложение самой сути евангелия в обычной, знакомой всем форме.

Получив известие из Голландии об отказе там от воинской повинности во имя учения Христа, Л. Н—ч пишет по поводу этого статью под заглавием «Приближение конца», в которой снова выясняет огромное значение таких отказов. Статья эта появилась этой же осенью в иностранных переводах.

Наконец, этим летом Л. Н—чем было начато и новое большое художественное произведение.

В июле Л. Н—ч поехал погостить к своему брату Сергею Николаевичу в его имение Пирогово.

В дневнике того времени Л. Н—ч записал:

«Вчера иду по передвоенному черноземному пару. Пока глаз окинет, ничего, кроме черной земли, — ни одной зеленой травки; и вот на краю пыльной, серой дороги куст татарника (репья). Три отростка: один сломан и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрыган грязью черной, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в середине краснеется. Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля хоть как-нибудь да отстоял ее».

Так было задумано большое художественное произведение.

В августе Л. Н—ч ездил с Софьей Андреевной гостить к своей сестре-монахине в Шамординский монастырь, близ Оптиной пустыни. И там сделал первый набросок повести «Хаджи-Мурата».

14 сентября он записывает в своем дневнике:

«За это время была поездка с Соней в монастырь. Было очень хорошо. Написал о «Хаджи-Мурате» очень плохо, на-черно. Все продолжаю свою работу изложение веры».

Но этими произведениями еще не ограничивается напряженная литературная деятельность Л. Н—ча за это время. Он пишет еще целый ряд писем, более или менее общественного значения, которые впоследствии получили с его разрешения большое распространение.

Таково было письмо, известное в печати под названием «Письма к либералам».

Оно написано было по следующему поводу. В Петербурге, при Имп. Вольно-экономическом обществе существовал возникший, кажется, в 60-х годах комитет грамотности. При нем была издательская комиссия, которая издавала хорошие, дешевые книжки для народа, но в очень ограниченном количестве и по цене, которая не могла конкурировать с лубочными, и потому они распространялись относительно слабо.

С возникновением «Посредника» деятельность комитета грамотности по изданию совершенно упала. Но в это время среди петербургской интеллигенции возник особый интерес к народной литературе и образовался кружок молодых людей, взявшихся за изучение народной литературы и за изыскание средств к ее упорядочению и улучшению. Сотрудники «Посредника» принимали в этом кружке деятельное участие. Желая придать своей деятельности более общественный характер, члены этого кружка вошли в состав комитета грамотности, находившегося до того времени в руках очень благонамеренных, но весьма умеренных пожилых людей. Приток свежих сил совершенно перевернул характер деятельности комитета. Старички удалились и во главе комитета стали видные общественные деятели, захотевшие воспользоваться правами Имп. Вольно-экономического общества для развития обширной просветительной деятельности по всей России путем литературы и общественных организаций. Несколько лет они могли производительно работать, но потом администрация испугалась их широких планов, и в 1896 году комитет грамотности был закрыт. Готовился общественный протест. И вот руководители этого движения

Александра Михайловна Калмыкова, давшая «Посреднику» свой ценный труд, книжку о «Сократе», редактированную Л. Н—чем, и Николай Александрович Рубакин, хорошо знавший его, обратились к нему с письмом, стараясь вызвать его к деятельному протесту против действия администрации. На это Л. Н—ч ответил письмом, которое сначала имело частный характер, но потом разрослось в целую статью, изданную В. Г. Чертковым, под названием «Письмо к либералам», впоследствии, с некоторыми сокращениями вошедшую под тем же названием в полное собрание сочинений.

В этом письме Л. Н—ч, отдавая должное прекрасной просветительной деятельности комитета грамотности, тем не менее отказывается принять участие в протесте, так как ему не свойственна такого рода деятельность и он не считает производительным затрату сил на такого рода борьбу. По мнению Л. Н—ча, всякому просвещенному человеку вполне естественно бороться с государственным насилием, задерживающим просвещение народа. Борьба эта бывает двух родов: борьба революционного насилия и борьба либеральных реформ. И та и другая не достигает цели. Революционное насилие или подавляется сильнейшим противником, или, в случае успеха террористической деятельности, вызывает в обществе реакцию, уничтожающую все плоды усилий и жертв. Борьба либерализма, т.-е. проведение постепенных реформ под флагом того же правительства, с которым ведется борьба, имеет ту невыгоду, что сами борющиеся должны совершать столько компромиссов, что результат достигнутой реформы никогда не окупит того зла, которое совершают эти борющиеся, оставаясь в рядах правительственных чиновников, исполняющих часто самые возмутительные реакционные распоряжения.

Остается одна прямая борьба «отстаиванье своих прав разумного и свободного человека, без всяких уступок и компромиссов, как и не может иначе отстаиваться нравственное и человеческое достоинство».

Это отстаивание человеческого достоинства и свободы должно выразиться в таком протесте:

«Вам угодно вместо мировых судей учредить земских начальников с розгами, это—ваше дело; но мы не пойдем ни судиться к вашим земским начальникам, ни сами не будем поступать в эту должность; вам угодно сделать суд присяжных одной формальностью, это—ваше дело, но мы не пойдем в судьи, ни в адвокаты, ни в присяжные; вам угодно под видом охраны установить бесправие, это—ваше дело, но мы не будем участвовать в ней и будем прямо называть охрану беззаконием и смертные казни без суда — убийством; вам угодно устроить классические гимназии с военными упражнениями и законом Божиим или кадетские корпуса, — ваше дело, но мы не будем в них учителями, не будем посылать в них наших детей, а будем воспитывать их так, как мы считаем хорошим; вам угодно свести на-нет земство,— мы не будем участвовать в нем; вы запрещаете печатать то, что вам не нравится,— вы можете ловить, сжигать, наказывать типографщиков, но говорить и писать вы не можете нам помешать, и мы будем делать это... вы велите служить в военной службе, — мы не будем делать этого, потому что мы считаем массовое убийство таким же противным совести поступком, как и убийство одиночное, а главное, обещание убивать, кого прикажет начальник, — самым подлым поступком, который может сделать человек; вы исповедуете религию, отставшую на тысячу лет от века... это—ваше дело, но идолопоклонство и изуверство мы не только не признаем религией, но называем изуверством и идолопоклонством и стараемся избавить от него людей».

Этот ясный и простой протест, это следование велениям своей совести дается только людям, установившим в душе своей «ясное и твердое религиозное мировоззрение, т.-е. сознание смысла своей жизни и своего назначения» [1]).

На это и должны быть направлены все силы души и разума людей, желающих служить другим.

---

[1]) Полное собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. XX. Стр. 152 и след.

Приблизительно на ту же тему, т.-е. о «неслужении правительству» Л. Н—ч пишет письмо редактору немецкого журнала, выражавшего сочувствие его взглядам.

Наконец, он пишет письма и другого рода, начальникам дисциплинарных батальонов: Иркутского и Екатеринодарского. В Иркутске были заключены Ольховик и Середа, о которых мы уже упоминали, а в Екатеринодарском — духоборы, за то же *преступление*, т.-е. за отказ во имя Христа убивать людей и готовиться к этому и обучаться этому искусству. В обоих этих письмах Л. Н—ч умолял мучителей пожалеть мучимых и ради своей души облегчить их страдания. Письма эти остались без ответа, но кто знает, где прорастут брошенные семена.

Из занятий Л. Н—ча чтением следует упомянуть его занятие индийской философией, которая все больше и больше захватывала его своим интересом, а также философия Спира.

Об этом замечательном философе Л. Н—ч несколько раз упоминает и в письмах и в своем дневнике. Так, 2-го мая он записывает следующее:

«Еще важное событие, это — сочинение Африкана Спира. Я сейчас прочел то, что написано в начале этой тетради. В сущности, это не что иное, как краткое изложение всей философии Спира, которую я не только не читал тогда, но о которой не имел ни малейшего понятия. Поразительно это сочинение осветило и с некоторых сторон подкрепило мои мысли о смысле жизни. Сущность его учения та, что вещей нет, есть только наши впечатления, в представлении нашем представляющиеся нам предметами. Представление (Vorstellung) имеет свойство верить в существование предметов. Происходит это оттого, что свойство мышления состоит в приписывании впечатлениям предметности, субстанциональности, проектировании их в пространстве»

Тогда же, в мае, он писал доктору Шкарвану: «Недавно получил из Штуттгарта сочинение Африкана Spir «Denken und Wirklichkeit» и др. Это одна из лучших философских книг, которые я знаю». В октябре того же года он пишет жене своей в Москву из Ясной Поляны:

«Читаю вновь открытого философа Спира и радуюсь. Читаю по-русски, в переводе, который мне прислала дама и который очень хотелось бы напечатать, но наверное не пропустит цензура именно потому, что это философия настоящая и вследствие этого касающаяся вопросов религии и жизни. Я бы напечатал у Грота и написал бы предисловие, если бы он сумел провести через цензуру. Очень полезная книга, разрушающая много суеверий, и в особенности суеверие материализма» [1]).

В дневнике своем он даже пытается набросать предисловие, в котором в сжатом виде Л. Н—ч старается выразить основные принципы идеалистической философии. К сожалению, это предисловие им не было окончено.

Конечно, литературная деятельность и чтение книг не заполняли всей жизни Л. Н—ча, оставался мир живых людей, стремившихся ко Л. Н—чу и к которым он сам стремился, как он сам говорил, выходя на прогулку на большую дорогу, где он беседовал с народом: иду в мой «grand monde» (большой свет). И в этом обществе простых людей имя Л. Н—ча и его личности имели большое влияние.

Характерную сцену из этой области передает П. А. Сергеенко в своей книге о Л. Н—че. Происшествие относится как раз к этому году. Вот его рассказ:

«В августе 1896 года в Ясной Поляне произошло трагическое событие: кучер нашел в пруду мертвого ребенка. Вся семья Толстых была очень потрясена этим событием. Особенно удручена была одна из дочерей Льва Николаевича, будучи почти убеждена, что мертвый ребенок принадлежит косой вдове, скрывавшей свою бере-

---

[1]) Письма Л. Н. Толстого к жене. Стр. 510.

менность. Но вдова упорно отрицала взводимое на нее обвинение и клялась, что она невинна.

Начали возникать подозрения на других.

Перед обедом Лев Николаевич отправился в парк, чтобы пройтись немного, и вернулся не скоро, при чем вид у него был усталый, взволнованный. Он был на деревне, у косой вдовы. Не убеждая ее ни в чем, он только внимательно выслушал ее и сказал:

— Если это убийство дело не твоих рук, то оно и страданий тебе не принесет. Если же это сделала ты, то тебе должно быть очень тяжело теперь... так тяжело, что ничего уже более тяжелого для тебя не может быть в жизни.

— Ох, как тяжело мне теперь, будто кто камнем сердце надавил! —вскрикнула, зарыдав, вдова и чистосердечно призналась Льву Николаевичу, как она задушила своего ребенка и как бросила его в воду» [1]).

Общения с ним искали и люди совсем иного мира, чтобы добраться до него, совершившие почти кругосветное путешествие. В конце сентября этого года Л. Н—ча посетили два японца литератора: Току-Томи и Фукай. Первый был редактором прогрессивного национального органа Кукумин-Шимбун. Второй его ближайший сотрудник. Мне пришлось быть в это время в Ясной Поляне и удалось даже сфотографировать этих посетителей. Они произвели как на Л. Н—ча, так и на всех домашних самое благоприятное впечатление. Вот что пишет Л. Н—ч о них своей жене, жившей тогда в Москве:

«С утра приехали японцы. Очень интересны, образованны вполне, оригинальны и умны и свободомыслящи. Один—редактор журнала, очевидно, очень богатый и аристократ тамошний, уже не молодой; другой маленький, молодой, его помощник, тоже литератор. Много говорили, и нынче едут. Жаль, что ты их не видала» [2]).

Разговор с ними происходил по-английски. Они рассказывали о различных бытовых условиях жизни своей родины, о необыкновенном развитии садоводства в Японии, и не скрывали своего гордого национального чувства, отдавая дань уважения общечеловеческим взглядам Л. Н—ча. Л. Н—ч совершил с ними и с другими бывшими тогда гостями большую прогулку по окрестностям Ясной Поляны. Вечером за чайным столом продолжался оживленный разговор. Так как Л. Н—ч тогда работал над статьей «Об искусстве», то разговор перешел на эту тему и, наконец, на музыку. Л. Н—ч спросил японцев о их народной музыке, обычно выражающейся в песне. Японцы сказали, что у них есть народные песни и предложили спеть. Мы приготовились слушать и каково же было наше удивление, когда мы услыхали вдруг одну какую-то высокую ноту, которую долго тянул пожилой японец, потом ее подхватил почти в унисон его товарищ, и так они долго тянули в нос, с небольшими переливами какую-то странную, монотонную песню, не похожую ни на что нами ранее слышанное. Удивление наше быстро сменилось смехом и все присутствующие покатились и сам Л. Н—ч от души смеялся до слез. Гости японцы чуть не смутились, приписав, вероятно, наш смех и наше непонимание нашему варварству, сказали, что по-японски эта песня очень художественна и содержательна.

Л. Н—ча, повидимому, заинтересовала эта неожиданность впечатления и он записал в своем дневнике по от'езде японцев:

«Японцы запели, мы не могли удержаться от смеха. Если бы мы запели у японцев, они бы смеялись. Тем более, если бы им играли Бетховена. Индийские и греческие храмы всем понятны. Всем понятны и статуи греческие. Понятна и живопись наша, лучшая. Так что архитектура, скульптура, живопись, дойдя до своего совершенства, дошли и до космополитизма, общедоступности. До того же дошло, в

---

[1]) П. А. Сергеенко. Как живет и работает Л. Н. Толстой.
[2]) Письма к жене. Стр. 507.

некоторых своих проявлениях искусство слова... В драматическом искусстве Софокл, Аристофан — не дошли. Доходят в новых. Но в музыке совсем отстали. Идеал всякого искусства, к которому оно должно стремиться, это общедоступность, а оно, особенно теперь музыка, лезет в утонченность».

На фоне такого общения с иностранцами происходили и странные курьезы.

В письме к С. А—не, в ноябре, Л. Н—ч сообщает следующее:

«Я тебе говорил, кажется, про чернильницу какую-то дорогую, которую в подарок мне хотели прислать из какого-то клуба в Барцелоне. Я написал им через Таню, что предпочитал бы предназначенные на это деньги употребить на доброе дело. И вот они отвечают, что получив мое письмо, они открыли в своем клубе подписку и собрали 22.500 франков, которые предлагают мне употребить по усмотрению. Я пишу им, что очень благодарен, и как раз имею случай употребить их на помощь духоборцам. Что из этого выйдет—не знаю. Очень это странно. А чернильница, говорят, заказана, и мы ее все-таки пришлем, вы можете ее продать и употребить деньги, как хотите» [1]).

В письме к Черткову Л. Н—ч пишет, что из Барцелоны еще получилось письмо, что подписка достигла уже 31.500 франков. Но в конце концов ни чернильницы, ни денег получено не было.

Среди всех этих разнообразных жизненных явлений назревало новое событие большой важности — гонение на духоборцев. Оно постепенно притягивало к себе внимание друзей Л. Н—ча и его самого и, наконец, он сам становится деятельным участником этого движения.

Положение духоборцев становилось все тяжелее и тяжелее и сведения об этом доходили до Л. Н—ча.

6 ноября он пишет Черткову:

«То, что вы пишете о замученном духоборе, ужасно. Неужели это правда? Как это было? Что вы знаете про это?

«Среди каких ужасов мы живем. Чувствуешь себя призванным делать что-то, бороться и от обилия дела отпадают руки. Вот где молитва нужна, мне по крайней мере. Хочется умереть так или иначе; или играть в теннис или за правду умереть, уйти. А надо жить. И тут-то без молитвы, без чувства хозяина, приставившего меня к делу, нельзя жить».

С. А—не об этом же он сообщает следующее:

«Вчера получил от Черткова и Трегубова письма с описанием бедствий, претерпеваемых духоборами. Одного, они пишут, засекли до смерти в дисциплинарном батальоне, а семьи их, разоренные, вымирают, как они пишут, от бездомности, холода и голода. Они написали воззвание за помощью к обществу, и я решил послать им из наших благотворительных денег 1.000 рублей. Лучшего употребления не найдут эти деньги, и они тебя поблагодарят за то, что ты, против моего желания выхлопотала эти деньги» [2]).

Как я уже упомянул выше, со времени сожжения оружия духоборами и моей поездки к ним, наша связь с ними не прекращалась. Мы следили за всем происходящим у них и все полученные сведения сосредоточивались у В. Г. Черткова, жившего тогда с семьей на своем хуторе Ржевске, Воронежской губернии. И у него и у меня возникла мысль об обращении к русским властям и к русскому обществу с воззванием о том, что жестоко и нелепо подвергать страданиям несколько тысяч духоборов с их женами и детьми, томить их в ссылке в бедных грузинских деревнях, с воспрещением отлучки, а потому с лишением их заработка, т.-е. обрекать на голодную

---

[1]) Письма Л. Н. Толстого к жене. Стр. 516.

[2]) Это был гонорар за представление «Плодов просвещения» и «Власти тьмы» на казенных театрах. Л. Н. не хотел его брать, а С. А. настояла и получила их. (Письма Л. Н. Толстого к жене. Стр. 514).

смерть прекрасных, здоровых, нравственных людей, отличавшихся всегда трудолюбием и трезвостью за то, что совесть их не позволяет им участвовать в делах насилия. Во всех наших решениях мы обращались, конечно, за советом ко Л. Н—чу. Он одобрил в принципе мысль о воззвании; первое составленное воззвание оказалось неудачным, и В. Г. Чертков вызвал меня в Ржевск для помощи в этом деле. В это время в Ржевск явились два духобора, Планидин и Ивин, делегатами от ссыльных с просьбою о помощи, так как болезни и смертность между ними усиливалась и достигала уже до 10%. Из 4000 сосланных к концу 1896 года умерло 400. Эти 400 жизней погибших без всякого повода лежат всецело на душе обезумевшей кавказской администрации. Медлить было нельзя. Приехав в Ржевск, я занялся составлением нового воззвания, которое и было общими усилиями закончено. Ему дано было название «Помогите», и мы решили ехать в столицу, чтобы распространением этого воззвания и личным влиянием двинуть дело помощи. Воззвание это было подписано тремя составителями: Чертковым, Трегубовым и мною. Л. Н—ч одобрил его и присоединился к нему, написав послесловие. Это было в декабре 1896 г. Л. Н—ч был тогда уже в Москве. Предвидя катастрофу, я съездил проститься с родными и отправился в Петербург, догнать Черткова, который был уже там, чтобы действовать заодно.

«Помогите» с послесловием было отпечатано на машинке во множестве экземпляров и разослано по заранее составленному списку лицам, стоящим во главе правительства и всем видным общественным деятелям и вообще всем, от кого можно было ждать какого-либо участия. Государю также был передан экземпляр. Последствия этого не замедлили обнаружиться. В квартире Черткова был произведен обыск, были отобраны все документы по духоборческому делу, и через несколько дней подписавшим воззвание была об'явлена административная ссылка на 5 лет под надзор полиции. При чем В. Г. Черткову ссылка была заменена высылкой за границу, меня же прямо отправили в ссылку в Курляндскую губернию, в город Бауск, близ Митавы. Это произошло 2-го февраля 1897 года, а самая высылка произошла через несколько дней. Л. Н—ч жил тогда у своего друга графа Олсуфьева в Никольском, близ Москвы. Получив телеграмму о нашей высылке, он приехал проводить нас в Петербург и провел с нами несколько дней; эти дни надолго останутся в моей памяти. Мы собирались каждый вечер в квартире Черткова, окружали Л. Н—ча тесным кольцом и задушевная беседа наша высоко поднимала наш дух и никакие козни дьявольские нам тогда не были страшны.

У Л. Н—ча, кроме нас, были в Петербурге родственники, друзья и знакомые, которых ему приятно было посетить. Он не был в Петербурге с 1882 года. Ему интересно было посмотреть на разросшийся с тех пор город. Он ходил по улицам Петербурга в своем старом нагольном полушубке и, конечно, не обошлось без курьезов со стороны публики и швейцаров, то вдруг узнававших его и почтительно или с восторгом приветствовавших его или, наоборот, не узнававших и показывавших к нему отношение, которое подобает иметь «чистым людям» к серому мужику.

Интересно рассказывает в своих воспоминаниях об этих петербургских похождениях Л. Н—ча его друг А. Ф. Кони, которого он тоже посетил:

«Мы виделись еще,—говорит Кони,—в 1897 году в Петербурге, куда Толстой приезжал проститься с Чертковым, которого в то время из-за постыдной религиозной непримиримости высылали за границу. Часов в 11 вечера, вернувшись домой из какого-то заседания, я сел за работу, развлекаемый долетавшими из соседней квартиры, — где жило семейство, занимавшееся торговлею под фирмою «Парфюмерия Росс», — звуками музыки, командными словами танцев и топотом ног. Там справляли нечто вроде нашего старинного девичника, называемого у немцев «Polterabend». Моя старая прислуга сказала мне, что меня спрашивает какой-то мужик. На мой вопрос, кто он такой и что ему надо так поздно, она вернулась со справкой, что его зовут Лев Николаевич. С нежным уважением провел я «мужика» в кабинет, и мы пробеседовали целый час, при чем он поражал меня своим возвышенным и всепрощающим отношением к тому, что было сделано с Чертковым. Ни слова упрека, ни

малейшего выражения негодования не сорвалось с его уст. Он произвел на меня впечатление одного из тех первых христиан, которые умели смотреть бестрепетно в глаза мучительной смерти и кротостью победили мир. Я не обратил внимания, что музыка у соседей затихла, но когда Толстой стал уходить, и я вышел проводить его на лестницу, то мы увидели, что на ней, в ожидании, столпились гости «Парфюмерии Росс»—декольтированные барышни и молодые люди во фраках. Толстой нахмурился, надвинул на самые глаза шапку и почти бегом побежал вниз. Оказалось, что моя служанка, увидев радостную почтительность, с которой я принял неизвестного мужика, усомнилась в его *подлинности*, стала из-за дверей вглядываться в его фигуру и вдруг была поражена сходством пришедшего с фотографическим портретом Толстого, подаренным мне Репиным. Она догадалась, в чем дело, торжественно провозгласила об этом в кухне, и — «пошла писать губерния»...

В этот же его приезд в Петербург одна моя знакомая девушка ехала с даваемого ей урока на службу по «конке». В вагон вошел одетый по-простонародному старик, на которого она не обратила никакого внимания, и сел против нее. Она читала дорогой купленную ею книжку о докторе Гаазе. — А вы знаете автора этой книги? — вдруг спросил ее старик, рассмотрев обложку. И на ее утвердительный ответ он просил ее передать мне поклон. Только тут, вглядевшись в него, она поняла, с кем имеет дело.—Мне захотелось — рассказывала она—броситься тут же в вагоне перед ним на колени, и я невольно воскликнула: «Вы, вы — Лев Николаевич?» — так что все обратили на нас внимание. — Толстой утвердительно наклонил голову, подал ей руку и поспешно вышел из вагона».

Конечно, Л. Н—ч посетил и своего старого друга, графиню Александру Андреевну Толстую. Это было их последним свиданием в этой жизни и оно обошлось не совсем благополучно. Предоставим Александре Андреевне самой рассказать об этом свидании. Мы заимствуем этот рассказ из ее воспоминаний:

«Второе и, покамест, последнее мое свидание с ним состоялось здесь в Петербурге, куда он приехал в 1897 году для прощания с его друзьями, Чертковыми.

«Лев с женою пробыли здесь в Петербурге дня два или три. Я с ними постоянно виделась и все шло прекрасно, исключая последнего вечера, проведенного у Ек. Н. Шостак, где Лев Николаевич, без всякого к тому повода, стал доказывать, что каждый разумный человек может спасать себя сам и что собственно ему для этого «никого не нужно». Понять было не трудно, кого он подразумевал под словом никого, — и сердце мое содрогнулось и заныло, как бывало.

«На досуге бессонной ночи я опять много передумала; зная, что Лев придет ко мне на другое утро для прощания, я спрашивала себя: надо или нет подымать этот вопрос?.. Легко может статься, что это будет наше последнее свидание, думала я, и в таком случае не буду ли я себя упрекать, если побоюсь сказать свое мнение еще раз? Но как только Лев пришел ко мне и я намекнула на вчерашний разговор, он вскочил с места, лицо его передернулось гневом, и вся напускная кротость исчезла.

— «Позвольте мне вам сказать, что я все это знаю в миллион раз лучше вас: я изучил все эти вопросы не слегка и своим верованием пожертвовал жизнь, счастье и все вообще (sic), а вы думаете, что можете меня чему-нибудь научить», и проч. и проч.

«Речь его была гораздо длиннее и вся дышала гордою самоуверенностью, но я даю здесь только то, что навсегда врезалось с болью в мое сердце и в мою память.

«Страшно выговорить: ему не нужно Того, кто Един спасает! И как понять всю двойственность, все противоречие этой необыкновенной загадочной натуры?!.

«С одной стороны—любовь к правде, любовь к людям, любовь к Богу и даже к тому Учителю, все величие которого он не хочет или не может признать. С другой стороны—гордость, тьма, неверие, пропасть...

«Не сам ли злой дух — древний змий — положил в сердце его отрицание, чтобы уничтожить, по возможности, богатые дары Господни?

«Отрицание проявилось у Л. Н—ча очень рано; это уже видно из его первона-

чальных сочинений; можно предположить даже, что оно развилось в нем параллельно с его лучшими дарованиями, и вот со ступеньки на ступеньку, d'étape en étape, он дошел, наконец, до величайшего и страшнейшего отрицания в мире — до отрицания божественности Христа.

«Не знаю, какое впечатление он вынес из нашего последнего свидания, и было ли у него хорошо на совести?

«А я даже не помню, как мы простились, и с тех пор мы больше не видались. Дай Бог нам притти когда-нибудь здесь или там к полному соглашению» [1]).

Эта наивная забота его доброго друга о его спасении всегда огорчала Л. Н—ча своей назойливостью, и он часто в письмах умолял ее относиться к его воззрениям хотя с долей того уважения, с которым он относится к ее верованиям. Эта назойливость и нетерпимость, вероятно, и вызвали ноту раздражения в его голосе.

Л. Н—ч уехал из Петербурга накануне нашей высылки, напутствуя нас самыми сердечными пожеланиями. Мы обняли его и разлучились с ним почти на 8 лет. Дальнейшее изложение событий его жизни мне придется снова делать по имеющимся в моих руках документам, исключив из них мое личное свидетельство и воспоминания.

ГЛАВА 20-я.

Молокане. Что такое искусство?

Простившись с нами, Л. Н—ч из Петербурга снова вернулся к Олсуфьевым в Никольское и прожил там до начала марта.

Ссылка наша произвела, конечно, сенсацию в обществе и сильно взволновала Л. Н—ча. Во многих письмах к друзьям и даже к малознакомым людям он говорит об этой ссылке со смирением и с самообличением, считая себя недостойным терпеть какое-нибудь преследование.

Вместе с тем одной из главных забот его было как-нибудь утешить, ободрить нас, сосланных его друзей; оказать нам какую-нибудь услугу, чем-нибудь выразить свою любовь к нам, которой, нам казалось, мы так мало заслуживали. И письма его к нам полны выражениями самых нежных, трогательных чувств. Приведу выдержки из наиболее характерных из них.

Уже 18 февраля, через неделю после моего от'езда, в ответ на мое первое письмо, Л. Н—ч писал мне следующее:

«Сейчас получил от вас письмецо, дорогой друг. С вами случилось то самое, чего я боялся за вас,—сознание одиночества тотчас по приезде на место и хотелось письмом облегчить вам это чувство. Получили ли вы мой 1-й №? Знаю и вы знаете, что одиночества нет для истинного нашего я. Но оно так иногда неразрывно сливается с животным слабым и страдающим, что трудно отделить его. Думаю о вас с большей любовью, чем когда-нибудь, но не могу жалеть и не жалею, знаю, что в вас даже эти страдания и одиночество только разработают в вас все лучшее...

«...Мы не говорили вам, но ведь это само собой разумеется, что поручения, если вам что нужно, никому не давайте, кроме нас. Мои девочки обе вас любят, хотя несколько иначе, но не меньше меня. Я все у Олсуфьевых с Таней. Маша хочет приехать. Я не в ссылке, а мне все это время уныло наверно более вас. Прощайте, голубчик, целую вас».

Ссылка моя была, собственно говоря, привилегированная, административным властям было предписано обращаться со мной вежливо, что они и делали. Но административная машина, помимо их воли, заставляла их совершать преступления, ко-

---

[1]) Толстовский музей. Том I. СПБ. 1911. Стр. 71.

торые иногда больно задевали мое самолюбие. Я, конечно, находил возможность об всем случившемся доводить до сведения Л. Н—ча и он искренно возмущался этими фактами. Вот такого рода возмущение отразилось в следующем письме ко мне, написанном через неделю после первого:

«Не получил еще от вас ни одного письма, кроме первого, в день вашего приезда, милый, дорогой друг П. Ах, как мне жалко, как мне больно, как мне стыдно за всех этих людей, которые вас возили, таскали, описывали, раскрывали ваши письма! Ведь ужасно то, что все эти люди, начиная с министра и до урядника, менее всего способны заботиться о чем-нибудь другом, кроме как о самих себе, и они поставлены в необходимость заботиться о других, о воображаемом общем благе, о том, чтобы Бирюков не заразил христианским чувством и своей добротой людей, окружающих его. Начинают ведь все эти люди с того, что предаются всякого рода наслаждениям еды, питья, охоты, нарядов, танцев, часто разврата и, не имея средств для этого, тянутся к государственному бюджету, собранному с народа, и для этого подчиняются всем требованиям правительства — лжи, лицемерия, насилия, убийства, читания чужих писем и всякой подлости. Когда же они подчинились всему этому, правительство дает им место, повышает их и кончается тем, что на всей лестнице управления от министра, через губернатора до исправника, заведуя всем: и религией, и нравственностью, и образованием, и порядком, и имуществом, и хозяйством, сидят преимущественно, исключительно даже, самые эгоистические сластолюбцы, поставленные в необходимость управлять народом, до которого им нет никакого дела.

«Простите, что пишу вам, милый друг, то, что вам мало интересно, да меня это так осветило и поразило.

«Я все еще у Олсуфьевых, где мне очень хорошо. Понемногу пишу об искусстве и все становится интереснее и интереснее. Хотя это и частный вопрос и есть другие вопросы более нужные и важные, не могу оторваться от начатой работы. И иногда утешаю себя мыслью, что освещение с христианской точки зрения того, что есть искусство, может быть существенно полезно».

Письмо это не было отправлено из опасения цензуры и заменено более кратким и менее резким. Неотправленное письмо сохранялось в архиве Татьяны Львовны Сухотиной и было передано мне уже после моего возвращения в Россию.

В это же время он писал Черткову в Англию:

«...Писал сейчас П. через Свербеева (губернатора). Его сын рассказывает, что П., будучи у него, написал письмо и хотел опустить в ящик, но Свербеев, бывший с ним очень любезен, сказал, что он не может допустить этого и должен прочесть письмо, тогда П. разорвал письмо. Какая гадость. Я думал, что это уже перестало случаться со мной, но опять случается в этом случае то, что случалось много раз, что придет мысль, которая кажется преувеличением, парадоксом, но потом, когда больше привыкнешь к этой мысли, видишь, что то, что казалось парадоксом, есть только самая простая и несомненная истина. Так теперь мне представляется мысль о том, что государство и его агенты, это—самые большие и распространенные преступники, в сравнении с которыми те, которых называют преступниками, невинные лица: богохульство, кощунство, идолопоклонничество, убийство, приготовление к нему, клятвопреступление, всякого рода насилие, мучение, истязание, сечение, клевета, ложь, проституция, развращение детей, юношей (читание чужих писем в том числе), грабеж, воровство — это все необходимые условия государственной жизни.

«Много у меня планов работы, но то, что случилось с вами и Пошей (при Ив. Мих. еще ничего не знаю) и, главное то, что случилось со мной, то, что меня не трогают, требует от меня того, чтобы высказать до смерти все, что я имею сказать. А я имею сказать очень определенное и если жив буду, скажу. Теперь же все занят статьей об искусстве и все подвигаюсь и, кажется, будет интересно и полезно».

В следующем письме к Черткову Л. Н—ч уже дает интересную оценку русской и заграничной жизни с точки зрения религиозного человека.

Он пишет между прочим так:

«Заграничная жизнь среди религиозных людей должна расширять требования от себя. У нас—для меня по крайней мере—так ясно, в чем приложение к жизни христианского мировоззрения: уничтожить пропасть, разделяющую нас, богатых, господ, от бедных, народа: на это должно быть направлено все — приближение себя к бедным и избавление бедных от их бедности и причин бедности, невежества, обманов. Но там, у вас, в Англии, другое: и народ не только обманут и задавлен, но выбивается из своего обмана и задавленности особенным способом, по-моему ложным, и потому там нужна борьба еще и против этого ложного способа. И богатые классы у нас только виноваты в сластолюбии и незнании, а там у вас еще в ложном средстве оправдания небратской жизни».

Уже этих нескольких отрывков достаточно, чтобы составить себе понятие о том, как следил и заботился Л. Н—ч о своих, удаленных от него, друзьях. Но у него и около себя было не мало заботы. Переписка его к этому времени достигла чрезвычайных размеров. Он переписывается буквально со всем светом. Норвежский писатель Биернсон посылает ему свои сочинения, через некую г-жу Брюмер. И он отвечает ей по-французски:

«Chère Madame Brummer,

Je vous suis très obligé pour l'occasion que vous me donnez de faire savoir à Biornson que j'ai reçu son livre «Der König», que je l'ai beaucoux admiré (je le dis très sincèrement pas par politesse, je l'ai lu à haute voie à plusieurs de mes amis en leur faisant remarquer les beautés, qui m'avaient frappé le plus) et que je le remercie bien cordialement d'avoir pensé á moi. C'est un des auteurs contemporains que j'estime le plus et la lecture de chacun de ses ouvrages me donn non seulement une grande jouissance mais m'ouvre de nouveaux horizons. Si vous lui écrivez, chère Madame, dites le lui. En vous remerciant encore une fois pour l'obligeance, que vous avez eu de m'ecrire, je vous prie de recevoir, Madame, l'assurance de mes sentiments distingués» [1]).

Совсем другого мнения был Л. Н—ч о сочинениях другого, не менее известного норвежского писателя Ибсена. Он считал его произведения искусственными и рассудочными и сознавался, что некоторые из них, как, напр., «Дикая утка», он совершенно не понимает.

Он переписывается с немцами, венгерцами, голландцами, сибирскими сектантами, японцами, американцами. Друзья его требуют у него отчета в его действиях и упрекают в непоследовательности. Он смиренно оправдывается, сознаваясь в своей слабости.

Так, один из друзей и единомышленников, П. Н. Гастев, узнав, что Л. Н—ч занят помощью духоборцам и стал собирать на это денежные средства, написал ему письмо с упреком в непоследовательности и напоминает ему о том, как сам Л. Н—ч страдал от помощи голодающим, неожиданно разросшейся в большое общественное дело. На это Л. Н—ч писал ему:

«Все, что вы пишете мне, дорогой Петр Николаевич, совершенная правда, и я сам всегда так не только думал и думаю, но всегда так чувствовал и чувствую. Непосредственно чувствую, что просить помощи материальной для людей, страдающих за истину, нехорошо и совестно. Вы спросите, для чего же я присоединился к воззванию, подписанному Ч., Б. и Т.? Я был против, так же как был даже против помощи голодающим в той форме, в которой мы ее производили, но когда вам говорят:

[1]) «Многоуважаемая госпожа Брюммер, я Вам очень обязан за доставляемый Вами мне случай дать знать Биернсону, что я получил его книгу «Король», которой я очень восхищался (я говорю это вполне искренно, а не из вежливости; я читал ее вслух многим из моих друзей, обращая их внимание на наиболее поразившие меня красоты), и что я его сердечно благодарю за то, что он вспомнил обо мне. Это один из современных авторов, которого я наиболее уважаю и чтение каждого его произведения доставляет мне не только удовольствие, но и открывает мне новые горизонты. Если Вы, сударыня, будете ему писать, скажите ему это. Выражая Вам еще раз мою благодарность за то, что написали мне, прошу принять уважение в совершенном почтении».

есть дети, старики, слабые, брюхатые, кормящие женщины, которые страдают от нужды и вы можете помочь этой нужде своим словом или делом, скажите это слово или сделайте это дело. Согласиться, значит стать в противоречие с своим убеждением, высказанным о том, что помощь настоящая всем всегда действительная, состоит в том, чтобы очистить свою жизнь от греха и жить не для себя, а для Бога, и что всякая помощь чужими, отнятыми от других трудами, есть обман, фарисейство и поощрение фарисейства; не согласиться — значит отказать в слове и поступке, который сейчас может облегчить страдание нужды. Я по слабости своего характера всегда избираю второй выход и всегда это мне было мучительно. Так было здесь. Когда Ч., Б. и Т. просили меня как бы засвидетельствовать их истинность и искренность, я написал свое прибавление, в котором старался обратить главное внимание на значение того, что делали духоборы. Вот вам моя исповедь по этому вопросу. Я очень рад, что вы написали мне, дали случай вам ответить и сами высказались так хорошо и верно».

В России в это время начинались волнения во всех слоях общества. Рассказы об этих волнениях доходили до Л. Н—ча и находили в нем сердечный отклик и серьезную оценку. А наиболее выдающиеся своей жестокостью поступки администрации вызывали в нем справедливое и искреннее возмущение. Но выражая свое возмущение и отзываясь на современные события, Л. Н—ч всегда оставался верен себе, освещая их свойственным ему пониманием смысла жизни.

Таков был трагический случай с Ветровой в феврале этого года. Сам Л. Н—ч в письме к Черткову рассказывает об этом так:

«В Петербурге произошло 12 февраля следующее: Ветрова, Марья Федос., которую вы знали и я знал, курсистка, посаженная в дом предварительного заключения по делу стачек, мало замешанная, была переведена в Петропавловскую крепость. Там, как говорят и догадываются, после допроса и оскорбления (это неизвестно еще) облила себя керосином, зажглась и на третий день умерла. Товарки ее, навещавшие ее, носили ей вещи, их принимали и только через две недели им сказали, что она сожгла себя. Молодежь, все учащиеся до 3.000 человек (были и из духовной академии), собрались в Казанский собор служить панихиду; им не позволили, но они сами запели «вечная память», и с венками хотели итти по Невскому, но их не пустили, и они пошли по Казанской. Их переписали и отпустили. Все возмущены. Я получаю письма и приезжают люди, рассказывают. Ужасно жалко всех участвующих в этих делах, и все больше и больше хочется раз'яснить людям, как они сами себя губят только потому, что презрели тот закон, или не знают, который дан Христом и который избавляет от таких дел и участия в них».

И вот он пишет А. Ф. Кони, прося разузнать об этом деле и сообщить самые верные подробности:

«Вчера вечером сын мой рассказал мне про страшную историю, случившуюся в Петропавловской крепости и про демонстрацию в Казанском соборе. Я не совсем поверил истории в особенности потому, что слышал, что в Петропавловской крепости теперь уже не содержат заключенных. Но нынче утром встретившийся мне профессор подтвердил мне всю историю, рассказал, что они, профессора, собравшись вчера на заседание, не могли ни о чем рассуждать, так как все они были потрясены этим ужасным событием. Я пришел домой с намерением написать вам и просить сообщить мне, что в этом деле справедливо, так как часто многое бывает прибавлено и даже выдумано. Не успел я еще взяться за письмо, как пришла приехавшая из Петербурга дама, друг погибшей, и рассказала мне все дело и то, что лишившая себя жизни девушка Ветрова мне знакома и была у меня в Ясной Поляне. Неужели нет возможности узнать положительно причину самоубийства, то, что происходило с ней на допросе и успокоить страшно возбужденное общественное мнение, успокоить такой мерой правительства, которая показала бы, что то, что случилось, было исключением, виною частных лиц, а не общих распоряжений, и что то же самое не

угрожает при том молчаливом хватании и засаживании, которые практикуются, всем нашим близким? Вы спросите, чего же я хочу от вас? Во-первых, если возможно, описание того, что достоверно известно об этом деле и, во-вторых, совета, что делать, чтобы противодействовать этим ужасным злодействам, совершаемым во имя государственной пользы. Если вам некогда и не хотите отвечать — не отвечайте, если же ответите, буду очень благодарен».

Вскоре новое злоупотребление администрации, уже не полицейской, а той, которую по какой-то странной иронии называют «духовной», вызвало Л. Н—ча к активной деятельности. Это были последние годы управления Победоносцева, и он, замечая шатание основ старался, а подчиненные ему люди старались сугубо, водворить православие всеми доступными им средствами, при чем в выборе этих средств они стеснялись очень мало. Одно из таких жестоких средств, редко практиковавшихся, но время от времени пускавшихся в ход, было отнятие детей от родителей, замеченных в уклонении от православия, и передача этих детей в «надежные руки».

И вот в конце XIX столетия Победоносцев вводит это средство в действие. Пораженные горем родители приезжают ко Л. Н—чу, веря в силу его стояния за правду. И они не ошиблись. Борьба Л. Н—ча за это освобождение детей представляет разные характерные фазисы, которые мы и постараемся передать, пользуясь имеющимися в наших руках документами:

В мае Л. Н—ч писал между прочим Черткову:

«Теперь о деле, занимающем меня. Я вам писал про молокан, у которых отняли детей. Я тогда написал с ними письмо к государю, поручив им отдать его Олсуфьеву, если же нет Олсуфьева, то Heath'у, если его нет, то Т—ву, если и того нет, то А. А. Толстой. Кроме того Лева дал им письмо к Георгию Михайловичу. Один из молокан служил в его роте и во время голодного года был у него от Левы. Молокане пошли к прислуге Георгия Михайловича. Там им сказали, что все эти письма и, главное, письмо к государю опасно и надо скорее его уничтожить. Они так и сделали и, получив от Георгия Михайловича обещание, что он похлопочет (обещание, очевидно, ничего не обещающее), вернулись ко мне. Мне было жалко, так как случай этот казался мне хорошим для того, чтобы высказать все то, что делается в этом духе.

«В день возвращения ко мне молокан приехал и Буланже. С его совета я вновь переписал письмо и он повез его сам. Я также дал ему письма к тем же лицам с уговором, что если Олсуфьев возьмется передать, то он телеграфирует мне: взялся передать первый. И такую телеграмму я уже получил дней 10 тому назад и с тех пор ничего не знаю. Когда будет можно, сообщу вам последствия.

«Мы все знаем, что Бог есть любовь и потому любовь победит все; но когда мы прилагаем к делу любовь и видим, что она не побеждает, а зло остается злом, мы говорим себе: любовь в этом случае недействительна (как будто Бог может быть недействителен), и не веря в любовь, не делаем дела любви, как бы телеграфист перестал телеграфировать, потому что не видит, как на той станции выходит лента».

Так старался Л. Н—ч сам себя убедить в том, что надо не переставая отплачивать делами любви за зло, которое нам делают люди.

Несомненно, что это чувство искренней любви к людям, без различия их внешнего положения, от царя до крестьянина, одушевляло Л. Н—ча, когда он писал государю об этих ужасных преследованиях сектантов. Вот это замечательное письмо:

«Государь!

«Читая это письмо, я очень просил бы вас забыть про то, что вы, может быть, слышали про меня и, оставивши всякое предубеждение, видеть в этом письме только одно выражение желания добра безвинно страдающим людям, и еще более сильное желание добра вам, тому человеку, которого так естественно обвинять в этих страданиях.

«Месяц тому назад в селе Землянке, Бузулукского уезда, к крестьянину Чипелеву, молоканину по вере, в 2 часа ночи явился урядник с полицейскими и велел будить детей с тем, чтобы увезти их от родителей. Ничего не понимающих испуганных мальчиков, одного 13 лет, другого 11 лет, одели и вывели на двор, но когда урядник хотел взять двухлетнюю девочку, мать схватила дочь и не хотела отдать ее. Тогда пристав сказал, что велит связать мать, если она не пустит дочь. Отец уговорил жену отдать ребенка, потребовал от пристава расписку, в которой бы было объяснено, по чьему распоряжению взяты дети.

Вот эта расписка:

«1897 года апреля 6-го дня, в исполнение предписания Его Высокоблагородия Господина Бузулукского уездного исправника, от 3-го сего апреля за № 2312, полицейский служитель Бузулукской команды Захар Петров от крестьянина села Бобровки Всеволода Чипелева, проживающего в селе Алексеевке, трое детей: Иван, Василий и Марья сего числа для представления Господину Исправнику взяты.

Полицейский Урядник 5 участка *И*...

Полицейский *И*... 4.

«Через несколько дней после этого в другой деревне Антоновке, того же уезда, также ночью в дом крестьянина Болотина, тоже молоканина, также пришли урядник с полицейским и велели собирать в дорогу двух девочек, одну 12 лет, другую 10 лет.

«Хотя Болотин и слышал от священника и пристава угрозы о том, что если он не обратится в православие, которое он оставил уже 13 лет тому назад, то у него отберут детей, он все-таки не мог поверить, чтобы такая страшная мера была принята против него по распоряжению высшего начальства, и не дал детей.

«Но на другой день явился пристав с урядником и полицейскими и девочек взяли и увезли.

«То же самое и в ту же ночь произошло и в семье крестьянина той же деревни Самошкина. У Самошкина отняли единственного пятилетнего сына. Отнятие этого ребенка особенно поразительно своей жестокостью. Мальчик этот составлял радость и надежду семьи, так как после многих лет это был единственный сын, оставшийся в живых. Когда брали этого ребенка, он был болен и в жару. На дворе было свежо. Мать упрашивала оставить его на время. Но пристав не согласился, и сообразно с мнением доктора, решившего, что для жизни ребенка нет опасности в переезде, велел уряднику взять ребенка и везти его, но мать упросила пристава позволить ей самой ехать с сыном до города Бузулука. В городе же мальчика отняли от матери и больше уже не видала его. На все прошения, которые подавали эти крестьяне, они не получили ответа и не знают, где их дети.

«Ведь это ужасно. Ведь такие дела делались только во времена инквизиции. Нигде, и в Турции невозможно ничего подобного, и никто в Европе не поверит тому, чтобы это могло делаться в христианской стране в 1897 году. А между тем все это совершенная правда, и один из тех отцов, у которого теперь отняли детей, теперь в Петербурге, привез это письмо и может засвидетельствовать истину его.

«Все это ужасно; но ужаснее всего то, что это не единичный случай, а только один из тысячи совершаемых таких дел в России, я мог бы представить самые убедительные, если бы бумаги, собранные Чертковым для передачи вам в форме записки о гонениях за веру, не были бы нынешней зимой отобраны у него полицией.

«Впрочем, для того, чтобы убедиться в том, правда ли это, правда ли то, что тысячи и тысячи русских людей не только разоряются, изгоняются из родины и ссылаются в дальние страны, и разлучаются с детьми и томятся в острогах, монастырях и домах умалишенных, но часто прямо самым страшным образом истязуются грубым сельским начальством, считающим все для себя позволительным по отношению к врагам православия. Вам стоит только послать беспристрастного, правдивого человека на место изгнания гонимых за веру, — в Сибирь, на Кавказ, в

Олонецкий край и по местам заключения, и из донесения этого человека вы бы сами увидали те страшные дела, которые совершаются вашим именем.

Говорят, что это делается для поддержания православия, но величайший враг православия не мог бы придумать более верного средства для отвращения от него людей, как эти ссылки, тюрьмы, разлуки детей с родителями.

«Я знаю, что есть люди, которые имеют смелость утверждать, что в России существует веротерпимость и даже бо́льшая, чем в других странах, что эти ссылки, разорения, тюрьмы, разлуки детей с родителями суть только меры противодействия совращению, а не гонения. Но ведь это самая явная и наглая ложь. В России не только нет веротерпимости, но существует самое ужасное грубое преследование за веру, подобного которому нет ни в какой стране не только христианской, но даже магометанской.

«Государь, люди, которые стараются удержать вас на ложном пути преследования за веру, люди старые, которые не могут изменить своих, раз укоренившихся взглядов, не могут освободиться от наложенных на самих себя цепей прежних ошибок, упорствуя в которых они думают оправдать себя. Но эти люди кончают жить и место их в памяти людей уже твердо определено их делами, — но у вас вся жизнь впереди, вам предстоит еще занять соответственное вашим делам место в памяти людей, вы ничем не связаны, вы не только признаете необходимость веротерпимости, но во всех делах воодушевлены самыми добрыми чувствами.

Сделайте же усилие, государь, и отстраните от себя, хоть на время, тех, не скажу злых, но заблудших людей, которые вводят вас в обман о необходимости преследований людей за веру, и сами своим добрым сердцем и прямым умом решите, как надо исповедывать ту веру, которую считаешь истиной, и как надо относиться к людям, которые исповедуют иную веру.

«Государь, ради Бога, сделайте это усилие, и, не откладывая и не передавая это комиссиям и комитетам, сами, не подчиняясь советам других людей, а руководя ими, настойте на том, чтобы действительно были прекращены гонения за веру, т.-е. чтобы отпущены были изгнанные, освобождены заключенные, возвращены дети родителям и, главное, отменены те запутанные и произвольно толкуемые законы и административные правила, на основании которых делают эти беззакония.

«Воспользуйтесь случаем сделать то доброе дело, которое вы один можете сделать и которое, очевидно, предназначено вам.

«Случаи не всегда представляются и не возвращаются, когда пропущена возможность воспользоваться ими. Сделав это дело, вы не только сделаете одно из тех добрых дел, которые предоставлено делать только государям, и займете высокое место в истории и памяти народа, но что важнее всего,—вы получите внутреннее удовлетворение сознания исполненной воли Бога и предназначенного вам Богом дела.

«Простите, если чем-нибудь неприятно подействовал на вас в этом письме. Повторяю, что побудило меня писать только желание добра страдающим людям и еще более сильное желание добра вам, именем которого налагаются на невинных людей эти страдания.

11 мая 1897 г. Ясная Поляна. *Л. Т.*»

В письме к Черткову Л. Н—ч говорит, что он написал несколько писем к различным сановникам, прося кого-нибудь из них передать это письмо. В нижеприводимом письме к одному из сановников Л. Н—ч высказывает свое отношение к этому письму и потому мы приводим его здесь целиком:

Дорогой и уважаемый Александр Васильевич, насколько я узнал и понял вас, я уверен, что вы не посетуете на меня за то, что я обращаюсь к вам с просьбой передать государю прилагаемое письмо, описывающее возмутительные дела, которые делаются над сектантами. Письмо это передаст вам один из пострадавших: он

23. Группа, снятая в Петрограде перед ссылкой Черткова и Бирюкова в 1897 году.

Стоят в заднем ряду, слева направо: Н. Н. Ростовцева, М. В. Сяськова, Н. Н. Ге, Лев Николаевич, В. Г. Чертков, П. П. Бирюков, И. Е. Репин, Кривош, П. Н. Шаранова; сидят: М. Н. Ростовцева, О. К. Клодш, М. К. Дитерихс, А. К. Черткова, О. К. Дитерихс, Альб Шкарван, Пв. Пв. Горбунов-Посадов; сидят на полу: Дима Чертков и Вас. Метальников.

может передать подробности дела тем, кому это понадобится. Я знаю, что мне менее, чем всякому другому, подобает хлопотать о сектантах, так как я сам считаюсь вредным сектантом, но что же мне делать, когда люди приезжают ко мне и просят помощи?

«Письмо не запечатано для того, чтобы вы могли его прочесть. Я много думал над этим письмом и все, что написал, написал от сердца и правдиво. Официальных фраз и придворных формальностей я писать не могу.

«За то, что отсутствуют формальности, присутствует правдивость. Все, что я написал, я думаю и чувствую. Надеюсь, что государь ради этого простит отступление от формы. Писал я с искренним уважением и любовью к нему, как к человеку.

«Если вам почему-либо неприятно, неудобно или просто нельзя самому передать это письмо, то перешлите его, пожалуйста, Александре Андреевне Толстой с прилагаемым к ней письмом. Если же ее нет, или ей нельзя, то опустите письмо в ящик. Пускай оно пойдет обычным порядком, при котором, кажется, самые письма не доходят до государя.

«Хотел написать: простите, что утруждаю вас, но думаю, что это извинение было бы неприятно вам. Я уверен, что вы будете рады помочь этому делу.

«Дружески жму вам руку. Искренно уважающий и любящий вас Лев Толстой. 10 мая, Ясная Поляна. Тула. 1897».

Из письма к Черткову видно, что лицо это исполнило поручение Л. Н—ча и передало письмо государю. Видимых, непосредственых последствий это письмо не имело. Но кто знает, какие семена оно забросило в душу молодого монарха и какие плоды дало дерево, выросшее из этих семян?

Дети продолжали быть в разлуке с родителями. Осенью, в сентябре, снова явились молокане ко Л. Н—чу, умоляя похлопотать о возвращении им детей.

Л. Н—ч мог только повторить те хлопоты, которые он предпринимал весной. Мы видим это из его письма к Черткову, которому он между прочим писал:

«По делу молокан я решил направить их опять в Петербург с письмом к государю, опять через Олсуфьева, Heath'a и писал Лизавете Ивановне. Но государя нет и Лиз. Ив., верно, нет, потому что не получил ответа на телеграмму. Они уехали 4 дня тому назад. Ничего не знаю, что будет. А жалко. Случай высказаться был хороший. Копию с письма пришлю, если Бог велит».

В архиве покойной дочери Л. Н—ча, в замужестве княгини Оболенской, сохранилось несколько вариантов этого второго письма Л. Н—ча к государю, не отправленного ему, об отнятых у молокан детях. Мы выбрали наиболее полный вариант. Вот он:

«Ваше Императорское Величество. Простите меня, если письмо мое будет неприятно вам, но я вынужден писать вам и по тому же делу, по которому уже писал в мае. С тех пор прошло четыре месяца и на все ходатайства родителей, у которых были отобраны дети, так же как и на мое письмо к Вашему Величеству, не последовало никакого ответа, ни распоряжения, отменяющего отнятие детей у родителей. И вот один из этих родителей, по поручению других своих сотоварищей, вновь приехал ко мне, слезно умоляя помочь его горю.

«Недавно редактор самой консервативной и православной газеты «Гражданин» с осуждением и возмущением писал о разбиравшихся на миссионерском с'езде мерах против сектантов, когда в числе этих мер было предложено отнятие детей у родителей. Редактор укорял членов с'езда в том, что они в противность воле и указаниям государя могли предложить и рассматривать такую жестокую и нехристианскую меру. Из этой статьи «Гражданина», казалось бы, должно заключить, что хотя и могут употребляться меры против сектантов, такая ужасная и бесчеловечная мера, как отнятие малых детей у родителей, не только не может быть одобрена русским правительством, но даже и немыслима. А между тем, как я писал это Вашему Величеству, еще в апреле месяце малолетние дети были увезены от родите-

лей молокан, помещены в монастырях, а отцы этих детей тщетно ходят по всем ведомствам, отыскивая средства возвращения детей, или хоть какого-нибудь об'яснения, почему именно у них похищены их дети, и теперь опять приехали ко мне, прося помочь их горю. Что дети отняты у родителей, нет никакого сомнения, и в том, что дети отняты совершенно произвольно и незаконно, так как десятки и сотни детей, не отнятых у других молокан, находятся в тех же условиях. (Есть крещеные дети, которые не отняты, в числе же отнятых есть и некрещеные.) Нет сомнения также и в том, что такая мера, как отнятие детей у сектантов, считается в правительственных кругах мерой жестокой, бесчеловечной и не согласной с вашим взглядом на дело, как это выразила редакция «Гражданина» в статье по поводу миссионерского с'езда, в конце же печатается, что такие меры в наше время и в нашем государстве—немыслимы. Что факт отнятия детей у молокан известен Вашему Величеству — несомненно, а между тем дело продолжается. Что же это значит? Об'яснение этому есть только одно: то, что Ваше Величество жестоко обмануто, что от Вас скрывается то, что делается вашим именем. И потому вновь умоляю Ваше Величество сделать усилие, чтобы разрушить тот обман, которым вы окружены, и самому исследовать это возмутительное дело, служащее поразительным образцом тех позорящих русское правительство деяний, которые совершаются для мнимого поддержания православия. Для исследования же этого дела есть самый простой и легкий способ. Один из родителей отнятых детей теперь в Петербурге. Он все подробно и обстоятельно расскажет; чиновники же, руководившие отнятием детей и производившие его, подтвердят его показание.

«Еще раз прошу Ваше Величество простить меня, если письмо мое будет вам неприятно и верить мне, что я не мог поступить иначе и что главная причина, заставившая меня обратиться к вам, заключается в уважении к личности Вашего Величества и в искреннем желании вам добра.

«С совершенным уважением и преданностью, имею честь быть Вашего Величества покорный слуга Лев Толстой. 19 сент. 1897 г.».

Потерпев неудачу в этом направлении, Л. Н—ч решил испытать еще одно средство. В это время старшая дочь Л. Н—ча, Татьяна Львовна, не бывшая еще тогда замужем, гостила в Петербурге у своих друзей. Л. Н—ч решил воспользоваться пребыванием ее в Петербурге, чтобы предпринять новые хлопоты.

Татьяна Львовна, конечно, с радостью взялась за исполнение поручения отца и привела это дело к быстрому и благополучному концу. Заимствуем описание ее хлопот по этому делу из ее дневника; описание представляет весьма характерную картину нравов тогдашней, уже пережитой нами эпохи.

В своем дневнике, в октябре 1897 года, Татьяна Львовна записала между прочим следующее:

«Прожила я в Петербурге неделю и собиралась уехать домой, как получила от папа телеграмму, следующего содержания: «В Петербург едут молокане, останься, помоги им». Мне было немного неловко злоупотреблять гостеприимством моих хозяев, но помощь моя была важнее моего scrupul'a и я осталась. День до приезда молокан я хотела употребить для нахождения путей для оказания им помощи и стала соображать, куда мне направиться. Я знала, что государь получил письмо папа, в котором он подробно писал об отнятии детей у трех молокан, знал, что Кони сделал, что мог, для них в сенате, что Ухтомский в своей газете напечатал письмо папа об этом деле и знала, что никто на это не откликнулся ниоткуда, стало быть надо было искать иных путей.

«Так как дело, очевидно, зависело от Победоносцева, то я решила пойти прямо к нему. Я решила телефонировать и спросить, когда могу застать Победоносцева. Он назначил мне свидание между 11 и 12 часами на следующее утро. На другой день я встала, оделась и собралась уже уходить, не дождавшись молокан, как полу-

чила письмо от папа, принесенное ими. Папа писал, чтобы я хлопотала чрез Мейендорфа, Кони и Ухтомского, прислал письмо двум последним и этим сбил меня с толку. Когда я была у Олсуфьевых, то был разговор о том, что если надо предать это дело гласности, то можно употребить Ухтомского, но сомнительно, поможет ли гласность в данном деле, а скорее не повредит ли. Тогда я решила действовать независимо от письма папа и только занести письмо к Кони, сказавши ему, что я решила предпринять. Кони сказал мне, что если бы я спросила его совета, что делать, то этот совет он не дал бы мне, но посещение мое повредить делу не может. Он показал мне закон, по которому всякие родители, крещеные в православную веру и воспитывающие своих детей в другой вере, заключаются в тюрьму, при чем дети у них отбираются. Потом он дал мне совет, через кого действовать, если я захочу подать прошение на высочайшее имя, и отпустил, не надеясь на успех. От него я поехала прямо в дом церковного ведомства на Литейной. Войдя в переднюю, я сказала швейцару доложить Константину Петровичу, что гр. Толстая хочет видеть его. Швейцар спросил: Татьяна Львовна? Я сказала: да. Пожалуйте, они вас ждут. Я прошла в кабинет, в который тотчас же вошел и Победоносцев. Он выше, чем я ожидала, бодрый и поворотливый. Он протянул мне руку, пододвинул стул и спросил, чем может служить мне. Я поблагодарила его за то, что он принял меня и сказала, что отец ко мне послал молокан с поручением помочь им. Я ему рассказала их дело и откуда они. «Ах да, да, я знаю,—сказал Победоносцев,—это самарский архирей переусердствовал. Я сейчас напишу губернатору об этом... знаю, знаю... Вы только скажите мне их имена и я сейчас напишу». И он вскочил и пошел торопливым шагом к письменному столу. Я была так ошеломлена быстротою, с которою он согласился исполнить мою просьбу, что я совсем растерялась, тем более, что у меня было с собой черновое прошение молокан, но имен их на нем не было. Я ему это сказала, прибавив, что я никак не ожидала такого быстрого результата своей просьбы, а надеялась только на то, что он посоветует мне, что можно предпринять. Тут я ему сказала, что крестьяне хотят подавать прошение на высочайшее имя, прочла ему его и спросила, советует ли он все-таки его подавать. Прослушав прошение, Победоносцев сказал, что незачем его подавать, что об этом деле довольно говорили и писали и что во всяком случае дело это придет к нему и решение его будет зависеть от него. Потом он сказал, что слышал, что детям в монастыре так хорошо, что они и домой не хотят итти. Я сказала, что это может быть, но что для родителей большое горе лишение своих детей. «Да, да, я понимаю, это все архиерей самарский усердствовал: у 16 родителей отняты дети. У нас и закона такого нет». А я только что видела этот закон у Кони и не удержалась, чтобы не сказать: «Виновата, этот закон, кажется, существует, но, к счастью, не бывал применен». «Да, да, так вы пришлите мне имена этих молокан и я напишу в Самару». Я подумала, не надо ли еще что-нибудь спросить и так как ничего не пришло больше в голову, я встала и простилась. Победоносцев проводил меня до лестницы, спросил, надолго ли я в Петербурге и на верху лестницы он простился со мной. Вдруг, когда я уже сошла вниз и стала одевать шубу, он опять вышел и окликнул меня: «Вас зовут Татьяной? По отчеству Львовной? Так вы дочь Льва Толстого? Так вы знаменитая Татьяна?» Я расхохоталась и сказала, что я по сих пор этого не знала. «Ну, до свиданья». Я ушла и всю дорогу домой хохотала и придумывала, зачем он притворился, что не знает, с кем говорил. Когда швейцар назвал меня по имени, я сказала, что отец прислал молокан и он сам сказал, что о них столько было говорено и писано. Кони, который на другой день утром пришел ко мне, об'яснил это тем, что если бы Победоносцев признал меня за дочь Толстого, то ему было бы неловко не сказать мне о нем ничего и тогда ему пришлось бы сказать о том, что он знает о письме папа к царю и о том, что это дело давно в Сенате и пришлось бы дать об'яснение, почему до сих пи от кого нет ответа. А так разговором с незнакомой барышней ему было удобнее сразу покончить это дело. Может быть, он даже был рад тому, что я обратилась прямо к нему и дала ему возможность

сразу прекратить дело. Придя домой, я выписала молокан и послала с ними письмо к Победоносцеву, в котором прошу его ответить мне, у кого и когда молокане могут получить ответ и кто даст им полномочия взять детей обратно. Он принял молокан, говорил с ними мягко, калякал, как выразился один из них, и прислал мне следующее письмо: «Милостивая государыня Татьяна Львовна. Я советовал бы молоканам не проживаться здесь в ожидании, а ехать обратно и справиться о деле, разве, в Самаре у губернатора, которому написал о них сегодня же и думаю, что, по всей вероятности, детей возвратят им. Покорный слуга К. Победоносцев».

Дети были действительно возвращены.

Только полная, лично нам известная достоверность этих документов не позволяет нам сомневаться в возможности совершения подобных дел в России, в конце XIX столетия. А скольким подобным не посчастливилось выплыть наружу!

Мы забежали немного вперед, чтобы закончить рассказ о молоканских детях и об участии в этом деле Л. Н—ча; а теперь снова возвращаемся к началу лета, чтобы передать несколько фактов из жизни Л. Н—ча в это время.

В июне совершилось важное событие в семейной жизни Л. Н—ча: вторая дочь Л. Н—ча Марья Львовна вышла замуж за своего родственника, князя Николая Леонидовича Оболенского. Они дружно прожили свою недолгую семейную жизнь, до смерти Марьи Львовны в конце 1906 года, и в этом отношении можно назвать этот брак счастливым, но болезненное состояние Марьи Львовны мешало ей устроить свою жизнь так, как она хотела бы. Она лишена была счастья иметь детей, часть времени ей пришлось жить за границей по разным санаториям, и первая серьезная болезнь на 10-м году замужества унесла ее.

Л. Н—ч старался, насколько мог, своей лаской украсить ее жизнь, но все-таки по тону его писем можно заключить, что это замужество было для него тяжело. Он терял лучшего друга и помощника в своих духовных и материальных делах, но, считая это чувство потери эгоистическим, всегда скрывал его, чтобы не дать почувствовать отошедшему от него другу, которому пришло время свить свое гнездо.

В июле этого года Л. Н—ча посетил снова скульптор И. Я. Гинцбург, слепивший с него новую статуэтку. Мы пользуемся его рассказом, как свидетельством о жизни Л. Н—ча в эту эпоху. Вот что он передает в своих воспоминаниях:

«Вторую статуэтку (стоящую с палкой в одной и записной книжкой в другой руке) я вылепил в 1897 году. Я тогда был одним в Ясной Поляне. Л. Н—ч был очень занят, и мне совестно было просить его позировать, но Татьяна Львовна (дочь Л. Н—ча), очень любившая искусство (она сама очень талантливо писала красками), просила за меня отца. Сперва я вылепил по карточкам, которые нарочно для меня сняла С. А. с разных сторон, — статуэтку, и, когда я ее показал Л. Н—чу, то он стал мне позировать. Работали мы в мастерской Татьяны Львовны, которая находилась во флигеле, возле конюшен. Часто Татьяна Львовна читала вслух те вещи, которые нужны были Л. Н—чу (он писал тогда «Что такое искусство»). Кроме Татьяны Львовны почти никто не бывал в мастерской, и работать было очень удобно; только один раз нам помешали, и это был особенно характерный случай.

Как-то раз во время работы, пришел слуга и доложил Л. Н—чу, что какие-то барышни пришли из Тулы и хотят его видеть.

— Для чего? — спрашивает Л. Н—ч.

— Так, посмотреть, — отвечает слуга, вероятно, уже не в первый раз докладывающий о подобных случаях. — Нарочно из Тулы пришли, народные учительницы, — прибавляет меланхолически слуга.

— Ох, как это скучно, — сказал с грустью Л. Н—ч, — делать нечего, попроси их. Вот вы увидите любопытных; это ужасно, как они меня беспокоят! Им ничего не надо, кроме того, чтобы на меня посмотреть, — обратился ко мне Л. Н—ч.

И какую-то неловкость почувствовал я за него.

Вошли четыре молодые барышни и остановились у дверей.

— Здравствуйте, — сказал Л. Н—ч. — Откуда вы?

— Из Тулы, — ответили они тихо и смущенно.

— А что вам угодно, может быть хотите меня спросить кое-что?

Девицы молчат.

— А вы читали мои вещи? — спрашивает Л. Н—ч.

— Некоторые читали, — отвечает вполголоса одна девица.

— А вот мои рассказы?

Он назвал некоторые.

— Нет, — ответили они, точно в испуге.

— Так вот я вам некоторые рассказы дам...

Девицы все еще стоят, не шевелясь, и глазами уставившись на Л. Н—ча. Мне неловко стало за Л. Н—ча и за себя и за этих растерявшихся гостей, и я вместо того, чтобы продолжать работать, стал возиться со своими инструментами, делая вид, что приготовляюсь к работе. Долго мы были все в таком состоянии, я даже боялся посмотреть на Л. Н—ча. Наконец, Л. Н—ч сказал:

— Вот мой слуга вам даст несколько книжек моих, пойдите и скажите ему, чтобы он выбрал то, что вам понравится, а пока прощайте.

Девицы молча ушли.

— Вот видите, какие любопытные; такие часто бывают у меня, — сказал Л. Н—ч, свободно вздохнув.

Впоследствии Л. Н—ч рассказал мне случай, который до того курьезен и характерен, что считаю не лишним передать его. Со свойственной Л. Н—чу простотой и образностью, он рассказал следующее:

— Раз я получаю длинную телеграмму от какого-то неизвестного из Москвы; он называет моих друзей, которые его знают, и просит позволения ему приехать, чтобы меня повидать, так как все достопримечательности он уже видел. Я был очень занят и ответил, что не могу принять. Через несколько месяцев мы переехали в Хамовники. Я вдруг вижу из окна, как под'езжает парадная тройка и выскакивает щегольски одетый господин. Докладывает он о себе, и я вспоминаю, что это тот же господин, который летом прислал мне телеграмму; мне совестно стало, что я тогда его не принял, и я велю просить его взойти. Передо мною предстал франт во фраке и белом галстуке; он расшаркался и сказал, что об'ездив весь мир и видев все замечательное, хочет повидать меня.

— А кто вы такой? — спрашиваю я.

— Представитель фирмы «Одоль». Моя главная специальность — это реклама. Дело огромное: для одной России я трачу 2.000 рублей в год на рекламу.

— А что вам нужно от меня? — спросил я.

— Только вас повидать, а то стыдно, что я весь свет видел, а Толстого не видал.

Я сказал, что мне крайне некогда и что я должен работать. На прощенье он вдруг предлагает мне два флакона «Одоля» в двух роскошных футлярах.

— Это прошу принять в подарок вам и вашей жене.

— Зачем мне это, — сказал я, — ведь у меня зубов нет и чистить нечего, и отдал ему обратно этот подарок. Потом оказалось, что он все-таки оставил их в передней. Прошла зима, — мы опять в Ясной; и слышу раз бубенчики, вижу богатую тройку. Я совсем забыл о нем, но выйдя после работы в сад, я вижу: опять этот франт сидит в саду и разговаривает с Соней. Меня это так удивило, что я прямо подошел к нему и спросил, что ему нужно. Опять он начал говорить мне комплименты, и на этот раз как старый знакомый. Меня это так возмутило, что я сказал ему:

— Знаете, напрасно вы к нам приезжаете, вы меня беспокоите.

Он раскланялся любезно и уехал.

— Да,—сказала Софья Андреевна, которая присутствовала при рассказе,—Левушка был слишком резок. Меня так удивила твоя резкость. Никогда ты не бываешь таким, — обратилась она к нему.

Статуэтка очень понравилась С. А., и она заказала себе один экземпляр из бронзы».

Рядом с этими внешними отношениями к посещавшим его людям, во Л. Н—че шла другая, для него более важная внутренняя работа. Следствием этой внутренней работы было все более и более ясное сознавание им несоответствия окружающей его обстановки жизни с исповедуемыми им религиозно-нравственными основами. Придя к заключению о невозможности изменить эту обстановку, он решил покинуть ее. Это решение, которое не раз возникало во Л. Н—че, с тех пор как изменился его взгляд на мир, решение, которое ему удалось осуществить только перед смертью, в описываемую нами эпоху настолько созрело, что он написал своей жене, Софье Андреевне, письмо, в котором он ясно и спокойно об'ясняет причины решенного им ухода. Уход этот тогда не осуществился и письмо не было передано по назначению; Софья Андреевна, согласно желанию Л. Н—ча, получила его уже после смерти своего мужа. Тем не менее документ этот, раскрывающий нам состояние души Л. Н—ча в это время, чрезвычайно важен и об'ясняет нам многое, поэтому мы и приводим его здесь полностью:

«Дорогая Соня!

«Уже давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог; уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас; продолжать же жить так, как я жил 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам поднадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, — уйти: во-первых, потому, что мне с моими увеличивающимися годами все тяжелее и тяжелее становится эта жизнь и все больше и больше хочется уединения, и, во-вторых, потому, что дети выросли, влияние мое в доме уже не нужно и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие. Главное же то, что как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью. Если бы я открыто сделал это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы ослабел, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно, в душе своей, главное ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи и не сетуй на меня, не осуждай меня.

«То, что я ушел от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой. Я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменить своей жизни и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты, со свойственным твоей натуре материнским самоотвержением, так энергически и твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать: дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это. Но в последнем периоде нашей жизни — последние 15 лет — мы разошлись. Я не могу думать, что я виноват,

потому что знаю, что изменился я не для себя, не для людей, а потому, что не мог иначе. Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной, а благодарю тебя и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне.

«Прощай, дорогая Соня.

Любящий тебя *Лев Толстой*».

8 июля 1897 года.

На конверте была надпись: «Если не будет особого от меня об этом письме решения, то передать его, после моей смерти, С. А—не».

Это поручение дано было кн. Ник. Леон. Оболенскому, мужу Марьи Львовны. Сначала это письмо хранилось под обивкой старого кресла и это место было известно только Л. Н—чу и Ник. Леон—чу; потом, когда Л. Н—ч узнал, что кресло должно было перебиваться, от отдал его на хранение Ник. Леон—чу и тот отдал его С. А—не, когда Л. Н—ча не стало.

Можно думать, что духоборческое дело было одной из главных причин, заставивших Л. Н—ча отложить свой уход, так как положение расселенных духоборов становилось все тяжелее и тяжелее и ко Л. Н—чу стали стекаться сведения, не оставлявшие сомнения о том, что помощь необходима немедленная. И оставшиеся не сосланными друзья Л. Н—ча занялись этой помощью под его руководством.

А вокруг самого Л. Н—ча продолжалась все та же кипучая жизнь. В августе он писал Черткову:

«То, что вы хотите, чтобы я написал к изданию краткого евангелия и к христианскому учению, я постараюсь написать поскорее и прислать вам, но сейчас так слаб, что ничего не могу делать, кроме работы над статьей об искусстве, которую вот-вот кончаю. Я дал уже переписывать Тане на ремингтоне и последние дни читал вслух собравшимся у меня: Гинцбург (скульптор), Касаткин, Гольденвейзер (музыкант) и Соболев, химик, живущий у нас учитель для Миши; тут же Сережасын, барышни Стаховичи. Я думаю дочесть нынче. И при чтении вижу, что несмотря на все ее недостатки, она имеет значение. Прямо сказать, мое отношение к этой статье такое: мне кажется ничтожным сравнительно ее содержание, а между тем не могу от нее оторваться, и меня сильно занимают и нравятся мне мысли, которые я в ней выражаю.

«Слаб же я оттого еще, что у нас пропасть посетителей, беспрестанно приезжающих; сейчас получили телеграмму из Москвы от Ломброзо, который хочет приехать. Все это тратит время и силы и ни на что не нужно. Ужасно жажду тишины и спокойствия. Как бы я счастлив был, если бы мог кончить мои дни в уединении и, главное, в условиях, не противных и мучительных для совести. Но видно, так надо. По крайней мере я не знаю выхода».

В последних строках этого письма виден ясный намек на то, что решение его об уходе созрело в нем и он собирался привести его в исполнение; препятствие к исполнению этого решения он принимал, как повеление высшей воли и смиренно подчинялся ей.

Вскоре после этого письма Л. Н—ч писал мне в Бауск:

«Милый и дорогой друг П... Беспрестанно думаю о вас и находит страх, что то стеснение — мысль о том, что вас не выпустят из того места, где вы живете, удручает вас и что вы больно чувствуете свою несвободу. Напишите, правда ли это. Мне это показалось по вашему последнему письму. Если это есть, то боритесь. Это несправедливо, мы все стеснены и не свободны не в том, так в другом смысле. В вашем же случае дело не в стеснении свободы, а в том, чтобы не иметь зла на тех, кто кажутся виною этого стеснения.

«О духоборах статью Б. ни одна газета не хотела печатать и потом напечатали

«Бирж. Вед.», но предпослав статью Ясинского, которая клевещет на них. Я думаю, что это хуже, чем ничего.

«Постараемся не забывать и чувствовать их страдания и потому стараться помочь им. Чем, я еще не знаю, но надеюсь, что жизнь укажет.

«Я получаю, почти каждый день, радостные вести: то это посещение крестьян, ищущих истины, то письмо Crosby с письмом японца, молодого, который, прожив в New-York'е и прочтя там евангелие, пришел к убеждению, что истина в христианском учении, что надо и можно исполнять его, и поехал в Японию с намерением устроить там колонию, в которой жить по учению Христа. Нынче получил письмо Шкарвана из Голландии о Вандервеере и Домела, с описанием того движения, которое там совершается.

«Дома у нас напряженно: у Маши тиф. Она лежит четвертый день, температура 40, но говорят—форма легкая. Посетители одолевают. Нынче приехал Ломброзо [1]) с московского с'езда врачей, неприличного с'езда. Это ограниченный и мало интересный болезненный старичок. Статью свою об искусстве кончил и хочу взяться за ту работу, что вам говорил. И нужно и хочется страстно».

Этот мало интересный старичок, знаменитый Ломброзо, оставил нам не без'интересный рассказ о том, как он посетил Л. Н—ча в Ясной Поляне. Вот какой эпизод предшествовал поездке Ломброзо в Ясную Поляну из Москвы:

«По поводу моего желания посетить Толстого,—говорит Ломброзо,—произошел следующий случай:

«Едва я успел послать телеграмму из Кремля знаменитому писателю о моем желании навестить его, как генерал-полицеймейстер Кутузов дал мне понять, что этот визит будет очень неприятен правительству. Я возразил, что меня влечет единственно литературный интерес. Но — напрасные слова: генерал в ответ мне принялся энергически кружить рукою в воздухе и, наконец, сказал:

— Да разве вы не знаете, что у него там, в голове, не совсем в порядке?

Я поспешил обратить в свою пользу это замечание:

— Но потому-то именно мне и хочется повидаться с ним: ведь я психиатр.

Лицо генерала мгновенно просветлело:

— Это другое дело, — сказал он: — если так, то вы хорошо делаете».

Отношения их и разговоры были дружелюбные, но Ломброзо с первых же слов заметил, что убедить Л. Н—ча в своих теориях он не может и, к счастью своему, перестал убеждать. Л. Н—ч принимал его, как доброго гостя-товарища, водил его с собой купаться, при чем предложил Ломброзо плавать в перегонку. Ломброзо отстал и чуть не захлебнулся, так что Л. Н—чу пришлось поддержать его в воде и довести до купальни.

«Перед от'ездом,—как заключает свой рассказ Ломброзо,—я не преминул спросить его мнения о франко-русском союзе. Он сказал, что это самое большое несчастие, которое могло только случиться с русским народом, так как до сих пор опасение общественного мнения Европы, центр которого во Франции, несколько стесняло тиранства правительства, между тем как теперь этого опасения уже нет. И кажется, что факты и, особенно, печальный факт насилия над Финляндией, оправдывают этот взгляд.

«По моем возвращении в Кремль бравый генерал спросил меня, как я нашел Толстого.

— «Мне кажется,—ответил я,—что это сумасшедший, который гораздо умнее многих глупцов, обладающих властью. Но как же относится к нему полиция? — спросил я в свою очередь генерала.

— «Очень просто, — ответил он. — Мы рассматриваем его сочинения и на те из них, которые опасны для государства, налагаем запрещение, а его самого

[1]) Ломброзо, известный итальянский ученый, основатель новой школы криминологии.

оставляем в покое. Но если кто-нибудь из его друзей окажется опасным для государства, то мы такого отправляем в Сибирь».

«Эта последняя фраза может до некоторой степени оправдать опасения, которые я испытывал за себя во время моего пребывания в России», заканчивает Ломброзо свой рассказ.

Наконец, в октябре Л. Н—ч кончил статью «Об искусстве» и решил печатать ее в журнале «Вопросы философии и психологии», редактируемом его другом, профессором Н. Я. Гротом. Об этом шли переговоры через С. А—ну и жену Грота, которые были в это время в Петербурге, а Л. Н—ч в Ясной Поляне. В том же письме к С. А—не, в котором Л. Н—ч высказывает свое решение о печатании статьи «Об искусстве», он пишет о том, какое впечатление произвели на него две смерти: Генри Джорджа и Александра Дюма. Он выражает это так:

«Сережа вчера мне сказал, что Генри Джордж умер; как ни странно это сказать, смерть эта поразила меня, как смерть очень близкого друга. Такое впечатление произвела на меня смерть Алек. Дюма. Чувствуешь потерю настоящего товарища и друга. Нынче в «Петерб. Вед.» пишут о его, Джорджа, смерти, и даже не упоминают о его главных и замечательных сочинениях. Он умер от нервного переутомления спичей. Вот чего надо бояться хуже велосипеда».

Вскоре он услышал о новой смерти своего друга князя Серг. Сем. Урусова, бывшего его товарища еще по службе в Севастополе, очень любившего его, хотя и часто обличавшего в неправославии. Мы уже упоминали об этой дружбе, рассказывая о посещении Л. Н—чем С. С. Урусова в его имении под Троицей.

В ноябре Л. Н—ч уже берется за новое литературно-художественное произведение, начатое им год тому назад, за кавказскую повесть «Хаджи-Мурат». Таким образом предыдущая его статья «Об искусстве» уже отошла от его души в законченном виде. Постараемся здесь в кратких словах выразить то новое воззрение на искусство, которое было положено Л. Н—чем в основание его труда.

В этом замечательном сочинении Л. Н—ч дает обзор различных определений и понятий об искусстве и красоте древних и новых философов, и, подвергнув их строгой критике, как неудовлетворяющих современному сознанию человечества, он дает свое об'ективное определение искусства:

«Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство, в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их».

В этом определении, как на основной признак искусства, указывается на его заражаемость. Разбирая далее условия, при которых возможно возникновение этой заражаемости, Л. Н—ч приходит к убеждению, что главное условие есть искренность художника.

Для лучшего пояснения своего определения, Л. Н—ч дает несколько резких примеров истинного и ложного искусства; мы берем здесь наиболее интересные; вот пример из области музыкального искусства:

«На-днях,—пишет Л. Н—ч,—я шел домой с прогулки в подавленном состоянии духа. Подходя к дому, я услыхал громкое пение большого хоровода баб. Они приветствовали, величали, вышедшую замуж и приехавшую мою дочь. В пении этом с криком и битьем в косу выражалось столь определенное чувство радости, бодрости, энергии, что я сам и не заметил, как заразился этим чувством и бодрее пошел к дому и подошел к нему совсем бодрый и веселый. В таком же возбужденном состоянии я нашел и всех домашних, слушавших это пение. В этот же вечер, заехавший к нам прекрасный музыкант, славящийся своим исполнением классических, в особенности, бетховенских вещей, сыграл нам «opus 101 сонату Бетховена».

«Песня баб было настоящее искусство, передававшее определенное и сильное чувство, 101-я же соната Бетховена была только неудачная попытка искусства, не содержащая никакого определенного чувства и потому ничем не заражающая».

Далее он дает подобный же пример из области драмы.

«Я помню, видел представление Гамлета Росси, и самая трагедия, и актер, игравший главную роль, считаются нашими критиками последним словом драматического искусства. А между тем я все время испытывал и от самого содержания драмы, и от представления то особенное страдание, которое производят фальшивые подобия произведений искусства. И недавно я прочел рассказ о театре у дикого народа вогулов. Одним из присутствовавших описывается такое представление: один большой вогул, другой маленький, оба одеты в оленьи шкуры, изображают — один самку оленя, другой — детеныша. Третий вогул изображает охотника с луком и на лыжах, четвертый — голосом изображает птичку, предупреждающую оленя об опасности. Драма в том, что охотник бежит по следу оленей, матери с детенышем. Олени убегают со сцены и снова прибегают. Такое представление происходит в маленькой юрте. Охотник все ближе и ближе к преследуемым. Олененок измучен и жмется к матери. Самка останавливается, чтобы передохнуть. Охотник догоняет и целится. В это время птичка пищит, извещая оленей об опасности. Олени убегают. Опять преследование, и опять охотник приближается, догоняет и пускает стрелу. Стрела попадает на детеныша. Детеныш не может бежать, жмется к матери, мать лижет ему рану. Охотник натягивает другую стрелу. Зрители, как описывает присутствующий, замирают и в публике слышатся тяжелые вздохи и даже плач. И я по одному описанию чувствовал, что это было истинное произведение искусства».

Данное раньше определение внешнего признака истинного искусства и главного условия его возникновения, ничего не говорит о самом содержании предмета истинного искусства.

На это Л. Н—ч отвечает так. «Содержание искусства во все времена давала религия. И то безверие, которое раз'едает современное цивилизованное человечество, и есть самая главная причина падения современного искусства. Человечество еще не вступило сознательно на новую ступень христианского религиозного сознания и блуждает во мраке. А между тем христианское сознание требует новых основ, новых путей для всякой деятельности человека, так и для искусства.

«Христианское сознание дало другое, новое направление всем чувствам людей и потому совершенно изменило и содержание, и значение искусства. Христианский идеал изменил, перевернул все так, что как сказано в Евангелии: «Что было велико перед людьми, стало мерзостью перед Богом». Идеалом стало не величие фараона и римского императора, не красота грека или богатство Финикии, а смирение, целомудрие, сострадание, любовь. Героем стал не богач, а нищий Лазарь; Мария Египетская не во время своей красоты, а во время своего покаяния; не приобретатели богатства, а раздавшие его; живущие не в палатах, а в катакомбах и хижинах, не властвующие над другими, но люди, признающие над собою власть одного Бога. И высшим произведением искусства—не храм победы со статуями победителей, а изображение души человеческой, претворенной любовью так, что мучимый и убиваемый человек жалеет своих мучителей».

Этот новый христианский идеал и должен дать новое содержание искусству, возродить его. И Л. Н—ч так заканчивает свою статью:

«Назначение искусства в наше время — в том, чтобы перевести из области рассудка в область чувства истину о том, что благо людей в их единении между собой, и установить на место царствующего теперь насилия то царство Божие, т.-е. любви, которое представляется всем нам высшею целью жизни человечества.

Может быть, в будущем наука откроет искусству еще новые, высшие идеалы, и искусство будет осуществлять их; но в наше время назначение искусства ясно и определенно. Задача христианского искусства — осуществление братского единения людей».

В конце ноября Л. Н—ч записывает в дневник такую мысль:

«Мечешься, бьешься, — все оттого, что хочешь плыть по своему направлению. А рядом, не переставая, и от всякого близко течет божественный, бесконечный поток любви все в одном и том же вечном направлении. Когда измучаешься хорошенько в попытках делать что-то для себя, спасти, обеспечить себя, оставь все свои направления, бросься в этот поток и он понесет тебя, и ты почувствуешь, что нет преград, что ты спокоен навеки и свободен и блажен».

В декабре Л. Н—ча посетил его друг, Душан Петрович Маковицкий. В дневнике своем Л. Н—ч записывает свое впечатление от беседы с ним:

«Разговаривал с Душаном. Он сказал, что так как он невольно стал моим представителем в Венгрии, то как ему поступать? Я рад был случаю сказать ему и уяснить себе, что говорить о толстовстве, искать моего руководительства, спрашивать моего решения вопросов — большая и грубая ошибка. Никакого толстовства и моего учения не было и нет, есть одно вечное, всеобщее, всемирное учение истины, для меня, для нас особенно ясно выраженное в Евангелиях. Учение это призывает человека к признанию своей сыновности Богу и потому своей свободы или рабства (как хотите назовите): свободы от влияния мира и рабства Богу, воле Его. И как только человек понял это учение, он свободно вступает в непосредственное общение с Богом и спрашивать ему уже нечего и не у кого.

«Это похоже на плавание человека по реке с огромным разливом. Пока человек не в середине потоке, а в разливе, ему нужно самому плыть, грести, и тут он может руководиться направлением плавания других людей. Тут и я мог руководить людей, сам приплывая к потоку. Но как только мы вступили в поток, так нет и не может быть руководителя. Все мы несомы силою течения, все в одном направлении, и те, кто были назади, могут быть впереди. Если человек спрашивает, куда ему плыть, то это доказывает только то, что он еще не вступил в поток, и то, что тот, у кого он спрашивает, плохой руководитель, если он не умел довести его до того потока, т.-е. до того состояния, в котором уже нельзя, потому что бессмысленно спрашивать. Как спрашивать, куда плыть, когда поток с неотразимой силой влечет меня по радостному для меня направлению?

«Люди, которые подчиняются одному руководителю, верят ему и слушают его, несомненно, бродят впотьмах вместе с своим руководителем».

Наконец, в декабре Л. Н—ч переехал в Москву.

Несмотря на тяжесть для него городской жизни, Л. Н—ч чувствовал себя в это время бодрым и спасался от городской суеты своим обычным способом, исполняя при хамовническом доме некоторые работы дворника. Он возил на себе воду и поливал сад, чтобы устроить каток. Когда каток был готов, он с радостью катался на нем со своими детьми.

ГЛАВА 21-я.

Духоборы. Опять голод. Христианское учение.

В 1898 году Л. Н—чу пришлось поработать для помощи духоборам, положение которых становилось день ото дня нестерпимее. Так как и мне пришлось принять участие в этом деле, то я считаю нужным упомянуть о некоторых фактах моей жизни.

В феврале этого года в моей личной жизни произошла большая перемена. Мне разрешили из ссылки уехать за границу, чем я не преминул воспользоваться.

Переехав через границу, я остановился на несколько дней у своего друга, доктора Душана Петровича Маковицкого, в Венгрии, в небольшом городке, который по

славянски называется Жилина, по-немецки Silein, а по-венгерски Zolna. Там я получил от Л. Н—ча напутственное письмо. Он между прочим писал мне:

«Я рад за вас, что вы уезжаете. Я сколько раз замечал на людях, подвергающихся насилию, то, что эти люди начинают приписывать значение организации этого насилия, признают его существование, признают его законы законами. И это ужасно. Я это видел на революционерах и мне казалось, или я скорее боялся, что замечу это у вас. Наша радость или, скорее, утешение в том, что если мы в экономических условиях более или менее часто очень далеки от требований нашей совести, нашего сознания (экономические условия так переплетены и так мы вплетены в них, что ужасно трудно, невозможно быть чистым в них. Это условия последние по осуществлению), то зато мы в политическом, государственном отношении можем быть совсем чисты: можем не служить, не судиться, не защищаться, не разделять людей по национальностям и сословиям, не признавать никаких властей. А тут вдруг вас поймают и поставят в такие мучительные условия, вас и ваших близких, что начинаешь считаться и требовать по отношению себя исполнения их законов. Третьего для получил американское издание Social Gospel. Это—орган людей, их около 100 человек, соединившихся в колонию в Georgio, чтобы осуществить жизнь христианскую и в экономическом смысле. Очень это трудно, но нельзя не сочувствовать таким попыткам. Адрес их: Ralph Albertson Commo Nwealt Ga (т. е.—Georgia). Herron Loyu and Crosby—участники, если не руководители их. Это вам даст понятие об их взглядах. Выпишите и посоветуйте друзьям выписать этот журнал, он стоит 50 центов в год. И первый № очень хорош. Это я вспомнил, говоря об осуществлении христианами экономических условий.

«Вчера получил известие о том, что Сниджон выслан из России. Он едет в Будапешт к Шмиту [1]), так что вы увидите его. Вчера получил письмо от Шмита и очень рад был, вижу, что он с той же энергией, на границе насилия, проповедует упразднение насилия. Нельзя не сочувствовать его деятельности и потому рад был узнать, что он продолжает бороться. Попрошу списать вам из письма Жиркевича об Егорове [2]). Вот скромные борцы, невидимые людьми, но видимые Богом и потому самые могучие. Постараемся быть такими».

Наконец, в марте Л. Н—ч уже активно выступает на защиту и помощь духоборам. Он пишет между прочим Черткову:

«Дорогой друг, давно не писал вам, потому что слишком многое нужно написать. Главное и самое важное, это—духоборы. Они пишут мне вот уже третье письмо о том, что им разрешено переселиться за границу и просят помочь им. Пишут еще частные лица: Шерстобитов, Потапов, Андросов и еще какие-то; но у них должно быть совещание о том, что делать, и вот это решение на совещании важно, потому что из него узнаешь, куда они желают, и решат, и какая в чем нужда.

«Но и не дожидаясь этого, я составляю и составил воззвание одно в английские и американские газеты, прося помощи всех истинных христиан, помощи и руководительством, указанием мест, способов передвижения и деньгами. Это воззвание я пришлю вам, вероятно, завтра. Если вы найдете нехорошим,—как всегда даю вам carte blanche исправлять его,—пошлите его с письмом, которое вы составите на приложенном бланке с моей подписью в редакцию одной из больших газет: если не Times, то Daily News или Daily Chron. Другое воззвание очень умеренное я завтра снесу в «Русск. Вед.», и если они не напечатают, то пошлю в «Петерб. Вед.». Кроме того, я написал письмо в Америку к редактору Social Gospel (вы, вероятно, знаете), копию которого вам посылаю и в конце которого упомянул о деле духоборов. Вот это одно самое важное, поглощающее все мое внимание, дело».

Содержание воззвания, с которым Л. Н—ч обратился к русскому и заграничному обществу, было таково:

«Население 12 тысяч человек,—говорит Л. Н—ч,—христиан всемирного брат-

---

[1]) Немецкий ученый, анархических взглядов, близких ко Л. Н—чу.

[2]) Сектант, отказавшийся от воинской повинности.

ства, как называют себя духоборы, живущие на Кавказе, находятся в настоящее время в ужасном положении».

Л. Н—ч изображает далее это положение такими словами:

«Не говоря о сечениях, карцерах и всякого рода истязаниях, которым подвергались отказавшиеся духоборы в дисциплинарных батальонах, от чего многие умирали, и об их ссылке в худшие места Сибири, не говоря о 200 запасных, в продолжение двух лет томившихся в тюрьмах и теперь разлученных с семьями и сосланных попарно в самые дикие места Кавказа, где они, не имея заработков, буквально мрут с голода, не говоря об этих наказаниях самих виновников в отказе от службы, семьи духоборов систематически разоряются и уничтожаются. Все они лишены права отлучаться от своих мест жительства и усиленно штрафуются и запираются в тюрьмы и за неисполнение самых странных требований начальства: за называние себя не тем именем, которым им велено называть себя, за поездку на мельницу, за посещение матерью своего сына, за выход из деревни в лес для собирания дров, так что последние средства прежде богатых жителей быстро истощаются. Четыреста же семей, выселенных из своих жилищ и поселенных в татарских и грузинских деревнях, где они должны нанимать себе помещения и кормиться за деньги, не имея ни земли, ни заработков, находятся в таком тяжелом положении, что в продолжение трех лет их выселения четвертая часть их, в особенности старики и дети, уже вымерла от нужды и болезней».

Все ходатайства духоборов и друзей их о смягчении их участи оставались без результата. Но одно из прошений попало в руки императрицы-вдовы, приезжавшей на Кавказ к сыну, и этому прошению был дан ход и просьба духоборов была удовлетворена, им было разрешено выехать за границу с тем, чтобы назад уже не возвращаться. Но исполнить это было не легко, препятствий было много—и административных и других. Л. Н—ч так заключает свое обращение к обществу:

«Людям позволяют выехать, но предварительно их раззорили, так что им не на что выехать, и условия, в которых они находятся, таковы, что им нет возможности узнать мест, куда им выселиться, как и при каких условиях возможно это сделать и нельзя даже воспользоваться помощью извне, так как людей, которые хотят помочь им, тотчас же высылают, их же за всякую отлучку сажают в тюрьму.

«Так что если этим людям не будет подана помощь извне, они так и разорятся и вымрут все, несмотря на полученное ими разрешение выселиться.

«Я случайно знаю подробности гонений и страданий этих людей, нахожусь с ними в сношениях, и они просят меня помочь им, и потому считаю своим долгом обратиться ко всем добрым людям как русского, так и европейского общества, прося их помочь духоборам выйти из того мучительного положения, в котором они находятся. Я обратился в одной из русских газет к русскому обществу, еще не знаю, будет или не будет мое заявление напечатано, и обращаюсь теперь еще и ко всем добрым людям английского и американского народа, прося их помощи, во-первых, деньгами, которых нужно много для одной перевозки на дальнее расстояние 10.000 человек, и, во-вторых, прямым непосредственным руководством в трудностях предстоящего переселения людей, не знающих языков и никогда не выезжавших из России.

«Полагаю, что высшее русское правительство не будет препятствовать такой помощи и умерит излишнее усердие кавказского управления, не допускающего теперь никакого общения с духоборами.

«До тех пор предлагаю свое посредничество между людьми, желающими помочь духоборам и войти в сношение с ними, так как до сих пор мои сношения с ними не прерывались» [1]).

С этого времени заботы Л. Н—ча о духоборах не прекращаются.

---

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Изд. т-ва И. Д. Сытина. М. 1913. Т. XVIII. Стр. 188 и след.

В апреле Л. Н—ч писал Черткову:

«Дорогой друг В. Г.

«После того, как я писал вам, случилось вот что: утром говорят мне, что приехали два человека с Кавказа. Это были духоборы: Планидин Пав. Вас., ваш знакомый, и Чернов. Они приехали, разумеется, без паспортов, чтобы сообщить сведения и узнать все касающееся их дела. Переговорив с этими дорогими друзьями и узнав все, я решил послать их в Петербург к Ухтомскому, от которого я все не получал ответа. Они поехали, пробыли там день и вернулись, видели Ухтомского и Дитерихсов—дедушку и Иосифа Констант. Ухтомский, как я вижу, ничего не может сделать. Он даже не напечатал мое письмо, а это бы очень нужно, и до сих пор ничего не отвечал мне определенного. Планы его мне тоже перестали нравиться. Он говорит уже не о Манджурии, а о Китайском Туркестане около Кульджи. Главное то, что, как говорят Планидин и Чернов, выселиться туда, где русское правительство может опять захватить их, им не желательно. Кроме того они твердо держатся того, что написано в их прошении по инициативе Веригина, что они желают выселиться в Америку или в Англию. Главное же то, что я понял из беседы с ними, это то, что им нельзя уходить, оставив детей в Якутской и своих старичков в изгнании. И потом я думаю, что им надо ходатайствовать об освобождении. В этом смысле я написал прошение, которого копию посылаю. Они обдумают дома это прошение и тогда подадут его. Дальнейшие подробности об всем передадут вам Шанкс и Иенкен, которые будут у вас, вероятно, скоро после этого письма. Так что до сих пор Кипр представляется самым удобным местом. Страшно только за нездоровый и лихорадочный климат.

«Пожертвований собралось около 1500 рублей, но я еще не приступал к собиранию. Хорошо то, что, по рассказам Планидина и Чернова, кроме 50 т. у расселенных и Карских, если они продадут все, соберется тысяч полтораста. Они трогательно поучительны. Планидин, видно, с любовью особенной, вспоминает про вас всех в Лизиновке».

Через несколько дней он пишет еще уже со случаем, а не по почте, сообщая новые факты, и при этом просит Черткова соблюдать большую осторожность, даже в Англии, мотивируя это так:

«Осторожность эту надо соблюдать даже у вас. Здесь до такой степени дурно настроено правительство против духоборов, что третьего дня было напечатано пожертвование Моода, Сергеенко и неизвестного в «Русск. Вед.» и в тот же день в редакцию пришла бумага от (увы) Трепова, требующая названия жертвователей и доставления денег в казначейство.

«Русск. Вед.» ответили, что деньги уже переданы мне и представили в этом расписку».

Но администрация этим ответом не удовлетворилась. В архиве «Русск. Вед.» сохранился такой след об этом требовании:

«21-го апреля 1898 года министр внутренних дел об'явил «Русским Ведомостям» третье предостережение и приостановил газету на два месяца, как значилось в официальном сообщении об этом («Русск. Вед.» № 112 от 25-го июня 1898 г.), «за сбор пожертвований в пользу духоборов, с распубликованием о сем в № 93 «Русских Ведомостей» сего года и за уклонение от исполнения распоряжения московского генерал-губернатора». Напомнив, что незадолго перед тем, 19 марта 1898 г., Толстой написал известное «письмо к обществу» о материальной помощи духоборам, получившим разрешение выехать за границу. Но заметка, по поводу которой последовала административная кара, гласила буквально только следующее: «В контору «Русских Ведомостей» поступило в распоряжение гр. Л. Н—ча Толстого для оказания помощи больным и нуждающимся духоборам: от иногороднего подписчика 300 рублей, от г. М. 400 р., от неизвестного 300 р.». Что же касается неисполненного распоряжения генерал-губернатора (или, точнее, требования обер-полициймейстера, с которым только и имела об этом случае дела редакция), то оно действительно было неисполнено: требовали

передачи в распоряжение администрации денег, пожертвованных в распоряжение Толстого, которому они, конечно, и были своевременно вручены» [1]).

3-го февраля Л. Н—ч между прочим записывает в дневнике:

«Если есть в тебе сила деятельности, то пусть она будет любовная; если нет сил и ты слаб, то слабость твоя пусть будет любовная».

В тоже время Л. Н—ча беспокоят его отношения к собственности и, вспоминая о том, как он распорядился ею, он отмечает в дневнике 19-го февраля:

«Я дурно поступил, отдав именье детям. Им было бы лучше. Только надо было уметь, не нарушая любви, сделать это. А я не умел».

Эта ли деятельность Л. Н—ча в пользу духоборов, возросшая ли известность Л. Н—ча, или просто зависть к светлому образу великого старца, так или иначе, но Л. Н—ч в это время, в начале апреля, чуть не подвергся преступному покушению со стороны хотя еще и не носившей названия «черной сотни», но уже несомненно действовавшей кучки темных людей.

Вот что пишет об этом Софья Андреевна своей сестре, за несколько дней перед роковым днем:

«О Л. Н—че: он здоров и бодр, но мы все с беспокойством ждем 3-го апреля; его грозят убить, мы получили анонимное письмо от одного из «вторых крестоносцев», как он себя назвал, и убить грозят за то, что Л. Н. «оскорбил Господа Иисуса Христа, и будто бы враг царя и отечества».

Эти письма стали получаться еще в декабре прошлого, 1897 года. В дневнике своем от 21-го декабря Л. Н—ч записывает: «Вчера получил анонимное письмо с угрозой убийства, если к 1898 году не исправлюсь, дается срок только до 1898 года. И жутко и хорошо».

29-го декабря снова запись: «Получены угрожающие убийством письма. Жалко, что есть ненавидящие меня люди, но мало интересует и совсем не беспокоит».

Слух об этих письмах дошел и в Англию до Черткова. Его запрос об этом дал Л. Н—чу случай высказать такие мысли:

«Письма с угрозами, разумеется, действуют неприятно только в том смысле, что есть иногда напрасно ненавидящие. А умирать постоянно готовишься, и это дело. Я недавно думал: и это рекомендую Гале, что когда здоров, то стараешься получше жить во вне, а когда нездоров, то учишься получше умирать. Впрочем, эти письма не имеют даже и этого достоинства: они так глупо написаны, что, очевидно, предназначены только для пугания».

Но как бы ни относился к этому сам Л. Н—ч, близким и друзьям его было неспокойно. И 3-го апреля, с раннего утра ко Л. Н—чу пришел его преданный друг, А. Н. Дунаев и об'явил, что до поздней ночи он от него не отойдет. Забыв все теории, он сжимал кулаки и обдумывал, как он разделается с дерзким покусителем. Но никто не пришел, и день прошел спокойно.

Как горячо ни сочувствовал Л. Н—ч участи духоборов, ближайшее народное бедствие должно было отвлечь его силы еще на другое дело. К весне 1898 года выяснилось, что в некоторых центральных и восточных губерниях голод усилился и нужна была немедленная помощь.

В конце апреля Л. Н—ч поехал в Чернский уезд, Тульской губернии, наиболее пострадавший от неурожая, и поселился в имении своего сына Ильи, чтобы оттуда исследовать окружающую нужду и руководить помощью. Всегда искренний с самим собой, Л. Н—ч ищет, нет ли в его поездке личных мотивов, и записывает в своем дневнике такую мысль:

«Стал соображать о столовых и покупке муки, о деньгах, и так нечисто, грустно

---

[1]) Юбилейный сборник «Русских Ведомостей», стр. 184.

стало на душе. Область денежная, т.-е. всякого рода употребление денег, есть грех. Я взял деньги и взялся употреблять их только для того, чтобы иметь повод уехать из Москвы, и поступил дурно».

Вот как описывает Илья Львович в своих воспоминаниях об отце его деятельность в это время:

«На другой день после его приезда мы оседлали пару лошадей и поехали. Поехали, — как когда-то, лет 20 до этого, с ним же езжали в наездку с борзыми, — прямиком, полями.

«Мне было совершенно безразлично, куда ехать, так как я считал, что все окрестные деревни одинаково бедствуют, а отцу, по старой памяти, захотелось повидать Спасское-Лутовиново, которое было от меня в девяти верстах, и где он не был со времен Тургенева. Дорогой, помню, он рассказал мне про мать Ивана Сергеевича, которая славилась во всем околотке необыкновенно живым умом, энергией и сумасбродством. Не знаю, видал ли он ее сам, или передавал слышанные им предания.

«Проезжая по тургеневскому парку, он вскользь вспомнил, как исстари у него с Иваном Сергеевичем шел спор: чей парк лучше—спасский или яснополянский? Я спросил его:

— А теперь как ты думаешь?

— Все-таки яснополянский лучше, хотя хорош, очень хорош и этот.

«На селе мы побывали у сельского старосты и в двух или трех избах. Голода не было.

«Крестьяне, наделенные полным наделом хорошей земли и обеспеченные заработком, почти не нуждались.

«Правда, некоторые дворы были послабее, но того острого положения, которое сразу кидается в глаза, — этого не было.

«Помнится мне даже, что отец меня слегка упрекнул за то, что я забил тревогу, когда не было для этого достаточного основания, и мне одно время стало перед ним как-то стыдно и неловко.

«Конечно, в разговорах с каждым из крестьян отец спрашивал их, помнят ли они Ивана Сергеевича, и жадно ловил о нем всякие воспоминания. Некоторые старики его помнили и отзывались о нем с большой любовью.

«Из Спасского мы поехали дальше.

«В двух верстах оттуда нам попалась по пути заброшенная в полях маленькая деревушка Погибелка.

«Заехали.

«Оказалось, что крестьяне живут на «нищенском» наделе, земля неудобная, где-то в стороне, и к весне народ дошел до того, что у восьми дворов всего только одна корова и две лошади. Остальной скот весь продан. Большие и малые «побираются».

«Следующая деревня. Большая Губаревка, — то же самое. Дальше — еще хуже.

«Решили, не откладывая, сейчас же открывать столовые. Работа закипела.

«Самую трудную работу — распределение количества едоков из каждой крестьянской семьи — отец почти везде производил сам, поэтому целые дни, часто до глубокой ночи, раз'езжал по деревням. Раздача провизии и заготовка лежали на обязанности моей жены. Явились и помощники. Через неделю у нас уже действовало около 12 столовых в Мценском уезде и столько же в Чернском.

«Так как кормить весь народ без различия нам было не по средствам, мы допускали в столовые преимущественно детей, стариков и больных, и я помню, как отец любил попадать в деревню во время обеда, и как он умилялся тем благоговейным, почти молитвенным отношением к еде, которое он подмечал у столующихся.

«К сожалению, дело не обошлось и без административных неприятностей.

«Началось с того, что двух барышень, приехавших из Москвы и заведывавших одной из больших столовых, просто прогнали, под угрозой закрытия столовых. Затем явился ко мне становой с требованием дать ему разрешение начальника губернии на открытие столовых.

24. Вечерний чай с гостями в Хамовническом доме 15 апреля 1898 года
(с фотографии проф. Преображенского).

«Я стал убеждать его в том, что не может быть закона, воспрещающего благотворительность.

«Конечно, безуспешно.

«В это время в комнату вошел отец и между ним и становым завязался дружелюбный разговор, в котором один доказывал, что нельзя запрещать людям есть, а другой просил войти в положение человека подневольного, которому так приказывает начальство.

— Что прикажете делать, ваше сиятельство?

— Очень просто: не служить там, где вас могут заставить поступать против совести.

«После этого мне все-таки пришлось во имя сохранения дела с'ездить к орловскому и тульскому губернаторам и в заключение послать министру внутренних дел телеграмму с просьбой «устранить препятствия, которые ставят местные власти делу частной благотворительности, законом не возбраняемой».

«Таким образом, удалось спасти существовавшие у нас столовые, но новых открывать уже не разрешалось».

Бодрое, даже поэтическое настроение Л. Н—ча во время его пребывания в Гриневке, имении сына, ясно выражается в его письме к жене от 6 мая, где он пишет между прочим, так:

«Я нынче только после дождя с'ездил в деревню Каменку, где недружное общество, и столовая не ладится, так что я совсем отказал, и перенесу в другую деревню. Зато вчера, после того, как я писал тебе письмо на станции, я поехал дальше, в дальние, бедные две деревни, Губаревки, и там все идет прекрасно. Назад ехал через лес Тургенева — Спасское, вечерней зарей: свежая зелень в лесу под ногами, звезды в небе, запахи цветущей ракиты, вянущего березового листа, звуки соловья, шум жуков, кукушки, — кукушка и уединение, и приятное под тобой, бодрое движение лошади, и физическое и душевное здоровье. И я думал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так мне ясно стало, что также хорошо, хотя по другому будет на той стороне смерти, и понятно было, почему евреи рай изображали садом. Самая чистая радость — радость природы. Мне ясно было, что там будет также хорошо, — нет, лучше. Я постарался вызвать в себе сомнение в той жизни, как бывало прежде — и не мог, как прежде, но мог вызвать в себе уверенность».

Получив несколько новых пожертвований, Л. Н—ч решил расширить свою деятельность, распространив помощь на некоторые уезды Тульской губернии. Для этого в конце мая он поехал на лошадях к своим знакомым помещикам Левицким, близ станции Караси, Сызрано-Вяземской железной дороги. И там, к ужасу своих семейных и друзей, заболел сильной дизентерией; проболел там 10 дней и, поправившись, вернулся в Ясную Поляну.

Живя у сына, он написал статью «Голод или не голод», в которой описывал положение населения, давал отчет об истраченных деньгах и отвечал на некоторые общие вопросы.

Л. Н—ч так описывает начало своей деятельности:

«Первая деревня, в которую я приехал, было знакомое мне Спасское, принадлежащее И. С. Тургеневу. Расспросив старосту и стариков о положении в этой деревни, я убедился, что оно далеко не так дурно, как было дурно положение тех крестьян, среди которых мы устраивали столовые в 1891 году. У всех дворов были лошади, коровы, овцы, был картофель и не было разоренных домов, так что, судя по положению спасских крестьян, я подумал, что не преувеличены ли толки о нужде нынешнего года. Но посещение следующей за Спасским Малой Губаревки и других деревень, на которые мне указали, как на очень бедные, убедило меня в том, что Спасское находится в исключительно счастливых условиях—и по хорошему наделу, и по случайно хорошему урожаю прошлого года. Так, в первой деревне, в которую я приехал, Малой Губаревке, на 10 дворов было 4 коровы и 2 лошади, 2 семейства побирались, и нищета всех жителей была страшная. Таково же почти, хотя и не-

сколько лучше, положение других соседних деревень... Во всех этих деревнях, хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891 году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка — пшена, капусты, картофеля — даже у большинства нет никакого. Пища состоит из травяных щей из травы, забеленных, если есть корова, и не забеленных, если ее нет, и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено все, что можно продать и заложить. Так что крайней нужды в окружающей нас местности — районе 7—8 верст — так много, что, устроив 14 столовых, мы каждый день получаем просьбы о помощи новых деревень, находящихся в таком же положении.

«Там же, где устроены столовые, они идут хорошо, обходятся около 1 р. 50 коп. на человека в месяц и, кажется, удовлетворяют поставленной нами себе цели: поддержать жизнь и здоровье слабых членов самых бедных семейств.

«25 мая вечером я заехал в деревню Гущино, состоящую из 49 дворов, из которых 24 без лошадей. Было время ужина. На дворе под двумя вычищенными навесами сидели за пятью столами 80 человек столующихся: старики вперемежку со старухами — за большими столами на скамейках, дети за маленькими столиками на чурбачках с перекинутыми тесинами. Ужинавшие только что кончили первое блюдо (картофель с квасом) и подавалось второе — капустные щи. Бабы наливали ковшами в деревянные чашки дымящиеся, хорошо заправленные щи; столовщик с ковригою хлеба и ножом обходил столы и, прижимая ковригу к груди, отрезал и подавал ломти прекрасного, свежего, пахучего хлеба тем, у кого был доеден. Хозяйка и женщина из столующихся служат взрослым, хозяйская дочь — девочка служит детям. Все происходило чинно, степенно, точно как будто этот порядок существовал веками.

«Ужинавшие были большею частью исхудалые, истощенные, в поношенных одеждах, редкобородые, седые и лысые старики и сморщенные старушки. На всех лицах было выражение спокойствия и довольства. Все эти люди, очевидно, находились в том мирном и радостном настроении и даже в некотором возбуждении, которые производит употребление достаточной пищи после долгого лишения ее. Слышались звуки еды, степенный разговор и изредка смех на детских столах. Были тут и два прохожих нищих, за которых столовщик извинялся, что допустил их к ужину.

«Из Гущина я поехал в деревню Гнедышево, из которой два дня тому назад приходили крестьяне, прося о помощи. Деревня эта состоит так же, как и Губаревка, из 10 дворов. На 10 дворов здесь 4 лошади и 4 коровы, овец почти нет, все дома так стары и плохи, что едва стоят. Все бедны и все умоляют помочь им. «Хоть бы маломальски ребята отдыхали,—говорит баба,—а то просят лапки (хлеба), а дать нечего, так и заснуть не ужинамши».

«Я знаю, что тут есть доля преувеличения, но то, что говорит тут же мужик в кафтане с прорванным плечом, уж наверное не преувеличение, а действительность: «Хоть бы двоих—троих ребят с хлеба долой спихнуть,—говорит он.—А то вот свез в город последнюю свитку (шуба уже давно там), привез 3 пудика на 8 человек. Надолго ли их? А там уж и не знаю, что везти».

«Я попросил разменять мне 3 рубля. Во всей деревне не нашлось и рубля денег.

«Очевидно, необходимо устроить и тут столовую. Также, вероятно, нужно и в других деревнях, из которых приходили просить».

Далее следует денежный отчет и, наконец, Л. Н—ч сам себе ставит следующие вопросы:

«1) Есть ли в нынешнем году голод или нет голода?

«2) Отчего происходит так часто повторяющаяся нужда народная?

«3) Как сделать, чтобы нужда эта не повторялась и не требовала бы особенных мер для ее покрытия?»

Л. Н—ч подробно разбирает каждый из этих вопросов и приходит к такому заключению:

«На три поставленные вопроса — есть ли голод или нет голода? от чего про-

исходит нужда народа? и что нужно сделать, чтобы помочь этой нужде? — ответы мои следующие:

«Голода нет, а есть хроническое недоедание всего населения, которое продолжается уже 20 лет и все усиливается, которое особенно чувствительно нынешний год при дурном прошлогоднем урожае и которое будет еще хуже на будущий год, так как урожай ржи в нынешнем году еще хуже прошлогоднего. Голода нет, но есть положение гораздо худшее. Все равно, как бы врач, у которого спросили, есть ли у больного тиф, ответил: тифа нет, а есть быстро усиливающаяся чахотка.

«На второй же вопрос ответ мой состоит в том, что причина бедственности положения народа не материальная, а духовная, что причина главная — упадок его духа, так что пока народ не поднимется духом, до тех пор не помогут ему никакие внешние меры: ни министерство земледелия, ни выставки, ни сельско-хозяйственные школы, ни изменение тарифов, ни освобождение от выкупных платежей (которое давно бы пора сделать, так как крестьяне давно переплатили то, что заняли, если считать по теперь употребительному проценту), ни снятие пошлин с железа и машин, — ничто не поможет народу, если его состояние духа останется то же. Я не говорю, чтобы все эти меры не были полезны, но они сделаются полезными только тогда, как народ поднимется духом и сознательно, свободно захочет воспользоваться им.

«Ответ же мой на третий вопрос — как сделать, чтобы нужда эта не повторялась?—состоит в том, что для этого нужно, не говорю уже, уважать, а перестать презирать, оскорблять народ обращением с ним, как с животным, нужно подчинить его общим, а не исключительным законам, нужно дать ему свободу учения, свободу передвижения и, главное, снять клеймо дикого истязания — сечения взрослых людей только потому, что они числятся в сословии крестьян.

«Если освободить крестьян от всех тех пут и унижений, которыми они связаны, то через 20 лет они приобретут все те богатства, которыми мы бы желали наградить их, и гораздо еще больше того.

«Думаю же я, что это будет так, во-первых, потому, что я всегда находил больше разума и настоящего знания, нужного людям, среди крестьян, чем среди чиновников, и потому думаю, что крестьяне сами скорее и лучше обдумают, что для них нужнее; во-вторых, потому, что вероятнее предполагать, что крестьяне — те самые, о благе которых идет забота, — лучше знают, в чем оно состоит, чем чиновники. Чем дальше крестьяне живут от чиновников,—как, напр., в Самарской, Оренбургской, Вятской, Вологодской, Олонецкой губ., Сибири, — тем больше, без исключения, они благоденствуют.

«Вот те мысли и чувства, которые вызвало во мне новое сближение с крестьянской нуждой, и я счел своей обязанностью высказать их для того, чтобы люди искренние, действительно желающие отплатить народу за все то, что мы получили и получаем от него, не тратили даром своих сил на деятельность второстепенную и часто ложную и все силы свои употребили бы на то, без чего никакая помощь не будет действительной: на уничтожение всего того, что подавляет дух народа, и на восстановление всего того, что может поднять его».

Трудно представить, что можно найти предосудительного в той деятельности, которую снова проявил Л. Н—ч среди голодных крестьян со своими добровольными помощниками.

Но русская администрация усмотрела в этом крамолу и постаралась при первой возможности прекратить ее. Вот как говорит об этом Л. Н—ч:

«В Чернском уезде за это время моего отсутствия, по рассказам приехавшего оттуда моего сына, произошло следующее: полицейские власти, приехав в деревни, где были столовые, запретили крестьянам ходить в них обедать и ужинать; для верности же исполнения разломали те столы, на которых обедали, и спокойно уехали, не заменив для голодных отнятый у них кусок хлеба ничем, кроме требования безропотного повиновения. Трудно себе представить, что происходит в головах и сердцах людей, подвергшихся этому запрещению и всех тех людей, которые узнают про него.

«Еще труднее, для меня по крайней мере, представить себе, что происходит в головах и сердцах других — тех людей, которые считают нужным предписывать и исполнять такие мероприятия, т.-е. воистину не зная, что творят, отнимать изо рта хлеб милостыни у голодных стариков и детей» [1]).

Сеющий ветер пожинает бурю, и многие из этих нелепых мер отозвались потом, через несколько лет, волной народного гнева.

Статья эта не могла тогда появиться в России и была издана за границей Чертковым.

Наша заграничная жизнь ознаменовалась в это время началом нового периодического органа под названием «Свободное Слово». В создании его Л. Н—ч принимал самое горячее участие.

Основанный нами журнал, редактором которого было предложено быть мне, сначала предполагалось назвать «Жизнь», потом «Совесть» и, наконец, уже по предложению Л. Н—ча он был назван «Свободное Слово». Конечно, при первом шаге моего приготовления к редакторству я обратился за помощью и советом ко Л. Н—чу. И он ответил мне письмом с подробными указаниями о желательном содержании нового журнала. Вот это замечательное письмо, которое может быть полезно многим как настоящим, так и будущим редакторам свободного органа печати:

«Дорогой друг П... О деле вот что: я все думаю о вашем издании «Жизнь». Надо, чтобы 1-й номер был прекрасный и такие же все остальные. Для того же, чтобы это было, нужно, по-моему, вот что (вероятно, вы сами думаете то же самое, но и все-таки пишу). Надо, чтобы:

«1) Чтобы все сообщаемые сведения были так точны, чтобы нельзя было в них дать démentie. Для этого нужно иметь верных и осторожных корреспондентов.

«2) Чтобы—особенно в первых номерах—не было видно исключительно религиозное направление (чтобы все было проникнуто религиозным духом в том, чтобы не было недоброжелательности, а напротив, любовь к людям, а осуждение и негодование только к поступкам и, главное, к нехристианским учреждениям), но чтобы не были, особенно сначала, высказываемы религиозные основы.

«3) Чтобы было как можно больше разнообразия: чтобы были обличаемы и взятки, и фарисейство, и жестокость, и разврат, и деспотизм, и невежество. Я вот сейчас знаю, a) как купцы для подавления стачек предложили устроить казарму на 100 казаков, дали на это 50.000 р., чтобы всегда держать рабочих под страхом, b) знаю подкуп важного чиновника, c) обман чуда, d) заседание комиссии пересмотра судебных уставов, где уничтожают все последние остатки обеспечения граждан, e) цензурные ужасы, f) отношение в Петербурге к голоду, g) гонения за веру. Все это надо группировать так, чтобы захватывало как можно больше разнообразных сторон жизни.

«4) Чтобы в выборе предметов и в освещении их преобладала (если можно, была бы исключительно) точка зрения блага или вреда народа, массы.

«5) Чтобы излагалось все серьезным и строгим—без шуточек и брани—языком и сколь возможно более простым без иностранных и научных выражений.

«6) Отделы же журнала мне представляются такими: a) Обработанные статьи по какому-нибудь вопросу, хотя ваша о историческом значении священных писаний, или об общинах христиан, или о революции, или о солдатчине и т. п. Такую статью я предлагаю об отказах от военной службы. b) Известия из России, радостные и нерадостные. c) Политическое обозрение с христианской точки зрения. d) Библиография.

«Все это я пишу, разумеется, не обдумав, не обсудив, но все-таки пишу, потому что что-нибудь вам пригодится и вызовет на мысли. Главное, надо бояться неточностей и преувеличения не только в фактах, но и в чувствах, в сентиментальности. Это два подводные камня».

Приняв во внимание советы Л. Н—ча, я набросал более подробную программу

[1]) Там же, т. XVIII, стр. 89 и след.

и отослал ему, на что получил от него письмо с новыми советами и указаниями такого содержания:

«Журнал должен иметь два отдела. Один современный, другой общий, философский, религиозный, научный, даже художественный, вроде фельетонов, т.-е. что в этом отделе будут помещаться то научные, то философские, то религиозные, то художественные статьи. Какие будут. Первый же отдел должен заключать в себе:

«1) Передовые статьи: обсуждение важнейшего с христианской точки зрения события в данное время: духоборы, Китай, война исп.-амер.

«2) Политическое обозрение: все считающиеся важными современные политические события с христианской точки зрения.

«3) Государственные, церковные и экономические, явные и скрываемые преступления во всех государствах, в особенности в России.

«4) Милитаризм.

«5) Обманы веры.

«6) Жизнь рабочего и привилегированного класса.

«7) Критика художественная с христианской точки зрения.

«8) Библиография — указание хороших и вредных книг.

«Таков должен быть первый отдел, во второй же отдел войдут все те пункты: беллетристика, если она стоит того, т.-е. первообразная, а иначе — нехорошо, свобода совести и все другие, пропущенные мною отделы, если будут по ним статьи. Самые важные и наиболее желательные:

«1) Религиозная наука.

«2) Государство и церковь и их истинное значение, 3) нравственная гигиена, 4) физический труд.

«Обращение к читателям посылаю с теми замечаниями и помарками, которые я сделал. Может быть, я плох и слаб, но я поработал над тем и другим и я в своих замечаниях и помарках выразил мое мнение, как оно сложилось во мне. О фактах, о которых вы спрашиваете меня, лучше всего обратиться к Дунаеву. Заглавие «Совесть» лучше, чем «Жизнь», но хотелось бы еще лучше. Опасность главная по моему не в том, что будет серо — это не так опасно, а в том, чтобы не было сантиментально, т.-е. чтобы не было выражения не испытываемого чувства. Не сердитесь на меня за это. Вы правдивейший человек, а в писаниях ваших попадаются эти фальшивые ноты и вы их не видите в других. Бойтесь их. Дело так важно, что я не боюсь сказать это вам. Не бойтесь остановиться в статье без красивого окончания. Только бы было правдиво, деловито и sobre. Сведения о Ветровой, о молоканских детях, о запрещении «Русских Ведомостей» я бы мог найти, но это много труда, на который я неспособен. Таня, Маша, и, в особенности, ее муж, очень способный, может сделать это — напишите им».

Таким образом был основан новый орган «Свободное Слово». К сожалению, пришлось выпустить только 2 №№ этого издания. Мне пришлось переехать с семьей в Швейцарию, где я предпринял собственное издание под названием «Свободная Мысль», а «Свободное Слово» возобновилось в Англии через несколько лет уже по несколько измененной программе.

Помощь голодным только на время отвлекла Л. Н—ча от большого дела, предпринятого им ранее, — помощи преследуемым духоборам.

Л. Н—ч снова вступает в переписку со множеством лиц, так или иначе могущих способствовать выселению духоборов за границу.

Он командирует своего сына Сергея в Англию, чтобы войти в более тесное общение с тамошним комитетом для помощи духоборам.

На Кавказ по его просьбе отправляется энергичный и опытный Леопольд Антонович Суллержицкий, который деятельно занимается отправкой духоборов на океанских пароходах. Один из таких пароходов сопровождает его сын Сергей.

Л. Н—ч пишет администраторам Кавказа и Сибири, вымаливая то у того, то у другого какую-нибудь необходимую льготу; к нему стекается в свою очередь масса

людей, вошедших в соприкосновение с этим огромной важности делом переселения духоборов.

К нему едет агент с Гавайских островов, он принимает кавказских духоборов, потом людей им сочувствующих и желающих служить им, каких-то авантюристов Чучковых, и всех он умеет об'единить в служении одному общему делу.

Важное место занимала в этом большом деле денежная помощь. Денег на переселение нехватало, и вот Л. Н—ч, ради спасения духоборов, решается отступить от своего правила — не брать гонорара и продает свое будущее произведение.

Вот как он сообщает об этом Черткову:

«Так как выяснилось теперь, как много еще недостает денег для переселения духоборов, то я думаю вот что сделать:

«У меня есть неоконченные повести «Воскресение» и другие. Я последнее время занимался ими. Так вот я хотел бы продать их на самых выгодных условиях в английские или американские газеты и употребить вырученное на переселение духоборов. Повести эти написаны в моей старой манере, которую я теперь не одобряю. Если я буду исправлять их, пока останусь доволен, я никогда не кончу. Обязавшись же отдать их издателю, я должен буду выпустить их tels quels. Так случилось со мной с повестью «Казаки»: я все не кончал ее; но тогда проиграл деньги и для уплаты передал в редакцию журнала. Теперь же случай гораздо более законный. Повести же сами по себе если и не удовлетворяют теперешним требованиям моим от искусства,— не общедоступны по форме, — то по содержанию не вредны и даже могут быть полезны людям. И потому думаю, что хорошо, продав их как можно дороже, напечатать теперь, не дожидаясь моей смерти, и передать деньги в комитет для переселения духоборов».

Не надеясь выручить за это достаточно, он обратился письменно к целому ряду лиц, прося оказать денежную помощь для переселения духоборов. Таких писем он написал около 20. Вот для примера одно из них:

«Милостивый Государь Александр Николаевич! Обращаюсь к вам с просьбой о денежной помощи кавказским духоборам. Люди эти, как вы, вероятно, знаете, старались исполнить в самой жизни учение Христа, которому они следуют, не могли исполнить требуемой от них правительством воинской повинности и за это подверглись гонению, которое вследствие грубости кавказской администрации дошло до страшной жестокости. Отказывавшихся истязали, запирали в тюрьмы, ссылали в худшие места Сибири, где и теперь страдают сотни лучших людей, разоряли их селения, высылали целые семьи из их жилищ в татарские деревни. Измученные всем этим духоборы просили о позволении им выехать за границу. Им разрешили, но в последние годы их так разорили, что у них нет средств для переезда в Канаду, где им предлагают земли. Их всех выселяющихся более 7.000 человек. На переезд по морю и по железным дорогам им нужно по крайней мере по 100 руб. на душу, а у них, продав все свое имущество (бо́льшую часть уже продали), наберется не более 300 тысяч. Правда, есть добрые люди в Англии и России, которые пожертвовали и жертвуют, но все-таки недостает очень много.

«Подписка для этой цели не разрешается, и потому мы решили просить богатых и добрых людей помочь этому делу. И вот я обращаюсь к вам, прося вас дать сколько вы найдете возможным для этого, несомненно, доброго дела.

«Пожалуйста, отвечайте мне в Тулу и заказным письмом.

«Уважающий вас Лев Толстой».

И пожертвований скопилось значительное количество, давшее возможность благополучно переправить всех желавших выселиться в Канаду.

Раз решившись закончить новый роман «Воскресение», найдя оправдание для своей художественной работы, к которой так часто влекло его, казавшееся ему грешным, желание, Л. Н—ч отдается этому делу со всей страстностью.

Осенью он пишет Черткову:

«Я не знаю, хорошо или дурно — очень пристально занят «Воскресением». Многое важное надеюсь высказать. Оттого так и увлекаюсь. Мне кажется иногда,

что в «Воскресении» будет много хорошего, нужного, а иногда—что я предаюсь своей страсти.

«Я теперь решительно не могу ничем другим заниматься, как только «Воскресением». Как ядро приближается к земле все быстрее и быстрее, так у меня теперь, когда почти конец: я не могу ни о чем — нет не могу, — могу и даже думаю,— но не хочется ни о чем другом думать, как об этом».

К осени работа Л. Н—ча настолько подвинулась, что в сентябре он прочел «Воскресение» вслух собравшимся у него гостям.

Марья Львовна писала мне 18 сентября:

«...Гостил Стахович. При нем папа читал вслух «Воскресение», и это было у нас большое событие».

Наконец, в октябре Л. Н—ч нашел возможным уже заключить условие с издателем «Нивы», А. Марксом о печатании в его журнале «Воскресения».

Приводим здесь текст этого договора:

Адольфу Федоровичу Марксу.

«Предоставляю редакции «Нивы» право первого печатания моей повести «Воскресение». Редакция «Нивы» платит мне по тысяче рублей за печатный лист в 35.000 букв.

«Двенадцать тысяч рублей редакция выдает мне теперь же. Если повесть будет больше двенадцати листов, то редакция платит то, что будет причитаться сверх 12.000; если же в повести будет менее двенадцати печатных листов, то я или возвращу деньги, или дам другое художественное произведение. Лев Толстой. 12 октября 1898 г.»

Самое печатание романа должно было начаться с марта следующего года сразу на всех главных европейских языках. Это было исполнено и доставило Л. Н—чу не мало хлопот.

Мы должны вернуться несколько назад, чтобы упомянуть о событии этого года, достойном внимания.

28 августа этого 1898 году Л. Н—чу исполнилось 70 лет.

Мудрой русской администрации показалось весьма опасным не только празднование, но даже разговоры и рассуждения об этом «страшном» событии, и вот является секретный циркуляр по всем органам печати с запрещением говорить и печатать что-либо о предстоящем 70-летнем юбилее Льва Толстого.

Этот комичный циркуляр, конечно, наложил «храпение на уста» печати и об юбилее ничего печатано не было. Только уже значительно позже появилось несколько небольших статей.

Всю осень Л. Н—ч был занят переселением духоборов и писанием «Воскресения». В это же время в издании Черткова вышло новое произведение Л. Н—ча «Христианское учение», содержание которого уже передано нами в одной из предыдущих глав.

Несколько выписок из письма Л. Н—ча к Софье Андреевне дают понятие о характере жизни Л. Н—ча в это время. Семья его по обыкновению переехала в Москву, а он остался в Ясной Поляне со старшей дочерью. Насколько он ценил эту уединенную жизнь в Ясной Поляне и насколько ему трудно было переезжать в город, видно из следующего заключения его письма к Софье Андреевне:

«Ты приписываешь, вероятно, неправильное значение моему ответу Андрюше на вопрос: хочется ли мне в Москву? Как может хотеться ехать в место, где хуже. Если еду, то потому, что ты там, и мне хочется быть с тобою. А место хуже и беспокойством, и отсутствием природы, и всем тем, чем деревня лучше города. Прощай, до свидания. Целую тебя».

В это время С. А—на была обеспокоена событием, которое, конечно, перейдя через телефон сплетни, разрослось во что-то огромное и страшное; в Петербурге говорили, что Л. Н—ч, встретив крестный ход, отозвался о нем неодобрительно и крестьяне что-то неприятное сделали Л. Н—чу. С. А—на пишет об этом Л. Н—чу, спрашивает, что случилось и он отвечает ей так:

«Событие состоит в том, что я, наткнувшись на икону, об'ехал ее полями, но на станции опять встретил смотрителя, шедшего ей навстречу. Я сказал ему, что не совестно предаваться идолопоклонству и обману. Мужикам же, к сожалению, в этот раз не пришлось ничего сказать. Также и мужики, кроме ласковых приветствий, ничего мне не говорили. Я удивляюсь, что ты можешь интересоваться такими пустяками. Я 20 лет и словом, и печатью, и всеми средствами передаю свое отношение к обману и любовь к истине, и даже министру писал, что, считая это своей обязанностью, я это буду делать, пока жив. Как же тебя может интересовать такой ничтожный случай? Какой дурак тебя напугал? И какое нам дело до того, что говорят в Петербурге или Казани? Целую тебя».

А вот образчик чтения Л. Н—ча того времени. Он пишет между прочим С. А—не:

«Читаю прекрасную книгу Crosby «О буддизме».

«Жизнь и смерть одно и то же. Жизнь — постоянная перемена, смерть тоже только перемена».

«Роскошь, изнеженность мешают душе понять себя. Также мешает аскетизм, мучение своего тела. В обоих случаях человек думает о теле. А о нем надо забыть. Прекрасная книга».

—

Иллюстрировать «Воскресение», как известно, было поручено художнику Л. О. Пастернаку; он часто бывал поэтому в Ясной Поляне, советуясь со Л. Н—чем о своих рисунках.

Л. Н—ч пишет об этом С. А—не:

«Пишу нынче Марксу, чтобы отложил печатание до марта. Это нужно и мне и Пастернаку, и издателям за границей. Вчера получил остальные корректуры до 40-й главы включительно. Пастернаковские наброски прекрасны».

Наконец, в начале декабря Л. Н—ч переехал в Москву. Но 20 декабря вся семья поехала на праздники в Ясную Поляну, где и прожили до 10 января и тогда снова всей семьей вернулись в Москву.

В деле духоборческого переселения в это время происходили некоторые осложнения, которые Л. Н—ч старался смягчить и раз'яснить своим кротким участием и влиянием. Это можно заметить из следующего письма к Мооду, переводчику его сочинений на английский язык и принимавшему большое участие в судьбе духоборов. Вот что писал он ему 12 декабря:

Первая половина письма трактует об одном американском журнале и о кружке людей, группировавшихся около этого органа и разделявших взгляды на жизнь Л. Н—ча. Вторая половина письма посвящена именно этому вопросу о духоборах. Вот это письмо:

«Сейчас получил ваше второе письмо с парохода, в котором вы пишете мне про Houells'a и др. Houells мне особенно симпатичен по всему, что я знаю о нем. Что вы знаете и думаете про Christian Commonnal wealth? Меня очень интересует это общество. Чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что наше чрезмерное умственное развитие много мешает нам в деле жизни. Сын мой спросил раз мужика, отчего он не стал жить у соседа помещика? Мужик отвечал: у него нельзя жить. Отчего? Дюже умен. И я думаю, что большинство наших неудач происходит оттого, что мы дюже умны. Как просто и легко достигают духоборы того, что кажется нам недосягаемо с нашим умом и ученостью. Боюсь, что в этом будет состоять и в Commonnal wealth препятствие к достижению цели их. В последнем номере я прочел рассуждение о том, что патриотизм может быть хорошим. Это грустно. Ч. пишет, что он не хочет и не может больше заниматься делами духоборов, часть которых составляют издание и продажа переводов моей повести, а сколько я понимаю, уезжает в Канаду и потому невольно мы все возлагаем надежду на вас. Как ни совестно просить вас, после того, как вы только что окончили свой труд для общего дела, взять на себя новый труд, мы не можем не делать этого. Если вы согласитесь, то я буду стараться избавить вас, насколько могу, от лишнего труда в той мере, в

которой это мне здесь возможно. Кажется, что теперь самое трудное перейдено и пойдет под гору.

«Так вот, любезный друг, пожалуйста, не откажите помочь нам и поскорее ответьте, чтобы успокоить нас».

Повидимому, Моод не согласился взять в свои руки это дело, так как через месяц Л. Н—ч снова пишет ему:

«Получил три письма ваши. О вашем отказе участвовать в деле печатания перевода «Воскресения» очень жалею, хотя и понимаю мотивы вашего отказа. Во всем этом деле есть что-то неопределенное, неясное и как будто несогласное с исповедуемыми нами принципами. Иногда — в дурные минуты — это на меня так же действует и мне хочется, как можно скорее get rid of it, но когда я в хорошем серьезном настроении, я даже радуюсь всей этой неприятности, которая связана с этим делом. Я знаю, что мотивы мои были если не добрые, то самые невинные, и потому если в глазах людей я покажусь за это непоследовательным или еще чем-нибудь хуже, то это только полезно мне, приучая меня действовать независимо от людских суждений, только соответственно требованиям совести. Случаем этим надо дорожить. Они редки и очень полезны».

К счастью для дела, недоразумения эти уладились и Моод и Чертков продолжали принимать деятельное участие в общем деле переселения духоборов и довели его до благополучного конца.

Весь 1899 год шло печатание романа «Воскресение». Мы полагаем нелишним кратко рассказать его историю, чему и будет посвящена следующая глава.

ГЛАВА 22-я.

Конференция в Гааге. «Воскресение».

В конце 1898 года, как известно, появился манифест Николая II о созыве Гаагской мирной конференции. Это неожиданное выступление вызвало огромное количество толков и пересудов. Как и следовало ожидать, оно не привело ни к чему, но польза, принесенная им, состояла в том, что вопрос о мире и о войне вновь подвергся международному обсуждению и, конечно, многие ждали, что скажет на это Л. Н—ч Толстой.

В том же году Л. Н—чу пришлось публично вкратце высказаться по этому поводу. Американский журнал «World» запросил по телеграфу его мнение о манифесте Николая II. Л. Н—ч ответил на английском языке следующее:

«Последствием этого манифеста будут слова. Всеобщий мир может быть достигнут только самоуважением и неповиновением правительству, требующему податей и военной службы для организованного насилия и убийства».

В начале 1899 года ко Л. Н—чу обратилась группа шведских передовых людей с письмом, в котором они выражали свои сомнения о пользе Гаагской конференции и сообщали Л. Н—чу свои мнения.

Л. Н—ч ответил большим письмом, опубликованном на всех языках, сущность которого заключается в следующем.

В начале письма Л. Н—ч, резюмируя вопросы авторов письма и свой ответ в общей форме, говорит так:

«Мысль, высказанная в прекрасном письме вашем о том, что всеобщее разоружение может быть достигнуто самым легким и верным путем посредством отказа отдельных лиц от участия в военной службе, — совершенно справедлива. Я даже думаю, что это единственный путь избавления людей от все усиливающихся и увеличивающихся ужаснейших бедствий военщины. Мысль же ваша о том, что вопрос о замене воинской повинности для лиц, отказывающихся от исполнения ее, обще-

ственными работами, может быть рассматриваема на имеющей, по предложению царя, собраться конференции, мне кажется совершенно ошибочной уже по одному тому, что сама конференция не может быть ничем иным, как одним из тех лицемерных учреждений, которые имеют целью не достижения мира, но, напротив, скрытие от людей того единственного средства достижения всеобщего мира, которое уже начинают видеть передовые люди».

Затем Л. Н—ч развивает эти общие положения. Главное затруднение он видит в том, что у международного органа, который должен будет приводить в исполнение решения суда, не будет нужной для этого силы. Он выражает эту мысль в следующих словах:

«Говорят: конфликты правительств будут решаться третейским судом. Но, — не говоря уже о том, что решать дела будут не представители народа, а представители правительств; и потому нет никакого ручательства о том, что решения эти будут правильны, — кто же будет приводить в исполнение решения этого суда? — Войска. — Чьи войска? — Всех держав. — Но ведь сила этих держав неравная. Кто, например, приведет на континенте в исполнение решение, которое, предположим, будет невыгодно для Германии, России или Франции, соединенных в союз? или кто приведет на море решение, противное интересам Англии, Америки, Франции? Решение третейского суда против военного насилия государств будет приводиться в исполнение военным насилием, т.-е. то самое, что нужно ограничить, будет средством ограничения. Чтобы поймать птицу, надо посыпать ей соли на хвост».

Считая все это предложение делом изолгавшихся дипломатов, Л. Н—ч заключает свое письмо таким утверждением:

«Уменьшиться и уничтожиться войска могут только против воли, и никак не по воле правительств. Уменьшатся и уничтожатся войска только тогда, когда люди перестанут доверять правительствам и будут сами искать спасения от удручающих их бедствий, и будут искать этого спасения не в сложных и утонченных комбинациях дипломатов, а в простом исполнении обязательного для каждого человека, написанного и во всех религиозных учениях, и в сердце каждого человека, закона о том, чтобы не делать другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали, тем более не убивать своего ближнего.

«Уменьшатся, а потом и уничтожатся войска только тогда, когда общественное мнение будет клеймить позором людей, продающих из-за страха или выгоды свою свободу и становящихся в ряды убийц, называемых войском; а людей, — теперь неизвестных и даже осуждаемых, — которые, несмотря на все гонения и страдания, переносимые ими за это, отказываются, отдав свою свободу в руки других людей, стать опять орудиями убийства, — будет выставлять тем, что они есть: передовыми борцами и благодетелями человечества.

Только тогда сначала уменьшатся, а потом совсем уничтожатся войска, и наступит новая эра в жизни человечества».

Несмотря на то, что весь этот год Л. Н—ч был поглощен работой над «Воскресением», он написал целый ряд статей и писем по разным вопросам. Мы приводим главнейшие из них:

Отвечая на запрос одного из своих корреспондентов, Л. Н—ч написал письмо «О самоубийстве», в котором с необычайной простотой и ясностью излагает этот сложный вопрос. Письмо это не длинно, и мы приводим его здесь целиком, так как всякие сокращения только затемнили бы смысл его:

«Вопрос ваш о том, имеете ли вы и вообще человек право убить себя? — неправильно поставлен. О праве не может быть речи. Если может, то имеет право. Я думаю, что возможность убить себя есть спасительный клапан. При этой возможности человек не имеет права (вот тут уместно выражение: иметь право) говорить, что ему невыносимо жить. Невозможно жить, так убьешь себя и поэтому некому будет говорить о невыносимости жизни. Человеку дана возможность убить себя и потому он может (имеет право) убивать себя, и не переставая пользуется этим правом, убивая себя на дуэлях, войне, на фабриках, развратом, водкой, табаком, опиумом и т. д.

Вопрос может быть только о том, разумно ли и нравственно ли (разумное и нравственное всегда совпадает) убить себя?

«Нет, неразумно, так же неразумно, как срезать побеги растения, которое хочешь уничтожить: оно не погибнет, а только станет расти неправильно. Жизнь неистребима, — она вне времени и пространства и потому смерть только может изменить ее форму, прекратить ее проявление в этом мире. А прекратив ее в этом мире, я, во-первых, не знаю будет ли, проявление в другом мире более мне приятно, а, во-вторых, лишаю себя возможности изведать и приобрести для своего я все то, что оно могло приобрести в этом мире. Кроме того и главное это—неразумно, потому что, прекращая свою жизнь из-за того, что она мне кажется неприятной, я тем показываю, что имею превратное понятие о назначении своей жизни, предполагая, что назначение ее есть мое удовольствие, тогда как назначение ее есть, с одной стороны, личное совершенствование с другой—служение тому делу, которое совершается всею жизнью мира. Этим же самоубийство и безнравственно: человеку дана жизнь вся и возможность пользоваться ею до естественной смерти, только под условием его служения жизни мира, а он, воспользовавшись жизнью настолько, насколько она была ему приятна, отказывается от служения ею миру, как скоро она ему неприятна: тогда как по всем вероятиям это служение начиналось именно с того времени, когда жизнь показалась неприятной. Всякая работа представляется сначала неприятной.

«В Оптиной пустыни в продолжение более 30 лет лежал на полу разбитый параличом монах, владевший только левой рукой. Доктора говорили, что он должен был сильно страдать, но он не только не жаловался на свое положение, но постоянно крестясь, глядя на иконы, улыбаясь, выражал свою благодарность Богу и радость за ту искру жизни, которая теплилась в нем. Десятки тысяч посетителей бывали у него и трудно представить себе все то добро, которое распространялось на мир от этого, лишенного всякой возможности деятельности человека. Наверное, этот человек сделал больше добра, чем тысячи здоровых людей, воображающих, что они в разных учреждениях служат миру».

В другом большом письме этого времени к студенту Д. Л. Н—ч говорит о преподавании религии ребенку. Преподавать надо истинную религию, — говорил в этом письме Л. Н—ч, — а у нас насильно навязывают ложь.

«С того самого времени—20 лет тому назад,—говорит Л. Н—ч,—как ясно я увидел, как должно и может счастливо жить человечество и как бессмысленно оно, мучая себя, губит поколения за поколениями, я все дальше и дальше отодвигал коренную причину этого безумия и этой погибели: сначала представлялось этой причиной ложное экономическое устройство; теперь же я пришел к убеждению, что основная причина всего — это ложное религиозное учение, преподаваемое воспитанием».

Смысл письма заключается в том, что преподавание так называемого «Закона Божия» развращает заведомой ложью впечатлительную детскую душу. Главное в сношениях с детьми—правдивость, искренность, в ребенке уже заложены потребности сознания начала мира.

«У ребенка есть смутное представление о том, что есть то начало всего, та причина его существования, та сила, во власти которой он находится, и он имеет то самое высокое, неопределенное и невыразимое словами, но сознаваемое всем существом представление об этом начале, которое свойственно разумным людям.

«И вдруг вместо этого ему говорят, что Начало это есть не что иное, как какое-то личное самодурное и страшно злое существо — еврейский Бог.

«Хорошо, если мы можем ясно рассказать ему, что мы знаем об этом, но так как в большинстве случаев мы сами ничего не знаем об этом, то лучше так и говорить детям, что это нам неизвестно.

«Всякий искренний человек,—говорит Л. Н—ч,—знает то хорошее, во имя чего он живет. Пускай он скажет это ребенку, или жизнь покажет это ему, и он сделает добро и наверное не повредит ребенку.

Если бы мне нужно было сейчас передать ребенку сущность религиозного учения, которое я считаю истиной, я бы сказал ему, что мы пришли в этот мир и живем

в нем не по своей воле, а по воле Того, что мы называем Богом, и что поэтому нам будет хорошо только тогда, когда мы будем исполнять эту волю.

«Воля же эта состоит в том, чтобы все мы были истинно счастливы. Для того же, чтобы мы были все истинно счастливы, есть только одно средство: надо, чтобы каждый поступал с другими так, как он желал бы, чтобы поступали с ним.

«На вопросы же о том, как произошел мир? что ожидает нас после смерти? — я отвечал бы: на первый—признанием своего неведения и неправильности такого вопроса (во всем буддийском мире не существует этого вопроса); на второй же отвечал бы предположением о том, что воля призвавшего нас в эту жизнь для нашего блага ведет нас куда-то через смерть, вероятно, для той же цели».

Особенной резкостью в обличении как церковной лжи, так и связанного с нею церковного насилия, отличается так называемое «Письмо к фельдфебелю». В нем Л. Н—ч подтверждает зародившееся в уме солдата сомнение в истинности преподаваемого им учения в виду его полного несогласия с практикой жизни, разоблачает обман, мешающий приложению этого учения к жизни, и снова излагает сущность нового учения в форме подобной той, в которой он излагал его в письме к студенту Д.

Но более всех других работ в этом году Л. Н—ч был поглощен обработкой романа «Воскресение».

Как известно, сюжет для этого романа был дан Л. Н—чу его другом Анатолием Федоровичем Кони, который заимствовал его из своей судебной практики. И когда Л. Н—ч услыхал этот рассказ, переданный ему Анатолием Федоровичем со свойственным ему талантом рассказчика, Л. Н—ч стал упрашивать его непременно записать этот рассказ и отдать его для издания «Посредника». Но сюжет не только понравился Л. Н—чу своим сложным и интересным морально-психологическим моментом, он задел художественную струнку в самом Л. Н—че, и тот, не переставая думал о нем и, наконец, решился просить Анат. Фед. уступить ему эту тему, так как ему самому хочется ее обработать. И, конечно, получил его полное согласие. Главная тема романа, представляющая факт действительной жизни, заключается в том, что присяжный заседатель узнает в подсудимой соблазненную им девушку. Раскаяние в совершенном поступке производит в нем душевный переворот и он решается на брак с арестанткой.

Л. Н—ч перенес этот сюжет в область ему знакомой, с одной стороны, барской аристократической жизни, с другой стороны, столь же знакомой ему народной жизни и, наконец, в первый раз в своем произведении изобразил вновь народившийся класс протестующей революционной интеллигенции.

Кроме этой завязки романа, взятой из действительной жизни, в нем есть и автобиографические черты из жизни самого Л. Н—ча, а также нашли свое отражение некоторые события из современной жизни и изображены характеры современных как государственных, так и общественных деятелей.

Чтобы отметить автобиографическую часть романа, я должен рассказать об одной встрече моей со Л. Н—чем и тем исполнить завещанное им мне дело. В августе 1910 года, т.-е. за три месяца до его смерти, я посетил Л. Н—ча в Ясной Поляне. Чувство благоговения, с которым я относился к нему, часто мешало мне беспокоить его распросами о его жизни с биографической целью. Чуткая душа его угадывала мои чувства и он часто сам начинал рассказывать, прибавляя: «Вот это вам будет полезно для вашей работы». Я жадно слушал и проглатывал его слова, но, к сожалению, мало занисывал и потому в памяти моей осталось только самое главное.

И вот в этот приезд я раз увидал его гуляющим утром до завтрака, в своих старинных любимых липовых аллеях. Он часто по утрам там молился и я называл эти огромные липовые своды, с проглядывающей сквозь яркую листву лазурью неба, храмом Л. Н—ча.

Заметив меня, он подозвал и мы пошли рядом. Обменявшись несколькими при-

ветственными словами, он стал меня расспрашивать о моей работе и потом серьезным, спокойным проникающим душу голосом сказал:

«Вот вы пишете про меня все хорошее. Это неверно и неполно. Надо писать и дурное. В молодости я вел очень дурную жизнь и два события этой жизни особенно и до сих пор мучают меня. И я вам, как биографу, говорю это и прошу вас это написать в моей биографии. Эти события были: связь с крестьянской женщиной из нашей деревни, до моей женитьбы. На это есть намек в моем рассказе «Дьявол». Второе — это преступление, которое я совершил с горничной Гашей, жившей в доме моей тетки. Она была невинна, я ее соблазнил, ее прогнали и она погибла».

Слушая с трепетом сердца это покаяние, я не мог, конечно, дальнейшими расспросами растравлять душевную рану этого покаяния. Мы шли несколько времени молча и потом встреча кого-то из семейных прекратила нашу беседу.

Сопоставляя этот короткий рассказ с тем, что описано в «Воскресении», мы можем заключить, что отношения Нехлюдова к Катюше и есть изображение этого события. Этим можно об'яснить и ту страстность, с которой Л. Н—ч относился к этому сюжету, и то увлечение, с которым он торопился кончить и опубликовать прежде всего эту повесть из многих начатых им. Да будет это покаяние не в осуждение почившему, а к очищению его светлой памяти.

Важное место в романе занимает приложение к земельному вопросу теории Генри Джорджа. Как известно, Л. Н—ч разделял эти взгляды и ему хотелось воспользоваться привлекательной формой романа для распространения этих взглядов. В первоначальном виде этому вопросу в романе было отведено еще больше места. По этому первоначальному варианту Нехлюдов вступал в законный брак с Катюшей и поселялся в Сибири. Главным занятием Нехлюдова в этой новой семейной жизни было составление докладной записки государю о важной предлагаемой им государственной реформе — национализации земли и учреждении единого налога по системе Генри Джорджа.

Теоретическая часть романа, основная идея, на которую нанизаны бытовые явления, заключается в обличении государственного насилия и церковного обмана. И выставление в противовес им положительной силы жизни по своей совести, руководимой разумом и любовью.

Обличение бюрократизма выражено изображением важного чиновника Топорова, в котором легко узнать покойного Победоносцева. И разговор его с Нехлюдовым есть воспроизведение разговора дочери Л. Н—ча, Татьяны Львовны, с Победоносцевым, к которому она обращалась по поводу отобрания детей молокан, и который приведен нами в подлиннике в своем месте. Как и изображено в романе, Победоносцев тотчас же распорядился, чтобы дети были возвращены.

Еще укажем на один тип очень близко списанный с натуры. Это крестьянин-раскольник, которого Нехлюдов встретил на пароме, в Сибири. Это тип сложный. В него вошли два живые типы раскольников-старообрядцев весьма крайнего направления.

Один из них ходил по центральной России, бывал и в Москве, и многие из нашего кружка знали его и беседовали с ним. Он часто высказывал оригинальные и смелые мысли. Он любил обличать правительство за допущение продажи табака и называл его «табачной державой», этот человек так и был у нас известен под именем «табачной державы». Иногда его речь казалась очень запутанной оттого, что он употреблял многие апокалиптические выражения.

Другой тип, раскольник Андрей Вас. Власов, был в переписке со Л. Н—чем как раз во время писания им «Воскресения», и Л. Н—ч заимствовал из его писем много сильных выражений.

Многие описания природы, помещичьего быта носят также автобиографический характер.

Мир арестантов уголовных и революционных описан отчасти по личным вне-

чатлениям Л. Н—ча, часто посещавшего тюрьмы, отчасти по документам, доставленным Л. Н—чу его друзьями революционерами. Сам Л. Н—ч никогда не был в Сибири, тем удивительнее сила его художественного творчества, воспроизведшая с такою реальностью этапную, острожную и вообще сибирскую жизнь.

Герой повести кн. Нехлюдов—конечно, все то же лицо, которое мы видели еще юношей в «Юности», потом в «Утре помещика», в «Люцерне», в «Встрече в отряде», это лицо, которое должно было играть главную роль в задуманном, но не написанном Л. Н—чем «Романе русского помещика», от которого остались только одни наброски.

В него вкладывает Л. Н—ч свои лучшие мечты, заставляет его переживать собственные страсти, свои пороки и увлечения и в нем же открывает нам свою душу, очищенную и полную высших стремлений.

Как известно, роман кончается тем, что кн. Нехлюдов, переживая в себе все впечатления жизни, задумывается над вопросом: что делать, чтобы бороться со всем этим торжествующим в мире и заливающим мир злом? Ответ на это Нехлюдов находит в Евангелии, в притче «о немилосердном заимодавце», особенно в последних словах этой притчи: «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?»

Бесконечна вина наша перед вечной правдой, а мы считаемся, мстим и наказываем, не прощаем людей за их ничтожные сравнительно вины, которые они совершают перед нами.

Тоже подтвердили ему и слова Христа, обращенные к Петру о том, что прощать надо не до семи, а до седмижды семидесяти раз, т.-е. всегда; и Л. Н—ч так заключает рассуждения Нехлюдова:

«Так выяснилась ему теперь мысль о том, что единственное несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми перед Богом и потому неспособными ни наказывать, ни исправлять других людей».

Л. Н—ч заключает свой роман словами о том, что Нехлюдову открылся новый путь жизни. «А чем кончится он, покажет будущее».

Творческий гений, создавший это великое произведение, отошел в вечность, не дав нам изображения этого нового периода жизни. Будем ждать, что люди, проникнутые выраженными в романе идеями, дадут нам в действительной жизни то, что было намечено Л. Н—чем в его художественном произведении.

Многие читатели, пораженные и побежденные силой художественного прозрения при чтении этого произведения, были до некоторой степени разочарованы концом романа: «так все хорошо, глубоко и вдруг тексты и конец».

Когда до Л. Н—ча дошли эти разочарования, он ответил на них: «Если я позволил себе так много времени посвятить художественной работе, т.-е. недостойной моему возрасту игре, то только для того, чтобы заставить людей прочесть забытые ими места Евангелия, которыми заключил роман».

Мы уже говорили о личном элементе этого романа, который, несомненно, играл роль в увлечении, с которым работал Л. Н—ч над этим произведением. С другой стороны, широкое поле для кисти художника изображение пресыщенных и праздных, и хищных—с одной стороны, и смиренно страдающих и несущих в себе семена жизни—с другой стороны, при новом взгляде на жизнь, не могло не увлечь долго остававшагося без употребления художественного инстинкта Л. Н—ча. Л. Н—ч много раз брался за это произведение и снова бросал его. В нем боролись две силы: художник и моралист. Он бросал произведения искусства, чтобы высказать слова голой правды, звать людей к спасению, так как видел их уже на краю гибели, когда уже некогда услаждать их красивыми образами.

Почему же Л. Н—ч, наконец, кончил, обработал свое художественное произведение? Неужели эстетик снова победил в нем моралиста? Нет, но на чашку весов, на которой лежали его художественные наклонности, была положена новая тяжесть, которая перетянула. Это была благая цель, спасение нескольких тысяч лучших людей от болезней и смерти, возможность дать этим людям свободно работать в луч-

ших условиях. Эта высокая бескорыстная цель дала возможность Л. Н—чу отдаться своему художественному гению, и тогда он призвал все силы этого гения и показал этим людям правду жизни с той силой, на которую только способно словесное искусство, просветленное высшим религиозным сознанием.

Подобно тому, как мы поступали с другими большими произведениями Л. Н—ча, мы считаем своим долгом сделать краткий обзор критической литературы «Воскресения».

Критическая литература о «Воскресении» очень велика и будет, вероятно, еще расти с течением времени, так как вопросы, затронутые в этом произведении, принадлежат вечности. В этом нашем кратком очерке мы дадим только несколько типичных образцов, указывающих на разные стороны человеческой жизни, затрагиваемые этим романом и дающих нам общую картину того впечатления, которое произвело на читающую публику появление этого произведения.

Вот как описывает это впечатление критик «Недели» Пл. Н. Краснов:

«Не будет преувеличением сказать, что «Воскресение» было встречено публикой с наибольшим интересом, чем какое-либо иное произведение гр. Л. Н. Толстого. Немало этому содействовала уже и вполне прочно установившаяся репутация автора, как великого художника и оригинального мыслителя; но всего больше интерес этот обусловлен поистине громадными достоинствами последнего произведения гр. Л. Н. Толстого и по размерам, и по глубине замысла, и по тонкости отделки далеко превосходящего все произведения, написанные после «Анны Карениной», а, может быть, в иных отношениях даже и этот последний роман и самую «Войну и мир» [1]).

Далее критик говорит о внешних приемах, которыми пользуется Л. Н—ч в изображении событий и лиц:

«Воскресение» написано приемами особенного наглядного реализма. Гр. Л. Н. Толстой старается описывать предметы и события, употребляя самые простые слова, не прибегая к общепринятым в разговоре терминам, маскирующим и оправдывающим события. Он не говорит, напр., что полы в квартире Нехлюдова натирались полотерами, а указывает, что они чистились мужиками; при описании церковных или судейских обрядов гр. Л. Н. Толстой не пользуется техническими выражениями, но употребляет самые простые слова, описывающие жесты и действия этих лиц. Таким приемом, во-первых, достигается бо́льшая внимательность читателя к существу дела, невозможная при употреблении общепринятых терминов, которые встречаются, как хорошо знакомые символы, о которых нечего задумываться; во-вторых, получается бо́льшая образность описания, а в-третьих, получается впечатление зрителя, рассматривающего современный быт со стороны; мы смотрим на нашу жизнь так, как смотрели бы на жизнь жителей другой планеты» [2]).

Далее в своей статье Пл. Н. Краснов указывает между прочим на характерную особенность в выборе героини романа:

«Что касается выбора героини, то нам уже пришлось встречать в критике упреки гр. Л. Н. Толстому за то, что он выбрал героиню из самой низшей среды. Говорили, что лучшие наши художники выводили героинями таких женщин, которым каждая из читательниц могла бы подражать; того же ожидали и от героини гр. Л. Н. Толстого; но разве можно подражать Катюше Масловой? Словом, на сцену был поднят вечный вопрос о положительных типах. Но натуралистический роман тем и отличается от идеалистического, что он изображает не идеалы современного общества, а действительную жизнь, какова она есть. Если же гр. Л. Н. Толстой обратил внимание именно на это явление жизни, то об'яснение этому лежит в известном нравственном

---

[1]) «Книжки Недели». 1900. Январь. «Новый роман гр. Л. Н. Толстого». Пл. Н. Краснова. «Воскресение». Роман в 3-х частях гр. Л. Н. Толстого. Стр. 200.

[2]) Там же, стр. 209.

под'еме общества за последние годы именно в области этих легких отношений к женщине. Сам гр. Л. Н. Толстой другими словами, менее художественными и более тенденциозными, даже нравоучительными произведениями способствовали нравственному росту общества в этом отношении. Но интересно и важно знать не только, как следует поступать молодым мужчинам в отношении женщин, но и то, как дело обстоит в действительности» [1]).

Н. К. Михайловский подмечает новую черту в авторе «Воскресения», это его оппозиция к той среде, в которой живет он сам и в которой заставляет жить своего героя. Критик говорит:

«...в «Воскресении» гр. Толстой воюет с невидимым, но совершенно определенным врагом. Это не выживший из ума генерал Кригмут, не сибирский конвойный офицер, вспоминающий какую-то венгерку с персидскими глазами, не деревянный муж сестры Нехлюдова, не пошлая лгунья Mariette, не судья с катарром желудка и не тот судья, который перед заседанием гимнастикой занимается; вообще не какое-нибудь определенное лицо. Умные и глупые, больные и здоровые, смешные и скверные, эти действующие лица рассказа сливаются для автора в один серый фон, и каждое из них в отдельности не претерпевает каких-нибудь сильных ударов от него: он спокойно записывает их глупости, скверности и пошлости. Его враг — «все», та страшная сила «всех» данного общества, которая глушит лучшие движения души личности, подсовывая ей свои готовые решения вопросов жизни...» [2]).

Новую характеристику героя «Воскресения» дает критик «Нивы» Р. И. Сементковский; ему кажется, что Нехлюдов—это знакомый герой, уже много раз изображенный русскими писателями в лучших своих произведениях, но тип этот для Р. И. Сементковского скорее отрицательный. Он так характеризует его:

«Как близок и как понятен нам этот князь Нехлюдов! Он имеет в литературе своего знаменитого предшественника, тоже громившего с высоты своего теоретического величия и своей пробудившейся совести все окружающее. Назывался этот предшественник Чацкий, и его «горе» происходило от «ума». От какого ума? От ума, витающего в безвоздушном пространстве, от ума, которому нет преград, потому что в безвоздушном пространстве, как выразился еще Шиллер, «идеи мирно уживаются, а в действительности предметы резко сталкиваются»... Правда, между Чацким и князем Нехлюдовым существует та разница, что первый ораторствует, а второй только размышляет, но ведь и Чацкий произносит монологи, т.-е. ведет внутреннюю беседу с самим собою. Они — одного поля ягоды, и мы можем присоединить к ним многие другие, хорошо нам известные типы: Манилова, Рудина, Райского и т. д. Есть что-то родственное между этими нашими знакомыми, и никто их не смешает ни с Константджогло, ни с Инсаровым, ни с Соломиным. Эти последние не выступали в роли неумолимых судей существующего, но зато делали очень много, чтобы изменить существующее к лучшему. А Чацкие, Рудины, Нехлюдовы все осуждают и ничего не делают».

Но значение романа, по мнению критика, от этого не страдает и в конце статьи он говорит так:

«Громадное значение нового романа гр. Л. Н. Толстого заключается в том, что русское интеллигентное общество должно узнать себя в Нехлюдове, увидеть в нем отражение собственного, далеко не казистого «я». Все мы так склонны рассуждать, обсуждать, строить самые радикальные теории и так мало способны осуществлять наши идеалы в жизненном деле. Мы—герои в области смелых фраз, резкого осуждения, пожалуй, даже самобичевания, но в самой жизни мы отнюдь не герои. Создать образ, в котором общество видит себя, как в зеркале, в котором отражается главный общественный недуг, может только великое дарование» [3]).

---

[1]) Там же, стр. 211—212.

[2]) Последние сочинения Н. К. Михайловского. Т. I. СПБ. 1905. Стр. 279.

[3]) «Нива». Ежемес. литер. приложения. № 12. Декабрь 1899. «Что нового в литературе?» Критич. очерки Сементковского. Стр. 878.

Иного мнения об этом произведении строгий критик «Русской Мысли» г-н Протопопов. Он признает только один внешний успех произведения и говорит, что больше всего пользы принес роман издателю Марксу. Впрочем, он находит даже, что и романом «Воскресение» назвать нельзя. К счастью, голос его звучит совершенно одиноко, если не считать нападков черносотенной прессы. Оригинальность его мнения заслуживает того, чтобы привести из его статьи некоторые выдержки:

Вот что он говорит об успехе «Воскресения»:

«Внешний успех романа вполне соответствует всемирной репутации автора: роман читался нарасхват, вышел в бесчисленных изданиях, переведен на все языки и заставил о себе говорить едва ли не все литературные органы и не всех литературных критиков мира. Но успех другого рода, успех внутренний, тот, который определяется силой произведенного впечатления и прочностью влияния? Этого успеха роман Толстого не имел, никогда не возымеет, и это не только естественно, в порядке вещей, но и вполне разумно, и вполне справедливо. Вот пункт, который необходимо раз'яснить».

Раз'яснив и удовлетворившись «разносом» «Воскресения», критик делает себе такое возражение:

«Читатель заметил, конечно, что я ничего не говорю о психологической стороне романа, сосредоточив все внимание на его общественных тенденциях. Кто же воскрес в «Воскресении»? Что за люди Нехлюдов и Катя Маслова и в чем выразилось их нравственное обновление, если под воскресшими именно их подразумевать? Но дело в том, что никакой психологии в романе нет, да нет и никакого вообще романа, а есть страстный социально-моральный памфлет, направленный против наших культурно-общественных идеалов и стремлений. Нехлюдов и Маслова отнюдь не характерны, не типы, это не более, как марионетки, изготовленные автором для произнесения нужных ему слов, для совершения нужных ему поступков» [1]).

С г-ном Протопоповым несогласны не только русские, но и европейские критики; так, французский критик Пелисье говорит о «Воскресении» так:

«Вместе с «Воскресением» Толстой возвращается к искусству. «Воскресение» является настоящим романом, а не известного рода трактатом».

И далее он рассуждает так:

«Воскресение» есть прежде всего прекрасное произведение по правдивости сцен и картин. Мы можем сравнивать Толстого с нашими реалистами, только противополагая его им. Нередко им сильно доставалось от него. Что ему не нравится в них, это прежде всего их нравственное равнодушие, даже у некоторых аффектированное презрение к людям. Ему не нравится также их преимущественное стремление показать нам наиболее худшее в жизни и мире. Но даже как художник он мало на них похож. Последние наслуют природу, чтобы вложить ее в рамки, заранее намеченные; они выпускают в целом все то, что не связано тесным образом с предметом, в каждой картине все, что не содействует общему впечатлению.

«Искусство Толстого более широко, более гибко, ближе к действительности. От этого известные недостатки, к которым я сейчас возвращусь, особенно растянутость, шокирующая наши латинские привычки. Но надо сознаться, что это искусство, менее строгое и менее сосредоточенное, дает нам лучшее ощущение самой жизни» [2]).

Приведем еще одно характерное место из статьи французского критика:

«Сюжет романа сводится целиком к двум главным лицам. Как то, так и другое анализированы с тонкою и глубокою правдивостью. Скажем лучше, автор не дает нам анализа, он поступает не так, как известные романисты, называемые психо-

---

[1]) «Русская Мысль». 1900, июнь. «Не от мира сего». «Воскресение». Ром. в трех частях графа Л. Н. Толстого. Изд. А. Ф. Маркса. СПБ. М. А. Протопопова. Стр. 139.

[2]) «Русская Мысль». 1901. Март. Французский критик о «Воскресении» Л. Н. Толстого. Стр. 129.

логами, которые, не умея придавать жизнь своим образам, заменяют действие тяжелыми комментариями. В его книге находится прекрасная глава «психологии», где он показывает внутреннюю работу, совершающуюся во время кризиса у Нехлюдова. Эта глава слишком длинна, чтобы передать ее всю целиком, слишком прекрасна для сокращения. Но вы увидите, читая ее, что даже тогда, когда дело идет, как там, о вопросе совести, психология романиста не походит на анатомическую. Нет ничего более патетического во всей книге. Автор не выставляет себя вместо лица; само лицо живет перед нашими глазами: вместо анализа у нас истинная драма» [1]).

Приведем здесь также мнение о «Воскресении» известного французского историка и публициста Анатоля Леруа-Болье. Он считал его редчайшим литературным событием: «Воскресение» это—роман, написанный на вперед заданный, моральный тезис, и в то же время возведен был автором на степень величайшего художественного произведения, поражающего читателя своей жизненностью и правдой [2]).

Серьезную и проникновенную статью о «Воскресении» написал покойный А. Богданович в «Мире Божьем». Мы позволяем себе сделать из его статьи более обширные выписки:

«Прежде всего,—говорит критик,—невольное изумление охватывает читателя при виде этой неувядающей силы творчества, какую проявил великий писатель, семидесятилетие которого еще так недавно было отпраздновано литературой и в России и за границей. Несмотря на очевидную порчу, которой, несомненно, подвергся роман в различных местах, и вся концепция его и отдельные, удивительной красоты, места вполне напоминают того Толстого, каким мы его знаем в «Войне и мире» или «Анне Карениной». Та же широта захвата жизни, легкость и естественная простота, с какими гениальный автор переносит нас из тюрьмы в залу суда, из суда в великосветское общество, из деревни в столицу, из приемной министра в камеру сибирского этапа. При этом не чувствуется ни малейшей деланности, как будто сама жизнь развертывается пред нами во всем своем разнообразии.

«И как развертывается! Вы испытываете одновременно и потрясение от видимого ужаса, и несправедливость человеческих отношений, и умиление, и радость за неугасаемую жажду правды, которая все время чувствуется в каждом моменте этих отношений. Даже в сценах самого дикого разгула насилия и неправды слышится неумолчный голос недремлющей совести, к которому чутко прислушивается автор и с потрясающей силой передает читателю. Благодаря этому чувству умиления, при виде торжества совести над видимым господством лжи, дикости, произвола, тягостных и ненужных жестокостей, чем так опутана жизнь человечества, — выносишь ощущение бодрящей свежести и радостного настроения. Это общее впечатление можно бы сравнить с тем, какое производят старинные легенды о мученичестве праведников. Как в этих легендах, так и здесь вся эта власть грубой силы и лжи кажется чем-то не настоящим, без корней, чем-то таким, что непрочно, не имеет внутреннего развития, а лишь временно и преходяще, что отпадает, как шелуха, когда наступит «полнота времен» [3]).

Анализируя различные моменты романа, критик приходит к такому заключению:

«История Катюши — это история тысяч тысяч Катюш, гибнущих на заре жизни и не воскресающих никогда. История Нехлюдова — тоже обычная история постепенного падения огромной массы когда-то хороших и чистых юношей, превращающихся в сытых, самодовольных животных, в безумии эгоизма не замечающих этого падения. А вся обстановка, при которой разыгрывается драма этих двух людей, жизнь в тюрьме, суд, этап, высшая бюрократия — разве эта не сама действи-

---

[1]) Там же, стр. 132.

[2]) Tolstoi. Conference foite à Paris le 3 Juillet 1905 par Georges Tournaire. Paris. Edition de la revue «L'Essor».

[3]) «Мир Божий». 1900 год, февраль. «Критические заметки» А. Б. Стр. 1—3.

гельность, та «настоящая жизнь», к которой мы так привыкли, что уже и не замечаем всех ее ужасов? И нужен такой огромный талант, как Толстого, чтобы заставить нас очнуться и задуматься над нею.

«Этого результата Толстой, несомненно, достиг. Ни одно крупное художественное произведение не было так распространено, как «Воскресение», так читаемо и обсуждаемо. Оно проникло в самые далекие уголки, куда редко проникает книга, и там возбудило еще большее внимание, чем на поверхности жизни. Огромное значение этого факта скажется в той или иной форме в свое время. Теперь же можно сказать, что результат будет самый благотворный, ибо и мысли, и чувства, возбуждаемые романом, очищают душу и воскресят не одного Нехлюдова, спасут не одну Катюшу» [1]).

Закончим наше краткое обозрение выдержками из статьи известного критика и публициста Андреевича (Соловьева).

Вот какое мнение высказывает он о новом произведении Л. Н—ча:

«Воскресение» Толстого лучше всего доказывает, как неутомимо работает его критическая мысль, как старается он вскрыть язвы нашей жизни, похоронить мертвецов и еще раз напомнить людям, что «суббота для человека, а не человек для субботы», что «веселы растения, птицы и насекомые и дети, но люди — большие, взрослые люди — не перестают обманывать и мучить друг друга», что они считают, что важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что мы сами выдумали, чтобы властвовать над людьми...

«Толстой в своем романе перечисляет все те субботы, в жертву которым люди приносят живущее в их душе царство Божие. Это субботы условностей, обычаев и приличий, жестокости и власти над другими, субботы формализма, рутины и правил, желание стать выше других и показать свое превосходство над ними. В этом смысл воистину гениального романа»...

И далее тот же критик говорит так:

«Воскресение» Толстого — самое благородное произведение, которое мне приходилось читать. Целые поколения будут и должны черпать из него силу для борьбы с своим самообманом и самодовольством».

Наконец, почтенный критик обращает внимание и на язык произведения. Он приводит мнение о языке известного английского ценителя искусства Джона Рёскина; сущность его мнения заключается в том, что в языке выражается характер души говорящего. «Секрет речи,—говорит Рёскин,—есть секрет сочувствия и полное очарование ее доступно только благородному. Таким образом правила прекрасной речи сводятся все к присутствию в речи искренности и доброты».

Приводя это мнение английского критика, г-н Андреевич переходит к оценке языка Толстого и говорит:

«Присутствие искренности и доброты» на самом деле чувствуется в каждой фразе Толстого. Есть мука за людей, есть жалость к их незаслуженным страданиям, есть глубокая ненависть к жестокости сильных и чудное, бьющее на смерть презрение к их самодовольству.

«Мне нравится и важный, несколько повышенный тон речи, за которым вы видите огромную работу мысли и чувства. «Писание» в этом случае имеет ясную и определенную цель, которая дорога Толстому. Это не игра ума, не феерия творчества, это—страстное стремление проникнуть в те глухие и глубокие тайники жизни, где таится корень всех зол, это могучий призыв к возрождению, к простой и близкой к природе жизни, «красота которой располагает к миру, согласию и любви».

---

[1]) Там же.

И критик заканчивает свою статью фразой, которая обобщает все, сказанное выше:

«Это воистину великое произведение» [1]).

Английский переводчик «Воскресения», А. Мод, бывший в непрерывных сношениях со Л. Н—чем, по поводу этого перевода дает интересные сведения о перипетиях издания «Воскресения» в своей статье под названием «Как Толстой писал «Воскресение».

Между прочим он говорит так:

«Произведение было продано Марксу, издателю петербургской иллюстрированной еженедельной газеты, при чем, согласно условию, издатель платил деньги вперед. Но здесь автору пришлось столкнуться с новыми препятствиями. Он в течение двадцати лет отказывался работать за плату и заявил, что он отказывается впредь от авторских прав: все, что печатает, может быть свободно перепечатываемо всяким. Кроме того он избегал срочной работы, т.-е. доставление известной части и вполне исправленного манускрипта к определенной дате. И вот теперь все, что ему было противно, обрушилось на него. Дело осложнялось еще тем, что Маркс, платя деньги, как всякий издатель, желал точно определить свои права. Он давал 30.000 рублей, если единственно ему будут предоставлены, хотя бы в течение только нескольких недель по окончании печатания в «Ниве», права продажи романа, и лишь 12.000 руб. за право печатания в «Ниве». Толстой, после короткого колебания, согласился взять меньшую сумму. Но тут опять начались неприятности. Другие издатели стали перепечатывать роман по мере его появления в «Ниве». Маркс протестовал, говоря, что он надеялся, что будет огражден от перепечаток до окончания романа. Толстому пришлось напечатать открытое письмо, в котором он обращался к добрым чувствам издателей, прося их впредь до окончания романа воздержаться от перепечаток. Эта сторона уладилась, но выплыли новые осложнения.

«Прежде всего, конечно, начались придирки со стороны петербургской цензуры. Все, что «подкапывало авторитет церкви и государства» и вообще все, казавшееся опасным цензору, исключалось. Понятно, что III-я часть, в которой описывается обращение с арестантами на пути в Сибирь и в самой Сибири, пострадала наиболее. Но вообще на протяжении всей книги целые главы, страницы и отдельные фразы попали под красный карандаш цензора.

«В первой части из глав XXXIX и XL остались лишь слова: «Церковная служба началась»; равным образом вся глава XIII, описывающая влияние военной службы, исчезла. Во 2-й части главы XXVIII, в которой описывается посещение Топорова, обер-прокурора святейшего синода, также была сокращена. Можно сказать, что если бы подобная книга принадлежала другому автору, а не Толстому, такое жизненно-верное изображение архигонителя Победоносцева вызвало бы запрещение всей книги и арест автора. Среди других глав особенно пострадали во 2-й части глава XIX, описывающая коменданта Петропавловской крепости, глава XXX, описывающая классификацию преступников, и глава XXXVIII, описывающая отбытие арестантского поезда из Москвы.

«Иностранные переводы тоже оказались не полны:

«Так, например, французский переводчик Вызева (Wysewa), превосходно владеющий французским языком, не довольствуясь полированием простого и прямого стиля Толстого и обращения его в чрезвычайно плавную книжную речь, выбросил, из боязни оскорбить католиков, описание церковной службы и нападки на армию, из боязни возбудить неудовольствие антидрейфусаров.

Но помимо русской цензуры и иностранных переводчиков, надо было еще считаться с редакторами и издателями.

---

[1]) «Жизнь», 1900 год, том II, февраль. «Очерки текущей русской литературы» Андреевича, стр. 354 и след.

«Echo de Paris», в котором появлялось «Воскресение», начало получать массу писем от читателей, которые жаловались, что Нехлюдов, по их мнению, «недостаточно занимается Катюшей». Вообще, по их мнению, в романе недостаточно любовного элемента. Редактор, зная, что его дело угождать требованиям и вкусам публики, пропустил несколько глав и перешел прямо к сцене, где Нехлюдов опять «занимается Катюшей», хотя, может быть, нежелательным для читателей газеты образом.

«Как известно, в Америке «Воскресение» также потерпело не мало в руках лицемерных редакторов. Роман был изуродован исключением мест, говорящих против милитаризма и земельной собственности. Вся глава XVII, изображающая падение Катюши, была исключена и т. д.

«В немецком издании (перевод Hauffa'a), также было исключено все «оскорбительное» для церкви и армии.

«Характерно, что не обошлось без комических эпизодов и в Англии, где также оказались добродетельные господа, нашедшие книгу Толстого «безнравственной» Один почтенный квакер, прочтя сцену падения Катюши, поспешил сжечь книгу...

«Когда, наконец, было решено печатать «Воскресение», Толстой энергично взялся за окончательную обработку романа. Эта «обработка» заключалась в совершенной переделке всей книги, некоторые части романа были несколько раз переделаны заново. Толстой настолько расширил свое произведение, что Маркс добровольно прибавил еще 10.000 руб. гонорара.

«Толстой никогда не оставался доволен написанным. Всякая корректура возвращалась с новыми и новыми изменениями, так что переводчики не могли получить своевременно окончательной версии некоторых глав, пока они не появились в «Ниве». Это увеличивало опасность появления неавторизованных переводов, которые не принесли бы денежной выгоды делу, побудившему Толстого разрешить появление книги в печати.

«Толстой настолько был требователен по отношению к самому себе и так щедр в «исправлениях», что несколько раз, по получении уже «окончательной» версии некоторых глав, которые были уже переведены и даже набраны, приходили новые и новые версии, так что переводчикам и наборщикам приходилось начинать работу заново».

Много хлопот и огорчений принесли Л. Н—чу и отношения с издателями русскими и иностранными, претензии которых, часто противоречившие друг другу, было очень трудно удовлетворить.

«Но все же в конце концов роман был напечатан в изуродованной форме. В Германии роман пользовался громадным успехом и выдержал около дюжины изданий. Во Франции вышло новое полное издание. Полный русский текст романа был опубликован по-немецки в Германии и в Англии [1]) в издании «Свободного Слова» на русском и английском языке в переводе Моода».

Вскоре появились и драматические переделки «Воскресения» на русском и французском языках, с успехом шедшие на сцене.

Вообще этот роман стал одним из наиболее популярных произведений Л. Н—ча. Этому способствовало, во-первых, то, что он появился во время расцвета славы Л. Н—ча, не говоря уже о захватывающем интересе содержания. Кроме того отказ от литературной собственности дал возможность напечатать его всевозможным фирмам, и вскоре по окончании печатания его в «Ниве» в России роман вышел в 40 различных изданиях и, конечно, количество распространения его надо считать миллионами.

Не обошлось и без пасквилей. Нашелся человек, позавидовавший славе Толстого и издавший небольшую брошюру под названием «Понедельник», роман графа Худого, это оказалось самой жалкой, нелепой и малоинтересной пародией на про-

[1]) «Былое», сентябрь 1908 г. Статья Батурина. А. Моод о Л. Н. Толстом.

изведение Л. Н—ча, возбуждавшей вопрос: зачем, кому понадобилась эта непроизводительная работа?

Но критическая работа, заключенная в романе, не прошла даром. Она крайне раздражила представителей официальной религии и, как известно, привела к отлучению Л. Н—ча от государственной церкви. Последствия этого события были огромны. Можно сказать, что с него начинается новая эпоха в жизни Л. Н—ча, мы надеемся посвятить описанию ее четвертый и последний том биографии.

28 октября 1915 г.

Конец 5-го тома.

Алфавитный указатель.

А.

Абердер, лорд, 165.
Абрикосов, 25.
Аввакум, протопоп, 5,
Агафья Михайловна, 265, 266, 267, 269.
Аггеев, Афанасий, 240.
Александр I, император, 47, 48.
Александр II, император, 114.
Александр III, император, 56, 144, 155, 168, 176, 203, 224, 239.
Александров, 101.
Алексеев, Вас. Ив. (В. И. А-в.), 32, 120.
Алексеев, доктор, 72, 218.
Алексей Божий человек, 92.
Алексей, царь, 47.
Алехин, Арк. Алекс. 115, 116, 121, 126, 185.
Алехин, Митр. Алекс. 126, 186, 204.
Альбертсон, Ральф, 300.
Амвросий, старец, 125, 126.
Амьель, Фредерик, 196, 218.
Андреевич (Соловьев), 323.
Андросов, духоборец, 300.
Анненков, генерал, 188.
Андреев-Бурлак, В. Н., 76, 106, 107.
Анна Иоанновна, императрица, 47.
Анненкова, Леонила Фоминична, 112, 236.
Аракчеев, граф, 87.
Армфельд, 17.
Арнольд, Матью, 8.
Ауэрбах, Бертольд, 196.

Б.

Балакирев, 6.
Баллу, Аддин, 109, 139, 198, 264.
Баршева, Ольга Алексеевна, 18, 89.
Барыкова, А. М., 205.
Бах, композитор, 273.
Беликов, П. П., 9.
Беллоус, квакер. 188.
Берс, Вячеслав Андр., 58.
Берс, Марья Петровна, 194.
Берс, Степан Андреевич, 266, 267
Бетховен, 273, 278, 297.
Бимиш, 111.
Бирон, правитель, 48.
Бирюков, Павел Иванович (Паша), 5, 9, 11, 27, 28, 29, 41, 54, 57, 58, 67, 68, 71, 72, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 94, 101, 102, 109, 110, 118, 120, 123, 178, 194, 205, 237, 283, 295, 308, 326.
Бичер-Стоу, 154.
Блэн, Альберт, 94.
Бобринская, гр. 209.
Богданович, А., 322.
Богоявленский, д-р., 161, 169.
Бодянский, Александр Михайлович, 204.
Болотин, молоканин, 287.
Бондарев, Тим. Мих., 14, 42, 43, 44, 45, 85, 117, 149.
Боткин, Вас. Петр., 90.
Брашнин, 101.
Броневский, 87, 94, 101.
Брукс, квакер, 188.
Брюммер, 284.
Будда, 14, 36, 41, 102, 141.
Буланже, Пав. Алек., 286.
Булгаков, проф., 154.
Булыгин, Мих. Вас., 94, 116, 120, 237.
Бунге, 102.
Бутлеров, 40.
Буткевич, Анатолий, 126.
Бьернсон-Бьернстерн, 284.
Бюрнуф, Евг., 141.

В.

Вагнер, Ник. Петр. 113.
Вагнер, Рихард, 212.
Валентин, монах, 250.
Вандервеер, 296.
Васильева, 55.
Вебер, 69.
Величкина, Вера Михайловна, 183, 186.
Венгеров, Сем. Афон., 45.
Верещагин, Вас. Гавр. 241, 242.
Верещагин, худ., 127.
Веригин, Вас. Вас., 241, 242.
Веригин, Петр Васильевич, 170, 241, 242, 258, 262, 302.
Вестминстер, герцог, 165.
Ветрова, Марья Федосьевна, 285, 309.
Вивекананда Свами, 268.
Владимир Александрович, вел. кн., 56, 229.
Владимиров, 169.
Власов, Андрей Васильевич, 317.
Вольтер, 181.
Воробьев, 123.
Воронцов-Дашков, 56, 227, 228.
Вызева, 324.

Г.

Гаазе, доктор, 281.
Гайдебуров, Пав. Алекс., 112.
Гапгуд, 101.

Гаррисон, Ллэйд, 86, 139, 198, 264.
Гаррисон-сын, 109.
Гаршин, Всев. Мих., 87.
Гастев, Петр Н., 170, 172, 185, 284.
Гауф, 325.
Гаша, горничная, 317.
Ге, Ник. Ник. (младший), (Колечка), 50, 87, 88, 89, 150, 188.
Ге, Ник. Ник. (старший), 18, 46, 50, 59, 60, 79, 89, 90, 93, 94, 100, 104, 105, 116, 121, 126, 127, 128, 138, 144, 154, 166, 172, 188, 206, 208, 223, 228, 229, 230, 235, 240.
Ге, Петр Николаевич (Петруша), 235.
Гегель, 13, 69.
Георгий Михайлович, вел. кн., 286.
Герцен, Александр Иванович, 84.
Гёте, 273.
Гижицкий, 211.
Гиль, 272.
Гинцбург, Илья Яковлев., 147, 292, 295.
Глебов, 188.
Гоголь, Н. В., 6, 79, 80, 85.
Голохвастова, 267.
Гольденвейзер, Александр Борисович, 295.
Гольцев, В. А., 143.
Гончаров, 6.
Горбунов-Посадов, Ив. Ив., 78, 95, 217, 235, 236, 237, 239, 257.
Грибовский, Вяч. Мих., 27, 28.
Григорович, Дм. Вас., 6, 108, 213, 214.
Грозный, Иван, 47.
Грот, Ник. Як. 45, 67, 68, 69, 76, 98, 129, 138, 148, 162, 172, 173, 178, 217, 218, 277, 297.
Гюго, Виктор, 8, 9.
Гюйон, 40.

Д.

Давыдов, Ник. Вас., 54, 113.
Данилевский, Г. П., 6, 30, 31.
Данилевский, Ник. Як., 26, 27.
Данилевский, проф., 230.
Данило, крестьянин, 240.
Дарвин, Чарлз, 35.
Декарт, 218.
Дерулед, 42, 51.
Джорж, Генри, 31, 44, 141, 234, 297, 317.
Джунковский, Ник. Фед., 53, 54.
Диллон, переводчик, 173, 176, 178, 179.
Дитерихс, Иосиф Конст., 302.
Дмитрий, Ростовский, 9.
Долгорукова, Лидия Алексеевна, 209.
Домела, Ньювенгийс, 296.
Достоевский, Фед. Мих., 30, 74, 86.
Дрожжин, Евдоким Никитич, 215, 224, 228, 237, 240, 263.
Дудченко, Митроф. Сем., 204.
Дунаев, Александр Никифорович, 88, 89, 126, 303, 309.
Дурново, 144.
Дьяков, Дмитрий Алексеевич, 164.
Дюма, Александр, 208, 209, 210, 297.

Е.

Егоров, 300.
Екатерина II, императрица, 48.
Елизавета, импер., 47, 48, 129.
Емельян (Ещенко), 109, 125.

Ж.

Желтов, Фед. Алексеевич, 102.
Желябов, 219, 220.
Жирневич, 300.
Жюльен, 141.

З.

Залесский, 101.
Залюбовский, 39, 87.
Заменгоф, д-р. 233.
Здзеховский, Марион Эдмундович, 259, 260.
Зиновьев, Н. А., 122.
Златовратский, Н. Н., 101.
Золотарев, Вас., 116, 126.
Золя, Эмиль, 208, 209, 210.
Зосима, 125.

И.

Ибсен, Генрих, 284.
Иванов, Алекс. Петр., 16, 22.
Иванов, Николай Никитич, 78.
Ивенс, шекер, 214.
Ивин, духобор, 280.
Игнат, крестьянин, 240.
Иенкеи, 302.
Ильин, 128.
Иоани Антонович, 48.
Иоанн, Кронштадтский, 140, 141, 148, 165, 170.
Иокай, японец, 267.
Ирод, 133, 134.

К.

Кабанов, 169.
Калмыкова, Алекс. Мих. 7, 8, 9, 34, 276.
Кант, Эммануил, 68, 69, 79.
Карамзин, 5, 102.
Касаткин, Ник. Алекс. 295.
Катков, М. Н. 125.
Кенан, 73, 128.
Кенворти, Джон, 118, 238, 239, 252, 258, 259, 263.
Керн, 161.
Кибальчич, 219, 220.
Кившенко, 25.
Клебер, проф. 58.
Кольридж, лорд, 165.
Кони, Анат. Фед. 73, 74, 87, 111, 139, 280, 285, 290, 291, 316.
Константин, Костюшка, 166.
Конт, Огюст, 13, 32, 35.
Коншин, Александр Николаевич, 170.
Конфуций, 5, 14, 36, 102, 141.
Коппэ, Франсуа, 205.
Копылова, Анисья, 89.
Корнель, 269.
Костомаров, 86.
Костычев, 188.
Крамской, Ив. Н., 9.
Краснов, Пл. Н., 319.
Кристи, губернатор, 188.
Кросьби, Эрнест, 234, 264, 296, 312.
Кудрявцев, Дмитрий Ростиславович, 81, 82, 207, 237.
Кузминская, Вера Александровна, 161, 162, 167.
Кузминская, Тат. Анд. (Таня), 10, 20, 21, 22, 23, 34, 41, 55.
Кузьминский, А. М., 3, 26, 39, 50, 73, 74, 75, 87, 111, 113, 131, 150.
Кузмич, Федор, 229.

Кузмич, странник, 225.
Кук, 101.
Куно-Фишер, 212, 213.
Кутузов, 296.

Л.

Лазарони, 125.
Лао-Тзе, 5, 36, 102, 141, 218.
Лассото, 106.
Лебедев, Василий, духоб. 257.
Лебедев, мельник, 170.
Левенфельд, Рафаил, 138.
Левицкий, 305.
Леонтьев, Борис Николаевич, 170, 185.
Леонтьев, монах, 125. 126.
Леруа-Болье, Анатоль, 322.
Лесков, Н. С. 7, 72, 86, 87, 138, 152, 178, 179, 236.
Ливермор, 264.
Ломброзо, Цезар, 295, 296, 297.
Лопатин, 224.
Львов, Ник. Алекс., 113.

М.

Магомет, 14.
Макарий, 211.
Маковицкий, Душан Петрович, 238, 248, 259, 299.
Маковский, 104.
Максвель, лорд, 165.
Маларме, 273.
Мартин, 264.
Марья Кирилловна, 161, 205.
Массарик, Ф., 72, 138.
Матрена, кормилица, 49.
Матрена, старуха, 38, 39.
Медведский, 27.
Мейендорф, 291.
Мельников-Печерский, 30.
Менций, 5, 102, 141.
Меншиков, Мих. Осип., 260.
Микель-Анджело, 273.
Милль, Дж. Стюарт, 31.
Миронов, 169.
Михаил, царь, 47.
Михаил Фомич, 55.
Михайловский, Ник. Конст., 24, 320.
Мицкевич, Адам, 259.
Моод, Алмер, 302, 312, 313, 324, 325.
Мопассан, 218, 234.
Мордвинов, 161.
Морлей, Джон, 218.
Морозов, 125.
Моисей, 14, 44.

Н.

Нагорнова, Варвара Валерьяновна (Варенька), 266.
Нагорнов, Ник. Ник., 265, 266, 269.
Наполеон, 129.
Некрасов, Ник. Ал., 73, 78.
Неплюев, Ник. Ник., 222.
Нерон, император, 48.
Никифоров, Лев. Павл., 101, 234.
Николай I (Николай Палкин), 23, 42, 47, 48.
Николай II, император, 313.
Новиков, Алексей Митрофанович, 161.
Новиков, Мих. Петр. 222.
Новикова, 165.
Новоселов, М. А. (М. Н.), 96, 116, 118, 170, 172, 185.
Ньютон, американец, 264.

О.

Оболенский, Леон. Егор., 10, 20, 68, 129.
Оболенский, Ник. Леон. (Коля), 254, 266, 292, 295.
Объедков, Василий Ив., 241, 242.
Озмидов, Ник. Лук., 86, 87,
Олсуфьевы, 21. 55, 247, 256, 269, 282, 283, 286, 288, 289, 291.
Ольденбурская, Евгения Максм., 57.
Ольховик, 268, 277.
Островский, 54,
Остроумов, д-р, 266.

П.

Павел, апостол, 45.
Павел I, император, 47, 48.
Павлин Ноланский, 9.
Панов, 46.
Паркор, 8, 86, 141.
Паскаль, 79, 98, 102, 141.
Пастернак, Леонид Осип., 312.
Пастухов, 126.
Пашков, Вас. Александр., 77.
Пейкер, А. И., 6.
Пелисье, 321.
Петр Васильевич, 205.
Петр Мытарь, 9.
Петр I, 47, 48.
Петров, Захар, 287,
Петров, Ив. Ив., 57.
Пилат, 126, 128, 129.
Писарев, Р. А., 5, 167, 183, 209.
Планидин, Пав. Вас., 208, 302.
Платон, философ, 7, 213, 217.
Победоносцев, Конст. Петр., 21, 203, 259, 286, 290, 291. 292, 317.
Полушин, 85.
Полонский, Як. Петр., 108.
Попов., Евг. Ив., 76, 87, 91, 97, 100, 101, 105, 107. 116, 117, 121, 134, 149, 161, 207, 234, 237, 241, 254, 263.
Потапенко, 205.
Потапов, Вас. Анд., 300.
Потехин, Алексей Антипович, 55.
Преображенекий, проф., 268.
Приселкова, 55.
Прокопенко, Сем. Мих., 204.
Прокофий, 51, 89, 90.
Протопопов, критик, 321.
Протопопов, моряк, 171, 184.
Проханов, Ив. Степ., 223.
Прянишников, 104.

Р.

Раевскей, Ив. Ив., 151, 160, 161, 162, 167, 171, 173. 194, 205.
Расин, 269.
Рахманов, Влад. Вас., 95, 96, 101, 126, 153, 185.
Репин, Илья Еф., 8, 10 76, 77, 104, 106, 107, 147, 148, 161, 163, 164, 224, 281.
Рескин, Джон, 45, 323.

Рихтер, О. Б., 228.
Рише, Шарль, 148.
Робертсон, 141.
Родивоныч, кучер, 269.
Розанов, 211.
Розен, баронеса, 240.
Романов, 116.
Ромэн-Роллан, 80.
Росси, 298.
Рубакин, Николай Александрович, 276.
Рубинштейн, Антон, 224.
Ругин, Ив. Дм., 116, 117, 126.
Русанов, Гавр. Андр., 25, 102, 232.
Руссо, Ж.-Ж. 28, 205.

С.

Саббатье, Павел, 218.
Савина, Марья Гавр., 54, 55.
Савихин, Вас. Иванов., 77, 78.
Самарин, Дм. Фед., 209.
Самошкин, крестьян., 287.
Свербеев, губернатор, 283.
Свешникова, Е. П., 8.
Семен, 90.
Семенов, Сергей Тер., 218.
Сементковский, Р. И., 320.
Сергеенко, Петр Алексеевич, 87, 88, 113, 223, 270, 277, 302.
Сергей Александрович, великий князь, 167, 171.
Середа, крестьянин, 268, 277.
Серон, 256.
Сибиряков, Конст. Мих., 20, 45.
Сиверцовы, 113.
Симон, Жюль, 208.
Симон, студент, 53.
Синджон, 300.
Скороходов, Влад. Ив., 185, 186.
Смирягин, 88.
Соболев, учитель, 295.
Сократ, 7, 8, 9, 14, 102, 266, 276.
Соловьев, Влад. Серг., 224.
Сольская, М. А., 57.
Сопоцко, Мих. Арк., 205, 218.
Спенсер, 13, 31, 35.
Спир, Африкан, 277.
Стадлинг, 185.
Стасов, Влад. Вас. 77, 164, 213, 214.
Стахович, Александр Александрович, 54, 55, 56.
Стахович, Мих. Ал., 46, 55, 107, 267, 311.
Стахович, Софья Александр., 295.
Стон, 11.
Стокгэм, 111, 214.
Стороженко, жена проф., 269.
Страннолюбский, Александр Николаевич, 230.
Страхов, Ник. Ник. 26, 27. 30, 40. 53. 57, 67, 68, 69, 72, 76, 77, 79 84, 98, 107, 111, 112. 131, 138, 155 184, 197, 210, 212, 213, 214, 253 354, 265, 266, 269.
Страхов, Федор Алексеевич, 183.
Стреттам, Гесба, 165.
Стэд, В., 91, 108.
Суворин, Ал. Серг., 138, 156.
Суллержицкий, Леон. Ант., 309.
Суриков, Вас. Ив., 78.
Сутнер, Берта фон, 154.
Сытин, Ив. Дм., 7, 9, 42, 43, 52, 57, 60, 62, 80, 88, 101, 102.
Сытин, Сергей Дмитриевич, 88.
Сютаев, Вас. Кирил. (отец), 29, 42, 125.
Сютаев, Ив. Вас., сын, 4.

Т.

Тастевен, 70.
Тищенко, Федор, 62.
Ткаченко, 81.
Товянский, 259.
Току-Томи, 278.
Толстая, Алекс. Акдреевна, 17, 18, 52, 72, 74, 75, 76, 132, 144, 145, 147, 151, 155, 171, 174, 175, 176, 177, 250, 281, 286, 289.
Толстая, Александра Львовна (Саша, дочь), 4, 250, 266.
Толстая, Марья Львовна (Маша), она же Оболенская, 21, 45, 49 50, 89, 94, 98, 100, 101, 109, 110, 112, 120, 121, 122, 159, 161, 162, 167, 170, 184, 187, 194, 204, 214, 218, 234, 238, 240, 243, 253, 254, 266, 282, 289, 292, 295, 296, 309, 311.
Толстая, Марья Николаевна (Машенька), 125, 251.
Толстая, Пелагея Николаевна, ур. Горчакова, 266.
Толстая, Софья Андр. (Соня), 54, 55, 56, 70, 75, 77, 79, 85, 88, 90, 98, 99, 103, 125, 126, 143, 144, 145, 150, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 184, 186, 188, 194, 195, 205, 209, 216, 232, 239, 240 247, 249, 250 251, 255, 265, 266, 275, 279, 294, 295, 303, 311, 312.
Толстая, Татьяна Львовна (Таня), (она же Сухотина), 21, 22, 50, 55, 80, 112, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 169, 170, 182, 194, 204, 205, 207, 228, 230, 247, 253, 258 266, 267, 282, 283, 290, 291, 292, 295, 309, 317,
Толстой, Алексей Львов. (Алеша), 45.
Толстой, Андрей Львович, 311.
Толстой, Дмитрий Андреевич, 72, 175, 176,
Толстой, Дмитрий Ник. (Митенька), 25.
Толстой, Иван Львович (Ваня, Ваничка), 85, 89, 247, 249, 250.
Толстой, Илья Львович, 21, 100, 139, 173, 227, 228, 230, 266, 303, 304.
Толстой, Лев Львович (Лева), 21, 139, 161, 185, 207, 230, 232, 237, 286.
Толстой, Мих. Льв. (Миша), 207, 266, 295.
Толстой, Ник. Ник., 250.
Толстой, Сергей Львович (Сережа), 21, 50, 106, 112, 138, 139, 254, 295, 309.
Толстой, Сергей Ник., 126, 275.
Трегубов, Ив. Мих., 262, 279, 280, 283.
Трепов, Дм. Фед., 302.
Третьяков, Пав. Мих., 105, 127, 128.
Трубецкой, 188.
Тургенев, Ив. Серг., 30, 73, 75, 90, 147, 214, 304, 305.
Тютчев, 74.

У.

Урусов, Леон. Дм., 24, 25, 26.
Урусов, Серг. Семен., 103, 104, 105, 107, 297.
Успенский, Гл. Ив., 42.
Ухтомский, Эспер. Эспер., 290, 291, 302.

Ф.

Фейербах, 141.
Фейнерман, Исаак Борисович (Тенеромо), 37, 38, 116, 126, 172, 214, 237.
Феоктистов, 55.
Филарет, 5.
Философова, Софья Алексеевна, 103, 205.
Фихте, 69.
Фон-Дервиз, 105.
Франциск, Ассизский, 218.
Фрей, Вильям (Гейне), 32, 33, 34, 35, 36, 37.
Фукай, 278.
Фулье, Альфред, 218.

Х.

Халевинская, врач, 271.
Хельчицкий, Петр, 199.
Херрон, 264, 300.
Хиггисон, 264.
Хилков, Дм. Алекс., 54, 94, 109, 121, 126, 129, 133, 140, 188, 204, 215, 216, 224, 225, 226, 228, 235, 258.
Хилкова, Цецилия Владимировна, 215, 216, 227, 228.
Хилкова, Юлия Петровна, 216.
Хис, 286, 289.
Хомяков, Алексей Степанович, 74.
Хохлов, 116.
Хульс, 312.

Ц.

Цингер, Иван. Вас., 205.

Ч.

Чайковский, П. И. 32, 213.
Чернов, духоборец, 302.
Черняева, 170.
Чертков, В. Г., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 31, 45, 46, 50, 53, 57, 60, 61, 67, 68, 69, 71, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 100, 101, 104, 108, 109, 116, 121, 122, 128, 129, 131, 135, 138, 143, 145, 150, 166, 171, 172, 173, 179, 185, 206, 209, 210, 211, 217, 228, 231, 232, 237, 238, 239, 252, 253, 254, 255, 258, 263, 268, 274, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 295, 300, 302, 303, 310, 312, 313.
Черткова, Анна Константиновна, она же Галя, (Дитерихс), 67, 231, 232, 266, 303.
Черткова, Елизавета Ивановна, 232, 289.
Чехов, Ант. Павл. 102, 259.
Чиликины, 49.
Чипелев, Всеволод, 287.
Чистяков, Матвей Николаевич, 169, 170, 182.
Чучковы, 310.

Ш.

Шанкс, Наталья, 302,
Шарапова, Павла Никол., 205, 207.
Шатохин, 184.
Шекспир, Вильям, 273.
Шеллинг, 69.
Шеншин-Фет, 90, 98, 99, 108, 113, 212, 273.
Шерстобитов, духоборец, 300.
Шидловский, Борис, 125, 126.
Шиллер, 320.
Шкарван, Альберт, 248, 259, 277, 296.
Шмидт, Евгений, 259, 300.
Шмидт, Марья Александровна, 18, 61, 79, 89, 94, 101, 143, 228.
Шопенгауер, Артур, 41, 68, 73, 212, 213.
Шостак, 281.
Шпильгаген, Фридрих, 263.
Штандель, 90.
Шюрэ, Эдуард, 141.

Щ.

Щеглов, Ив. Леонт., 131.

Э.

Элпидин, 10.
Эмерсон, Гальф, 122.
Эпиктет, 8, 60, 101, 102, 141.
Эрисман, 167.

Ю.

Юрьев, 122, 129.

Я.

Якоби, 25.
Ярошенко, 105.
Ясинский, Иероним Иеронимович, 296.